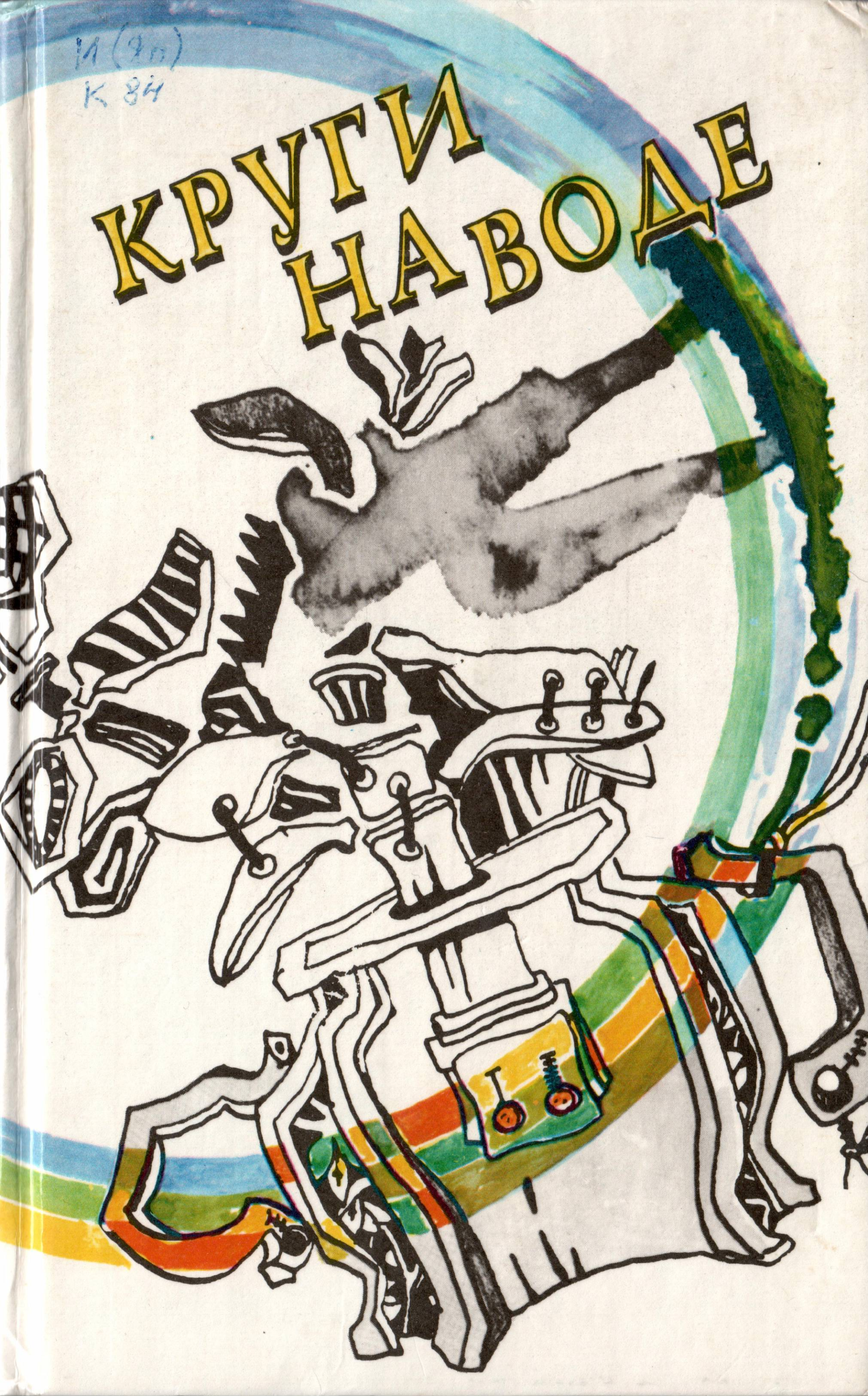
И (Яп)
К 84




КНИГА
ИЗДАНА
ПРИ
ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКЕ

ЯПОНСКОГО
ФОНДА

THIS TITLE
IS PUBLISHED
UNDER
THE FINANCIAL SUPPORT
OF THE JAPAN FOUNDATION



АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЫ ЯПОНИИ

КРУГИ НА ВОДЕ

ПЕРЕВОД С ЯПОНСКОГО



МОСКВА
«РАДУГА»

ББК 84.5Я
К84

Составление и предисловие *О. Морошкиной*
Редактор *Г. Дуткина*
Художник *Н. Агафонова*

К84 Круги на воде: Сборник: Пер. с японск. /Составл. и предисл. О. Морошкиной. — М.: Радуга, 1993. — 656 с.

Антология рассказов современных японских писательниц «Круги на воде» знакомит читателей с жизнью японских женщин, с их радостями, горестями и заботами, дает возможность проследить трасформацию самого представления о предназначении женщины в Японии. Перед читателем разворачивается широкая панорама жизни японского общества за четыре послевоенных десятилетия.

К $\frac{4703020100-014}{030(03)-93}$ без объявления

Произведения, помеченные в содержании знаком *, вышли на языке оригинала после 1973 года

ISBN 5-05-002695-4

© Составление, предисловие, перевод на русский язык и художественное оформление издательство «Радуга», 1993

ПРЕДИСЛОВИЕ

Женщину считают одной из самых больших загадок мироздания. В поисках разгадки, в попытках проникнуть в тайну женской души многое открывается художественному ви́дению самой женщины. Литературное творчество для женщины — средство самопознания и самовыражения, читателю оно дарует возможность увидеть мир женщины ее глазами.

Последние годы заметно возрос интерес к женской прозе. Предлагаемая вниманию читателей Антология современной женской прозы Японии — первая обширная коллекция произведений ведущих японских писательниц, работающих в жанре новеллистики. В антологию «Круги на воде» включены произведения тридцати пяти писательниц, опубликованные в 1946—1990 годах. Из сорока трех новелл только четыре были переведены на русский язык ранее, остальные тридцать девять публикуются впервые. Данный сборник несомненно существенно расширит представление читателей о развитии женской новеллистики в Японии за четыре послевоенных десятилетия.

Об уровне современной женской прозы можно судить хотя бы по тому, что в японских литературоведческих кругах все чаще раздаются голоса, возвещающие о приближении «эпохи женщины» — «Дзёрю-но дзидай». Впрочем, в истории японской литературы уже известен подобный период — X — XII вв., — обогативший ценнейшими традициями не только женскую прозу, но и всю литературу и культуру Японии в целом.

Еще у истоков японской литературы блистают имена выдающихся поэтесс. В первый письменный памятник японской поэзии — знаменитую поэтическую антологию VIII века «Манъёсю»[1] — вошли изящные, проникновенные пятистишья более ста поэтесс: экс-императрицы Гэнсё, принцесс Нукады и Оку, Каса-но Ирацумэ, Ки Осики, Сано Отогами. Слава лучшей принадлежит блистательной Отомо Саканоэ — восемьдесят пять ее песен включены в «Манъёсю».

Во второй половине X века в японской литературе выявился так называемый «женский поток». Свыше полутора столетий женщины играли в литературе доминирующую роль. Своим творчеством они способствовали совершенствованию дневниково-мемуарной литературы «никки», где стихотворные импровизации обрамлялись прозаическим сопровождением. В жанре «никки» писали Мицуна-но Хаха (935?—995), Идзуми Сикибу (974—1036), Мурасаки Сикибу (978—1014) и другие. Именно женщины стали создательницами большой формы повествовательной литературы — японского романа, утвердившегося в японской литературе еще в период раннего средневековья.

Вершиной классической литературы признана «Повесть о Гэндзи» (1001)[2], созданная Мурасаки Сикибу. Этот куртуазный роман оказал ощутимое влияние на развитие японской литературы; последующие столетия изобилуют подражаниями и пересказами непревзойденного шедевра. Он любим и читаем нашими современниками, чему способствовал перевод романа на современный японский язык, выполненный известнейшей писательницей Фумико Энти (1905—1986). Считается, что «Гэндзи моногатари» — первый роман в истории мировой литературы.

В современной японской прозе широко распространен жанр «дзуйхицу» («записки», «эссе»). В Японии есть даже творческая ассоциация мастеров этого жанра. Создательницей классического эталона «дзуйхицу» явилась опять-таки женщина — придворная фрейлина Сэй-сёнагон (966—1017), автор знаменитых «Записок у изголовья». Нашим читателям

[1]Манъёсю (Собрание мириад листьев). В 3-х т. *Перевод и комментарии А. Глускиной.* М., 1971—1972.

[2]Мурасаки Сикибу. Повесть о Гэндзи. В 4-х кн. *Перевод Т. Соколовой-Делюсиной.* Кн. I. М., 1991.

они известны в блестящем переводе со старояпонского В. Марковой[1].

Восторгаясь творениями двух выдающихся писательниц эпохи Хэйан (794—1185), вошедшими в сокровищницу мировой литературы, тонкий ценитель прекрасного лауреат Нобелевской премии Ясунари Кавабата (1899—1972) сказал: «Мурасаки Сикибу и Сэй-сёнагон — таланты, никем не превзойденные ни в прошлом, ни в настоящем».

Пример верности классическим образцам хэйанской прозы и творческого подхода к дальнейшему трансформированию жанра дневниковой литературы — «Непрошеная повесть» (начало XIV в.)[2] придворной дамы Нидзё, принявшей постриг. Уцелевшая копия рукописи пролежала в забвении семь столетий и была опубликована лишь в 60-е годы XX века.

По мере развития феодализма деятельность японской женщины надолго свелась к роли жены, хозяйки, матери. Возрождение женской литературы — поначалу робкое — смогло свершиться лишь после буржуазной революции Мэйдзи (1868), в конце XIX — начале XX в. Этому содействовало проникновение христианского учения, распространение западных идей феминизма, движение за права человека.

Формированию прогрессивных тенденций в японской литературе нового времени способствовало творчество писательницы романтического склада Итиё Хигути (1872—1896). Ее называют «яркой кометой», промелькнувшей на литературном небосводе: дочь мелкого чиновника, она с семнадцати лет вынуждена была зарабатывать на жизнь и умерла от чахотки в двадцать пять. Итиё Хигути с любовью и состраданием писала об окружающих ее простых людях полуфеодальной Японии. Наиболее известны ее повести «Мутное течение» (1895), «Сверстники» (1895) и рассказ «Последний день» (1894).

Первые десятилетия XX века отмечены появлением целой плеяды блестящих писательниц, завершивших свой жизненный путь в годы, когда велась работа над составлением данной антологии: Яэко Ногами (1885—1985), Фумико

[1]Сэй-сёнагон. Записки у изголовья. *Перевод, предисловие и комментарии В. Марковой.* М., 1975.

[2]Нидзё. Непрошеная повесть. *Перевод, предисловие и комментарий И. Львовой.* М., 1986.

Энти (1905—1986), Цунэко Накадзато (1909—1987) и Ёсико Сибаки (1914—1991). Уже сейчас можно утверждать, что их имена войдут в историю японской литературы и культуры XX века. О бесспорном признании их заслуг свидетельствует то, что Яэко Ногами, Ёсико Сибаки и Цунэко Накадзато были удостоены избрания в члены Японской академии искусств. Яэко Ногами, Ёсико Сибаки, а также Фумико Энти получили звание Заслуженный деятель культуры. Кроме того, Яэко Ногами и Фумико Энти — обладательницы ордена Культуры, которым награждают за выдающийся вклад в развитие национальной культуры.

Наши читатели уже знакомы с творчеством Яэко Ногами. На русский язык переведена ее повесть «Шхуна "Кайдзин-мару"» (1922)[1] и социально-психологический роман-эпопея «Лабиринт» (1952)[2], в котором писательница сумела воплотить сложнейшую тему идейных и нравственных исканий прогрессивной буржуазной интеллигенции в Японии 30—40-х годов, когда правящие силы уже толкнули страну на путь военно-политических авантюр. В наш сборник включена новелла «Лисы» (1946). В ней писательница обращается к извечной теме единения человека с природой, стремления вырваться из городского плена.

Фумико Энти начала литературную деятельность как драматург. За 1949—1956 годы она создала роман «Годы ожидания» о судьбе женщины эпохи Мэйдзи[3], ее бесправном, унизительном положении в семье. В 1957 году роман получил литературную премию Номы. Сила и зрелость таланта писательницы проявились в том, что ей удавались не только женские, но и мужские образы. В настоящей антологии творчество Фумико Энти представлено рассказом «Вагон с хризантемами» (1967). В нем создан тип идеальной японской жены, способной на безграничное самопожертвование: молодая девушка Риэ согласилась выйти замуж за душевнобольного юношу и посвятила жизнь уходу за ним. Интересна эволюция авторского отношения к этой «воплощенной Богине милосердия»: от недоверия и недоумения к

[1] Ногами Яэко. Шхуна «Кайдзин-мару». *Перевод И. Львовой.* — Иностранная литература, 1961, № 4.

[2] Ногами Яэко. Лабиринт. *Перевод С. Гутермана и Н. Неверовой.* М., 1963, т. 1—2.

[3] Мэйдзи — историческая эпоха (1868—1912).

восхищению «способностью человека совершать иррациональные, неординарные поступки».

Цунэко Накадзато стала первой женщиной, удостоившейся в 1938 году премии имени Акутагавы (повесть «Дилижанс»). Для антологии мы выбрали одну из ее поздних новелл — «Беглянка» (1982). По мнению современной писательницы и литературного критика Таэко Коно, «Беглянка» — начало нового направления в творчестве маститой писательницы. Новелла написана в стиле «дзуйхицу» и состоит из нескольких обособленных этюдов на тему «исчезновений», дающих возможность затронуть такие философские понятия, как нерасторжимость обыденного и исключительного, притягательность непознанного, скрытая глубина заурядного.

Окончание второй мировой войны явилось началом нового этапа в развитии японской культуры и искусства. В результате демократических реформ существенно изменилось положение японских женщин. Наконец они обрели гражданские и политические права, которых до этого были лишены, в том числе право избирать и быть избранными. Значительно возросло участие женщин в общественном труде, повысилась их политическая активность. Появилось больше возможностей для реализации литературных способностей одаренных женщин. Прежде всего к писательской профессии вернулись те, кто был вынужден хранить молчание в годы войны. Особенно энергичную творческую и организационную деятельность развернули писательницы левого крыла, участницы движения пролетарской литературы 20 — 30-х годов: Юрико Миямото (1899—1951), Тайко Хирабаяси (1905—1972), Инэко Сата (род. в 1904 г.).

Юрико Миямото до конца сохранила приверженность движению за демократическую литературу, выступила как один из ее организаторов в послевоенные годы. Тогда же она завершила свою тетралогию: «Нобуко» (1924—1926), «Равнина Бансю» (1946—1947), «Два дома» (1947) и «Вехи» (1947—1949), посвященную проблемам духовного развития японской интеллигенции. С творчеством Юрико Миямото наши читатели знакомы по сборнику ее повестей, переведенных на русский язык[1]. В 1968 году была учреждена литературная премия имени Такидзи Кобаяси и Юрико Миямо-

[1]Миямото Юрико. Повести. М., 1958.

то, присуждаемая за лучшие произведения японской демократической литературы. В наш сборник включены рассказы писательниц — лауреатов этой премии: Дзюнко Инадзавы, Кимико Сато и Юко Ямагути.

Тернист и извилист путь, пройденный Инэко Сатой: начав трудовую жизнь работницей кондитерской фабрики, в 1961 году она возглавила делегацию японских литераторов на Конференции писателей стран Азии и Африки. А между этими вехами двукратное вступление и исключение из КПЯ, сотрудничество с властями в годы второй мировой войны, участие в создании прогрессивного Общества литературы Новой Японии, создание Демократического женского клуба. Все это отражает мучительно-противоречивый процесс развития творческой интеллигенции в годы фашизации страны и в сложный послевоенный период. Иллюстрацией творческих удач Инэко Саты и ее признания в мире литературы может служить перечень ее наград:

1963 год — премия «Лучшее произведение женской литературы» за сборник рассказов «Женская обитель»;

1972 год — литературная премия Номы за книгу о жертвах атомной бомбардировки в Нагасаки «Тень от деревьев»;

1976 год — премия имени Кавабаты за серию рассказов «В ногу со временем»;

1983 год — премия газеты «Майнити» за книгу «Прощание с Сигэхару Накано»;

1984 год — премия «Асахи» за выдающийся вклад в развитие японской литературы.

В нашей стране издан в переводе на русский язык сборник рассказов Инэко Саты[1]. В антологию мы включили две короткие новеллы: «Вода» (1962) и «Супруги» (1988).

В первые же послевоенные годы Тайко Хирабаяси публикует рассказы «Бреду в одиночестве», «Слепые солдаты» (1946), «Песня из недр» (1948). В 1947 году она становится первым лауреатом премии «Лучшие произведения японских писательниц», премия присуждена ей за повесть «Такая женщина» (1946), в которой Тайко Хирабаяси создала запоминающийся образ современницы. В антологию «Круги на воде» входят два рассказа Хирабаяси: «Слепые солдаты» и «Мать трех дочерей» (1966), позволяющие судить о широте тематического диапазона их автора. «Слепые солдаты» — короткий антивоенный рассказ, «Мать трех доче-

[1]Сата Инэко. Пока не угаснет пламя. М., 1960.

рей» — история драматического противоборства женского начала и материнского долга.

В последние шесть лет жизни Фумико Хаяси (1903—1951) создает свои самые значительные произведения о женщинах с неудавшимися судьбами: роман «Плывущее облако» (1949—1951) и новеллу «Поздняя хризантема» (1948) — историю внешне благополучной, а по сути исковерканной жизни гейши по имени Кин. Новелла, удостоенная в 1949 году премии «Лучшие произведения японских писательниц», уже публиковалась на русском языке в различных переводах. Мы выбрали для антологии перевод известной исследовательницы японской литературы И. Львовой.

В 50-е годы в японской литературе начали появляться новые женские имена. Это молодые писательницы Савако Ариёси (1931—1984) и Аяко Соно (род. в 1931 г.). Ариёси привлекает духовная глубина, эмоциональная тонкость, своеобразие натур, принадлежащих к миру классического искусства. Этой теме посвящена «Старинная песня» (1956), открывающая сборник «Круги на воде». Через три года писательница начала публикацию своей знаменитой трилогии — исторических романов «На берегах Кинокавы», «Вдоль Аритакагавы», «На берегах Хидакагавы»), в которых выведен образ стойкой, сильной женщины, способной преодолевать бремя пережитков прошлого. Савако Ариёси — лауреат множества читательских премий, в 1967 году за роман «Жена доктора Ханаоки» удостоена премии «Лучшие произведения женской литературы». На русский язык переведены ее рассказы «Дважды рожденный»[1] и «Вода и драгоценности» (1959)[2].

Живо откликнувшись на события, происходившие в послевоенной Японии, Аяко Соно публикует в 1954 году новеллу «Заморские гости», принесшую начинающей писательнице признание. Время действия новеллы — 1948 год, период американской оккупации. Повествование ведется от лица девятнадцатилетней служащей туристического бюро Намико. Ее образ — одна из первых удач в создании литературного портрета женщины нового, послевоенного типа, критически мыслящей, способной разглядеть неблаговидные черты характера и оценить поступки «заморских гос-

[1]Иностранная литература, 1971, № 12.

[2]Современная японская новелла, 1945—1978. М., 1980.

тей». Наши читатели уже знакомы с этой новеллой по переводу на русский язык. В антологию включены два коротких рассказа Аяко Соно, вошедшие в ее сборник «Сценки из супружеской жизни»: «Фудзи» (1974) и «Бессонница» (1979). В них выведены женщины иного склада, круг деятельности которых ограничивается домом, семьей.

Приток в японскую литературу писательниц-женщин начался в 60-е годы, а к середине десятилетия он достиг особой интенсивности. В последующие годы заметно совершенствовалось их художественное мастерство. Перед нами встал сложный вопрос, какими критериями руководствоваться при определении круга писательниц 60—80-х годов, произведения которых следовало включить в антологию. И мы сочли необходимым прислушаться к мнению японских литературных критиков. В отборе весьма помог существующий в Японии институт литературных премий, число которых достигает нескольких сотен. Премии учреждаются для начинающих литераторов, ветеранов культуры, они подразделяются по жанрам, регионам, издательствам... Наиболее престижными считаются премии имени Рюноскэ Акутагавы, имени Сандзюго Наоки, премия памяти Сэйдзи Номы, премия имени Ясунари Кавабаты (за стилистическое мастерство) и премия имени Идзуми Кёка (за развитие литературных традиций и местной культуры).

Существуют в Японии и специальные женские премии, главная из них — «Лучшие произведения женской литературы». Ее лауреаты награждаются памятной медалью и денежной премией в миллион иен. Помимо этого победительницам конкурса преподносится «дамский» сувенир — драгоценный жемчужный перстень. В 1958 году была учреждена также премия «Новые имена в женской литературе».

Одним из методов литературной пропаганды и формирования читательского вкуса является издание сборников «Лучшие произведения года». Почти пять лет нашим основным чтением были новеллы японских писательниц, в результате из девятисот рассказов, опубликованных в период с 1945 по 1990 год, мы выбрали для антологии «Круги на воде» сорок три новеллы. Сборник можно назвать Антологией лауреатов: девятнадцать авторов — лауреаты премии «Лучшие произведения женской литературы», двенадцать — лауреаты премии имени Акутагавы, четверо удостоены премии имени Кавабаты и т. д.

Чтобы помочь читателю, попытаемся с определенной

долей условности выделить основные тематические группы. Естественно, что японские писательницы обращаются в своем творчестве к темам, что волнуют женщин всех времен и всех стран. Вечная проблема отношений между мужчиной и женщиной, проблема Любви, проявляющейся в мимолетном увлечении или глубокой привязанности, пронесенной через долгие годы, — стержень одной группы новелл: «Любить...» (1984) Такако Такахаси, «Сиреневые горы» (1983) Ёсико Сибаки, «Заклинание» (1978) Митико Ямамото, «Осенний ветер» (1979) и «Дуновение весны» (1987) Тиё Уно, «Собачья конура» (1980) Кунико Мукоды.

Такахаси Такако знакома нашим читателям по рассказу «Томление» (1976)[1]. Думается, что новелла «Любить...», удостоенная в 1985 году премии имени Кавабаты, заинтересует читателей неординарным развитием сюжета, глубоким психологическим анализом нравственного кризиса героини, страдающей от внутренней раздвоенности и необходимости сделать выбор между привязанностью к возлюбленному и преклонением перед высшим духовным началом.

В новелле Ёсико Сибаки «Сиреневые горы» тонко показан процесс эмоционального возрождения героев, каждый из которых перенес глубокую личную драму.

Неисповедимы проявления подлинной любви, утверждает Митико Ямамото в рассказе «Заклинание», повествующем о последней, прощальной встрече больного Дзэндзо и его возлюбленной О-Юки, тайно любивших друг друга более двадцати лет. Они предельно откровенны, меж ними полное понимание. О-Юки желает одного — облегчить и ускорить конец безнадежно больного друга, вымолить у судьбы легкую смерть-избавление. Она надевает на него амулет, и желаемое свершается.

Контрастом являются новеллы Тиё Уно «Осенний ветер» и «Дуновение весны». В первой из них знаменитая писательница получает письмо от дочери своего бывшего возлюбленного с просьбой помочь умирающему отцу. Но оказывается, что страстное увлечение, ради которого почтенный глава семейства сломал собственную карьеру и жизнь, для молодой женщины было эпизодом, не заслуживающим воспоминаний. Писательница расценивает это как избирательное свойство человеческой памяти, помогающее противостоять трудностям и быть в ладу с собой. Совсем в

[1]Современная японская новелла. М., 1985.

ином, светлом ключе написана трогательная история о преданной дружбе и верной любви в «Дуновении весны». Рассказу придана сентиментальная дидактическая концовка: добро не только побеждает, но и великодушно прощает зло.

Забавен анекдот о неудачной любви продавца из рыбной лавки к юной студентке, описанный в «Собачьей конуре» Кунико Мукоды. Рассказ пронизан симпатией к искренним чувствам неуклюжего простолюдина и окрашен милым грустным юмором, присущим Кунико Мукоде.

В наши дни все громче раздаются призывы откликнуться на беды людей, обделенных судьбой, страдающих от физических недостатков. Отражением такого благородного порыва является рассказ известной писательницы Сэйко Танабэ «Жозе, тигр и рыбы» (1985), написанный в несколько сентиментальном ключе. Читателей не оставит равнодушным образ девушки-инвалида, не только отстаивающей право на жизнь, но и добивающейся высшего женского счастья — взаимной любви.

Привычной печалью веет от рассказов о женском одиночестве. В «Светящихся часах» (1969) Сэцуко Цумура создала образ кроткой молодой женщины Митиё, брошенной мужем. В своем горе Митиё проявила сострадание к несчастному служащему, лишившемуся работы и вынужденному скрывать это от семьи. Перед самоубийством он написал Митиё: «...лишь в Вашем доме я забывал о течении времени...»

Новелла Таэко Томиоки «В зоопарке» (1977) — это хроника нескольких часов, проведенных незамужней сорокалетней женщиной в зоологическом саду. Писательница очень точно передала обостренное чувство одиночества и личной неустроенности среди многолюдья развлекающейся толпы. Эффект усиливают сценки — наблюдения за посетителями и обитателями зоопарка.

В антологии широко представлены новеллы, трактующие тему «Женщина в современной семье». Короткие рассказы Аяко Соно «Фудзи» и «Бессонница» — иллюстрации к тому, как меняется представление о счастье и своем месте в жизни у самих женщин. Героиня рассказа «Фудзи» Тамико, с упоением занимавшаяся домом и воспитанием ребенка, начинает терзаться сознанием, что становится неинтересной для своего «растущего» мужа. В «Бессоннице» Нобуко страдает от недостатка внимания и человеческого тепла со стороны супруга, поглощенного заботами о карьере.

В новелле Мидзуко Масуды «Красное пальто» (1988) выведен распространенный тип женщины, страдающей от одиночества в, казалось бы, благополучной семье. После выхода мужа на пенсию домохозяйка Каё пережила острую вспышку разочарования в тридцатилетней домашней «службе в качестве тени мужа». Ей кажется, и не без основания, что муж и сын считали ее «чем-то вроде освещения в доме, которое может улучшить или ухудшить настроение». Но, уже решившись на развод, Каё лишь один раз проделала путь, которым муж из года в год ездил на работу, и если не поняла, то почувствовала, что причина возникшей между ними отчужденности не только в мужском эгоизме и черствости, но и в изматывающем ритме деловой жизни...

Психологии человеческих отношений в артистической среде посвящена новелла Ёко Мори «Весенний шквал» (1985). Муж-киносценарист не в силах побороть ревность и зависть, рожденную творческим успехом жены-актрисы. Комплекс соперничества оказался сильнее любви — супруги расстались. Что ж, такое случается не только в Токио.

В 1981 году в авиакатастрофе погибла талантливая писательница Кунико Мукода, получившая за год до трагедии премию имени Наоки за рассказы «Названия цветов», «Выдры», «Собачья конура» (1980). Острота сюжетов, живость рассказов Кунико Мукоды — результат многолетней работы писательницы в телерадиодраматургии. Наиболее известны сборники ее произведений «Письменное извинение отца» (1981), «Час добрый, час недобрый» (1982), «Пасьянс воспоминаний» (1983), «Соседка» (1984), «Зимняя спартакиада» (1985), «Счастье» (1986).

В рассказе «Треугольные волны» (1981) Кунико Мукода затронула все настойчивее привлекающую внимание общества проблему сексуальных меньшинств. В основу сюжета положен случай так называемого добрачного гомосексуализма: попытка жениха-бисексуала порвать с прошлым и создать нормальную семью. Изложение событий в трактовке невесты, воспринимавшей ситуацию как шаблонный любовный треугольник, усиливает впечатление от концовки-разоблачения, позволив избежать излишней натуралистичности.

В новеллах «Идиллия» (1973) Юмиэ Хираивы и «Портрет матери в черном» (1989) Риэ Ёсиюки отражены диаметрально противоположные варианты коллизии свекровь — невестка. И в наше время в некоторых японских семьях еще

сохраняется подчиненное положение невестки, ее зависимость от свекрови. Это усугубляется в случаях, когда молодой муж — единственный сын властной матери. В рассказе «Идиллия» вдовствующая преподавательница каллиграфии, посвятившая жизнь воспитанию сына, не приемлет невестку Кумэко и все новое, что та вносит в жизнь семьи. Патологическая жажда «вернуть сына» столь велика, что свекровь идет на тщательно подготовленное убийство: сталкивает беременную невестку с балкона. В «Портрете матери в черном» злая невестка, ведя скрытую борьбу со свекровью-привидением, «заедает» слабохарактерного мужа, сводит его в могилу. В новелле можно заметить элементы «кайдана» — традиционного японского «повествования о необычайном»: мать героя — доброе привидение, жена — оборотень с душой волчицы.

Рассказ Таэко Коно «Последний день» был признан «лучшим произведением женской литературы» в 1967 году. При наличии в нем подробных бытовых деталей жизни героини Норико с ее мужем — ничем не примечательным служащим Асари — рассказ выходит за рамки повествования о судьбе конкретной супружеской пары. Необычность заложена в самом сюжете: отправившись на похороны подруги, Норико получает «предупреждение» о том, что ей самой осталось жить лишь двадцать шесть часов. Норико мужественно готовится к уходу из жизни: наводит в доме порядок, проявляя трогательную заботу о муже. В эти последние часы перед ней проносятся шесть лет ее совместной жизни с Асари. Избранная автором экстремальная ситуация — залог предельной искренности и честности героини перед собой. Когда как не перед кончиной бывает правдив человек?! Критический самоанализ и бескомпромиссная оценка прожитой жизни приводят Норико к горькому выводу — признанию собственной несостоятельности как жены. Тогда она задумывается: а каким же должно быть истинное, гармоничное супружество? Ей открывается лишь негативная сторона. Норико понимает, что мало состоять в законном браке, жить под одной крышей, быть ласковой подругой и заботливой хозяйкой. Иными словами, недостаточно всего того, что считалось классическим образцом поведения японской жены...

Тему предназначения женщины продолжает развивать в новелле-притче «Улыбка горной колдуньи» (1976) Минако Оба. Намерение стать писательницей появилось у нее еще в отрочестве под впечатлением романов Виктора Гюго. Поз-

днее она увлеклась Достоевским и «поэзией отчаяния» Томаса Элиота. Литературное признание Минако Обе принес известный у нас рассказ «Три краба» (1968)[1], удостоенный двух премий, в том числе имени Акутагавы. В нем писательница затронула проблему женского одиночества в семье и модную в те годы тему сексуального раскрепощения. В 1975 году за рассказ «Музей-свалка» Минако Оба получила премию «Лучшие произведения женской литературы». Писательница плодотворно работает в поэзии, драматургии, большой прозе и новеллистике. Ею опубликованы сборник рассказов «Истории, подслушанные шляпой» (1983), романы «Видения» (1971), «Аризема» (1977) и другие.

«Улыбка горной колдуньи» — легенда о женщине с душой ведуньи, прожившей от рождения и до смерти среди людей. Выбор персонажа такого рода дал возможность писательнице не просто нарисовать классический стереотип идеальной японской жены, с ее нескончаемым терпением и готовностью ублажать мужа, но и заставить читателя усомниться в расхожем представлении о женской никчемности. Вот какой виделась жена и все женщины мужу героини легенды: «Женщины — совершенно неуправляемые существа. Они ревнивы, ограниченны, мелочны даже во лжи. Они глупы и малодушны. Недаром по-английски слово «мужчина» одновременно означает и «человек». А женщину человеком делает только ее принадлежность мужчине!» Писательница не идет по пути словесных опровержений, эту задачу выполняет сам образ героини. Она предстает как женщина тонкой духовной организации, с развитой системой самоконтроля, великодушная и всепрощающая, мужественная и стойкая в своем одиночестве, когда «ей казалось, что она живет среди чужеземцев, говорящих на другом языке». В довершение всего она наделена экстрасенсорным даром «читать в чужих сердцах». В рамках одного рассказа Минако Оба углубляется в такие проблемы, как смена поколений, особенность интуиции и женского склада ума, одиночество незаурядных натур.

Героиня новеллы Айко Сато «Банкротство» (1968)[2] — литератор Акико Сэги — волевая, энергичная женщина современного склада, взвалившая на себя все тяготы после разорения непрактичного, излишне доверчивого мужа. Это,

[1]Японская новелла, 1960—1970. М., 1972.
[2]Японская новелла, 1960—1970. М., 1972.

по сути дела, автопортрет самой писательницы. В 1969 году рассказ был удостоен премии имени Наоки, по нему был поставлен телеспектакль. Айко Сато широко известна и как романист. Ее книга «Лицо счастья» (1979) получила премию «Лучшие произведения женской литературы». В 1990 году вышли воспоминания писательницы «Моя жизнь».

О незадавшейся жизни женщин, которым приходится растить детей без отцов, часто пишет талантливая писательница послевоенного поколения Юко Цусима. Это тема ее рассказов «Заклинание» (1978), «Остров радости» (1978), «Их дом» (1981), «Ванная комната» (1983), «Речная гладь» (1985), «Молчаливая сделка» (1982). В рассказах много личного: непросто сложилась судьба женщин двух поколений — матери писательницы и самой Юко Цусимы. Вошедший в антологию рассказ «Молчаливая сделка» в 1983 году был удостоен премии имени Ясунари Кавабаты. С особой экспрессией написана заключительная часть рассказа. В сцене свидания расставшихся супругов физически ощущается полная отчужденность отца от детей, к которым он неохотно согласился приехать по настоятельной просьбе их матери, острая боль молодой женщины, страдающей за сына и дочь, лишенных отцовского внимания.

Рассказ Киёко Мураты «Фуникулер» (1987) не затрагивает судьбу родителей двоих детей, воспитывающихся в деревне у деда и бабки. Тем самым все внимание концентрируется на участи шестнадцатилетней девушки и ее тринадцатилетнего брата, нежно привязанных друг к другу. Сбывается нависшая над ними угроза: отец забирает к себе сына. Разлука с младшим братом — невосполнимая потеря для девушки, равноценная крушению мира, еще раз подтверждающая, что жертвами семейных неурядиц и бед прежде всего становятся дети.

Детской теме посвящены также рассказы Киёко Мураты «Голосок со дна водоема» (1977), «Единомышленники» (1986) и «Секреты бабушкиной сковороды» (1987), за который ей была присуждена премия имени Акутагавы.

В рассказе Юко Ямагути «Нахлобученная шляпа» выведены разные люди: хозяйка закусочной тетушка Нодзава, одинокий старик папаша Акимото, дочь которого уехала за границу, молодой библиотекарь Аябэ. Их объединяет привязанность к сироте — мальчугану по прозвищу Томат. Без излишней сентиментальности писательница подчеркивает лучшие душевные качества простых людей: сопричастность чужому горю, щедрость на человеческое тепло.

«Однофамильцы» (1973) Сидзуко Го — это первый рассказ писательницы после получения в 1972 году премии имени Акутагавы за антивоенную повесть «Реквием»[1]. «Однофамильцы» — рассказ о молодежи, вступающей в жизнь, о предопределенности будущего детей в зависимости от социального и материального положения родителей. Интересен образ способного ученика Масару Накаямы. Не желая быть обузой для овдовевшей матери и старшей сестры, он принимает решение не продолжать дальнейшую учебу, а заняться работой в зеленной лавке, доставшейся от отца. В то же время он по-юношески дерзко доказывает, что может сделать невозможное, — придумывает способ добыть деньги на покупку кольца для сестры, о котором она не могла и мечтать. Для этого была заключена сделка с его однофамильцем — сыном врача Мамору Накаямой — о продаже ему контрольных работ Масару, а следовательно, и репутации успевающего ученика, что гарантировало будущему врачу поступление в престижную элитарную школу. В рассказе о хитроумной школьной проделке писательница показала, как нравы современного общества проецируются на отношения одноклассников.

Действие новеллы Юкико Като «На воздушном шаре...» разворачивается по типу конфликта на почве ревности. Молодая девушка Маса и ее давнишний друг Мицугу — оба литературные сотрудники рекламного агентства — выиграли в лотерею право прогулки на воздушном шаре. Во время полета между Мицугу и аэронавтом начинается словесная перепалка, показавшая их полную некоммуникабельность и агрессивность. Дело доходит до потасовки. Чувствуя, что ей не утихомирить мужчин, девушка сбрасывает часть груза, необходимого для приземления, а сама соскальзывает за борт гондолы, обрекая всех на гибель или, как поэтично говорит автор, «на вечное скитание». Рассказ насыщен аллегориями и символами: воздушный шар в данном контексте воспринимается как модель земного шара, где люди так и не научились ладить между собой и утратили чувство ответственности за ближних. Рассказ-аллегория отражает тревогу автора за судьбу молодежи, звучит как предупреждение об угрозе подмены инстинкта самосохранения патологической тягой к самоуничтожению.

Проявлением высокого гражданского и исторического

[1]Современная японская повесть. М., 1980.

сознания современных японских писательниц служит их весомый вклад в разработку темы «Человек и война». Для некоторых из них это было творчество-подвиг, ибо, оказавшись в числе жертв Хиросимы и Нагасаки, они, преодолевая боль, рассказывали миру о страшных картинах увиденного и своих незаживающих физических и душевных ранах. Показателен путь Кёко Хаяси. Она родилась в Нагасаки в 1930 году и там еще школьницей, вместе с подругами, перенесла атомную бомбардировку. Почти три десятилетия Кёко Хаяси хранила молчание и лишь в 1973 году нашла в себе силы взяться за перо. Трагедия атомной катастрофы стала основной темой ее творчества. За рассказ «Пляска смерти» (1975) она была удостоена сразу двух литературных премий: имени Акутагавы и премии журнала «Гундзо». Рассказ переведен на английский, болгарский и русский языки. Нашим читателям известны также ее новеллы «Два надгробия» (1975)[1], «Встреча однокурсниц» (1977)[2], «Стекло Нагасаки» (1978)[3], «Шествие в пасмурный день»[4]. На русском языке издавались отдельные антивоенные произведения Савако Ариёси («Дважды рожденный»), Аяко Соно («Заморские гости»), Сидзуко Го («Реквием»), Минако Гото («У памяти в плену»), Ёко Оты («До каких пор»[5], «Полнолуние», «Светлячки»).

Антивоенный раздел в антологии представлен шестью новеллами, между которыми значительный временной интервал. Этюд Тайко Хирабаяси «Слепые солдаты», написанный под свежим впечатлением увиденного, опубликован в 1946 году. Рассказ Хироко Такэниси «Постояльцы», удостоенный за мастерство премии имени Кавабаты, вышел в свет через тридцать пять лет после окончания войны — в 1980 году.

«Слепые солдаты» Тайко Хирабаяси — зарисовка сцены на вокзале в Такасаки, где весной 1945 года Хирабаяси стала свидетельницей того, как из прибывшего поезда выводили партию слепых китайских солдат. Настрой рассказа приводит к мысли, что война — это бедствие не только для

[1]Современная японская новелла, 1945—1978. М., 1980.
[2]Иностранная литература, 1985, № 8.
[3]Хиросима: Романы. Рассказы. Стихи. М., 1985.
[4]Шествие в пасмурный день. М., 1985.
[5]Иностранная литература, 1955, № 3.

ее непосредственных жертв. Антигуманность войны — в ожесточении людей, утрате способности к состраданию.

Рассказы «Постояльцы» Хироко Такэниси и «Белая блузка» (1979) Ёсико Сигэканэ воспроизводят обстановку военных лет, увиденную глазами школьников. От идеализации и восхищения «великой битвой» старшеклассница Хидэко («Белая блузка») приходит к горькому осознанию, что война и сопутствующие ей нужды и лишения толкают дорогих ей людей на неблаговидные поступки. Каждый думает и заботится только о себе, это порождает предательство. Любимая учительница предает своих учениц, школьницы — друг друга. Героиня рассказа Хидэко страдает от того, что ради сытой жизни и избавления от трудовой повинности предала самое себя, согласившись выйти замуж за сына богатого землевладельца.

Судьбам военных вдов в деревне и городе посвящены рассказы «Стальная рыба» (1977) Таэко Коно, «Ее посмертное имя» (1951) Фудзико Отани и «Обручальное кольцо» (1978) Дзюнко Инадзавы.

Необычен ракурс военной темы в новелле Таэко Коно «Стальная рыба». Кто не знает о трагической судьбе японских летчиков-смертников времен войны на Тихом океане, вылетавших на бомбардировки с минимальным запасом горючего и заранее готовых к тому, что не вернутся на базу?! Японское слово «камикадзе», означающее «божественный ветер», вошло во многие языки, в том числе русский. На флоте аналогичное задание давалось «человеку-торпеде». Замурованный в тесном корпусе торпеды моряк направлял ее в намеченную цель, неизбежно погибая при взрыве. Читателей не может не поразить сюжет рассказа: спустя двадцать пять лет после гибели мужа, которому выпало стать «человеком-торпедой», его бывшая жена одна остается на ночь в пустом храме, где ее муж был причислен к лику богов. В храме выставлены останки «стальной рыбы» — чудом уцелевшая часть корпуса торпеды, подобной той, в какой погиб ее муж. Женщине удается осуществить свое намерение — испытать, каково человеку одному внутри «стальной рыбы». Она надеется, что подобный опыт поможет ей воссоздать мысли и чувства мужа в последние минуты жизни — открыть для себя именно то, что ей хотелось узнать все эти годы. Женская судьба безымянной героини рассказа сложилась не худшим образом: она снова удачно вышла замуж, но ничто не может стереть память сердца, память первой любви.

Есть в антологии и рассказ, автор которого пытается проникнуть в тайну литературного творчества, — это «Платоническая любовь» (1975) Миэко Канаи. Писательница послевоенного поколения, она известна и как поэтесса, и как прозаик. Свой первый сборник рассказов, «Жизнь любви», она опубликовала в 1967 году в возрасте девятнадцати лет. Интересное наблюдение по поводу стиля Миэко Канаи сделал писатель Масудзи Ибусэ. Сравнивая ее прозу с полотнами абстракционистов, он высказал суждение, что произведения Миэко Канаи требуют активного соучастия читателей. Как считает сама писательница: «Случается, что при беглом чтении художественных произведений читатели выбрасывают отдельные куски или добавляют слова, которых не было в тексте, поэтому можно сказать, что книгу пишет не только лицо, именуемое "автором"». Доводя этот тезис подчас до абсурдности, Миэко Канаи создает свою новеллу «Платоническая любовь», удостоенную премии имени Идзуми Кёка. В новелле анализируется процесс взаимовлияния двух творческих индивидуальностей — писательницы и читательницы, проявившийся в феномене полной идентичности результатов литературного творчества. В новелле улавливается налет иррациональности в стиле «двойников» Борхеса. А может быть, это подтверждение вероятности проникновения в духовный мир другого человека...

Япония — страна наиболее высокой продолжительности жизни. Вполне понятно внимание японских писательниц к жизни людей преклонного возраста, интерес к тому, как относится к ним современное общество, и прежде всего их собственные дети. Проблемы «одинокой старости», «семьи и старости» затрагиваются многими авторами. Полностью этой теме посвящены рассказы «Круги на воде» (1970) Ёсико Сибаки, «В баню» (1971) Кимико Сато, «Догорающая свеча» (1976) Таэко Томиоки. Рассказ Таэко Томиоки о закате жизни одинокого музыканта, пробуждающий жалость и сострадание к старому артисту, получил премию имени Ясунари Кавабаты.

Автор новеллы «Круги на воде» Ёсико Сибаки была второй женщиной, удостоенной премии имени Акутагавы («Овощной базар», 1941). За повесть «Ценители фарфора» в 1972 году она получила премию «Лучшие произведения женской литературы». В «Кругах на воде» писательница поднимает не только внутрисемейные, но и общечеловеческие проблемы.

Вклад Ёсико Сибаки в развитие женской литературы, художественное достоинство, многоплановость рассказа, образность заглавия объясняют наш выбор — использовать его для общего названия антологии: КРУГИ НА ВОДЕ...

Знакомство с произведениями современных японских писательниц, собранными в антологии, позволит читателям ощутить утонченность женского менталитета, умение японских писательниц реализовывать свой творческий дар, многообразие и неповторимость их художественных индивидуальностей.

Пользуемся случаем выразить глубокую признательность Японскому фонду (Токио), любезно взявшему на себя в наше сложное время миссию спонсора по изданию антологии.

Хотелось бы передать нашу искреннюю благодарность японским друзьям и коллегам из Национальной парламентской библиотеки — господину Кунихико Симаде и господину Сигэюки Иваки, проявившим живой интерес к нашей многолетней работе и оказавшим поддержку и неоценимую помощь в подборе литературных материалов, а также госпоже Акико Курите, директору Японского центра авторского права, во многом содействовавшей выходу этой книги.

Надеемся, что каждый читатель найдет в антологии «Круги на воде» рассказы на свой вкус, которые доставят ему эстетическое удовольствие, вознаградят неожиданными откровениями.

Наша мечта — познакомить любителей японской литературы с новыми пластами женской прозы Японии, представить новые работы новых авторов: Кадзуко Саигусы, Ёко Ямагути, Сатоко Кидзаки, Нобуко Такаги, Миэко Такидзавы, Анны Хагино, Ёко Огавы...

О. Морошкина

САВАКО АРИЁСИ

СТАРИННАЯ ПЕСНЯ

В зале Симбаси начинался концерт знаменитых исполнителей национальной музыки и танцев — блистательное завершение Фестиваля искусств. Устроитель вечера — редакция газеты Д. при содействии многочисленных благотворительных организаций. В толпе мелькали лица прославленных мастеров, глав различных школ. Но дверь зала Симбаси была открыта не только для избранных — и молодые таланты могли показать себя. Сезон был в разгаре, и билеты раскупались прекрасно.

Кикудзава Куниэ, одна из исполнительниц, пришла совсем недавно и стояла теперь в ожидании у служебного входа. Ее высокой фигуре шла яркость узорчатого кимоно: черный плавно переходил в светло-зеленый и на этом фоне броскими пятнами выделялись «четыре благородных растения» — слива, хризантема, орхидея и бамбук. Люди, проходившие в полутьме мимо стоек для обуви, с восхищением поглядывали на Куниэ, а знакомые кивали на ходу: «Добрый день. Удачи вам».

Представление началось с двадцатиминутным опозданием — двадцать минут четвертого. Вторым номером выступал молодой глава школы Кадзикава — он исполнял танец «Кулик» в новой интерпретации. Аккомпанировала ему Куниэ. По мере того как близилось время выступления, она все больше волновалась, с нетерпением ожидая появления отца. Член Академии искусств Тосихиса Кикудзава был недавно удостоен титула «Сокровище духовной культуры нации». Слава его затмевала других знаменитых музыкантов, и

поэтому его выступление наверняка окажется в самом конце программы. Вряд ли он придет так рано. Кунизэ понимала это, но все равно с нетерпением ждала. Холодный ветер временами врывался в помещение с улицы. Артисты входили, зябко кутаясь в пальто. Кунизэ в одном легком кимоно, перетянутом поясом оби, особенно остро ощущала пронизывающее дыхание зимы.

Нынешний концерт был для Кунизэ последним выступлением в Японии. Вот бы отец услышал ее игру! Ей так этого хотелось.

Скоро уж три года, как они расстались с отцом.

Когда Кикудзава Тосихиса узнал, что Кунизэ выходит замуж за Джорджа Какиути, американца японского происхождения, он побледнел и пришел в неописуемую ярость. Особых причин для того не было. Просто он, старый слепой человек, не мог примириться с самой мыслью, что у его единственной дочери будет муж.

Кунизэ воспитывалась в совершенно особом, замкнутом мирке семьи слепого придворного музыканта, имеющего ранг Великого Кэнгё[1], и только когда ее полюбил мужчина, свободный от предрассудков Востока, у нее открылись глаза. Во всяком случае, так ей самой казалось.

Джордж был американцем второго поколения и выглядел как типичный янки, если не считать разреза глаз и цвета кожи. Ему оттого и удалось покорить Кунизэ, что он не слишком ценил ее родовые корни, приводившие в благоговейный трепет слабохарактерных японских юношей. А потому, когда отец в гневе бросил ей в лицо: «Неужели ты выйдешь за этого волосатого варвара[2]?», Кунизэ только укрепилась в своем чувстве.

Поскольку Кунизэ не знала, как сломить упрямство отца, а порвать с ним, объявив об этом во всеуслышанье, как того требовал древний обычай, было ей не под силу, она решила больше не ходить к нему, дабы эти драматические сцены не повторялись до бесконечности. Она не желала окончательным разрывом усугубить их противоестественное отчуждение.

И тут вдруг — хотя на самом деле ничего неожиданного

[1]Кэнгё — высший ранг в общине слепых, установленный в феодальные времена. Давал обладателю большую власть.

[2]Волосатый варвар — средневековая презрительная кличка европейцев.

в этом не было — как гром среди ясного неба пришло известие о том, что Джорджу, служившему в американском посольстве, прислали замену и теперь ему надлежит вернуться на родину. Куниэ погрузилась в состояние отрешенности, она неотступно думала только об отце. Ей, хранительнице традиционного искусства, никогда не приходила в голову мысль о том, что она может расстаться с родной землей. Джордж, столкнувшись с непонятным для него отказом жены ехать в Америку, пришел в замешательство.

Но прошло какое-то время, Куниэ поостыла и решила, что любящая жена обязана последовать за мужем.

Что выйдет из всего этого — неизвестно, но она все же поедет в Америку, увозя с собой свои столь необычные для той страны знания и мастерство. А что ее ждет, покажет будущее. Пока же оставшееся до отъезда время она будет использовать для совершенствования игры. Решение это пришло к Куниэ в тот момент, когда до отъезда оставались считанные дни.

Ее сугубо личное письмо к отцу было отослано обратно ученицей Тосихисы — Ниидзэки; доходили до Куниэ и слухи, будто отец ни за что не примет участия в концерте, где выступит Куниэ. Но, зная о том, что день отъезда близок, и сознавая всю глубину упрямства Тосихисы, устроители, конечно же, будут помалкивать. Она же с благодарностью отнеслась к их решению сделать ей прощальный подарок: втайне устроить так, чтобы отец и дочь в один день появились на сцене.

— Уже пора. Прошу вас, идемте.

Эндзюро Кадзикава, одетый как оннагата[1], приподняв край кимоно, приблизился к Куниэ и склонил голову. Так танцор перед началом представления приветствует аккомпаниатора.

Куниэ торопливо ответила ему и ненароком взглянула на его босые ноги, на которые были небрежно надеты сандалии. Мышино-серая, грязная пудра забилась под ногти пальцев. «Как блистателен он на сцене и как прост сейчас», — с умилением подумала она, и напряжение у нее спало, стало легче на сердце.

Куниэ так и не дождалась отца, хотя ждала до последнего момента. Но теперь это уже не заботило ее. Сосредоточенно вышла она на сцену и села на ковер.

[1]Оннагата — актер в японском театре, исполняющий женские роли.

На сцене лишь одно кото. Куниэ Кикудзава будет играть одна.

Еще на сцене — две посеребренные ширмы. Облаченный в кимоно с классическим узором — голубоватые облака на темно-фиолетовом фоне, — актер принял исходную позу. Приноравливаясь к плектру, Куниэ задержала дыхание. Три года назад рядом с ней непременно сидел бы Тосихиса, подумала она с болью, но тут же прогнала эту мысль.

Эндзюро Кадзикава в последнее время пытался вторгнуться в женскую сферу — он исполнял в женском платье народные танцы, что прочие молодые актеры высмеивали как анахронизм. Куниэ же был более чем понятен душевный порыв артиста, получившего классическую выучку. Она тоже не собиралась исполнять мелодию «Кулик» в новомодной манере. Ей претили развязность и легкомыслие, с которыми суетливые ее современники трактовали великие творения древних. Играя, Куниэ стремилась лишь к одному — быть искренней.

Хотя Куниэ была всего лишь аккомпаниатором, а главная роль отводилась актеру, в ней чувствовалось достоинство, унаследованное от отца. Не то чтобы она считала, что уши важнее глаз, но только во время исполнения она полагала правильным забыть про Кадзикаву. В конце концов, именно этим она помогает танцору.

Когда танец был закончен, раздались доброжелательные аплодисменты. Пока опускался занавес, Куниэ поклонилась своим, теперь уже последним, слушателям. Левой ладонью она обхватила пальцы правой руки, вдетые в плектр. Ее пронзило волнение — она вдруг подумала: а может, отец слышал ее? Эндзюро Кадзикава слегка коснулся Куниэ, выражая благодарность, она же, пробормотав что-то в ответ, пошла в гримерную отца, за кулисы.

Как и следовало ожидать, отца там не оказалось. Стоя в пустой холодной комнате, Куниэ прошептала: «Так ты меня и не услышал».

«Кулик» был одной из самых популярных мелодий для кото и, вполне естественно, давно входил в репертуар Куниэ. Но поскольку она собиралась играть его в последний раз в Японии, да еще в один день с отцом, то чувствовала особую ответственность. И с того дня, как была определена программа, репетировала без устали. Вначале особый лад «кокин»... Сколько раз повторяла она всю пьесу! Исполнением осталась довольна, но было невыразимо обидно оттого, что отец не слышал ее.

Куниэ часто слушала выступления отца по радио и на концертах, подобных сегодняшнему, — она училась. А вот Тосихиса, думалось ей, никогда не слышал, наверное, как она поет, играет на кото или сямисэне. Наверное, он не подозревает и о том, что в следующем месяце она уезжает в Америку. Ну что ж, тогда она уедет не попрощавшись. Если отец чересчур суров, ей ничего другого не остается, как бесстрастно покинуть его. Но что же на самом деле у него на душе? Если его упрямство связано со слепотой, стало привычкой, то виновата в их отчуждении она, его дочь, положившаяся на холодный рассудок.

Сомнения не оставляли Куниэ. Она сидела на влажной и пыльной циновке в просторной холодной гримерной.

На пальце ее руки, покоившейся на колене, помимо обручального кольца блестело платиновое кольцо с изумрудом. Она надела его потому, что зеленый подходил к расцветке ее кимоно. Когда пальцы Куниэ летали над тринадцатью струнами кото, в них чувствовалась недюжинная сила, а теперь, за кулисами, они выглядели нежными и изящными. На пальце сверкал и искрился зеленый камень.

Не оттого ли, что отец ее был слеп, Куниэ удивительно тонко чувствовала цвет? Вот и сегодня, перед тем как выйти из дому, она долго не могла решить, какое кольцо ей надеть — нефритовое или изумрудное, но поскольку это броское кимоно она сшила в расчете на американцев, то в конце концов решила, что к нему больше подойдет изумруд. Шесть лет назад она упросила отца купить его, когда на репетиции он вдруг похвалил ее исполнение.

— Наверное, изумруд дорогой?

— Да, но дешевле бриллианта.

— Тогда лучше бриллиант — это ведь капитал для женщины. Давай куплю.

— Но мне больше нравится изумруд.

— А какого он цвета?

— Грин.

— Какого?

— Зеленый. Вот этот звук, послушай.

Она тронула тринадцатую струну и левой ладонью легонько придержала ее. Тосихиса, напряженно вслушиваясь, сказал:

— Зеленый? Вот как. Да-а, наверное, он тебе пойдет.

Куниэ вспомнила тот разговор с нежностью.

Тосихиса ослеп еще в раннем детстве, и дочь объясняла ему цвета с помощью звуков. Он узнавал цвета от Куниэ,

когда она играла на сямисэне и кото. Это был язык, придуманный отцом и дочерью — оба обладали удивительным слухом.

Слепой музыкант строил свою жизнь в духе противоречия с миром зрячих, но любимой дочери удалось соединить два мира. Вот багрянец зари, вот голубоватая вода, вот белый, лиловый — оба понимали мир через звук.

«Отец, сегодня на мне кимоно в зеленых тонах. Говорят, оно мне очень идет. А кольцо — с тем самым изумрудом».

В эту минуту Куниэ беседовала с прежним отцом.

Тем временем служитель внес в комнату кото. Потом футляр сямисэна, столь знакомый Куниэ. Она удивилась: неужели уже так поздно? Взглянув на часы, она вдруг почувствовала, что голодна, и вышла из комнаты. Левый коридор вел в зрительный зал — так было ближе. Завернув за угол, она бросила взгляд в сторону артистического входа и увидела худощавую фигуру отца. Толстая Ниидзэки поддерживала его. Они направлялись сюда.

Стоя одна в гримерной, Куниэ погрузилась в мир мечтаний и там, в этом мире, упивалась общением с отцом. Теперь ей уже не хотелось столкнуться с ним. Когда Куниэ проходила мимо Тосихисы и Ниидзэки, стараясь держаться в полутьме, она вдруг совсем успокоилась. Она придет к Тосихисе после его выступления.

Куниэ миновала зрительный зал, очутилась перед витриной театрального ресторана и тут поняла, что уже не хочет есть. Она тут же вернулась за кулисы. Сначала ей следовало встретиться с Ниидзэки.

Увидев Куниэ у двери в гримерную, изумленная Ниидзэки раскрыла рот, чтобы что-то сказать, но Куниэ сделала ей знак глазами, и та замолчала, сделав учтивый поклон. Куниэ тоже — ничего не поделаешь — вежливо склонила голову и рукой поманила ее в коридор. Кикудзава Тосихиса, сидя на большой подушке, со спокойной улыбкой принимал посетителей. На людях слепой всегда кажется смиренным.

Ниидзэки тут же вышла за дверь.

— Ах, это вы, Куниэ! Как я рада вас видеть! Поздравляю с сегодняшним выступлением. Говорят, вы аккомпанировали Кадзикаве. Мне так хотелось послушать вас!

Пропуская мимо ушей всю эту тираду, Куниэ повела Ниидзэки в кафе на втором этаже театра. Она старалась быть пообходительней с этой женщиной, к которой испытывала поистине физиологическое отвращение.

В преддверии сегодняшней встречи Куниэ приготовила для Ниидзэки отрез ткани, желая отблагодарить ее за заботу об отце. Она забрала в гардеробной сверток, и женщины вошли в кафе. Чтобы получился разговор, подарок следовало вручить в самом начале.

— Ах, что вы...

Ниидзэки рассыпалась в благодарностях, стала гораздо разговорчивее.

— Я вам искренне благодарна за вашу заботу об отце, ведь это мой дочерний долг, а вы за меня стараетесь. Мы с ним ведь вдвоем остались.

— Ну что вы! Ведь он мой учитель, и потому это совершенно естественно. Можете не беспокоиться. И когда вы уедете в Америку, я за ним присмотрю. Это уж мое дело!

Куниэ какое-то время в немом изумлении смотрела на самоуверенное лицо Ниидзэки. Надо же быть такой толстокожей!

Тосихисе давно исполнилось шестьдесят. Но и теперь этот человек, снискавший громкую славу еще в молодости, член Академии искусств, нисколько не утратил своего мастерства. Да и финансовые дела его вовсе не таковы, чтобы Ниидзэки совать в них свой нос. Куниэ встревожилась. Каковы теперь доходы отца и вообще что происходит в доме после того, как дочь покинула его? Особых расходов у Тосихисы не было, и за вычетом регулярных трат у него должна оставаться изрядная сумма. До нее доходили слухи о том, что Ниидзэки метит на деньги отца. А вдруг это вовсе не напраслина?

Но что толку говорить? С годами, особенно после того, как он укрепился в мысли, что дочь предала его, Тосихиса стал все больше замыкаться в себе. Ученикам все труднее становилось общаться с ним; Куниэ уже слышала об этом и не смела строго судить Ниидзэки, тем более что в сложившейся ситуации больше некому будет позаботиться об отце. Поэтому оставалось только одно — обратиться к ней с просьбой.

— Ниидзэки, я хотела бы попросить вас... Вы знаете, что после смерти матери я не оставляла его. А теперь мы живем врозь, и я чувствую себя виноватой...

— Не беспокойтесь. Ему не так плохо!

«Этого еще не хватало — она, кажется, собирается утешать меня», — не поверила своим ушам Куниэ.

— И вот я хочу вас попросить... Вы, наверное, зна-

сте, что в начале следующего месяца мы улетаем, из Ханэды.

— Да? Так скоро? Вот как... А когда вернетесь?

— Не знаю. Если все будет в порядке, я постараюсь иногда приезжать сюда. Без мужа, конечно. Но как получится — не знаю.

— Ах так... И что же?

Ниидзэки явно не понимала, почему Кyниэ так переживает свой отъезд. Бессмысленно рассчитывать на понимание Ниидзэки, такая уж она есть — по отношению ко всем и ко всему. Куниэ уже отказалась от мысли просить ее о чем-либо.

— А отец... — наконец решилась спросить Куниэ, — что говорит отец о моем отъезде в Америку?

— Он ни о чем не подозревает. Я и сама узнала об этом совсем недавно, когда получала программу сегодняшнего концерта у сотрудника редакции и профессора М.

Куниэ откинулась на спинку стула и тяжело вздохнула: и почему эта женщина не сообщила отцу о ее предстоящем отъезде из Японии? Да и о сегодняшнем выступлении могла сказать. Да, она подозревала, что так обернется, но все равно у нее было такое чувство, будто ее окатили ушатом холодной воды.

— Я хотела сказать учителю о вашем отъезде. Но ведь стоит ему услышать ваше имя, как у него тотчас же портится настроение и он поднимается к себе на второй этаж. Сразу же. В ту самую темную комнату. Что тут поделаешь? Вот почему, — многозначительно заключила Ниидзэки, — я ничего ему и не сказала.

Поняв, что так она ничего не добьется, Куниэ вернулась к началу разговора:

— Послушайте, Ниидзэки. Если вдруг случится... я думаю, это маловероятно, но все же, если обстоятельства сложатся так, что я не смогу вернуться в Японию — надо иметь в виду и такую возможность... и потому...

Ниидзэки слушала с превеликой серьезностью, задрав свой толстый подбородок.

— Мне необходимо встретиться с отцом. Хочу поговорить с ним. Что вы об этом думаете?

Ниидзэки была вовсе не тем человеком, которого стоило об этом спрашивать, но вопрос сорвался сам собой. Ниидзэки важно открыла рот. Лицо ее было таким дородным, что даже веки казались тяжелыми.

— Такой уж он человек... Раз сказал, что никогда, зна-

чит, никогда. Вообще-то как ни берегись, а кто-нибудь из гостей о вас непременно обмолвится — каждый раз такая неприятность получается. Три года прошло, а он все упорствует. Ведь родные вы. Я этого не понимаю.

Теперь уже она, пожалуй, не против встречи Куниэ с Тосихисой. Может быть, Ниидзэки просто по глупости говорит с такой важностью, словно она, эта выскочка, обычная ученица, ближе Тосихисе, чем его родная дочь. Но в конце концов Куниэ высказала свое намерение увидеться с отцом, и ничего не остается, кроме как заручиться помощью Ниидзэки.

— Так я пойду к нему. Сегодня. Я уезжаю через неделю, и возможности больше не будет. Вы меня проводите?

Ниидзэки простодушно кивнула, но тут же ее лицо вновь приняло озабоченное выражение.

— Но перед выступлением лучше его не беспокоить...

— Да-да, понимаю. Я только посижу в гримерной. Если увижу, что он не в духе, то и после выступления не стану его беспокоить. Право же, мне будет вполне достаточно, если я только посижу рядом.

Ниидзэки, улыбаясь, несла ко рту ложку с пудингом. Куниэ пристально наблюдала за ней, думая о том, как быстро у нее меняется настроение. Женщина, занявшая то место, которое после смерти матери было отведено Куниэ... При мысли об этом неприятное подозрение кольнуло ее. А что, если отец и Ниидзэки... Нет, вряд ли. Куниэ решительно отмела эту мысль, но почувствовала тошноту от собственных сомнений.

Пробираясь по темному проходу за сценой, Ниидзэки обернулась и радостно прошептала:

— А вы знаете, сегодня мы будем исполнять «Сон на корабле»!

В программке стояло: «Танец — Фудэ Камбара, аккомпанемент — Тосихиса Кикудзава». Тут же мелкими знаками был набран театральный псевдоним Ниидзэки — Айко Кикудзэки.

Музыка «Сна на корабле» не считалась эзотерической, но тем не менее секреты исполнения ее передавались только от учителя к ученику. Тосихиса Кикудзава солировал на сямисэне, и то, что его ученица получила партию кото, было для нее, разумеется, большой честью. В ту пору, когда Куниэ выступала вместе с отцом, исполнять «Сон на корабле» ей не дозволялось. Куниэ завидовала Ниидзэки. С новой силой

она ощутила дистанцию между собой и отцом. Насколько ближе оказалась к нему Ниидзэки! Куниэ ревновала.

У служебного входа царило оживление — люди входили, выходили, собирались в группы. В гримерной патриарха японской музыки находилось немало посетителей, но они не слишком шумели — может быть, оттого, что хозяин был слепым. Посетители почтительно беседовали с ним, приветствовали глубоким поклоном, прижав руки к коленям. Они робели перед Тосихисой Кикудзавой, олицетворявшим все величие своего старомодного титула Великого Кэнгё, и, словно опасаясь его проницательности, вели себя строго в соответствии с этикетом.

«Сокровище духовной культуры нации» в кимоно черного блестящего шелка, расшитом гербами, беседовал с гостями с ослепительно ясной, словно древний меч, молодой улыбкой.

Куниэ села спиной к двери, чтобы посетители не узнали ее. Она украдкой смотрела на отца, видя только его одного. Ниидзэки предупредила учеников, и они старались делать вид, что не замечают Куниэ. Разумеется, Тосихиса Кикудзава не должен был ни о чем догадываться, и хотя некоторые посетители узнавали Куниэ, по ее жестам они тут же понимали, что ситуация щекотливая, и молча покидали комнату.

От служебного входа доносился надоедливый гомон. Куниэ пристально смотрела на отца. Он совсем не постарел — Тосихиса Кикудзава был таким же, как и три года назад. «За три года я так изменилась, а вот ты, отец, нет». Люди говорили, что он становится все более чудаковатым — и не подступишься, но Куниэ показалось, что он совсем не изменился по сравнению с портретом, написанным три года назад.

И теперь профиль Тосихисы, разговаривавшего с гостями, был молодым, и его слепое лицо показалось Куниэ даже прекрасным.

Куниэ вдруг пришла в голову странная мысль: «А может быть, хорошо, что он слепой?» В те времена, когда отец и дочь выступали вместе, Куниэ представлялось, что Тосихиса может так полно жить в мире звуков именно из-за своей слепоты.

На какое-то время Куниэ забыла, что скоро она уедет в далекую и чужую Америку.

Черное кимоно с фамильными гербами еще более подчеркивало худобу плеч Тосихисы, и только в этом, пожалуй,

сказались прошедшие годы. Широкие шаровары хакама в ярко-синюю полоску были сшиты из роскошной ткани сэндайхира. Куниэ подумала об этом с грустью. Наверное, и сегодня Тосихиса выбирал себе одежду сам. Она еще могла понять, что в молодости, когда он только сделался знаменитым, его могли радовать кричащие краски и броские узоры, но что сказать теперь, когда не за горами семидесятилетие? У зрячих на цвет совсем другой взгляд.

Ниидзэки в углу комнаты настраивала кото. Текли минуты, приближалось время выступления. Посетителей поубавилось.

Наконец голоса в комнате стихли и оркестр на сцене стал наигрывать эффектные темы из «Сна на корабле», подбирая мелодии для кото Ниидзэки и для сямисэна Тосихисы.

Через какое-то время Тосихиса холодно сказал: «Ниидзэки, дай сюда кото».

Ниидзэки молча сидела с обиженным видом. Жестом она приказала молодой ученице подать инструмент.

Тосихиса разрешил Ниидзэки взять для псевдонима — Айко Кикудзэки — иероглиф «кику» из своего имени, признав тем самым определенные успехи ученицы. Легко представить себе ее стыд: ведь он не доверял ей настройку кото, даже когда она не появлялась из-за ширмы — как в сегодняшнем выступлении. Две девушки положили кото перед Тосихисой, а Ниидзэки не выдержала, вскочила с места и, не глядя на Куниэ, вышла из комнаты.

Остались Тосихиса, кото, две ученицы и Куниэ. Куниэ села перед отцом, только инструмент разделял их. Ей хотелось крикнуть: «Отец!» Надо было только дождаться подходящего момента.

Тосихиса, наверное, думал, что перед ним сидит кто-то из посетителей. Он привык, что перед выступлением люди не оставляют его одного, и не обращал на них внимания. Тосихиса спокойно натянул плектр, пробуя звучание каждой струны.

Кото было настроено на лад «Сна на корабле». Да и кто бы, кроме самого Тосихисы, мог заметить фальшь? Но Куниэ мгновенно услышала: четвертая струна звучит слишком высоко. Она не видела отца так долго, но ее пальцы метнулись прежде мысли — Куниэ поправила кобылку.

Тон едва уловимо, но изменился.

Тосихиса тут же еще раз прошелся по струнам.

Четвертая звучала в лад.

Тосихиса уловил движение сидящего перед ним человека. В ее пальцах отдалось эхо звука, задержавшегося в плектре.

Кyниэ.

Отец.

У них перехватило дыхание, будто от удара током.

На виске Тосихисы забилась жилка — раз, еще раз. Слова теснились и жгли Куниэ горло.

Но тут Тосихиса Кикудзава наклонился и вернул кобылку четвертой струны в прежнее положение. Затем поднял пятую струну. Настроил шестую, седьмую, одиннадцатую, двенадцатую, тринадцатую. Потом, не останавливаясь, поправил кобылки у первой, второй и третьей, настроив все тринадцать струн выше.

Куниэ сжалась, и, пока она осознавала, что же произошло, Тосихиса горделиво выпятил грудь и, как будто бросая вызов, несколько раз провел по струнам перестроенного на высокий лад кото.

Куниэ вышла из гримерной — отец выгнал ее, отверг. Минуя коридор артистического входа, кишевшего людьми, она остановилась в полумраке кулис. В углу, где валялась декорация — обшарпанная статуя покровителя детей и странников Дзидзо, она плакала без слез. В горле пересохло, дыхание останавливалось. Живот схватывали спазмы.

Через зал Куниэ прошла в туалет — умыться и успокоиться. Но, открыв дверь, она застыла, увидев свое отражение в большом зеркале напротив. На нее смотрели безумные зрачки. Глаза были огромные — совсем не такие, какие должны быть у дочери слепого. Наконец хлынули слезы.

Пошатываясь, Куниэ вошла в зал и села на свое место. Она хотела послушать отца вместе с Джорджем и купила билеты в передних рядах партера. Джордж уже был там. Он взглянул на жену и, не сказав ни слова, снова стал смотреть на сцену.

Пристроившись рядом с мужем, Куниэ беззвучно плакала. «Он отверг меня», — терзала ее мысль. Ей вновь и вновь представлялся отец — его гордость и молчание сказали то, что не могли выразить его глаза.

Но вот поднялся занавес. Фудэ Камбара со свечой в руке стояла у золотой ширмы — прекрасная до трагизма. Тосихиса сидел перед сямисэном слева на алом ковре совершенно один, отрешенный от мирских забот, подобно старому монаху с горы Коя. Ниидзэки была скрыта ширмой.

Вот опущены весла.
Над водою в дымке тумана
Не шелохнется приречный бамбук.
В его гуще таится печаль.
И в меня проникает грусть,
Лишь сойду я с зыбкой ладьи,
Колеблемой, словно во сне беспокойном.

Можно было представить, каково Ниидзэки за золотой ширмой. Высокий лад ее кото Тосихиса понижал сямисэном и голосом. Те, кто знал «Сон на корабле», были, надо думать, в ошеломлении от того, как высоко было настроено кото.

В песне, пронзительно воспевающей грусть и страдания странницы, Куниэ чувствовала безграничный гнев отца. Дыхание его нимало не сбивалось, торжественно звучал сямисэн, и все так же гневно звенели струны. Сямисэн полностью подчинил себе истерическое кото, Тосихиса пел самозабвенно. Это было прекрасное искусство.

Виртуозность танцовщицы, словно плавающей в музыке, также восхищала знатоков. Фудэ Камбара находилась уже в том возрасте, когда к актеру приходит изысканная простота. Но сама она выглядела молодой и свежей, нисколько не утратив блеска. С Тосихисой Кикудзавой они выглядели удивительно гармонично.

В сердечной тревоге
Ночи я провожу,
Приклонившись к веслу
Взамен изголовья.
Но вот и легко на душе —
Наконец я пристану
К прибрежной сосне!
С тобою руки сплету
На тысячи, тысячи лет!

После такого исполнения громкие аплодисменты были неуместны. Занавес стал медленно опускаться, и, только когда он наконец коснулся пола, зрители с восхищением перевели дыхание. В заключение программы исполнялся бодрый танец, но немало зрителей покинуло зал, чтобы не испортить впечатления.

Куниэ и Джордж тоже поднялись.

— Пойдешь за кулисы? — спросил Джордж.

Куниэ покачала головой.

Слезы уже давно высохли. Она была потрясена игрой отца, вернее, Тосихисы Кикудзавы. «Великолепно! — думала она. — Куда мне до него».

— Видела отца?

— Видела. Но поговорить не удалось.

Джордж больше не касался этой темы. О «Сне на корабле» он сказал, что Фудэ Камбара была прекрасна, а про игру Тосихисы пробормотал: «Глубокая и сильная».

Будучи студентом, Джордж изучал историю Востока и увлекся традиционным японским искусством. Собственно, и с Куниэ он познакомился потому, что стал поклонником школы Тосихисы. С какими же чувствами прослушал он выступление своего тестя? Куниэ молча следовала за ним, пока они искали свою машину на стоянке перед театром.

Щеки остужал вечерний воздух зимы, но холодно не было.

Неделя пролетела в мгновение ока. Все хлопоты, связанные с отъездом, Джордж взял на себя, и Куниэ почти все время могла бы посвятить себе самой, но, чтобы поставить точку на «обучении», она проводила дни в нескончаемых визитах к прежним наставникам и старшим коллегам.

С тех пор как Куниэ решилась уехать в Америку, она не только без устали упражнялась в игре на кото, кокю и сямисэне, ей хотелось побольше узнать о пьесах театра Но, игре на малом барабане, балладах Киёмото. Полгода — это так мало, и все свободное время Куниэ решила посвятить учению.

К кому бы ни обращалась дочь члена Академии искусств, всюду ей с необыкновенной любезностью открывали сокровенные секреты мастерства. Это была удача. Но Куниэ все более проникалась мыслью, что ее ждет нелегкое будущее.

День отъезда начался очень рано.

Джордж спозаранку отправился за город к своему учителю, чтобы попрощаться с ним. (В университете Джордж упорно занимался философией Востока. И после окончания он часто ездил к маститому японскому старцу — как только у него появлялось свободное время.) Сама же Куниэ завершила сборы еще накануне и тоже встала рано, предполагая без помех провести оставшиеся в Японии часы. Служанка допоздна помогала ей в сборах и теперь должна

была появиться только во второй половине дня. Багаж тоже отправляли после обеда. Самолет компании «Пан-Америкэн» вылетал в девять часов вечера.

Их квартира в доме для иностранцев в районе Аояма была упрощенным вариантом первоклассной японской гостиницы, что в значительной степени облегчало отъезд. Мебель принадлежала хозяевам, комнат в квартире было мало, из утвари — только самое необходимое. Багажа поэтому получилось так мало, что Куниэ даже удивилась.

Куниэ думала о том, как много вещей было в доме отца. Вся утварь выглядела основательной, какой ей и полагается быть в доме придворного музыканта, Великого Кэнгё, и даже любая безделушка в гардеробной, расположенной в глубине дома, говорила о величии владельца. А сейчас все то, что так берегла мать, должно быть, засунуто в дальний угол сундука...

Прибранную комнату наполнил свет. К половине восьмого Куниэ уже навела порядок. Воспоминания о родительском доме стали меркнуть и наконец исчезли совсем.

Сегодня, уже совсем скоро, Куниэ покинет землю Японии, на которой она прожила тридцать лет. Однако осознать это до конца Куниэ никак не могла.

На Куниэ было тонкое шерстяное платье, и она немного вспотела. Батарея была раскалена. Хоть летнее платье надевай. За окном под холодным небом резкими и сильными порывами налетал сухой зимний ветер. Сквозь стекло виднелось декабрьское небо. Небо Японии, с которым сегодня предстоит расстаться. Небо, похожее на старинную песню, небо, похожее на отца. Из нагретой комнаты Куниэ смотрела на холодное небо.

Два маленьких чемодана. Весь ручной багаж супругов. Куниэ открыла чемодан и достала кимоно с редким набивным узором. Сейчас она переоденется. Еще вчера Куниэ решила, что до полудня она проведет время с сямисэном.

Поскольку кото было слишком велико для самолета, его отправили морем еще вчера, но для сямисэна Куниэ приготовила футляр — он полетит вместе с ней.

Куниэ завязала нарядный пояс цвета киновари и опустилась на колени, чтобы достать инструмент. Ничего не подозревая, она открыла футляр — и вскрикнула от неожиданности.

Белая кожа на корпусе лопнула, струны на грифе без-

жизненно провисли — вид исковерканного инструмента был ужасен.

Тонкая и нежная кошачья кожа дает сямисэну неповторимый звук, но, если не ухаживать за ней, она рвется сама собой. В последние дни у Куниэ не было спокойной минуты, чтобы взять в руки инструмент, хотя ей так этого хотелось.

— Сямисэн нужно любить и нежить, даже если не играешь на нем. А если забыть о нем, кожа сердится и рвется. Она чувствует небрежность души острее, чем кто бы то ни было. — С самого детства Тосихиса твердил Куниэ, что даже в те дни, когда играть некогда, следует с любовью погладить деку и провести по струнам, а иначе инструмент разгневается, ибо у него душа тоньше человеческой. Когда Куниэ выросла, она, подобно остальным, стала считать, что инструмент портится от чрезмерной влажности или колебаний температуры, но окончательно забыть слова Тосихисы не могла.

Трудно даже сосчитать, сколько раз рвалась кожа на сямисэне с тех пор, как Куниэ покинула отчий дом ради новой жизни! Это была комфортная жизнь с кондиционером, центральным отоплением, без сквозняков — не то что в старом отцовском деревянном доме, где времена года неспешно сменяли друг друга. Нынешний быт Куниэ больше соответствовал машинной цивилизации, и организм как-то приспособился к нему, но вот инструменты, которые прожили в старом доме дольше, чем сама Куниэ, не могли привыкнуть к переменам. Днем и ночью они издавали ужасающие звуки и лопались в своих футлярах. И каждый раз Куниэ кожей ощущала гнев отца. Правда, она чувствовала, что его ярость направлена не только против нее.

До Тосихисы Кикудзавы история японской музыки сводилась к воспроизведению стиля жизни прошлых поколений: монотонной череде репетиций и непременной передаче секретов мастерства от наставника ученику. Но начиная со второй половины двадцатых годов и в послевоенное время стала исчезать жизненная основа для продолжения этого искусства.

Вот и сейчас, перед тем как сесть за сямисэн, Куниэ, как и другие артисты, должна была сменить на кимоно европейское платье. Она восприняла это как знак — таившаяся в глубине души тревога обрела свою физическую форму.

Куниэ побледнела, неотрывно глядя на исковерканный

сямисэн. Порванная белая кожа сморщилась и дрожала. Куниэ не то чтобы потеряла присутствие духа, скорее ею овладело предчувствие какого-то несчастья. Утром того дня, когда она покидает Японию...

Неужели отец и на этот раз не получил письма, которое она отправила позавчера срочной почтой? Видения вспыхивали молниями. Куниэ вспомнила, как неделю назад она встретилась с отцом в театре.

Влекомая этим стремительным потоком, Куниэ горько заплакала. Слезы полились ручьем, и она зарыдала в голос. Затылок занемел, как будто по нему ударили молотком. И так она стенала, моля о том, чтобы сознание покинуло ее. Куниэ казалось, что она сходит с ума.

В тот день Тосихиса Кикудзава никак не мог успокоиться. Непосредственным поводом послужило письмо от Куниэ, переданное Ниидзэки вчерашним утром, но беспокойство овладело им еще неделю назад на концерте.

Когда Тосихиса настраивал кото для исполнения «Сна на корабле», он неожиданно почувствовал присутствие Куниэ. Никто, кроме нее, не смог бы так мгновенно перестроить четвертую струну. После трехлетней разлуки Тосихиса всем телом почувствовал близость дочери и жестоко отверг ее. Долгая разлука лишь укрепила его непреклонность.

Во время исполнения «Сна на корабле» Тосихиса словно незримо бродил по залу — он искал Куниэ. Высокому ладу кото Ниидзэки поначалу сопутствовала его ярость, но затем она утихла, словно колебания камертона, и тогда сямисэн и голос слились в единое целое:

— Куниэ, ты слышишь? Ты слышишь?

Когда они вернулись в гримерную, Ниидзэки принялась корить его:

— Учитель, кото оказалось настроено слишком высоко. На сцене уже не исправишь. Что с вами случилось?

— Ты играла хорошо, Ниидзэки. — Воспользовавшись растерянностью ученицы, он коротко бросил: — Куниэ приходила.

— Вы с ней разговаривали?

— Да, конечно...

Тосихиса пытался убедить себя, что действительно разговаривал с Куниэ. И тут он услышал то, чего никак не ожидал:

— Она уезжает в Америку через неделю. Это внезапно получилось.

В глаза Тосихисе ударила резкая боль. В ушах стоял грохот, словно рушился дом. Тосихиса не помнил, что́ он ответил Ниидзэки.

Тогда, после выступления, Тосихиса надеялся, что Куниэ вернется в гримерную, но ждать не стал и, не слушая поздравлений зрителей, поспешно уехал домой и с тех пор почти ни с кем не разговаривал, даже с посетителями.

Итак, дочь уезжает в Америку. День отъезда близок. Судя по намекам Ниидзэки, обратно она вряд ли вернется. Особенно невыносимо для Тосихисы было то, что все новости стали известны Ниидзэки раньше, чем ему. Заботясь о своем отцовском престиже, Тосихиса сказал Ниидзэки, будто он уже знает об отъезде дочери. И в эти дни, когда Ниидзэки только еще собиралась завести разговор о Куниэ, он чувствовал это скорее, чем она успевала открыть рот, и у него тут же портилось настроение. Поскольку Тосихиса делался все более раздражительным, Ниидзэки могла спокойно сочувствовать Куниэ. Вот и случилось, что разговор кончился, так и не начавшись.

Тосихиса всегда надеялся, что Куниэ смиренно ждет его прощения, хотя он и выгнал ее из дому. Эта мысль соединяла его с дочерью. Он полагал, что дочь, даже отвергнутая, не сможет расстаться с ним и терзается раскаянием. Но теперь его самоуверенность безжалостно рушилась.

«Она едет в Америку? Это естественно — ведь она опустилась до брака с этим волосатым. Едет, и ладно, пусть творит что хочет», — убеждал он себя. Но весть о ее отъезде поразила его как гром среди ясного неба. Пока Куниэ и он сам жили в одной стране, бескомпромиссное отречение от дочери имело смысл. Но теперь Тосихиса узнал, что она отправляется в чужую страну за океаном, и ощутил отчаянную беспомощность человека, в одиночку борющегося с волнами, — неприкаянность достигла предела.

— Идиотка.

Неужели она хочет бросить и сямисэн, и пение?

— Идиотка.

Что с тобой будет в стране волосатых варваров? И откуда берутся такие дуры?

Но брань тут же перешла в еле слышное бормотание. Тосихиса предпочитал раздража́ться и переживать в одиночку.

Когда она едет? Сколько пробудет в Америке? Вернется или нет? Ответа не было. Ведь упрямый Тосихиса никого об этом не спрашивал. Четыре дня прошло в нестерпимом бес-

покойстве. После бессонной ночи Тосихиса поднялся с постели, тут же сел за сямисэн и почувствовал, как исхудали его руки. В это время почтальон принес два письма — одно было адресовано Ниидзэки, другое Тосихисе Кикудзаве. Оба от Куниэ.

В письме к Ниидзэки говорилось, что у Куниэ не было возможности встретиться с отцом. Жаль, но, как говорили в древности, наверное, такова ее карма. Однако у нее есть просьба напоследок. Куниэ хочет, чтобы Ниидзэки прочла ее послание отцу. Судя по почерку, письмо писалось в спешке. Она уезжает завтра. Ниидзэки оценила важность момента и ощутила себя участницей драмы. Она стояла на страже справедливости, и роль казалась ей выигрышной.

С решительным видом она вошла в комнату Тосихисы и приступила к разговору:

— Учитель, от Куниэ пришло письмо. Прочтите его, прошу вас, ведь оно может быть последним.

Тосихиса протянул руку и сказал:

— Дай сюда.

Взяв письмо, он тут же засунул его за пазуху.

— Но... давайте же я прочту! — растерянно воскликнула Ниидзэки.

Однако Великий Кэнгё Кикудзава ответил сердито:

— Сам прочту.

С этого часа Тосихиса держал письмо при себе. Даже ночью не вынимал из-за пазухи. Знаменитый старец приобрел положение и богатство, но читать он не мог. Не выучился он и азбуке Брайля.

Но Тосихиса все равно не желал, чтобы письмо Куниэ читала Ниидзэки, — он не хотел услышать, как голос Ниидзэки произносит то, что на душе у Куниэ. Этот конверт непереносимо дразнил его, но ему было неприятно до него дотрагиваться, и, как только рука тянулась за пазуху, он тут же брался за сямисэн.

— Учитель, к вам гости, — из-за сёдзи со стороны веранды донесся голос Ниидзэки. По голосу он почувствовал, что она находится в коридоре. Тосихиса демонстративно отвернулся от двери и спросил:

— Кто там?

— Это молодая ученица Юкиёси Кикуоки с матерью. Вы на днях обещали принять их, — сказала Ниидзэки таким тоном, что отказать было трудно.

— Я послушаю ее. Пусть войдут.

Ему говорили, что у его ученика занимается способная девушка, для которой музыка не праздное времяпрепровождение. Она будто бы собиралась посвятить искусству свою жизнь. Поэтому Тосихису попросили послушать ее. Поскольку о дне и часе встречи договорились заранее и речь шла только о прослушивании, Тосихиса решил не отказывать, несмотря на то что был не в духе.

Двадцатилетняя девушка и ее мать трепетно склонились перед «Сокровищем духовной культуры нации», но, когда Ниидзэки приободрила их, мать прорвало: уж и не знаю почему, но только дочь бредит сямисэном, и учитель хвалит ее способности, не знаю уж, насколько искренне, хотелось бы убедиться в этом и не ошибиться в выборе жизненного пути. Поэтому мать просила, чтобы Тосихиса непременно послушал игру дочери, вынес беспристрастную оценку, и уже на ее основании дочь примет окончательное решение.

Подобный практицизм Тосихиса не любил больше всего. Это был какой-то современный образ мыслей. Тот, кто перед началом большого дела ставит во главу угла будущий успех, есть человек мудрствующий, а с таким образом мыслей невозможно постичь сущность искусства.

— А что ты сама думаешь?

— Очень хочу играть, по-настоящему!

Ее мгновенный ответ понравился Тосихисе.

— Ну, сыграй что-нибудь. Хоть «Черные волосы».

Она тут же принесла сямисэн. Тосихиса улыбнулся, слыша, как девушка настраивает инструмент. Похоже, старательная.

Звук не так плох. Из-за волнения ей вначале не хватало уравновешенности, но потом она запела с достаточной уверенностью:

Распустила я волосы,
Что когда-то связала узлом
В знак клятвы сердечной.
И таким одиноким было мое изголовье
Этой ночью, когда спала без тебя.

И голос тоже неплох. Выходит, Кикуока хвалил ее не зря. Но была причина, по которой Тосихиса не решился бы назвать игру девушки превосходной.

Он сразу почувствовал, что голос хороший и берет она

звук правильно, но Тосихисе не нравилось, как она держит интервалы. Голос и музыка были согласованы, но что-то не так было в сцеплении звуков. При исполнении песня меняла свою сущность.

— Хорошо, достаточно, — сказал Тосихиса, не дослушав до конца. — Ты, наверное, занималась европейской музыкой?

— Да, она брала уроки игры на фортепиано, но с позапрошлого года ее увлек сямисэн.

Мать раздражала Тосихису.

— Знаешь, чем отличается сямисэн от пианино?

— Да.

— Чем же?

— Да вот сямисэн труднее. Если на пианино играешь по нотам, то звуки складываются в музыку. А если играть по нотам на сямисэне, мелодии не получится. В этом для меня и заключается очарование сямисэна. В чувстве или в дыхании дело — выразить не могу. В общем, говоря высоким стилем, мне нравится, что сямисэн несовместим с машинной цивилизацией, — с жаром сказала девушка.

— Кто-нибудь из подруг играет на сямисэне?

— Нет, никто. Но все говорят, что это необычная музыка.

— Не говорят, что устаревшая?

— Нет. Поскольку европейская музыка появилась в Японии позже, то какой смысл говорить, что сямисэн устарел. Наоборот, сейчас музыканты за границей считают, что эта музыка относится к школе импрессионизма. Глупо спорить, что современнее — рояль или скрипка. Они разные — вот и все.

Этим высказыванием девушка неожиданно пригласила Тосихису к разговору. Ему стало интересно. И Куниэ в ее годы говорила нечто подобное и постоянно искала смысл в своей работе.

— А в чем все-таки разница?

— Может, я и не права, но мне кажется, что европейская музыка движется по поверхности звука, а японская — по внутренней стороне.

— Интересно.

— Я хочу сказать, что есть звуки явные и неявные.

Тосихисе вдруг пришла в голову мысль. Неожиданно он быстро проговорил:

— Пойдем наверх — хочу тебя еще послушать. А мать пускай здесь останется.

Держа свой сямисэн словно некое оружие, Тосихиса поднялся на второй этаж в сопровождении ученицы, а оставшиеся внизу женщины переглянулись.

— У нее есть талант. Точно.

— Да что вы говорите!

— У кого способностей нет, те на второй этаж не ходят. Он никого туда не пускает.

— Неужели?

Тосихиса зажег свет в комнате на втором этаже. Стало светло.

Было начало одиннадцатого. В комнате с закрытыми ставнями застыл зимний промозглый воздух. В этой комнате, отрезанной от солнечного света, при странном свете электрической лампочки, включенной слепым, девушка почувствовала, как ее сердце пронзила боль.

— Я слышал, ты учишься в университете?

— Да.

— Ты сильно преуспела в логике своих рассуждений.

— Я вас поняла. Нет такой музыки, в которой было бы так мало логики, как в японской.

Тосихиса засмеялся, сдаваясь:

— Молодец!

Девушка тоже улыбнулась.

— Неудобно просить такую чудесную девушку, но уж будь добра, прочти это письмо. — Тосихиса вынул конверт из-за пазухи. — А потом сыграй, пожалуйста, «На цветке мальвы».

Девушка чувствовала себя польщенной — ей доверили переписку личного свойства. Она решительно вскрыла конверт.

«Я слушала "Сон на корабле". Я бесконечно сожалею, что не смогла поговорить с Вами тогда. Мне было нестерпимо стыдно, что я такая дурная и никчемная дочь. Оттого и не пришла поклониться Вам в артистическую.

Четвертого декабря в девять часов вечера мы улетаем из Ханэды самолетом "Пан-Америкэн". Случилось так, что тем же рейсом летит учитель Иваки, который едет на Гавайи с гастролями. Возможно, он будет и в Калифорнии, и он попросил меня в этом случае аккомпанировать ему на кото. Я надеюсь чем-нибудь ему услужить.

Мне очень тяжело покидать Японию, так и не сумев сделать для Вас ничего приятного. Мне очень больно быть рядом

с Вами и не видеться. Будет ли легче от того, что я уеду в Америку...

Вы, верно, подумаете, что это пустые слова, ведь я не исполнила своего дочернего долга, но я от всего сердца желаю Вам здоровья.

Невыразимо много хочу я сказать и спросить, но теперь, когда близок день отъезда, это уже неосуществимо. Прошу Вас об одном: простите меня за то, что я нарушаю свой долг перед Вами.

Куниэ»

Уразумев всю серьезность прочитанного, девушка, стараясь не производить лишнего шума, аккуратно сложила письмо.

— Ты знаешь «На цветке мальвы»?

— Да.

Тосихиса попросил ее играть. Девушка села за сямисэн, глубоко вздохнула и провела по струнам. Это была мелодия тяжелой ревности.

Во время исполнения у девушки случались перебои с дыханием. Тосихиса цепенел. 4 декабря — сегодня. Сегодня вечером Куниэ покидает Японию. Четвертое декабря. Девять часов вечера. Самолет. Ханэда. Она уезжает сегодня. Так неожиданно. Барабанные перепонки словно разорвал шум моторов. Самолет. Америка. Кото. Юкио Иваки. Калифорния. Ханэда. Девять часов вечера. Сегодня. Как будто удары градин. В нетопленой комнате ужасно холодно.

Когда он наконец очнулся, исполнение было окончено. Девушка не знала, что ей делать с руками, лежавшими на коленях.

— Петь под сямисэн непросто. В особенности для тебя — ведь ты сначала училась европейской музыке. Приготовься к тому, что тебе придется переучиваться с самого начала. Если не забудешь пианино, то не сумеешь проникнуться духом родной музыки. Звуки тоже важны, но истинный дух сямисэна и кото неуловим, как оборотень.

— Я поняла.

— Хорошенько подумай и решай сама, продолжать тебе или нет. Здесь ничего нельзя делать наполовину.

— Я поняла.

— Если все же решишь заниматься, приходи хоть завтра. Тогда я скажу про твои изъяны в технике.

Студентке университета было над чем задуматься после

торжественного обещания, данного ей Великим Кэнгё, после изматывающей игры под взглядом его слепых глаз и, наконец, после того, как ей стала известна судьба его родной дочери.

После ухода посетителей Тосихиса продолжал неподвижно сидеть в комнате. Он словно оцепенел.

Когда Ниидзэки принесла поднос с обедом, он спросил:

— Иваки едет на Гавайи?

— Говорят, что да.

— Я поеду его провожать.

— Как?!

— К семи вызови машину. Я поеду в Ханэду.

— Сегодня?

— Да. Я пообедаю один. Иди.

После реконструкции в аэропорту Ханэда все обновилось, яркий свет слепил глаза. Толпились оживленные люди. Было даже весело — не то что перед отплытием корабля. Расставание теперь редко ощущают как трагедию.

За время, прошедшее с окончания войны, Юкио Иваки уже неоднократно гастролировал в Америке с концертами кото, но в среде музыкантов приняты торжественные проводы. Глаза раздражали обилие цветов и нескончаемые вспышки фотокамер.

В этой суете Куниэ Кикудзаву осаждали знакомые. Она даже забыла про печаль первого в ее жизни расставания с Японией. Пышность, принятая в клане Иваки, претила вкусам Куниэ и ее душевным устоям. Оттого она чувствовала себя немного усталой, но все же ей было приятно, что столько людей не пожалели своего вечера, чтобы приехать на проводы.

Знакомых Джорджа тоже пришло намного больше, чем он ожидал. Под комментарии мужа Куниэ выслушивала напутствия людей, большинство из которых она видела впервые. С артистами Куниэ обменивалась заученными с детства фразами, а здесь в разговоре ей приходилось напрягать все свои силы, надо было отвечать на приветствия дам и господ — знакомых мужа, живущих в мире довольно интернациональном по своему характеру. Причем каждого следовало заметить, с каждым поговорить. С новой остротой она почувствовала, что японские артисты пребывают в странном мире гордой уединенности. И в будущем ей предстоит многому научиться.

У входа на таможню, словно грохот волн, троекратно пронеслось: «Да здравствует учитель Иваки!» Слишком много шума, но зато другие пассажиры узнали, что настало время таможенного контроля. Американцы были одеты в дорогу довольно легкомысленно, а японцы как будто собрались на какое-то торжество. Столпившись перед входом на таможню, пассажиры уже наспех прощались со своими друзьями. Целая толпа собралась — человек сто.

Люди давили на Кунию, но, почувствовав за собой Джорджа, она снова обрела спокойствие.

Сейчас она уедет. С мужем. В страну мужа.

Добравшись до ограды, на которой была укреплена табличка «Провожающим вход запрещен», Куниэ обернулась к Японии. И тут она остолбенела.

— Что случилось?

— Это отец...

Куниэ и Джордж выскочили из извивающейся очереди.

Тосихиса Кикудзава в сопровождении Айко Ниидзэки прощался с Юкио Иваки.

Иваки никак не ожидал, что его придет провожать старейшина японских музыкантов. Он был чрезвычайно польщен такой честью и многократно поклонился Тосихисе. Куниэ растерянно вглядывалась в бледный профиль отца, искаженный улыбкой. Джордж перехватил у нее чемодан, но она не поняла значения этого его жеста.

Одновременно с тем, как Иваки согнулся в поклоне, Ниидзэки увидела Куниэ и помахала ей рукой. Не здороваясь с ней, Куниэ подбежала к отцу.

— Отец...

Тосихиса наслаждался звучанием голоса, которого он не слышал три года. Сгорбленная спина отца заставляла Куниэ с грустью почувствовать время. Ей невыносимо захотелось сбросить туфли на высоких каблуках и заплакать, прижавшись к его коленям. Куниэ ждала ответа.

— Это ты, Куниэ?

— Да, отец.

— Послушай... — Он спросил неуверенно: — Ты вернешься?

Что-то обжигающее ударило в нос откуда-то изнутри. На глаза навернулись слезы. В голове была пустота.

— Верну-усь, — наконец ответила она.

И в этот момент ей вспомнилась лопнувшая утром кожа сямисэна. Затаив дыхание, она не отрываясь смотрела на отца.

— Значит, вернешься? — прошептал он тонкими губами.

Куниэ сделала шаг навстречу съежившемуся старому телу отца, и у нее закружилась голова.

Засверкали вспышки. Газетные репортеры, приехавшие поживиться на проводах Иваки, набросились на сцену расставания Тосихисы Кикудзавы с дочерью и защелкали камерами, запечатлевая сенсацию.

Тосихиса тут же непроизвольно принял позу, достойную члена Академии искусств. Он выпятил грудь и напыжился, будто бы находился на сцене.

— Уже пора. Иди скорее.

Подбежал какой-то безумный корреспондент и спросил о «впечатлениях».

— Прошу извинить, но у меня нет времени.

Куниэ мелкими шажками добежала до лестницы, ведущей вниз, к таможне. Джордж отдал ей чемодан, и тут она впервые всхлипнула, потом зарыдала. С каждой ступенькой Куниэ все более отчетливо понимала, что она покидает страну, в которой ей так часто приходилось плакать.

Теперь, когда начался таможенный досмотр, до отправления самолета оставалось менее часа. Отрезанные от таможни провожающие, толкая друг друга, устремились к смотровой площадке. Аэропорт, значительно перестроенный в конце прошлого года, и снаружи, и изнутри был скроен по международным образцам. Люди бросали медные монеты в отверстие, и автомат по одному пропускал их на смотровую площадку. Началась невообразимая толчея. Хотя до отлета оставалось достаточно времени, каждый старался проникнуть на смотровую площадку первым. Перед узким неудобным проходом к автомату срабатывал эффект толпы — люди приходили в возбуждение и азарт.

Оценив ситуацию, Ниидзэки с беспокойством подумала о немощном теле Тосихисы. Она обожала современный театр стиля Симпа. Наблюдая в первом акте трогательную сцену прощания, она дала волю слезам и говорила теперь дрожащим голосом:

— Учитель, здесь столько народу!

— Похоже, что так.

— Вас затолкают, может, подождем немного? Я спрошу дежурного, он поможет.

— Не стану ждать, — отрезал Тосихиса и добавил: — Пусть там полно людей, а я пойду. На проводах Иваки обойдусь и без чужой помощи.

Низенькая толстушка Ниидзэки, прикрывая сзади Тоси-

хису, пыталась протиснуться к входу. Но сгрудившиеся люди не проявляли особой предупредительности к старику и женщине не первой молодости. Толпа давила так сильно, что Тосихиса и Ниидзэки совсем не продвигались. Ниидзэки не отчаивалась и, выставив плечо, пролагала дорогу, одновременно сдерживая тех, кто напирал сзади, но их всякий раз отбрасывало назад. Пока она сражалась, худое тело Тосихисы от случайного толчка скользнуло в узкую щель между спинами и животами. Он потерял Ниидзэки, водоворот затянул и закружил его.

Выбраться оттуда старику было не под силу. Выставив подбородок вперед и не пытаясь сопротивляться, он отдался движению. Тосихиса не мог судить, приближается он к входу или нет. Но он двигался.

— Учитель! Учитель! — кричала где-то растерянная Ниидзэки, но в этой толчее никто не мог предположить, что среди них находится «Сокровище духовной культуры нации». Тосихиса, как и всякий в этой толпе, тяжело дышал и обливался едким потом.

Чтобы попасть на смотровую площадку, Тосихиса бессмысленно потратил столько времени, но, когда он наконец вырвался из толпы, ему показалось, что он внезапно очутился на громадном голом поле.

Куниэ уходила от него все дальше. «Отец, отец!» — начинала она, но разговора состояться не могло. Потому что не было времени. А впрочем, даже если бы оно и было, они все равно ничего бы не сказали друг другу.

— Учитель, вы не ушиблись? Столько народу. Напрасно мы так спешили — до отлета еще столько времени.

На летном поле стояли три лайнера иностранных авиакомпаний. Они выстроились внизу, рядом со смотровой площадкой. Тосихиса и другие провожающие ждали на галерее вышки, взметнувшейся в небо. Трап самолета «Пан-Америкэн» находился под ними, но расстояние было слишком велико, и на самом деле пассажиры и провожающие уже ничего не могли сказать друг другу. Новый современный аэропорт был лишен эмоций. Пассажиры внизу прошли таможню и, верно, уже чувствовали себя за границей, а провожающих все еще не отпускало возбуждение.

Дул сильный ветер, с наступлением ночи заметно похолодало. «Завтра, может, снег пойдет», — переговаривались люди, поеживаясь. Они вторглись сюда, словно снежная лавина, а в этом просторном поле не видно лиц отъезжающих. И время тянется бесконечно. Тут люди как-то заскучали.

«Какая разница! Можно и вернуться, все равно ничего не видно», — громко говорили с разных сторон.

Беспокоясь о пояснице Тосихисы, страдавшего ревматизмом, Ниидзэки уговаривала его вернуться домой:

— Учитель, уже поздно. Вам нельзя простужаться. Может быть, вернемся?

— Не говори глупостей. Самолет еще не взлетел.

— Но отсюда даже лиц не видно, а когда самолет взлетит — и подавно.

— Да? Что же, если зрячим не видно, то и провожать не надо?

Переубедить его было невозможно...

Двигатели заработали с семиминутным опозданием. До отлета оставалось пятнадцать минут, и лайнер стал выруливать на взлетную полосу. Когда он оторвался от земли, рев двигателей долго еще стоял в ушах Тосихисы. Сквозь топот ног он пытался уловить шум самолета «Пан-Америкэн», уносившего Куниэ.

И когда Тосихиса сел в машину и она тронулась, он все еще продолжал вслушиваться в небо. Ниидзэки сидела рядом и время от времени хлюпала носом. Она делала это не нарочно, и поэтому Тосихиса не стал выговаривать ей. Плакала она или просто подхватила насморк, но разговаривать Тосихисе не хотелось.

У Куниэ ему прежде всего хотелось спросить, вернется она или нет, и он спросил ее, и она ответила — вернусь. Но Тосихиса не был удовлетворен ответом. Наоборот — по ее тону он заключил, что Куниэ не вернется. Почему — он и сам не знал. Но так ему казалось.

В ревущем стоне двигателей Тосихиса пытался расслышать молитву Куниэ, но тщетно. Кроме металлического грохота, он ничего не слышал.

Тосихиса считал, сколько же сокровенных мелодий он не успел передать. Доля, которой он, капризный мэтр, по своей скупости не поделился ни с Куниэ, ни с лучшими учениками. Достаточно одного, кому он передаст секреты музыки и тайны пения. Пусть придет близкий его сердцу человек, который постигнет его замыслы.

Явится ли завтра та девушка, что была сегодня? Непонятно почему, но эта мысль то и дело приходила ему в голову.

Автомобиль мчался по пустынным ночным улицам. Вдавившись в сиденье, Тосихиса сцепил руки под полами накидки. У него стыли пальцы. Рядом с собой он ощутил пол-

ное тело Ниидзэки. Чувство это пришло после того, как он вспомнил: несколько лет назад они вдвоем с Куниэ вот так же тряслись в машине, возвращаясь с концерта.

— Водитель, остановите-ка на минутку, пожалуйста!

Автомобиль резко затормозил. Подавшись вперед и глядя только перед собой, Тосихиса сказал:

— Ниидзэки, садись вперед.

Ученица не посмела ослушаться решительного приказа учителя. С неожиданной покорностью Ниидзэки выскочила из машины. Может быть, в словах Тосихисы она расслышала мольбу.

Передняя дверца резко захлопнулась. Автомобиль снова рванулся по бесконечной ночной дороге.

СИДЗУКО ГО

ОДНОФАМИЛЬЦЫ

Мы заключили тайное соглашение. Тайна была соблюдена, условия выполнены. Все прошло хорошо, без сучка, без задоринки, может быть, даже слишком хорошо.

Вначале я опасался, что из-за какой-то его оплошности тайна выплывет наружу. Но он честно соблюдал условия, держал язык за зубами, и когда я наконец успокоился, то вдруг почувствовал, что сам могу случайно проговориться. Тайну следовало сохранить при любых обстоятельствах, и, когда стало ясно, что так оно и будет, я внезапно ощутил неодолимую потребность с кем-нибудь ею поделиться. Это явилось для меня полной неожиданностью.

Похоже, моя старшая сестра была близка к разоблачению нашей тайны. В последний день первого семестра — я тогда учился во втором классе, — просматривая мой школьный дневник, она сказала:

— Ма-тян, никак не пойму, что с тобой приключилось. Вроде бы ты так прилежно занимался — и вдруг такие посредственные отметки!

Конец! Теперь наша тайна будет разоблачена, с испугом подумал я. Но на этот раз все обошлось исключительно потому, что сестра принадлежала к породе одноклеточных и к тому же безоговорочно доверяла своему единственному младшему брату. С младенческих лет она воспитывала меня, как родная мать, часто баловала и даже во сне не могла бы предположить, что я способен на такой безрассудный поступок. Глядя в спину склонившейся в молитве сестре, положившей мой дневник на домашний алтарь рядом с по-

минальной дощечкой с посмертным именем отца, я пробормотал:

— Постараюсь исправиться.

В последнее время мои отметки в дневнике были хуже некуда. Раньше у меня по всем предметам, кроме физкультуры и музыки, стояли одни пятерки, а теперь — сплошь тройки и четверки. Немудрено, что сестра удивилась. А в его дневнике наоборот: вместо троек и четверок теперь, должно быть, одни пятерки. Это означало, что соглашение выполнялось и тайна была соблюдена.

Одно происшествие чуть не погубило мой план в самом зародыше. Первые двадцать пять тысяч иен, полученные мною за пятерки по основным предметам, я решил положить в ближайшее почтовое отделение. Принимая от меня деньги, жена начальника почты, противная тетка, подозрительно поглядела на меня и спросила:

— Ма-тян, откуда у тебя такие деньги?

Мало того, возвращаясь из бани домой, она заглянула в нашу лавку и спросила, нет ли охлажденного арбуза. Пока я доставал из холодильника арбуз, она стала расхваливать меня перед сестрой: мол, Ма-тян — молодчина! Я похолодел, чувствуя, что вот-вот у меня остановится сердце. К счастью, зазвонил телефон, и, пока сестра разговаривала, я быстро сунул тетке арбуз и буквально вытолкал из лавки. В общем, тогда все обошлось. Но меня возмутило другое: какое право имела эта женщина совать нос в чужие вклады да еще доносить родственникам? Ведь это настоящее злоупотребление служебным положением!

Наученный горьким опытом, я во время летних каникул стал забирать с почты деньги мелкими суммами — по три-пять тысяч иен — и вкладывать их в недавно открытое отделение банка Д. Оно находилось чуть дальше от нашего дома, зато там никто не спрашивал, откуда у меня деньги, и все было поставлено исключительно на деловую основу.

Мои отметки не улучшились ни во втором семестре, ни в третьем. Они и не должны были улучшиться. Тройки и четверки в моем школьном дневнике отражали не мои, а его знания. Зато вклад в банке к концу каждого семестра возрастал на двадцать пять тысяч иен.

— Я надеялась, что наш Ма-тян обязательно поступит в школу М., но теперь, наверно, придется отказаться от этой затеи, — задумчиво произнесла сестра, когда я перешел в третий класс и настала пора подавать документы в школу М.

В этот момент она очень походила на мать. Внешне се-

стра еще как-то храбрилась, но я видел, что она крайне расстроена, словно это касалось не меня, а ее самой.

— Прости меня, — пробормотал я, лежа наверху нашей двухъярусной кровати, поджав под одеялом ноги.

Кровать жалобно заскрипела.

Хотя весна уже наступила, в пять утра все еще было темно, и, думая о том, что сестре приходится в такую рань гонять мототележку на оптовый овощной рынок, я еще раз прошептал:

— Прости меня.

До чего же тяжко было мне обманывать свою справедливую, заботливую и до невозможности добрую сестричку. Как хотелось открыть ей, только ей одной, мою тайну. Но всякий раз я стискивал зубы, убеждая себя в том, что минутная слабость может провалить все дело.

Школа М. считалась лучшей муниципальной школой в нашем районе. В свое время сестра занималась днем и ночью, чтобы попасть в эту школу, и была принята, получив высшие оценки, но проучилась там только год и ушла сразу после смерти отца.

В тот год во время весенних каникул произошло столько печальных событий, что даже теперь я не могу вспоминать о них без боли и душевного волнения. В первый день каникул погиб мой отец. Утром, когда он ехал на машине, какой-то сумасшедший мотоциклист выскочил на встречную полосу. Отец, пытаясь его обойти, не удержал управление, упал с пятиметровой эстакады и разбился насмерть. После ночных бдений у тела усопшего и похорон мать на седьмой день свалилась с сердечным приступом. В те дни наш дом напоминал проходной двор, то и дело заходили и уходили какие-то люди, а мне сказали, чтобы я не мешался под ногами и шел на улицу. И сразу же нашлись такие, кого это возмутило: мол, как он может играть на улице, когда в доме такое горе? Я просто не знал, куда деваться.

Короткие весенние каникулы промелькнули, как один день, снова надо было идти в школу. Вот тогда-то я и заметил, что стол, за которым занималась сестра, странно опустел. Оказывается, она, ни с кем не посоветовавшись, ушла из школы. С тех пор минуло пять лет...

На вывеске нашего магазина красивыми иероглифами выведено: «Овощная лавка группы Накагава». Под претенциозным названием «Группа Накагава» подразумеваются четыре зеленных лавки, которые по указанию деда были открыты в соседних районах. Во главе этих лавок стояли

отец и его братья. Они вели дело сообща, и поэтому смерть отца не внесла особых перемен в нашу жизнь. Правда, теперь сестра отправлялась за зеленью не на машине отца, а на грузовике, который присылали из главной конторы, и, когда я возвращался из школы домой, на полках нашей лавки, как обычно, уже были выставлены свежие овощи, а сестра с матерью обслуживали покупателей. По вечерам, во время наибольшего наплыва покупателей, я им помогал. Я отлично считал в уме, не пользуясь счетами, крепкое здоровье унаследовал от родителей, поэтому работа мне была не в тягость. К сожалению, никто из нас не умел водить машину, и после смерти отца нам пришлось отказаться от доставки овощей на дом, а это не замедлило сказаться на семейном бюджете. Правда, особой нужды мы не испытывали, но для себя я принял решение не поступать в школу М., а заняться работой в овощной лавке.

Помимо семейных обстоятельств меня укрепил в этом решении один противный тип из нашей школы. Если бы не он, я, наверное, окончил бы школу М. и даже поступил в университет, отказавшись от торговли овощами.

После церемонии по случаю окончания начальной школы, где меня отметили как лучшего ученика года, я зашел в туалет и нос к носу столкнулся с этим типом.

— Послушай, Накагава, — сказал он мне. — В Японии множество начальных школ, и в каждой из них есть лучший ученик года. Поэтому ты не очень зазнавайся и подумай о своем будущем.

Правильно говоришь, подумал я, но почему ты даешь советы другим, когда сам дожил до седых волос, а должность старшего преподавателя, тем более помощника директора, тебе не светит? Ты уж лучше побеспокойся о себе — как бы тебе не загреметь отсюда в какую-нибудь захудалую школу в провинции. И все же не могу сказать, чтобы этот тип был так уж мне противен, да и совет старшего надо принимать во внимание — особенно если он дельный.

При поступлении в среднюю школу надо представить данные о семейном положении, а также записать пожелания на будущее. Сестра поставила большой кружок в графе о намерении поступить в школу второй ступени, вписав в нее: «В муниципальную школу М.». Я к тому времени окончательно решил не поступать в эту школу, но возражать не стал — не хотел лишать сестру ее заветной мечты. Не раскрыв сестре свои планы, я поступил нехорошо, но это был не такой уж злостный проступок по сравнению с тем, что я замыслил

осуществить. Об этом речь впереди, и его реализации способствовали два обстоятельства. Первое состояло в том, что в нашей школе был ученик по имени Мамору Накагава. Не будь его, не возникло бы и моего плана. Второе условие — разный подход со стороны администрации к тем, кто хотел продолжить учебу, и тем, кто намеревался по окончании школы сразу же поступить на работу. Мало того, к тем, кто хотел не просто продолжить учебу, а поступить в престижные учебные заведения, было особое отношение.

Безусловно, свобода выбора предоставлялась каждому, но свобода эта оставалась пустым звуком, если она не была подкреплена реальными возможностями. Если ты не оказался в числе пятидесяти лучших по показателям за год, оставь надежду попасть в любую престижную школу, будь то муниципальная или частная. А для того, чтобы сохранить свое место в полусотне лучших, надо на втором году обучения обязательно попасть в первую группу. У преподавателей первой группы, не говоря уж об учениках, на все особые взгляды. Еще когда я учился в первом классе, мне по клубной работе приходилось общаться со старшеклассниками, которые с особой интонацией говорили о первой группе, и я тогда усвоил, что переход в первую группу на втором году обучения — важнейшее событие, которое должно повлиять на всю мою последующую жизнь. Я понял также и то, что перевод в седьмую группу, состоящую из желающих поступить на работу, означал бы, что оставшиеся два года учебы загублены понапрасну. Старшеклассники говорили, что у школьников из седьмой группы легкая жизнь. Как бы плохо они ни учились, их никогда не ругают учителя. С седьмой группой были одни неприятности — то они устраивали драки до крови, то занимались воровством. И главное, что я усвоил: ни один из школьников не хотел по своей воле перейти в седьмую группу.

Еще будучи в первом классе, я внимательно наблюдал за Мамору Накагавой, изучал его характер, обдумывая и шлифуя детали своего плана. Когда же я узнал, что во втором классе он был переведен в первую группу, я решил привести свой план в действие.

При переходе на второй год обучения меняется состав класса. Мало того, меняются также классные руководители и преподаватели.

Наши начальные школы — моя и Мамору — располагались соответственно в южной и северной части района, и у нас тогда не было случая познакомиться, но и поступив в

одну и ту же среднюю школу, мы общались чрезвычайно редко. Наши имена — Масару и Мамору — различались только двумя буквами, и однокашники не замедлили присвоить нам клички «Са» и «Мо», что невольно вызывало у нас взаимную неприязнь.

Отец Мамору руководил довольно крупной больницей и очень хотел, чтобы его единственный отпрыск пошел по стопам родителя. Однако Мамору последовательно проваливался на вступительных экзаменах в начальную, а затем и в среднюю школу при частном университете, выпускником которого был его отец. В конце концов он оказался в нашей муниципальной средней школе. Обо всем этом мне рассказали вскоре после того, как я туда поступил.

Нельзя сказать, чтобы Мамору был тупицей. Вовсе нет! Иначе навряд ли его включили бы в первую группу. Просто он не любил заниматься. Точнее говоря, его интересы лежали в другой области. Его увлекала классическая музыка, особенно музыка в стиле барокко. Родители требовали, чтобы он вел себя скромно, пока не получит диплом врача. Но он не особенно прислушивался к их советам. Это было не в его характере. Он не нуждался в деньгах — родители давали ему на мелкие расходы столько, сколько бы он ни попросил. В его комнате был прекрасный стереомагнитофон — не хуже, чем у известного музыкального критика, — а также самый современный проигрыватель. Я никак не мог понять логику родителей Мамору: если они хотели умерить его страстное увлечение музыкой, следовало бы поменьше давать ему денег. Сам он старался не вступать в пререкания с баловавшими его родителями. Обычно он запирался в своей комнате, брал в руки учебник, надевал наушники и занимался, слушая музыку. Когда ему надоедало сидеть в одиночестве, он шел в гости к своим друзьям-меломанам и, позабыв обо всем на свете, погружался в безбрежное море звуков. Всю свою энергию он растрачивал на музыку, уделяя учебе лишь малую толику своих способностей.

Не так просто было найти место, где мы могли бы переговорить без помех. Нам не следовало афишировать наши будущие приятельские связи в школе. Кстати, прежде мы не дружили, и мне было непросто найти предлог для переговоров. Я стал регулярно посещать район, где он жил, проходил мимо больницы его отца, заглядывал в ближайшие книжные лавки. Вскоре я выяснил, что Мамору часто бывает в одном магазине грампластинок. Я стал заходить в расположенную

напротив книжную лавку, листал какой-нибудь журнал, рассчитывая на случайную встречу.

Впервые, заметив меня, он крайне удивился и лишь кивнул. Во второй раз сказал «Привет!» и лишь на третий подошел и спросил: «Разве поблизости от твоего дома нет книжных лавок?» Я ему откровенно признался, что пришел сюда не покупать книги, а встретиться с ним и поговорить. Он удивленно покачал головой и спросил: «А разве этого нельзя было сделать в школе?» Я ответил, что в школе по такому делу говорить неудобно. Я поманил его в глубь книжной лавки. Мы остановились у полки с учебными пособиями на английском языке. Я взял с полки учебник и, листая его, рассказал о своем плане. Когда я предложил ему заключить соглашение, он некоторое время молча меня разглядывал, потом спросил: «Ты уверен, что это получится?» «А что может нам помешать?» — возразил я. Он задумался, потом согласился: «Пожалуй, ты прав, но нам следует вести себя крайне осторожно. Учителям важно содержание ответа на вопросы в билете, а кто писал — это им безразлично, — добавил он, потом спросил: — А ты в самом деле не будешь жалеть об этом?» Какой же ты наивный, подумал я. Видимо, он никак не мог понять, что для человека, решившего по окончании школы заняться торговлей овощами, иметь пятерки по всем предметам скорее минус, чем плюс. Правда, я не стал распространяться об истинной причине, подвигнувшей меня на осуществление моего плана. Это было мое личное дело, и его оно совершенно не касалось.

С самого начала я ему сказал: это коммерческая сделка; предмет торговли для меня особой цены не имеет, но для тебя он важен; я готов его продать, а ты решай — будешь покупать или нет. Он ответил, что пятерки по основным предметам его бы очень устроили — с такими оценками он мог бы поступить в среднюю школу второй ступени при частном университете. По своему опыту он еще с начальной школы усвоил, как трудно сдавать экзамены, и не рассчитывал пройти вступительные экзамены в среднюю школу второй ступени. При его трудолюбии это было исключено. Его так обрадовало мое предложение, что, расчувствовавшись, он сказал: «Когда стану врачом, буду всю жизнь лечить тебя бесплатно». Мысленно я отказался, подумав про себя, что такому врачу, как Мамору, опасно вверять свое здоровье.

Выполнить задуманный мною грандиозный план оказалось на редкость просто. Способом подмены на вступительных экзаменах пользовались с незапамятных времен, и мы

успешно применяли его при семестровых экзаменах в течение двух лет. Получив экзаменационный билет, я писал ответ, а подписывался фамилией Мамору Накагавы. Точно так же поступал Мамору: ставил вместо своей мою фамилию.

В нашем соглашении упоминались и другие условия: в день экзаменов обязательно присутствовать в классной комнате; как и прежде, не переговариваться друг с другом; на своих книгах и записях не писать полностью имя, а ставить одинаково М. Накагава — ведь преподаватель мог в любой момент потребовать наши записи. Мы должны были строго соблюдать эти условия, поскольку речь шла не об однократной подмене, как на вступительных экзаменах, а о постоянной.

Плату за оказываемые мной услуги он установил сам. Мне свой товар оценить было сложно, да и о материальном положении покупателя я был недостаточно осведомлен. В настоящей коммерции при таких исходных данных трудно вести дело, поэтому мне пришлось согласиться на его условия. Мамору предложил: «За каждую пятерку плачу пять тысяч иен, за четверку — четыре тысячи, за тройку...» Но тут я остановил его, сказав, что троек не будет.

Я учился хорошо. Ведь учеба превратилась для меня в коммерческое дело и мой товар должен был отличаться самым высоким качеством. Это был захватывающий трюк: с одной стороны, я прекрасно выполнял все учебные задания, а с другой, благодаря получаемым мною низким оценкам (на самом деле не моим, а Мамору) я мог убедить сестру отказаться от мысли определить меня в школу М. Скажу сразу: мне не составило особого труда соединить эти противоречивые цели.

Все прошло без сучка, без задоринки, и он смог поступить в ту школу при университете, о которой мечтал. Я же на третьем году обучения пребывал в нерешительности. Мне надо было еще раз все тщательно обдумать, чтобы наилучшим образом завершить свой план. Соглашение с ним действовало до второго семестра, но для того, чтобы не возникло каких-либо подозрений, я решил продлить его на третий. Я все обдумал и решил сдавать экзамены для поступления в школу М., несмотря на предупреждение классного руководителя, что при моих оценках это бессмысленно. Как я и рассчитывал, меня в школу М. не приняли. Честно говоря, экзамены не показались мне сложными. Я не хотел, чтобы провал был явным, и мне пришлось немало пот-

рудиться с экзаменационными билетами, стараясь обойтись минимумом моральных потерь.

Спустя несколько дней после окончания школы я снял со своего счета в банке сто пятьдесят тысяч иен, оставив лишь наросшие за это время проценты. Я проявил осторожность, изымая не сразу все деньги, а по двадцать пять тысяч. На эти сто пятьдесят тысяч иен я намеревался приобрести для сестры к ее дню рождения — семнадцатого апреля — колечко с бриллиантом. Однажды, когда отец еще был жив, она прочитала в журнале для девочек статью о драгоценных камнях. Мне тогда запомнились ее слова:

— Жаль, что я не родилась в июне. Тем, кто родился в июне, соответствует жемчуг, а апрельским — бриллиант. Так что мне за всю жизнь не суждено иметь колечка со своим камнем.

— Смеет ли дочь зеленщика мечтать о колечке с бриллиантом? — в шутку заметил отец.

На что сестра вполне серьезно возразила:

— Тот, кто так считает, унижает себя. Зеленщик — вполне достойная профессия. И полезная для общества. Ничего плохого не вижу в том, чтобы, хорошо поработав неделю, нарядиться в воскресенье и, надев кольцо с бриллиантом, пойти в театр или в ресторан.

Я отправился на центральную улицу нашего города, отыскал там самый большой ювелирный магазин и, разглядывая витрину, увидел замечательное кольцо с бриллиантом. До этого я видел колечко с бриллиантом в лавке часовщика, расположенной наискосок от нашего дома, но разве можно было сравнить тот бриллиант с этим? Он и блестел-то по-другому.

Мне просто повезло: на этикетке, прикрепленной к кольцу, стояла цена сто пятьдесят тысяч иен — ровно столько, сколько у меня было. Я вошел в магазин и попросил продавщицу — девушку примерно того же возраста, что и моя сестра, — показать мне кольцо с бриллиантом, выставленное в витрине. Девушка приподняла подведенные лиловым веки и так посмотрела на меня, словно хотела проверить мои умственные способности. Я смутился, и что-то толкнуло меня выйти за дверь и еще раз взглянуть на витрину. Видимо, я принял желаемое за действительное. На этикетке стояла цена не сто пятьдесят тысяч, а миллион пятьсот тысяч... В глубине магазина я с самого начала заметил пожилого мужчину. Я подошел к нему и откровенно признался, что хотел бы приобрести для сестры, которая так обо

мне заботится, кольцо с бриллиантом за сто пятьдесят тысяч иен. Мне трудно было объяснить нужный размер, поэтому я захватил лежавшее на туалетном столике сестры колечко с рубином, купленное ею по случаю за триста иен. Пальцы моей сестры были чуть не вдвое толще пальчиков девушки-продавщицы. Ведь она с шестнадцати лет занималась физическим трудом — грузила овощи.

Мужчина пообещал изготовить кольцо с бриллиантом за сто пятьдесят тысяч. Когда я пришел получать заказ, меня неприятно удивила грубая работа. Кольцо получилось чересчур широкое, а в самом центре сверкал малюсенький бриллиантик. Но все же это был бриллиант, и блестел он совсем не так, как в кольце, увиденном мною в лавке часовщика.

Вечером в день рождения сестры, после того как мы закрыли свою овощную лавку, я пригласил ее в кафе, предупредив, что нам надо кое о чем поговорить. Хозяин кафе поставил перед нами маленький именинный пирог, который я заранее заказал, и две чашки кофе.

— Вот уж не ожидала от тебя такого внимания! — воскликнула сестра и, расчувствовавшись, зашмыгала носом.

— Это еще не все, главное — впереди, — ответил я и положил перед ней кольцо. — Бриллиант настоящий, я купил его на заработанные деньги.

И я торопливо, проглатывая слова, поведал ей о своем секретном соглашении с Мамору.

Сестра молча выслушала меня, потом прижала ладони к лицу и заплакала.

— Ты совершил нехороший поступок. Это же мошенничество, обман! — сразу осипшим, как у старых людей, голосом проговорила она сквозь слезы.

Я возразил, что это вовсе не мошенничество, поскольку деньги получены в оплату за проданный мною товар.

Сестра трясла головой и стояла на своем: мол, я ничего взамен не дал.

Заметив, что хозяин удивленно на нас поглядывает, я смутился и решил больше не возражать. Я даже пошел на компромисс, поскольку дело было сделано.

— Может быть, ты и права, — сказал я сестре, — и, если считаешь, что я должен пойти в школу и сказать правду, я так и сделаю. Но должен предупредить: это доставит неприятности не столько мне, сколько в первую очередь Мамору.

Сестра умолкла, больше не решаясь мне возражать.

Я допил остывший кофе, съел кусочек пирога, показавшегося мне чересчур сладким, и неожиданно подумал, что в упреках сестры есть доля истины.

В самом деле, на столе перед моими глазами лежало кольцо стоимостью в сто пятьдесят тысяч иен, а из моей головы ничего не убыло — напротив, она обогатилась знаниями за два года упорной учебы.

Наконец сестра подняла на меня глаза и сказала:

— Будем считать, что я от тебя ничего не слышала. Это кольцо я, конечно, надевать не стану. — Она взяла со стола коробочку с кольцом и захлопнула крышку. — Но я сохраню его до конца жизни, — добавила она и впервые за весь вечер улыбнулась.

РИЭ ЁСИЮКИ

ПОРТРЕТ МАТЕРИ В ЧЕРНОМ

1

Она получила заказанные в нескольких экземплярах семейные фотографии, на которых было запечатлено их новое жилище — и снаружи, и внутри. Это был великолепный дом, выделяющийся среди прочих солидными воротами. В прихожей росло в горшке пышно зеленеющее растение — «денежное дерево». Сиоко разослала эти фотографии родственникам, друзьям и знакомым. К фотографиям она приложила пространные письма о событиях последнего времени, написав их от руки, каллиграфическим почерком, ровными, аккуратными иероглифами.

Мебель тоже была вся новая, а на стене гостиной виднелась старая черно-белая фотография в рамке. Это был портрет Кинуко, покойной матери Такэси, хозяина дома. Сиоко познакомилась с Такэси и вышла за него замуж уже после смерти Кинуко.

...Кинуко родилась в начале эпохи Тайсё[1] и была старшей дочерью в семье зажиточного горожанина. В свадебное путешествие ее родители поехали в Никко и в память о тамошней реке Кинукава назвали девочку Кинуко. Имя ее без конца перевирали и коверкали безбожно, но она, думая о тех счастливых для родителей денечках, радовалась тому, что была рождена в любви.

Многие эпизоды ее школьной жизни как яркие вспышки света врезались в ее память. Вообще она была в числе

[1]Тайсё — период с 1912 по 1925 г.

лучших учеников и жила беззаботно, потому очень удивлялась, узнавая задним числом, что в классе над ней насмехаются.

Смуглая круглолицая Кинуко вышла замуж за своего товарища детских лет, очень одаренного юношу. Маленького роста, всегда доброжелательная, она была столь чувствительна, что могла заранее угадать, кто придет в дом или кто звонит по телефону. Ее муж, высокий, сдержанный человек, стал адвокатом.

У них родился долгожданный сын Такэси.

Во младенчестве Такэси однажды пропал, исчез, — как говорится, «боги спрятали». Произошло это в те несколько мгновений, когда нянька отвернулась.

Полиция сочла, что его похитили, и начала расследовать дело. Обыскали на большом участке все противовоздушные щели — укрытия от бомбежек, — но безрезультатно. Через три дня Кинуко отправилась на поиски еще раз и услышала какой-то слабый шелест. В укрытии сидел Такэси, живой и невредимый. Его тогда как раз отлучали от груди, а он, найдя бумажный кулек, забытый в щели старшей сестренкой, игравшей там с соседскими ребятишками, засунул в него лицо и лизал конфеты.

Во всем квартале только дом Кинуко избежал пожара во время войны и муж ее вернулся с войны.

Кинуко продолжала растить Такэси с еще большим тщанием и предосторожностями. Прежде чем варить ему рис, она заставляла старших дочерей вместе со служанкой высыпать зерна на черный лакированный поднос и отбирать подпорченные, чтобы остались только рисинки безупречной формы. А сама тем временем то и дело поглядывала в сад, на ладную фигурку мальчика, игравшего с деревянной лошадкой.

Такэси считался чудо-ребенком. Когда открылись школы, он прослыл вундеркиндом, говорил и действовал обдуманно, но, если в мгновение ока намерения его менялись на 180°, Кинуко все равно полагала, что он прав. Это считалось проявлением его исключительности. Кинуко с восхищением взирала на сына, получившего от богов дарования, недоступные простым смертным.

Так она жила день за днем, а потом в течение года от болезней умерли обе ее дочери. Сначала старшая, которая только что была помолвлена. Потом младшая, совсем отказывавшаяся от еды, попросила мороженого. Было раннее утро, и Кинуко стояла перед магазином в ожидании

открытия. Девочка съела мороженое с удовольствием, но в тот же вечер скончалась. На следующий год Кинуко похоронила и мужа. Несчастья следовали одно за другим; доверив финансовые дела одному знакомому, она потеряла бóльшую часть имущества, и для нее наступили тяжкие времена. Многие обманывали ее, совсем не знавшую жизни.

Такэси ни разу ни в чем не упрекнул свою мать.

Он получал стипендию, но, даже учась в колледже, работал, чтобы хватало на жизнь. Кинуко же терзал рак. Прибавлялись траты на лечение, но Такэси уже закончил университет. Он присутствовал при кончине матери. Смерть настигла ее на середине пятого десятка.

...И после смерти Кинуко продолжала являться Такэси во сне. Прошло уже почти двадцать лет с тех пор, как она перешла в мир духов, и уж мало осталось людей, кто видел ее при жизни.

2

Кинуко приснилась Такэси вскоре после смерти. Такэси запомнил приснившееся ему место, где он встретил женщину, так похожую на мать, и на другой день отправился туда. Там, где он потерял ее из виду, оказался лотерейный киоск, и он купил на память один билет. Билет выиграл, и на полученные деньги Такэси открыл дело.

Потом Кинуко пришло в голову, прежде чем покинуть сей мир, подыскать сыну подходящую невесту.

Она остановилась перед витриной соседнего фотоателье, где были выставлены фотографии девушек, одетых в лучшие наряды. «Вот тихая и милая девушка. Стала бы она женой Такэси, и я бы ни о чем не тревожилась», — подумала она.

И второй раз Кинуко приснилась Такэси. Тело ее состояло из светящихся частиц. Такэси смотрел на нее словно в ослеплении.

На следующий день, в воскресенье, он побрел по дороге, по которой во сне шел с матерью. Кинуко-призрак следовала за ним в некотором отдалении, потом выплыла из-за его спины и остановилась перед витриной фотоателье.

В кафе, куда Такэси частенько забегал выпить кофе, как ему сказали, ежедневно наведывался владелец фотоателье. Тот еще издалека увидел Такэси и сразу заговорил о деле. В одну минуту Такэси узнал все о девушке с фотографии. Она

была старшей дочерью странствующего актера — знакомого владельца ателье, звали ее Сиоко, первым ее в витрине приметил один богатый старик, который возжелал взять ее второй женой, однако сама она не горит желанием; девушка прямодушная, живого нрава, и владелец ателье, подумав о Такэси, как раз принес ее фотографию, чтобы оставить в кафе, — тут он вынул из портфеля фотографию. Такэси, воодушевленный выигрышем в лотерею, немедленно попросил, чтобы его познакомили с девушкой.

Когда же в кафе появилась сама Сиоко, Кинуко увидела, что на ее светлом лице проступают темные пятнышки; если присмотреться, они начинают расти, и лицо девушки каменело и делалось как у оборотня, притаившегося в глубине пещеры. «Это дурной человек! Попадешь в беду!» — беззвучно вырвалось у Кинуко. В ту минуту все вокруг потемнело. И у призраков могут случаться обмороки.

После того как Такэси и Сиоко расстались, Кинуко направилась следом за девушкой. Сиоко показала уличному гадателю биографию Такэси.

— Можно ли предсказать его будущее? — спросила она.

— Он станет богачом. Этого человека хранит его покойная мать.

— Ох, не могу! Свекровь-призрак! — заливисто рассмеялась Сиоко. — Ну, довольно. Плачу половину.

И она удалилась.

«Доверчивый человек превращается в призрак. Но и тогда остается жертвой обмана». Гадатель бросил мимолетный взгляд в сторону Кинуко. Взволновавшись, Кинуко устремилась за Сиоко. В кафе на оживленной улице ее ждал какой-то мужчина. Они обнялись и дальше пошли вместе.

Нужно немедленно что-то предпринять! Однако Кинуко-призрак не могла ничего сказать, и это было непереносимо. Что же он сам-то не видит этих черных пятен? Кинуко сосредоточилась. У нее даже защипало глаза от пристального вглядывания в Такэси.

Когда Такэси исполнилось двадцать семь, он построил красивый дом и женился на Сиоко. При доме был садик, достаточно большой, чтобы там могли играть ребенок и собака. «Ваша супруга первая красавица в округе», — твердил ему приказчик. Сиоко что ни день показывалась в обществе жены местного богача. Та подбила ее ходить на занятия чай-

ной церемонией и икебаной. «Вот увидите, в будущем я буду жить в доме получше, чем у нее», — говорила Сиоко младшим братьям и сестрам.

Такэси нравился одной официантке из соседнего кафе.

— Мужчина — вроде стиральной машины. Возьмет в работу, а потом выжмет досуха, — говорил ей, посмеиваясь, Такэси. Когда он смеялся, официантка опускала ласковые глаза.

— Очень мило сказано, — отвечала она.

После женитьбы два года подряд у Такэси и Сиоко рождались дети, и сначала Такэси не особенно радовался, считая, что ему еще рано становиться отцом, и поручал жене самой решать, какие им дать имена, но постепенно привязался к ним.

Как-то на Новый год собрались родственники Сиоко, и они с Такэси сфотографировались в кругу родных. Братья и сестры Сиоко были принаряженные и сплетничали напропалую. Такэси всегда давал им деньги на образование и вообще на жизнь.

Узнав, что помощник его заложил часы, Такэси сказал, что подарит ему свои.

— Нельзя! Не отдавай! — разревелся трехлетний Кай, их старший сын. Помощник отказался. «Все равно Такэси много тратит. Но раз уж вмешался ребенок, ничего не поделаешь!» — подумала Кинуко. Наблюдавшая эту сцену Сиоко спокойно отправилась на кухню и там посмеялась вволю.

— Такой умный мальчик, весь в отца, — похваливал ребенка родственник, но тот не обращал на них ни малейшего внимания.

— Вот сборище идиотов, — потешалась Сиоко. — То ли дело его настоящий отец — человек трезвого ума.

Кай, стоящий рядом с матерью, глядя на нее, просиял.

— Сиоко-сан, что за дурные шутки? — Кинуко сказала это, лишь шевеля губами. — У мальчика красивые глазки, совсем как у Такэси. — И она приласкала внука, но вдруг ее охватило сомнение. — Да неужели такое возможно?

— Настоящий отец мальчика куда красивее Такэси, но продувная бестия. Лгал беспрерывно, ужасный тип. Говорят, окрутил дочь одного богача и зажил припеваючи. Но стоит на краю пропасти, и я вот думаю — а не подтолкнуть ли его сзади? — Сиоко снова весело рассмеялась.

«Какой она страшный человек», — ужаснулась Кинуко,

но поскольку вслух ничего сказать не умела, то известить Такэси у нее не было никакой возможности. «Как это грустно — быть призраком». Из глаз Кинуко потекли слезы.

Такэси часто получал подарки. Когда он велел Сиоко поделиться с помощником грибами мацудакэ, она нежным голосом выразила согласие, на деле же завернула немного древесных грибов сиитакэ. Помощник понял, что лучше смолчать.

У Сиоко было несколько младших сестер и братьев. Все они были очень похожи на нее. Когда у них рождались дети, то они тоже больше походили на их родню, чем на собственных отцов, — эта кровь брала верх. В доме вечно торчали или сестра, или брат Сиоко.

Неизвестно, что они могут натворить, тревожилась Кинуко и стала больше времени проводить с ними, нежели с Такэси.

Как-то мимо проходила соседка, женщина средних лет, нарядно одетая, но от природы бледная как смерть, совсем без краски в лице. Поклонившись, она уже хотела пройти мимо, но Сиоко с широкой улыбкой на лице сказала: «Ваша дочка такая прелесть, что Кай просто очарован. Вы бы ее выводили почаще». А Кай, взглянув на женщину, стал неуклюже двигать руками, изображая оборотня. «Приношу извинения», — спокойно сказала Сиоко и, взяв сына за руку, продолжала путь.

Дома же в разговоре с младшей сестрой облила ту женщину презрением:

— Если еще не выздоровела, так нечего на улицу показываться. Не заразиться бы еще... И Такэси нельзя иметь дело с такими людьми, пусть откажет ей от дома.

После этого в течение нескольких дней Кинуко приходила к Такэси во сне и пыталась жестами воззвать к нему.

— Снова мне мать приснилась, — объявлял Такэси, и Сиоко бросала косой взгляд на портрет. Кинуко холодела.

3

И у Такэси, и у Сиоко лица были небольшие, точеные, а вот младшую сестру Кая, Суну, хоть глаза и нос у нее были в точности как у Сиоко, в младших классах мальчишки дразнили «образиной».

— У отца девочки большое лицо. Как засмеется, так еще больше делается — точно надутое, — сказала Сиоко младшей сестре. Она и теперь, под предлогом школьных собраний, иногда встречалась с настоящим отцом Суны. Приемный сын, он постоянно жаловался, что у него даже мелких денег нет, и был совершенно ничтожным человеком, но изобретательным в сексе и нравился Сиоко.

Однажды Суна, как всегда, молча вошла в ателье европейского платья, прошла столовую и поднялась по лестнице. Швеи смотрели на нее с улыбкой. Что бы ни сделала маленькая обаятельная Суна, сердиться на нее было нельзя. Суна тоже улыбалась. С дочерью мастера по европейской одежде она училась в одном классе, да и Сиоко была клиентом этого ателье.

На втором этаже она рывком открыла дверь — полноватая девочка, сидевшая за столом, испуганно обернулась. Девочка была скромная и хорошо училась. После уроков Суна проводила время с такими же, как она, девицами в магазинах, где торговали всякими мелочами или пластинками, а списывать задание ходила к этой девочке. Она уселась рядом с девочкой, как раз делавшей уроки, и принялась злословить об учителях и соучениках.

— Суна-тян, может быть, помолчишь немного... — сказала девочка.

— Умение вести приятную беседу — основа женского обаяния, — ледяным тоном произнесла Суна.

Когда кто-нибудь из родни Сиоко приглашал в дом не очень красивую женщину, ей непременно показывали альбом. При этом с хвастовством демонстрировали фотографию Сиоко времен молодости, ту, что была выставлена в витрине. И теперь Суна стала настойчиво уговаривать девочку пойти к ней, и та наконец согласилась.

— Зачем ты ее привела? — грубо спросил Кай, изобразив на лице омерзение.

— Да она сама привязалась, — подобострастно сказала Суна. Рассеянно взглянув на растерявшуюся девочку, она шепнула брату на ухо: «Это моя добыча!» — и увела ее в свою комнату. С лица ее не сходило выражение презрения к гостье.

Девочка эта была членом классного комитета, и Сиоко сердилась: «Уродина — вся в родителей, а туда же...»

— Я это, пожалуй, возьму у вас, — сказал младший брат Сиоко, укладывая в машину крупный камень из сада. И

уехал. А в школе Суна наболтала, что это та самая девочка унесла такой дорогостоящий садовый камень. «Ну и дела — воровка в классном комитете», — шумели мальчишки, окружив Суну. Девочка была вынуждена уйти из комитета, все отвернулись от нее, и учиться она стала хуже.

Сиоко и ее родня до странности любили всяких актеров, часто ходили в кино и театр. Суна же и во время представления не переставала болтать, привлекая к себе всеобщее внимание. Все они гордились тем, что никогда не плакали в кино. Те, кто сидел рядом, плакали, а они смеялись над такими людьми: сама уродка, а вообразила себя героиней фильма.

Если фильм о призраках, значит, второсортный, но раз уж билеты куплены, то пойдем, говорили они.

На экране появлялись призраки и стенали: «Холодно, холодно. Не думал я, что призракам так холодно». При жизни Кинуко то и дело прошибал пот, но с той поры, как она стала призраком, ей и в самом деле все время было по-настоящему зябко.

На остановке автобуса, слыша чье-то бормотание: «Не выношу я такого холода, вчера даже заснуть не мог», она гадала, а не призраки ли это говорят, и осторожно поглядывала на беседующих. «Не гляди», — говорила пожилая женщина, и Кинуко отводила глаза и прислушивалась. «Ведь сказала — не смотреть», — бубнил голос. Сиоко же с родней презрительно пялилась на старую женщину и начинала злословить о ней.

Дома за телевизором они непременно перемывали косточки актерам. И даже Кинуко по большей части запомнила лица артистов. Смазливый брат Сиоко, равнодушный и развязный, бранил всех без разбору.

«Уж получше тебя», — думала Кинуко и в ту же минуту холодела, встретившись с ним взглядом.

Прочтя в газете, что одна знаменитая артистка тяжело заболела и лежит в больнице, Суна с подругами по дороге из школы пошла в больницу, чтобы получить автограф. Она несколько раз нажимала на звонок, но никто не откликался, тогда она толкнула дверь с табличкой «Просят не беспокоить» и вошла внутрь. Спавшая актриса испугалась и проснулась. В это время вернулась сиделка. С визгом и хохотом Суна и ее спутницы выскочили в коридор. Рассказ об этом понравился Сиоко, и она посоветовала дочери на следу-

ющий день отнести в больницу и просунуть в щель двери такую записку: «Я впервые увидела Ваше лицо без грима. Пришлю Вам специальное лекарство от пятен, веснушек и морщин».

Все шесть младших сестер Сиоко с выгодой вышли замуж, но мужья их терпеть не могли, а они называли мужей эротоманами. «Вот мы к сексу равнодушны, стало быть, и подыскали себе подходящих жен», — вступали в разговор братья Сиоко. Только Такэси молча улыбался и потягивал свое вечернее сакэ. «Слишком много он улыбается», — тревожилась Кинуко.

Когда Кинуко в первый раз увидела посиделки с пересудами родни Сиоко, она была поражена. Возможно ли, чтобы люди могли пасть так низко. Были бы тут ее отец и муж, они бы почувствовали омерзение. Оба они были люди с чувством достоинства и с безупречными манерами. Они никогда не судили людей, и слуги в их присутствии всегда чувствовали себя свободно. Добросердечные, радушные. Как она скучала по ним!

Первым в спальню отправился Такэси, сказав сам себе:

— Как в каком-то романе. Тут совсем не говорят о том, что мне хотелось бы послушать, а только всякие пакости, просто противно.

Так Кинуко впервые узнала о том, что Такэси неприятны родственники Сиоко.

4

Младший брат Сиоко, которого Такэси устроил на работу, ежедневно являлся в фирму к Такэси и звал с собой, чтобы тот угостил его спиртным. По воскресеньям Такэси хотелось отдохнуть, но шурин тащил играть в гольф.

Если Такэси не было дома, шурин изображал перед Каем и Суной, как Такэси играет в гольф, сыпал презрительными словечками, высмеивая Такэси. «Такэси успеха у женщин не имеет, ему посмотреть на женщину и то счастье».

Все в ослабевшем Такэси раздражало Сиоко. У знакомого врача она выпросила снотворное и транквилизаторы. Она слышала, что некий дирижер народного хора после одной такой таблетки на сцене стоять не мог — ноги не держали. Такэси она давала по две, и у него все время кружилась голова.

Когда Такэси стал принимать таблетки, Кинуко стало жаль тревожить его сон, и она не решалась являться ему.

Проснувшись как-то среди ночи, Такэси читал. У него пересохло в горле, и он открыл холодильник, ища что-нибудь выпить. Подошедшая сзади Сиоко злобно завопила: «Что еще выдумал! Совсем свихнулся!»

Ему казалось, что Сиоко всегда смотрит на него с улыбкой. Вообще, когда Сиоко смотрела на него, ему обычно делалось не по себе, но Такэси не придавал этому значения, считая, что все дело в холодноватости Сиоко. И только потом он понял, что бывают люди, не способные по-настоящему улыбаться, но понял слишком поздно.

Когда они оказывались лицом к лицу, глаза его слепило, словно он смотрел на ровную, гладкую ледяную поверхность, и Такэси не мог отличить холодной усмешки от сердечной улыбки. Юная свежесть Сиоко со временем совсем увяла, на лице проступило холодное фальшивое выражение. Вокруг тонких губ легли похотливые складки. Нетающий лед, теряя блеск, становился все холоднее.

Не знавшая болезней Сиоко и после сорока не растолстела, у нее была длинная белая шея. Ходила она медленно, слегка наклонившись вперед. За это время как цветочный бутон расцвела Суна, копия матери.

Сиоко, обычно говорившая приятным, спокойным голосом, срывалась из-за мелочей и начинала резко и неприязненно браниться, так что помощник Такэси вообще перестал приходить в дом. Так она отвадила всех.

После того как закончилось строительство особняка, которого требовала Сиоко, Такэси лег на операцию — у него оказалась язва желудка; после этого он не мог работать как прежде. Когда-то считалось, что у него талант живописца. Семья у него не сложилась, мечты обратились в прах, но теперь у него были средства, и, решив заняться любимым делом, он заказал себе художественные принадлежности. Сразу после этого Сиоко позвонила в магазин и отменила заказ, заявив, что муж ее не вполне вменяем и она просит впредь не принимать в расчет его просьбы.

После свадьбы Такэси рассказал жене, что в их доме жил дальний родственник, умственно отсталый подросток. Вспомнив об этом, Сиоко стала всюду рассказывать, что в семье мужа был душевнобольной.

«Матушка!» — Услышав голос Такэси, Кинуко ринулась к нему. Такэси пристально смотрел на ее портрет. Как же мне заговорить с ним? — мучилась Кинуко, но в этот мо-

мент Сиоко холодным голосом окликнула Такэси, и он отошел от фотографии.

Такэси становится все слабее, выглядит неопрятно, совсем не подходит для нового дома, думала Сиоко.

«Дети уже выросли, и я хочу развестись», — объявил наконец Такэси, и Сиоко бросилась на него с кухонным ножом в руках. В ссору вмешался ее младший брат, однако в психиатрическую больницу на «скорой помощи» отвезли не Сиоко, а самого Такэси. По округе же пустили слух, что он сошел с ума, и все сочувствовали несчастной женщине.

В больнице у Такэси обнаружили только расстройство желудка в связи с нарушением диеты, все прочее оказалось в полном порядке, и его выписали, однако Сиоко с помощью младшего брата уложила его в частную психиатрическую лечебницу.

Кинуко последовала за ним. В больницу его отправляли в большой спешке, оторвали от родных мест, и это было еще более жестоко, чем больница в городе.

Когда строился особняк, Сиоко твердила людям, что она выбрала это тихое место с чистым воздухом ради здоровья мужа; теперь же определила мужа в больницу неподалеку от прежнего места жительства.

Нынешний дом оказался слишком далеко, и врач рекомендовал семье переехать ближе к лечебнице, чтобы чаще навещать больного, но Сиоко отговаривалась тем, что у нее астма и токийский воздух ей вреден, что двор-де зарастает сорной травой и требует от нее непрерывного ухода. Получив потом фотографию, на которой был виден просторный двор с ценными породами деревьев и пышно расцветшими цветами, врач только пробормотал: «Странные бывают люди...»

Услышав, что болезнь Такэси прошла и он хочет вернуться домой, Сиоко, посоветовавшись с сыном, перевела мужа в другую лечебницу.

Кинуко гладила по спине Такэси, забившегося под одеяло и рыдавшего: «Я хочу уйти отсюда».

У него опять начались непорядки с пищеварением.

Жена соседа по палате приносила мужу всякую домашнюю снедь. У его изголовья всегда стопкой лежали чистые полотенца, а около Такэси только одно — почерневшее, заскорузлое, похожее на грязную тряпку. Сиоко же, обожавшая всякие новинки и вещи экстра-класса, каждый день ходила в магазин и покупала себе что-нибудь красивое. В Кинуко росло возмущение.

Она все время сидела рядом с Такэси, но ничего не мог-

ла поделать, и это лишало ее покоя. Если бы Сиоко была помягче, нашлись бы способы вразумить ее, но перед такими женщинами бессилен даже призрак. Кинуко так боялась Сиоко, что не решалась появиться перед ней. А если бы и появилась — такие, как Сиоко, призраков не видят.

Позвонил помощник и сказал, что хочет навестить Такэси. Однако Сиоко, не желая, чтобы тот увидел состояние ее мужа, под каким-то предлогом отказала.

Раз в месяц Сиоко приходила в лечебницу, чтобы заплатить за содержание мужа, но в его палате не оставалась и пяти минут. Она приходила с пустыми руками, и Такэси тщетно просил ее купить ему чего-нибудь вкусного в киоске; она, разгневавшись, тут же уходила прочь. Возмущенная Кинуко следовала за ней до вестибюля, но та с фырканьем отшвыривала ее высоким каблуком туфли. Сиоко во всех своих повадках была похожа на омерзительную кошку...

Был уже октябрь, а Такэси спал наполовину раздетый. Он потел, переодеться же ему было не во что. Сиоко несколько раз звонили из лечебницы, но ее никогда не оказывалось дома. Как-то знакомые Такэси, придя навестить его, принесли пижаму. Когда Такэси поведал об этом Сиоко, она тут же позвонила этим людям: «Муж нарочно выставляет себя в неприглядном виде, чтобы его пожалели. Болезнь прогрессирует, так что лучше вам больше не приходить». И еще прибавила, что от принесенного угощения у него случилось расстройство желудка.

Кинуко услышала, как врач сказал: «Протянет дня два-три, не больше».

— Матушка, ты ведь все время здесь, да? — проснувшись, спросил Такэси.

— Да, я все время рядышком. Только помочь тебе ничем не могу, прости меня за это.

Кинуко тихонько потерла ему спину. Такэси снова погрузился в сон. Из уголков глаз текли слезы.

С шумом ворвались Сиоко и Суна. У проснувшегося Такэси начались боли. Сидя рядом с Такэси, которому дали кислородную подушку, Сиоко и Суна болтали целый час. Суна сказала, что боится — вот выйдет замуж, родит ребенка, а он окажется ненормальный, как Такэси. «Все будет в порядке, ведь ты ему не родная», — самодовольно успокаивала ее Сиоко.

Врач посоветовал им остаться в лечебнице на ночь, но Сиоко с дочерью отправилась домой, желая немедленно приготовить все для похорон.

Кинуко, оберегая тело сына, вернулась в дом.

За то время, что она не видела Кая, внук стал очень походить на Сиоко. Чтобы избежать расходов, буддийского священника не приглашали, сутру прочел сам Кай. Но слова сутры не были слышны там, где лежал Такэси. Голос Кая был преисполнен самоуверенности, звучал громко. К дому приближались шесть женщин, болтавших без умолку. Их смеющиеся голоса становились все слышнее, и Кинуко впервые увидела столь разительное несоответствие траурных одеяний и выражения лиц. Она поняла, что это младшие сестры Сиоко.

Сама Сиоко и Кай с аппетитом ели суси[1] и уже совещались о том, чем отдариться в ответ на полученные подарки в знак соболезнования.

— Надо поискать что-нибудь подешевле, и чтобы смотрелось хорошо... — говорила Сиоко. К ее щеке пристал кусок суси.

— У меня хорошая идея, — с набитым ртом мычал Кай. — Надо, не стирая, отправить висящий на вешалке пиджак отца. Если он не подойдет по размеру, его всегда можно перепродать.

На том и порешили.

— Хорошо получится, словно от души дарим, — удовлетворенно сказала Сиоко.

Помощник Такэси и его жена, стороной узнавшие печальную весть, тоже пришли на похороны и теперь, не притрагиваясь к еде, лили слезы.

— Угощайтесь, — сказал Кай с таким выражением лица, которое никак не вязалось с его сладким голосом, и, не глядя, вылил в суси соевый соус.

— А он небось думал, что живым в дом вернется, — смеялась над Такэси Сиоко.

5

После смерти Такэси вновь обрел достоинство и стал таким, каким он был прежде, в спокойные времена.

Мать не виновата, самой судьбой ему было предназначено встретить Сиоко. В молодости он не понимал, что не

[1]Суси — колобки из вареного риса с рыбой, овощами и приправами.

сможет прожить жизнь как другие. Вся ответственность на нем самом, утешал он мать.

По желанию Сиоко надгробие было выстроено еще при его жизни. Чересчур аляповатое, оно более соответствовало Сиоко, но Такэси уже был свободен от нее.

В завещании он написал имена тех, кого хотел видеть на похоронах, но Сиоко почти никого не известила, и прежде, чем покидать этот мир, он хотел бы встретиться с этими людьми, сказал Такэси матери. Он намеревался на сорок девятый день возвратиться в дом и вместе с матерью отправиться в мир иной.

Кинуко тоже готовилась на сорок девятый день после смерти Такэси покинуть этот мир.

Сиоко каждый день убирала квартиру, и все там блестело, пыль же лежала только на фотографии Кинуко, висевшей на стене гостиной.

Кинуко рассеянно тронула пальцем рамку. Если бы она не отлучалась так надолго, столько бы пыли, наверно, не набралось. Ну, призраку это не страшно, подумала Кинуко. Жить среди таких людей горше смерти. От этих мыслей ей еще больше стало жаль Такэси.

Стоя перед фотографией, она пристально вглядывалась в свой портрет. Выглядит она здесь лет на тридцать пять, но, когда сделана фотография, вспомнить Кинуко не могла. Она всегда одевалась очень тщательно. Кинуко не была щеголихой, но все же придавала значение одежде. В памяти роились обрывки воспоминаний. Можно было бы определить дату по узору одежды, но портрет был поясной, да и сверху надето что-то темное. Тогда еще цветных фотографий не делали, и одежда казалась черной.

Шнурок, на котором был подвешен портрет, истерся. Упадет со стены, поранит кого-нибудь, обеспокоилась Кинуко.

Вдруг все вокруг потемнело. Раздвинулась фусума[1], и вошла Сиоко, державшая в руках толстую свечу с лепестками искусственных цветов. Ее изготовила жена помощника Такэси. Кинуко с опаской посмотрела на Сиоко. Та достала ножницы. Порой она казалась Кинуко переодетой в людское платье волчицей. «Хочет выбросить портрет, — прошептала Кинуко. — Остановись!» — хотела закричать она, но тут ей в голову пришла мысль, что если фотографию

[1]Фусума — раздвижная перегородка в японском жилище.

выкинут, то все семейство больше никогда о ней не вспомнит. И она почему-то испытала облегчение.

Рассеянно глядя на фотографию, Сиоко сказала:

— Ладно уж, поставлю и тебе напоследок...

Она зажгла толстую свечу с цветочными узорами. Шнурок, словно ждавший этого, сам собой оборвался, и портрет стал падать со стены. Сиоко резко отпрянула и, ударившись головой о стоявший рядом кэндзан[1], лишилась чувств. Дрогнув от сильного толчка, свеча опрокинулась.

Вернулся Такэси. Его тень отразилась в оконном стекле. Кинуко и Такэси, ступая рядом, вышли за ворота. Пламя свечи тут же перебросилось на шнурок от картины. Потом занялось платье Сиоко.

[1]Кэндзан — металлическая подставка с шипами для укрепления в вазе живых цветов.

НОБУКО ЁСИЯ

ЗЛОВЕЩИЕ ОГОНЬКИ

До того как поступить на службу в газовую компанию, Тюсити, демобилизовавшись из армии, некоторое время помогал дяде, торговавшему с лотка ремешками для сандалий. Потом один дядин приятель устроил его на нынешнее место, и эта работа пришлась Тюсити по душе. Он был из семьи торговцев, но на новом месте ему нравилось больше: ходишь от кухни к кухне, собираешь плату за газ, ну, покланяешься немножко, это само собой, но упрашивать никого не надо — не то что товар по домам разносить. Берешь то, что положено, да и представляешься солидно: «Служащий газовой компании».

Газовый бизнес в Токио по окончании войны возродился и набирал силу, соответственно росла и плата за газ. За день в портфеле Тюсити набиралась немалая сумма.

Правда, при дяде он любил поворчать:

— Работа не из приятных. Зайдешь в какой дом побогаче, так служанка обязательно юлит: мол, хозяйки дома нет, зайдите в другой раз... Я чего думаю: сейчас деньги дешевеют быстро, так? Надо не только в кухню газ проводить, а и в ванную тоже. Зимой — топить газом. Вот когда деньжищи-то повалят!

На самом деле Тюсити работой был вполне доволен. Что по закону причитается — то и требуешь, тут уж без дураков. Любо-дорого послушать, как дамочка, у которой наверняка муж с высшим образованием, заискивает, вытирая мокрые

руки грязным передником: «Вы уж подождите с деньгами, а? Ну пожалуйста...»

Как-то раз ясным осенним утром Тюсити постучался с черного хода в один домишко, чудом уцелевший в спаленном войной квартале — кругом валялись одни обугленные доски. Собственно говоря, кроме черного хода, в дом никак было и не попасть: сад весь выгорел, а может, пошел на дрова — в общем, ничего от него не осталось. Только у самой двери торчал, доцветая, одинокий куст сибирских астр. Его последние блекло-лиловые цветы коснулись плечей и головы Тюсити.

Дверь была вся разбита — в деревянном переплете рам осталось всего несколько треснувших стеклянных квадратов. Хозяева задолжали плату за несколько месяцев, и Тюсити каждый раз ежился, глядя сквозь эту неизменно закрытую на ключ жалкую дверь в кухню, где гулял холодный ветер и, кроме газовой плиты, ведра и одной-единственной кастрюли, ничего не было — все остальное, видно, уже продали. Труба под раковиной, кажется, протекала: пол у входа всегда был мокрый, как после дождя. То ли хозяева никогда не сидели дома, то ли прятались, но застать их Тюсити не удавалось. Однако сегодня он решил постоять за честь фирмы и выполнить свой служебный долг во что бы то ни стало.

Он со всей силы толкнул запертую дверь, и она вдруг легко, с глухим стуком распахнулась.

— День добрый, — крикнул Тюсити, чтобы его не приняли за вора, и шагнул в кухню. Возле плиты, оказывается, тихо стояла женщина и, не отрываясь, смотрела на маленькую кастрюлю. Волосы женщины были растрепаны, поверх ветхого кимоно, подвязанного не поясом, а просто веревкой, не было даже передника. Глаза на исхудавшем, мертвенно-бледном лице светились такой скорбью, что Тюсити стало не по себе. — Что ж вы так задолжали? Отключат ведь газ-то. Уж заплатили бы хоть сколько-нисколько, — сказал он, испытывая в силу служебного положения смешанное чувство жалости и превосходства.

— ...Извините. Муж так долго болеет... — отрешенно ответила она. Лицо ее не изменилось — еще печальнее оно все равно стать бы уже не могло.

— Мало ли что болеет. Все равно за газ-то платить полагается. Ты пойми, это ж не мне надо — фирме.

Обратившись к этой бедолаге на «ты», Тюсити вдруг ост-

ро ощутил, какая он для нее сейчас важная персона, — даже хмельно как-то сделалось.

— Я сейчас не могу заплатить. Но, пожалуйста, не отключайте газ, умоляю! Мне нужно где-то подогревать отвар для мужа...

Внезапно она показалась ему похожей на ту самую астру, которую он задел плечом перед дверью.

— Ишь чего захотела. Прямо не знаю, как с тобой быть... — ответил он уже совсем грубо. И окинул фигуру должницы другим, мужским взглядом. Неожиданно всем его существом завладело неудержимое, лихорадочное желание — такого у него не вызывала еще ни одна женщина. Это было какое-то наваждение, вероятно вызванное ощущением полной своей власти над этим беззащитным существом.

Тюсити вынул из кармана сигарету. Женщина поспешно схватила коробок спичек, лежавший на плите, и поднесла ему огонь.

— Спасибо, конечно, но этим не откупишься.

Тюсити, нехорошо улыбнувшись, медленно выпустил изо рта дым и поглядел женщине в глаза. Наверное, такое же чувство, какое он переживал сейчас, испытывает кошка, играющая с мышью.

— ...Ну а что я могу для вас сделать? — спросила женщина, сжимая в руке спички.

— А то сама не сообразишь. Бабе в твоем положении выход один — делай, как скажут.

Тюсити и самому показалось, что он произносит реплику из какого-то дурного спектакля.

Женщина выронила коробок. Она вся дрожала.

— Но... Но тут нельзя. В соседней комнате муж лежит...

— Ничего. Ко мне придешь. Сегодня вечером. Поняла? Тогда, так и быть, заплачу за тебя сам. Ну и потом, ясное дело, не обижу.

Тюсити не ожидал, что она так легко поддастся, поэтому решил довести дело до конца. Он вырвал из записной книжки листок и нарисовал, как найти дом, где снимал комнату на втором этаже.

— Все поняла? Ну гляди — жду. Вот тебе на дорогу, а приедешь — угощу чем-ничем.

Тюсити вышел из дома в самом чудесном расположении духа. На ходу обернулся и со смехом крикнул:

— Ты хоть поясом подвяжись, а то видок у тебя...

Женщина, кажется, не ответила — во всяком случае, Тюсити ничего не услышал.

Снова задев на ходу куст, он зашагал прочь. Когда Тюсити вышел на широкую, освещенную осенним солнцем улицу, по обеим сторонам которой были сплошь одни пепелища, ему уже самому не верилось, что он так себя вел и такое говорил. Как будто бес какой-то в него вселился.

Вернувшись вечером домой, Тюсити отправился помыться в баню, а на обратном пути купил кое-каких сладостей. Взял на первом этаже огня, разжег его в хибати[1], поворошил угли и уселся ждать, пока снизу донесется голос гостьи.

Он просидел так до десяти, до одиннадцати — вот и трамваи ходить перестали, а женщины все не было.

— Ну, стерва, держись! Приду — перекрою газ!

Тюсити злобно выдернул из стенного шкафа свернутый матрас, пинком развернул его и завалился спать.

В течение последних нескольких дней он собирал плату в другом районе. Стал уже забывать про женщину и ее дом с чахлыми астрами. Но вот настала пора отправляться и в ту сторону. Завидев издали знакомые цветы, уже почти засохшие, Тюсити неохотно повернул к дому.

После той истории встречаться с хозяйкой ему не очень-то хотелось, но он решил: прикинется, что пошутил, а теперь шутки в сторону — он лицо официальное, так что извольте платить. «Напишу вот завтра бумагу, и не будет тебе газа», — подумал Тюсити. И, распалившись, чуть не бегом двинулся к черному ходу, мимо астр.

Покалеченная дверь и сегодня была заперта на ключ.

— Эй, открывай! Знаю, что ты дома, мужа одного не оставишь!

Разозлившись, Тюсити дернул дверь со всей силы, и она поддалась. Он зашел в кухню и даже языком прищелкнул от возмущения. Над пустой плитой, тихо шипя, плясало голубое пламя. На конфорке не было ни кастрюли, ни чашки с отваром — бело-голубой огонь горел просто так, словно в издевку. Тюсити сделалось жутковато: в темной кухне этот язычок пламени напоминал не то блуждающие огоньки в ночи, не то привидение. «Мало того, что задолжала бог знает сколько, так еще куражится», — усмехнулся Тюсити.

[1]Хибати — жаровня в японском доме.

— Эй, хозяйка! Думаешь, тебе это даром пройдет? Наша фирма шутить не любит. Или платишь — или газ отключаем! — заорал он в полный голос. Но ответом ему была тишина. Дом словно замер.

«Ладно, — решил Тюсити, — раз такое дело, переговорю с самим хозяином». Он снял ботинки и прошел в комнату. На влажные, скользкие, как дно болота, циновки было противно наступать. Все сёдзи[1] были задвинуты, но сквозь дыры проникал свет, и Тюсити разглядел облезлую раздвижную дверь, ведущую в соседнее помещение. Он потянул за скобу, но дверь только скрипнула. Пришлось дернуть со всей силы, и только тогда, заскрежетав, она открылась. В этой комнате все сёдзи тоже были задвинуты, и в полумраке Тюсити едва разглядел лежащего человека, накрытого одеялом.

— Я вижу, вы болеете. Но за газ-то все равно... — начал Тюсити, хотя вообще-то ему уже хотелось плюнуть на все это и поскорее отсюда уйти. Лежащий молчал — то ли спал, то ли притворялся. — Сёдзи у вас все закрыты, а газ горит. Так не годится — угорите, — сказал Тюсити и распахнул одну из перегородок. — Ну и живете вы. Просто кошмар, — пробормотал он и, обернувшись, осмотрел посветлевшую комнату.

На циновках, под мышиного цвета одеялом, лежал мужчина — большеносый, с ввалившимися щеками землистого оттенка. У изголовья стояло несколько астр, сорванных с того куста.

Тюсити боязливо заглянул мужчине в лицо. Тот был мертв: лиловые губы приоткрыты, зубы оскалены — настоящая маска смерти.

Тюсити шарахнулся из комнаты через только что раздвинутые сёдзи на веранду, но, споткнувшись, обо что-то ударился. Совсем потеряв голову, он спрыгнул с веранды на землю как был, в носках, и непроизвольно обернулся. На веранде было светло, и Тюсити увидел, на что он наткнулся.

Женщина висела прямо под навесом крыши. Лица было не видно под распущенными волосами, похожими на ветви плакучей ивы.

Тюсити похолодел — по телу пробежал озноб, ноги словно приросли к земле. Взгляд его остановился на кимоно

[1]Сёдзи — раздвижные двери в японском доме.

хозяйки, по-прежнему перетянутом не поясом, а веревкой. Видно, у нее просто не было пояса.

Не помня себя, Тюсити достал из портфеля пачку банкнотов и положил ее к ногам самоубийцы.

— Прости, прости! Я уйду в монастырь! — завопил он и со всех ног бросился бежать, ничего не видя вокруг.

На фирме Тюсити больше не видели. Куда он исчез — неизвестно.

ДЗЮНКО ИНАДЗАВА

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Нарико вышла из метро и минут десять шла вдоль сточной канавы, мимо заводских корпусов. Потом она свернула на большой отлогий холм, к школе К. Ветер дул прямо в лицо, и всякий раз, как ледяной порыв ветра пополам с пылью налетал на нее, она испытывала невольное раздражение.

Но раздражал ее не только промозглый туманный день и холодный ветер. Все началось с того, что вчера позвонила преподавательница школы К. Акияма и попросила занести в обеденный перерыв гранки, а когда Нарико вернулась домой, ее ждало там письмо от Рёдзи, ее мужа. Увидев письмо, Нарико уже не смогла сдержать раздражения, и так оно и не унимается со вчерашнего дня. А может, она почувствовала его значительно раньше? Попадись ей теперь кто-нибудь на дороге, ух как бы мрачно она посмотрела на этого случайного прохожего...

Нарико резко взмахнула сумкой и еще сильнее нахмурилась.

«Это же надо вовсе не иметь сердца, чтобы заставлять человека тащить гранки в обеденный перерыв! Ей там, в школе, видно, не понять, как дорог для служащей издательства краткий час обеденного перерыва».

Нарико работала в издательстве, которое выпускало школьные учебники, а издательство заказало Акияме, преподававшей в школе К. домоводство, рукопись. Пришли гранки, и Нарико попросила ее держать авторскую корректуру.

— Знаете, а ведь я понятия не имею, как это делается. Не могли бы вы прийти ко мне и все объяснить? — весело сказала Акияма, когда Нарико ей позвонила. И она попросила принести гранки в половине первого. «Вот досада!» — подумала тогда Нарико.

От издательства до школы полтора часа езды. Чтобы добраться туда к половине первого, надо выйти в одиннадцать... Часа два с половиной понадобится, чтобы растолковать все Акияме и вернуться на работу. Приветливая, жизнерадостная Акияма непременно задаст ей кучу ненужных вопросов и задержит ее.

Нарико не любила выходить из издательства по делам в обеденный перерыв. Но сказать, что она не может прийти, потому что у нее обеденный перерыв, она никогда не решалась. Ей казалось, что она поступит неправильно и что ею будут недовольны.

Поэтому она старалась назначать деловые встречи на более позднее время. Так она собиралась поступить и на этот раз.

Однако за столом перед нею сидел начальник отдела, и в комнате, как на беду, было тихо. Слышалось только, как скользит по гранкам красный карандаш да как шелестят страницы.

И Нарико не сказала Акияме, что прийти не сможет. Она лишь заметила уклончиво, что ей не совсем удобно в половине первого.

Голос у Акиямы сразу стал серьезным, она, по-видимому, заглянула в расписание занятий и наконец сказала:

— А в остальные часы у меня занятия. Как же быть?

— Я передам гранки секретарю школы и подробно напишу вам, как держать корректуру. Вы смогли бы сделать все к началу будущей недели?

Нарико не хотелось тратить время на уточнение часа встречи. Разговор шел в присутствии начальника отдела, и она стала собирать со стола все, что необходимо для чтения корректуры, но Акияма сказала:

— Знаете ли, это моя первая книга. Я никогда прежде не видела гранок. Не могли бы вы все же встретиться со мной?

Тон был мягкий, просительный. Акияма словно бы искала поддержки у Нарико, а меж тем в голосе ее чувствовалась настойчивость. Нарико опасалась, что начальник наконец прислушается к их беседе.

Акияма с этой ее доверительной, совершенно неделовой манерой разговора показалась Нарико назойливой. А она

предпочитает деловые, ясные отношения. Издание учебников именно таких отношений и требует. Ясность спокойная, бесстрастная — вот что нужно! Иначе сверхурочной работы не миновать. В издательстве Нарико занималась только корректурой и связанными с ней делами.

Выходит, ее робкое замечание о том, что ей не совсем удобно назначенное время, не вызвало у Акиямы сочувствия. За этой барственной непринужденностью чувствовались добродетель и достаток. И Нарико с горькой улыбкой согласилась приехать в свой обеденный перерыв.

Поднявшись по широкой дороге на холм, Нарико увидела ворота школы. В окошечке канцелярии она спросила, как пройти в лабораторию Акиямы. Молодая секретарша тотчас встала и проводила ее до места.

Они прошли по переходу, насквозь продуваемому ветром, и оказались в лаборатории. Их сразу же окутал теплый воздух.

Всю комнату занимала большая газовая плита. Пыхтел железный чайник. Акиямы в комнате не было.

— А где же госпожа Акияма?

— Подождите немного, — извинилась секретарша. — Госпожа Акияма будет минут через десять, не позже.

Нарико это не понравилось. Она пришла точно к назначенному часу.

Секретарша предложила Нарико стул у плиты и вышла.

Нарико села и стала разглядывать комнату.

В комнате не было ничего от унылой и холодной школьной лаборатории. И не только потому, что в ней пылала уютным жаром плита.

Нарико с сомнением оглядела комнату. Неужели это и есть лаборатория Акиямы? Посредине на большом старом деревянном столе — ваза с красными гвоздиками. За ней поблескивает прозрачным зеленым стеклом бонбоньерка. Позади нее чайный и кофейный сервизы.

Нарико почудилось даже, что из-за них вот-вот выглянет приветливое, улыбающееся лицо хозяйки. И, как ни странно, ей это не было неприятно. Особенным душевным покоем повеяло на нее здесь.

«До чего же у меня уныло по сравнению с этой комнатой!» — и вдруг осознала, что ей, пожалуй, и негде было бы поставить красные гвоздики.

Два года назад Нарико вышла замуж за своего школьного товарища Рёдзи. Он был старше ее двумя годами. Служил Рёдзи коммивояжером в оптовой фирме по продаже галсту-

ков. Недели две в месяц проводил в поездках по провинциальным магазинам европейского платья.

Фирма была на грани банкротства, и хозяин, кажется, не прочь был передать ее Рёдзи. Тот принялся вдруг усердно работать. Между прочим, он имел привычку опаздывать на работу и сидеть потом допоздна. Когда Рёдзи опаздывал, управляющая звонила на работу Нарико и выговаривала ей:

— Вашего мужа все еще нет. Сегодня ему нужно ехать в ..., а он все еще не явился. Когда муж опаздывает на службу, виновата жена.

Опаздывал Рёдзи частенько, и всякий раз управляющая звонила Нарико. Это раздражало, хотелось бросить трубку.

— Зачем вы мне говорите все это? Скажите ему, — сердито отвечала Нарико.

Но Рёдзи управляющая никогда не упрекала. То ли оттого, что ей нравилось его улыбающееся лицо, когда он появлялся наконец в конторе, то ли оттого, что работал с охотой... словом, они отлично ладили.

Когда перестали платить жалованье, Рёдзи стал еще усерднее. Задерживался в командировках, не жалея ног обходил магазины по нескольку раз. Говорил, что ему жаль начальника отдела и надо же как-то помочь ему.

Рёдзи бодро разъезжал по делам, но домой возвращался бледный и усталый. Ворчал, что работа опостылела, что все на свете бесчувственные и холодные эгоисты. Однако службы не бросал и продолжал как ни в чем не бывало опаздывать.

Нарико это все надоело. Ей представлялось, что он не так уж искренен в своем желании помочь возрождению фирмы.

Он стал просить у нее денег на мелкие расходы и, что еще хуже, потихоньку таскать мелочь из ее кошелька.

Сначала Нарико не замечала этого, но однажды, придя на службу, обнаружила, что кошелек ее пуст.

— Ты могла бы попросить на работе аванс, — сказал он как-то. — Мне не дадут, у нас задержка зарплаты.

— Не дают, — ответила Нарико.

Однажды Рёдзи заявил, что хочет написать роман. Он просто создан для того, чтобы писать романы, так он сказал. И еще сказал, что у него уже есть несколько сюжетов. Однако Нарико думала, что вся эта затея с романом так же бессмысленна, как и оптовая торговля галстуками.

Она не верила в Рёдзи. Одно только казалось ей правдо-

подобным — жалость Рёдзи к начальнику отдела. И то лишь тогда, когда у нее было хорошее настроение и работа спорилась.

В ожидании Акиямы Нарико достала из сумки письмо от Рёдзи и еще раз пробежала его глазами.

Письмо было длинным, на шести страницах. Она еще раз медленно прочитала его. Ничего нового. Нарико с досадой бросила письмо на стол, но, опомнившись, сунула обратно в сумку. И вчера она вот так же швырнула письмо на стол. Правда, теперь она не схватила письмо со стола и не бросила его в потолок, как вчера.

В письме Рёдзи она не нашла ни строчки о том, что она хотела бы узнать. Она просила совета, но Рёдзи не ответил. На шести страницах он описывал какой-то незнакомый ей пейзаж. Слог превосходный! Нарико была потрясена. Но все это не имело никакого отношения к ней. На последней странице Рёдзи излагал сюжет нового романа.

Нарико знала, что он не напишет ни строчки. Всякий раз дело заканчивалось лишь сюжетом.

В предыдущем сюжете фигурировал муж, похожий на Рёдзи, и жена, напоминавшая Нарико. Жене, как и Нарико, было двадцать четыре года. Муж, похожий на Рёдзи, служит коммивояжером в одной из фирм, которая, разумеется, оказывается на грани банкротства. Сослуживица мужа часто упрекает его за несообразительность и за небрежность в работе. Мужчина, похожий на Рёдзи, не любит эту женщину, которая не знает ничего, кроме своих бухгалтерских книг, и придирается к нему по мелочам. Но вскоре он сдается, потому что чувствует свою вину. Он теряет желание работать и решает уйти из фирмы. Тут «Нарико» говорит ему, что он, конечно, волен поступать, как ему вздумается, но, по ее мнению, он должен остаться на службе. И «Рёдзи» успокаивается.

Выслушав сюжет романа, Нарико обиделась.

— Неужто я такая добродетельная?

— Как ты не понимаешь? Это же роман! Вымысел!

— Все равно. Мне не нравится такая праведная и смиренная жена. Словно в телевизионной семейной драме.

— Разумеется, я кое-что выдумал, — смущенно проговорил Рёдзи. — И ты действительно не такая смиренная жена. И добродетельной тебя не назовешь. Но мне хотелось бы, чтобы это было так.

— Ну это уж слишком! В твоих сюжетах я сентименталь-

на и добропорядочна. На этот раз я выгляжу еще слащавей! Отчего бы это? Может, ты хочешь сказать, что ты не такой, как остальные мужчины? И не настолько плох, чтобы писать романы? Вот ты и сочиняешь одни сюжеты, да к тому же изображаешь меня все более праведной. Как видно, тебе так спокойнее жить.

— Ну что ты!.. — слабо возразил Рёдзи. Он хотел умерить атакующий пыл Нарико.

— Но тогда почему же?!

Нарико заметила, что за два года семейной жизни ее добрые чувства к мужу улетучились как дым. Поэтому она не слишком размышляла о том, в каком настроении Рёдзи писал ей это нелепое письмо.

Правда, когда Рёдзи возвращался из поездки, она старалась поскорее разделаться с работой, спешила домой, чтобы приготовить ужин, стряпала самые любимые его кушанья. Когда же она видела перед собой усталого, измученного поездкой Рёдзи, у нее от жалости начинало щемить сердце.

Но проходило несколько дней, и Рёдзи снова уезжал, а у нее оставалось лишь невеселое чувство усталости. И так продолжалось до его нового возвращения.

Запотевшая стеклянная дверь лаборатории тихо отворилась.

— Извините, я заставила вас ждать.

В дверях стояла полная женщина лет сорока с лишним. Это была Акияма. Голос у нее был приветливый и ясный. Она с улыбкой глядела на Нарико. В ответ Нарико сухо улыбнулась и почувствовала, что улыбка вышла натянутой.

В руке у Акиямы был небольшой бумажный сверток. Она сразу же положила его на маленький столик. И тут Нарико заметила на безымянном пальце ее левой руки большое кольцо. Массивный камень зеленого цвета безмятежно покоился на ее пальце.

«Да эта женщина к тому же еще и хозяйка обеспеченной счастливой семьи!» — подумала Нарико.

Она достала из конверта гранки и стала объяснять Акияме, как их править.

— Значит, это и есть гранки! — искренне удивилась Акияма, по-детски широко распахнув глаза.

«Видно, воспитывалась в тихой, спокойной семье и теперь живет тихо и спокойно с мужем и детьми, — подумала Нарико. — Потому и лицо такое доброе, не глядит на меня, как ментор, свысока, ведет себя непринужденно, совсем по-детски!»

Нарико быстро и толково все рассказала Акияме, и, вопреки ее опасениям, та не задала ей ни одного нелепого вопроса.

— Оказывается, все очень просто, а я-то думала, это гораздо труднее, — сказала она.

Нарико сложила гранки и рукопись в конверт и протянула Акияме.

— На будущей неделе приду за гранками. — Нарико встала.

— Извините, что вам пришлось принести их в обеденный перерыв, — сказала Акияма. — Ведь сейчас обеденный перерыв, не так ли? Отдохните немного.

Она достала чашки и сняла кипящий чайник с плиты.

— Я подумала, что вы еще не обедали. Вот и купила тут кое-что на двоих. Давайте вместе поедим. Мне одной скучно.

В свертке оказались бутерброды с сыром и молоко. Значит, после занятий она выходила за покупками. Потому и задержалась.

Акияма принесла кастрюльку с ручкой, вскипятила молоко и быстро приготовила чай с молоком.

Тогда Нарико, уже не стесняясь, вынула из бумаги бутерброды и положила их на плиту. Они попили чаю. Акияма не извинялась за скромный обед. Вкусно пахло поджаренным хлебом, сыр хорошо расплавился.

— Вам сколько лет? — спросила Акияма, отправляя в рот кусочек хлеба.

— Двадцать четыре, — поспешно проглотив сыр, ответила Нарико.

— Мне тоже было двадцать четыре, когда я лишилась мужа. Он погиб.

— Вот как! Ваш муж погиб? Значит, вы одна живете?

— Нет, у меня есть сын, который никогда не видел отца. Он скоро женится.

Нарико растерялась — так неожиданно было все это. Она взглянула на кольцо на руке Акиямы. Даже если бы этого кольца не было, по поведению и манере говорить никогда нельзя было бы предположить, что Акияма одинока. Она казалась счастливой хозяйкой дома.

— Я такая толстуха. Вот все и думают, что замужем. Но это не так. Мы живем вдвоем с сыном. Мужа забрали в армию на третий месяц после свадьбы. Вскоре он погиб. Очень добрый был человек. — Лицо Акиямы просветлело, она тихо улыбнулась. — Извините за нескромность.

— Видно, вы сильно его любили, что не вышли снова замуж.

— До окончания колледжа я и в глаза мужчину не видала. Как посватался за меня мой муж, так сразу же и влюбилась. Подумала: вот они, оказывается, какие, мужчины, — сильные и мужественные. И, нисколько не колеблясь, сразу же и вышла замуж. Нынешние молодые люди сказали бы, что я поступила безрассудно. Но я была счастлива. Мой муж был очень хороший человек.

Акияма говорила так, словно все это случилось только вчера, а не давным-давно. Нарико подумала о Рёдзи.

— А учительствовать я стала уже после смерти мужа. Мне надоели бесконечные советы выйти замуж, вот я и решила заняться преподаванием. Думала: займусь делом, люди и отстанут. Диплома у меня не было, пошла учиться и стала учительницей. Да и надо было как-то жить до возвращения мужа. Я ведь не верила, что он погиб, да и сейчас не верю. Мне все кажется, он глядит откуда-то на взрослого сына.

Нарико кивнула. Ей было так понятно то, что хотела сказать Акияма.

Ни тени горечи, хотя она и прожила все эти долгие годы одиноко. Лицо ее выражало лишь любовь к погибшему мужу.

— Я понимаю. Вы не можете думать о муже как о погибшем, — сказала Нарико.

Смерть на фронте — ничего на память, ни праха, ни одной вещички, а если бы они и были, разве могли они убедить ее, что муж мертв. Убедить способна была лишь сама жизнь без любимого человека. Но и этого довода Акияма не признала.

— Мне временами кажется, что муж уехал в долгую командировку и вот-вот вернется. «Возьмет и нагрянет без всякого предупреждения», — говорю я иногда своим друзьям. Они удивляются: «Ты и вправду так думаешь?» Я действительно так думаю. И говорю друзьям, не могу удержать в себе. И потом, когда я совсем состарюсь, тоже буду думать так! — Акияма улыбнулась и тихо добавила: — Потому я и ненавижу войну. Сколько женщин осталось одинокими во Вьетнаме, как и я.

Простившись с Акиямой, Нарико медленно спускалась с холма. Она представила себе мужа Акиямы, как он стоит перед воротами дома. Он являлся ей то в одном облике, то

в другом, но, появившись, тут же и пропадал, исчезал в высоком небе. Акияма запомнила мужа таким, каким видела в последнее мгновение, и таким затаила в сердце. И мгновение это навечно запечатлелось в памяти. Память питает ее сердце, заполняет его.

Меж тем облик Рёдзи, стоявшего у дверей их квартиры, начал неприметно блекнуть и терять знакомые очертания. Какой-то неведомый гость стоял теперь перед ней.

«Я не верю Рёдзи. Мне негде поставить бонбоньерку и гвоздики. Как же сиротливо душе моей! Если даже умершего можно представить себе на мгновение, то живого-то я должна была бы видеть явственно. Я должна была бы во всем на него положиться!»

В глазах Нарико мерцало и расплывалось зеленое обручальное кольцо.

МИЭКО КАНАИ

ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ

Если мне когда-либо придется доказывать ей, что я «автор», то, должно быть, надо будет в доказательство написать очерк или даже книгу. Я познакомилась с ней... не знаю, подходит ли тут слово «познакомилась»... во всяком случае, наши странные отношения начались после того, как я написала свой первый рассказ. Я получила письмо, оно начиналось со слов: «Рассказ, опубликованный под Вашим именем, написала я». Потом письма, начинающиеся этой фразой, приходили еще не раз — их было ровно столько, сколько я написала вещей, и хотя я пыталась не обращать на эти странные письма внимания, это мне никак не удавалось. Пока я писала, она все время была со мной. Ни адреса своего, ни имени она не сообщала, и сказать я этому «подлинному автору» ничего не могла. Наше общение было сугубо односторонним. Конечно, оно было односторонним только с моей точки зрения, она, возможно, так не считала. А я даже не была уверена, «она» это или «он».

Конверты самых первых писем уже успели пожелтеть. Письма были в белых квадратных конвертах разных размеров, на бумаге разной выработки, и чернила тоже разные: то зеленые, то коричневые, то фиолетовые. От таких чернил веет духом эпохи Тайсё, я их не люблю. Почерк без всякой индивидуальности. Как почти у всех людей послевоенного поколения, вырабатывавшийся явно не с помощью кисти: не каллиграфические образцы копирует, а печатный шрифт. В общем, дрянной почерк. Если честно, то такой же, как у меня, с этаким нахальным подпрыгиванием: читается, ну так чего вы еще хотите.

Может быть, это письма от кого-то, кто хотел написать похожий рассказ, — вещь вполне возможная. Может быть, какой-нибудь поэт, мой сверстник, прочитал мою первую вещь и сказал: «Ну, такое-то я за один вечер сочиню» — и вот решил меня попугать. И впрямь, подумала я, «такое» вполне способен сочинить любой, кто прочитал вещицу-другую, сходящую обычно за рассказ. Конечно, немыслимо, чтобы кто-нибудь написал в точности то же самое; но написать нечто очень похожее — в этом нет ничего невозможного. Такова уж природа литературного произведения. Когда я прочла ее первое письмо — помню почти осязаемый шелест, с которым я развертывала аккуратно сложенный лист толстой, западного образца бумаги, — я не могла подавить в себе неприятное чувство, больше всего похожее, пожалуй, на уязвленную гордость; и все же я подумала: не все ли равно, кто автор. Авторское тщеславие — вот, я это написала — мгновенно сменилось унынием: какой ужас, что это действительно написала я. Да, нужно уступить — и стать «автором» совсем другого рассказа. Да-да, совсем другого рассказа...

Письма приходили каждый раз, как я публиковала что-то новое, и это начинало надоедать. Однако она, несомненно, была моим самым ревностным, самым глубоким читателем. Хотя какое там читателем: она же претендовала на авторство, и как знать, может быть, так оно все и было? Во всяком случае, со временем я привыкла узнавать, что написан такой-то и такой-то рассказ (ею? мной?), именно из ее писем. Все это я держала в тайне. Не знаю почему, но мне как-то неловко было кому-либо рассказывать о ее существовании.

Но ведь, что ни напиши, она все равно заявит: это мое. А спроси ее: «Когда же я прочитала то, что вы написали?» — она слегка улыбнется — я невольно привыкла считать, что улыбка у нее красивая, — да, улыбнется и ответит, наверное: «А вы не помните?» Собственно, мне было даже отказано в праве задавать ей вопросы, мне только позволялось, в виде особой милости, читать то, что пишет она. Наши отношения строились исключительно на сочинении рассказов.

В каком-то смысле она причиняла мне страдания, но постепенно во мне разгорелось любопытство: мне хотелось знать, что она за человек, как живет, каковы ее пристрастия, каков жизненный опыт, что она, в конце концов, думает. Я

попыталась наделить ее плотью. Но я сильно сомневалась, существует ли она на самом деле, — ведь даже неизвестно, женщина это или мужчина. Если говорить откровенно, то собственное тело я презирала, и мне было больно думать, что тело «подлинного автора» может быть красивым. Словно влюбленный поэт, я напевала про себя: «О, как удивительно, что у тебя есть тело! Парящее в моих (наших) снах...» Мне даже казалось, что если эти немногочисленные жалкие вещи (может быть, сама эта формулировка была попыткой выразить пренебрежение к ней?) написала не я, а она, то я могу быть счастлива уже тем, что не имею к ним никакого отношения. Но нет, это я, сама, своей рукой выводила те слова — или мучилась от невозможности высказать их — на бумаге. Еще мне пришло в голову вот что: порасспросить других писателей, не доводилось ли и им получать письма от таких же вот подлинных авторов их вещей. Как знать, вдруг не я одна пала жертвой злого, хитроумного и довольно изящного розыгрыша? Ибо не было никаких доказательств, что это не розыгрыш, злой и упорный.

Разумеется, я не хочу сказать, что все время только об этом и думала. У меня была своя жизнь, и мне удавалось ею наслаждаться. Жизнь самая обычная, как у всех; временами скучноватая, но не настолько, чтобы стать тоскливой, а переживания, заставляющие острее чувствовать вкус реальности, испытывая ее на прочность всякими бедами, меня ничуть не привлекают. В общем, я, видимо, научилась без всякого мучительного смущения воспринимать столкновения с тем миром слишком резких и ярких контуров, которому вынуждены покорно подчиняться более юные, неопытные натуры. И если я сознаю себя узником этого подавляющего меня мира, где я не могу писать, разве сам этот факт не означает уже попытку писать? И, наверное, как любой другой писатель, я предпочитаю читать не то, что написала я сама (хотя о н а так не скажет; она-то скажет, что это написала о н а), или не то, что написала она, а те бесчисленные вещи, которые написаны другими и нравятся мне. Несмотря на ревность, непременную спутницу такого чтения.

Однажды я поехала в курортное местечко Югавара, прихватив с собой тетрадь для рассказа, который должна была начать, а также несколько своих вещиц, нуждавшихся в редактуре, несколько непрочитанных книг и рукопись под названием «О моем творчестве» — это я согласилась напи-

сать под влиянием какого-то странного искушения. Конечно, трудно сказать, имею ли я право рассуждать о собственном «творчестве», но это отдельный разговор, однако гонораров моих вполне хватило, чтобы некоторое время пожить на горячих источниках; традиция же писать, живя на горячих источниках, мне по душе.

Почему так всегда: как ни стараешься избегать разговоров о том, что ты пишешь или собираешься написать, все равно в конце концов тебя прорывает? Нам предписано молчать, а мы разливаемся соловьем. Точно горим желанием поведать правду, а на самом деле только туману в глаза напускаем — отчего так? Чего от нас ждут, что жаждут услышать, когда мы разглагольствуем о «своем творчестве»? Должно быть, это такой вид исповеди. В этой притворной исповеди мне смутно видятся какие-то формы — книги, обратившиеся в иллюзии. А мне исповедоваться, в общем-то, было не в чем. Просто собственные рассказы я читала со странным пылом. Если все-таки допустить, что эти рассказы написала о н а и я теперь уже ее читатель, то, возможно, именно этим мой пыл и объяснялся. Однако в тот момент в моем воображении существовало пока что одно лишь заглавие нового рассказа: «Платоническая любовь». Интересно, кто же его напишет? Она или я?

Как я и ожидала, «Платоническая любовь» не продвинулась ни на строчку; тетрадь моя была пуста, днем я гуляла, по вечерам читала или пила в одиночку — так прошло пять дней. Я попыталась порассуждать о «своем творчестве», о рассказах, написанных мною три года назад, но все слова были не мои, я словно бы переписывала е е письма. Сопротивляясь е й, я попыталась написать о заячьей шкурке, прибитой гвоздем к серо-коричневой дощатой двери бакалейной лавки в городке Ханамаки (кое-где края шкурки завернулись, и стала видна мездра со следами крови, от времени превратившейся в клеевидную массу), или о сне про зайца, который приснился мне в поезде по дороге в Иватэ. Я пыталась вспомнить пасмурное небо и монотонные улицы зимнего Ханамаки, белесое, бескровное небо, которое тщетно пытались оживить серые, коричневые, бледно-голубые артерии заурядного, ничем не примечательного провинциального городка. Но бывала ли я там на самом деле? Из того Ханамаки, что я помнила, был словно вынут стержень жизни — суетной, бестолковой, но, собственно, и делающей город городом, — и местность эта совсем затерялась в лабиринте моей памяти. Исчезли, растворились улицы, где

«дух молчащего города подсказывал мне путь», пропала даже невыделанная заячья шкурка, которую я вроде бы точно видела. А может быть, я обо всем этом только читала? Не я это видела, не я писала про это, и та шкурка с коричневой, красной, лиловой клейкой кровью и жиром — я ведь о ней просто где-то читала, не так ли?

В освещенной закатным солнцем убогой захолустной гостинице было так тихо, что сразу становилось ясно: других постояльцев тут нет, а так как открывавшийся прежде вид на горы загородило теперь серое бетонное здание туристического отеля, то и цены были невысокие, так что я могла позволить себе пожить здесь подольше. На раздвижной ширме фусума красовалось пожелтевшее от многолетних закатных лучей неумелое изображение журавля с хитрым выражением физиономии, в токонома[1] висел свиток со стихотворением о тоскующей в снегу белой цапле. Стоявший прямо перед ним маленький черно-белый телевизор, обшарпанный низенький деревянный столик с потеками от подставок под пивные кружки, на нем — чайная посуда, да еще трюмо, прикрытое занавеской выцветшего набивного шелка, и полка для одежды с тремя крючками — вот и все убранство комнаты. Каждый день на закате я купалась, а потом грустно пила в одиночку, закусывая той стряпней, что приносила мне хозяйка гостиницы: свининой в кисло-сладком соусе, сасими[2] и салатом под магазинным майонезом. Одинокие трапезы имеют одно несомненное достоинство: тут никто не может упрекнуть тебя в невоспитанности, если ты за едой читаешь. В этой поездке, как и во многих моих скромных путешествиях, я постоянно вспоминала о том, что у меня с собой тетрадка для рассказа, и, сидя в горячей воде, отливавшей розовым металлическим блеском в лучах вечернего солнца, я то и дело заливалась слезами, пытаясь расслышать в себе первый зов рассказа, который все никак не пробьется наружу. Расчувствовавшись, я начинала воображать, что отсутствующий персонаж, какой-то «он» или «она», который уходит от главного действующего лица, и есть как раз сама эта отсутствующая, ненаписанная вещь, и плакала от избытка эмоций. Тело мое растворялось в воде бассейна, это было уже не тело, но и не вода, омывавшая его со всех сторон, обволакивавшая своей мягко-

[1]Токонома — ниша для цветочных ваз или картин.

[2]Сасими — тонко нарезанная сырая рыба с приправами.

стью; уже не я, а кто-то другой колыхался в воде, связывавшей и смешивавшей меня со всем сущим. В молчании, в тишине, в розовом солнечном свете, трепещущем в молочно-белых клубах пара, время мягко растягивалось, бассейн начинал расширяться, как будто это был сон во сне и сон это был не мой, а е е сон, а я была в этом сне лишь персонажем, а потом все это жутковатое видение само растворялось в горячей воде. Парящее в моих (наших) снах...

Как-то раз после обеда, когда я прогуливалась по берегу горной речушки, протекавшей через парк, ко мне подошла незнакомая женщина. Несмотря на кажущуюся боязливость, в ее манере говорить чувствовалась какая-то напористость. Она говорила так, как будто ей все обо мне известно, и я интуитивно поняла, что эта женщина и есть о н а. Тот мысленный образ «подлинного автора», который сложился у меня как отражение моих бессознательных амбиций и тщеславия, ассоциировался, как я уже писала, со словом «красивая», но было бы, пожалуй, бестактно по отношению к «подлинному автору» как-либо показать ей, насколько это определение оказалось неподходящим. (Подробно описывать, почему оно оказалось неподходящим, — и не в моем вкусе, и, главное, было бы дурным тоном.) Она сказала, что еще не обедала, и пригласила меня пообедать вместе; я покорно ответила, что уже поела, но выпить чаю или кофе вместе с ней не откажусь. Мы отправились в кафе у входа в парк, сели друг против друга за столик у окна; она заказала дорогой сандвич с ростбифом, салат из крабов и кофе, я только кофе. О чем мы беседовали в этом кафе, я почти не помню. (За исключением того, как она, похрустывая листьями салата и сельдереем, говорила о еще не написанном рассказе «Платоническая любовь».) «Подлинный автор» рассказывала мне о «Платонической любви», облизывая с пальцев сок от ростбифа. Я не сообразила спросить ее, зачем она присылает мне письма, мало того — мне пришлось еще и заплатить за сандвич, салат и три чашки кофе, выпитые ею одна за другой. В гостиницу я вернулась лишь около трех часов пополудни.

Я понимала, что должна написать «Платоническую любовь», но теперь у меня не было ни особого желания, ни особой нужды это делать.

Когда я приехала домой, меня, как я и предполагала, ждал конверт от «подлинного автора», но письма с благодарностью за обед в нем не содержалось; там находилась

рукопись «Платонической любви», о которой мне было рассказано за этим обедом.

Я несколько раз сказала себе: могу и не читать. Ведь проще простого выбросить рукопись в мусорный ящик или сжечь.

Было бы очень легко протянуть руку, взять лежащую на моем столе рукопись, подписанную моим именем (ужасный почерк — как будто я сама писала), и бросить ее в огонь, чтобы не то что следа — памяти о ней не осталось. Надо было бы вынести письма (все письма, что о н а прислала) в сад, облить их керосином и чиркнуть спичкой. Налить воды в ведро и караулить, чтобы не устроить пожар. Понадобится совсем немного времени, чтобы огонь поглотил эту кучу бумаги, чтобы от нее повалил бледно-лиловый дым, и тогда останется только легкая кучка хрустящего черного пепла, я залью ее водой и втопчу в землю. Но я опустилась на стул с чувством безнадежности: ну и что? Что я этим уничтожу? Короче, видимо, я все-таки опубликую «Платоническую любовь». И буду утверждать, что это написала я.

ЮКИКО КАТО

НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ...

Раздался телефонный звонок. Маса еще сидела за поздним ужином, и трубку сняла ее мать.

— Да, это квартира Мияути. — Узнав, что звонит Мицугу, женщина нахмурилась и бросила быстрый взгляд на дочь. Последние месяцы Мицугу вызывал у нее раздражение. Причина была проста: приближался день рождения дочери — ее тридцатилетие, — а Мицугу, считавшийся у Масы другом номер один, все не делал ей предложения. Точнее сказать, он пытался заговаривать об этом еще в студенческие годы, и не один раз. «Ну что это за мужчина, — с пренебрежением думала госпожа Мияути, — если он не может убедить девушку принять окончательное решение?!» — Нет, она уже вернулась. Сейчас как раз ужинает.

— Передай, что я позвоню ему попозже, — торопливо подсказала Маса.

— Маса говорит, что перезвонит вам сама. Что?.. А что это означает? Она поймет? — усомнилась госпожа Мияути и положила трубку.

— О чем это он? — спросила Маса, отрываясь от еды.

— Мицугу-сан говорит что-то очень странное... Сказал, что вам выпал выигрыш в лотерею.

— Какую еще лотерею?!

— Мне послышалось: в лотерею «Полет на земном шаре». Ну не чудно́ ли? Ведь в наши дни каждый детсадовец знает, что все мы и так совершаем полет на земном шаре.

Маса вздохнула, взяла в руки хаси[1] и снова принялась за

[1]Хаси — палочки для еды.

еду. На тарелке перед ней аппетитно красовалась целенькая, совершенно не разварившаяся рыбка кинки. Маса не уставала восхищаться кулинарным искусством матери, дававшимся ей так легко. Сама же госпожа Мияути нисколько не гордилась этим. Ей и в голову не приходило, что ее необыкновенное мастерство — результат таланта и многолетнего опыта. Она полагала, что все это без особого усилия может освоить любая хозяйка. Такое отношение госпожи Мияути к домоводству, может быть, и стало причиной чрезмерного увлечения Масы собственной работой.

— Послушай, а ты не догадываешься, о какой лотерее идет речь, — попыталась снова завести разговор мать, — ведь Мицугу-сан сказал, что тебе известно...

— Неужели нельзя молча поесть? И так от принтера голова трещит! — взорвалась Маса и тут же поймала себя на том, что повторяет расхожие фразы человека, которого они с младшей сестрой когда-то называли отцом.

Мать понуро опустила голову, раскрыла книгу и погрузилась в чтение. Очки то и дело сползали на нос, и она всякий раз подхватывала их правой рукой. Почувствовав, что обидела мать, Маса торопливо проглотила остатки риса и нарочито громко объявила:

— Вот теперь можно и позвонить.

— Звони, — сухо буркнула мать, взглянув на Масу поверх очков. Однако ее обуревало такое любопытство, что казалось, будто вот-вот у нее из ушей выдвинутся прутики антенн-усилителей.

Мицугу тотчас же подошел к телефону: видимо, ожидал звонка.

— Что там у тебя за лотерея с нелепым названием «Земной шар»?..

— Да не земной шар, а воздушный шар! — рассмеялся Мицугу. — Ты не забыла наше возвращение домой недели две тому назад, в субботу, что мы провели вместе?.. Помнишь старушку с лотерейными билетами неподалеку от станции?

Маса моментально все вспомнила.

В тот вечер Мицугу был так внимателен, так мил, что ей страшно хотелось побыть с ним до утра. Но Мицугу должен был подготовить к следующему дню текст анонса и представить его на утверждение. А в предыдущий раз Маса была занята составлением объявления об открывавшемся форуме. Еще за неделю до этого Мицугу предстояла командировка. Что помешало им неделей раньше, Маса уже не помнила, во

всяком случае, они не располагали собой. Маса работала уже восемь лет и постоянно испытывала ощущение напряженной занятости. Нельзя сказать, чтобы она тяготилась этим. Конечно, женщины, оставившие службу, спустя каких-нибудь два-три года уже обзавелись детишками. А ее все время подстегивало чувство, которое можно было передать примерно такими словами: «Необходимо! Во что бы то ни стало! Кто же, если не ты?!»

В тот унылый весенний вечер молодые люди шли под руку по направлению к станции. Они миновали улицу с непрерывным потоком пешеходов и брели по тихому переулку, где в каждом укромном местечке за маленькими столиками сидели гадальщики. Маса и Мицугу уже вышли из того возраста, когда гадают ради забавы. Желания погадать, чтобы склониться к какому-либо решению, у них тоже не возникало. Но хоть гадание и было чуждо их складу, сами гадальщики с лицами-масками, высвеченными настольными фонарями, пробуждали в душах молодых людей щемящую ностальгию, похожую на память о книгах, которыми они когда-то зачитывались. Наверно, под этим впечатлением Мицугу вдруг замедлил шаг возле одного из киосков, перед самым поворотом на главную улицу, сверкавшую неоновыми огнями.

Однако тексты с предсказаниями в нем не продавались. Низенький киоск, похожий на телефонную будку, был ярко освещен электрической лампочкой. На вывеске — прибитой поперек деревянной доске — выведено черной тушью: «Всеяпонская лотерея».

— Купить, что ли? — в раздумье предложил Мицугу.

— Давай купим. Только хотелось бы знать, что за билеты.

Маса высвободила руку и прижалась лбом к стеклянному окошку. Под свешивавшейся с потолка лампочкой сидела дремлющая старушка. Прямо перед ее склоненным лицом в несколько рядов были разложены листочки разного размера и цвета, испещренные номерами.

Со словами «Будьте добры!» Мицугу постучал в стекло.

Старушка встрепенулась и поспешно открыла окошечко.

— Слушаю вас. Желаете купить лотерейные билеты? Сколько вам?

— А что там у вас есть? — поинтересовалась Маса.

— Сейчас у нас только... четыре вида, — запинаясь, объяснила старушка. — Кроме «Всеяпонской» есть «Зеленая лотерея», по ней можно выиграть целую сотку лесного уго-

дья. Потом... лотерея «Мода», в ней выигрыш — платье. Да... забыла сказать еще про лотерею «Воздушный шар».

— И по ней можно выиграть воздушный шар? — изумленно переспросила Маса.

— Я не очень разбираюсь в этом. Меня просто попросили немножко поторговать здесь, — смутилась пожилая женщина. — Вы можете справиться у владельцев — в «Ассоциации воздухоплавателей».

— Ладно. Дайте нам пять билетов вашей воздухоплавательной лотереи! — решил Мицугу. Он, видимо, начинал беспокоиться о тексте, который ему предстояло сдать к следующему дню.

— Вот это да! Значит, выиграли?! И мы в самом деле получим воздушный шар? — возбужденно тараторила Маса, предвкушая встречу с чем-то новым и интересным — им так недоставало этого последнее время.

— Да нет же! Никто не собирается дарить нам воздушный шар. Речь идет...

— Хм, а что же нам дадут?

— Речь идет о полете на воздушном шаре!

— О полете? — несколько разочаровалась Маса и, помолчав, спросила: — И когда же?

— Видишь ли, существует специальный «День воздушного шара». Праздник этот, разумеется, неофициальный. Все это они сами придумали...

— Кто «они»?

— Деятели из «Ассоциации воздухоплавателей». При первом же разговоре я понял, какие это необыкновенные люди. Вот бы сделать о них рекламный текстик!

— До чего же ты усердный, одна работа на уме, — вздохнула Маса.

— Да нет, не только, — возразил Мицугу. — Итак, нам с тобой, как обладателям выигравшего билета, представляется возможность совершить полет на воздушном шаре. Запуск на берегу реки. Желательно, чтобы по возвращении мы дали интервью для телевидения. Устроители хотят пропагандировать воздушные шары как средство передвижения. Сами они великие энтузиасты.

— Выходит, мы просто нужны им.

— Ну зачем ты так?! — запротестовал Мицугу. — Не будь этого выигрыша, нам бы никогда не довелось полетать на воздушном шаре!

«Это точно!» — подумала Маса.

В детстве она любила фантазировать, заглядываясь на рекламный аэростат, зависший над универмагом. Ей казалось, что это вовсе и не воздушный шар, а какое-то космическое чудище с огромной головой. Беднягу привязали канатами к крыше, чтобы не дать улететь в небо. И девочке хотелось дотронуться до него, хотя бы разок.

— Я согласна! О'кей! — И Маса положила трубку.

Полностью забыв о недавней размолвке, мать проговорила с тревогой:

— Это не очень опасно?.. Да? Я понимаю, дело давнее, но ведь дирижабль «Гинденбург» взорвался...

— В те времена использовали водород, а теперь шары наполняют гелием или подогретым воздухом, — авторитетно разъяснила Маса и невольно усмехнулась: уж очень быстро она сама превратилась в энтузиастку воздухоплавания.

Приближался «День воздушного шара». Гордость переполняла Масу. Когда предполагаемая дата полета почему-либо отодвигалась, сослуживцы, подтрунивая над ней, нарочно спрашивали:

— А что, день полета все еще не назначен?..

И вот долгожданное воскресенье настало. Маса трепетала, словно воздушный шар перед взлетом.

Молодые люди отправились к месту старта. Накануне неожиданно налетел яростный ураган, казалось, вот-вот опрокинется небесный свод. Но в день полета ветер внезапно стих и лишь изредка ласково поглаживал их лица. На речной насыпи громадным пушистым пледом расстилалась молодая поросль чернобыльника.

— Когда мы учились в средней школе, я как-то полдня просидел здесь с одной из моих одноклассниц, — оглядывая местность, вспомнил Мицугу. — Сколько лет прошло...

— А чем эта девушка занимается теперь? — поинтересовалась Маса.

— Не знаю. Она вскоре уехала с семьей в Америку.

Маса сорвала стебелек чернобыльника, поднесла его к носу и с удовольствием втянула едва уловимый горьковатый запах. Игриво помахав цветком перед Мицугу, она произнесла:

— Что скажешь о такой фразе для рекламы: «Хранишь ли ты в памяти аромат полей?»?

— Я бы предпочел «запах лепешек с зеленью». Помню, одинокая женщина, что жила неподалеку, частенько пекла и приносила нам лепешки с молодой сушеницей...

Масе наскучили бесконечные экскурсы в прошлое. Она скатала листик чернобыльника в трубочку и, кинув его, первой начала спускаться с насыпи. Внизу, переливаясь полотнищами серебристых флажков, пробегала река. Между рекой и насыпью тянулся пологий берег, усыпанный камнями и галькой. Человек десять мужчин и женщин, стоя кольцом, копошились рядом с двумя автофургонами. В центре круга лежала какая-то туша, похожая на спящего слона. Люди изо всех сил старались заставить усталое животное подняться.

Только Маса с Мицугу подошли к работавшим, как из автофургона вышел благодушный мужчина и с улыбкой приветствовал их:

— Добро пожаловать. А мы уже начали тревожиться, приедете ли вы. Ведь многие из тех, кому выпадает выигрыш, в последний момент идут на попятный. Сколько мы ни убеждаем — до оскомины во рту, — что полеты на аэростатах безопасны, люди бывают не в силах преодолеть безотчетный страх.

— Добрый день. Благодарим вас за внимание. Мы очень рады нашему выигрышу. — С этими словами Мицугу протянул заранее приготовленные визитные карточки.

— Хм... оказывается, и вы, и ваша спутница работаете в рекламном агентстве. Думаю, у нас могут установиться контакты. Главная цель нашей ассоциации — внедрение воздухоплавания на аэростатах. Но в качестве побочного бизнеса мы иногда сотрудничаем в сфере коммерческой пропаганды.

— На этом шаре мы и полетим? — спросила Маса, сгорая от нетерпения скорее подняться в небо.

— Да, сейчас его наполнят газом. Взлет назначен на десять часов, но из-за ветра может быть небольшая задержка.

— Скажите... — Мицугу заколебался, потом договорил: — Каков процент выигрышей в вашей лотерее? Можно ли считать, что нам здорово повезло?

— Безусловно! — с удивлением оглядывая Мицугу, заверил представитель ассоциации. — Один выигрыш падает в среднем на тысячу билетов. Организация наша бедная. Мы располагаем единственным воздушным шаром, который приходится использовать и в учебных целях, и для подъема пассажиров.

Мицугу обнял Масу за плечи и с удовлетворением шепнул:

— Повезло! Судьба благоволит к нам.

В результате стараний спецбригады воздушный шар начал наконец приподниматься, но, будто не желая принять

определенную форму, плоским облаком покачивался над самой поверхностью земли.

— Все ли у них исправно? — с беспокойством спросила Маса.

— Полный порядок! — Мицугу был настроен оптимистично.

В это время от бригады рабочих отделился представитель «Ассоциации воздухоплавателей» и опять подошел к Масе и Мицугу. За ним следовал высокий худощавый юноша.

— С этим молодым человеком вам и предстоит совершить сегодняшнюю воздушную прогулку. Еще со школьных лет он проявлял горячий интерес к полетам на воздушных шарах и, невзирая на свой возраст, сумел стать первоклассным воздухоплавателем. Можете быть спокойны.

— Рады слышать это, — проговорил Мицугу.

— Приятно познакомиться, — добавила Маса.

— Я польщен, — вспыхнул молодой человек и потупился, не зная, как реагировать на похвалу начальника. — Взлет через десять минут, — объявил юноша скороговоркой.

— Погода благоприятствует нам, — радостно отметил представитель ассоциации, поглядывая на голубое небо, почти свободное от облаков. — Полет доставит вам удовольствие.

Проведав каким-то образом о предстоящем запуске, на насыпи собирались зрители. Каждый старался захватить на пологом склоне местечко поудобнее. Некоторые пришли всем семейством и уже доставали сладости и бутылочки с соком.

— Смотри-ка, не твоя ли это матушка?

Маса посмотрела в направлении, куда показал Мицугу, и кивнула.

Действительно, около красновато-коричневой легковушки «Sanny»[1] стояла ее мать. Она вырядилась в белую юбку-брюки, будто лететь предстояло ей самой. Вслед за матерью из машины — со стороны водительского места — вышла младшая сестра Масы: в солнцезащитных очках, волосы повязаны шарфом. Сестра тянула за руку трехлетнего сынишку. Увидев Масу и Мицугу, все трое принялись энергично махать руками.

— Тоже мне, размахались. Будто пришли на запуск

[1]Марка легкового автомобиля фирмы «Ниссан».

космической ракеты! — пробурчала, краснея от смущения, Маса.

— Тетя Маса-а! — долетел до нее тоненький, как у птенчика, голосок племянника.

Несколько человек из бригады, занятой подготовкой к полету, с улыбкой обернулись на этот писк. Маса приветственно помахала рукой. Зрители на насыпи замахали в ответ. Тем временем воздушный шар поднялся и завис над поляной. Он напоминал теперь золотой диск луны, только что выплывшей из-за горизонта.

«Куда лежит мой путь? Где завершится этот полет без цели?..» — словно во сне размышляла Маса. И как это всегда происходит во сне, она ничего не могла предугадать наперед.

— Желаю вам приятно провести время, — напутствовал представитель ассоциации, пожимая руку Масе и Мицугу.

Под аплодисменты служащих, стоявших вокруг них живой изгородью, молодые люди выбрались из круга и подошли к воздушному шару. Аэронавт уже находился в гондоле. Он протянул руку Масе и втащил ее туда. Мицугу проворно вскарабкался в гондолу сам.

— О-о, какой вы ловкий, — удивился сопровождающий.

— Да я футболом увлекался, — ответил Мицугу.

— Предполагаемая продолжительность полета — тридцать минут, — бодро объявил аэронавт и добавил: — Если не отнесет южный ветер.

Рабочие принялись отвязывать канаты. Маса невольно ухватилась за борт гондолы. Однако они оторвались от земли плавно, без малейшего рывка. На какой-то миг Маса испытала противодействие земному притяжению, сменившемуся ощущением блаженной невесомости. Девушке казалось, будто она сбрасывает с себя толстую скорлупу и постепенно становится прозрачной. Наверно, так чувствует себя птица, взмывая ввысь. Маса сделала открытие: в поднебесье парят прозрачные птицы. Это когда смотришь, задрав голову, с земли, кажется, что они летают при помощи крыльев и хвостового оперения. Вот какая разница в зрительном восприятии в небе и на земле. Маса, правда, не была уверена, совпадает ли это с впечатлениями ее спутников. Мицугу с момента взлета был поглощен фотографированием все удалявшейся земли.

— Как насчет того, чтобы распить бутылочку шампанского, презентованную нашей ассоциацией? — предложил

аэронавт, раздвигая складной столик. Проворно расставив на нем бутыль и стаканы, он тихонько спросил у Масы: — Вам не страшно?

— Нет, нисколечко. Все чудесно.

— Значит, у нас с вами родственные души. Мы слышим зов неба...

Он с шумом откупорил бутылку и выпустил за борт струю пены, разлетевшуюся словно хвост кометы.

— За тех, кто слышит зов неба! — провозгласила, поднимая стакан, Маса.

— За воздушный шар! — присоединился Мицугу.

— За вас! — предложил аэронавт.

Все трое разом сдвинули стаканы над серединой гондолы и звонко чокнулись.

— Как же славно! — воскликнул Мицугу.

— Ваше отличное настроение — залог успеха сегодняшней прогулки, — радостно поддержал молодой человек.

— Скажите, есть ли конструктивные различия между воздушным шаром и дирижаблем?

— В обоих случаях используется один и тот же принцип плавучести. Однако воздушные шары не имеют ни двигателя, ни системы управления. Поэтому в аэронавтике их называют не летательными аппаратами, а воздухоплавательными предметами. Но ведь это близко к дискриминации, вы согласны со мной? — кипятился аэронавт.

— А мне думается, свободно плыть по воле ветра гораздо приятнее, чем лететь, — попыталась утешить юношу Маса.

— Нелепо само выражение «предмет, плавающий в воздухе»! — возмутился Мицугу. — Будто речь идет всего-навсего о какой-то пылинке.

— Вот именно, — подхватил молодой человек. — Допустим, у дирижабля отказал двигатель. В таком случае между ним и воздушным шаром пропадает всякое различие. Но официального признания почему-то не удостаиваются только воздушные шары.

Разговор наскучил Масе, и она молча рассматривала раскинувшуюся внизу панораму. Аэростат продолжал набирать высоту. Струей бокового воздушного течения его несколько отнесло в сторону, и теперь они проплывали над городом. Жилые дома разной формы и цвета вытянулись на холме, будто ряды полок с фруктами в торговом центре. Все выглядело как на плоском мозаичном панно. Разница в высоте и размерах, всегда бросающаяся в глаза на земле, теперь почти исчезла. Вереницей божьих коровок медленно ползли

автомобили, а песчинки человеческих фигурок даже не удавалось разглядеть.

Заметив, как напряженно смотрит вниз Маса, аэронавт пошарил под сиденьем и, достав оттуда бинокль, протянул его девушке. Маса поблагодарила и, взяв бинокль, неумело поднесла его к одному глазу — все перед ней мгновенно затянулось бледно-голубой дымкой.

Молодой человек не выдержал, придвинулся поближе к Масе и помог ей навести резкость. На картине тотчас же проступили новые детали. Несколько в стороне от места, над которым проплывал аэростат, серебристой лентой извивалась река, возле которой они стартовали. Один конец ленты впадал в прилегающий к городу залив. Другой, делаясь постепенно все тоньше, исчезал в ущелье, окутанном весенним туманом. Над горами величаво парил одинокий сокол, по морю медленно плыл красавец пароход. «Как же ты чудесна, земля моя!» Взволнованная Маса обернулась к молодому человеку. На его кивок, означавший: «Отлично понимаю вас!», она ответила улыбкой.

— Назовите же, пожалуйста, нам ваше имя, — неожиданно нарушил молчание Мицугу. — Может быть, нам доведется где-нибудь встретиться. Наши имена вам известны, а вас мы не знаем. Это вносит в нашу компанию какую-то дисгармонию.

В голосе Мицугу проскальзывали едва заметные язвительные нотки. Маса молила судьбу, чтобы молодой человек не уловил этого.

Однако, мрачнея на глазах, аэронавт заявил:

— Мне хотелось, чтобы вы называли меня «господин А», но, очевидно, эта буква уже закреплена за вами. Что ж, меня устроит любая литера: «В», или «С», или «D». Во всяком случае, ничего другого назвать вам я не намерен.

— Извините, пожалуйста, — поспешила вмешаться Маса. — Оставим это! Нам нет нужды знать ваше имя.

— Но послушай, Маса. Мы на воздушном шаре гости. И, я полагаю, имеем право узнать имя нашего сопровождающего.

— Для меня достаточно того, что молодой человек исправно выполняет свои служебные обязанности.

«Какое-то ребячество!» — подумал Мицугу, но, не настаивая больше, снова принялся фотографировать. И тут, будто пародируя их пустую перебранку, в воздухе внезапно разнеслись пронзительные рулады, выводимые в сверхвысоком диапазоне. Примерно в двух метрах от слегка

покачивавшейся гондолы в небе зависла маленькая птичка. Чтобы удерживаться в таком положении, она со скоростью запущенного на все обороты пропеллера непрестанно взмахивала крыльями: вверх-вниз, вверх-вниз. Удивительно, что при этом из ее полуоткрытого клювика легко и непрерывно, как магнитофонная запись, лилась прозрачная мелодия.

— Опять этот жаворонок! — процедил сквозь зубы молодой человек.

— Все поет и поет... когда же он дышит?

— Одновременно! — буркнул аэронавт.

— Да, наверно... иначе бы он погиб.

— Мне кажется, он не обращает на нас ни малейшего внимания! — удивился Мицугу.

— А я думаю... — Молодой человек умолк, затем продолжал: — Он, напротив, проявляет к нам повышенный интерес и даже выходит из себя от злости.

— Не могу согласиться с вами. Вслушайтесь, как радостно он щебечет, — попробовала возразить Маса.

— Откуда вы взяли, что он радуется? Я утверждаю, что жаворонок настроен к воздушному шару враждебно! — упорствовал аэронавт.

— У вас есть подтверждения? — поинтересовался Мицугу.

— Да! При каждом подъеме воздушного шара он взлетает вместе со мной, — не спуская глаз с жаворонка, начал молодой человек. — И каждый раз примерно в этом месте он начинает горланить.

— Но может быть, это другой жаворонок.

— Всегда один и тот же! Взгляните на головное оперение! Видите маленькую плешь? Это его отметина!

— Странно... — покачала головой Маса, — небесные просторы беспредельны. Что вы не поделили?!

— Это связано отнюдь не с величиной пространства, — задумчиво произнес Мицугу. — Дело в местонахождении каждого в небесной среде.

— Вот именно! — поддержал аэронавт. — Произошло пересечение трассы полета аэростата со сферой обитания жаворонка.

— Но ведь жаворонки издавна жили в небе. Почему бы нам не уступить им? — предложила Маса. В этом высоком сопрано ей вдруг послышался надрывный крик защитника семейства, из горлышка которого, казалось, вот-вот хлынет кровь.

— Это исключено. Именно данное воздушное течение — самое подходящее для аэростата.

— Разумеется! Маса просто оригинальничает. Вопрос не в том, кто был раньше, кто появился потом. Важно, кто более соответствует данному месту.

— И кто кого может изгнать отсюда...

— Прекратите вы, оба! — с негодованием потребовала Маса. — Неужели вы можете принимать всерьез эту крохотную птаху?!

— Для меня нет ничего дороже аэростата...

Молодой человек собирался сказать что-то еще, но в этот миг воздушный шар, как маятник, резко качнулся в сторону. Мужчины упали на дно гондолы, Маса, вскрикнув, ухватилась за веревку. Почти завалившись набок, аэростат стремительно продолжал движение. Фигурка жаворонка уменьшалась на глазах, вот он уже превратился в кунжутное зернышко. И только его победный клич неотвязно летел вслед воздушному шару. Однако никто не обращал на него внимания. Пока с трудом поднявшемуся на ноги аэронавту не удалось путем перемещения балласта вернуть наконец аэростат в вертикальное положение, все трое были на грани отчаяния.

— Прошу прощения! — счел своим долгом извиниться молодой человек и пояснил: — Произошла внезапная перемена ветра. Вы не поранились?

— Пожалуй что, нет, — сдавленным голосом ответила Маса.

— А я набил себе шишку на голове, — пожаловался Мицугу, все еще сидевший на дне гондолы, и предложил: — Если ветер изменился, может быть, нам пора спускаться?

— Позвольте решать это мне самому! — авторитетно заявил аэронавт. — У нас еще остается восемь минут. Я рекомендовал бы вам до захода на посадку сделать серию снимков.

— Я собирался сделать это без всякой рекомендации, — чуть слышно пробурчал Мицугу.

Маса погрузилась в грустное раздумье: «Чего, спрашивается, я могла ожидать от этого полета?! Изо дня в день мы с Мицугу шагаем по нашей жизненной тропе, с трудом передвигая ноги в свинцовых башмаках. И вот задумали хоть разок сбросить эту тяжесть и сойти с привычного маршрута, как это доступно свободным аэростатам, безмятежно парящим в небесной синеве. Но стремления нашего не хватило и на тридцать минут. Какое там, даже оставшиеся восемь

минут оказались для нас лишними. А так хотелось забыть о времени и делах, уподобиться жаворонку, охваченному упоительной радостью песни...»

Маса равнодушно наблюдала за своими спутниками. Один был всецело занят регулировкой положения аэростата, другой — поглощен фотографированием. Казалось бы, вполне мирная сценка. Но было что-то комичное в том, как, встречаясь взглядами, они распрямляли плечи; даже волосы у них словно становились дыбом, будто каждый хотел выглядеть выше другого.

Воздушный шар порядком отнесло от стартовой площадки. Теперь он проплывал почти над берегом залива — этой гигантской кофейной чашки, заполненной городскими сточными водами. Над бежевой поверхностью залива резвилось множество чаек. Каждая птица беспорядочно сновала по собственной прихоти, но все вместе — а было их больше пятидесяти — они образовали громадный белый столб, устремленный к аэростату.

Воздушный шар начал качаться из стороны в сторону, как корабль, попавший в шторм. Молодой человек поднялся и, дернув за шнур газового клапана, объявил:

— Идем на снижение! Попрошу вас сесть и покрепче держаться за что-нибудь!

— Подождите минутку! — закричал Мицугу. — Мне хочется снять Масу на фоне этих чаек.

Молодой человек пожал плечами:

— Я уже приступил к выпуску газа. Если мы не попадем в боковое течение ветра, нам не совершить посадку на берегу реки!

— Чего он злится? — обернулся Мицугу к Масе.

— Не знаю. Должно быть, он не может отпустить руку... — ответила девушка, не сводя глаз с аэронавта.

Воздушный шар кидало из стороны в сторону. Измученные Мицугу и Маса судорожно вцепились в борт гондолы. И только молодой человек, словно он был частью аэростата, без видимых усилий сохранял равновесие. Он стоял как статуя одного из «стражей врат» при входе в буддийский храм. Его невозмутимый взгляд был устремлен вниз. Легкостью и гибкостью фигуры юноша напоминал бога Гермеса.

«Наверно, ему довелось покатать на этом воздушном шаре немало девушек, — подумала Маса. — Я, разумеется, гораздо старше их. Зато мне под силу разгадать все его намерения...»

— Похоже, эти манипуляции не скоро закончатся, — довольно громко бросил Мицугу.

Молодой человек метнул в его сторону сердитый взгляд.

— Вы же прекрасно знаете, что воздушный шар всецело зависит от ветра. Ваша спутница говорила вам об этом.

— В таком случае надо держаться поскромнее и не корчить из себя полновластного капитана корабля. Сам же говорил, что на воздушном шаре такой должности не требуется.

— Изволите иронизировать. Небось уже раскаиваетесь, что в век реактивных самолетов согласились лететь на таком допотопном сооружении.

По мере накала спора воздушный шар снова начал заваливаться набок.

«Наверно, аэронавт забыл про газовый клапан. Может, попытаться восстановить равновесие, сбросив часть балласта?..» — с тревогой размышляла Маса.

— Нет-нет, все было чрезвычайно интересно, — нарочито спокойным тоном ответил Мицугу. — Можно сказать, что мы совершили поездку на машине времени.

— А для меня... — начал дрожащим голосом молодой человек, все ближе подступая к Мицугу, — воздушный шар — не машина времени! Это — мое... детище!

— Что ж, после посадки мы поделимся впечатлениями с представителями телевидения. Подробно расскажем и о нашем диспуте в болтающейся корзине.

— Попрошу не говорить гадостей о воздушном шаре! — Аэронавт был похож на возбужденного щенка, беспричинно наскакивающего на противника. Вот он толкнул Мицугу в грудь, и оба повалились на дно гондолы.

Как лодка под натиском урагана, аэростат начал крениться то в одну, то в другую сторону. Маса ощутила дурноту. Напрягшись, она подняла мешок с песком, служивший балластом, и бросила его за борт, как кидают мертвое тело. Воздушный шар пополз вверх. Маса пришла в дикий восторг: «Шар повинуется мне!»

Потасовка на дне корзины продолжалась.

«Я уже давно задумывалась: отчего эти бесконечные раздоры и распри? Все это из-за мужчин. Конфликтовать в городах, деревнях, на море, в пустыне, средь гор — вот их призвание. Они-то всегда утверждают, что все из-за меня. Пустая отговорка! Надоело! Может быть, если не будет меня, то пропадет и предмет раздора».

Маса взобралась на борт гондолы и села, свесив ноги. «Как кстати я надела юбку-брюки», — подумала она.

Взору девушки открылось бескрайнее пространство, заполненное чем-то податливым, как гель. Маса вновь пережила памятный миг перед первым заплывом — не в бассейне, а в открытом море: собственную беспомощность и неотступно манящую силу водного простора без привычных ограничительных дорожек и секторов... Она осторожно вытянула ноги и соскользнула за борт.

— Ой... ой... — раздались испуганные крики мужчин, высунувшихся из гондолы.

Небо было теплым, как южное море, оно оказалось даже податливее, чем морская вода. Маса расслабилась и, как во сне, свободно раскинула руки. Налетевший ветерок подхватил ее и понес словно щепочку.

«Оба они великолепны... только когда не вместе...» — с сожалением подумала Маса.

Золотистая оболочка делала плывущий шар похожим на полную луну. Он не найдет пристанища ни на земле, ни в небе. Ему не суждено исчезнуть. Так же как и Маса, он обречен на вечное скитание.

ТАЭКО КОНО

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Норико объявили, что она умрет. Ладно, раз уж ей выпала такая доля, ничего не поделаешь. Однако согласиться с тем, что это должно произойти сейчас, немедленно, она никак не могла.

— Дайте отсрочку! — взмолилась Норико, но услышала в ответ:

— Думаешь, подождешь и сможешь решиться?

— Мне необходимо свыкнуться с неизбежностью конца. Никто не хочет умирать, даже какая-нибудь дряхлая старуха или неизлечимая больная. А я-то достаточно молода и вполне здорова. И голова ясная, и сердце в порядке. К тому же в моих жилах нет ни капли самурайской крови — я не страдаю от избытка гордости. Поэтому, если не дадите мне подготовиться к смерти, я буду всячески цепляться за жизнь.

— А в существование бессмертной души ты не веришь?

— Верю, потому что без веры нельзя.

— Лучше такой веры не иметь.

— Разве? Беда в том, что высший дух слишком оторван от материального мира. Человеческая натура бывает или слишком бесчувственна, или же, наоборот, чересчур чувствительна, и она то не в состоянии ухватить тонкую нить, связывающую ее с духом, то буквально воспринимает смысл его указаний либо и вовсе не понимает его. И тогда дух раздражается и не хочет влиять на людские души. В результате душа обращается в сгусток нервозности и досады. При одной мысли о том, что моя душа обречена стать навечно сгустком страдания, смерть пугает меня еще больше. Поэто-

му я завидую тем, кто верит, что со смертью всему конец. Я хочу, — громко закричала она, — чтобы моя душа никогда не расставалась с телом! Даже после смерти. — Норико настолько была захвачена этой мыслью, что даже забыла о просьбе об отсрочке. — Во всяком случае, — снова заговорила она, — я не хочу умирать. А вы меня вынуждаете. Ведь можно дать хотя бы отсрочку.

— Тебе все равно не избежать смерти.

— Понимаю, поэтому и прошу только отложить дня на два, на три.

— Ничего не выйдет.

— Родилась-то я не вдруг, следовательно, и умирать в спешке не годится. Надо умереть — умру, но остались разные дела...

— Какие еще такие «разные дела»?

— Взгляните, — Норико, согнув руку, демонстративно оттянула рукав кимоно. — Разве могу я умереть в такой одежде? Ведь я как раз шла на похороны подруги. Если бы знала, что мне предстоит, надела бы другое платье.

— Ну, хватит. Тебе не кажется, что умереть в такой одежде лучше, чем, скажем, в сандалиях и фартуке?

— В черной траурной одежде не хочу.

— Траурная одежда белая. А вообще, ты права, черная тоже траурная. Но это даже хорошо, что на тебе траурный наряд. Глядя на тебя, окружающие подумают, что ты умерла подготовившись и что у тебя хороший вкус.

— Именно поэтому я и против. Не желаю, чтобы люди считали мою смерть спокойной, думали, будто я с готовностью отошла в мир иной.

— А какой наряд подходит человеку, умершему не своей смертью?

— Ну, так сразу не ответишь. Надо все обдумать, примерить разные платья, а на это нужно время. Прошу отсрочить мой смертный час.

— Что ж, подарим тебе один день.

— Пожалуйста, два.

— День, два — разницы нет никакой. Больше суток не получишь.

Норико посмотрела на часы, прикрытые рукавом кимоно. Семнадцать минут второго. В ушах загремело от резкого стука секундной стрелки, отмеряющей время.

— Завтра в один час семнадцать минут. На этом же месте.

Норико стояла оцепенев, завороженная тиканьем часов.

Завтра в этот час она, возможно, еще будет жива, а в час тридцать или в час сорок ее уже не станет.

— Дайте отсрочку на двадцать шесть часов, — попросила Норико. Стрелка продолжала неустанно отмерять время. Уже девятнадцать минут.

— Хорошо, завтра в три девятнадцать.

Норико поклонилась и зашагала прочь.

— А как же похороны подруги? Тебе безразлично, что душа покойницы опечалится? — раздалось ей вдогонку, но она даже не обернулась, а, еще ускорив шаг, поспешила домой.

Норико подошла к булочной на углу улицы, ведущей от торгового квартала к ее дому; она сняла трубку красного телефона у входа в магазин, решив узнать, когда вернется домой муж. Служебный номер Асари не ответил. Слушая долгие гудки, раздававшиеся из трубки с уже давно отломанным краем, она вдруг подумала, что мужу может показаться странным ее вопрос. Ладно, придется притвориться, что хочет посоветоваться с ним относительно суммы расходов на похороны подруги.

— Попросите, пожалуйста, Асари — из производственного.

— Кто его спрашивает?

Норико молчала.

— Кто спрашивает? — Голос в трубке зазвучал пронзительно. Чтобы оборвать его, Норико кончиком пальца нажала на рычаг и повесила трубку.

У дома она достала ключ и, когда поворачивала ручку двери, задержалась взглядом на желтом фанерном ящике для молока. Из-под его приоткрытой узкой крышки виднелись две пустые молочные бутылки, оставленные после завтрака. С послезавтрашнего дня будет достаточно одной... Когда муж уезжал в командировку, Норико оставляла для разносчика молока записку: «До такого-то дня прошу приносить одну бутылку», а когда они вдвоем отправлялись в путешествие, просила молока вовсе не доставлять.

Норико вошла в дом, сняла дзори и решила, пока не забыла, написать молочнику, чтобы впредь ограничивался одной бутылкой. Она приготовила тысячеиеновую ассигнацию, взяла из бювара шариковую ручку, села за низкий обеденный столик, достала из сумочки бумажный пакет с ароматическими палочками и оторвала от него квадратный клочок бумаги. «Господин молочник, спасибо за труды. С

послезавтра и впредь...» — тут рука Норико замерла. Ведь она решила попрощаться с Асари незаметно, но, если прикрепить этот клочок к пустой бутылке, он может попасться мужу на глаза. Что тогда будет? Записку надо оставить завтра, после ухода Асари на службу. Подобных дел, которые придется отложить на завтра, наберется, видимо, немало. Вот взять, к примеру, ключи, валяющиеся сейчас вместе с сумочкой на полу. Когда Норико выходила из дома, думая, что вернется позже мужа, она обычно прятала их за водосток у черного хода. Но случалось, что Норико забывала оставить их, и тогда муж не мог попасть домой. На сей раз промашки никак нельзя было допустить. Однако и о ключах она позаботится завтра, когда будет навсегда покидать дом.

Норико оторвала от пакета еще один клочок и, написав: «ключ», «молочник», спрятала его в коробочку с пуховкой, стоявшую на трюмо. В последний момент она непременно откроет коробочку. Затем развязала пояс оби, сняла траурное кимоно и переоделась в юбку со свитером. Распахнула настежь стеклянную дверь в коридор, раздвинула створки окон в комнатах. Дом наполнился приятным ветерком, настоянным на весеннем солнце. Ручные часики показывали уже тринадцать пятьдесят семь. Времени до назначенного часа оставалось в обрез. Норико стала складывать кимоно. Взгляд остановился на нижнем белье, и она подумала, что его нужно выбросить. К счастью, завтра день сдачи мусора. Сложив кимоно, Норико завернула в газету белье и затолкала сверток в большой нейлоновый мешок. В него она соберет все, что нужно выбросить. Мусорная машина приходит в одиннадцать. И с бельем, что сейчас на ней, завтра она поступит точно так же. Под ногами валялось грязное белье. Завтра ее не станет, поэтому и его можно выбросить. Мужу хватит оставшихся пяти комплектов. Она заколебалась было, что делать с грязной пижамой Асари, ведь у него их только три, но времени на стирку не было. Валявшиеся под ногами носки Норико тоже определила в мусор, но нейлоновый мешок был уже так туго набит, что едва не лопался. Она завязала его, вытащила во двор к черному ходу, бросив рядом с пластиковым мусорным баком. Оставалось еще немало вещей, но их можно было выбросить и завтра. Норико поднялась на второй этаж, вырвала листок из почтового набора, лежавшего в письменном столе мужа, и записала памятку: «Наволочки, простыни, ночная рубашка, юбка, свитер, нижнее белье мужа», затем, подумав, приписала: «Носки, носовые платки». Эту бумажку надо спрятать подальше

от мужа, но так, чтобы она непременно попалась ей на глаза до прихода мусорной машины, но после того, как Асари уйдет на работу. Однако она никак не могла придумать, куда бы ее положить, и чем больше нервничала, тем труднее было отыскать подходящее место. Она решила пока что засунуть ее в банку из-под анчоусов. До ухода мужа она непременно откроет ее, когда будет готовить суп мисо, а уж тогда решит, куда эту памятку положить.

Продолжая заниматься делами, Норико все время думала о том, что она наденет завтра, когда навсегда покинет свой дом. Надо одеться таким образом, чтобы всем стало ясно, что она умерла мучительной смертью. Умереть бы так, чтобы на теле было как можно больше ран, из которых фонтаном хлестала бы кровь. До последнего вздоха бить руками и ногами, кататься по земле, чтобы и тело, и все вокруг было залито кровью... Как хорошо, что она отказалась принять смерть в черном траурном кимоно — на черном кровь совсем незаметна. Норико вспомнила о белом костюме, сшитом в позапрошлом году. Со временем он приобрел желтоватый оттенок, но в целом все же смотрелся как белый. В этом году она еще ни разу его не надевала. Кровь на нем, несомненно, будет ярко алеть.

Тут ее осенило, что белый цвет вызывает ассоциацию со смертью. Получается, она уйдет из жизни в одежде траурного цвета, а это никак не годится. Был еще желтый костюм, как раз для нынешней погоды. Легкий выходной трикотажный костюм-двойка из джерси, который она и надевала-то всего раза два-три, должен висеть в гардеробе. Норико открыла платяной шкаф. Яркий костюм — кровь на нем прекрасно будет видна — был на месте. Там же висели ее зимние вещи — фиолетовый костюм, плащ и пальто; весенние — костюм цвета молодой зелени, блузки, свитера. Вся ее повседневная одежда. Ее тоже необходимо разобрать. Равно как и обувь. Ей теперь понадобятся всего одни туфли. Все остальное — и туфли, и дзори, и гэта — она решила выбросить. Однако и в гардеробе, и в обувном ящике ее вещи хранились вместе с вещами мужа, поэтому избавиться от них она сможет только завтра, после ухода Асари, иначе он может заметить.

Норико отправилась на кухню, чтобы в бумажке, положенной в консервную банку, приписать: «Гардероб, ящик для обуви». Ей подумалось, что она, хозяйка дома, перебирает все вещи так, как это бывает, когда выдают дочь замуж или же когда сбежала из дома прислуга. Норико верну-

лась к гардеробу. Поверх желтого костюма, висевшего на вешалке, накинула черепаховое ожерелье, затем заглянула в ящик для обуви в прихожей. Ее вдруг охватила тревога, что если она не сосредоточится, то многое не успеет сделать, забудет о важных вещах. Тревога все возрастала, множество дел, что ей предстояло сделать, стали объединяться, образовывая целые глыбы, и она ощущала только их общую громадность, утратив способность воспринимать каждое в отдельности.

Время приближалось к трем. В бане теперь распахнулись двери... Норико словно наяву увидела, как берет деревянный ушат с пола, выложенного керамической плиткой, слышит сухой стук, когда ставит его под кран. Ярко сверкает дно ушата, освещенное лучом солнца, льющимся из высоко закрашенного белой краской окна. Она подумала, что ей непременно надо в последний раз сходить в баню, ей захотелось еще раз услышать этот стук ушата, увидеть солнечные блики на полу...

Тут она вспомнила о более неотложном деле. Норико поднялась на второй этаж, распахнула створки стенного шкафа. Отодвинув в сторону подушки для сидения, достала ивовую корзину и извлекла из нее три юката — летних кимоно Асари. Скоро, самое большее через месяц, начнется купальный сезон. Если кимоно положить в гардероб, муж, наверное, обнаружит их. Ей захотелось сказать что-нибудь Асари. Пусть летним вечером, когда он впервые в нынешнем году наденет это юката, ее шепот прозвучит из складок рукава. Норико села за письменный стол мужа, раскрыла бювар, взяла в пальцы ручку. Она смотрела на лежавшие на полу юката, и перед глазами вставала фигура мужа, отказавшегося от обычной ежевечерней рюмки перед ужином и направляющегося в кинотеатр. Случалось такое примерно раз в десять дней. Асари, придя с работы домой, бросал: «Сегодня не буду», имея в виду выпивку за ужином. Если Норико в ответ говорила «Как хорошо!» или же «Молодец!», он, сердясь, заявлял: «А вот возьму и выпью». Если же она нейтрально относилась к порыву воздержания, он тоже злился и упрекал ее в равнодушии. В такие вечера Асари всегда был в дурном настроении и, чтобы как-то занять себя, посещал ближайший кинотеатр. Ее он почти никогда не брал с собой, да ей и самой не особенно хотелось идти. Когда муж объявлял, что идет в кино, Норико вздыхала с облегчением и быстро доставала для него новое летнее кимоно. Вместо денег она клала в рукав кимоно абонемент, чтобы на обратном

пути у него не появилось соблазна выпить. Норико было и грустно и смешно.

Норико снова взялась за авторучку и начала писать. «Добрый вечер! Как ты себя чувствуешь в этом кимоно? Приятно? Сегодня вечером отправишься в кино? Наверное, сегодня показывают твои любимые эротические комедии?» Она подписалась, отложила ручку и, свернув бумажку вчетверо, сунула ее в рукав лежавшего на самом верху юката с узором из узких поперечных полос. Запиской из рукава кимоно умершая Норико напомнит о себе летом. Однако ей захотелось появиться перед мужем еще и тогда, когда наступит зима. «Наступили холода. Сегодня вечером по пути домой ты, как всегда, наверное, пропустишь рюмочку. Дарю тебе свои деньги. Можно сказать, что я их тайком от тебя скопила. Ты, конечно, доверял мне, считая меня дурочкой, не способной утаивать. Так оно и было на самом деле. Здесь все, что осталось от денег на хозяйство, и те деньги, что я взяла на похороны подруги (куда я так и не попала). Ведь ты скуп, если только дело не касается выпивки. Я надеялась, что когда-нибудь ты заглянешь в ящик письменного стола. Хорошо, что ты их обнаружил. Извини, что получишь без процентов за ссуду. Привет друзьям, которые придут к тебе сегодня вечером в гости».

Так как к записке нужно было приложить деньги, Норико сразу же вырвала листок и, спрятав его в угол стола, снова взяла ручку. «Прежде всего, — подумала она, — следовало бы написать завещание».

Однако о завещании она вряд ли забудет. С ним можно и не спешить. Если времени все же не хватит, в конце концов можно ограничиться прощальным письмом к Асари, а ему она успеет что-нибудь черкнуть в любой момент. Гораздо более важно, казалось ей, оставить записки вроде тех, что только что сочинила. На этот раз она явится Асари в его чемодане. «Собираешься в командировку? Может, поедем вместе? Ну ладно, так и быть, я лучше останусь сторожить дом. А ты вспомни обо мне, когда будешь выходить. Тогда тебе не надо будет беспокоиться, выключен ли свет, закрыты ли двери. Доброго пути!»

Теперь Норико решила, что должна возникнуть перед Асари из пачки с новогодними открытками. Он их непременно достанет, когда будет писать новогодние поздравления. «Желаю счастливого нового брака. С будущего года наши встречи прекратятся. Прощай!» Написав эти строки, Норико подумала о том, что нет никакой гарантии, что

Асари не женится снова уже в этом году. Это вряд ли случится к тому времени, когда она напомнит о себе из рукава летнего кимоно. А вот когда объявится из кармана пальто, не исключено, что «столкнется лицом к лицу» не с Асари, а с его новой женой. Одинокому, не обремененному детьми сорокалетнему мужчине, у которого, правда, нет особых перспектив по службе, но, однако, и не безработному, пусть даже и выпивающему, все равно не трудно будет найти подходящую спутницу жизни. Асари, можно сказать, не повезло с женами. После смерти Норико это станет еще более очевидным. Его нынешний брак был вторым. Судя по прошлому Асари, по его характеру, он и пальцем не пошевелит, чтобы следующий брак был удачным, но вместе с тем и не подумает, мол, «хватит жениться». И дело не в том, что Асари не мыслит своей жизни вне брака. Просто со свойственной ему легкостью быстро снова женится.

Семь-восемь лет назад, когда Асари познакомился с Норико, он ничего от нее из своего прошлого не утаил. Сам рассказал о весьма непродолжительном первом браке с женщиной, кичившейся своим изысканным японским вкусом. Норико до сих пор не знает ни ее имени, ни возраста, поскольку до того, как зарегистрировать брак с Норико, Асари оформил себе новую книгу семейных записей. От Асари она узнала также, что после развода с женой и до знакомства с Норико у него были и случайные связи. Была и постоянная пассия. Уже став женой, Норико частенько обнаруживала среди вещей мужа женские — то красную авторучку, то набор карандашей, то изящную плетеную сумочку, то носовые платки. Это были исключительно импортные вещи и никак не вязались с женщиной, кичившейся японским вкусом. Асари не смущался. Норико также совершенно спокойно относилась к этому и даже пользовалась ими, например авторучкой.

Тот случай произошел год-два спустя после их женитьбы. Норико понадобилось что-то завернуть, и из кучи бумажных пакетов она извлекла тот, что поновее, а когда расправила его, обратила внимание на наклейку. Покупка была отправлена на имя Асари, однако адрес был указан прежний — тот, по которому он проживал с первой женой. Асари был уже три-четыре года как разведен, когда он познакомился с Норико, однако дата отправки была всего годичной давности.

— Сейчас я покажу тебе нечто интересное. — Норико

поднесла Асари, только что вернувшемуся со службы, бумажный пакет с наклеенной квитанцией.

— Откуда ты это взяла? — спросил Асари, уставившись на адрес.

— Небось дорого сердцу? — засмеялась Норико. — Спрашиваешь «откуда»? Из стенного шкафа. Из бумажных свертков.

— Странно, непонятно.

— Действительно непонятно. В особенности вот это. — Норико, ткнув пальцем, показала растерявшемуся Асари дату отправки.

— А-а, понял, — неожиданно громко закричал Асари. — Это переслали от младшего брата.

— Да? Тогда он, кажется, жил в Хакате?

— Я тогда замотался и о своем переезде ему не сообщил. А он, не зная, что у меня сменился адрес, отправил посылку.

— И что же?

— Ну ее оттуда переслали по моему новому местожительству.

Норико не выдержала:

— Ведь прошло уже два-три года. И что же, переслали спустя три года после переезда? Ну довольно! Считай, что я ничего не видела.

— Да ты словно из тайной полиции прежних времен, — скривился в улыбке Асари и нарочито неторопливо вернул ей пакет. Норико полагала, что с женщиной — обладательницей заграничных вещиц — Асари жил после развода, а поскольку после распада первого брака и до женитьбы на Норико прошло совсем немного времени, получается, что за совсем короткий срок он развелся с одной женщиной, затем сожительствовал с другой, а потом женился на третьей.

Насколько могла судить Норико, Асари особенно не увлекался любовными похождениями. Раза два-три она обнаруживала признаки посещений в компании особых заведений, не исключено, что он обманывал ее, но она относилась к таким вещам спокойно. Точно так же Норико не испытывала ревности к прежним женщинам. До замужества и у нее были любовные связи, но с прошлым было покончено даже в воспоминаниях. Асари и ей не было свойственно цепляться за прошлое, да оно того и не стоило. Норико, скорее, питала симпатию к его первой жене и к обладательнице заграничных вещиц. Это чувство стало еще более отчетливым после того, как она поняла, что за более короткий, чем она предполагала, срок Асари сменил их одну

за другой. Ей казалось, что она, словно женщина первобытных времен, может уживаться со всеми женами мужа. Асари тоже как будто понимал ее настроение.

— Ой, смотри-ка, что попалось под руку, — говорил он, показывая заграничную вещицу. С первого взгляда было ясно, что она принадлежала той женщине. — Не нужна?

— Давай, пригодится, — с радостью отзывалась Норико. И в случае с той бумажной сумкой у нее было такое чувство, словно она повстречалась с кем-то родным. Это же странное родственное чувство она испытывала сейчас по отношению не только к его прежним женщинам, но даже и к будущим. Может, его новой жене не будет неприятно, когда Норико неожиданно возникнет из вещей Асари. Не исключено, что они с Асари будут с удовольствием разговаривать о ней. Возможно даже, новая жена скажет: «Из троих женщин последнюю я люблю больше всех». При этой мысли Норико тоже захотелось что-нибудь сказать ей в письме. Асари не выбросил импортные вещи той женщины или, к примеру, бумажный пакет, оставшийся от первой жены. Значит, он вряд ли будет наводить порядок в доме перед новой женитьбой. Поэтому Норико не тревожилась, что ее послание не дойдет до адресата.

«Разрешите с Вами познакомиться, — начала писать Норико. — Я рада нашей встрече. Мне о многом хочется с Вами поговорить. Но давайте для начала позлословим об Асари. Вы очень скоро заметите его скупость. Пока не попросишь, сам ничего для жены не купит. Особенно неохотно он покупает для жены одежду. Он любит кормить обещаниями: «Ты подожди немного. Давай сначала решим, что тебе больше всего пойдет». А Вы покупайте одну обновку за другой, возьмите все, что недополучила я. Не знаю, пригодятся ли Вам мои вещи, но я буду рада, если Вы найдете им применение. Я тоже пользовалась вещами моих предшественниц». Норико подумала, что Асари и на этот раз до женитьбы сделает новую книгу семейных записей и тогда жена не узнает ее имени, поэтому она подписалась «покойная жена». Норико вырвала листок и спрятала его в угол стола. Попозже она собиралась переложить его в стеклянную коробку. И сразу начала писать новую записку его будущей жене. «Теперь Вы, уж наверное, совсем освоились. Я рада, что Вы прекрасно справляетесь с ролью подруги. Продолжайте в том же духе». Написав эти строки, Норико начала фантазировать о жизни Асари с новой женой. Маленькая чайная комната в полном беспорядке. Комната на втором

этаже сдана постояльцу, а письменный стол Асари пришлось спустить на первый этаж. Стол завален разными вещами. На стене висит домашнее кимоно жены. На обеденном столе стоит еда в весьма странном сочетании: редька к рису с карри, маринованная каракатица. Супруги сидят, уставившись в телевизор, и молча работают палочками для еды.

— Этот певец похож на нашего жильца, — говорит жена. Асари продолжает молча есть. — Наш жилец, мне кажется, скоро женится, — вновь начинает разговор жена.

— Почему ты так думаешь?

— Не знаю, но что-то такое говорит мне. По теперешним временам за такую плату... Ловкач... и деревенщина.

— Но мы ведь сдали комнату с твоего согласия.

— Так-то оно так. Ведь нам нужны деньги на собственный дом. На твою зарплату вовек дом не построишь.

— Невелика прибавка.

— Все же, хоть сколько. Без нее дом не построишь. Зарплата у тебя маленькая, да еще и выпиваешь.

Асари, глядя на экран, продолжает орудовать палочками для еды. Сегодня за ужином он отказался от выпивки, поэтому при словах жены лицо его перекашивается. Жена, не обращая на это никакого внимания, продолжает:

— Только в прошлом месяце хозяину винной лавки уплатила более восьми тысяч иен.

— Ну и что? — Асари поворачивается к жене, и тут между ними начинается ожесточенная перепалка...

Впрочем, несколько часов спустя, в спальне, жена, вероятно, скажет:

— Послушай, ведь правда хочется поскорее заиметь свой дом.

А Асари ответит:

— Но землю ближе, чем в полутора часах езды до места работы, не купишь.

До сих пор Норико ни разу не упрекнула мужа за его малый заработок: детей у них не было, и особого недостатка они не испытывали.

Дом, в котором они жили, был арендован, и она постоянно слышала от мужа разговоры о собственном доме — это было самой его заветной мечтой, Норико же, наоборот, о постройке дома совсем не думала. Она готова была всю жизнь прожить в чужом доме, а о своем собственном даже ни разу не заикнулась. Ну можно ли в таком случае назвать их супругами? Сейчас Норико поневоле стала смотреть со-

вершенно новыми глазами на их совместную жизнь. «Если подумать хорошенько, — продолжала Норико свое письмо, — мы с Асари не были настоящими супругами. Наш брак — всего лишь определенные отношения между мужчиной и женщиной. С Асари мы прожили шесть лет — для него это самый длительный брак, и по закону мы — супруги. Мы любили друг друга, по крайней мере я в это верю. И все же наша жизнь была простым сожительством. Подобно тому как супруги, не имеющие интимных отношений, фактически не являются таковыми, так и мы — но в совершенно ином смысле — не были супругами. Желаю, чтобы Ваш брак был настоящим. Обеспечьте Асари настоящую супружескую жизнь, ведь ему испытать ее еще ни разу не довелось. Если же объяснять, почему нас нельзя назвать настоящими супругами...» Тут перо выпало из ее руки. Впервые открывшаяся ей истинная картина их с Асари жизни подступила так близко, что она оказалась не в состоянии охватить ее целиком. Норико задумалась. Иногда муж относился к ней как старший брат к младшей сестре, а иногда она обращалась с ним как старшая сестра с младшим братом. Их союз был похож на семью, состоящую из матери и сына или же отца и дочери. Ясно только одно, что они не были настоящими супругами. Сыграло свою роль и то, что брак их не был первым, к тому же они не обзавелись детьми, но, видимо, основная причина все же крылась в чем-то другом. Неожиданно перед Норико предстали многочисленные доказательства того, что их жизнь с Асари не была истинно супружеской.

...Норико прекрасно заботилась об Асари. Каждое утро при умывании подавала ему полотенце, чистое нижнее белье, разнообразила меню, укладывала спать в чистую постель. Даже к его пристрастию к выпивке относилась благодушно. Иногда Асари, вернувшись поздно ночью пьяным, дома добавлял еще, буйствовал и не давал ей спать до самого рассвета, но она особенно не сердилась. Она не делала недовольного лица и на следующее утро. Испытывала облегчение, глядя на Асари, который, как бы ни напивался, наутро не страдал от похмелья, а даже наоборот, вставал с более свежим, чем обычно, лицом. Когда к Асари заявлялись друзья и они отправлялись выпить, Норико не только не останавливала мужа, но и отдавала на выпивку все имеющиеся у нее деньги. Однако эта великодушная забота была весьма далека от супружеской. Разве для семейных отношений не более типична ситуация, когда поздно ночью муж

в сильном подпитии возвращается домой, наутро мучается от похмелья, а жена с опухшим от слез лицом не размыкает губ? И то, что Асари не мучился похмельем, объяснялось, вероятно, не только особенностями его организма. Сейчас она также поняла, что настоящая жена не отдала бы последние деньги на выпивку. Она походила, скорее, на мягкосердечную мамашу, пекущуюся о своем непутевом сыночке.

Утром в день получки Норико частенько просила мужа:

— Не дашь ли мне немного денег?

— Разве у тебя ничего не осталось?

— Ничего.

— Ладно. После работы по пути домой я куплю мяса, или же вечером сходим куда-нибудь и поужинаем. А в обед поешь что-нибудь вот на это, — говорил Асари и, порывшись в карманах, оставлял ей две монеты по сто иен.

Она не стремилась скопить тайком от мужа денег, к чему так пристрастны жены в нашем мире, а Асари не заводил интрижек на стороне. А у настоящих супругов есть обычно и тайные интрижки, и увлечения на стороне, и тайные денежные сбережения. Поэтому у них не было и причин для семейных ссор, повседневная жизнь их протекала в полном согласии. Норико считала Асари скупым, но, скорее всего, она преувеличивала, хотя в этой ее оценке проглядывало желание иметь хоть подобие настоящей семейной жизни. Если бы Асари не буянил, напившись, и не становился мрачным в дни воздержания, их жизнь была бы совершенно счастливой...

— Эй, я вернулся. — Вместе со стуком двери в прихожей раздался голос Асари. — В почтовом ящике лежит какое-то странное письмо. — Он показал жестом на улицу, бросив к ногам вышедшей навстречу Норико вечернюю газету, которую она забыла вынуть. Норико, натолкнувшись на переобувавшегося Асари, засунула ноги в сандалии, выскочила наружу и открыла почтовый ящик. Там лежала солонка с красной крышкой. Когда с солонкой в руках Норико вошла в дом, Асари, развязывавший в этот момент галстук, приостановил движение рук и, делая жест, как будто посыпает себя солью, спросил:

— На этот раз не делала?

Обычай посыпать себя солью перед тем, как войти в дом после похорон, Норико переняла от своих родителей. Однажды летним вечером у дверей дома раздался голос матери Норико:

— Добрый вечер. Вынесите кто-нибудь мне соли. — В тот вечер мать отправилась не на похороны, а на спектакль.

— Что случилось? — Норико выскочила из дома и увидела мать с лицом белым как мел.

— Соль, принеси поскорее чуточку соли...

Норико вернулась в дом и вынесла соль. Мать, взяв в щепоть соль, несколько раз посыпала ею плечи и подол кимоно. Войдя в дом, мать рассказала, что под электричку, на которой она ехала домой, бросилась молодая женщина и покончила жизнь самоубийством.

— Она была примерно твоего возраста, — сообщила мать Норико, которой тогда только что исполнилось двадцать лет. — Наверное, еще незамужняя. Мне стало страшно, и я особенно не рассматривала, где у нее рука, где нога... Сплошь куски мяса... Вдобавок и запах.

С того раза Норико тоже стала посыпать себя солью. Увиденное ею побелевшее лицо матери, рассказ о молодой женщине, в мгновение ока разрезанной на куски, оставило у Норико ощущение, что к неприятной белизне материнского лица прилепилось что-то нечистое, исчезнувшее, однако, дома при ярком свете электрической лампочки. Ей казалось, что, если бы мать не совершила очищения, скверна вошла бы с нею и заполнила все пространство.

После этого каждый раз, когда Асари возвращался с похорон, она кричала:

— Подожди, не входи в дом, — и бежала за солью.

— Ну хватит ерундой заниматься, — отвечал Асари и, спокойно переступив порог, начинал разуваться. Тогда Норико вытаскивала его наружу и посыпала солью. Прежде и мать и отец посыпали себя неочищенной крупнозернистой солью, однако в последнее время ее не стало в продаже, и хотя у Норико оставалось чувство чего-то неполноценного, все же она не успокаивалась, пока не совершала очищение хотя бы столовой солью.

Однажды Асари, которого Норико в очередной раз выдворила из дома и осыпала солью, пошутил:

— Если ты умрешь раньше меня, то, верно, когда я приду домой с твоих похорон, на меня посыплется соль с неба.

Когда Норико знала, что по возвращении домой ей придется совершать очищение, она, выходя из дома, заранее оставляла в почтовом ящике солонку. Вот и сегодня она ее приготовила...

— Совсем стала рассеянной, — засмеялась Норико, ставя солонку на стол. — В баню пойдешь до или после ужина?

— А когда лучше? — протянул Асари, набрасывая на плечи кимоно.

— Да как тебе хочется.

— Потом. Проголодался. — Затем добавил: — Сегодня пить не буду.

Норико не хотелось, чтобы именно сегодня он, отказавшись от вечерней рюмки, отправился в кинотеатр или же просидел весь вечер в дурном настроении. Впрочем, если он весь вечер проведет за рюмкой и, опьянев, начнет буянить, будет еще хуже.

— Ну что ж, пока воздержимся. — В последнее время, когда Асари отказывался от выпивки за ужином, Норико часто произносила «пока», но сегодня в это слово она вкладывала особый смысл. Норико хотелось, чтобы он не ходил в кино, а, немного выпив, провел вечер в беседе с ней.

И действительно, в этот вечер его отказ от рюмки так и стал воздержанием на «пока», но это произошло не по вине Асари.

— Можно я принесу пива? — предложила Норико. — В горле пересохло, — сказала она нарочито робко, подражая манере Асари, когда он в неурочный час требовал выпивки.

Асари криво усмехнулся:

— Уж если просит человек, который обычно не пьет, случай особый, пожалуй, поддержу компанию.

— Однако, выпивая со мной, ты уж приноравливайся к моему темпу.

— Довольно с меня всяких разговоров о темпе.

— Но я же права.

— Ну хорошо, хорошо. Все ясно.

Норико принесла пива, Асари открыл бутылку.

— Налить? Коль забыла посыпать себя солью, то можно очиститься и пивом.

Норико молча наблюдала, как Асари наливает ей в бокал. Наполнив его только наполовину, отставил бутылку.

— А ты жадный, — сказала Норико.

— Но ты же все равно много не выпьешь. Потом опять налью.

Норико взяла из рук Асари бутылку и, наполнив его бокал, поставила ее на край стола. Затем подняла взгляд на Асари. Он, запрокинув голову, залпом осушил бокал.

— Человек так редко выпивает, а ты даже тоста не сказал.

— Ты права. — Он отставил бокал и взял палочки для

еды. Норико тоже отхлебнула глоток. — Сколько было лет твоей покойной подруге? — спросил Асари.

— Сколько и мне.

— Такая же бабуля, — подтрунил Асари, а затем нарочито осекся. — Это случилось потому, что взялась водить машину.

— Она и меня один разок покатала.

— Дурочка. Надо быть осторожней. А если бы авария произошла, что бы я тогда делал? Некому бы стало меня посыпать солью.

Норико взяла бокал с пивом, отхлебнула глоток, затем, сделав еще глоток:

— Наоборот. Тогда-то я была совершенно спокойна. У нее на ветровом стекле была приклеена бумажка: «Осторожно! Водитель — новичок».

— Ну, кто сейчас обращает внимание на такие бумажки.

— Да, но она вела машину очень осторожно.

— Во всяком случае, прошу тебя не садиться в машину с женщиной за рулем.

— А к мужчине можно? Если за рулем мужчина, с ним, выходит, можно ехать куда угодно?

— Я серьезно тебе говорю.

— Я все понимаю.

— Ну хорошо, коли так. Для меня непереносима сама мысль о внезапной смерти.

— Тебе хочется, чтобы я успела проститься с тобой?

— Я имел в виду себя. Конечно, это относится и к тебе.

— А если бы это случилось, как бы ты стал улаживать дела? У тебя есть любимая женщина?

— Может быть, и есть... А если говорить серьезно, прежде я частенько размышлял над тем, что будет, если я внезапно умру, — когда я окончил школу, а затем когда умер отец. Мы ведь с матерью поделили наследство. Мне купили землю в Сэтагая. Мать постоянно твердила о том, что хотела бы жить вместе, когда я женюсь и построю собственный дом. Однако я все никак не женился, землю же продал, а деньги промотал.

— Ты говорил мне об этом.

— Но мать ничего не знала, и каждый раз, когда я приезжал домой, она говорила, чтобы я поскорее женился, а денег на постройку дома она даст. Тем временем цены на землю подскочили, а я свою уже спустил по дешевке, и денег не осталось. Я тогда пил не так, как сейчас. У меня не оставалось денег даже на квартиру, я стал завсегдатаем лом-

бардов, гардероб мой опустел, подсчитал однажды — восемнадцать закладных квитанций. Я напивался так, что иногда просыпался на вокзальной скамейке. Вот тогда-то и стали меня посещать мысли о внезапной смерти. В голове — только хоровод закладных квитанций. При мысли о том, как будет убиваться мать, узнав, что землю я пропил, задолжал за квартиру и был весь обвешан закладными, я не знал, куда деваться. Пусть я внезапно умру, думал я, но хотелось бы только иметь время, чтобы уладить дела с ломбардами.

— А сейчас что бы ты хотел сделать?

— Да... вот это, наверное, — Асари показал на поднятый бокал и поднес его к губам. Норико тоже взяла свой бокал. Пива в нем почти не осталось. Она допила его. На дно, тая, сползала пена. Норико посмотрела через стекло бокала на мужа. На дне хрустального бокала появился маленький, величиной с горошину, Асари. — Еще немного выпьешь? — предложил муж и стал лить пиво в бокал, подставленный Норико.

— Совсем чуточку, — сказала она.

— Ты обозвала меня жадиной, — упрекнул ее Асари. Норико дважды отпила из наполненного более чем наполовину бокала. — Как ты себя чувствуешь? В порядке?

— Да, — ответила она и допила до дна, затем, делая вид, что продолжает пить, стала рассматривать мир, отражающийся на дне бокала. Это был далекий, маленький, сверкающий мир: перед низким чайным столиком, на котором точками выделялась посуда, сидел как на ладони милый ее сердцу Асари. Интересно, подумала она, что сделает он, если сообщить, что моя посвященная ему жизнь прервется завтра в три часа девятнадцать минут? Не покончит ли он с собой еще раньше моего срока?

Обратив внимание на то, чем занимается Норико, муж тоже стал рассматривать дно бокала:

— Какая ты маленькая...

— Ты тоже. Красиво, не правда ли? — отозвалась Норико, затем спросила: — Тогда ты не думал написать прощальное письмо?

— Нет, не думал, — ответил Асари и поставил бокал. — Более всего мне хотелось, чтобы мать не увидела моего бесславного конца и умерла раньше меня. Это было моим единственным проявлением сыновней любви. Кстати, нет ли у нас сакэ?

«Если дело дойдет до сакэ, — подумала Норико, — Асари не сможет остановиться».

— По моим темпам уже довольно. А не приступить ли нам пока к ужину?

— Ну что ж, коли так, давай поедим. — В словах Асари прозвучало скрытое желание.

— Что будет, если мы станем вот так вдвоем стариться? — спросила Норико во время ужина.

— Что ты имеешь в виду под словами «что будет»?

— Каков будет наш образ жизни.

— Я думаю, что будем жить так же, как сейчас.

— То есть и через двадцать и тридцать лет будем как молодожены или же друзья, встречающиеся за чашкой чая? — Этой фразой Норико хотела дать понять, что они не построили настоящей семейной жизни.

— Не говори красивых слов. — Асари бросил взгляд на часы, стоящие на гардеробе. — Ой, еще можно успеть в кинотеатр. Если хочешь, пойдем вместе. — Асари извлек из бювара абонемент в кино, повертел его в руках, рассматривая красную, симпатично оформленную обложку книжечки. — Остался всего один билет. Может, купишь книжечку, один билет используешь, а остальные подаришь мне. Идет?

Норико согласилась.

Они шли по улице, застроенной жилыми домами, из окон которых сквозь зелень деревьев лился мягкий, какой бывает весенним вечером, свет. Норико казалось, что из каждого дома исходит свет, преисполненный какой-то уверенности. В прошлые годы, когда она, брошенная любовником, остро переживала свое одиночество, огни, льющиеся из окон домов, казались ей родными и теплыми. Шагая рядом с Асари и любуясь этими огнями, Норико думала о том, выглядят ли так же спокойно и огни их дома, просачивающиеся сквозь живую изгородь. Не походят ли они на казенный свет окон гостиниц и общежитий? Супруги достигли торговой улицы, пересекли железнодорожный переезд. Небольшой кинотеатр «Сёва», куда частенько хаживал Асари, чтобы отвлечь себя от выпивки, стоял напротив вокзала и специализировался на показе зарубежных фильмов.

— Что сегодня идет? — спросил Асари, рассматривая витрину. Там висели афиши американского вестерна и итальянского фильма.

— Дайте абонемент. — Норико протянула пятисотиеновую ассигнацию, достав ее из-за пояса кимоно.

— А я-то надеялся, что ты купишь мне несколько абонементов, — подал голос Асари.

Когда они вошли в зрительный зал, через плечо мужа она увидела, что экран загорожен чьей-то спиной, но, когда постепенно привыкли к темноте, они заметили несколько свободных мест в переднем ряду.

— Идем, — позвал ее Асари и пошел по центральному проходу. Когда они уселись и взглянули на экран, там шла сцена на автобусной остановке маленького провинциального городка. Фильм был цветной, красивый. Затем появилась в сопровождении мужа женщина, по виду только что оправившаяся от болезни. Она возвращалась с курорта. Через некоторое время по прибытии их домой в гости к ним пришел друг мужа. Слушая диалог мужчин, провожавших взглядом выходящую из комнаты женщину, Норико подумала, что чувства экранных супругов остыли, вернее, энергия их сердец ослабла, а вот их с Асари сердца ничуть не состарились, она каждый день слышит стук сердца в груди мужа. Асари тоже чувствует ее сердце. Не было у нее только уверенности в том, какой свет излучают их окна.

Регистрация, совместное проживание, секс и любовь — вот четыре столпа брака. Однако, подобно тому как строение с четырьмя опорами еще нельзя назвать домом, так и семейную жизнь нельзя назвать настоящей только потому, что есть эти четыре условия. Ей казалось, что они с Асари в их доме не положили крышу, не побелили стены. В их семейной жизни не происходило качественного накопления, каждый день проживался по отдельности. Если в доме порушится один столб, а все остальные будут в порядке, дом все же останется домом. В их же совместной жизни не было накопления, день прожит, и ладно. В супружестве они не знали ни настоящих трудностей, ни настоящих радостей. Норико подумала, что если бы раньше осознала, что их брак — просто сожительство, то, вероятно, постаралась бы изменить образ жизни. И хотя ровное течение жизни было бы, возможно, нарушено, но зато они смогли бы пережить и более острые, более богатые счастливыми ощущениями моменты. Если бы Норико писала для Асари честное прощальное письмо, то непременно вставила бы такие строки: «Более всего я сожалею о том, что ухожу из жизни, так и не испытав, какими бы мы стали, будь наша жизнь истинно супружеской».

А на экране продолжалось подробное повествование о все более углублявшемся отчуждении супругов. Оказалось, что у жены нет надежды на выздоровление. Предпринимаются разные попытки вылечить ее, но они вызывают у

женщины лишь ощущение обманутых надежд и углубляют пропасть, возникшую между ними. Друг наставляет мужа: «Больные женщины вроде твоей жены нуждаются в ободрении». «Сегодня утром ты просто великолепна, — говорит муж. — У тебя такой румянец на щеках, что сразу видно, что болезнь позади». Жена трезво воспринимает эти комплименты, но через силу старается казаться бодрой. Муж обещает взять ее с собой на будущей неделе на званый вечер.

Несколько дней спустя заболевает их маленький сын. Отец и мать всю ночь ухаживают за ним.

— Посмотри, — говорит отец больному ребенку, — папа и мама с тобой.

Рука мужа лежит на плече жены.

— Сынок, — обращается она к сыну, — тебе, наверное, хочется отдохнуть несколько дней от школы. Твой папа все может. Он может сделать так, что ты быстро поправишься или, наоборот, подольше полежишь.

Муж сразу же снимает руку с плеча жены.

— Я хочу поскорее выздороветь, — отвечает сын.

— Ну хорошо, хорошо. Я сделаю так, чтобы ты поскорее поправился.

В день званого ужина жена, нарядившись, входит в комнату мужа, а тот, совсем забывший о вечере, начинает поспешно бриться...

У Норико затекла шея. Покрутив головой, она посмотрела на Асари. На его лице лежал отсвет экрана. Поймет ли Асари, размышляла Норико, если она выскажет свою нелестную оценку их семейной жизни? Они с Асари совсем не походили на супругов из этого фильма. Те в словах друг друга отыскивают лишь отрицательный смысл и тем самым еще больше отдаляются друг от друга, у них же с мужем произошел сдвиг в другую сторону — к взаимопониманию.

Было только начало одиннадцатого, когда Норико с Асари, посмотрев еще и американский вестерн, вернулись домой.

— Схожу-ка я в баню, — сказал Асари.

Норико хотела было ответить, что пойдет вместе с ним, но передумала.

— Иди, конечно.

Она поднялась на второй этаж и, раскрыв бювар, начала писать: «По правде говоря, если бы мне пришлось сейчас умереть, я бы ушла из жизни с огромным, непримиримым сожалением и раскаянием...» Выстраивая целый ряд доказательств, она хотела поведать мужу о своих сомнениях отно-

сительно подлинности их семейной жизни. «Сегодня, по дороге на похороны, ожидая на остановке автобус, я посмотрела на часы. Было начало второго. Я подумала, что позавчера в это время моя подруга была еще жива. Так же, как и я сегодня, она, пообедав, вышла из дома. Она совершенно не думала, что умрет, а спустя всего несколько секунд была уже мертва. При одной мысли о том, какая страшная выпала ей судьба — погибнуть внезапно за рулем, ничего не ведая об этом накануне, — мне стало казаться страшным даже тиканье моих часов. Ты сказал сегодня, что тебе нестерпима мысль о внезапности смерти, и я совершенно согласна с тобой. Если бы моя подруга знала накануне о своей судьбе, у нее непременно оказались бы дела, которые она захотела бы уладить. Пусть даже ей был бы дан всего один день. А что бы стала делать я, когда бы мне оставалось жить не долее суток? Всю дорогу на похороны и обратно я беспрерывно думала о том, что мне нужно успеть сделать. Я даже пофантазировала о твоей будущей семейной жизни. Она мне представилась совсем иной, чем наша. По-новому оценив пережитое, я более не могу считать нашу жизнь супружеской. Впрочем, она и так таковой не является. Если же мне предстоит скоро умереть, то я хотела бы иметь последний срок. Пусть я покину мир, тая в душе напрасные раскаяния и сожаления, но зато у меня будет время осмыслить свою жизнь. По этой же причине я сейчас не раскаиваюсь в том, что подвергла пересмотру наш брак».

Когда Асари вернулся из бани, Норико сказала:

— Пожалуй, я тоже схожу.

— Как, ты еще не мылась? Могла бы пойти вместе со мной.

— Мне не хотелось возиться — запирать дом.

Она приготовила все для бани и, выходя, крикнула мужу:

— Послушай, там в почтовом ящике лежит какое-то странное письмо.

Уличные фонари уже гасли, когда Норико в бане запирала в ящик свою обувь. В предбаннике почти все посетители собирались уходить, раздевались только Норико да еще одна женщина.

— Спокойной ночи, — попрощалась, уходя, еще одна из посетительниц с девушкой, убиравшей бельевые корзины. Керамический пол бани был заставлен использованными деревянными ушатами, на большом отдалении друг от друга мылось несколько человек. Сидевшая поблизости женщина

принялась мыть голову, и Норико могла одна, не торопясь, свободно раскинув руки, нежиться в бассейне.

Вдруг из-за перегородки, из мужского отделения, донеслась насвистываемая кем-то мелодия. Это была очень известная, часто исполняемая детьми, жизнерадостная и незамысловатая песенка, и мелодия ее высвистывалась очень живо и ярко; Норико представила того, кто свистел. Аккуратный молодой рабочий, занятый на заводе физическим трудом. Сегодня вечером он пришел сюда, вероятно, после сверхурочной работы. Закончив свой нелегкий трудовой день, он безо всяких дум о дне завтрашнем вернется домой и сразу же заснет глубоким сном. И поэтому он может так бодро и жизнерадостно насвистывать свою песенку.

Покончив с основной темой, неизвестный стал так же искусно высвистывать вариации, а затем с еще большей энергией принялся выводить мелодию сначала. В Норико, казалось, вдохнули мужество...

ТАЭКО КОНО

СТАЛЬНАЯ РЫБА

Мы с приятельницей вышли из зала последними. Неторопливо спускаясь по главной лестнице, задержались перед экспонатами, развешенными вдоль стен и выставленными на лестничных площадках. Следом за нами вниз сошла служительница. В вестибюле уже почти никого не было. Вторая служительница сняла наружную табличку с объявлением и внесла ее в помещение.

— Кажется, мы опоздали... — огорченно произнес кто-то из вновь пришедших, оглядываясь по сторонам.

— У нас открыто до четырех часов, — извинилась служительница.

На круглых настенных часах четырех еще не было. Не зная распорядка работы мемориала, посетители продолжали подходить и смущенно топтались в вестибюле. Вскоре возвратились обе служительницы, уже без униформы. Закрыв одну из массивных входных дверей — вестибюль сразу погрузился в полумрак, — женщины разошлись по домам.

— Похоже, что уже закрыто, — раздался голос с улицы.

Последние из посетителей покидали помещение, мы тоже двинулись к выходу. Вдруг приятельница проговорила:

— Извините, пожалуйста, я задержусь на минутку...

— Я подожду вас, — предложила я, протягивая руку, чтобы взять у нее зонтик: обычная услуга, которую женщины оказывают друг другу в подобных случаях.

Приятельница с недоумением посмотрела на свой зонт, потом, прошептав:

— Да, дождик, пожалуй, кончился, — отдала его мне. —

Я вскоре догоню вас... ступайте вперед, — попросила она и пошла к храму.

Стараясь не смотреть ей вслед, я вышла на улицу. Кажется, я поняла намерения приятельницы. Незачем было брать у нее зонт. Ведь мы оставались в здании до самого закрытия: уже это говорило о ее нежелании возвращаться домой. И все имело свою причину. Приятельнице, очевидно, захотелось вернуться в вестибюль, чтобы еще разок побыть там, но уже одной, без меня, и разобраться в своих чувствах.

Еще когда мы подходили к мемориалу, дождь начал стихать, а теперь край неба над лесом зарделся багряными пятнами осеннего заката.

Спустившись по каменным ступенькам, я, не оборачиваясь, чтобы не смущать приятельницу, пошла по дорожке, усыпанной гравием. Вдоль узкой полоски садика тянулась аллея. Свернув на нее, я дошла до стрелки указателя, обращенной в сторону храма. Повесив свой зонтик на указатель, я аккуратно сложила зонт приятельницы, а потом проделала то же самое со своим.

Земля под ногами была усыпана опавшими листьями. Поджидая приятельницу, я принялась разгребать их и подбрасывать вверх концами зонтов. Мне невольно вспомнился гербарий, выставленный в мемориале. Среди грубых вещей совсем иного назначения, принадлежавших мужчинам, гербарий воспринимался как предмет из другого мира. И сухие цветы, и бумага для рисования, на которой они были закреплены, изрядно выцвели. На том же стенде было несколько фотографий молоденьких девушек — почти девочек, — погибших необычной смертью. Одна из этих девочек и собрала этот гербарий. Стебельки и краешки листьев были не очень умело закреплены узкими бумажными полосками неправильной формы — специальных клейких лент типа скотча в ту пору еще не было, и девочке пришлось вырезать каждую полоску ножницами...

Среди опавших листьев оказалось несколько ярко-красных, по-видимому занесенных откуда-то издалека. Школьницей и я любила закладывать красивые листья между книжных страниц. Полоски для их закрепления я тоже нарезала сама. Все мои гербарии сгорели в пламени страшного пожара в конце войны, вызванного, как говорили тогда, каким-то устройством с дистанционным управлением. Разница в возрасте — моем и девочек на фотографиях — спасла меня от трагической смерти, настигшей бедняжек. Гибель девочек оставалась загадкой, поскольку сами слова «дис-

танционное управление» воспринимались тогда как нечто таинственное и непостижимое.

Я обернулась на звук шагов, но это оказалась пожилая женщина в униформе. Я немножко прошла назад — до того места, откуда виднелся фасад здания. Вторая створка массивной входной двери тоже была закрыта. В глаза мне бросились дверные ручки в форме больших дутых колец. В тот момент я еще особенно не тревожилась, надеясь, что приятельница должна появиться с минуты на минуту. Я даже представляла, как это произойдет: вот она выходит из-за дерева или показывается из-за каменного пьедестала статуи, пряча влажный от слез носовой платок и виновато улыбаясь. Обогнув здание с торца, я обнаружила небольшую металлическую дверь и подергала ее — дверь была заперта. Тут-то при мысли, что двери на фасаде, очевидно, тоже заперты, мною овладело беспокойство.

Внимательно присмотревшись, я сообразила, что ручки — кольца на парадной двери — несут лишь декоративную функцию: пониже была еще одна обычная ручка с двумя замочными скважинами под ней. Безуспешно подергав и ее, я торопливо обогнула здание с другой стороны, желая удостовериться, нет ли моей приятельницы там. Вернувшись к главному подъезду, я с силой потянула дверную ручку.

— Удивительно, как рано они заканчивают. Мы тоже надеялись, что еще открыто, — раздался сочувственный голос.

Я отдернула руку и обернулась: на ступеньках стояли пожилые супруги, решившие, что я тоже опоздала.

— Конечно, еще рановато, — рассеянно откликнулась я и, дожидаясь их ухода, старалась делать вид, будто рассматриваю здание. Затем в надежде, что больше уже никто не появится, я снова подошла к двери и подергала за ручку — дверь не подалась. Тогда я с силой ударила по толстой металлической двери кулаком. Пробовала я и одной рукой тянуть ручку на себя, одновременно надавливая другой рукой на вторую створку, чтобы образовалась щель, через которую можно было бы переговариваться. И вдруг заметила, что нижняя замочная скважина была довольно широкой и имела форму гриба. Как это делалось в старину.

Торопливо написав на клочке из записной книжки наши имена, я скрутила листик в трубочку и, вставив в отверстие замка, спичкой протолкнула его вовнутрь. Сообразив, что я не смогу удостовериться, подняла ли приятельница упавшую бумажку, я повторила всю процедуру, оставив на этот раз клочок торчащим с наружной стороны.

Я знала, что беленькая бумажка должна продвинуться вовнутрь, и все-таки невольно изумилась, когда она исчезла прямо у меня на глазах. Наклонившись, я приникла к замочной скважине, но ничего не разглядела. И вдруг кто-то зашептал мне прямо в глаз:

— У меня все в порядке. Не тревожьтесь... и ступайте отсюда.

— Как это — «ступайте»?

— Ну-у, возвращайтесь, пожалуйста, домой.

— А что же дальше?

Ответа не последовало. Я принялась барабанить по стыку дверей.

— Умоляю вас, предоставьте мне возможность осуществить задуманное. Прошу вас, не подавайте вида, что вам что-либо известно. Иначе я рассержусь и не прощу вам этого...

Вначале я заволновалась, не стряслось ли с приятельницей беды. Теперь же перепугалась еще больше, заподозрив что-то неладное.

— Что вы задумали?! — воскликнула я, обуреваемая не то страхом за приятельницу, не то сомнением, а не кроется ли в ее намерениях нечто предосудительное.

— Когда-нибудь вы поймете...

— Что значит «когда-нибудь»?

— Ну-у, я сама объясню вам когда-нибудь потом... если смогу. Только, пожалуйста, оставьте меня в покое... и постарайтесь простить...

Я даже вздрогнула. В словах «объясню... если смогу» таился намек на то, что такого случая может и не представиться. Фраза эта прозвучала для меня как последний удар колокола, оповещающий о намерении буддийского монаха погрузиться в глубокую медитацию. Я поняла, что дальнейшие расспросы бесполезны. Перед глазами проплывали картины увиденного в мемориале: обнаженные мечи, человеческая одежда с побуревшими пятнами крови, строки из последних писем погибших...

Вечерело. Может быть, я малодушно искала оправдания для себя?! Но, глядя на закрытую дверь, я рассудила так: в помещении стоял красный служебный телефонный аппарат, очевидно, там должен быть и черный общественный таксофон. По пути к храму приятельница звонила кому-то, значит, записная книжка, которую она, помнится, доставала из сумочки, у нее. Накануне вечером сразу же по прибытии она позвонила мне с вокзала, следовательно, у нее есть и

мой телефон. Не исключено, что, в отчаянии или просто отказавшись от своих намерений, приятельница кинется звонить мне. В таком случае я действительно должна находиться дома! Придя к этому выводу, я зашагала прочь от массивных дверей.

Весь вечер приятельница не выходила у меня из головы. То мне чудилось, что она погружается в медитацию, то я видела в ней преступницу, затевающую ограбление, то, напротив, мне казалось, что она стала чьей-то жертвой... Рисуя картины жуткой ночи, которую ей предстояло провести за этими толстыми дверями, я сожалела, что меня нет подле нее. Мне вспомнилась легенда о странствующем монахе Антине и погубившей его девушке-оборотне Киё. Я, казалось, переживала напряженное ожидание людей, собравшихся, чтобы водрузить на место гигантский колокол храма Додзёдзи, под которым спряталась девушка-змея. Я попыталась успокоить себя тем, что приятельница моя не прокралась в храм тайком, а просто осталась в нем. Ведь само пребывание в храме ночью еще не преступление. Вот если она унесет какой-нибудь экспонат, который ей во что бы то ни стало захотелось иметь у себя, и это впоследствии обнаружится, меня могут принять за ее сообщницу. Но я нисколько не страшилась этого, а, напротив, хотела как можно скорее сказать несчастной женщине, что готова взять на себя часть ее вины. Представив, сколько хлопот может обрушиться на меня в последующие дни, я несколько раз пыталась прилечь и заснуть, чтобы набраться сил.

С тех пор прошло четыре года. Позднее приятельница сама откровенно рассказала мне обо всем, что ей довелось испытать в ту тревожную ночь, когда я лежала без сна, теряясь в догадках. Теперь я могу восстановить эту необычную историю полностью.

Даже его жене не был известен ни час, ни место, когда это свершилось. Бросив последнее «Прощайте!» своим однополчанам, он скользнул в чрево стальной рыбы и на глазах у провожавших скрылся в море. В далеком океане он протаранил другую громадную стальную рыбину: ее верхнюю часть, возвышавшуюся над водой, можно было принять за металлический остров. Моряк подорвался вместе со стальной рыбой, в которой он был замурован. Останки его разметало по дну океана, и кто знает, может быть, они стали добычей глубоководных рыб.

Так погиб муж моей приятельницы. Вдова узнала, что

вместе со многими другими воинами, павшими необычной трагической смертью, — среди них оказалось и несколько девушек — муж ее был причислен к лику богов и удостоен особого поклонения. В храме, где свершился ритуал, она не была ни разу.

Менее чем через год после их бракосочетания мужа отправили на фронт. После этого он приезжал к ней лишь дважды. Оба раза муж не говорил, откуда приехал. Проведя дома ночь, он снова исчезал неведомо куда. На сто шестьдесят второй день после его последней побывки жене сообщили, что мужа ее нет в живых. Она стала пересчитывать: получалось, что сто двадцать один или даже сто двадцать два дня она провела в неведении о случившемся. Со дня их свадьбы не прошло и двух лет.

Удостоверившись, что супруг ее причислен к лику богов, она почему-то не поспешила в храм. Ее удерживал не скептицизм, а скорее нежелание ехать в мрачное, угрюмое место. Когда ей говорили: «Почему ты не съездишь туда?», «Тебе следует побывать там!», «Это же твой долг!», она ограничивалась отговоркой: «Конечно-конечно, я собираюсь вскоре поехать туда...», с трудом сдерживая желание резко и грубо оборвать советчиков, что было вообще-то не свойственно ей.

Раздумывая над своим состоянием, она поняла, что дело не в страхе перед угрюмым местом, а в ощущении, что для нее еще не наступило время совершить паломничество. Она хотела сама осознать смерть мужа, сама пережить утрату. Но такого настроя не возникало. Может быть, ее смущал слишком демонстративный характер пышных ритуальных церемоний. Но еще долгое время и после того, как все утихло, что-то мешало ей воспринимать гибель мужа как личное горе. Когда же наконец это наступило, место, где поклонялись мужу, представилось ей еще более угрюмым и мрачным. Раньше у нее не было желания совершать паломничество, теперь же она не видела в этом смысла. Но она знала, что чем дальше, тем печальнее будет рисоваться ей это место, вот тогда-то она и посетит его, чтобы убедиться в правильности своих ощущений.

Ее огорчило, что она не сможет устроить там все по своему вкусу. А так хотелось, чтобы святое для нее место принадлежало ей, и только ей. В храме же это невозможно.

Незаметно промелькнули семь лет. Она вышла замуж вторично. В ту пору ей было двадцать семь, и она считала, что это совсем немного. Ее удивляло, что все в жизни

приходит к ней так рано: первое замужество, вдовство и второй брак. Теперь она стала мысленно называть погибшего мужа «мой первый муж».

За годы второго замужества она так и не побывала в храме. И не только потому, что щадила чувства второго мужа. Она по-прежнему утешалась намерением когда-нибудь выбраться туда, чтобы убедиться, насколько это угрюмое и мрачное место. Она как бы оправдывала себя: «Я не еду туда не потому, что из уважения ко второму мужу предаю забвению первого мужа. Но разве уж так необходимо, чтя его память, ехать в храм и доставлять огорчение моему нынешнему супругу?!»

Это казалось естественным еще и потому, что они переехали в другой город и жили теперь довольно далеко от храма. И вдруг... отправившись в какую-то поездку, она под влиянием внезапного порыва бросается и мчится сюда, чтобы вместе со мной пойти в храм, где чтят память ее первого мужа. Произошло это спустя четверть века после его гибели.

Стоял дождливый осенний день, но просторная территория, примыкавшая к храму, была залита светом. Это поразило мою приятельницу — ведь ей всегда чудилось, что здесь должно быть угрюмо и мрачно.

Широкие дорожки были посыпаны гравием, вдоль аллеи высились стволы мощных деревьев, в нескольких местах разбиты миниатюрные парки; на открытой площадке также с гравиевым покрытием глаз радовали молоденькие деревца, высаженные в художественном беспорядке. Храмовой парк с его укромными уголками и пригорками, само здание мемориала — все купалось в мягких лучах солнца. Золотистые нити дождя и кружившиеся листья еще больше подчеркивали обилие света и воздуха.

«Хорошо, что я здесь, хорошо, что приехала», — повторяла про себя женщина.

Если бы место было таким мрачным, как она предполагала, она чувствовала бы себя виноватой вдвойне: перед первым мужем за то, что долго не приезжала, перед вторым — за то, что все-таки приехала сюда. Но все здесь оказалось иным, и теперь она могла не лукавить перед самой собой.

Мемориал был сооружен из естественного камня, металла и стволов громадных деревьев. Здесь поклонялись памяти павших героев, в их числе нескольких девушек, здесь же чтили память и ее первого мужа. Есть, пожалуй, немало других мест, где ему хотелось бы побывать и остаться. Она не знала, довелось ли мужу хоть раз посетить этот храм при

жизни. Однако, забираясь в нутро стальной рыбы, он, очевидно, предвидел, что его память будут чтить именно здесь. Уютный, светлый уголок, наверно, полюбился ему, и душа его время от времени устремляется в эти края. Разумеется, не обязательно именно в такой день, как сегодня...

Все вблизи храма было исполнено значения и смысла. Увидев на ветвях деревьев деревянные таблички с заклинаниями, вызывавшими души усопших, женщина подумала: «Наверно, они прилетают сюда иногда и без нашего зова...» На некоторых табличках было начертано: «Спите спокойно!» И опять она подумала: «На этом свете осталась я и еще много людей, знавших моего первого мужа... Вряд ли душа его сможет обрести скорое успокоение...»

На просторной территории храма было еще несколько зданий, в одном из них она и осталась на ночь.

Она перестала отвечать на вопросы, и голос по ту сторону металлической двери умолк. Поспешив к стальной рыбе, женщина прикоснулась к ней ладонями и погладила ее. Проржавевшая шероховатая обшивка царапала кожу, точь-в-точь как если бы она водила руками против рыбьей чешуи. Чтобы приблизиться к рыбе вплотную, пришлось подлезть под деревянные перила. Пытаясь обхватить рыбу, она прижалась к ней лицом. Однако корпус был слишком велик для женских рук, и со стороны казалось, будто она прилипла к нему. В тот же миг она всем своим существом осознала: «Да, это мое право, мой долг — быть здесь!»

Одна за другой погружались в морскую пучину стальные рыбы. И все они — их было свыше ста — взорвались и мелкими осколками разлетелись по дну океана. Каким-то чудом уцелела лишь одна-единственная из них. Много лет спустя ее обнаружили на морском дне, подняли и привезли сюда.

Днем при первом взгляде на длинный цилиндр, лежавший на полу посреди вестибюля, она даже не догадалась, что это такое. И, только прочитав объяснение на стоявшей рядом табличке, пробормотала: «А-а, вот на чем *он* уплыл!..» В центре верхней части цилиндра виднелся круглый люк, крышка от которого была утеряна. «Через этот люк *он*, наверно, и забрался внутрь...» — подумала женщина, касаясь рукой края отверстия. Снова подойдя к табличке, она удивленно прочитала: «...в длину достигает четырнадцати метров, в диаметре — один метр...» Цилиндр действительно

был очень узким. «Как же он там дышал?!» — содрогнулась женщина.

В зияющий срез торпеды, обращенный к входу, проникал уличный свет, но в глубине цилиндра чернела пугающая темнота. Теперь женщина могла представить состояние мужа, после того как крышка люка навсегда захлопнулась за ним.

Продолжая осмотр экспозиции, она на какое-то время отвлеклась от мыслей о стальной рыбе, но не потому, что на втором этаже что-то особенно завладело ее вниманием. Почти все вещи погибшего мужа она раздала его близким друзьям, когда собралась вступить во второй брак. Себе же кроме фотографий оставила только его воинские нашивки, положив их на дно бархатной шкатулки для украшений. Представленные же на выставке вещи казались ей не столь подходящими для экспозиции.

Она видела, как я отпрянула от стенда с письмом, заканчивавшимся словами: «Ничто не удерживает меня: ни чувство долга или вины, ни привязанность к женщине...» Заметив, как, смущенно отвернувшись, я вытирала слезы, она объяснила себе мою реакцию тем, что люди, пережившие войну без глубоких личных потрясений и трагедий, склонны к проявлению большей чувствительности. Она деликатно замедляла шаги, когда мне хотелось тщательнее ознакомиться с какими-то экспонатами.

Спустившись со второго этажа, она снова подошла к стальной рыбе. И опять в голове у нее пронеслось: «Как же все-таки он там дышал?!» Женщине стало еще больше не по себе, когда закрылась одна из створок входной двери и вестибюль погрузился в полумрак.

Попросив меня пойти вперед, приятельница пообещала и действительно собиралась вскоре нагнать меня. Сама же она задумала, улучив момент, когда холл опустеет, но входная дверь будет еще открыта, незаметно забраться через отверстие в цилиндре, чтобы испытать, каково человеку одному внутри стальной рыбы. Удобный момент все не наступал, а до четырех часов оставались считанные минуты. «Дверь вот-вот захлопнется. Не для того ли, чтобы поймать в ловушку мужа и замуровать его в этом страшном цилиндре?! При желании я могу проделать все как он и остаться здесь одна. Я близка к цели...» — лихорадочно думала женщина, чувствуя, как от возбуждения гулко бьется ее сердце.

Наконец ушел последний посетитель, а она все стояла в

полутемном вестибюле. Перед уходом служительницы выдвинули специальную металлическую решетку и заперли проход на второй этаж. Поджидая, пока все окончательно не разойдутся, приятельница с видом запоздавшей посетительницы прохаживалась перед немногочисленными настенными экспонатами. Мимоходом она подергала дверные ручки еще двух помещений, выходивших в холл, и убедилась, что они тоже заперты. За стеклянной перегородкой в глубине холла можно было разглядеть конференц-зал с деревянными столами и стульями. Свет, просачивавшийся в холл из маленькой комнатки напротив, погас ровно в четыре. Заметив пожилую уборщицу, запиравшую дверь в каморку, приятельница поспешила спрятаться от нее. Было слышно, как старушка закрыла тяжелую входную дверь и повернула ключ снаружи. «Наконец-то!»

Полная темнота в вестибюле все еще не наступила. Потолок в конференц-зале был стеклянный, свет из зала сквозь прозрачную перегородку попадал и в вестибюль. Полоски слабого света пробивались также через решетчатую загородку перед лестницей на второй этаж, очевидно, на лестничных площадках имелись окна.

Казалось, будто стальная рыба погрузилась на большую глубину и со дна моря исходит слабое мерцание.

Цилиндр лежал на мелких белых камешках, выстилавших прямоугольник в центре вестибюля, обнесенный деревянной оградой. В полутьме белые камешки и создавали иллюзию свечения морского дна.

Она стоит на дне океана и гладит твердые светящиеся камешки, черпает их пригоршнями, бережно сжимает в ладонях. Ей вспомнилось, как то же самое проделывал здесь чей-то малыш.

«Нет!.. Нет! Останки мужа не стали добычей прожорливых рыб! Их разметало по дну океана, и они превратились вот в такие мелкие камешки...» — думалось женщине.

По молодости она считала, что у ее первого мужа был трудный характер. Неискушенная в супружеской жизни, она приписывала это его неопытности и неуверенности. Ей и в голову не приходило, что она сама должна была помочь мужу.

В памяти осталась излюбленная фраза мужа: «Мы должны продвигаться дальше!..» Слова, разумеется, соответствовали духу времени, но в них подспудно улавливался призыв мужа к большей близости и раскованности в супружеских отношениях. Фразу можно было трактовать так: «Мы, ко-

нечно, очень молоды, но, раз уж состоим в браке, нам следует постараться скорее познать друг друга». Как-то он произнес свое любимое изречение на супружеском ложе. Лишь много позже она осознала всю комичность и пикантность ситуации, а тогда просто сидела с лицом прилежной ученицы, выслушивающей очередную нотацию. Еще ее первый муж любил повторять: «Мне хотелось, чтобы ты...» Например, «Мне хотелось, чтобы ты заранее советовалась со мной!», или «Мне хотелось, чтобы ты не делала этого!», или «Если тебя заинтересовал какой-то фильм, мне хотелось, чтобы ты сказала об этом!» Может быть, и в этих словах проскальзывало его постоянное опасение: «Успеть бы, успеть!..»

— Чего же ты хотел и ждал от меня? — прошептала женщина, и мягкая улыбка на ее лице мгновенно сменилась гримасой. Она лихорадочно зажала рот обеими ладонями. — Ответь же, что мне сделать для тебя сейчас, — опять проговорила она, мучительно страдая от нахлынувших на нее дорогих воспоминаний. Муж, наверно, сказал бы: «Прошу тебя, воздержись от лишних слов!..»

Вытянув руки, женщина нащупала край среза цилиндра и, пригнувшись, забралась внутрь. Упираясь в боковые стенки, она попыталась выпрямиться, но тут же ударилась головой о верхний свод. «А ведь муж был выше меня, значит, ему приходилось сгибаться еще сильнее!..» Она опять наклонила голову и немножко продвинулась дальше. На внутренней поверхности цилиндра через равные промежутки выступали обручи диаметром в три-четыре сантиметра, около этих утолщений надо было пригибаться еще ниже. Она наклонилась и на какое-то время застыла на месте.

— Не хотелось ли тебе в те минуты попросить меня о чем-нибудь? — Женщина нагнулась и пошарила рукой по обшивке цилиндра у своих ног, рука коснулась мелких твердых окаменелостей с острыми краями. Ей опять вспомнился малыш, забавлявшийся возле стальной рыбы. — Разве тебе не хотелось еще разок взглянуть на яркое солнышко, полной грудью вдохнуть свежий воздух, протянуть руки к небу?.. — Сколько ни спрашивай, ответа она никогда не получит. Женщине попрежнему казалось, что оба они — и ее навсегда умолкнувший супруг, и она, тщетно ждущая его ответа, — нисколько не изменились. Да, характер у ее первого мужа был непростой.

Ее первый брак был настолько непродолжительным, что уже через несколько лет после второго замужества ей стало казаться, будто в сравнении с первым оно тянется долго-

предолго. А спустя много лет она, вспоминая первого мужа, каждый раз сокрушалась, что он слишком быстро ушел из ее жизни. В такой несправедливости к первому мужу она почему-то винила себя, и мысль эта не давала ей покоя.

В погруженном во мрак актовом зале проступало лишь одно мутноватое пятно: стеклянный потолок, сквозь который брезжил слабый свет, позволявший судить о высоте помещения. Определить источник света не удавалось: то ли отблеск облаков, то ли свечение луны или мерцание звезд. Она ощупью нашла деревянный стульчик, вынесла его из актового зала и поставила возле стальной рыбы. Опустившись на стул, женщина оперлась о деревянную загородку.

Она вышла замуж второй раз через семь лет, но ей казалось, что это произошло гораздо раньше. Подобное ощущение могло объясняться тем, что новый избранник был лишь на два года старше ее погибшего мужа. А может быть, так она приучала себя держаться со вторым мужем более непринужденно. Очевидно, ей хотелось этого.

Муж не выказывал ни малейшего желания вспоминать о своем первом браке и никогда не заговаривал о ее первом муже. Но однажды разговор о нем все-таки зашел, и тогда-то муж произнес: «Ведь человеку предстояло уйти на фронт!..» Перед глазами женщины мгновенно всплыли привычные для тех лет слова: «ОТПРАВКА НА ФРОНТ». И в памяти ее с небывалой четкостью ожил облик погибшего мужа — «человека, которому предстояло уйти на фронт...».

Больше к этой теме ее теперешний муж не возвращался, хотя нельзя сказать, чтобы он сознательно избегал ее.

«Похоже, что в предыдущей жизни ты была на редкость добродетельна. И чтобы ты снова обрела семью, тебя взял в жены такой достойный человек, как я. Впрочем, у меня самого нет уверенности в безошибочности моего выбора...» Своей милой шуткой муж хотел подчеркнуть, что ей нет нужды казнить себя за то, что она вышла замуж вторично. И для женщины не было слов дороже этих. Она считала, что именно эти трогательные слова, сказанные вторым мужем в самом начале их совместной жизни, и скрепили их союз. Правда, временами ей казалось, что слова эти ввели ее в заблуждение. И ей очень хотелось понять, так ли это.

Женщина попыталась представить, что думал о ней ее первый муж, будучи заточенным в стальной рыбе: испытывал ли разочарование или сожаление? А может быть, к его чувствам примешивались неудовлетворенность и раздра-

жение?.. «Ах, как бы мне хотелось пожить с ним подольше!..»

Она сидела в темноте, облокотясь на деревянную оградку, и предавалась раздумьям. И вдруг ей открылось, что поток чувств и мыслей о первом муже, нахлынувший на нее, рожден ее жизнью со вторым мужем.

«Он, ушедший в небытие, был моим первым супругом, и память о нем — причина моей обостренной реакции на слова, сказанные вторым мужем в самом начале нашей совместной жизни!.. Но кто подсказал мне все это?..» Женщина надеялась, что найдет ответ, если только ей будет дано вновь увидеть свет ясного дня.

МИДЗУКО МАСУДА

КРАСНОЕ ПАЛЬТО

Крадучись, она приблизилась к спальне. Осторожно, стараясь не шуметь, нажала ручку двери. Приоткрыв дверь, прислушалась. Из полутьмы доносился равномерный храп. Значит, муж, Сигэру, еще сладко спит. Каё заглянула внутрь комнаты. Пуховое одеяло горбилось на постели. На это она уже достаточно нагляделась, все как обычно — спящий муж.

И зимой и летом он спал свернувшись калачиком, укрывшись с головой и — спиной к жене. Ей надоело любоваться этим зрелищем, и она постепенно приучилась спать лицом к стене.

Каё сознавала, что смотрит на мужа с насмешкой. Однако, подумала она, хорошо еще, что вообще смотрю. А вот Сигэру — тот даже не глядит на собственную жену. Кто поверит, что когда-то они обменивались пылкими взглядами? Ей и самой по временам в это не верилось. Не то чтобы они не ладили, ссорились редко, так, перебрасывались ничего не значащими репликами. Жизнь протекала без всяких перемен.

Каё перевела дыхание, тихо прикрыла дверь. Наверное, надо было хотя бы шепнуть ему на ухо: «Ухожу». Но даже такие обычные слова не шли с языка. Вот если бы муж проснулся, Каё пришлось бы что-то сказать. Тогда слова эти непременно сорвались бы сами собой, хотела она того или нет.

С некоторых пор Каё стала считать обременительным даже просто разбудить мужа. Накануне вечером она сказала, что уйдет рано утром. Сигэру на миг оторвался от телевизора:

— Чего в такую рань?

В глубине души она даже перепугалась: а вдруг мужу, у которого теперь в избытке свободного времени, вздумается пойти с ней?

— Да так, одно дело...

— А-а... — Сигэру, увлеченный телевизионным зрелищем, видно, тут же и забыл, о чем спрашивал. Каё на радостях быстро закрыла за собой дверь и скользнула в постель, чтобы, как обычно, уснуть раньше мужа.

Десять дней назад Сигэру отметил свое шестидесятилетие и ушел с работы, выслужив предельный срок. За эти десять дней они, словно избегая друг друга, стали ложиться и вставать в разное время. Сигэру, по-видимому, принял это как должное, предоставив Каё поступать, как ей вздумается.

Она привыкла к равнодушию мужа, и оно было ей безразлично, но на этот раз ей захотелось, чтобы он настоял на своем — расспросил бы, куда и зачем она идет. Правда, на этот случай ответа она не приготовила, и у него, пожалуй, был бы шанс узнать, что она затеяла.

Итак, Каё заглянула в спальню вовсе не затем, чтобы предупредить о своем уходе, напротив — чтобы удостовериться, что муж спит. Всё так же крадучись, проскользнула в столовую, потом в туалетную комнату. Достала из шкафа припрятанный бумажный пакет. Вытащила из пакета ярко-красное пальто. Взяла сумку. Проверила ключ. В передней сунула ноги в туфли и проворно надела пальто. Не застегиваясь, с поднятым воротником, словно убегая из дому, выскочила на улицу. Поворачивая ключ, испытала удовлетворение от того, что Сигэру оказался как бы запертым в доме.

Она поспешила к автобусной остановке. Утренний воздух приятно холодил щеки, пылавшие от возбуждения. Словно избегая людских глаз, прикрыла рукой нижнюю часть лица.

Против ожидания народу на улице было немного, в этот ранний час еще не появились спешащие на работу пешеходы. Пустынно было и на автобусной остановке, все обошлось, знакомых она не встретила. Автобус пришел точно по расписанию — в шесть сорок. Пассажиров рядом почти никого, можно было расположиться удобно.

Переведя дух, Каё вольготно устроилась на сиденье и закрыла глаза. Она блаженствовала, голова слегка кружилась. Сквозь веки ей чудилось, что всё вокруг окрашено в красноватый цвет. Цвет пальто, которое она приготовила для этого

дня, которое вот уже два месяца прятала, надежно схоронив от Сигэру. Пальто из кашемировой ткани, самое теплое из всех, какие у нее были, ужас какое дорогое. Впервые в жизни втайне от мужа она решилась на такую покупку для себя.

Когда Сигэру не было дома, она то и дело вертелась в этом пальто перед зеркалом. Сейчас, трясясь в автобусе, она вызвала в памяти свое отражение.

На каждой остановке входили люди, автобус постепенно заполнялся. Каё буквально кожей ощущала, что привлекает к себе взоры.

В ушах зазвучал голос продавщицы. Та казалась скромной и чистосердечной, а произносимые ею слова — искренними и слегка взволнованными.

— Вы стройная, пальто вам так идет! И цвет лица оттеняет. Нет, правда, я не льщу. Отлично, будто на заказ сшито. Да взгляните в зеркало, сами увидите...

Длинное ярко-красное пальто пунцового оттенка. Два месяца назад Каё заприметила его в универмаге на Нихонбаси. Ее точно притянуло к этому пальто. Она долго стояла перед манекеном, на который оно было надето.

Вначале ей почудилось, что это было то самое, о каком она мечтала в молодости. Она уже не помнила, где видела то пальто. Как она мечтала о нем! Даже во сне видела. Но купить его ей ни разу не пришло в голову. Это было немыслимо. Каё росла в строгой семье, где предпочитали скромную, неброскую одежду. Да и сама она придерживалась тех же вкусов. К тому же ей не давали таких больших денег. И уже за одно то, что ей приглянулось это шикарное красное пальто, ее мучила совесть.

Да, пальто она тогда не купила, но сколько времени память ее хранила и фасон его, и изумительный цвет!

Каё, кроткая и уступчивая по натуре, вскоре вышла замуж. Сразу стало ясно, что вкусы супруга в отношении одежды совпадают с родительскими. Рассудительный и здравомыслящий, исполнительный служащий, Сигэру не вмешивался в то, как одевается жена, и сам без возражений надевал пиджаки и рубашки, выбранные ею. Может, потому, что она подбирала одежду по вкусу и ему? В молодости, даже если она покупала одежду для себя, на свои собственные деньги, то все равно протягивала руку только к тем вещам, какие пришлись бы по душе родителям. Их девизом было — элегантность, скромность, простота. Она и не спорила. С ее покладистым характером, Каё не имела каких-то явных

пристрастий, на которых бы настаивала. Так было не только с нарядами, но и со многим другим. И все-таки иногда ей попадалось что-то из одежды, что ей очень хотелось иметь, пусть не так сильно, как красное пальто. Однако, чаще всего ничего не купив, она в конце концов об этом забывала.

Глядя в универмаге на красное пальто, она с досадой вдруг припомнила все эти вещи, в которых когда-то себе отказала и о которых вынуждена была забыть. Иметь пальто ей захотелось безумно, но она убеждала себя смириться, бормоча под нос, что нет смысла покупать шикарную, дорогую вещь. Можно ли в пятьдесят лет разгуливать в таком пальто! Мерещился даже голос мужа: «Стыдись, ты что, рехнулась?» И вовсе она не собиралась его покупать. Просто рассматривала с восхищением — уж очень было красивое! Но тут, на удивленье себе самой, она вдруг разозлилась. На память пришло многое, с чем до сих пор она мирилась. Не сосчитать, сколько раз она себя подавляла. Особенно после того, как вышла замуж. С того момента вообще забыла, что значит иметь желания. Все, решительно все, было подчинено мужу и ребенку, тогда как ни муж, ни сын даже не делали попыток узнать, чего бы хотелось ей.

— Мамочке нравится... Мамочке хочется это... Надо сделать так, как хочется мамочке...

Стоило мужу или сыну — он был вылитый отец — произнести что-нибудь в этом роде, как она делала вид, будто ей в самом деле хочется этого.

— Мамуля, а тебе правда нравится?

Ничего подобного она никогда не слышала.

Мысли ввергли ее в какую-то прострацию. Звуки замерли где-то вдали, наступила полная тишина. Сколько времени она пробыла в состоянии отключенности? Придя в себя, увидела рядом продавщицу. Та заговорила с Каё. Продавщица была немолода, наверное за сорок, с приятным улыбчивым лицом. Сняв пальто с манекена, она мягко набросила его на плечи Каё. Каё подчинилась. Пальто сидело как влитое. «Если хоть чуть что не так — не возьму... Главное — не поддаться на лесть. Слишком дорого...» — слушая продавщицу, твердила она про себя, а тем временем разглядывала свое отражение в зеркале. Нет, она никак не ожидала, что все может быть так замечательно! И слова продавщицы вовсе не были лестью... Каё попросила завернуть пальто, отложив другие покупки на потом. Домой вернулась на такси.

Дома поспешно развернула пакет, сорвала ярлык и

бросила его в мусорное ведро. Держа пальто в руках, вошла в туалетную. Свет включать не стала, хотя в коридоре висело зеркало, отражавшее в полный рост. Оно появилось, когда сын стал старшеклассником, по его настоянию. Каё, смущаясь, никогда не гляделась в такое большое зеркало, но решила, что если повесить его в узком коридоре, то здесь станет светлее и просторнее.

Пальто было точно по фигуре! Она придирчиво разглядывала себя в зеркале. Наверное, оттого, что в туалетной было темновато, она выглядела невероятно красивой.

С чего это она так похорошела? Расширившимися глазами она всматривалась в глаза женщины в зеркале. Эти глаза говорили ей: «Ты еще молода, ты можешь все, что захочешь...» Сколько лет, сколько лет в душе ее копились, точно ненужный хлам, беззвучные слова. Ей так хотелось дать им волю! Погребенные, утратившие облик слова, забытые, покрытые пылью... Нет, это не так, слова только казались мертвыми. Она чувствовала, как в ней самой, увядшей и иссушенной, что-то оживает... Обратив на себя огромные глаза, она, заключенная в зеркале, молила: «Мне душно, я хочу вон отсюда...» Впервые в жизни Каё надела вещь, предназначенную ей, и только ей. Наконец она словно очнулась, вспомнила, кто же она. С беспокойством огляделась. Мой дом, мой муж, мой сын. Муж, Сигэру, скоро уйдет на пенсию. Взрослый сын живет отдельно.

Выплачивать ссуду за дом оставалось десять лет.

Жизнь идет по установленному порядку в хлопотах и заботах. Странное дело: в любом возрасте, как ни налажено домашнее хозяйство, почему-то никогда нет ни секунды свободного времени. Каё была опорой дома, хозяйство вела умеючи. Дом, в котором она прожила много лет, стал частью ее самой и, хотела она того или нет, постоянно занимал ее какими-то делами. И дом, и муж, и сын, пока он жил с ними, каждый на свой лад придумывал для нее занятия, как будто для того она и существовала, чтобы исполнять их прихоти. Они видели в ней что-то вроде освещения в доме, которое может улучшить или ухудшить настроение. Темно в доме — раздражает, чересчур светло — режет глаза, а отрегулировать им не под силу.

В ней вдруг заговорило недовольство, долго копившееся в душе. Внезапно она четко ощутила недоверие к мужу — раньше она всегда делала вид, что ничего не замечает, нарочно кое-что оставляла невыясненным.

Тридцать лет, как они женаты, но время, когда она была

сама собой, длилось недолго, в самом начале супружества. Постепенно утрачивая свое «я», она стала только женой Сигэру. Жена, мать, домашняя хозяйка. Стоило ей заговорить о чем-нибудь, как ему это тут же надоедало, она не находила в нем собеседника. До его слуха доносился лишь звуковой сигнал, исходивший от персонажа, который именовался «жена» или «хозяйка дома». Персонаж этот существовал для того, чтобы удовлетворять его, Сигэру, потребности. Видела она мужа только со спины или сбоку. Порой он казался ей совершенно незнакомым человеком. Он был не из тех мужчин, чье обаяние чувствуется с первого взгляда. Бесстрастное невыразительное лицо, по-стариковски сутулая спина, насупленный профиль. Бывало, ей хотелось сказать: «Да вообще — кто и что этот человек? С какой стати этот человек свысока отдает мне приказания, велит делать то-то и то-то, будто я обязана все это исполнять?» Иногда, начав говорить, она спохватывалась, видя рядом с собой чужого, слова застревали в горле. А муж и не замечал, что Каё умолкала на полуслове. Если лично ему ничего не требовалось, на нее он просто не обращал внимания.

— Разведусь... — прошептала Каё, не отрывая взгляда от зеркала. Она сама ужаснулась тому, что у нее вырвалось это слово, но, произнеся его, как если бы это было давно решено, она успокоилась. Решила заговорить об этом с Сигэру, когда тот уйдет на пенсию.

— И я — на отдых, — подмигнула она женщине в красном пальто. Та, в зеркале, подмигнула в ответ. «Быть тенью мужа — работа, — подумала Каё. — Не будь это работой, разве такое вытерпишь. А если это работа, значит, и мне положена пенсия «за выслугой лет». Отныне возвращаюсь к себе самой, стану жить как вздумается... И Сигэру пусть живет, как ему заблагорассудится».

С того дня, как муж ушел с работы, Каё хладнокровно наблюдала за ним. Он вроде не собирался приискивать другую работу. У него были сбережения, и в деньгах он не нуждался. Правда, не нуждался благодаря отчаянной экономии Каё. Не то чтобы он не хотел работать — видно, боялся, что его самолюбию будет нанесен урон, — просто не нашлось вакансии, какую он мог бы занять без ущерба для своей амбиции, холодно подытожила Каё. «Хватит, наработался, а теперь — извините».

Удалившись от дел, Сигэру начал вести новую жизнь, которую, видимо, считал утонченной, — смотрел телевизор, читал. Днем на улицу, даже в садик перед домом,

не выходил. Гулял только по вечерам. Может, не хотел, чтобы соседи догадались, что он не работает? Ведь по субботам и воскресеньям он спокойно выставлял себя на обозрение.

Быть все время друг с другом наедине, вдвоем — немыслимо, и Кае стала частенько отлучаться из дому. Прогуливаясь по привокзальной площади, читала объявления о найме на работу, о продаже недвижимости; кое-что полезное откладывалось в памяти. Желание развестись с Сигэру не покидало ее.

Но, перед тем как расстаться, она задумала непременно совершить одну вещь — проделать путь, каким Сигэру ездил на службу. Выйти из дому в тот же час, когда отправлялся он. Взглянуть на здание фирмы, где он работал. Она ведь тоже трудилась, тень за спиной Сигэру, именно потому, что он получал зарплату в своей фирме. Каё долго думала, как лучше обставить церемонию своего ухода за выслугой лет со стези домашнего хозяйства. Ей никогда не доводилось бывать у него на службе, и она решила потихоньку проделать весь путь до работы. Новое пальто должно было стать парадной одеждой для «церемонии в честь окончания длительного срока службы в качестве тени мужа». Это казалось вполне подходящим. Для такого торжественного и радостного дня — ведь она уходила от мужа и возвращалась к себе самой! — не годились старые тряпки, та одежда, какую она выбирала в угоду супругу.

Сигэру же ровным счетом ничего не замечал. Озабоченный тем, чтобы самому не поддаться дурному настроению, он совершенно не обращал внимания на самочувствие жены. Он полагал, что если у него все в порядке, то и жена должна быть довольна. И Каё долго продолжала делать вид, что всем довольна.

Теперь по утрам, в тот ранний час, когда он обычно выходил из дому, чтобы не опоздать на работу, Сигэру не желал даже глаза открыть. Он нарочно засиживался до двух-трех часов ночи, чтобы заставить себя проспать до девяти. Видимо, пытался уверить себя, что ведет завидный, сибаритский образ жизни. Каё, не в силах общаться с ним, продолжала вставать и ложиться как прежде. Он как приклеенный сидел дома, и потому у нее не переводились разные мелкие дела. Наблюдая, как Каё крутится точно белка в колесе, он следил за ней со скучающим видом, а иной раз даже делал откровенно неприязненную мину: «Что ты торчишь перед глазами?»

Люди, толпой вывалившиеся из автобуса, устремлялись к вокзалу и проходили контроль, молча показывая проездные билеты. Пассажиров, вроде Каё, которые направлялись к автоматическим кассам, было совсем мало.

Каё поднялась на пригородную платформу. Люди разошлись по перронам, разделившись на тех, кто ехал в город, и тех, кто за город, — в пропорции примерно два к одному. В точности так, как поступал Сигэру, Каё хотела доехать пригородной электричкой до предыдущей станции, где делал остановку экспресс, пропустить одну электричку и сесть в пустой экспресс, идущий в Токио.

Дул пронизывающий ветер. В пальто ей было тепло, но ноги в тонких чулках заледенели, пока она ждала поезда. Прошли два переполненных состава в Токио, наконец показался встречный экспресс. В нем было свободнее, но сидячие места оказались занятыми. Каё почему-то пренебрегла единственным пустовавшим местом, решив, что оно тесновато, и встала у двери, чтобы выйти на следующей остановке. Каё понимала, что все взоры обращены на нее: стояла только она одна. Стоя спиной к пассажирам, чтобы скрыть лицо, она была предметом всеобщего внимания, и это тешило ее самолюбие. Как знать, может, и ей скоро придется ездить на службу. Разведясь с мужем, она не сможет вести праздную жизнь. К тому же надо держать себя в форме.

Глядя на пролетавшие за окном пейзажи, Каё вспоминала, как в молодости недолгое время — года полтора — служила в какой-то компании. Пошла работать сразу после школы, пока в двадцать лет не вышла замуж. Это была всего лишь служба для барышни, которую нельзя даже назвать временной работой, но так или иначе сейчас было ясно, что и это — ценный для нее опыт. Она думала: «Надо же, были у меня и мечты, и желания, и говорила я собственными, незаемными словами...» Она всегда была стеснительной, не бросалась в глаза, но внутреннего мира у нее не отнимешь. Ничем другим она не обладала. С грустью Каё вспоминала, как после получки прикидывала и так и этак, раздумывая, как лучше истратить заработанное. Позже уже без всяких раздумий она распределяла зарплату Сигэру на хозяйственные нужды. Но что теперь говорить, это дело прошлое, не стоит корить ни себя, ни других. Сейчас нужно только одно — начать все сначала.

Поезд остановился, двери открылись. Каё не успела шагнуть на платформу, как кто-то сзади оттолкнул ее и толпой повалили пассажиры. Каё невольно пошатнулась. Все они

ринулись к перрону, куда прибывал экспресс, следующий в Токио, и выстроились в очередь на посадку в вагоны. Сделав несколько шагов, Каё подхватилась и побежала, чтобы пристроиться в конце сравнительно недлинной очереди. Вдруг откуда-то на платформу хлынул новый людской поток. Людей было так много, что Каё испугалась. Со страху она почти вплотную придвинулась к стоящему перед ней человеку, едва не наткнувшись на него. Застыла как вкопанная, боясь шевельнуться, тараща глаза и прижимая к груди сумку. Вокруг сновали мужчины, по виду — служащие. Много было молодых женщин, но встречались и женщины одного возраста с Каё. У всех были усталые и неприветливые лица, не вызывавшие симпатии. Каё отвела глаза от людских физиономий и потупилась.

Наконец подошел экспресс. Длинные-предлинные очереди стали втягиваться в вагоны. Состав прибыл пустым, но уже на этой станции заполнился так, что с трудом, точно отяжелев, отвалил от платформы. Очередь, в которой стояла Каё, извивалась, как змеиный хвост. Тут из встречной электрички вывалилась толпа, раздался топот и очереди в мгновение ока снова выросли — люди выстраивались в ожидании следующего экспресса. Каё взглянула на часы — перевалило за половину восьмого. Следующий поезд подошел только через десять минут. Дверь открылась, и Каё, боясь промедлить, поспешно двинулась, нечаянно задев рукой стоявшего впереди. Неожиданно резко он стряхнул ее руку. Каё замешкалась, сзади напирали, и кто-то с силой толкнул ее.

Она охнуть не успела, как все места оказались занятыми. Каё приметила было местечко, но молодой человек, шедший за ней следом, проворно опередил ее. Каё затолкали в середину вагона. Там наконец она ухватилась за висячий поручень.

До пересадки было сорок минут езды. Поезд тронулся, и Каё огляделась. Куда подевалась беспардонность, чему она только что была свидетелем! На лицах было написано спокойствие, даже благодушие, люди словно обрели наконец пристанище. Одни сидели, закрыв глаза, другие листали книги, третьи просматривали газеты. И не только те, кому удалось сесть, стоявшие тоже занялись какими-то делами. Каё поймала себя на том, что неприязненно смотрит на молодого человека в куртке, который оттолкнул ее, и отвела глаза. Тот, раскрыв юмористический журнал, сидел с таким видом, будто совсем запамятовал, что едва не сшиб с ног

женщину, захватывая место. Слащавая физиономия любимчика барышень.

Жаль, что нет с собой книги. Рассеянно поглядывая в окно, Каё вспоминала обложки еженедельников, которые приносил Сигэру, возвращаясь с работы. Сзади напирали. Ухватившись рукой за поручень, а в другой держа сумку, Каё кое-как сохраняла равновесие, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой — она притомилась. Сигэру никогда не рассказывал, как добирался до службы. О чем было рассказывать? Если он принимался говорить про то, где ему удалось занять место, а где нет, она едва слушала, считая такие речи не стоящими внимания. Автобусом от дома — двадцать минут, сорок минут до пересадки, оттуда еще пятнадцать, пешком до станции минут семь-восемь. Итого часа полтора. Каждый день на дорогу туда и обратно Сигэру тратил три часа. Привыкнув, он не жаловался, но первые год-два то и дело как о чем-то важном затевал разговор на тему, удалось ли посидеть или вздремнуть в транспорте.

Каё была младше мужа на девять лет. А по сути — гораздо моложе. Ей не давали больше сорока пяти, Сигэру же выглядел старше своих лет.

Поезд миновал несколько станций, но в вагоне свободнее не становилось: на смену одним входили другие. За петлю, что держалась Каё, уцепились еще две руки, петля перестала болтаться из стороны в сторону, и Каё крепко стояла на ногах. Она пригрелась, ей даже стало жарко и бросило в пот. Усталости не было, она чувствовала себя прекрасно, ее стало клонить в сон. Закрыв глаза, она приняла удобную позу — повисла на руке и изогнула спину так, чтобы распределить равномерно тяжесть тела. Тряска и тепло убаюкивали. В ней смутно ожило полузабытое блаженное состояние, какое она испытывала давным-давно в объятиях Сигэру.

Она вдруг насторожилась, прислушиваясь к тому, что происходит. Сомнений не было — чья-то ладонь плотно легла ей на поясницу и скользнула вниз. Каё резко повела бедрами, чтобы сбросить руку. Рука отделилась, но тут же вернулась на место, еще теснее прижимаясь к телу Каё. У нее захватило дух и на миг возникло искушение поддаться этой руке... Но тут вагон тряхнуло, тот, кто стоял рядом, задел ее локтем, и она опомнилась. Внезапно ее охватила ярость к наглецу и к самой себе — за слабодушие. Она обернулась. Над ней грузно нависал мужчина, ошибки быть не могло...

Но оказалось, что тот был молодым. Моложе ее сына. Он

смущенно смотрел в сторону. Каё гневно глянула на него, и он, словно желая в чем-то удостовериться, повернулся к ней. Их глаза встретились. Каё вся напряглась: как он поведет себя теперь? Молодой человек брезгливо ухмыльнулся и убрал руку. Даже отодвинулся, воспользовавшись тряской. Каё прикусила губу и стала безучастно смотреть в окно, возмущение понемногу проходило. По лицам стоящих рядом нельзя было понять, заметили они что-нибудь или нет. И Каё ничего не оставалось, как сделать вид, будто ничего не произошло. И в самом деле ничего не произошло.

Она вдруг ощутила усталость. Перед ней все поплыло, как в тумане. Лица сидевших мужчин, все как одно, оказались похожими на Сигэру. Молодой Сигэру, Сигэру в расцвете сил, Сигэру пожилой и брюзгливый... Все они делали вид, будто не замечают, что ей так плохо. Никто не собирался уступать место. «С какой стати утруждать себя, усугублять и без того томительные часы в транспорте...» — читала она на этих каменных лицах. И было на них написано еще одно — желание хоть чуть-чуть дать отдохнуть собственному телу, урвать хоть несколько минут покоя.

Ради семьи. Столько-то часов каждый день, столько-то десятилетий. Молча ездить в поезде. Бесконечно, изо дня в день, и в конце концов забыть, ради чего все это.

Добравшись до конечной станции, Каё облегченно вздохнула. От этих безмолвных бесстрастных людей, точно холодный жар, исходила тихая ярость. Это приводило в смятение. На платформе, пока она шла на пересадку, ее толкали со всех сторон.

Стоя перед зданием фирмы, где больше тридцати лет прослужил муж, она ощутила смертельную усталость. До девяти — до начала работы — оставалось минут двадцать. Уже два часа, как она ушла из дому. У Сигэру на эту дорогу уходило полтора часа.

Каё все-таки простояла до девяти, наблюдая за теми, кто приходил на службу. На обратном пути села в электричку кольцевой линии Яманотэ. Час пик миновал, составы шли полупустые. Ехать было некуда, и она просто так трижды прокатилась вокруг Токио. Домой вернулась к вечеру.

По дороге Каё купила чего-то поесть, и они с мужем поужинали, сидя друг против друга. Лицо у Сигэру было заспанное, точно после дневного сна.

— Завтра я тоже уйду рано, — сказала Каё, не поднимая головы от тарелки. Ее преследовала мысль, что Сигэру проделывал этот путь ежедневно, и она решила повторить свой

опыт хотя бы раза три. Зачем — неизвестно. Хотелось — и все. Сигэру промолчал, но на лице его отразилось: «Как угодно».

Лежа в постели, она все еще ощущала вагонную тряску. Возбуждение не проходило. Она встала, чтобы пойти в туалет, и увидела Сигэру, дремлющего у телевизора. И что он так упорствует в своих ночных бдениях?

Муж выглядел совсем стариком. В ванной она внимательно посмотрела в зеркало. Лицо было утомленным. Она достала из шкафа пальто и принялась разглядывать. Возвращаясь, она сняла его еще на улице и принесла домой в бумажном пакете. После того как его помяли в транспорте в час пик и по нему прошлась чья-то мерзкая рука, после того как в него въелась городская пыль, пальто казалось выцветшим.

Расхотелось завтра надевать его и куда-то идти. Спрятав пальто, она с легкой душой уселась перед телевизором рядом с дремлющим Сигэру. Сонливость напала и на нее... Глаза она открыла от толчка мужа.

ЁКО МОРИ

ВЕСЕННИЙ ШКВАЛ

Лифт безнадежно застрял наверху. Нацуо, не отрываясь, смотрела на оранжевую лампочку указателя, высвечивающую цифру «семь». Сердце ее то отбивало дробь, то как бы замирало. Так продолжалось уже долго.

Большая радость чем-то сходна с болью, думала Нацуо. Или с головокружением. Странно, но чем-то она была сродни и грусти. Какое-то непреодолимо тяжелое чувство сжимало грудь.

Лифт по-прежнему оставался на седьмом этаже.

Запасная лестница в этом доме помещалась снаружи, опоясывая фасад. Она была открыта всем ветрам — и, к несчастью, на улице как раз шел дождь. Кроме того, дул сильный ветер.

Весенний шквал... Звучало это красиво, но ветер еще нес в себе зимний холод, а косой дождь жестко хлестал крупными каплями. Подняться на шестой этаж, не промокнув насквозь, было невозможно.

Нацуо вынула из сумочки сигареты и закурила. Ей пришло в голову, что она ведет себя необычно — никогда раньше не курила стоя, в ожидании лифта.

Теперь ее, похоже, ожидает многое такое, о чем раньше она и понятия не имела, думала Нацуо, с силой выпуская изо рта табачный дым. Да, она поднялась на одну ступеньку вверх. Да нет, не на одну — ей разом удалось преодолеть чуть ли не десяток ступенек. У нее было тридцать четыре соперницы, и она их всех обошла.

Тридцать четыре... Каждая из них была в своей области незаурядной личностью. Если говорить только о танце, были

девушки, на несколько порядков превосходившие Нацуо. И по умению себя держать тоже. У многих были прекрасные фигуры — длинные стройные ноги, красивые бедра. Были и полукровки, от лиц которых просто было невозможно оторваться.

Среди претенденток было также несколько профессионалок, уже выступавших с успехом на сцене.

Однако победила именно Нацуо. Когда она услышала об этом по телефону, первое, что ей пришло в голову, это то, что ее разыгрывают.

— Вы шутите! — едва сдерживаясь, воскликнула она. Если так, это была дурная шутка. — Я в такие игры не играю! Я вам не верю!

— Это что же такое?! — спросил человек, исполнявший обязанности менеджера. — Вы что, шутки ради участвовали в пробе для нашего мюзикла?

— Ну конечно же нет! — И это действительно было так. Больше всего на свете Нацуо хотелось заполучить эту роль, она полностью выложилась ради этого. — Но этого не может быть! Во время пробы я была красная как рак! — Когда Нацуо приходилось рассказывать о себе, у нее всегда кровь приливала к лицу.

— Что ж, в ней есть искренность... — проговорил один из членов жюри. Это, однако, прозвучало не как комплимент, скорее, он прояснял что-то для себя.

— Вы что, собираетесь отказаться от пробы? — спросил другой член жюри.

— Нет, просто я чувствую себя немного скованно, — с ужасом ощущая, что у нее неприлично покраснели уши, ответила Нацуо. На ладонях выступил холодный пот.

— Героиня фильма — женщина твердая, решительная, — сказал ответственный за пробу.

Нацуо показалось, что лица всех выражали явное сомнение. Вот так и проваливаются, подумалось ей. Нацуо подняла голову.

— Мне всегда трудно рассказывать о себе. Но сцена — это совсем другое. Мне кажется, это у меня получается, — в голосе Нацуо звучала решимость. — Я ужасно стесняюсь самой себя, но играть других людей для меня легко. — Все дело было в том, что, когда речь шла о ком-то другом, она не стеснялась.

— Ну что ж, пусть попробует нам что-нибудь сыграть, — кивнул один из членов жюри.

Нацуо на мгновение замерла, собираясь с силами. Затем

разбежалась — и когда уверенно приземлилась на сцене обеими ногами, это была уже другая Нацуо. Не та, которая до этого сгорала от смущения.

Однако было непонятно, какое впечатление она произвела на жюри. Лица этих людей были бесстрастными, и, когда Нацуо закончила выступление, она услышала лишь негромкое: «Благодарим вас...»

В телефонной трубке продолжал звучать голос менеджера:

— Не будем говорить о плохих актерах, но хорошие актеры, как правило, бывают очень застенчивыми, более того, наивными людьми. Они всегда в некотором внутреннем сомнении. Однако, — продолжал он, — если вы мне не верите, зайдите в наш офис и удостоверьтесь сами.

Конечно, Нацуо тут же бросилась на улицу.

В конце сумрачного холла она увидела черный стенд, перед которым стояло несколько мужчин и женщин.

На стенде столбиком были написаны названия ролей и имена исполнителей со следами многочисленных исправлений.

Имя Нацуо, выведенное большими некрасивыми иероглифами, стояло вторым. Первым шло имя ее партнера, уже завоевавшего известность танцора, звезды мюзиклов.

В течение секунд десяти она смотрела на свое так безобразно написанное имя, не в силах двинуться с места. Казалось, речь шла не о ней, а о каком-то другом, чужом человеке. Как бы в беспамятстве Нацуо сделала несколько шагов назад. Затем она развернулась на каблуках и выбежала на улицу, даже не подумав о том, что, вероятно, следовало бы зайти в офис и сказать хотя бы несколько слов благодарности.

Чувство радости пришло к ней позднее.

Продолжал лить дождь, ветер тоже не утихал. Осознав, что она держит в руках зонтик, Нацуо на мгновение остановилась и резким движением открыла его.

— Вышло, наконец вышло! — невольно вырвалось у нее вслух. И только теперь внутри Нацуо стало закипать, бурлить, подниматься, подобно пузырькам шампанского, острое чувство радости.

Вместе с тем к нему примешивалось и нечто другое, какое-то раздирающе-щемящее резкое ощущение — ощущение победы.

Неожиданно Нацуо пришло в голову, что она все еще

стоит перед лифтом на первом этаже. Конечно, первому она должна сообщить свою новость Юсукэ, только ему.

Однако было похоже, что лифт и не собирается заработать. Было совершенно непонятно, сколько еще его ждать. Все чувства Нацуо словно застыли, и, если бы ее спросили, она не смогла бы точно ответить, сколько времени уже стоит у лифта: десять минут или всего две. Круглые часы высоко на стене показывали девять часов двадцать пять минут. Нацуо отошла от лифта.

Запасная железная лестница, обвивая здание, уходила ввысь. Она была крутая и такая узкая, что по ней мог пройти только один человек — зонтик на ней раскрыть было невозможно. Нацуо стала быстро подниматься наверх.

Когда она добралась до шестого этажа, с ее волос во все стороны летели брызги воды. На Нацуо не было плаща, поэтому платье, намокнув от дождя, обвисло.

Однако Нацуо улыбалась. Вся промокшая, едва переводя дыхание, она нажала на звонок двери. Она вся светилась переполнявшей ее радостью.

— Ты чего такая довольная? — пробурчал Юсукэ, пропуская жену в комнату. На нем был халат из махровой ткани. — Да ты вся мокрая!

— Лифт не работает!

— Кто же поднимается по лестнице в такой дождь!

— Плохо, что она снаружи, — сияла Нацуо. — Ее надо перенести в более подходящее место!

— Как у тебя все просто! — криво усмехнулся Юсукэ.

— Но это действительно просто!

— Ну а на какие денежки ты собираешься это сделать?

— Подожди! Скоро их будет сколько угодно! — улыбаясь, сказала Нацуо, сбрасывая с себя промокшую одежду.

— Ладно, у тебя была эта самая проба? — Юсукэ пристально всматривался в лицо жены. — Проба была? — переспросил он.

Лицо его приняло странное выражение, близкое к отчаянию.

Нацуо тоже посмотрела на мужа. Сдерживая дыхание, Юсукэ напряженно ожидал ее ответа.

— У тебя была проба? — выражение лица Юсукэ разом переменилось: силы как будто покинули его.

— Да как сказать... — скороговоркой ответила Нацуо. — Была-то была, но все это так несерьезно...

Юсукэ нахмурился.

— Ты провалилась?

— Понимаешь, там были профессионалы. Я не могла конкурировать с людьми, уже утвердившими себя на сцене. — Нацуо назвала имя актрисы, выступающей в мюзиклах.

— Так ты не прошла? — Юсукэ начал понемногу расправлять плечи. — Ответь толком. У тебя же ничего понять невозможно: была ли проба, прошла ли ты...

— Какой ты недобрый! — пробормотала Нацуо. — Ты что, сам ничего не понимаешь и я обязательно должна тебе все говорить? — Их взгляды встретились. — Ну да, я не прошла! — отводя глаза в сторону, промолвила она. — Провалилась с треском!

Наступило молчание. Нацуо вытирала полотенцем волосы, в совершенном замешательстве от собственного обмана.

Юсукэ направился в сторону кухни.

— Вечно у тебя все несерьезно!

— Слушай, а ты что думал, я просто не пойду на пробу? — бросила Нацуо.

— Но ведь там были профессионалы... — В голосе Юсукэ появились утешительные нотки. — Ну ладно, тут ничего не поделаешь. Бог с этим, я думаю, у тебя будут еще шансы. — Было похоже, что Юсукэ доволен, хотя и старается сохранить сочувственный вид.

— Похоже, ты доволен, что у меня ничего не вышло и я упустила такую возможность. — Расчесывая волосы перед настенным зеркалом, Нацуо пристально рассматривала свое изображение: ну ты, лгунья, как ты собираешься выпутаться из этой ситуации?

— Откуда ты взяла, что я радуюсь твоей неудаче? — возразил Юсукэ, ставя на газовую плиту чайник. — Ну понимаешь, это просто невозможно, чтобы тебя сразу же взяли на главную роль!

— Почему?!

— Сразу стать звездою? Так не бывает!

— Да ну тебя! — голос Нацуо задрожал.

— Если бы у тебя получилось, твоим мужем должен был бы стать мистер Джуди Галанд, а не какой-то Юсукэ Асаи. Нацуо Мидори перестала бы его любить.

— Что за глупости! Ты есть ты: Юсукэ Асаи, драматург.

— Ты еще мечтала, чтобы я написал для тебя сценарий мюзикла...

— Да, у меня была такая мечта, — нежно улыбнулась Нацуо. — Если — только бы если! — мне удалось сделать

удачный дебют, завоевать себе имя. И уже после того я бы попросила тебя написать сценарий...

— Попросила бы написать! — передразнил жену Юсукэ. — Это ты о выдумках говоришь, а как до дела дойдет...

Из чайника со свистом вырывался пар. Юсукэ выключил огонь, насыпал растворимого кофе в чашку. Налил кипятку.

— Ты знаешь историю великой актрисы Ингрид Бергман? — спросил он, глядя куда-то вдаль. — Ее третий муж был известный продюсер, человек незаурядный.

Протянув Нацуо кофе, Юсукэ продолжал:

— Однажды актриса спросила у своего мужа: «Почему бы тебе не найти для меня хорошей пьесы?» Он ответил на это так: «Потому что ты — гусыня, несущая золотые яйца. Для тебя годится любая сцена, тебе надо лишь на нее выйти. Зал всегда будет полон. Так что все проще простого». — Юсукэ неторопливо прихлебывал кофе. — Я хорошо понимаю это.

— Да, видно, мне всегда суждено быть на вторых ролях, — протянула Нацуо полным задумчивости голосом.

— Ну а потом, мне тоже должно повезти, — вздохнул Юсукэ. — Или, может быть, первой удача улыбнется тебе?

— И что же будет, если случится именно так?

— М-да... — Юсукэ уставился на чашку с кофе. — В таком случае мы расстанемся. Это будет лучше. По крайней мере мы избавим друг друга от ненужных сцен. — Нацуо отвернулась к окну.

— Ты серьезно так думаешь?

— Да.

Юсукэ подошел к жене.

— Да, так будет лучше. Не знаю, смогу ли я искренне радоваться твоим успехам...

— Так что, значит, муж не может разделить радость удачи своей жены?

— Как ты думаешь, что сказал напоследок второй муж Ингрид Бергман — Роберто Росселлини? «Я устал быть мистером Ингрид Бергман» — вот что он сказал. Даже Росселлини это было не под силу.

— Ты не Росселлини, а я не Бергман.

— Ну что ж, тем хуже.

По стеклу время от времени стучали капли дождя, влекомые порывами ветра.

— Наверное, этой весной, после бури, сразу же зацветет сакура, — вдруг сказал Юсукэ. Голос у него был невесел.

— Да, но не успеешь оглянуться, как ветром снесет ее лепестки, и уже лето...

Нацуо, касаясь рукой еще влажных волос, пристально рассматривала такую привычную ей комнату.

— Ты не устала так стоять? — ласково спросил муж. Нацуо покачала головой. — Ты разглядываешь эту комнату так, как будто впервые ее видишь, — всматриваясь в профиль жены, сказал Юсукэ. — Или как будто видишь ее в последний раз.

Нацуо внутренне содрогнулась. Пытаясь скрыть это, она поспешно полезла в сумочку за сигаретами.

Юсукэ достал из кармана зажигалку и дал ей прикурить.

— Юсукэ, у тебя на сегодня все, вечером ты больше работать не будешь?

— Да, все.

— Почему?

— Ты же знаешь, когда кто-то в доме, я не могу сосредоточиться.

Нацуо молча кивнула в ответ.

— Сядь!

— Зачем?

— Ведь курить стоя неудобно!

Нацуо невольно бросила взгляд на сигарету у себя в руке.

— Я уже второй раз сегодня курю стоя, — неожиданно вырвалось у нее.

Стоя спиной к жене, Юсукэ складывал разложенную на столе рукопись.

— Ведь у тебя была проба? — едва слышно спросил он.

— Как ты узнал?

— Я знал это с самого начала.

— С самого начала?

— С того момента, как ты вошла. Весь твой облик говорил об этом. Вся промокшая, дрожащая — и с таким сияющим лицом.

Нацуо молчала.

— А потом, когда я увидел, как ты куришь, у меня не осталось никаких сомнений.

— Ты заметил?

— Да!

— Это правда странно. Сначала я закурила еще внизу, стоя перед лифтом. Я не могла дождаться и нервничала.

— Но ты уже сознаешь, что преодолела ступеньку на пути к успеху?

— Сознаю, что привстала на цыпочках.

— Похоже, тебе как-то не по себе?

— Да.

— Слушай, перестань курить стоя!

— Да, да, сейчас. Ты что, даже не хочешь меня поздравить? — Ответа не было. — Мне почему-то казалось, что так все и выйдет. Я как будто видела все это раньше.

Радость схожа с болью, она почти неотличима от печали. Наверное, ощущение странной тяжести у Нацуо в груди именно из-за этого.

— Росселлини...

— Ты опять о нем? Хватит!

— Нет, ты послушай! Росселлини был ревнив и не хотел, чтобы его жена выступала в спектаклях с кем-нибудь, кроме него. Ты обязательно провалишься, говорил он. Но Бергман выступила и имела огромный успех. Росселлини сидел недалеко от сцены. Когда актрису вызвали на бис и она раскланивалась, Бергман бросила взгляд на мужа. Их глаза встретились. И тут оба поняли — кругом гремели аплодисменты, — что между ними все кончено. — Юсукэ резко бросал фразы. — Я приду на твой мюзикл в день премьеры!

Нацуо взглянула на мужа. Он поднял голову, и их взгляды встретились.

КУНИКО МУКОДА

ТРЕУГОЛЬНЫЕ ВОЛНЫ

Два голубя сидели на проводах.

Сначала прилетел один, а вслед за ним опустился другой и сел чуть поодаль. Провода качнулись, и голуби тоже заколыхались на них, как на волнах. Когда провода успокоились, один из голубей стал чистить перышки клювом.

— Голубь и голубка, — радостно прошептала Макико, разглядывая их, прижавшись лбом к стеклу.

Голубка, приводившая в порядок перышки, была чуть поменьше и покруглее.

Окно было на пятом этаже в туалетной комнате учреждения, где служила Макико. Напротив возвышались многоэтажные здания страховой компании и жилого дома, между которыми виднелась где-то внизу биржа. Казалось, будто она упорно пробивается к свету из глубокого ущелья, пытаясь доказать необходимость своего существования. Для этого времени года характерны голубое небо и пышные кучевые облака, но из-за сильного смога, нависшего над городом, улицы кажутся серыми. В целом из окна открывался довольно унылый пейзаж, но, может, потому, что сегодня Макико глядела отсюда в последний раз, этот пейзаж казался ей не лишенным изящества. Она служила здесь уже три года и по три, а то и четыре раза в день заходила в туалетную комнату, но почему-то не замечала ни проводов, видневшихся чуть ниже окна, ни облюбовавших эти провода голубей. Наверное, я не замечала и многого другого, подумала Макико, глядя через окно.

Со вчерашнего дня она уже здесь не работала. Были и

проводы, которые сослуживцы организовали в «Светлячке», были и слезы, и прощальные рукопожатия. Поэтому она чувствовала себя неловко, зайдя сюда снова, но ничего не поделаешь — оставались кое-какие формальности, необходимые для получения выходного пособия.

— Как, ты опять здесь? — удивленно спросила ее в коридоре одна из подруг.

— Мне и самой это неприятно — будто простилась на станции, а поезд не ушел... — ответила Макико.

Кстати, ей предстояло свадебное путешествие, и она умоляла подруг не провожать ее. Свадьба была назначена на завтра.

Голубь и голубка по-прежнему сидели на проводах в некотором отдалении друг от друга. Уж если они семейная парочка, могли бы усесться рядышком, а этот голубь ведет себя, как Тацуо, со странным чувством подумала Макико.

Раз в неделю она и Тацуо встречались в отеле, но после того, как был назначен день свадьбы, Тацуо после ужина сразу поднимался и шел домой. Может, он тем самым хотел показать, что их отношения теперь изменились, пыталась оправдать его Макико, но все же чувствовала какую-то неудовлетворенность от таких свиданий.

И лицо, и фигура у Тацуо были какие-то квадратные, угловатые.

— На нем и пиджак-то сидит, как военная форма, — заметила бабушка, когда Макико впервые привела его в дом.

Он был невысок ростом, но широк в кости и плотного телосложения — видимо, сказались регулярные занятия кэндо[1].

Тацуо был хорошо воспитан и вежлив. Здороваясь, он отвешивал поясной поклон. Бабушка прозвала его «кукла-марионетка».

Еще один голубь опустился на провода и устроился рядышком с голубкой, чистившей перышки. Провода резко заколебались. Казалось, будто три голубя раскачиваются на качелях. Видимо, это движение подействовало возбуждающе на вновь прилетевшего голубя, и он взгромоздился на чистившую перышки голубку.

Макико на мгновенье смущенно отвела глаза в сторону. Так вот как выглядит совокупление у птиц, подумала она.

[1]Кэндо — искусство фехтования на мечах.

Как-то в словнике она вычитала термин «брачный сезон», но городские голуби, видимо, занимаются этим в любое время года.

Провода закачались сильнее, и голубь с голубкой, предаваясь любви, качались в унисон с ними. Макико, прижимая руки к груди, тяжело задышала. Неожиданно голубь взмахнул крыльями и улетел, вслед за ним поднялась и голубка, уронив несколько серых перышек. Голубь, сидевший на некотором отдалении, оставался на месте, будто не замечал происходившего рядом.

Макико почувствовала, как запылали ее щеки. Да, голубь, оставшийся на проводах, — это Тацуо, за которого завтра она выходит замуж, голубка, чистившая перышки, — это она сама, а тот голубь, который последним опустился на провода, вне всякого сомнения, Хатано — подчиненный Тацуо.

— Ты чем-то взволнована? — послышался за спиной голос подруги Каёко, поступившей на службу в их учреждение двумя годами раньше Макико.

— Ничего особенного, просто взгрустнулось оттого, что приходится расставаться, — оправдывалась Макико.

— Что-то не похоже. Я поглядела, как ты прижалась к окну, и мне показалось, будто ты неспокойна, — настаивала Каеко, заглядывая ей в глаза.

Макико вдруг ощутила неодолимое желание откровенно рассказать ей обо всем.

— Насчет того, что я неспокойна, ты попала в точку, — задумчиво произнесла Макико, — хотя на то нет серьезной причины. Просто я немного растерялась от радости, вроде как захмелела от счастья в ожидании завтрашней свадьбы, — сказала она.

Договорившись с Каёко встретиться в кафе, Макико снова поглядела в окно, но голубя там уже не было.

— Не могу назвать тебе его имя, но один юноша, подчиненный Тацуо, кажется влюбился в меня, — призналась Макико, когда они с Каёко уселись за столик.

Трудно было выговорить первые слова, а потом речь полилась легко и свободно, будто распускались нитки свитера.

Хатано буквально вклинился между ними, когда они окончательно решили пожениться. Макико видела его и прежде. Когда она познакомилась с Тацуо, Хатано состоял при нем кем-то вроде шофера.

Когда они попадали под внезапный дождь или же слиш-

ком поздно возвращались из кинотеатра и когда невозможно было поймать такси, Тацуо вызывал по телефону Хатано. Тот приезжал в начищенной до блеска машине и развозил их по домам.

Хатано был хорошо воспитан, одет с иголочки и никогда не выказал ни малейшего знака недовольства, как бы поздно ни вызывал его Тацуо. Он был отменно вежлив с возлюбленной своего начальника; как вышколенный шофер, предупредительно открывал перед ней дверцу машины. Макико льстила его любезность, Тацуо же считал это само собой разумеющимся, никогда не благодарил Хатано и нередко отправлял его домой, даже не угостив чаем. Подчас он бывал с ним резок, даже жесток, отчитывал за малейшее опоздание, ругал, когда Хатано случайно перепутывал место назначенной встречи. Такая несправедливость расстраивала Макико, но Тацуо всякий раз говорил:

— Ничего страшного! Не так уж много у него обязанностей.

Хатано не подавал и виду, что обижается на Тацуо за подобное обращение.

— Господин начальник всегда ругает меня, — смущенно улыбаясь, говорил он Макико.

Тацуо не нравилось и то, как улыбается Хатано.

— Перестань моргать! — обрушивался он на юношу. — Моргают и хлопают глазами только трусы да еще жулики, а серьезному человеку это не пристало.

В эти минуты Макико с сочувствием поглядывала на длинные ресницы Хатано. Практичный Тацуо полагал глаза лишь органом зрения, а ресницы его совершенно не интересовали. Он и Хатано, казалось, были противоположностями во всем. Среди молодых служащих Тацуо оказался наиболее способным и активным. К тридцати годам он уже сделал карьеру и получил должность начальника отдела. Хатано же поступил на службу благодаря протекции и к своей работе особого интереса не проявлял.

Тацуо мог много выпить и гордился тем, что никогда не пьянеет. Но к концу недели он, видимо, очень уставал и во время свиданий с Макико часто засыпал в машине. Когда он начинал храпеть, Хатано включал радиоприемник и заводил беседу с погрустневшей Макико. В нем чувствовались тонкость, тактичность, чего начисто был лишен Тацуо. Когда Тацуо вдруг просыпался, Макико нередко подумывала о том, что было бы неплохо, если бы он поспал еще.

О чувствах, которые к ней питал Хатано, Макико догадалась после помолвки. Обычно он, как вышколенный таксист, всегда почти беззвучно открывал и закрывал дверцу машины, а тут с силой хлопнул ею и, отвернувшись от Макико, сердито буркнул, глядя прямо перед собой:

— Поздравляю.

— И это все? — рассмеялась Каёко, водя по столу пустой кофейной чашкой. — Юноша холост, и его можно понять. Это вина твоего жениха: зачем пользоваться услугами неженатого юноши во время свиданий с тобой?

— Если он ревнует и сердится на меня, ему после нашей помолвки следовало бы отказаться от роли шофера. А он, видимо, и не помышляет об этом. Напротив, когда мы с Тацуо выходим из кинотеатра или из ресторана, тут же подкатывает и сажает в машину, — недовольно пробормотала Макико.

Каёко взяла сигарету, щелкнула зажигалкой и закурила. Она глубоко затянулась и с удовольствием выпустила длинную струйку дыма.

— На меня он глядит как-то по-особому, — продолжала Макико. — Словно хочет пронзить взглядом. В то же время он изо всех сил старался помочь, когда мы переезжали в новый дом.

— Может, он так поступает из уважения к своему начальнику?

— Только ли? — засомневалась Макико и рассказала, как они покупали вещи к свадьбе.

Когда она приехала в универмаг, там ее уже дожидался Тацуо, вместе с ним был Хатано. Причем Хатано с невероятным упорством настаивал на том, чтобы взять понравившиеся ему серебряные ложки. Обычно такой скромный, спокойный, он вел себя так, будто женихом был вовсе не Тацуо, а он сам.

Каёко продолжала молча слушать.

Хоть бы сказала: мол, он ведет себя так, потому что ты привлекательная женщина, с обидой подумала Макико.

О Макико часто говорили, какая она работящая, внимательная, но никто ни разу не назвал ее красавицей, не упомянул о ее женственности и других присущих девушкам качествах.

Макико тем более хотелось услышать именно эти слова, поскольку она догадывалась, что Тацуо остановил на ней

свой выбор по причине ее здоровья, трудолюбия и отсутствия многочисленной родни.

— А недавно Хатано, посадив нас в машину, погнал ее с такой скоростью, что чуть не врезался во встречную машину. Задремавший было Тацуо встрепенулся и даже заорал: «Эй, не хочешь ли ты, чтобы накануне свадьбы мы совершили самоубийство из-за несчастной любви?»[1] «Такое самоубийство не устраивают втроем», — тихо ответил Хатано, даже не обернувшись.

Вне всякого сомнения, Макико влекло к Тацуо, но она согласилась выйти за него замуж, несмотря на его угрюмый, неприветливый характер, лишь потому, что ей уже стукнуло двадцать четыре. А если заглянуть поглубже, то ее привлекала таившаяся в нем жизненная сила.

Трудно сказать, было ли этого достаточно для полного счастья. Может, поэтому Макико несколько преувеличенно говорила подруге о влюбленности Хатано, о его красоте.

Каёко сочувственно вздохнула и погасила в пепельнице сигарету. Макико решила рассказать ей еще об одном случае, происшедшем двумя днями раньше.

Ей нужно было кое о чем договориться в связи с церемонией бракосочетания, и она зашла к Тацуо на службу. Все уже разошлись по домам, и в комнате оставались только Тацуо и Хатано. Последние несколько дней Тацуо оставался на сверхурочную работу, чтобы получить трехдневный отпуск для свадебного путешествия.

Когда появилась Макико, у Тацуо не оказалось сигарет, и он ненадолго отлучился. В это время молча работавший Хатано поднял на нее глаза и неожиданно сказал:

— Женщины — удивительные существа. Им все известно, а делают вид, будто ничего не понимают. — Он попытался улыбнуться, но улыбка получилась грустная.

Пока Макико раздумывала, что ему ответить, в коридоре послышались шаги возвращавшегося Тацуо.

Вот и все, о чем хотела рассказать Макико, но, как и следовало ожидать, Каёко сразу отреагировала:

[1]В средневековой Японии существовал обычай «синдзю» — двойного самоубийства по сговору, которое совершали влюбленные, не имевшие возможности соединиться.

— Ну а если бы Хатано предложил тебе выйти за него замуж?

— Мне было бы это приятно, но, само собой, я бы отказалась.

Макико решила не рассказывать подруге, как голубка улетела с новым голубем, бросив своего супруга.

Она вообще не все рассказала Каёко. О кое-каких деталях, не имеющих отношения к главному, она умолчала. Когда она на днях зашла к Тацуо на службу, тот, завидев ее, потянулся за сигаретами, но пачка была пуста. Он заглянул в ящик стола, но и там сигарет не оказалось. В поисках мелочи Тацуо пошарил у себя в карманах и, ничего не найдя, подошел к снимавшему копию с какого-то документа Хатано, молча вытащил у него торчавший из заднего кармана брюк бумажник, взял деньги и сунул его обратно.

Макико покоробила такая бесцеремонность. Ну хоть бы попросил: «Дай взаймы на сигареты...» Именно тогда Хатано и произнес: «Женщины — удивительные существа...»

И еще об одном она не рассказала Каёко. В последнее время, когда она просматривала газеты и журналы, ей буквально так и лезли в глаза иероглифы, которыми записывалось имя Хатано, — словно они были набраны жирным шрифтом: «ха», «та», «но»... Вот и недавно, когда она читала в утреннем выпуске заметку «Будет ли разгадана эта тайна моря?», ее внимание опять-таки привлек иероглиф «ха», означающий «волны». В заметке сообщалось, что в море у побережья префектуры Тиба за последние десять лет затонуло несколько крупнотоннажных судов. Иные погружались в пучину, буквально разломившись надвое, другие пропали без следа. Причем неоднократно выдвигалась версия, что причиной катастроф были треугольные волны.

Треугольные волны... Что-то она слышала о таких штормовых волнах, но точно не могла припомнить. Макико удивило: почему она бессознательно ищет в газетах и журналах иероглиф «волны»? А тут еще треугольные... Она подумала о треугольнике, и новая мысль привела ее в замешательство. Ей сразу вспомнились три голубя на проводах, за которыми она наблюдала из окна туалетной комнаты. Теперь, прочитав статью о треугольных волнах, она стала ассоциировать их с собой, Тацуо и Хатано.

А может, Макико, у которой не было родителей, со

слезами на глазах провожающих дочь замуж, хотелось самой приукрасить ситуацию: мол, она выходит замуж за Тацуо, отвергая любовь Хатано. Ведь женщине так нужна атмосфера влюбленности. Во всяком случае, при всей ее растерянности и смущении она за двадцать четыре года своей жизни впервые почувствовала себя по-настоящему счастливой.

На церемонию бракосочетания Хатано не пришел, сославшись на ангину и высокую температуру. Макико решила, что ему было неприятно увидеть ее в свадебном наряде. Затем был пышный свадебный банкет, но Макико казалось, будто ей чего-то не хватает.

Когда они сели в поезд, отправляясь в свадебное путешествие, Тацуо тут же захрапел — видимо, захмелел от выпитого, да еще его основательно растрясли однокашники из школы кэндо, несшие его на руках до самого вагона.

Макико устроилась у окна и глядела на проносившиеся мимо пейзажи. В темном стекле отражалось ее лицо с гуще, чем обычно, наложенным слоем белил и румян. Когда перед отъездом она приводила себя в порядок и надевала белый свадебный наряд, ей вдруг захотелось, чтобы ее увидел Хатано.

Тацуо спал, широко раскрыв рот, будто находился в кресле у зубного врача. Обычно он старался придать своему лицу значительность, но теперь, у спящего, оно казалось глуповатым. Видимо, он спешил, когда брился, и на лоснившемся подбородке кое-где торчали пучки волосков. Макико с неприязнью поглядела на его лицо, потом перевела взгляд на короткие пальцы. Этому человеку — простому, но, в общем, неплохому — отныне принадлежит моя жизнь, подумала она и еще сказала себе: отныне надо навсегда распрощаться с иероглифами «ха», «та», «но».

Прибыв в отель и поужинав, они отправились играть в пинг-понг.

Тацуо — человек методичный, привыкший жить по раз навсегда заведенному порядку, обычно укладывался спать между одиннадцатью тридцатью и двенадцатью. Он был неспособен поддерживать интересную беседу и проводил время перед сном в безделии.

Он сам предложил ей сыграть в пинг-понг, но играл вяло, поэтому победа не доставила Макико удовольствия.

Она вспомнила другую игру, во время которой Тацуо вел

себя по-иному. На службе у них стоял стол для пинг-понга, и они нередко сражались втроем. Правда, чаще всего Макико выступала в роли судьи, а играли Тацуо и Хатано. Играли с азартом, вкладывая в игру все свое умение и злость. Бледные щеки Хатано покрывались красными пятнами. Нет, это была не просто игра в пинг-понг, а сражение на мечах не на жизнь, а на смерть. Макико казалось, что Хатано в каждый удар вкладывал свои мечты о ней, а Тацуо изо всей силы парировал эти удары. Макико пьянила мысль, когда она воображала, будто мужчины сражаются за обладание ею...

Вялая игра им вскоре наскучила, и они вернулись в номер. И сразу зазвонил телефон. Макико взяла трубку.

— Алло-алло, вас слушают!

— Это Хатано, — послышалось в трубке после небольшой паузы.

От удивления Макико не в силах была выдавить из себя хоть слово.

— Это ты, Хатано? В чем дело? — спросил Тацуо, беря у нее трубку.

Его голос звучал спокойно, но Макико показалось, будто Тацуо пытается что-то в себе подавить. Хатано позвонил, чтобы уточнить кое-какие подробности в бумагах, которые он отправлял клиенту, но Макико не могла отделаться от мысли, что он приурочил свой звонок к моменту, когда они собирались ложиться в постель.

Тацуо, ничего не сказав по поводу звонка Хатано, погасил настольную лампу и протянул руку к Макико, но получилось это как-то неловко. Макико нерешительно ответила на его ласку, испытывая угрызения совести. В общем, все происходило так, словно они продолжали свою игру в пинг-понг. Не испытав никакого наслаждения, Макико лежала на двуспальной кровати, молча уставившись в потолок. Ей вдруг показалось, что рядом с ней не Тацуо, а Хатано.

Ей вспомнились два голубя, сидевшие на проводах поодаль друг от друга; голубь, опустившись рядом с голубкой, чистившей перышки; дрожание проводов, когда он взгромоздился на голубку.

Голубь, который сидел на проводах, не пытаясь прогнать пришельца, — это спящий рядом с ней муж. Трудно понять, знал ли он обо всем, но решил проявить великодушие или же воспринял звонок Хатано как исключительно деловой.

Глядя на захрапевшего Тацуо, Макико думала об этом, но так и не смогла прийти к окончательному выводу.

Они поселились на окраине. Университетский приятель Тацуо построил себе новый дом, но вскоре его перевели на службу за границу, и он за сравнительно недорогую плату сдал дом Тацуо на два года. Отсюда до работы было дальше, но при доме был небольшой сад, и это радовало молодоженов.

— С тех пор как много лет тому назад уехала из деревни, впервые открываю амадо[1]. — Макико раздвинула ставни и обомлела.

Снаружи стоял Хатано. Но он не видел Макико. Его взгляд был направлен не на нее, а на поднявшегося с постели Тацуо. Заметив Хатано, Тацуо замер. Он стоял полуголый, в одних пижамных штанах, и держал в руке утреннюю газету. Хатано издал странный, сдавленный вопль и кинулся прочь.

В одно мгновение негатив и позитив поменялись местами.

Хатано вовсе не влюбился в Макико — он любил Тацуо. Голубем, оставшимся в одиночестве, была она, Макико.

Тот азарт, с которым Тацуо и Хатано сражались в пинг-понг, был тоже одним из проявлений взаимной любви.

На двуспальной кровати в самом деле находился Хатано, но с ним рядом лежала не Макико, а Тацуо.

— Ты знаешь что-нибудь о треугольных волнах? — спросила Макико, изо всех сил стараясь унять дрожь в голосе.

— Треугольные волны? Они образуются, когда сталкиваются обычные волны, двигающиеся в противоположном направлении. Говорят, они очень опасны. Даже огромные корабли разламываются надвое, попав в полосу этих волн. Кажется, они возникают перед началом тайфуна.

Предвестник тайфуна... — подумала Макико и спросила:

— А корабли обязательно тонут, попав в треугольные волны?

Она наконец раздвинула все ставни и выглянула в сад, на такие же недавно построенные соседние дома с белыми стенами, синими и красными крышами.

— Не все. Некоторым удается преодолеть полосу треу-

[1]Амадо — раздвижные ставни в японском доме.

гольных волн, и они остаются на плаву, — ответил Тацуо и ласково положил руки ей на плечи.

Сбросить ли его руки с плеч или поверить в исходившее от них тепло, с замиранием сердца подумала Макико.

— Простите за беспокойство, с сегодняшнего дня, кажется, заказывали по две бутылки молока, а я с утра забыла их оставить. Извините, что доставила их с опозданием. Теперь буду приносить по две с утра, — послышался со стороны кухни звонкий голос молочницы.

СОБАЧЬЯ КОНУРА

Может, потому, что Тацуко была в положении, она теперь сразу догадывалась, кто из пассажиров собирается выходить на следующей станции. Конечно, месяца через три, когда ее беременность станет более заметна, ей и так будут беспрекословно уступать место, но пока до этого еще не дошло.

Когда в установленные в каждом вагоне громкоговорители хриплый голос объявляет следующую остановку, Тацуко, держась за поручень, начинает внимательно наблюдать за сидящей публикой. Казалось бы, все сидят с безразличным выражением на лицах, но она безошибочно определяет того, кто собирается выходить.

Транспортные средства движутся с довольно большой скоростью, но сами-то пассажиры не мчатся, а сидят неподвижно. Может, поэтому у них, как правило, застывшее выражение лица. Но у того, кому выходить, движение прежде всего проявляется во взгляде. Заметив у пассажира это движение глаз, Тацуко подходит и сразу же занимает его место, как только тот встает. Многократный опыт доказал безошибочность ее наблюдений.

В тот воскресный вечер электричка была переполнена. Однако, воспользовавшись своим обычным методом, Тацуко вскоре села на освободившееся место. Правда, на этой станции многие делали пересадку и сразу освободилось немало мест. Пассажиры, возвращавшиеся после приятно про-

веденного воскресного дня, ринулись к дверям, и в душном вагоне стало свободно и прохладно.

Напротив Тацуко сидели молодые родители с мальчиком лет пяти. Все трое спали, уронив голову на грудь, будто у них надломились шейные позвонки. Скорее всего, они возвращались из зоологического сада, куда их упросил пойти сын. Должно быть, они жили скромно, но по этому случаю рядились во все лучшее. Их облику как-то не соответствовал непомерно большой и дорогой фотоаппарат, на котором лежала рука мужчины. Сразу было видно, что эта рука принадлежала не интеллигенту, привыкшему пользоваться пером, а рабочему, зарабатывающему на жизнь физическим трудом.

Его жена, примерно того же возраста, что и Тацуко, может на два-три года старше, спала, слегка раздвинув колени. Она была полновата и, судя по выражению лица, не слишком обременена заботами повседневной жизни. Тацуко сразу же догадалась, что она беременна. Теперь Тацуко не только угадывала людей, собирающихся выйти на следующей остановке, но и с первого взгляда научилась узнавать женщин, бывших, как и она сама, в положении.

Разглядывая эту троицу, Тацуко решила, что женщина должна родить одновременно с ней, а может, на месяц или два раньше, а ее муж и сын примерно того же возраста, что муж и сын Тацуко. Разница лишь в том, что этот спит сейчас здесь, в вагоне, а ее муж — дома. Муж — анестезиолог в университетской больнице, работа напряженная, и, когда на неделе выдается много операций, он по выходным дням отсыпается, спит так крепко, словно сам находится под наркозом. Обещает показать сыну панду, но все откладывает. Мальчику уже пять лет, а он так еще и не видел панды.

Глядя на спящих, которые то появлялись, то исчезали за спинами ухватившихся за поручни пассажиров, Тацуко задумалась: кто же из них счастливее — эта троица или ее семья?

Электричка неожиданно остановилась — должно быть, на красный свет. Мужчина проснулся от толчка, поднял голову и поглядел в окно — наверно, решил, что они проехали свою остановку. Тацуко поглядела на его лицо и чуть не вскрикнула.

Да ведь это Каттян — тот самый, из рыбной лавки «Уотоми»! Тацуко поспешно спряталась за спину стоящего перед ней пассажира. Она даже привстала, собираясь

перейти в соседний вагон, но тут же отказалась от своего намерения, опасаясь, что Каттян ее заметит.

Каттян зачастил к Тацуко, когда она еще училась в институте, то есть лет десять тому назад или около того.

Однажды она вышла с собакой Кагэторой прогуляться и заодно сделать кое-какие покупки. Когда она проходила мимо рыбной лавки «Уотоми», Кагэтора стянула из миски, стоявшей на пороге, щупальца кальмаров и стала их заглатывать. Тацуко отругала собаку и долго извинялась перед хозяйкой и молодым продавцом.

— Говорят, если много съесть кальмаров, отнимутся ноги, — сказал юноша.

Видимо, он любил собак и, взяв средней величины скумбрию со вспоротым брюшком, кинул ее Кагэторе. Собака была плохо воспитана. Она схватила скумбрию и мгновенно ее сожрала. Извинившись еще раз и поблагодарив за рыбу, Тацуко повела собаку домой, но уже рядом с домом Кагэтора повела себя как-то странно — заскулила, стала приволакивать задние ноги, а потом и вовсе остановилась. Тацуко пыталась тащить ее на поводке, но та не двигалась с места. Из пасти запузырилась пена.

С помощью соседей Тацуко дотащила собаку до дому и, привязав к столбику около глицинии, вызвала ветеринара. Он сделал уколы, после чего собаку вырвало: во вспоротом брюшке скумбрии оказалась малюсенькая фугу[1].

Освободившись от фугу, Кагэтора почувствовала себя отлично. Тем не менее отец Тацуко счел необходимым позвонить в «Уотоми» и сообщить о случившемся.

Поздно вечером пришел тот самый юноша из рыбной лавки. Он низко кланялся и долго просил прощения за случившееся, сказал, что собиралась зайти и хозяйка «Уотоми», но ее муж плохо себя почувствовал и она была вынуждена остаться дома. Уходя, юноша протянул матери Тацуко плетеную корзинку с крупным свежим палтусом.

Хозяевами рыбной лавки «Уотоми» были пожилые супруги. В последнее время у хозяина начали побаливать почки, ему стало трудно работать стоя, и он только разделывал рыбу для сасими, а потом садился на пороге и курил, разглядывая прохожих, либо забирался на второй этаж и укладывался в постель. Его работу стал выполнять дальний родственник

[1]Фугу — рыба, которая бывает ядовитой.

хозяйки. Теперь он, сменив прорезиненный передник на модный свитер, стоял перед Тацуко — высокий, ладный, и она в первый момент, не узнав его, решила, что этот юноша — университетский товарищ ее старшего брата.

После многословных извинений он наконец ушел, но, запирая за ним дверь, она услышала громкий голос:

— Прошу простить великодушно!

Тацуко приоткрыла дверь и выглянула наружу. Юноша сидел на траве близ собачьей конуры и кланялся. Прямо как в театральном представлении, подумала она тогда. Это и был Каттян из рыбной лавки «Уотоми».

После того случая он чуть не каждый день приходил к ним в дом, приносил рыбу, скармливал ее Кагэторе, объясняя смущенным Тацуко и матери, что это, мол, остатки.

— Я проверил, она свежая, — всякий раз говорил Каттян, показывая рыбу женщинам, прежде чем кинуть ее Кагэторе.

С тех пор подлиза Кагэтора, завидев Каттяна с ведерком, в котором он приносил рыбу, начинала так колотить своим пушистым, толщиной в мужскую руку хвостом, что было слышно даже в чайной комнате.

Спустя полмесяца Каттян стал водить собаку на прогулку. Когда брат Тацуко принес Кагэтору от приятеля, она была величиной с котенка. Теперь же щенок вырос в здоровенную псину, и ухаживать за собакой, вычесывать и выгуливать стало довольно-таки обременительно.

Брат пообещал, что сам будет заниматься собакой, но потом поселился у своей однокурсницы, стал реже бывать дома, и заботы о собаке легли на семью. С тех пор как Каттян взял на себя заботы о Кагэторе, собака изменилась до неузнаваемости — раздобрела, шерсть у нее стала лосниться. Каттян кормил Кагэтору принесенной из лавки рыбой, и теперь семья Тацуко не тратила на корм не единой иены.

— Так не годится, — сказала однажды мать Тацуко и протянула Каттяну конверт с деньгами. — Купи себе хотя бы рубашку.

Он взял деньги, но предложил перестроить на них собачью конуру.

Когда-то они купили готовую конуру, не предполагая, что собака так вырастет. Теперь же Кагэтора едва влезала в

нее и даже в дождливую погоду предпочитала оставаться снаружи.

Каттян купил краску и доски и весь воскресный день потратил на устройство новой конуры.

Когда стемнело и Тацуко вернулась домой после занятий теннисом, она с удивлением увидела у пасти привязанной к столбу Кагэторы кровь. Вначале она перепугалась, но, внимательно присмотревшись, поняла, что это вовсе не кровь, а красная краска.

Сбоку стояла новая, невероятно огромных размеров конура. Привязанная рядом Кагэтора, заигрывая с Каттяном, красившим крышу конуры, видимо, слизнула с нее красную краску.

В тот вечер Каттян впервые переступил порог дома Тацуко и был приглашен на семейный ужин.

Мать Тацуко угостила его для разнообразия сукияки[1], решив, что рыбу он и так ест каждый день в своей лавке. Каттян подкладывал всем со сковородки мясо, подливал отцу Тацуко пиво и успевал еще всех веселить шутками.

Как бы между прочим Каттян намекнул, что хозяин «Уотоми» долго не протянет — так, мол, сказал врач — и, поскольку у него своих детей нет, он склонен усыновить Каттяна и передать ему дело. Правда, сам Каттян еще окончательного согласия не дал.

— Вот если бы у рыбы не было головы — это еще куда ни шло. А так ведь у каждой есть как бы свое лицо и глаза. Вначале я просто боялся к ней подступиться, — сказал он.

— Но ведь не бывает рыбы, которая изначально была бы разделана, — возразил отец Тацуко.

Заглядывая Тацуко в глаза, Каттян говорил о том, что можно бы расширить владения «Уотоми», снеся позади харчевни парочку хибар, а на их месте построить большой доходный дом, на одну прибыль от которого можно бы сносно жить, либо открыть кафе или закусочную, учитывая, что супермаркеты скоро вытеснят рыбные лавки.

Сукияки было съедено, арбуз тоже, а Каттян все не уходил. Он стал подробно разъяснять разницу между палтусом и камбалой, говорил, что, когда снимают шкуру с палтуса, она скрипит, как новые башмаки.

Он болтал, не умолкая ни на минуту, курил одну за

[1]Сукияки — мясо, жаренное в сое с сахаром и приправами.

другой сигареты, понимая, что стоит ему остановиться, и надо будет уходить. В его веселых глазах появилось что-то просящее, умоляющее. Когда, казалось, все темы были исчерпаны, Каттян начал рассказывать о собачьих «картах».

Видимо, он от кого-то слышал, что у каждой собаки есть свои «карты», которые они помечают, оставляя свой запах у определенных телеграфных столбов. По этому запаху можно определить, где живет проказливый ребенок — мучитель собак, в каком доме кормят, а в каком живет желанная подруга.

Отец Тацуко, которому надо было рано вставать, откровенно зевал. Мать начала стелить постель, и только после этого Каттян встал из-за стола и отправился восвояси.

— Значит, у собак свои карты, — пробормотала мать.

— Наверно, он себя имел в виду, — отозвался отец.

На другой день Каттян, будто так и нужно, вошел в их дом через черный ход и отправился прямиком на кухню.

— Сейчас я вас угощу на славу, — воскликнул он, выкладывая на большую сковороду принесенную рыбу.

Вскоре весь дом заполнился неприятным запахом жарящейся рыбы.

Пока остывала рыба, Каттян повел собаку на прогулку. Вернувшись, он, напевая под нос, аккуратно почистил ей шерсть щеткой, накормил, а остатки сложил в посудину и сунул в холодильник. Он делал все так привычно, словно жил в этом доме не один год.

Однажды брат Тацуко, пришедший домой переодеться, недовольно потянул носом и, глядя на Кагэтору, сказал:

— Вроде бы запах от тебя какой-то другой.

Отстранив от себя пытавшуюся лизнуть его в лицо собаку, он добавил:

— От тебя несет рыбой.

Мать рассказала ему о Каттяне, который повадился ходить к ним в дом и взял на себя заботы о Кагэторе.

— Так это же для вас находка! Теперь я спокойно могу уйти из дома, — со смехом воскликнул брат Тацуко и пошел к двери, прихватив с собой значительно больший, чем обычно, узел.

Каттян оказался на редкость полезным человеком. Именно он починил крышу, на которую обрушилась толстая ветка сосны во время тайфуна. Именно он заменил в их бане лопнувшие кафельные плитки. Теперь он величал отца Та-

цуко не иначе как «батюшка», мать — «матушка», а саму Тацуко ласково называл Тат-тян. Так звала ее только мать.

Однажды родители Тацуко отправились с ночевкой к родственникам на свадьбу.

С тех пор как отравилась Кагэтора, минул ровно год. Как и тогда, на прилавках магазинов уже появились свежие арбузы.

Их дом устоял во время войны, но уже порядком обветшал, и Тацуко, опасаясь оставаться одна в этом большом и ветхом доме, позвонила женщине, у которой жил брат, чтобы он пришел переночевать, но та, видимо, не сообщила брату о ее просьбе.

Каттян пришел около девяти вечера, чтобы вывести собаку на прогулку. Сразу по дому распространился резкий запах рыбы. Радуясь приходу Каттяна, Кагэтора нетерпеливо колотила своим толстым хвостом по стенкам конуры.

«Когда наша дочурка дома, Каттян тратит вдвое больше времени на вычесывание собаки». Тацуко вспомнила эти слова матери и нахмурилась.

Распевая песенку из иностранного фильма, Каттян вывел Кагэтору на прогулку. Он, должно быть, дрессировал собаку специально ради нее, Тацуко.

Она расслабленно потянулась. Выходя, Каттян окликнул ее, но она не ответила. Проводив его взглядом из окна, она пошла под душ, чтобы смыть прилипчивый запах рыбы, села на велосипед и отправилась в парк на прогулку. Спустя час она вернулась домой, приняла ванну, потом села в халате перед телевизором в чайной комнате и стала потягивать оставшееся после отца вино.

Незаметно для себя Тацуко задремала. Ее разбудила подскочившая к ней собака.

— Кто тебе разрешил входить сюда? — пробормотала она, еще не очнувшись ото сна, и оттолкнула собаку, ощутив ее горячий язык у своих губ. — От тебя воняет рыбой!

Тут она окончательно проснулась, открыла глаза и с удивлением обнаружила, что это не Кагэтора, а Каттян.

Она не помнила, как ей удалось оттолкнуть прильнувшего к ее губам Каттяна. Придя в себя, она увидала на полу разбитый бокал, из которого пила вино.

На следующее утро Тацуко почувствовала странную ломоту в суставах. На коленках и локтях были большие ссадины.

Она вышла к висевшему у ворот почтовому ящику за утренними газетами. У конуры стояла Кагэтора и, завидев ее, завиляла хвостом. Тацуко сознавала, что собака не виновата в случившемся вечером, но ей было противно видеть ее, и она отвела глаза, заметив при этом, что морда у Кагэторы опять в красных пятнах.

— Нельзя лизать краску, — машинально сказала она, но, приглядевшись, увидала, что на этот раз морда собаки не в краске, а в спекшейся крови. Неужели задрала кошку, подумала Тацуко, поглядела в сторону конуры и чуть не вскрикнула от удивления.

Из конуры торчали мужские ноги в ботинках на резиновом ходу. Там лежал Каттян и беззаботно спал, громко похрапывая. Тацуко предположила, что он, основательно нализавшись, с трудом втиснулся в конуру и уснул. Она решила разбудить Каттяна, но, подойдя к конуре, увидела под ногами пустой пузырек из-под снотворного и по-настоящему испугалась. По-видимому, Каттян зашел в супермаркет, открытый до поздней ночи, купил там снотворное и разом проглотил все таблетки, решив покончить жизнь самоубийством. А Кагэтора стала тормошить его, покусывать за лицо и измазалась кровью, сочившейся из царапин.

Может, Каттян проглотил недостаточно снотворного, а может, потому, что Кагэтора его тормошила, страшного не случилось — Каттян остался жив и через три дня уехал в деревню к родственникам. Тацуко ничего не сказала родителям, но они, по-видимому, смутно догадывались о случившемся.

После того как Каттян исчез, шерсть Кагэторы перестала лосниться. В конце года были устроены смотрины, во время которых Тацуко познакомилась с будущим анестезиологом. Может быть, окончательное решение выйти замуж за анестезиолога она приняла потому, что от него пахло не рыбой, а спиртом.

На следующий год ранней весной, еще до того, как расцвели вишни, скончался хозяин «Уотоми», и рыбная лавка была закрыта. Тогда же выяснилось, что хозяин вовсе не собирался брать Каттяна в приемные сыновья и тот просто все это выдумал. Лавку, как и несколько соседних лачуг, разобрали, и на их месте возвели современное здание.

Спустя два года Кагэтора взбесилась и издохла. Теперь Тацуко казалось, что смехотворно большая конура, которую

построил Каттян, была предназначена не для собаки, а для него самого.

Если бы сама Тацуко и его жена не были в одинаковом положении, она, пожалуй, окликнула бы его.

Электричка подошла к станции, где Тацуко делала пересадку. Выходя, она мельком взглянула на безмятежно спавшую троицу, на руку Каттяна, лежавшую на непомерно большом фотоаппарате.

КИЁКО МУРАТА

ФУНИКУЛЕР

Мне было шестнадцать лет, когда по горе U, неподалеку от нас, пустили фуникулер.

Моему младшему брату тогда исполнилось тринадцать. Я была первокурсницей колледжа, а брат той весной уже учился в первом классе школы средней ступени.

Гора U с ее плавно закругляющимся гребнем как нельзя лучше годилась для фуникулера. Ранней весной на склонах, окутанных лиловатой дымкой, там и сям разбросанными крапинками пестрели узоры цветущей вишни. На длинном пологом склоне блестел Y-образный рельс, и можно было различить вагончик фуникулера, неспешно поднимавшийся к вершине.

Звук замирал в далеком пейзаже, словно застывший столбик ртути в термометре.

Что фуникулер называют еще и канатно-рельсовой дорогой, я узнала из газеты. Канат... — подумала я тогда. Наверно, это тот толстый трос, который тянет кабинку.

Посмотрев в толковом словаре, я нашла еще название «канатная дорога». Она тоже устроена на канатной тяге, но там движется вагонетка, подвешенная к тросу. А еще в словаре значилось «воздушно-канатная дорога». Дорога, как нить, протянутая в воздухе. Какие красивые слова!

Я в восхищении закрыла словарь.

Тогда я жила с бабушкой и дедом и младшим братом. Постоянным моим собеседником был именно брат, который был моложе меня на три года.

Он вечно приставал ко мне со своими «почему». Если

фуникулер — это канатно-рельсовая дорога, то что же тогда называют лебедкой?

Погоди минутку, начинала я ломать голову. Ведь и лебедка работает на тросе.

— Ну, устройство... по свертыванию троса...

— А вот и нет! Лебедкой называется подъемный кран! — громко выкрикивал брат.

Тогда я приступала к нему с собственными вопросами.

Почему вагончик фуникулера имеет такую странную сплющенную форму? Может быть, его сплющивают с какой-то определенной целью — скажем, это повышает его мобильность?

Ведь форма разных средств передвижения обычно связана с их назначением — как у самолета, корабля, автомобиля.

Не бывает же пароходов в виде автомобиля или самолетов в форме парохода. Да и суда делают разной конфигурации в зависимости от того, для чего они предназначены.

Наверно, вагончик фуникулера относился к разряду трамваев. Ведь он явно родственник тем трамваям, что ходят по рельсам в городах. Почему же трамвай, если смотреть сбоку, похож на прямоугольник, а фуникулер на горе U — на вытянутый параллелограмм? Если все дело в устройстве, которое тянет канат, то зачем понадобилось так сплющивать вагон?

Брат слушал меня с загадочным выражением на лице. Дескать, опять сестрица ерунду говорит.

Мне же с раннего детства приходили в голову всякие странные мысли. Услышав на уроке естествознания о молекулах, я, идя по улице, нечаянно вдохнула запах кое-чего, оставленного собакой, и опрометью вбежала в дом, чтобы самым тщательным образом промыть себе нос.

Запах получается оттого, что молекулы собачьего этого самого добираются до кончика носа, поэтому я все равно что ткнулась в это носом — к такому скоропалительному выводу я пришла.

Я плескалась у колодца, а брат, покрутив головой, сказал мне сзади:

— Знаешь, сестрица, похоже, ты совсем заучилась... Забиваешь себе голову, полная чепуховина выходит.

Брат учился хорошо, а я, тут он был прав, по большей части отличалась всякими странностями, и стоило мне задуматься, как тема как-то ускользала от меня. Словно прыгнешь в реку, чтобы поднять со дна какой-нибудь предмет, но только взбаламутишь воду — и незаметно добредешь до другого берега.

— А кто его знает, — пробормотал брат.

— Ну правда, должна же быть какая-то причина!

— Да кто его знает, — повторил он рассеянно. — Вроде бы нет особых причин сплющивать вагоны, — сказал он, зевая.

— Ну а если нет особых причин, то зачем же их делают такой странной формы?

— Случайно так получилось, — сказал брат сонно. — А может быть, для равновесия. Может, так чувствуешь себя безопасней, когда движешься по склону.

— А почему?

— Да ведь, когда человек поднимается в гору, он нагибается вперед. Чтобы центр тяжести переместить. Иначе тебя назад откинет.

— А разве фуникулер может откинуть назад?

— Ну, он не стоит на двух ногах, как человек, так что беспокоиться не приходится. Но ведь важно, чтобы можно было без страха на него смотреть.

Я вспомнила, как мы с подругой ходили к горе U и перед нами проплыл вагончик фуникулера.

— Однако форма все же странная. Чем дольше смотришь, тем больше кажется, что это бракованный трамвай.

— Ну, это потому, что ты смотришь только на сам вагон, — повернулся ко мне брат. — А посмотри издалека, кажется, он словно прилип к склону, правда? Вот и выходит, что форма у него самая подходящая.

Кажется, словно прилип к склону, сказал брат. Так что же, эта форма, странная, сплющенная, естественна для фуникулера?

— А естественное — это и значит красивое, да?

Я тут же представила себе, как электрический вагончик, похожий на сплющенную желтую коробку, ползет по длинному склону горы, освещенной закатом, — медленно выбираясь из черной тени, образуемой рощей криптомерий, и вновь возвращаясь в нее, скользит гладко и плавно, и задняя часть вагона кажется густо-красной в солнечных лучах.

Конечно же, это очень красиво, думала я.

Однако из-за сплющенной формы вагона в моей вечно затуманенной голове началась явная сумятица. Смещение земной оси и ее угла. А если поставить такой вагончик на ровную землю, как будут выглядеть сиденья внутри? Какими будут пол, стены, окна?

Все это вопрос величины угла. Здесь путаница с углами.

К сожалению, в школе самым трудным предметом для меня была как раз математика, а в математике хуже всего обстояли дела с чертежами.

— Так... Сначала предположим, что фуникулер движется по склону углом в 45°...

Я наклонила ладонь на 45° и попыталась поставить на нее ластик, который должен был изображать сиденья.

Это было вечером, я сидела у низкого столика в столовой. Брат, заинтересовавшись, что это я делаю, подошел ко мне и встал сбоку.

— И теперь, если переложить на плоскую поверхность...

Я попробовала быстро повернуть ладонь горизонтально. Как от этого изменится угол сиденья? Однако я не понимала, как надо наклонить на ладони ластик-сиденье, и стала двигать его по-всякому. Совершенно непонятно, каким должен быть угол между ластиком и рукой, когда она неподвижна.

— Ох, совсем запуталась, — сказала я. — Как же это будет?

— Вот глупая! Сначала ты сделала горизонтальный уровень в вагоне, наклоненном на 45°, а теперь надо отнять 45°, — возмущенно сказал брат. — Стоит подумать хорошенько, и все понятно!

Я думала и думала, но понять не могла.

— А почему надо отнять 45°?

— Да ведь вагон оказывается в горизонтальном положении!

— Ага... — Я все равно не понимала. — А пол тогда в каком положении?

— Вот бестолковая!

Брат поставил мою ладонь горизонтально и положил на нее ластик.

— Если сиденье находится под углом в минус 45°, то тогда и пол под тем же углом.

Брат, придя в раздражение, принес тетрадь. Сложив один листок, он нарисовал на нем вагон в разрезе и внутри изобразил сиденья и окна. Двигая тетрадкой, он демонстрировал мне возможные изменения. Хоть рисунок он набросал впопыхах, но вышло у него до удивления удачно.

Тут туман в моей голове начал наконец рассеиваться и чертеж, изображавший кабину фуникулера изнутри, превратился в целостную и связную картинку.

Однако какая странная получилась комната!

Внутри фуникулера, поставленного на ровную поверхность, и сиденья, и пол, и окна — все было по-прежнему.

Словно в комнате чудес, там было трудно выпрямиться и пройтись, как в обычном помещении. Просто волшебная шкатулка, а не комната.

— Вот я лег в горизонтальное положение, — брат плюхнулся на циновку спиной. — А если бы можно было лечь наклонно, отличная была бы у нас комната!

Тут он снова поставил тетрадь под углом 45°, и сиденья, и пол, и окна сразу приняли прежний вид. Мне это было так странно... Разве не удивительно, что здесь, в этом электрическом вагончике, находит воплощение некий основополагающий принцип?

Я вдруг посмотрела в окно. В саду шелестел вечерний ветерок.

— А интересно — ночью, когда фуникулер не работает, в каком он положении?

Брат уже ничего не ответил. Дедушка, расстелив газеты в углу, обшитом деревянными панелями, обстругивал бамбуковые прутики для птичьей клетки. Он был уже пожилой человек, крайне неразговорчивый и уравновешенный.

— Они так и стоят — один на вершине горы, а другой — у подножия.

Услышав это, я вспомнила колею фуникулера, обрывающуюся у каменных ступенек станционной платформы.

Значит, вагончик этот не отдыхает, закатившись в какой-нибудь ангар, а так и стоит накренившись. Раз это фуникулер, ему и так хорошо, а человек на его месте, должно быть, сильно бы утомился.

Удивительный вагон, подумала я.

— И почему это такие люди, как моя сестра, толком не разбираются, а берутся рассуждать о фуникулерах? — Брат повернулся к дедушке.

Может, он считал, что на этом мои глупые вопросы исчерпаны? Не тут-то было.

— А почему кабинка ползет так медленно? Разве нельзя быстрее?

— Пожалуй, нельзя. Да и обычный трамвай тоже едва тащится. Тем более — здесь склон.

Брат сказал, что фуникулеру нет необходимости двигаться быстро, ведь это прогулочный транспорт, чтоб осматривать пейзажи. Это правда, можно спокойно любоваться окрестными видами и раскинувшейся панорамой. Однако, если ты не сидишь в вагоне, а просто смотришь снизу, от

подножия горы, эта замедленность как-то раздражает. Из-за нее, этой самой непривычной замедленности, я и в школе приобрела привычку смотреть не туда, куда полагается.

На третьем этаже школы над всеми окнами нависала громада горы U. К несчастью, моя парта была рядом с самым крайним окном. Медленно тащившийся трамвайчик постоянно был в поле зрения вечно рассеянной девочки, отстававшей по всем предметам, кроме родной речи, классической литературы и истории.

Весной склон горы U, разбухший от зелени, оживляли купы цветущей сакуры.

Переведешь взгляд с доски в сторону горы, а там на седьмой станции горы, на подъеме виден застывший фуникулер. На самом-то деле он движется, но так медленно, что кажется, будто стоит на месте. Можно убедиться в том, что он все-таки поднимается, — бросишь взгляд на что-нибудь другое, потом снова на него, а он уже сдвинулся с прежнего места сантиметра на два, самое большее — на три.

Неспешно, словно таясь от людских взглядов, движется вагончик из тени криптомерий в тень сакуры, из тени сакуры в рощицу смешанных деревьев. Лес не шелохнется, словно нарисованный, а он медленно-медленно пробирается между неподвижными, просвеченными солнцем деревьями, от одного к другому. Посмотришь снова — и он уже в другом месте, и сам вроде застывшей картинки.

И это очень мешает. Я хочу сказать — такой вид из окна очень мешает школьнице, не склонной к учебе. Устремишь взгляд на доску после теней криптомерий или сакуры, а в глазах все равно гора U. И почему бы фуникулеру не ездить побыстрее?

Пожилая учительница у доски начала читать «Манъёсю». Голос у нее уверенный, приятный.

С тех времен стародавних,
Как Небо с Землей разделились
И Небесной реке[1] предназначили боги
Стать границей Извечных небес,

[1]Небесная река — Млечный Путь. В этой песне из поэтического собрания конца VIII в. подразумевается заимствованная из Китая поэтическая легенда о Пастухе и Ткачихе, ставших звездами и встречающихся раз в году, в 7-й день восьмого месяца по лунному календарю, для чего сороки выстраиваются в мост через Небесную реку.

У ее берегов мы встречаемся с милой,
Лишь исполнится срок
Лунных месяцев, сшитых, как бусы из яшмы...

Ах, ведь и в этой песне есть такая замедленность — мне хотелось глубоко вздохнуть.

Ведь он ждет встречи с возлюбленной с тех пор, как Небо отделилось от Земли, и здешнее медленное течение времени тем более было бы ему непривычно. Я рассеянно смотрела в окно и, словно в кино, видела фигуру человека на берегу Небесной реки, придерживающего развевающиеся одежды, не похожей ни на кимоно, ни на европейский костюм.

И вот он у границы Извечных... вновь и вновь нанизывая месяцы, как яшмовые бусины, стоит и ждет со времен разделения Неба и Земли... И время его ожидания — оно не то чтобы долгое, оно — замедленное. Половина дня, пока я сижу, с момента отделения Неба от Земли и до теперешней минуты, тянется медленно-медленно. Ужасно медленно, и к тому же от этого хочется спать.

Посмотришь на гору — и там все застыло в покое, словно во сне.

Возможности моей фантазии ограниченны, и я не могу представить себе берег Небесной реки, которую никогда не видела. Поэтому у ног воображаемого человека в одежде с развевающимися полами лежат не осколки звезд, а почему-то шелестит травка и все такое. За ним растет дерево сакуры, распахнувшее все цветочные бутоны, внизу — долина.

По дну долины ползет нечто вроде желтой гусеницы, медленно-медленно, вверх по подъему... Да ведь это фуникулер на горе U!

А вот опять читают «Манъёсю».

...Лишь исполнится срок...

...Ожидая, стою, и ветер осенний,
Налетев, развевает одежд моих полы.
То встаю, то сажусь, удержать их никак не умею,
И сердце, что билось в груди, замирает,
В беспорядке одежды...

Вагончик фуникулера остановился в тени сакуры.

Наверно, эти двое влюбленных все говорят о «яшмовых бусинах» и прочем и нанизывают лунные месяцы без роздыха, а потом умирают. И, может быть, время, которое длится

с начала Неба и Земли, — это то же самое время, что плывет в тени деревьев на горе U? Как ветер, что легкой зыбью пролетает по роще, после того как медленно-медленно сквозь нее пройдет фуникулер...

Голос учительницы умолк, послышался легкий стук мела по доске.

Тем временем поднимавшийся вагончик выбрался из рощи сакуры. Началась и кончилась древняя песня о любви, а он за это время прополз сантиметров пять.

Лепестки сакуры облетели, зелень на горе U приобрела густой оттенок.

Подошли летние каникулы.

Летние каникулы у девочек проходят спокойно. Большую часть дня я проводила в кухонной пристройке. Сидела в углу, обшитом досками, куда долетал влажный ветерок от колодца, шелушила кукурузные зерна по просьбе бабушки, вместе с соседской девочкой усердно вязала кружева.

Бабушка по большей части все что-то мыла у колодца, и вода, колыхавшаяся в ведре, отбрасывала дрожащие блики на потолок пристройки. В начале каждого месяца от своих колодцев к нам приходили хозяйки из соседних домов. Они приносили деньги, вложенные в сберкнижки, скрепленные шнурком. Рента за старые домишки, которые мы сдавали внаем, была единственным источником дохода нашей семьи.

Дед вечно трудился на веранде над птичьими клетками. Дом был забит этими клетками для одомашненных белоглазок. Иногда приходил кто-нибудь из клиентов. И я надеялась, что клеток станет меньше, но не тут-то было; дед тут же делал новую. Когда он отдыхал от этой работы, то брался за рисование. Все раздвижные двери и ширмы в доме были расписаны его кистью. Пожалуй, в этом он был не так уж искусен. На его картинках, изображавших сосны, бамбук, цветы, птиц, некоторые места были ужасно красивые, но были и совсем скверные.

В доме всегда было сумрачно.

Когда я вспоминаю, как выглядел наш дом в те времена, у меня возникает такое чувство, словно я заглядываю на дно колодца. Там, в глубине, над темной почвой, стоит вода, а в ней отражается цвет неба. Заглядываешь в темноту, а там у дна поблескивает и дрожит чистая влага. В ней смутно и зыбко колышутся наши с братом силуэты и тени бабушки и деда.

Деловым и занятым человеком в семье казался только брат. Весь день с утра до вечера, за исключением обеденного времени, он проводил вне дома. Бывало, уйдет утром и тут же возвращается, но лишь потому, что, например, приятель с родными уходит в море и он пришел за разрешением присоединиться к ним. Бабушка готовила ему завтрак в дорогу, и он снова улетал.

В том году он перешел в школу средней ступени, и приближался момент, когда для прилежной учебы требуется довольно много времени. Мальчик он был смышленый, и в младших классах учителя его любили. Бабушка с дедом заботились лишь о том, чтобы накормить его хорошенько, да опасались простуд, расстройства желудка и транспортных происшествий, в остальном же полагались на природу. Если он иногда присаживался за письменный стол и делал уроки, все его хвалили — вот молодец!

Старшая сестра и брат, которым все время твердили «умница», «молодец», отличались от детей из других семей беззаботностью, они не беспокоились о будущем и целые дни проводили в веселых забавах. Это придавало нашему дому еще большее сходство с водой на дне колодца, которую не поколеблет ветерок извне.

К вечеру бабушка все же начинала нервничать. Оттого, что брат еще не вернулся.

— Пойди-ка посмотри, не идет ли, — говорила она мне. Обычно ее беспокойство разгоралось с наступлением сумерек. Она боялась, как бы на брата не напал какой-нибудь бандит. — Ты не сходишь посмотреть?

Выйдешь на улицу, а там в распахнутом небе, в тусклом сумеречном свете, носятся летучие мыши — одна, две, три. Летучие мыши в вечернем небе в те времена были привычным зрелищем.

В отличие от летучих мышей, появлявшихся только вечером, несчастный случай мог произойти и днем, да и оттого, что я выйду встречать брата на верхнюю дорогу, он все равно раньше не явится. Тем не менее каждый день меня посылали ему навстречу.

Нет ничего бессмысленнее, чем эти тревоги стариков. Когда мы все были маленькими, самый большой страх у бабушки был:

— Под поезд попадет!

Брат все не идет, и она спешит на улицу:

— Вдруг под поезд попал!

Поезд. Колея. Так тогда называли железную дорогу. А

ведь, чтобы попасть под поезд, брату надо было специально отправиться туда и притом пересечь несколько улиц.

Однако в воображении бабушки эта колея была чем-то вроде мощного магнита. Играл ли брат в школьном дворе или сновал между горами арбузов и кочанов капусты на зеленном базаре, она вечно боялась, что его притянет этим магнитом и тут же подойдет поезд, таща за собой белую струю дыма.

Хоть брат сказал, что пойдет играть к товарищу, — «под поезд попадет!». Дом товарища в прямо противоположной стороне от железной дороги, но тревога бабушки никак не унимается. Она нередко начинает сердиться и причитать, и я уже всерьез думаю — а вдруг брат и впрямь погибнет под колесами.

Наш дом был под косогором, по которому проходили трамвайные пути. Небо из лиловатого становилось черно-синим, а я, стоя на углу улицы, провожала взглядом трамваи. Было ясно, что, если я вернусь домой, бабушка скоро опять попросит:

— Может, еще разок сходишь посмотришь?

Поэтому на закате я частенько сердилась на брата. В самом деле, столько хлопот! Вот он никак не идет, куда угодно можно увлечь этого человека. Сгущалась ночная темнота, и фигуры появлявшихся на косогоре людей возникали на фоне темного склона так: сначала голова, затем, шаг за шагом, они все вырастали и наконец показывались целиком. Я сразу различала бегущего вниз брата. Спустившись и завидев меня, он спрашивал:

— Эй, сестрица, чего ты приплясываешь?

И я сердилась еще больше, поскольку была занята тем, что отгоняла роившихся у ног москитов.

Идя рядышком, мы отправлялись домой, а там нас уже ждал ужин. У входа в притихший, безмолвный дом до нас долетал голос, читавший по радио сводку погоды.

Это случилось в августе того же года — кабина фуникулера на горе U сорвалась вниз. В первую неделю каникул, в воскресенье, вагончик, битком набитый пассажирами, скатился с верхней станции на горе до нижней, рассыпая искры от аварийных тормозов.

Говорили, что порвался канат. Все же колесо кабины крепко держалось на рельсах и вагон не опрокинулся. Я слышала, что все обошлось благодаря тормозам.

Я, однако, совершенно не помню, чтобы об этом

происшествии сообщалось в газетах или в новостях по радио. Никто не погиб, раненые, должно быть, были, но их число не осталось в памяти. Наверно, я по-прежнему в рассеянности сидела дома.

Зато вскоре после происшествия я услышала рассказ очевидца — соседского мальчишки. Прибежал брат, игравший неподалеку.

— Сестрица, что я тебе скажу!

Мы с бабушкой собирали помидоры за домом. Он потащил меня за собой.

— Ой, что видел Сигэ-тян!

Сигэ-тян жил по соседству и ходил в третий класс школы средней ступени. В детстве он почему-то часто доводил брата до слез, и бабушка всякий раз выскакивала из дому, размахивая метлой. Из-за этого бабушка никогда доброго слова о Сигэ не сказала. Сигэ-тян, по-моему, сам от этого рева приходил в замешательство, да и брату, в слезах возвращавшемуся домой, доставалось. Потом брат стал подрастать, перестал плакать, да и Сигэ-тян уже стал старшеклассником, обремененным множеством забот.

Мы отправились к Сигэ-тяну, ждавшему нас со смущенным выражением на лице.

— Да я, вообще-то, ничего толком и не видел, — начал он.

— Да ладно тебе, — с радостным возбуждением сказал брат. — Ты же решающий момент застал.

Однако рассказ Сигэ-тяна был разочаровывающе коротким. Он был мальчик косноязычный и несговорчивый.

— Я рисовал гору U — задали по рисованию, — сказал он.

— И сидел у окна вон той комнаты, — дополнил его рассказ брат.

Это было большое окно комнаты в восемь татами[1], выходившее на дорогу; прямо напротив, за крышами домов, возвышалась гора.

— Ну, рисовал гору... наметил контур, нарисовал крышу станции наверху и стал закрашивать желтым фуникулер внизу. — Сигэ-тян рассказывал о своем рисунке. — Потом прополоскал кисточку от желтой краски и собрался обво-

[1]Татами — плетеные циновки, которыми традиционно застилали пол в японском доме; также мера площади помещений.

дить черный контур фуникулера, посмотрел на гору, а фуникулера нет. Только что был — и пропал.

Другими словами, он все время переводил взгляд с горы на бумагу и раскрашивал желтый вагончик, размером с кончик пальца, и когда, промыв кисточку, снова взглянул на гору, то оказалось, что оригинал исчез.

— А потом?

— Посмотрел вниз, а он там.

— А как это было?

— Как? Да упал, и все.

Сигэ-тян отвечал без особой охоты. Я не могла удовлетвориться его ответами.

Как выглядел упавший фуникулер? Ведь это просто слово — «упал», а все вещи падают по-разному. Вот яблоко с дерева падает одним образом, а обезьяна — другим. Да взять тех же обезьян: одно дело — упадет взрослая обезьяна, а детеныш — совсем иначе, правда ведь?

Мне хотелось узнать, каким образом падает тяжелый фуникулер, поднявшийся почти до самой вершины горы. Хоть трос оборвался — колеса вагона были сцеплены с рельсами, и во время падения еще оставалась возможность сбросить скорость.

Он, видимо, падал не как яблоко с дерева — с глухим стуком, и хоть, может, не как обезьяна, но все же, скатываясь вниз, сопротивлялся падению. Поэтому он не врезался в нижнюю станцию и не разбился в куски.

— Быстро он падал?

— Прямо не знаю... — Сигэ-тян наклонил голову.

— Так, может, медленно?

— Да я не разглядел, — ответил он.

Сигэ-тян был честный мальчик. Может быть, чтобы сказать — быстро или медленно, ему надо было сравнить то и это. Вот в один прекрасный день с горы срывается фуникулер, и мальчик это видит, но ему трудно рассказать другим, как он падал и с какой скоростью.

— Но он падал плавно? Или рывками, дергался?

— Да я как-то не разглядел, — снова повторил он.

Если бы Сигэ-тян был более впечатлительным или склонным к преувеличениям, он раздул бы событие и по возможности расцветил бы детали, но, к сожалению, таким он не был.

— А он упал мгновенно?

— Да тоже вроде бы нет.

— Ну, вспомни.

Я заглянула в глаза Сигэ-тяну, он покраснел.

— Я стараюсь, да что толку. Сколько ни вспоминай, все равно не знаю, как это было, — ответил он пристыженно. И указал пальцем в окно на гору U: — Вон там. Вон тот, маленький упал.

На пятом ярусе горы U двигался желтый вагончик фуникулера, похожий на желтый боб.

— Вон тот, размером с пятнышко. Хлоп — и скатился. Вот и все.

Вагончик двигался так спокойно, словно ничего не произошло. После происшествия минуло, наверно, дней десять. Действительно он казался таким далеким, словно из какого-то нездешнего мира.

Выйдя от Сигэ-тяна, мы направились к себе, стараясь держаться в тени домов, чтобы укрыться от солнца.

Мы вошли с заднего хода, на бетонной площадке у колодца стояла большая лохань для стирки, наполненная водой. На поверхности воды плавали помидоры, которые мы с бабушкой собрали на огороде. Похоже, что дом был пуст. Дед отправился за бамбуком. Бабушка, верно, тоже куда-то отлучилась по соседству. Мы с братом присели на корточки возле лохани и принялись вылавливать помидоры и поедать их.

Брат черными, как у туземца, руками перемешивал воду, стараясь брать покрупнее и поровнее.

— Ага, сестрица, ты уже второй взяла. И я тогда два съем. Я ведь все считаю, — жадничал этот худой мальчишка.

Я посмотрела на его руки. Пахнущие потом, черные, какие-то просоленные. Я подумала, что от них вода может почернеть, спасибо, что он хоть не шлепал ими, как обычно. И ведь специально прибежал за мной от Сигэ-тяна.

— Такие рассказы послушаешь, прямо сердце бьется, — сказал он, объедая помидор. — Мне казалось, я прямо вижу, как он падает.

— Точно. Правда, такое чувство, словно собственными глазами видишь.

— Вот-вот. И я так думаю, — болтая руками в воде, кивнул довольный брат.

Вечером, после ужина, брат присел за письменный стол и принялся что-то старательно писать. Я подошла к нему, но он тут же загородил рукой, в которой держал карандаш, что-то мелкое, нарисованное на бумаге.

— Потом покажу.

Когда в столовой зажгли свет, он тоже пришел туда.

— Ну вот, смотри.

Он улыбнулся, протягивая мне блокнотик для записи английских слов, скрепленный золотыми колечками. Я откинула голубую целлулоидную обложку и увидела нарисованный вагончик фуникулера. Рисунок был беглым, вагончик напоминал продолговатую коробочку. В нижнем углу листка, по форме похожего на тандзаку[1], был изображен фуникулер, движущийся по горе вверх.

Я посмотрела второй листок, там было то же самое. И на третьем, и на четвертом. И так до конца. Я сразу поняла его замысел.

— Попробуй быстро перелистать.

Я прихватила кипу страничек и быстро пропустила между пальцами: нарисованный вагончик начал двигаться.

Я вспомнила, что одно время в школе эта игра была в большом ходу. Каждый на уроках тайком рисовал в углу учебника человечка или птицу. И птица, и человечек конвульсивно двигались.

Фуникулер, нарисованный братом, не был ни птицей, ни человечком, поэтому он не махал крыльями и не поднимал рук. Однако картинка двигалась. На каждом листке фуникулер был нарисован вроде в одном и том же месте, но все же двигался из-за крошечных отклонений.

Вагончик на самом деле падал. Фон изображен не был, и белизна листка словно оживляла тот мир, в котором в мгновение ока совершилось падение фуникулера. За этот отрезок времени вагончик, подрагивая, бесконечно падал.

Именно об этих конвульсиях я и хотела услышать от Сигэ-тяна, и мне казалось, что именно об этом он не сумел рассказать.

— Здорово?

— Здорово! — согласились мы одновременно.

Не быстро и не медленно, все ниже и ниже, с необычной для него скоростью... и, падая, он дрожал от чувства, что мир, куда он падает, так неподвижен и покоен.

— Падает, видишь? Очень похоже вышло, — прошептал брат.

Наступила пора летних каникул. Была как раз середина лета.

Было это утром. Жена владельца винной лавки пришла

[1]Тандзаку — бумажный листок определенного размера для вертикальной записи текстов пятистиший (танка).

и сказала, что нас вызывают для телефонного разговора. И бабушка ушла разговаривать, а вернувшись, поторопила нас с завтраком. А потом сказала, чтобы мы на весь день ушли куда-нибудь погулять. Похоже было, что в доме ожидается какой-то гость, но, судя по строгому выражению ее лица, нам с ним встречаться было нельзя.

— Играйте мирно и до вечера не возвращайтесь.

Мы переглянулись. Ходить в кино с ребятами нам было запрещено.

— Пойдем на гору?

Брат поддержал мое шальное намерение. Услышав это, бабушка завернула нам завтраки и приготовила фляжку с водой. На вершине горы была только касса и смотровая площадка.

В восемь часов утра, прихватив завтрак, мы с братом вышли на улицу.

— Все денежки, что у вас есть, можете потратить, катайтесь на фуникулере, сколько хотите, погуляйте хорошенько.

Уразумев, что рано возвращаться не стоит, мы отправились в путь.

По дороге встретили Сигэ-тяна. Увидев нас, он начал приставать:

— А куда вы идете? Можно и мне с вами?

Но я, опередив брата, сразу отрезала:

— Нельзя. У нас поручение.

После его рассказа о падении фуникулера Сигэ-тян чем-то стал мне ближе. Мы с братом двинулись по дороге, не взяв его.

— Вот смехота! Дружные брат с сестричкой! — закричал он нам в спину. — Вот смехота!

— Отлуплю как следует, — на ходу бросил брат.

До третьей станции фуникулера доезжал автобус. Но мы минут сорок шли пешком. Спешить-то было некуда. Когда мы вышли на горную дорогу, нам стали попадаться туристы, поднимающиеся вверх, — по одному, по двое. Те, кто выходил так рано, не пользовался фуникулером: они миновали станцию и дальше тоже шли пешком.

Когда мы пришли на место, оказалось, что до девяти, до отправления вагона, еще есть немного времени. Мы купили билеты и сели на дальнюю скамейку в зале ожидания.

— Сыграю-ка я на губной гармошке, — сказал брат и, достав гармонику из кармана брюк, приложил к губам. — Что сыграть?

— Что хочешь...

Я поставила на колени наш рюкзачок и рассеянно слушала гармонику. Впереди было возвышение с травянистым склоном. По склону уступом спускалось здание платформы. Оно просматривалось насквозь, и с того места, где мы сидели, я увидела стоявший внутри вагон фуникулера. Похожий на длинную сплющенную коробку, он ждал отправления, устремленный к горной вершине.

Брат начал с «Луны над Араки», потом проиграл все мелодии, которые проходил в школе, от «Покинутого отчего дома» до «Цветов». Веял горный ветерок, плыли чистые звуки гармоники.

— Хочешь сыграть? — Брат обтер гармонику о брюки и предложил мне. Я нехотя взяла и, дунув в нее пару раз, отдала обратно.

— Здорово, правда? — сказал брат. Послышался сигнал, и мы поднялись, прихватив рюкзак.

Кроме нас в зале ожидания была только небольшая компания молодых мужчин и женщин. Сразу после того, как пустили фуникулер, каждое воскресенье отбоя не было от желающих, сегодня же было малолюдно. Разгар летнего сезона был еще впереди.

Мы вышли на платформу под длинной крышей и словно погрузились на речное дно — со всех сторон нас обступали деревья.

Фуникулер принял еще две группы пассажиров и тронулся. На всю округу прозвучал гудок. Тут же с ветром приплыл сигнал с верхней станции. С платформы на вершине горы медленно трогался в путь другой вагончик. Мы с братом молча смотрели в окно на прекрасный пейзаж.

И вот наш замедленный подъем начался. По обеим сторонам пути тянулись деревья. Сакура уже отцвела, вокруг теснились криптомерии. Фуникулер проезжал через них с нечастым перестуком колес, медленно-медленно, словно давая понять, что быстрее ему нельзя.

Сидя в вагоне, я думала о том незнакомом госте, который сейчас, наверно, уже сидит у нас дома. Бабушка пришла в такое странное замешательство, что я подумала — а уж не наш ли это родной отец? Раз или два в год бабушка неожиданно выставляла нас из дома.

— Дурной человек! — говорила она мужу. — Испорченный до мозга костей.

Я не знала этого человека, испорченного до мозга костей. Но что он может от нас хотеть? И от кого — от меня или брата?

Впрочем, это было понятно и так.

Слышалось тяжкое шуршание троса и гудение рельса под вагоном. Вагон, как всегда, тащился медленно-медленно. Я обернулась — городок внизу все отдалялся.

Дурной человек — это другой мир. Сейчас мы в зоне спокойствия. Во всяком случае, в эту минуту мы едем к вершине горы. Что бы ни было, до захода солнца лучше не возвращаться домой. Я все время думала об этом.

На седьмом ярусе горы колея разветвлялась. Мы разминулись со спускающимся вниз фуникулером, и в окне начало набухать ясное небо. Вскоре приблизилась и верхняя платформа.

Мы отправились на смотровую площадку, и там брат снова заиграл на гармонике. Людей вокруг не было, ветерок шевелил далиями на громадной клумбе, разбитой на самом верху горы. Я боюсь высоты, поэтому все время опасалась, что оступлюсь и сорвусь в пустоту.

— Смотри! Смотри! — звал меня брат с вершины, поднимая руки. — Я сейчас стану птицей!

Чем ближе к обеду, тем больше вокруг собиралось туристов. Мы сели на полянке позади смотровой площадки, где никого не было, и развернули свои завтраки.

В свертках оказались рисовые колобки. Конечно, бабушка готовила их в большой спешке, но все равно они были слишком уж неровные, что говорило о ее смятении. К рису была рыба с овощами. Бабушка так торопилась, что положила овощи, оставшиеся от завтрака. Кроме того, она забыла главное — палочки.

— Как же быть? — взглянула я на брата.

— А я попробую смастерить. — Брат вынул из кармана перочинный ножик со слегка заржавленным лезвием.

Мы снова завернули еду и, оставив под деревом, отправились в рощу на заднем склоне горы. Брат по дороге присматривал подходящее дерево. Заметив деревце хурмы, он полез вверх по стволу и, обхватив одной рукой дерево, другой стал ломать ветки. Я смотрела на него снизу. Он бросил к моим ногам несколько прутиков.

Брат сел под хурмой скрестив ноги и стал ловко обстругивать ветки, совсем как наш дедушка. И вот он уже протянул мне две аккуратно очищенные палочки:

— Это тебе, сестричка!

И снова не спеша занялся делом.

— А это мне, — и он положил палочки на траву.

По длине палочки были немножко разные, цвета сырой

древесины. Мы вернулись на прежнее место и теперь уж хорошенько поели.

Палочки были шероховатые, и я боялась занозить пальцы, зато всякий раз, поднося их ко рту, я чувствовала слабый аромат дерева.

— Возьмем их домой, — предложила я. Брат с набитым ртом помотал головой:

— Да зачем, выкинем. Я же всегда могу новые сделать, — довольный собой, произнес он.

Доев, мы разлеглись на травке. Сквозь закрытые веки просвечивало ясное небо. В уши лилось пение птиц и звон цикад, но я почувствовала, что внимание мое рассеивается и я засыпаю. На некоторое время мы действительно задремали.

Мне снится прихожая нашего дома, там под горой. Я заглядываю в щель дверей и вижу оставленные у входа большие черные мужские туфли. С бьющимся сердцем я пытаюсь рассмотреть, что происходит в комнате. И просыпаюсь.

Земля подо мной твердая, поднимаясь, я чувствую, как затекла рука, которую я подкладывала под голову.

Вечер.

По земле протянулись долгие, темные тени от криптомерий, и мы с братом по каменным ступеням платформы вошли на станцию, чтобы ехать вниз. На платформе было сумеречно, под купольной крышей стоял вагончик фуникулера, готовый к отправлению. Я глянула под гору — нижний мир был далеко внизу, и от него исходило ощущение некоей опасности, хотя при этом он лежал тихо и неподвижно.

Я бросила беглый взгляд на безлюдный сплющенный вагон, и у меня вдруг отчего-то отчаянно заколотилось сердце. Вот и наша судьба как этот ненадежный вагон. Я невольно вздрогнула.

В то мгновение вагон фуникулера показался мне живым существом, исполненным печали. Преодолев дрожь, я пристально смотрела на него. На меня накатил страх, что он сейчас растворится в воздухе. Я стояла на платформе, словно пригвожденная.

По лестнице спускались туристы. Вместе с ними мы с братом вошли в вагон. Сверху и снизу прозвучал сигнал отправления. И фуникулер начал медленный спуск в нижний мир, где уже заходило солнце.

Перед городской библиотекой уходила вниз широкая улица. Выцветал асфальт, прокаленный солнцем. В деревьях по обеим сторонам звенели цикады.

Таким сохранился этот пейзаж в моих неясных воспоминаниях. Впрочем, может быть, я слишком рассеянна и ничего не могу толком вспомнить. В самом ли деле я видела все это?

Брат, которому было тогда годика четыре, с плачем бежал вниз по склону. Лицо его раскраснелось. В детстве он был довольно нервозным ребенком и часто плакал. Его маленькое тельце сотрясалось от рыданий.

Вот брат подбегает ко мне. На верху склона остановка. Он вырвался там из рук какого-то взрослого и прибежал ко мне. Кто был этот взрослый — не удержалось в моей памяти. Но я точно помню, как он с ревом бежал от остановки.

И вот я, убегая от брата, тоже несусь вниз по склону. Мне стыдно за этот рев, с которым он преследует меня. Мне хочется, чтоб он замолчал. Я думаю об этом на бегу. У меня под ногой — камешек. Я нагибаюсь и поднимаю его.

В этот момент, подняв потное лицо, я вижу брата, он разом перестает плакать, увидев камень в моей руке. Мы стоим на склоне лицом друг к другу. Плечи его еще вздрагивают, он вглядывается в сестру. Вся его маленькая фигурка выражает настороженность.

Хотя я не помню, что было до и после этого, но теперь четко, словно сквозь оптическое стекло, я вижу нас обоих в течение тех нескольких минут, что я сжимала в руке камешек. Его потемневшее лицо, большие, даже слишком большие глаза, враждебно глядящие на меня.

Повернувшись на каблуках, я бросаюсь бежать, он тоже пускается в бег. Я останавливаюсь, и тут же замирает он. Так повторяется вновь и вновь, и брат с сестрой наконец устают.

Я побежала. За мной — брат. Раздался плач. Преследуемая его ревом, я почувствовала, что у меня начинает кружиться голова. Камешек я все еще сжимала в руке. От него, казалось, исходил жар. На бегу я повернулась и бросила его.

Камень попал брату в плечо и отлетел. А-а! — раздался громкий рев. Дело было сделано. Ничего не соображая, я схватила еще несколько мелких камешков на обочине дороги. Бежала и кидала. Плач становился все громче. Я бросала и шептала: больно, больно. Больно, говорила я всякий раз, когда бросала. Словно во сне, я думала о том, что брату больно.

Однако он сам был в этом виноват.

Дело не во мне, думала я. Сестра бросает камни в брата, потому что он плохой.

— Что же было потом? — допытывалась я у бабушки,

когда мы сидели вдвоем в обшитой деревом кухне и лущили горох.

— Вы пришли домой, держась за руки, и оба ревели, — ответила она. — Вдвоем плакали у входа.

— А кто тогда увел его на остановку?

— А ты не помнишь? — спросила бабушка, не глядя на меня. — Тот человек...

А вот зачем я отправилась вслед за братом на остановку, этого я припомнить не могу.

Я чищу горох. В одном стручке сидят рядышком пять или шесть маленьких зеленоватых горошинок. Посередине — большой, а к краям идут мелкие, меньше зернышек красной фасоли. Все в ряд.

Бабушка работала молча. С тех пор как мы побывали на горе, она утратила покой, это было видно всякому.

— А вот и я! Кто-нибудь дома? — раздался в прихожей голос брата. — Я иду в бассейн, мне нужны мои плавки, — кричал он. — Плавки, обычные трусы, полотенце и очки для подводного плавания.

Бабушка сказала ему, чтобы он сам поднялся и собрал все, что ему нужно. В тот вечер, когда он вернулся домой, от него пахло прогретой солнцем водой из бассейна.

В последнее воскресенье каникул за братом пришел какой-то человек. За несколько дней до этого бабушка велела мне собрать его одежду, ему купили новый костюм и белье.

— Пусть поживет несколько дней в том доме, осмотрится, это будет для него репетицией новой жизни, — сказал дедушка.

— Не понравится, так я тут же вернусь, — сказал брат. — Хватит и одной пары белья.

Настроение у него было приподнятое. Под самый конец каникул — и вдруг дальнее путешествие.

— Главное, не забыть блокнот для рисования и фотоаппарат. — Он был вне себя от радости, но тут, взглянув на меня, сказал огорченно: — Сестрица, я попрошу его, может быть, можно будет поехать вдвоем... — и произнес прочие громкие слова в том же духе.

Когда за братом должны были приехать, бабушка взглядом сделала мне знак, чтобы я последовала за ней, и вышла из дома через заднюю дверь. Я хотела взглянуть на того человека, а потом решила, что лучше не надо, и двинулась ей вслед.

Дорожку за дверью со свистом обдувал ветер. Бабушка никуда дальше не пошла, а села на корточки, прислонив-

шись спиной к деревянному забору, и махнула мне, чтобы я села рядом. Мы сидели молча. И тут я подумала — а вдруг брат больше не вернется. Наклонив полное тело, бабушка сидела неподвижно, раздвинув колени, но вскоре, подняв большой передник, свисавший между ног, закрыла им лицо. С торчавшими седыми космами она казалась похожей на ведьму. Плечи ее вздрагивали.

Вот ведь как, подумала я.

Брат не попал под поезд, его не убил бандит, но разве сейчас его не похищают из ее рук?

На тропинку уже легли тени, а там, на дороге, еще было светло. Брат как раз переходил ее с небольшим саквояжем в руках. За ним следовал дедушка. Последним прошел высокий стройный человек, и они исчезли из виду. Человек был в белой рубашке, пиджак он нес в руке. Еще я успела разглядеть желтые кожаные туфли, блеснувшие на солнце.

И тогда мы с бабушкой встали и через ту же заднюю дверь вернулись в дом. Только мы вошли в его безмолвную тишину, как обе, и старуха, и девчонка, заплакали. Я плакала, думая, что я совсем не альтруистка.

Брат не вернулся.

Некоторое время, хотя учебный год уже начался, я все ждала — вдруг он внезапно приедет; от этих мыслей во мне крепла вера в его возвращение, и я каждый день бегом бежала домой. Бывало, в раннем детстве, когда брат гостил у родных, кто-нибудь из родственников сажал его позади себя на велосипед и привозил домой даже ночью.

Однако тогда он был маленький. Умел настоять на своем.

Осень.

Горы в окрестностях города окрасились красными кленовыми листьями, и я пошла к горе U. В воскресное утро за мной зашел Сигэ-тян, и мы отправились вдвоем.

После того как брат уехал, Сигэ-тян, как и другие мальчишки, отдалился от нас, но через какое-то время снова стал забегать. Теперь, когда брата не было, он приходил повидать меня.

— Хочешь орехов? — Он заглядывал в окно и кидал мне пару орехов. За орехами в окно просовывались руки, потом ноги, а там уж и весь он. И вот, запинаясь, предложил мне пойти вместе погулять на гору U.

И на этот раз мы не поехали на автобусе, а пошли пешком. Позднее осеннее солнце бросало тусклый свет на округу. Горная дорога вилась все выше и выше. Сигэ-тян на ходу срывал травинки на обочине дороги и жевал их, водил и хлестал сорванными стеблями по зарослям травы. Он еще никогда не гулял с девочкой.

Когда мы подошли к станции фуникулера, он сунул руку в карман и вытащил губную гармошку.

— Ты что больше любишь? — выкатив глаза, он украдкой посмотрел на меня.

Губная гармоника... — вдруг подумала я. Почему это все мальчики так любят гармонику?

И по горам, и по полям носят они ее с собой в оттопырившемся от ее тяжести кармане черных школьных брюк. И она начинает звучать, и звуки ее плывут в потоке ветра.

У меня перед глазами встала картина — как брат прикладывает гармонику к губам и водит ею то направо, то налево, над губами еще не растут усики, а лишь пробивается пушок. Тепло, едва проклюнулись острые весенние почки, веет ласковый ветерок. Этого мне уже не увидеть.

— Ты что больше любишь? — снова спросил Сигэ-тян.

— Все равно что, — ответила я. Ведь и брат играл все равно что.

Сигэ-тян начал с «Тоски странника». По горной дороге мы поднимались под звуки гармоники. Стало веселее.

Когда мы добрались до станции фуникулера, Сигэ-тян спрятал гармошку в карман. Станция была полна народу. Тогда мы ушли оттуда и двинулись к горной дороге. Там тоже точками виднелись туристы.

На склоне горы уже ощущалась глубокая осень, у дороги Сигэ-тян сорвал плод акэбии и «воронью дыньку» и вручил мне. Акэбия покатилась по моей ладони с легким треском. Ее невесомая тяжесть почему-то отдалась в моей груди. Сигэ-тян глянул мне в лицо.

— А тот дядечка вроде ничего, — сказал он.

— Какой дядечка?

— Да тот, который с ним на остановку шел.

Тот? В сверкающих желтых туфлях? — подумала я.

— Отличный дядька, и добрый. Я с ними как раз встретился по дороге, на горке. Пока мы прощались, стоял и ждал. Совсем не подгонял. Ждал молча. Я тогда подумал — отличный дядька. Наверно, любить его будет.

Сигэ-тян шел потупившись.

— Ты ведь о нем так скоро не забудешь?

Сигэ-тян отбросил ногой камешек.

— Если тебе будет одиноко, — он мельком взглянул на меня и снова потупился, — ну, вот есть я. — Под моим взглядом Сигэ-тян покраснел, у него раздулись ноздри.

Я ничего не ответила.

Мне нравится Сигэ-тян, но брат мне нравится больше, подумала я.

Мы поднялись на шестой ярус и перешли на противоположный скат горы. Сразу открылся простор. Перед нами взметнулся горный пик. Так высоко, что смотреть на него можно было, только задрав голову. Из далекой долины налетел ветер. Раздувал наши одежды, они даже стали хлопать. Неподалеку на склоне виднелся рельс фуникулера. Около него ветер тоже клонил траву. К Y-образной развилке подошли два желтых вагона — один с вершины, другой от подножия — и собрались разъезжаться как раз у нас на глазах. Оба, как всегда неспешно, со скоростью пешехода, скользили по рельсам.

Я остановилась. Сигэ-тян тоже. Вагоны двигались через эту реку трав, колеблемую осенним ветром, подобно живым существам. Они сближались медленно, потом совместились — сначала голова с головой, потом туловище с туловищем, потом хвост с хвостом, а потом голова, туловище, хвост стали высвобождаться — медленно, по частям... Мне представилось, что когда они разъезжаются после этого соединения, то протягивают бесчисленные руки, словно провожая друг друга.

Это ласковые руки, они гладят того, с кем расстаются, и я вдруг, словно на картинке, совсем рядом с собой увидела то, о чем пелось в той древней песне. И тогда это стихотворение из «Манъёсю», которое я учила в школе, вдруг естественно и просто слетело с моих губ:

С тех времен стародавних,
Как Небо с Землей разделились
И Небесной реке предназначили боги
Стать границей Извечных небес,
У ее берегов мы встречаемся с милой,
Лишь исполнится срок
Лунных месяцев, сшитых, как бусы из яшмы...

Вот это я, подумалось мне на ветру. Тот вагон, что поднимается снизу, это я... А тот, что спускается, — брат.

...Вагончики, подрагивая, двигались. В этой реке ветра у меня перехватило дыхание. Я присмотрелась и увидела, что они встречаются и расстаются долго, просто удивительно долго. Позади меня Сигэ-тян явно изнывал от скуки — он шумно вздыхал, швырял камешки. Я не оборачивалась.

Тук-тук-тук... — спускается вагончик брата.

Тук-тук-тук... — поднимается мой. Заросший зеленью склон был светел, словно уже ничто не заслоняло взор.

ЦУНЭКО НАКАДЗАТО

БЕГЛЯНКА

Вместе с вечерней почтой в почтовый ящик кладут множество объявлений и рекламок, и весят они зачастую не меньше, чем сами газеты. Получив две выписываемые мною газеты, я, как обычно, вытряхиваю из них листовки. По белому фону разбросаны крупные иероглифы. Ну как, о чем там пишут?

Разыскивается собака. Карликовый хин, кобель, длинношерстный, черно-белого окраса, с колокольчиком на шее. Нашедшего ждет вознаграждение. Номер телефона... Мацуяма.

Японский хин в последнее время редкость. Читая, я представила себе собачку.

«Морда как у чихающего хина», — говорят с давних пор. И это сравнение наилучшим образом определяет его внешность. К сожалению, в последние годы хины встречаются все реже и реже.

Да, собачка из тех, что заставляют удивленно взглянуть прежде всего на хозяина, ведущего ее на поводке. Иное дело — афганская борзая с ее изысканным экстерьером: она-то не проигрывает рядом со своим владельцем, а выглядит подчас импозантней его.

Когда умер мой любимец эрдель, я страшно переживала. Великолепное животное, красивое и покладистое — чудесный нрав, хорошая родословная, прекрасный экстерьер, лишний раз не залает. Верный и надежный сторож.

И вот, когда я ходила сама не своя от тяжелой утраты, мой знакомый собачник посоветовал мне завести бульдога или японского хина. По сравнению с эрдельтерьером и

бульдог и хин внешне проигрывают, внушал он мне, но как сторож и тот и другой безупречны: спокойные и надежные. Вдобавок они только подчеркивают достоинства хозяйки...

Однако лучше эрделя не найти. Убежденная в том, я решила хранить верность своему псу и больше собак не заведу.

Чау-чау и хин — знаменитые китайские породы. Ласковая, благовоспитанная собачка словно создана служить аристократкам. Не уличная собака, а баловень гостиных. Чау-чау тоже преданы хозяину, говорят, что и на мясо годятся. В отличие от хина бульдог весьма грозен на вид и вызывает страх. Но на самом деле он очень послушен, и лучше сторожа не сыщешь. Так пояснил знакомый.

«Чихающий хин» — весьма милое прозвище, но нам хин не по карману. А вот с гравюр укиёэ[1] эпохи Эдо[2] на нас смотрят изысканные красотки гейши, прижимающие к щеке очаровательных собачек.

Однако, видно, богатые люди не перевелись, и хозяин пропавшего хина, без сомнения, с ног сбился, разыскивая его. Но собачка миниатюрна, словно детская игрушка, и ее можно спрятать буквально в ладонях. Как домосед, вышедший на улицу, теряется в сутолоке, так и японский хин, по неизвестной причине улизнувший из дому, наверное, метался в растерянности по улицам — и был пойман. Хотя умом хин не блещет, за это его еще больше любят.

С того дня, заинтересовавшись судьбой пропавшего хина, я стала внимательно проглядывать объявления, но никаких сведений не обнаружила.

Потеря любимца — пусть даже не такого ценного, как японский хин, — огромное горе для хозяина. И когда появляются объявления о розыске четвероногого друга, это не только из-за породистости или потраченных денег. Самый веский мотив — привязанность к животному и естественное беспокойство за судьбу сбежавшего любимца, страх за его жизнь: а не погубит ли его непривычная свобода?

Пусть даже не самое комфортабельное, но было же у него пристанище, где он мог жить в сытости и тепле, не утруждая себя. Теперь его нет, он пропал без вести, и хозяина обу-

[1]Укиёэ — жанр гравюры на дереве. Часто встречающиеся персонажи укиёэ — актеры, борцы, куртизанки.

[2]Период Эдо (1603—1868 гг.) — время господства сёгунов Токугава, когда Эдо (старое название Токио) был фактической столицей Японии.

ревают тревожные мысли: как он там, блудный сын или дочь, в этом безжалостном мире? Человеческое сострадание не разделяет живых существ на высших и низших.

Когда собака или кошка по недосмотру хозяина убегают в жестокий мир, то делают они это вовсе не из отвращения к человеку. Отринув по зову природы теплую подстилку, животные зачастую так и остаются жить на воле. Когда же исхудавший, кожа да кости, пес все же приползает восвояси, то хозяин его, придя в восторг, взахлеб рассказывает всем, какие привязчивые эти собаки, какие они благодарные: стоит им прожить три дня у владельца — и уже привыкли к нему. Подобного рода истории трогают меня до слез: вряд ли человек способен на такое...

Объявления о пропаже собаки или кошки, появляющиеся в вечерних газетах, свидетельствуют о привязанности хозяев к животным. Но ведь случается, что и люди иногда пропадают...

Если человек не умер, а просто исчез, то про такого, пожалуй, можно сказать «испарился». Да, испарился, улетучился! Звучит вполне научно. Я в общих чертах представляю, как это происходит. Заметьте, обезвоживание смертельно опасно для человеческого тела. Вот и «испарение» мужа, жены, ребенка тоже своего рода «обезвоживание».

К слову, об испарении... Как-то я оставила на плите чайник, а сама увлеклась книгой.

Прочитав главу, я вдруг ощутила неприятный запах и побежала на кухню: там в клубах дыма стоял на плите почерневший от огня чайник. Когда я ставила его, он сверкал начищенными до блеска боками. Вода вся испарилась до капли, но белое покрытие внутри было целехонько. Снаружи же чайник весь почернел, словно кто-то выкрасил его черной краской.

Я осторожно потерла его — никакого результата. Чем заниматься не своим делом и все испортить, лучше позвонить жестянщику, решила я.

— Не заглянете ли? До вашего прихода не стану ничего трогать.

Мастер пришел через три дня.

При виде почерневшего чайника он осуждающе заметил:

— Еще немного — и пожар. Разве так можно?!

Я виновато потупилась.

— Нельзя ли что-нибудь с этим сделать? — Мне было нестерпимо жаль моего когда-то сверкавшего медью чайника.

— Скажите спасибо, что совсем не сгорел. А все потому,

что стенки толстые... Посмотрите, до чего он черный, разве ототрешь?! Поверх меди было какое-то особое покрытие, оно-то и сгорело. Вещь заграничная, сами понимаете...

— Формой мне понравился, когда покупала, без выкрутасов, вот и прельстилась. Да, посудина импортная — из Дании, кажется, или из Швеции...

— И не говорите, солидно сделано, у другого чайника на дне давно бы дыра прогорела. А тут эмаль изнутри белая, без единой трещины.

— Так сможете привести его в божеский вид?

Внимательно осмотрев чайник, мастер неожиданно посоветовал:

— А вы пользуйтесь им как есть: посмотрите на него —и вспомните, что надо быть поосторожней!

Я вняла его совету и с тех пор пользуюсь обгоревшим чайником. Вот как «испаряются» вещи!

Точно так же невозможно вернуть и «испарившегося» человека.

Коль скоро человек дошел до «почернения», то, как ни оттирай, ничего не выйдет, только поранишь. И хотя происходит это чаще всего неожиданно, бывает все же какой-то последний толчок к его исчезновению. Очевидно, то же самое можно сказать и о собаке, о кошке — была же какая-то причина, повод для их побега. Не инстинкт, не отказ от прежнего образа жизни, от сковывающих условий, не помрачение рассудка — хотя и не осознанное стремление вернуть себе утраченные в далекие времена земные просторы, но все же рождается, видно, какой-то импульс, что выталкивает животное на волю, к природе.

В давние времена был издан Указ о милосердии к живым существам[1]. Принес ли он им тогда счастье или накликал беду, дал ли им волю или, наоборот, лишил ее — остается лишь гадать. Пожалуй, милосердный указ лишь сыграл с животными дурную шутку: жалость, чрезмерная опека сделали их слабыми, безвольными существами.

Каждый раз, когда я беру в руки обгоревший чайник, меня пробирает дрожь: вот оно, настоящее «испарение»!

И никакими усилиями не вернуть ему былого блеска.

[1]Имеется в виду указ о строгом наказании людей, плохо обращающихся с животными, который был издан в 1687 году сёгуном Токугавой Цунаёси, прозванным в японской истории «собачьим сёгуном». За убийство собаки полагалась смертная казнь, что вызвало большое недовольство среди населения.

Вспоминается давний случай.

Для поправки здоровья я поехала в деревню и сняла у местных крестьян комнатку во флигеле. В самом доме жила большая семья: дед с бабкой, разведенная старшая дочь и ее сестры с мужьями и, наконец, самые младшие — внук и внучка. Все они трогательно опекали меня, и я с удовольствием прожила у них целый год.

Дом был всегда полон жизни. С раннего утра сюда тянулись местные жители. Дело в том, что дед славился умением улаживать споры, и к нему постоянно шли за советом. Я частенько грелась на солнышке в кресле, стоявшем на галерее, соединявшей флигель с домом. И поэтому невольно запоминала в лицо тех, кто проходил мимо меня, направляясь на веранду к старику. Бесед с ними я, конечно, не вела, так только, короткий обмен приветствиями. Крестьяне привыкли разговаривать громко, и, даже пожелай они утаить от меня свои нелады и неприятности, все равно все слышно. Я выслушивала целые истории, а делать мне особенно было нечего, так что я с удовольствием вникала в события, происходившие в деревне...

— Вот невестка как ушла за покупками, так и не вернулась. Сын собирается съездить к родителям, но шума поднимать не хочется, перед людьми стыдно.

— Когда ушла-то?

— Три дня уж...

— Целых три дня?! Дело нешуточное; может, в участок сообщить?..

— Стоит ли?..

— Если к своим уехала, то известили бы уже, а тут — три дня... Плохо дело.

— Наши часто видели, как она ходила в горы за хвоей. Женщина работящая. Может, несчастный случай...

Потом они перешли на шепот, и я ушла к себе в комнату.

Через два-три дня после этого разговора ко мне на кухню зашла бабушка — она учила меня засаливать овощи.

— Гляди — вода поднялась, значит, один груз надо снять. Через неделю можно уже есть.

Я предложила старухе чай, поставила на стол сладости, присланные из города.

— Говорят, у кого-то недавно невестка пропала. Как она? Не вернулась?

Бабка махнула рукой: проведала, значит!

— И что, молодая она?

— Какое там — молодая, за пятьдесят перевалило, свекровь еще жива, вот и зовут невесткой. Дочки замужем, живут отдельно.

— Ищут?

— Еще как! Всей общиной, мужики — те даже в горы пошли.

— В горы?

— Глухомань там такая, миленькая, что ежели не местный, то непременно заплутаешься. Горы аж до Миуры тянутся. Заблудишься, так, почитай, в лесу навсегда и останешься. Кругом ущелья и горы — от Ёкосуки, Ураги, Канадзавы до самой Иокогамы.

— А если в ущелье сорвалась и пошевелиться не может? Замерзнет ведь!

— Там сухих листьев полно, зароется в них и согреется, а вот без пищи долго не протянет. Искать надо побыстрее.

Прожив в деревне год с небольшим, я построила себе дом и перебралась туда. Старуха и после этого не забывала меня. Как-то принесла она три пары соломенных дзори[1] с ремешками из переплетенной ткани и говорит:

— Это вам, чтобы по лугам и полям гулять.

Мне же очень хотелось узнать, чем кончилось дело с пропавшей женщиной. Но поскольку бабка болтала о чем угодно, только не об этом, то и я не стала ее расспрашивать.

Однажды, когда она принесла мне связку лука, присовокупив, что больше его в этом году не будет, весь запас вышел, я не выдержала:

— А как та женщина, что в горы ушла? Нашлась?

— Та женщина? С ней камикакуси[2] случилось, боги припрятали. Такое и раньше случалось. Если год прошел, а человек так и не вернулся, значит, к богам ушел. Тогда по нему панихиду справляют.

— Неужто такое бывает? В наши-то времена?

— А что? Статочное ли дело: человек ушел, никого не предупредив, и не возвращается? Пропал, и все, никакого следа не оставил.

Сказать, что человек умер, нельзя, но телесная-то его

[1]Дзори — плетеные сандалии из соломы или бамбука.

[2]Камикакуси (*букв.* «укрытый божествами») — внезапное исчезновение. В старину существовало поверье, что люди, пропавшие без вести, либо нашли убежище у богов, либо похищены оборотнями, чудовищами. Таких людей, особенно детей и беременных женщин, разыскивали в горах всей деревней с колокольчиками и барабанами.

оболочка исчезла. Тогда, согласно местному обычаю, объявляют, что пропавший «нашел убежище у богов», и ставят на этом точку.

Таким образом, списывая все на судьбу, люди избавляются от неприятной необходимости нести бремя печали. Не оттого ли, что в жизни горестей и несчастий неизмеримо больше, чем радостей?

Ну а если человек, припрятанный богами, вдруг объявляется где-то совсем в другом месте, как тогда? Непонятно! Или вот еще: человек ушел из семьи, а на новом месте у него не все ладится, и он возвращается, чтобы снова жить вместе... Неужели и тогда его принимают как ни в чем не бывало?

В словах «ушел из дому» есть некий подтекст, а вот «испарение» значит испарился, и все тут, исчез — и ничего от человека не осталось. Есть здесь нечто общее с камикакуси.

О собаке или кошке говорят просто — «пропала». Они то пропадают, то находятся. Им-то дозволены подобные капризы: не имея определенного местожительства, они не платят налогов, им неведомо чувство ответственности. Зато это чувство в избытке у их владельцев, коль скоро они дают объявления о розыске своих питомцев, не забывая указать возраст, окрас, пол. Однако что-то мне не встречалось сообщений о том, что такая-то собака или такая-то кошка нашлась.

Коль скоро речь зашла о вещах и предметах, то я скажу так: не отличаясь организованностью и аккуратностью, признаюсь, что я предоставляю их самим себе. Лучше всего не трогать их, не наводить порядок. Пусть себе валяются — они не исчезнут, не «испарятся», с ними не произойдет камикакуси. Правда, не сразу найдешь необходимое, вещи накапливаются, громоздятся друг на друга, и нужны определенные усилия, чтобы разыскать требуемый предмет. Но меня такие хлопоты не пугают. Более того, беспорядок кажется мне неким идеальным состоянием.

Возвращаясь несколько назад, к вопросу о пропавших четвероногих любимцах, позволю себе предположить, что где-то далеко существует затерянный таинственный мир, где поселились те, кто исчез или «испарился»...

Вот что мне довелось однажды услышать во время моих странствий.

...Существует такое селение — не то чтобы долгожителей, а просто деревня, где никто никогда, собственно, не

умирает. Никто не приходил оттуда, и никто не приходит туда. С давних пор говорили о т о м селении с почтением и страхом. Никто не знал, как там живут люди, о чем говорят и спорят, из-за чего ссорятся, чему радуются. А раз не знали, то не только почитали, но и завидовали его обитателям, не сомневаясь, что именно там «земля обетованная»!

Попасть туда не дает глубокая река, через которую не было и нет моста. Но даже если переплыть ее, встретит тебя неприступный крутой берег, поросший высоченными деревьями.

А еще неизвестно, куда деваются тамошние покойники; но это, может быть, потому, что их, видно, там и хоронят. Но как такое возможно в наше время, когда регулярно проводится перепись населения и на каждого человека заведена регистрационная карточка? Словом, если следовать здравому смыслу, то никакого объяснения этому не найти.

Остается предположить, что обитатели таинственной деревни живут чрезвычайно сплоченно. Пожалуй, эти мудрецы связаны некими нерушимыми узами, чувством ответственности и уверенности в себе. Они решают все проблемы сами, не перекладывая их на других, не доставляя никому хлопот, и все это позволяет им выжить на изолированном от мира островке.

Но, как бы строго ни соблюдался клятвенный союз, приходит время, когда кто-то начинает сомневаться в его справедливости и пытается сбежать. А стоит лишь человеку допустить мысль о том, что есть иной мир, лучше того, в котором он живет, как достаточно малейшего толчка, чтобы жизнь начала рушиться.

Когда человека начинают одолевать желания — уйти прочь, работать свободно, любить вечно, когда, живя там, где все существование зиждется на добровольном самоотречении, он вдруг видит возможность изменить свою жизнь, тогда у него возникает неистребимое желание поскорее избавиться от уз того мирка, в котором он заперт. Некий человек не раз пытался бежать из той деревни, но безуспешно, в конце концов он покончил с собой. Он хотел покинуть этот идеальный мир по зову инстинкта. После долгих споров ему позволили это, но только мертвым. Клятвопреступника скромно проводили к месту последнего упокоения за пределы того селения.

Вот что рассказал мне очевидец, который в тот день шел по берегу реки и видел, как несколько человек перешли

узенький мост, уселись в автобус, поджидавший их у противоположного берега, и поспешно уехали.

Он смотрел вслед удаляющемуся автобусу, и вдруг ему страстно захотелось туда же, на другой берег. «Раз те прошли, — подумал он, — значит, и я могу». И пошел к тому мосту.

Но моста на месте не оказалось. Его попросту никогда не было.

Как же так? Ведь только что по нему к автобусной остановке прошли люди... Тем не менее моста не было. Река стремительно несла свои воды. Солнце клонилось к западу.

«Странно. Может быть, мост дальше?» — подумал путник и зашагал вдоль реки.

Моста не было видно. Только шумел поток. Он шел и шел, пока не свернул на какую-то дорогу и не очутился на прежнем месте. Он никак не мог поверить своим глазам...

На другой день он снова отправился на берег реки. Заглянув в придорожную закусочную, спросил:

— А где тут мост через реку?

— Мост? Никакого моста нет.

— А я вчера видел его.

— Не может быть, здесь никогда не было моста.

— А автобусная остановка — где она?

— Остановка? В наших краях автобусы не ходят.

— Вот чудеса...

— Раньше, говорят, ходили. Но потом выстроили поселок и проложили дорогу, автобусы пустили в обход... Это было еще до войны. Когда я сюда переехал, автобусы уже ходили по новому маршруту.

— Вот как? И моста не было?

— Моста? Нет, на ту сторону ходить незачем. В наших местах впервые? По ту сторону реки — лес, а за ним — дюны, до самого моря. Там что-то строят, и поселок снесли. А вот к дюнам дорога есть, только подальше. Там вот можно проехать.

Да, но путник видел мост. Видел он и остановку. Видел, как отходил автобус... Услышав ответ, он побледнел как мел. Видение испарилось.

Да, вот как бывает в жизни...

Я с интересом выслушала эту историю.

Если так все и было, то это действительно загадочный случай. Наш путник — обычный человек. Отчаявшись обрести землю обетованную, он все же продолжал верить в ее

существование — и искать. Но вдруг дорога оборвалась!.. Крах всех надежд...

— Ведь вам просто могло показаться.

— Вовсе нет, я видел это своими глазами, это вовсе не фантазии!

— Да вы не волнуйтесь! И со мной такое случалось. Кажется, вот оно: рукой подать, — и вдруг исчезло. Точно околдовали. Но я-то знаю, что это было, что мне вовсе не показалось...

— Знаете, я просто убежден, что видел нечто удивительное, доброе. То, что однажды исчезает, испаряется в воздухе, ибо если возможно долголетие, то и ему есть предел...

Рассказчик продолжал твердить, что видел мост и сложен он был из тонких бревнышек.

И тогда я рассказала ему следующую историю.

Если ты держишь у себя живое существо, необходимо быть готовым к тому, что когда-нибудь оно умрет. Несмотря на это, я держу у себя самых разных животных... Вот сейчас я развожу бентамок[1].

— Бентамок? На мясо, что ли?

— Ну что вы! Исключительно для удовольствия — уж очень они красивы да и плодятся хорошо.

Однажды, проходя мимо лавки торговца птицами, моего старого знакомого, я была буквально сражена, узнав, что цена белоснежной, без единой отметинки бентамки — сто пятьдесят тысяч иен. Баснословные деньги. Увидев рядом с ней другую, еще более красивую курицу, с красочным оперением, я решила, что уж она-то стоит еще дороже, и лишь из чистого любопытства осведомилась о цене.

— Эта-то? Три пятьсот за пару, — последовал ответ.

Я снова поразилась, на этот раз дешевизне, и тут же купила птицу.

В наши дни за какую-то ерунду выкладываешь куда больше, а тут все же живое существо, да еще самочка с самцом... Кстати, скоро начнет нести яйца. Хозяин лавки оказался прав — через четыре-пять дней бентамка отложила несколько яиц. А спустя некоторое время, когда я и думать за-

[1]Бентамка японская — порода кур, завезена в Японию из Вьетнама в XVII веке. Особенность ее составляют короткие лапки и большие крылья. Бентамка способна летать. В настоящее время разводится в декоративных целях.

была про это, из яиц стали вылупляться цыплята, и у меня оказалось сразу девять бентамок. Петушки, как на подбор, выросли красавцы, с красочными хвостами, но, поскольку их было слишком много по сравнению с курочками, скрепя сердце я отдала пару знакомому птицеводу, у которого двор был попросторнее. После чего осталось семь старых и молодых: два петуха и пять курочек.

Птичник у меня длиною в два кэна[1] с лишним, расположен на южной, солнечной стороне дома, там, где раньше обитал мой эрдель. Пол зацементирован, с покатом — чтобы вся грязь через сток в центре уходила прямо в канализацию. Часть птичника с насестом находилась под оранжереей и была сверху укрыта от дождя и ветра. Казалось, лучшего места для кур не придумаешь — просторно, гигиенично, настоящий птичий рай.

Время от времени в птичнике надо было менять песок. В начале октября, когда цыплята немного подросли, работник пошел туда, чтобы проделать эту неприятную процедуру. И тут из приоткрытой двери выпорхнула пара бентамок и взметнулась в небо. Они долго кружили над рекой, над верхушками деревьев, над улицами, никак не желая возвращаться. Лишь к вечеру, когда начало темнеть, я обнаружила одну из них, сжавшуюся от страха в комочек под деревом, и поймала с помощью большого сачка. Другую бентамку я так и не нашла: видно, и у птиц существует некий инстинкт, побуждающий их «испаряться».

На следующий день я обыскала буквально всю округу. Давать объявление в газету я не собиралась — скорей всего, птица стала добычей кошки. Но все-таки поставила себе срок: поищу неделю, а там будь что будет...

Я рассказала о своем несчастье торговцу птицами, и тот стал уверять меня, что улетевшие птицы не возвращаются. «Даже я, — сказал он, — не сумею поймать птицу, вырвавшуюся за сетку. Нет, они никогда не возвращаются».

И золотые фазаны, и попугаи, и бентамки улетают, оказывается, в горы, узнала я. И тем не менее дохлых птиц никто в горах не видел.

«Мы не ищем их, — пояснил торговец. — Считается, что это нечто вроде камикакуси. Ну как бы мы сами отпустили их на волю. Вроде бы и причин улетать нет, и закрыто все плотно, и все-таки как-то ухитряются ускользнуть!»

[1]Кэн — мера длины, равная 1,81 м.

Услышав из уст торговца птицами слово «камикакуси», я заглянула в этнографический словарь. И вот что я выяснила. Ну вот, например, пропадает вдруг ребенок, его ищут повсюду и редко когда находят. Почти никогда. Кто его «спрятал»? В разных местностях подразумеваются разные персонажи: например, тэнгу — длинноносый леший, всякие там черти, бабки, местные божества и прочие укрыватели беглецов. Вообще в преданиях и поверьях камикакуси — главный способ сношения с миром духов. Но очень редко ушедший туда, особенно если это не ребенок, возвращается назад, говорят в народе.

Тот случай с исчезнувшим мостом через реку — типичный пример общения с потусторонним миром.

Правда, моя улетевшая бентамка вряд ли сбежала к духам...

Скорей всего, двухмесячную птаху попросту сожрали кошка или собака. Только бы она выжила... Я продолжала беспокоиться о судьбе беглянки, изо дня в день всматриваясь в небо и провожая глазами каждую птицу. А все-таки что, если моя любимица улетела от меня, чтобы встретиться с духами? Ведь и у бентамки, наверное, есть душа...

Но почему же ей не жилось у меня?

Стоял необычайно теплый день декабря. Я поливала растения в своей маленькой оранжерее. Потом уселась в кресло и бездумно глядела перед собой. И тут мое внимание привлек какой-то белый комочек на ступеньках, ведущих к оранжерее.

Что бы это могло быть? Вгляделась — и ахнула: бентамка! Моя пропавшая бентамка!

«Вернулась с того света», — подумала я и тут же позвонила торговцу птицами.

Бентамка бегала возле птичника. Ну конечно, это она!

— Быть не может! — удивился подошедший к телефону сын продавца птиц. — Прошло больше двух месяцев!

— Это она. Будьте любезны, помогите мне отловить ее, — попросила я.

Затем тихонько вышла во двор и стала разбрасывать корм, чтобы подманить беглянку. Но та тут же вспорхнула с места. Черт возьми! Я села на каменные ступеньки и замерла. Откуда-то из уголка двора донесся шорох...

Через некоторое время приехал сын торговца птицами со специальной сеткой. Белая птица снова поднялась в воздух. Парень затаился, но, стоило ей усесться, стал подкрадывать-

ся. Однако, когда он приблизился к птице, та вспорхнула на крышу, а затем взмыла над рекой.

— Нет, не получится. Более двух месяцев была на воле, совсем одичала. За это время и крылья окрепли. А выжила потому, что где-то у нее есть насест.

— Нет, она вернулась из другого мира, — возразила я.

— Да, вообще странно, птицы, как правило, не возвращаются...

— Бывает, случаются удивительные вещи.

Бентамка снова села на землю. Но поймать ее никак не удавалось... Всем своим видом давая понять, что больше не может тратить время впустую, сын торговца птицами посоветовал мне:

— Раз уж она однажды вернулась, то, может быть, опять прилетит. На всякий случай насыпьте ей корма.

— Уже насыпала. А вам спасибо, до свидания!

Я была счастлива: птица, которая, возможно, побывала в ином мире, не забыла моего дома! Я подумала: если не поймаю ее сейчас, то больше она никогда не вернется.

Смеркалось. Подул холодный ветер. Тем не менее я открыла стеклянные двери оранжереи и рассыпала кукурузу — по двору, по каменным ступенькам и, естественно, в оранжерее и ведущей к ней открытой галерее перед домом. Усевшись на стул, я принялась караулить.

И вот она появилась снова! Как только птица заглянула в оранжерею, я бросилась к дверям. Но, увы, беглянка и тут успела выпорхнуть на волю.

Какая жалость! Не надо было спешить... Я снова разбросала корм, на этот раз даже возле кабинета, наполнила миску водой и снова затаилась. Спустя некоторое время бентамка появилась опять. Покружила по веранде и направилась к моему кабинету, во флигель. Я стремглав бросилась к стеклянной двери и захлопнула ее. Бентамка оказалась взаперти. Снова я позвонила торговцу птицами:

— Я все-таки поймала ее! Заперла в оранжерее! Приезжайте!

Продавец птиц примчался на мотоцикле, все еще не веря мне, прошел на веранду и без особого труда поймал беглянку сеткой. После чего водворил ее в птичник.

— Вот видите, и птицы возвращаются!

— Такого еще не бывало. Вам повезло, она запомнила ваш дом.

Неужели бентамка побывала в ином мире и говорила с духами обо мне?! Сердце мое переполнилось радостью:

птица запомнила мой дом! Возможно, нас связывали незримые узы?!

Вернувшаяся бентамка держалась независимо, в стороне от своих сородичей. Пребывала в гордом одиночестве. Остальные бентамки с почтением косились на нее.

Но с каждым днем дистанция между ними все сокращалась, и дней через семь они уже являли собой дружную стайку. Все это произошло на моих глазах девятого декабря.

А ведь речь-то всего-навсего о какой-то бентамке!

Небесные выси и таинственный мир наложили на птицу неизгладимый отпечаток. Нет! Не напрасно кружила она над зелеными просторами. Невозмутимая, гордая, словно светящаяся внутренним светом, разгуливала она по двору среди остальных кур...

ЯЭКО НОГАМИ

ЛИСЫ

К мысли разводить лис Синъити Хагиока пришел совершенно случайно.

Подхваченная зимой простуда обострила мучивший его еще со студенческих времен туберкулез легких, и он уволился из банка Мицубиси, чтобы пару лет как следует полечиться, а как только наступил май, перебрался с женой Ёсико в горы, в местечко Кита-Каруидзава, на крохотную дачку своего друга Сасаки. Когда-то он вместе с Сасаки собирался поступать в университет на отделение английской филологии, но домашние обстоятельства вынудили его заняться экономикой; и вот время от времени, вместо того чтобы ходить на лекции, он клал в рюкзак две-три книжки и отправлялся в горы побродить. Поздней весной в горах было так красиво, тихо, отрадно; а когда сидишь взаперти за железной сеткой банка, такие прогулки вспоминаются с особенной нежностью.

Перед отъездом из Токио между мужем и женой произошел такой разговор.

— Хочу какое-то время там пожить, как в санатории. А ты можешь не ехать, если не хочешь.

— Я поеду.

— Ты, наверное, думаешь, это Каруидзава, курорт, а это наверху, в горах, там не так. Когда кончаются летние отпуска, там ни души. А уж когда холода наступают, примерно с ноября, так просто снежное царство. Полная оторванность от мира. Вытерпишь?

— Вытерплю, не вытерплю, все равно ведь придется. — У Ёсико чуть дрогнули губы, в черных глазах показались

слезинки. Некоторое время они поблескивали на ресницах, как капельки росы, стекающие на кончик листа, а потом скатились по ее точеному прямому носику и упали.

Хагиока ничего не ответил, чиркнул спичкой, закурил. Переселение не просто означало для него возможность подлечиться, в нем крылась некая тайная романтическая радость — поэтому он и с женой заговорил с некоторой торжественностью. А тут получился скучный житейский разговор со слезами. Мачеха, внешне неизменно приветливая, а на самом деле вздорная, и чем дальше, тем хуже — с той поры, как несколько лет назад овдовела... Сводная сестра, ее единственная дочь, хроменькая, задержавшаяся в девушках, нетерпимая... Жена, к которой обе относятся с холодным равнодушием... С тех пор как Хагиока вопреки сопротивлению окружающих женился на Ёсико, горничной из дома своего друга, он жил вдвоем с женой хотя и на том же участке, но отдельно, в выходившем на заднюю улочку флигеле с европейской обстановкой, который прежде обычно сдавали разным иностранцам из посольств, а мачеха с сестрой блюли старинные обычаи, обосновавшись в доме, выстроенном в японском стиле, — не сказать чтобы роскошном, но просторном: строил его отец, пригласив хороших мастеров. Если они переедут в горы, все это останется далеко-далеко. Конечно, Кита-Каруидзава — место глухое, жить там неудобно, но Ёсико, пожалуй, стерпит: все лучше, чем теперешний семейный раздор. Хорошо бы мачехе подыскать для сестрицы подходящего жениха. Взяли бы его в наследники, и тогда бы уже не Хагиока отвечал за дом, а этот зять. Из банка он все равно ушел, зачем ему теперь мучиться в суетном Токио. Мачеха при любом удобном случае припоминала ему отца, человека деятельного, поначалу служившего, потом занявшегося предпринимательством; пасынка она упрекала за безволие и неповоротливость. А все из-за неудачного брака. Вот найдется зять, ему-то уж она не позволит делать такие глупости: заболеть, бросить прекрасное место у Мицубиси. Главное, подумать только: что о нас говорят! Стыдно людям в глаза смотреть.

Все это бедняжке Ёсико приходилось выслушивать, когда она по заведенному обычаю ежедневно заглядывала к свекрови из своего так называемого «заднего дома». Они с Ёсико и свадьбы приличной не смогли бы устроить, если бы не помог дядюшка Каба, адмирал, младший брат покойного отца. По тем же причинам Хагиока отказался жить на комфортабельной вилле в местечке Хаяма, доставшейся ему по

наследству, и решил снять дом у друга, не такой удобный и расположенный в более отдаленных местах. Другое дело Ёсико; правда, после того, как во время землетрясения в Мотохаси погибли ее родители, она росла у тетки в Усигомэ почти что в нищете, и когда однажды ей довелось поехать на экскурсию с одноклассницами, то оказалось, что она впервые в жизни едет на поезде, так что Хагиока был для нее спасением, без него она и жить не захотела бы, но все-таки кто знает, может быть, вдали от Токио ей будет скучно.

Во всяком случае, мотивы переезда были именно таковы. А то, что Хагиока, вроде бы ехавший лечиться, надумал заняться разведением лис, произошло, как уже сказано, совершенно случайно. Началось все с того, что ему захотелось показать жене звероферму за железнодорожной станцией, куда он заглядывал всякий раз, приезжая в горы.

— Вот, решили стать вашими соседями, я и жена. Считается, что я приехал на лечение, но это только предлог, чтобы удрать из Токио. Думаю заняться сельским хозяйством, картошку, что ли, посажу. Как говорится в старых книгах: в ясную погоду пахать, в дождливую читать, — сказал Хагиока хозяину фермы Хирасэ.

— Тогда уж лучше разводите лис, — посоветовал тот. — Думаете, получится это у вас: в ясную погоду пахать, в дождливую читать? — сказал он. — Сельская жизнь не такая легкая. К тому же у нас тут холодно, сеять можно не раньше середины мая, а к концу сентября уже заморозки, все лето не разгибаешься, а урожай всего ничего. Лисы гораздо лучше. На первое время заведете одну-две пары, много не надо, дохода это вам особого не принесет, зато какое удовольствие. Ведь живые существа. Придется вставать на рассвете, ухаживать за ними регулярно — глядишь, заодно и поправитесь.

— Спасибо, да я ведь не справлюсь. Я банковский служащий, мне это дело не освоить, — засмеялся Хагиока, вытянув длинную шею с выступающим кадыком. Говорил он возбужденно, слегка, правда, подшучивая над собой, но с какой-то особенной живостью, которой в Токио за ним не водилось.

Хирасэ по второму разу налил всем крепкого чая и снова стал объяснять, что разводить лис совсем нетрудно, стоит только захотеть.

— С другими животными тоже так, но с лисами главное что: главное — их любить. Когда с ними возишься, то привя-

зываешься. Мне вот жена говорит, что я лис люблю больше, чем ее.

Жена его О-Нами между тем без умолку трещала, показывая Ёсико содержимое застекленного шкафа, устроенного на манер магазинной витрины в комнате европейского стиля, которая предназначалась для незнакомых посетителей, прибывающих в летнее время снизу, с курорта Каруидзава, — пол в комнате был устроен бетонный, чтобы можно было по нему ходить прямо в обуви, зато стены были оклеены дешевыми обоями. Она объяснила, какого замечательного качества все выставленные за стеклом черно-бурые воротники, муфты и жакетки, какие они дешевые, вдвое дешевле, чем где-нибудь у Мицукоси[1]. Была она сорокалетняя, крепкая, крупная, на круглых, полных ее щеках красовались, как, похоже, у всех жителей этого плоскогорья, выжженные ультрафиолетовыми лучами темные пятнышки — вроде тех, какие рисуют перед прижиганием моксой, руки и ноги у нее были мощные, и во всем ее облике чувствовалась этакая дикарская монументальность, так что рядом с ней Ёсико в своем облегающем платье, будучи не ниже ее ростом и отнюдь не худощавого сложения, выглядела неожиданно тоненькой и хрупкой, а уж Хирасэ, и так невысокий, а к тому же еще сутуловатый и полуседой, казался не мужем ее, а, скорее, отцом. Да он и был старше ее на двадцать с лишним лет, она была у него второй женой. Говорили, будто его сыновья, оба давно распрощавшиеся с отцовским домом, называют ее «наша лисица». Но Хагиока был убежден, что, как и сам Хирасэ, которого все считают пронырой, в сущности, довольно неплохой человек, так и хозяйка его лучше, чем о ней судачат. Вспоминая свои отношения с мачехой, он приходил к выводу, что О-Нами вовсе не так уж плоха. Хагиока вообще склонен был многое прощать людям. Свои давние детские обиды на мачеху он в себе подавил, не поддавался чувству ненависти и никогда ей не перечил. Женитьба на Есико была единственным случаем, когда он настоял на своем.

Старинные часы над стеклянным шкафом размеренно пробили десять.

Когда отзвучал последний удар, Хирасэ, будто только того и дожидался, кликнул жену и объявил, что идет показывать гостям ферму, а она пока пусть приготовит сорговые

[1]Всеяпонская сеть дорогих универсальных магазинов.

клецки. С этими словами он встал из-за стола и повел гостей на задний двор.

Прямо перед собой они увидели сарайчик с приподнятым над землей полом. Перед сарайчиком имелось свободное пространство примерно в два цубо[1], и все это было обнесено железной сеткой. Это был дом и прогулочная площадка для одной пары лис. Налево и направо тянулись такие же вольеры, образуя длинный прямоугольник. Теперь хозяйство было поскромнее, чем прежде, всего пар двадцать с небольшим; для них-то и предназначались эти дворики без потолков, затянутые сеткой и напоминающие домишки со старинных картин-свитков «яматоэ». Среди пустых еще полей, на которых едва-едва зазеленел ранний горох, и лугов с пожухлой прошлогодней травой, где паслись на привязи козы, таких сооружений было несколько. Но особый, диковинный облик всему этому пейзажу придавала снабженная высокой лестницей, похожая на пагоду наблюдательная вышка, с которой были хорошо видны все вольеры сразу.

Те из лис, что не прятались в сарайчиках, грелись на солнышке на прогулочных площадках. Заслышав приближающихся людей, они настороженно оборачивались и, махнув толстым пушистым хвостом, убегали в сарайчики, а некоторые выставляли торчком острые уши, устремляли на подошедших пристальный взгляд косо разрезанных серебристо-серых глаз и тут же отводили его в сторону, прижавшись к сетке длинной мордочкой. Другие же как сновали по площадке, так и продолжали сновать, лениво помахивая хвостами. Окрас у них был черно-бурый, то есть каждый отдельный волосок на конце был черного цвета, посредине — белого, а у самого корня — пепельного. Лучшим считался мех с холодным белым налетом, как будто подернутый изморозью, он шел на дорогие воротники, а превыше всего ценилась, как было сообщено гостям, белая кисточка на кончике хвоста. Но лис с такими хвостами не было заметно. Шерсть, гладкая, лоснящаяся от хорошего корма (кормили не только зерном, но и рыбой) и тщательного ухода, так и блестела на щедром, буйном майском солнце, а грушевые деревья у одного из вольеров, усыпанные белыми цветами, словно бы сошли с картины художника-импрессиониста.

— А что, можно попробовать. Я смотрю, у вас тут красиво. Я их нисколько не боюсь. — Ёсико с детским любо-

[1]Около 6,5 кв. м.

пытством шла вдоль вольеров, заглядывая в каждый. До сих пор ей ни разу не приходилось видеть живую лисицу вблизи. В словах ее слышалась явная симпатия к этим животным, в общем-то доброй славой не пользующимся: все-таки хищники, а в сказках еще и оборотни.

Отозвался не муж, шедший рядом с ней, а шагавший впереди Хирасэ:

— Ну, если кто и боится, так это они, лисички. Вот говорят, они-де хитрые, они подозрительные. Это все потому, что лиса — она очень осторожная, все время человека побаивается. Оттого и себе на уме. Надо об этом помнить, когда с ней имеешь дело, тогда безобиднее зверушки не будет.

— Лисы вам памятник поставят.

— Да ну вас, — засмеялся Хирасэ. — Просто их надо хотя бы немножко любить, а иначе, как за ними ни ухаживай, толку не выйдет. Вы ведь тоже любите всякую живность, правда?

— Тут она у меня совсем как вы, — подтвердил Хагиока. — Готова возиться с собаками, с кошками, с птичками. Мыши нас на кухне донимают, так она не дает их травить. Знаешь, по-моему, у тебя эта страсть еще сильнее, чем у Хирасэ-сан.

— А что, я люблю, когда мышки шуршат, они славные.

— Вот я и говорю: значит, вы добрая. Это вообще так: если женщина животных не любит, то ничего хорошего от нее не жди. — И Хирасэ опять принялся уговаривать гостей заняться лисоводством: у вас-де такая супруга, замечательная будет помощница.

Отведав аппетитно приготовленных О-Нами сорговых клецек с парным козьим молоком, Хагиока с Ёсико отправились домой.

— Ну что? Может, правда заняться лисами?

— Вот еще. Я, конечно, люблю животных, но лисы — это уж чересчур.

— А представляешь, что они там, в Токио, скажут, если мы действительно возьмемся за это дело.

— Скажут, что ты свихнулся.

— Мало того, что чахоточный, еще и сумасшедший. Им ведь что важно: о нашем семействе станут говорить еще хуже, чем раньше.

— Ты же обещал больше не думать про Токио, — укоризненно сказала Ёсико. Слегка утомившись, она устроилась отдохнуть в плетеном кресле, прикрыв глаза с чуть подкрашенными, чтобы подчеркнуть крутой изгиб бровей, ве-

ками, и говорила задумчиво, словно размышляя вслух: — Как тихо. Как хорошо. Ты все говорил: горы, горы, а я только здесь поняла, что это такое. Знаешь, мне раньше не хотелось сюда ехать. Все думала: очень уж тихо, безлюдно, не страшно ли нам будет там одним. А оказывается, здесь как-то совсем по-другому тихо. В Токио, когда ты задерживался допоздна, в доме стояла такая тишина, что мне делалось не по себе, а здесь мне спокойно, и даже чем тише, тем приятнее.

— Это всегда так, если живешь просто, без затей и амбиций. Среди вот такой природы люди раньше не жили. То, что она нам нравится, — это как бы воскрешение любви к прежней жизни, к той, которая была тысячи лет, десятки тысяч лет назад.

— Ну, в таких ученых материях я не разбираюсь, а только каждое утро, когда я встаю и открываю окно, обязательно говорю: «Гора Асама, с добрым утром». И, по-моему, она мне отвечает.

— И не только гора. Скоро мы будем говорить «доброе утро» и «спокойной ночи» здешней траве, и деревьям в лесу, и горным речкам, их камням, воде — а они нам. Станем во всем искать душу. И тогда полностью сольемся с природой. Пора-то какая! В природе повсюду такая красота, такая роскошь. Не сегодня завтра все плоскогорье заполыхает от азалии. Лиственница зазеленеет. Сакура зацветет. Кукушка и соловей вот-вот запоют. Помнишь, ты говорила, что хочешь увидеть, как в лесу цветет ландыш? Так вот, скоро увидишь: всюду появятся эти белые скромные цветочки.

— Вот хорошо-то будет, — с детским восторгом сказала Ёсико.

К началу июня поздняя горная весна полностью сделала свое дело. В течение мая, хотя уже цвели и сакура, и груша, весь склон горы Асама за ночь, случалось, покрывался снегом, но теперь этот след зимы оставался только в одной впадине посреди склона, да и та с каждым днем теряла белизну, приобретая мягкий серовато-лиловый оттенок. Эту белеющую впадину жители деревни у подножья горы называли «белой луковкой»; когда к концу весны она начинала ясно выделяться на фоне остального, темного склона, то это означало, что заморозков больше не будет и можно начинать сев. К этому времени все плоскогорье, куда ни глянь, постепенно покрывалось зеленой травой. Сначала пробивались росточки невысоких трав вдоль тропинок, там, где получше пригревало. Впечатление было такое, словно в бутылку с во-

дой капнули две-три капли зеленых чернил: вода как будто бы и не бесцветная, но и не скажешь, что зеленая, перемена чуть видна. Но день ото дня зеленый цвет все заметнее вытеснял блеклую краску сухой травы, и вдруг оказывалось, что вся земля покрыта свежей зеленью. На склонах холмов, между зарослями кустарников, возвращались к жизни тростник-мискант и бурьян, полгода сухие, бурые, серые, полегшие под снегом, несмотря на всю свою мощь, — теперь они распрямлялись во всей своей зеленой красе. Продираясь сквозь эти заросли, деревенские женщины и дети собирали грибы тёкотакэ. Эти вогнутые, как блюдца, серо-коричневые грибы, очень вкусные, были самыми ранними из местных съедобных диких растений, они появлялись раньше папоротников дзэммай и вараби, раньше аралии, и, так как засоленные с ноября овощи к этому времени уже кончались, а новый урожай ожидался только в августе, все они были для деревенских жителей важной частью повседневного рациона. Хагиока с Ёсико часто ходили на южный склон, где была пустошь, — это было совсем неподалеку. Ёсико собирала в корзинку вараби, а Хагиока маленьким совочком выкапывал аралию. Он еще со времен своих давних горных прогулок знал, как приятно бывает грызть приправленную мисо горную аралию — на вид и то хороша, красивого пурпурного цвета, а запах! — и как вкусны проваренные в растительном масле толстые стебли вараби.

— То, что мы получаем из Токио, — это разве зелень. Все вялое.

— Нехорошо так говорить. Матушка старается, присылает.

— И приговаривает: уехали невесть куда, овощи и те посылать приходится.

— А нам все равно, мы этого не слышим.

— Ты тут в горах совсем разленилась.

— Разленилась и потолстела, прямо не знаю, как быть. Впрочем, ты тоже сильно изменился.

— Чересчур окреп. А на фронт в Китай мне что-то не хочется, так что лучше бы мое здоровье поправлялось не так стремительно.

Иногда Ёсико приходило в голову, что недуг мужа, доставлявший ей столько горя, на самом деле был подарком судьбы. Она вспоминала, что единственный сын дядюшки, который в свое время так помог им со свадьбой, отправился на фронт простым солдатом и тут же погиб в Шанхае. Но месяц с небольшим, проведенный в горах, подействовал на

больного мужа просто поразительно. Исчезла болезненная худоба. И чтение, и рисование — начав с набросков во время горных прогулок, он стал пописывать маслом что-то любительское, простодушное, но временами довольно приятное, — всем этим он занимался теперь подолгу и с охотой. Когда он в своем синем свитере выпрыгивал на террасу, наигрывая на флейте, то уже в самом этом движении чувствовалась легкая гибкость, которой прежде не было. Что же до Ёсико, которой впервые в жизни довелось беззаботно пожить в таких привольных местах, то на ней перемена образа жизни сказалась еще заметнее. Она не только поправилась, о чем говорила сама, — под горным солнцем лоб и нос у нее покрылись загаром пшеничного цвета, а ведь в Токио у нее даже под густо наложенной косметикой проступала бледность щек. В жару она ходила в свитере с короткими рукавами, и края рукавов четко отпечатались на обеих руках: руки до кончиков пальцев загорали еще сильнее, чем лицо, только ладошки оставались белыми, с легкой розовизной. Ёсико, скрестив руки на груди и разглядывая свои хотя и стройные, но тоже округлившиеся и загоревшие ноги, промолвила:

— Я скоро буду совсем как эта лисичница.

Она имела в виду О-Нами, жену Хирасэ с лисьей фермы. Такая перспектива страшила Ёсико больше всего на свете. Ей казалось, что она уже сделалась точно такой же черной, отвратительной деревенской толстухой; она и представления не имела о том, как похорошела на самом деле. Хагиока иногда пристально смотрел на пышущую здоровьем жену так, как никогда не смотрел на нее прежде. До сих пор в его чувстве к Ёсико было немало от сострадания к несчастной, нищей и оттого простодушно-ласковой сиротке. С детства одинокий, истосковавшийся по материнской любви, он потянулся к такой же одинокой душе. Поэтому его любовь была чистой и тихой: сильная, она не знала бурь, горячая — не доводила до исступления. Когда у него началось кровохарканье и никак не спадал жар, он думал не о собственной смерти, а только о том, как сделать ее счастливой. Потому-то он и обратился к дядюшке, только что вернувшемуся из плавания, и к своему другу Сасаки с просьбой устроить их свадьбу. Пусть наша семейная жизнь окажется недолгой, говорил он себе, зато это спасет хотя бы одну славную девушку от забитости, унижений, нищеты, и он сможет спокойно закрыть глаза. Но теперь Хагиока испытывал совсем иные чувства. Теперь ему была невыносима мысль о том, что болезнь

может вернуться, может опять нависнуть та же угроза, и он умрет, а она останется жить. Конечно, дядя и Сасаки обо всем позаботятся, с мачехой и сестрицей тоже все как-нибудь уладится, жить она будет неплохо. Но ведь нет никаких гарантий, что она так и останется на всю жизнь вдовой. Скорее наоборот, дядя с его флотской общительностью подыщет ей второго мужа. Что же, значит, появится какой-то неизвестный мужчина и заберет себе эту ее нежность, ее верность, ее самоотверженность, их тайные нежные жесты и словечки — все заберет, даже не зная этому цены, а ему придется глядеть на все это из-под земли?

Сидя за столом напротив Ёсико, Хагиока резко швырнул на стол палочки для еды — дорогие, слоновой кости, из парного супружеского набора.

— Что с тобой? Что-нибудь не так?

— Недожарено. Есть невозможно.

— Ну, прости. А у меня как будто ничего. — Ёсико, искренне удивившись, предложила ему свою порцию жареного кижуча. Дело было, конечно, не в кижуче. Просто Хагиока представил себе, что за столом напротив Ёсико мог бы сидеть не он, а этот самый гипотетический чужой мужчина.

— Ладно, ладно, — тут же спохватился он и снова взялся за свою рыбу, прожаренную действительно небезупречно.

Как-то раз Хагиока страшно накричал на Ёсико за то, что она-де слишком внимательна к молодому почтальону, когда тот приходит с письмами (почтовое отделение находилось в деревне примерно за два ри[1] от них). Оба прекрасно знали, что здесь так принято — непременно угостить пришедшего чем найдется, хотя бы чашкой чая, и потом, надо же было как-то отблагодарить молодого человека за то, что он заодно относит на почту их письма и открытки. А в тот день они собирались отправить с ним целую посылку, так что Ёсико дала ему с собой буханку дрожжевого хлеба, который она неплохо умела печь. Делалось это все не в первый раз, и почему именно сегодня она навлекла на себя гнев мужа, понять было трудно. До сих пор о его ревности Ёсико не подозревала. Хагиока, из гордости и от стыда, ни слова ей об этом не сказал. Но позже был с ней так пылок и нежен, что она удивилась, потом поняла, что он просит у нее прощения, заулыбалась и больше не плакала. Ее переполняла

[1]Около 8 км.

радость: муж любит ее по-прежнему, любит даже сильнее, чем прежде. А ведь это, ко всему, еще и означает, что его здоровье поправилось!

Но как-то ночью Хагиока во всем ей признался. Она разрыдалась у него на груди и стала упрекать его, бранить, выговаривать ему, словно мать ребенку: как же ты посмел мучиться в одиночку, воображать всякие ужасы, отчего сразу мне не сказал. Ты теперь здоров, с какой стати думать о болезни, о смерти, вот глупости-то. Однако сама она всегда говорила: она умрет вместе с ним, без него жить не будет. Обычно такие обещания не исполняются, но Хагиока был склонен думать, что она-то свое слово сдержит. Вот он позвал ее с собой в горы, и она поехала; скажи он: давай умрем вместе, и она, не задумываясь, ответит: давай. Ну хорошо, пусть он избавился от этих неуправляемых вспышек ревности, с прошлым покончено; но что ожидает их в будущем? Кругом происходят ужасные, отвратительные вещи, идет война, ее уже не скроешь под успокоительным псевдонимом «инцидент», и ни на что хорошее рассчитывать нельзя. Допустим, он выздоровеет: сразу возьмут, куда-нибудь отправят. Что делать? Иногда это чувство безнадежности так обострялось, что Хагиока, в глубине души, несмотря на внешние признаки выздоровления, в возможность излечения не веривший, ощущал влечение к смерти. Жене он этой тайны не поверял. Но однажды с деланной веселостью рассказал ей сказку.

— Есть такое забавное сказание... Не японское. Даже не просто западное, а древнегреческое. Начало рассказывать не стану, тебе наскучит, а в общем, дело было так: жили в одной деревне набожные старик со старухой. Однажды богу потребовалась помощь, и они ему помогли. В благодарность бог обещал выполнить любое их желание. И вот что у него старик попросил. Мы, говорит, со старухой давно живем душа в душу, и потому, когда придет нам пора умирать, пусть не придется мне умереть первым и жену одну оставить и пусть не придется мне одному горевать, ее похоронив. Сделай так, чтобы мы перестали дышать в один день и в один час. Хорошо старик придумал, правда?

— И что же, исполнилось его желание?

— Конечно, бог же обещал. После этого старик со старухой стали служить богу и прожили еще много лет. Но однажды вечером стояли они возле своего дома, на берегу красивого озера, и вдруг у старика из тела начали расти зеленые листья. Старуха удивилась, а сама тоже начинает в де-

рево превращаться. Видят они, что покрываются листьями, ноги у них становятся корнями, туловище — стволом, руки — ветками. Но лица-то у них не сразу одеревенели, и вот стоят они, смотрят друг на друга, и старик говорит: прощай, старуха. Исполнил наконец бог нашу просьбу. А она отвечает: спасибо ему. Прощай, старик. Стояли они так и все прощались, пока в один и тот же миг густые листья не закрыли им уста. И стал старик крепким дубом, а старуха — нежной липой, и стоят они с тех пор на берегу того озера. Вот такая история. Ну как тебе, нравится?

Ёсико только кивнула: она едва удерживалась от слез. Если бы нам было даровано такое счастье, подумала она, в какие деревья мы превратились бы? В лиственницы? В ели? В акации? (Была как раз пора цветения акаций.) В горные глицинии? После этого они еще несколько дней с удовольствием обсуждали, кем могли бы стать.

— Я буду магнолией, это точно.

— Вот еще, магнолией. Не хочу магнолию.

С тех пор как Ёсико узнала, что из магнолии делают деревянную обувь, она стала презирать это дерево с густо свисающими длинными овальными листьями. Хагиока, зная это, нарочно стоял на своем и смеялся. Они ощущали примерно то же, что ощущает дикарь, когда видит в скале покойного предка, в пораженном молнией и все же не рухнувшем дереве — божество, и такие речи представлялись совершенно естественными, даже близкими к истине.

Тогда-то к ним и наведался Хирасэ, владелец лисьей фермы. Он принес им заказанную ранее корзинку яиц. Обычно они заходили за яйцами сами, гуляя, иногда яйца доставляла О-Нами. Сегодня Хирасэ взялся за это дело сам, поскольку у него имелся деловой разговор.

— Есть тут кое-что на продажу, может, подумаете? — приступил он к делу, едва усевшись в плетеное кресло в зале. Речь шла о покупке лисьей фермы, принадлежащей его соседу. — Я, по-моему, как-то вам говорил: дело это завел один богач, Маэбаси. Завел больше так, для забавы. Всего пять-шесть пар, больше не поместится. И домик в придачу, вилла не вилла, в общем, маленький, но уютный, как раз для вас. Есть участок, три тысячи цубо[1]. Просят всего тридцать тысяч, считайте даром.

— Что же хозяину так не терпится расстаться с фермой?

[1]Около 9 соток.

— Теперь все так настроены, все лисоводы. В наших краях их знаете сколько, десятка два. Время-то какое: в Китае дела приняли серьезный оборот, у нас все забирают — государственные займы, налоги непомерные, все идет туда. Какие уж тут черно-бурые воротники. Вот все и бросились сворачивать дело. Нынче везде одни пустые вольеры, лисы остались всего на нескольких фермах. Вы, может, подумаете, чего ради я вам-то это предлагаю. Так ведь вам доход не главное, а работа эта как раз вам по силам, не то что в земле копаться, увидите, как здоровье пойдет на поправку. В конце-то концов, если уж так неохота вам возиться с лисами, купите хоть дом — не прогадаете.

— А лисы там есть?

— Три пары осталось. Хотите, договоримся, я их себе возьму. Все равно я на веки вечные обречен при них состоять, такой уж у меня с ними несчастный брак, ха-ха-ха, — захохотал Хирасэ в полный голос, обнажив желтые от курения зубы. После этого пришлось до самого обеда выслушивать рассказ о его «несчастном браке» с лисами, то есть едва ли не всю историю жизни, которая, по существу, одновременно оказалась и историей лисоводства в Японии.

Хирасэ занялся этим делом на Сахалине в 1915 году. Было это в одном холодном селе в двух ри к северу от города Тоёхара[1]. Раньше оно называлось по-русски: Новоалександровское, но в его время за ним уже закрепилось японское название: Конума, Малое Болото. Было там семьдесят с чем-то дворов, четыре из них еще русские. Местность такая: огромная сырая равнина, множество речушек и болот. Поэтому и новое название селу такое дали.

На равнине в изобилии водились лисы. Были крестовки, у которых на шкурке две черные линии крест-накрест: одна от головы до хвоста по спинке, другая по грудке; были трехцветные, были рыжие. В тех местах солнце если уж выглянет, то палит вовсю, а еще от болот часто бывает туман, лисы все это любят.

На второй год, скрестив рыжую лису с трехцветной, Хирасэ стал обладателем пяти лисят, из которых три были крестовые, а два — редкостного окраса: черно-бурые. Это, по его словам, и были первые в Японии черно-бурые лисы. Вскоре он перебрался на Хоккайдо и там поставил дело покрупному. На Сахалине одна доставка железной сетки и та

[1]Ныне Южно-Сахалинск.

стоила немыслимых денег, да и продавать шкурки удобнее было поближе к Токио. Его давно привлекала Каруидзава, международный курорт, где много богатых отдыхающих, способных заинтересоваться его продукцией, но переехал он сюда только через четырнадцать лет. Годы, проведенные на Хоккайдо, Хирасэ вспоминал с большим удовольствием. Именно тогда, в частности, ему удалось закупить за границей чистых черно-бурых лис: он развил бешеную деятельность, чтобы заручиться содействием властей, и купил лис у некоего Роджерса на острове Принца Эдуарда.

— Дело было при правительстве Тэраути, послом в Америке тогда был Канэко-сан. Он очень посодействовал. Не так-то это было просто в те годы: нечего, дескать, каких-то там лис везти из-за границы, обойдетесь, мол. Десять пар было закуплено. Три пары сдохли на пароходе, семь доехали. Тысяча иен пара, по тем временам большие деньги. Я специально приехал с Хоккайдо, встречал товар в Иокогамском порту. Великолепная была заграничная порода, я ее только по фотографиям знал, а теперь они мои — как подумаю, так прямо места себе не нахожу, не терпится поскорей увидеть, да еще беспокоюсь: как это я их повезу на Хоккайдо, довезу ли. Ночью глаз сомкнуть не мог, — с явным удовольствием рассказывал Хирасэ, переживая давние события так, словно все это происходило вчера. В рассказе его была та простодушная красота, которая встречается у людей, всецело посвятивших себя чему-то одному, хотя примешивалась, конечно, и доля бахвальства.

Ёсико проворно накрыла на стол, подала обед, а Хагиока все слушал, и ему было интересно. Кое о чем ему приходилось слышать и раньше, но подробно об этом Хирасэ завел разговор впервые.

— Я сегодня вам, хозяюшка, доставил столько хлопот... Мы тут и вкуса-то европейской еды толком не знаем. — Отправив в рот большой кусок толсто нарезанного хлеба, Хирасэ похвалил жаркое и заметил, что неплохо бы им разочек отведать и лисятины.

— Как, разве лис едят?

— Сейчас-то нет, а вот осенью они жира нагуляют, тогда еще как едят.

— А не пахнет?

— Все почему-то боятся, что пахнет, а ничего страшного. В Токио теперь, говорят, с мясом неважно, так мы на Новый год послали парочку одним знакомым, они были очень довольны, заплатили кучу денег и просили прислать еще, если

можно. Обещали все забрать, сколько ни дадим. Жена обрадовалась: мех-то теперь дорого не продашь, того и гляди уход да кормежка станут себе в убыток, так надо, говорит, поскорее распродать лис на мясо и дело это бросить, а держать одних кур, так, мол, выгоднее. Но я ее сразу окоротил. Я ей в таких случаях всегда говорю: я всю жизнь провел с лисами, я ими живу. С убытком ли, с прибытком, но с ними и помру, так и знай. А если тебе это не нравится, так убирайся вон, ха-ха-ха! — снова громко захохотал Хирасэ.

Забавно, подумал Хагиока, этот человек хочет уговорить его купить ферму, а сам тут же выбалтывает, как это невыгодно, будто забыл, зачем пришел. А ведь пришел не просто так, не по одной доброте душевной, зачем-то это ему нужно. Это уж Хагиока знал, все-таки он и сам несколько лет прослужил в банке. Что он за человек, этот Хирасэ? Непонятно, где он добр, а где хитер. Или вот: лисы лисами, но с какой стати он в те годы, еще молодым, подался куда-то на Сахалин? Если у него двое взрослых сыновей, которые с ними не живут, то, значит, до этой О-Нами была еще одна, первая жена — что с ней стало? Потом ведь, они с О-Нами не просто выглядят как отец и дочь, между ними действительно разница в полтора-два десятка лет; что свело их друг с другом? Вообще: откуда он родом? Что побудило его заняться таким необычным делом? Хагиока не имел обо всем этом ни малейшего понятия. О последнем нетрудно было и спросить. Но Хагиока всегда проявлял крайнюю сдержанность, когда речь шла о вторжении в чужую жизнь, а если взять и спросить: «Скажите, где вы родились?», то придется интересоваться и вообще всеми подробностями биографии. В это он влезать отнюдь не собирался.

На следующее утро Хагиока сказал с таким видом, будто размышлял об этом весь остаток прошедшего дня:

— Может, сходим сегодня, посмотрим ферму?

— Думаешь купить?

— Во всяком случае, посмотрим. Раз уж предлагают.

Они пошли. Хирасэ уже поджидал их. Идти оказалось недалеко. Ферма находилась сразу за картофельным полем и курятником: сосед, похоже, жил не то что по соседству, а чуть ли не прямо на участке Хирасэ. Часть территории занимали березовая и дубовая рощи; там тек ручеек с прозрачной водой, весь в зарослях ранней японской петрушки.

— Ой, корзинку я не догадалась захватить. — Ёсико вслед за мужем легко перепрыгнула через ручей, сверкнув

белыми прогулочными сандалиями, да так бы и присела у воды на корточках, если бы Хагиока не поторопил ее:

— Давай, давай, в другой раз захватишь.

— Вот видите. А я вам вчера про родничок-то забыл сказать. Ценный родничок, — заметил, обернувшись, шедший впереди Хирасэ. Он объяснил, что колодцы в этих местах питаются водами, стекающими с горы Асама, и часто пересыхают, а этот ручеек не пересыхает никогда, он даже в морозные зимы журчит под снегом, и вода в нем теплая.

— А кстати, Хирасэ-сан, какой глубины тут снег? На лыжах кататься мы обычно ездили дальше, знаете: Марунума, Кадзава, здесь ни разу не задерживались.

— Снега здесь выпадает не больше сяку[1], должно быть гора мешает. Зато наст крепкий, прямо как на Сахалине. Для лис это очень хорошо. Но к зиме надо готовиться как следует. А этот дом как раз на зиму оборудован. Так что покупайте. Не просчитаетесь, по-моему.

Они как раз подходили к дому. Это была постройка европейского типа, похожая на коробку, некогда крашенная в кремовый цвет, но давно облезшая. На запущенной лужайке перед домом снова обнаружился изогнувшийся широкой дугой ручеек, который они по дороге потеряли было из виду. Однако на сад это все походило мало. Внутри дом выглядел дешево и безвкусно, но все же там имелись три комнаты: в десять, в восемь и шесть татами[2], довольно просторная кухня и ванная комната. В двухкомнатной дачке Сасаки, где они жили сейчас, им очень не хватало ванны. Те, кто приезжал сюда на лето, обычно пользовались общей баней, устроенной при горячем источнике, которая служила для обитателей курортного поселка чем-то вроде клуба, и собственной ванны не заводили.

— Ну, если приспичит, положим в рюкзак полотенце да мыло, и вперед, пешком до Кусацу, — шутил Хагиока, когда у них с Ёсико заходил разговор о том, как это неудобно.

Воздух в горах был сухой и чистый, так что достаточно было ежедневно обтираться теплой водой, а раз в неделю они заходили к Хирасэ по какому-нибудь делу и заодно просили погреть им воду для купанья, поэтому без своей ванны вполне можно было обойтись. Но это пока тепло, а с наступлением холодов пришлось бы что-то придумывать.

[1]Сяку — мера длины, равная 30,3 см.

[2]15, 12 и 9 кв. м.

По этим же соображениям Хагиока очень обрадовался, когда между кухней и столовой, в комнатке с земляным полом, обнаружилась большая железная печь:

— Смотри-ка, вот здорово!

Печь была овальной и имела сверху две конфорки: большую для котла, маленькую для сковородки либо чайника. Сразу и для отопления, и для готовки — очень полезная вещь. Как в России нет крестьянской избы без самовара, так и у постоянных жителей здешнего плоскогорья такая печь была непременным предметом домашнего обихода. Зима начиналась здесь в ноябре, морозы бывали такие, что на улицу носа не высунешь, печь топили целый день, и ее листовое железо частенько раскалялось добела.

На кухне Хирасэ и сейчас на такой печке шла вся готовка. Бывало, вечерами, когда они приходили к нему принять ванну, внезапно начинался холодный дождь, и Хирасэ приглашал их к печке:

— Погрейтесь-ка.

Он снова разводил огонь, великолепные сухие дрова быстро занимались от тлеющих еще головешек, и печка начинала гудеть. Закипал чайник, подавался чай. Это было не просто удобство: Хагиока любил эту печку за ее деревенскую простоту ничуть не меньше, чем устроенный на английский лад камин в своем токийском доме, и подумывал как-нибудь приобрести такую же.

— Их у нас делают на заказ в кузнице, — объяснил Хирасэ, — это в деревне примерно в трех ри[1] отсюда. Но кузнец страшный лентяй. Хороший кузнец, но еще не было случая, чтобы сделал печку в тот же год, как закажешь. Вот вы сейчас закажете, а он к зиме будущего года и то, пожалуй, не сделает.

Подразумевалось, что печка — еще один довод в пользу покупки дома, но впрямую Хирасэ этого, конечно, не сказал.

Ферма находилась позади дома. И вольеры, и обзорная вышка были устроены и расположены точно так же, как в хозяйстве Хирасэ: все небольшое, аккуратное. Лис на ферме не было. С отъездом владельца Хирасэ взял их на свое попечение.

От приглашения на обед супруги отказались и сразу пошли домой — не только оттого, чтобы не стеснять чету Хи-

[1]Около 12 км.

расэ: дома подходило дрожжевое тесто, которое Ёсико замешивала всякий раз, когда кончался закупленный у каруидзавского булочника хлеб, и надо было спешить, пока оно не повалило через край и не перекисло.

— Можно было бы и не заказывать каждый раз у булочника, я бы сама пекла, но в духовке так вкусно не получается.

— Ничего, теперь мы устроим настоящую печь для хлеба. Ты станешь булочницей, а я лисоводом. Идет? — весело сверкнул Хагиока белозубой улыбкой, но тут же посерьезнел. — Хорошо, когда есть ремесло...

Ёсико не поняла, почему он ни с того ни с сего об этом заговорил, и хотела было спросить, но вдруг встревожилась и вскрикнула:

— Смотри, окно открыто!

Их дачка на склоне холма, стоявшая посреди молодой березовой рощи, была уже на виду. Дверь они не запирали, в здешних местах никто ее не запирал, но закрыть, уходя, все закрыли, окна затворили ставнями, а между тем теперь в окне розовела занавеска. Они бегом бросились к дому по некрутой тропинке, но не успели добежать до входной двери, как из окна, заслышав их приближение, выглянул дородный Сасаки:

— Что, напугал я вас?

— Мы думали, воры. С приездом!

— Долго же вы, однако, гуляете. К ним гость из Токио приехал, а они целых два часа пропадают неизвестно где.

— Ну ничего, зато мы вас досыта накормим, — пообещала Ёсико и отправилась на кухню готовить обед.

Хагиока пододвинул другу плетеное кресло и стал объяснять:

— Сегодня я не просто гулял. Я ходил по делу, очень важному. Возможно, у меня теперь начнется новая жизнь.

— Что ты там еще придумал? — Выспренность выражения показалась Сасаки забавной, и он поинтересовался, оптимистически улыбаясь в тон товарищу: — Надеюсь, ты не собираешься записаться в военные корреспонденты и податься в Китай, а?

— Ну что ты, все гораздо интереснее. — И Хагиока рассказал о предложении Хирасэ насчет фермы. Сасаки, как и следовало ожидать, удивился, закурил, помолчал, выпустил клуб дыма.

— Если купишь, то, значит, и лис заведешь?

— Думаю, можно завести.

— Что ж, прекрасно, только ведь это совсем не так просто, как расписывает старикан. Ну, допустим, физическая работа на свежем воздухе полезна для здоровья и так далее. Но придется же корм доставать, а это не так легко, особенно теперь.

— Хирасэ обещал, что будет закупать на мою долю.

— Все равно, тебя послушать, выходит, что ты ради этой ванной комнаты, ради печки, ради какого-то крохотного родничка готов выложить деньги за целую ферму, да еще и лис купить. А земля? Ты говоришь: три тысячи цубо. Тут же пустошь, так что это не более чем десяток цубо в Токио. Смотри, зазеваешься, напустят тебе в глаза туману.

— Ну, лисы только в сказках это делают. Или ты имеешь в виду старикана?

— Какая разница, лисы или старикан. Все они оборотни.

— Я так не считаю. — Хагиока стал защищать Хирасэ, рассказал, как тот начинал на Сахалине, как полжизни отдал своему делу, всю душу в него вкладывал: разве не молодец? Конечно, за посредничество в продаже фирмы он наверняка получит немалые комиссионные, но, полагал Хагиока, он искренне хочет иметь в нынешние трудные времена товарища по ремеслу да еще и не прочь сделать доброе дело людям, которые впервые в жизни будут зимовать в этих студеных горах.

— Тебе кто ни попадись, ни о ком дурного слова не скажешь, — рассмеялся Сасаки, сложив ладони на затылке, заросшем, словно у художника, а не учителя английского языка, и выставив в стороны локти.

Он знал эту черту характера друга и любил его за доброту. Ведь большие деньги, а он не колеблясь подпишет чек — и будь что будет. Ладно, пусть попробует. В конце концов, если уж эта идея так его захватила — значит, выздоровел. Чтобы подбодрить товарища, Сасаки со своей всегдашней живостью заметил:

— Если возьмешься, надо будет расширять дело. Разве не приятно стать королем японских чернобурок, а? Конечно, можно разбогатеть и на тюльпанах, как в Голландии, или там на масле, но на чернобурках разбогатеть — совсем другое дело. Вот выгонят меня из учителей, пойду к тебе в помощники. Если так и дальше все пойдет, кому нужен будет мой английский? Всюду будет немецкий да итальянский.

— Да, в этом смысле тут, в глуши, совсем другая жизнь. Да и надо же мне в конце концов заняться каким-нибудь делом, я же не лежачий больной, — отозвался Хагиока теми же

словами и тем же тоном, что в разговоре с Ёсико по дороге домой. Как и тогда, он не стал вдаваться в подробности, но ему казалось, что обуревавшую его в последнее время беспричинную ревность, настойчивое влечение к смерти — все это удастся преодолеть, начав простую, размеренную жизнь.

За обедом пиво и припасенная для особых случаев бутылочка бургундского привели Сасаки в еще более оптимистическое расположение духа. К другу он заехал по дороге: ездил в Каруидзаву к некоему англичанину консультироваться по поводу перевода на английский одного японского литературного памятника, над которым сейчас работал, и должен был тут же ехать обратно электричкой, отходившей в половине четвертого.

— Теперь я за вас спокоен. Я и не думал, что вы тут так хорошо устроились. Ёсико-сан, когда приеду на будущий год, куплю у вас черно-бурый воротник фирмы «Хагиока».

— Непременно. Супруге подарите, — отшутилась Ёсико. Сегодня она, сев за стол вместе с мужчинами, чувствовала себя весьма непринужденно. — Только знаете, Сасаки-сан, насчет лис — это ведь еще не решено.

— Решено, решено.

От удивления Ёсико замерла, не донеся до рта вилку с жареной картошкой. До сих пор Хагиока еще ни разу не произнес твердого «да». Все решилось в этот момент этой фразой. Сасаки перевел с мужа на жену, потом опять на мужа хитрый хмельной взгляд из-под полуприкрытых красноватых век:

— А скажите, вот на каждой лисьей ферме есть такое сооружение вроде каланчи, вы знаете, зачем оно?

— Наверно, наблюдательная вышка?

— Наблюдательная-то наблюдательная, да что с нее наблюдают?

— Смотрят, чтобы лисы не сбежали, а что?

На это Сасаки ответил громким смехом. Хагиока и Ёсико опешили. Тогда он объяснил: дело тут в другом. С января по март у лис брачный сезон. С вышки смотрят, кто из лис спаривается, кто нет.

— Чтобы самка принесла приплод с качественным мехом, ей на время вынашивания дают особый корм. Это мне старикан сказал пару лет назад, когда я был у него на ферме. А вам, значит, не говорил?

— Нет, не говорил.

— Должно быть, решил, что вам это не понравится — те-

бе-то ладно, а Ёсико-сан разочаруется, и тогда вы уж точно не купите ферму. Ты его все под защиту берешь, а он хитрый лис.

— Это, скорее, его хозяйка такая.

— Оба, оба лисы.

Как ни странно, это не помешало, а, напротив, помогло. Если Хагиока, обычно мягкий и покладистый, принимал какое-либо решение, то делался таким волевым, что не боялся никаких препятствий (в свое время так было с его женитьбой). Так и теперь: перспектива в самые лютые месяцы, в январе — феврале, торчать на вышке и заниматься каким-то сомнительным подглядыванием за спаривающимися лисами нисколько не поколебала его решимости. Он тут же заплатил деньги. С мачехой в Токио он не советовался, он ее просто уведомил. Правда, дядюшке он все-таки написал подробное письмо, хотя и задним числом. Дядюшка Каба прислал ответ, причем сам, что было удивительно: обычно за него отвечала тетушка.

«Получил твое письмо. Отрадно слышать, что твое здоровье идет на поправку. Покупку фермы одобряю. Сасаки-кун прав, утверждая, что тебе могут напустить в глаза тумана. Но, конечно, не лисы, что за чушь. В наши дни, к моему глубокому прискорбию, напускание тумана в глаза друг другу приобрело повсеместный характер. Твоему покорному слуге в скором времени предстоит опять превратиться в водяного. Хотел бы перед этим увидеться, однако боюсь, что это невозможно. Помни: во-первых, здоровье; во-вторых, тоже здоровье. Сердечный привет Ёсико-сан».

Впоследствии Хагиока узнал, что, когда это письмо, на пятый день после отправления, дошло до их поселка, дядюшка уже находился в море, на военном корабле, название которого гласности не предавалось.

Еще до наступления лета Хагиока перебрался на ферму. Хотя Сасаки давно говорил, что в нынешнем году собирается отдыхать не в горах, а на море, Хагиока знал, что летний отпуск он посвящает литературной работе и эта дачка будет ему необходима. Пользоваться дружбой в корыстных целях Хагиока не хотел. Раньше он подумывал либо снять другой дом, либо купить, что подвернется, для жилья. И отчасти именно поэтому он поторопился стать владельцем фермы.

С переездом их образ жизни круто изменился. Каждый день в пять утра молодые супруги были уже на ногах. Если раньше готовилась скромная еда на двоих, то теперь Ёсико ставила на печку большой котел, чтобы накормить три пары

лис, взятых у соседей. О-Нами научила ее варить из ячменной и кукурузной муки на рыбном бульоне похлебку для лис. Все продовольственные припасы обещал закупить Хирасэ; рыба привозилась откуда-то издалека, из-под Наоэцу.

— Вкусно-то как, сама бы все и съела.

— Как это! А что останется лисичкам?

— Ты, по-моему, тоже не прочь оставить их без завтрака, — шутили женщины, когда от котелка плыл аппетитный аромат и в печке ярко пылали дрова. Вскоре приготовленное варево наливалось в ведра, и Хагиока нес пищу в вольеры, где к этому моменту уже бывала закончена уборка, и раздавал животным. Ёсико тем временем начинала готовить завтрак для них самих. Рис у нее стоял уже сваренный, и она приступала к варке супа из мисо, заправляя его яйцами. Хагиока предпочитал это блюдо яичнице. Тонкость тут была в том, чтобы яйца оказались тверже, чем при варке всмятку, но все-таки не совсем уж крутые. В общем, теперь они по-настоящему завтракали, конечно, не так, как дома в Токио, но ведь с тех пор, как они сюда приехали, Хагиока по утрам брался за палочки для еды лишь по привычке, а так по большей части обходился куском хлеба и чашкой чая, ничуть не жалуясь на голод до самого обеда. Теперь же он охотно протягивал алую лаковую пиалу за добавкой, весело приговаривая:

— Ну и варево!

Шестерка лис пока что особых хлопот не доставляла. Кормить их полагалось два раза в день. Но Хагиока решил, что кое в чем вполне можно обойтись без помощи Хирасэ, и завел козу и трех кур. Козье молоко предназначалось не только для их стола: когда лисы принесут приплод, оно пойдет на подкормку маленьких лисят. Услышав, что еще не поздно посадить картофель, он поручил это дело местному жителю лет пятидесяти по фамилии Томэ; с тех пор Томэ-сан стал их постоянным работником и очень ловко соорудил им козий загончик и курятник. Во всех этих делах Хагиока ему помогал. В июле резко потеплело, началось настоящее лето: чем прохладнее было в тени, тем сильнее раскалялся воздух под прямыми лучами горного солнца, богатого ультрафиолетом. Рубашки и рабочая одежда быстро пропотевали, их приходилось менять дважды в день, Ёсико стирала их в ручье перед домом. Вода в нем была такая холодная, что ломило кончики пальцев.

Когда наступили летние каникулы, их навестил Сасаки.

В тот день они, как всегда, работали возле дома. Первая же фраза гостя была о том, как непривычно видеть их за таким делом.

— Я смотрю, вы совсем освоились.

— Да, никак не думали, что вы всем этим так увлечетесь, — удивленно сказала его жена Сумако, державшая за руку четырехлетнего сынишку Макото. Позади дома, в роще, начали вырубать на дрова лишние деревья; Томэ-сан распиливал стволы. Хагиока вооружился колуном с длинной рукояткой и начал колоть кругляши. Ёсико в старых серых брюках мужа, повязав голову белым полотенцем, брала в охапку по три-четыре полена и складывала их в поленницу под окном.

— На зиму нам таких дров надо пять-шесть поленниц, а откуда же их взять. Вот и приходится понемножку самим... — Хагиока снял рукавицы, сложил покрасневшие, вспухшие ладони рупором, обернулся и закричал неожиданно пронзительным голосом: — Томэ-сан, хватит! Перекусим.

Перехватив удивленный взгляд Сумако, подоспевшая с дровами Ёсико объяснила:

— Он глухой.

— Ясно... — Женщины взглянули друг на друга и улыбнулись.

Сумако, получившая хорошее образование, была во всем не похожа на Ёсико, но это не мешало женам дружить по примеру мужей. Скорее наоборот: как Сасаки и Хагиока лишь крепче привязывались друг к другу благодаря противоположности своих характеров, так и их жены из-за этого несходства только сильнее тянулись друг к другу.

Женщины давно не виделись, и каждой из них было о чем послушать и что рассказать, что посмотреть и что показать подруге, но больше всего говорилось о том, как трудно стало жить в Токио, как люди звереют, как все обманывают всех.

— Представляешь, просто так даже чашки молока нельзя купить. Уж как я молочницу обхаживала, сколько ей всего подарила, а все равно она в конце месяца прислала такой счет, что только руками развести.

Коза, напомнившая Сумако скуластую хозяйку молочной лавки, бродила туда и сюда, привязанная к своему колышку, поглядывала на всех слегка розоватыми глазами и дружелюбно мекала. Макото от нее не отходил. Хагиока и

Сасаки поджидали женщин возле вольеров. Сасаки чиркнул спичкой, закурил.

— Я вот думаю: почему я ушел из банка? В общем, потому, что ненавидел железную сетку. Невыносимо всю жизнь сидеть взаперти за этой сеткой, считая чужие деньги. А теперь вот я загнал за эту сетку зверей и смотрю за ними. Чудно, правда?

— А что, скажи, пожалуйста, в этом мире не чудно? Возьми Китай. Заявляли, заявляли: войны не будет и так далее, а теперь что? Обманывают, несут всякий вздор, а мы, учителя, теперь в дураках.

От избытка чувств Сасаки, как мальчишка, надавил на сетку с такой силой, что пара лисиц, до тех пор пугливо посматривавшая на него из вольера, поспешила скрыться в сарайчике. Хагиока стал рассказывать о дядином письме.

— Пишет, что нечего возводить на лис напраслину, не они это вовсе морочат людей.

— Еще бы. Кому-кому, а твоему дядюшке прекрасно известно, что этим занимается правительство. Даже не правительство, а военные.

— Мне его так жаль. Нелегко ему, в его положении все это не выскажешь, а ведь он категорически против участия Японии в этой войне.

— Дело не в том, что твой дядюшка против. Весь флот таков. Там одни бездари и фанфароны, и ничего нельзя с ними сделать.

— Что же будет? Я тут и газеты-то получаю с опозданием на пять дней.

— В Европе тоже дела плохи. Посол Гендерсон все время снует между Лондоном и Берлином, пытается что-то сделать, но если Гитлер добьется своего, то запылает вся Европа, а тогда и Америка не останется в стороне. Будет новая мировая война.

— Отчего люди такие безумцы? Ведь еще в памяти горький опыт, с прошлой войны еще и четверти века не прошло.

— На сей раз пожар разожгла Япония. В этом-то и ужас. Пока что события развертываются благоприятно, и очень немногие понимают, насколько все серьезно, но я уверен, что та кровь, которая нашими стараниями пролилась в Китае, рано или поздно отольется нам в Японии. В некоторых вещах я фаталист. Но в то же время сам я не желаю брать в руки оружие. Я готов идти на все, на любые, самые отвратительные, уловки, только чтобы не забрали. Ты в этом смысле занимаешься чистоплюйством.

— Не хочешь последовать моему примеру?

— По крайней мере я рад, что могу тут у тебя выговориться. В Токио чуть что, сразу: а поди-ка сюда, братец.

Сасаки бросил окурок, посмотрел в ту сторону, где за свежими зелеными березками по-прежнему играли с козой его сын и жена, и закричал, словно они тоже были глухими:

— Эй, сынок, иди сюда, я тебе кое-что покажу! Смотри, какие лисички!

Не прошло и пяти недель, как Гитлер вторгся в Польшу, и началась война в Европе. На другой год, зимой, восьмого декабря, воздушный налет на Пёрл-Харбор ознаменовал начало японо-американской войны. Миру предстояло пережить новый потоп, на этот раз кровавый. Мудрость человечества вместе со всем тем, что было им создано, утонула в море крови. Теперь существовали лишь две вещи, подобно тому как существуют день и ночь: убивать и быть убитым. Отныне в этом состояла вся жизнь, вся философия, все искусство, вся работа.

Хагиока по-прежнему разводил лис. Удавалось это чудом и наводило на мысль о судьбе Ноя с его ковчегом. Да и в самом деле, ферма их, где в тесноте спасались от стужи самые разные твари, точь-в-точь походила на ковчег.

Лисам особые зимние помещения не требовались, но козу пришлось разместить в уголке примыкающего к кухне амбара, где хранилось запасенное для нее сено, а для кур устроить особый маленький зимний курятник. Глухой работник Томэ-сан теперь тоже жил с ними. Этот бородатый мужик, вечно молчащий, как булыжник, будто он был не только глух, но и нем, трижды женившийся, трижды оставленный женами, не имевший ни единой родной души, так прочно вошел в жизнь супругов Хагиока, что они уже не могли без него обойтись. Томэ-сан оказался особенно полезным зимой, когда наступала пора вести наблюдения за лисами. Договорились, что он будет дежурить с утра до обеда, а после обеда его будет сменять Хагиока, но Томэ-сан охотно просиживал на вышке целый день. «Что там, работа же», — говорил он с невозмутимым выражением лица, заросшего щетиной настолько, что виднелись только лоб, глаза да нос картошкой.

Хагиока воспринимал лисьи забавы как явление того же порядка, что и открывающийся с вышки вид на гору Асама в снегу, с дымкой над вершиной: особого интереса это не вызывало, лишь бы дела не просмотреть. Завтракали, обе-

дали и ужинали все втроем, придвинув стулья ближе к железной печке. Жизнь на этом горном зимовье крутилась вокруг печки, как Земля вокруг Солнца. Компанию хозяевам составляли не только Томэ-сан, но и коза, по первому зову с готовностью устремлявшая морду к теплу, и куры. Кроме того, поскольку извлеченные из погреба картошку, капусту, редьку и другие овощи нельзя было отправлять обратно, если они оставались неиспользованными, — они тут же замерзали, то их тоже держали здесь, разложив по корзинам и укутав одеялами. Печка топилась весь день. Над головой на веревках сушилось белье. Здесь же Ёсико варила похлебку для лис, готовила обед и шила по выкройкам из женского журнала удобные рабочие шаровары для О-Нами. Для кройки использовался обеденный стол или письменный стол мужа. Хагиока, привыкший жить в аккуратно прибранной комнате и выходивший из себя даже от косо положенного карандаша, на вторую зиму прекрасно приспособился к такому быту. Когда он не без усмешки над собой поделился этим наблюдением с Хирасэ, тот опять сказал, что, если бы не этот дом, им бы тут зимой не выжить, так что правильно сделали, что купили.

— В Токио сейчас все волнуются насчет эвакуации, так что тут у нас цена на жилье знаете как подскочила. Сейчас бы вы за этот дом вдвое выложили — и то, пожалуй, было бы мало. Говорят, недавно у станции развалюху в три комнатки продали за пять тысяч...

— Да-а...

— Но с лисами теперь дела хуже некуда. Раньше-то их американцы много покупали, а нынче оптовики не берут. А тут еще все эти штуки: контроль, нормированное распределение. Спрашивается, как быть с рыбой? Вот я сейчас заплатил сумасшедшие деньги, и что же? И половины заказанного не получил. А лисы — это вам не козы и не куры, их сеном да зерном не прокормишь. Сразу блеск у меха пропадает. Жена вчера устроила скандал: людям, говорит, нечего есть, а тут зверям подавай деликатесы. На что нам тогда эти твари, говорит.

Хирасэ заводил такие разговоры каждый раз, как появлялся. Хагиока подбадривал его, говоря, что война — это такая болезнь человечества, рано или поздно жар спадет, и начнется выздоровление, так что не стоит отчаиваться.

— Это верно. У меня это дело жизни, я сам буду голодать, а лис накормлю. В крайнем случае хоть две пары, хоть одну пару, на развод, да оставлю. Но ведь жить-то надо. Вы

другое дело, вам не обязательно все шкурки до последней обращать в деньги, а вот мне...

— Ну что вы, мы с вами в одинаковом положении.

Строго говоря, это было не совсем так. От первого приплода в мае прошлого года Хагиока из десяти лисят оставил половину. Остальные пять через восемь месяцев, то есть месяц назад, были отправлены на бойню к Хирасэ и усыплены хлороформом. Из них предполагалось сделать воротники, предназначенные на подарки. Меховщик поначалу отказывался брать шкурки в обработку, ссылаясь на загруженность военными заказами, но помогли старые связи Хирасэ, и его удалось уговорить. Хагиока с нетерпением ожидал, когда воротники будут готовы. Один он подарит, конечно, Ёсико, два пошлет в Токио мачехе и сестре, еще один — жене Сасаки, последний — двоюродной сестре, единственной дочери дяди, живущей с мужем в Хиросиме.

— Это вы правильно говорите: война вроде болезни. Если и дальше так пойдет, то всыплют быстренько этим нахалам, и все кончится.

С этими словами Хирасэ встал со стула, бросил взгляд в окно и, заметив: «Скоро опять снег пойдет», вышел. На ногах у него были длинные резиновые сапоги, казалось, что его коротенькое туловище торчит из них, как из футляра. Некоторое время слышался тяжелый звук сапог, ступающих по насту, потом все стихло, и только тявканье лисиц нарушало февральское безмолвие. С наступлением сезона любви их лай делался резче и громче, в нем слышалась тоска желания. Сильнее стал и лисий запах; прошлой зимой, в первый брачный сезон, Хагиока всякий раз, входя в вольер, ощущал дурноту. Теперь он попривык, но все равно, задав лисам корм, непременно мыл лицом и руки с мылом. Потом, поднеся кончики пальцев к носу, нюхал:

— Совсем лисой провонял.

— Вовсе и нет. Вот Хирасэ-сан, от него действительно пахнет. Правда?

— Ну, ему этим впору гордиться. Обидно за него: война, торговля сошла на нет.

— Он знаешь, что жене говорит? Японо-китайская война быстро кончилась, японо-русская тоже, и двух лет не прошло. Вот и теперь: еще годик потерпим, и будет великая победа.

— Как знать, — пожал плечами Хагиока.

Однако и его сомнения оказались верхом оптимизма по сравнению с теми испытаниями, которые ожидали их всех в

действительности. Через «годик» война отнюдь не кончилась, а, наоборот, разгорелась вовсю. События показали японцам, что прежде они, воюя, даже не знали, что такое война, что там, где действует мощь организованного производства, манипулирующего несметными количествами нефти, угля, железа, каучука, проволоки и прочих ресурсов, не будет никакого толка от «укрепления духа» и нагнетания бессмысленного крика, пустого бахвальства и лжи.

Ко времени их четвертой зимы в горах население плоскогорья удвоилось за счет эвакуированных. Рассказ о том, как дорого была куплена развалюха у станции, относился уже к области давней истории. Такую цену давали теперь разве что за самую хлипкую конуру в четыре с половиной татами[1]. Особенно выросли в цене те самые железные печи для отопления и готовки: в дело шли даже старые, давно засунутые в глубь чулана, а новые, изготовлявшиеся из пары весьма дефицитных ныне железных баков, стоили четыреста-пятьсот иен штука.

Сасаки тоже столкнулся с проблемой печки, когда решил эвакуировать к себе на дачку Сумако и маленького Макото. Занятия больше не шли, но он должен был находиться в Токио в качестве руководителя мобилизованных на завод студентов и к семье мог наведываться лишь на Новый год да еще от случая к случаю во время деловых поездок на какой-либо из заводов, рассредоточенных по мелким поселкам в пределах префектуры. Семьи, живущие в разлуке, были теперь самым обычным явлением. В курортном поселке жило уже несколько десятков эвакуированных семейств, и можно было не тревожиться, что женщине с ребенком придется остаться одной в горах, к тому же всего в получасе ходьбы за железной дорогой жил Хагиока, на которого Сасаки мог положиться как на опытного зимовщика. Тем более что жены еще сильнее сдружились; чаще в гости приходила Сумако, чтобы доставить сынишке хоть небольшое развлечение. Как и Асама и все остальные окрестные горы, равнина лежала в снегу, но на дорогах были протоптаны узкие тропинки, для одного человека, и Макото, шагая впереди, скользил по ним в своих резиновых сапогах, словно на лыжах. Приятно было также чертить по снегу палкой, которую мальчику — а еще одну матери — вырезал из березовой ветки Томэ-сан. В получающихся бороздках снег отливал голубизной. Мать

[1]Менее 7 кв. м.

кончиком своей палки рисовала на снегу птиц. Когда не шел снег, то почти все время небо было ясное, воздух кристально прозрачный, приятно пригревало солнышко, и гулять по такой погоде было еще веселее, чем летом.

— И зачем это надевать, совершенно ни к чему, только потеешь, — говорила Сумако, снимая защитный капюшон из толстой хлопчатобумажной ткани. Он ужасно мешал, и не только потому, что уже наступала весна.

Однако даже в этой глуши теперь порой звонил набатный колокол на вышках — одна была в деревне за рекой, у подножия горы, другая — на станции. Радио Хагиока с началом войны окончательно возненавидел и в доме иметь его не желал, поэтому о воздушных налетах они узнавали по звукам набата. Хагиока часто думал о дяде — он ведь даже не знал, на каком корабле и в каком море тот сейчас находится. Мать и сестра жили теперь в городе Нара: сестра после его отъезда в горы вышла замуж, и женщины, которым все равно предстояла эвакуация, переехали в дом ее мужа.

— Там и с продовольствием полегче, да и не станут же американцы бомбить японскую Флоренцию, — сказал Хагиока как-то раз, когда об этом зашел разговор.

— Да, а каково тем, кто сейчас в промышленной зоне, — отозвалась Сумако, думая о муже.

— Сумако-сан уж на что уравновешенная, но говорит, что стоит ей подумать, как там Сасаки-сан, и она уже рвется обратно в Токио, — говорила Ёсико.

— Что ж, это понятно, но этого не надо делать хотя бы ради Мако-тян. И потом, Сасаки не из таковских. Он не пропадет.

— Я тоже каждый раз ей все это говорю, успокаиваю.

Вскоре, однако, ей самой понадобилось, чтобы кто-нибудь ее успокоил.

Однажды рано утром за Сумако пришел Томэ-сан. До сих пор такого не бывало. Сумако прокричала ему на ухо: «Что случилось?», но глухой бормотал что-то невразумительное. Так и не добившись толкового ответа, Сумако собралась в дорогу. Томэ-сан грузно опустился на земляной пол в передней, чтобы Макото залез к нему на спину. Увидев это, Сумако поняла, что их действительно очень ждут. Она встревожилась и поспешила за бородачом, который широко шагал впереди с мальчиком на закорках. Они дошли на несколько минут раньше, чем обычно. Открывшая им Ёсико не могла вымолвить ни слова, она была вся в слезах. В доме

стоял сильный запах сулемы. Все стало ясно. За год до этого, ранней весной, Хагиока тоже мучился кровохарканьем.

— Мако-тян, пойди покорми козу. Томэ-сан тебя проводит.

Сумако немедленно отправила сына в кладовку не только для того, чтобы остаться возле печки вдвоем с подругой, но и для того, чтобы мальчик не входил вместе с ней в комнаты. Ёсико сказала, что со вчерашнего вечера у больного было четыре приступа кашля с кровохарканьем, сейчас он спит. Первый приступ начался, когда он и Томэ-сан понесли лисам похлебку. Томэ-сан испугался и прибежал, но ничего не мог объяснить, а только издавал странные хриплые возгласы, как настоящий немой, и показывал руками в сторону вольеров. Ёсико обомлела, выбежала на улицу. На снегу возле лисьего сарайчика бросалось в глаза красное пятно. Над ним темнела долговязая фигура в синем свитере: прислонившись к сетчатой ограде, Хагиока обтирал рот платком. При виде подбегающей Ёсико он беспомощно улыбнулся одними глазами — карими, мягкими, с округлым разрезом, все говорили, что они точь-в-точь как у покойной матери. Взгляд был полон не страдания, не испуга, а, скорее, робкой мольбы о прощении, как у нашалившего ребенка. Он не отрываясь смотрел на нее, словно вбирая ее в себя глазами, до тех самых пор, пока она не подбежала вплотную.

Комната, в которой лежал больной, с кроватью, купленной у выселенного из нижней Каруидзавы иностранца, и специальной печкой для отопления, приобретенной еще во время прошлогоднего обострения болезни, была прибрана так чисто, будто это был другой дом — не тот, где в кухне, она же столовая, ютились Томэ-сан, коза и куры.

— Что, Сумако-сан пришла? — сонно спросил Хагиока, все это время дремавший с ледяным компрессом на лбу. Сумако села перед ним так, что он видел лишь ее темный силуэт на фоне окна, и, должно быть, он принял ее за Ёсико. Голос у него был хриплый, но лицо спокойное, как всегда после долгого сна, и румяное — правда, от высокой температуры. В общем, он выглядел почти так же, как обычно.

— Как вы себя чувствуете? Ёсико-сан пошла сменить лед.

— Хорошо, голова уже не болит. Скоро все будет в порядке.

— Ну конечно, — подхватила Сумако. — Только вам обязательно нужен покой.

Однако кровохарканье не прекращалось целую неделю.

Врачей в здешних поселках не было. Местные жители были из тех, что обходятся без врача, и новым поселенцам в случае необходимости оставалось лишь обращаться к докторам из таких отдаленных мест, как Кусацу, Каруидзава или Коморо. Обычно на это предпочитали не тратить усилий и денег, так что заболевшие вымирали по закону естественного отбора, как трава на плоскогорье с наступлением зимы. Однако в результате эвакуации возле станции поселился врач по фамилии Маки, который открыл практику. Это был пожилой, опытный доктор, передавший сыну свою больницу в префектуре Тиба; он производил впечатление славного человека и к тому же увлекался живописью, так что когда в прошлом году Хагиока заболел, то у них сложились отношения более близкие, чем обычно бывают у лечащего врача с пациентом. Теперь этот Маки-сан помог отчасти решить проблему сиделки, которую негде было найти: он стал присылать медсестер из больницы сына. Помогала и Сумако, приходившая и дежурившая ночью. Макото в этих случаях оставался на попечении соседки О-Нами. Хирасэ же взял на себя уход за лисами. В условиях, когда по всей Японии у людей подводило животы, не уморить голодом десяток пар лисиц удавалось только за счет кое-каких дополнительных доходов, которыми располагал Хагиока. Тем не менее рыбы уже не удавалось достать ни за какие деньги. Приходилось подсовывать лисам говяжью требуху, которую поставляли какие-то люди с расположенной неподалеку шахты, тайно резавшие коров. Хирасэ жалел сладкоежек лисиц и нередко ссорился на этой почве с О-Нами.

— Ты пойми, дурная твоя голова: время-то какое! Хоть бы правда прилетели американские самолеты и раздолбали бы эти твои дурацкие вольеры, все легче было бы!

Однажды во время такой перебранки, когда О-Нами, казалось, сама вот-вот налетит и расшвыряет кипящие котелки не хуже американского бомбардировщика, вошла Сумако в сопровождении доктора:

— О-Нами-сан, позвольте, мы у вас побудем, побеседуем.

Хагиока сказал, что хочет увидеться с Сасаки. Сумако сомневалась, следует ли его вызывать и не повредит ли больному эта встреча. Советоваться об этом с врачом нельзя было не только в присутствии самого больного, но и при Ёсико. Подчиняясь всеобщей человеческой слабости — принимать желаемое за действительное, Ёсико уже успокоилась: раз кровохарканья больше нет, значит, дело идет на поправ-

ку. К тому же Хагиока твердо заверил ее: «Не волнуйся, я не умру. Я поправлюсь, вот увидишь». Привыкшая принимать на веру все, что говорит муж, Ёсико и тут была уверена, что так и будет. Она просто не могла себе представить, что он вдруг перестанет существовать, оставив ее одну на свете, — как человек, проведший всю жизнь на этом плоскогорье, не может представить себе моря.

Маки-сан не возражал против того, чтобы вызвать Сасаки.

— А Нара? — в свою очередь предложил он. — Не сообщить ли тамошним родственникам?

— Вы думаете?

— Видите ли, у него неважно с сердцем.

Сумако судорожно сглотнула, не в состоянии что-либо ответить. Она тоже не предполагала, что болезнь зашла так далеко. Маки-сан с профессиональным спокойствием сказал, что смерть — это вопрос времени, а также что из-за воздушных налетов поезда ходят крайне нерегулярно и поэтому выезжать надо немедленно. Сумако пришлось объяснить врачу, что Хагиока в плохих отношениях с мачехой. Если мачеха с сестрой неожиданно приедут, это будет для больного равносильно объявлению смертного приговора.

— А если приедет Сасаки?

— Если он, то не страшно.

Сумако и раньше брала на себя переговоры с доктором и выполнение его предписаний. Там, где Ёсико только плакала, она быстро и ловко делала все, что требовалось. Но на этот раз, когда Маки-сан ушел, она долго не могла прийти в себя. Прозаическое сообщение о том, что положение крайне серьезно, прозвучало для нее страшной вестью. Ей тут же сделалось стыдно оттого, что у нее шевельнулась мысль: наконец-то можно будет повидаться с мужем. И снова стало жалко Ёсико. Она ведь еще ничего не знает.

Сасаки приехал, плюхнулся на стул возле кровати, насчет болезни только и сказал:

— Да брось ты, ничего особенного.

Потом сообщил, что письмо от Сумако шло целую неделю, что наутро он пришел на вокзал за пять часов до отправления поезда и все-таки сел лишь чудом, вернее, не сел, а втиснулся в вагон, набитый, как мешок с картошкой, что где-то возле Кумагая они два часа стояли в кромешной тьме, пережидая воздушный налет, что с каждой сиреной воздушной тревоги Токио все больше и больше перестает быть

Токио, что большой пожар после налета 13 апреля был просто историческим зрелищем, стоило посмотреть, что совершенно не дают покоя «грумманы», которые носятся прямо над головой, то ли дело Б-29, как они неторопливы и величественны, когда летят по лазурному весеннему небу со своими огромными крыльями и сверкающими пропеллерами, похожими на нимбы, и как хороши эти стройные авиазвенья, когда подлетают, серебристо поблескивая, жаль, что вражеские, одно загляденье, это какая-то совсем новая, динамичная красота, не уступающая красоте афинского Акрополя, и так далее, без остановки, не давая другу и слова вставить. Ужас и трагизм событий, о которых он рассказывал, тщательно камуфлировался напускной шутовской интонацией, и из рассказа невозможно было понять, был ли в городе вообще хоть один убитый или раненый.

— Но все же, как бы ни был Люцифер прекрасен, черт есть черт. Какой ты счастливый, что можешь жить здесь, сюда эти бандиты не добираются.

— Да, я счастливый, — эхом откликнулся Хагиока. Потом посмотрел на друга с насмешливой улыбкой, ясно показывавшей, что он понимает, почему с ним так тщательно выбирают темы, и сказал: — Вот что, Сасаки, я не для того тебя вызывал, чтобы слушать про воздушные налеты.

— О чем же мне еще рассказывать? Такая у нас в Токио теперь жизнь, — не поддался Сасаки.

Хагиока лежал исхудавший, бледный-бледный, только спутанные волосы чернели на лбу.

— Ты лучше послушай, что я тебе скажу.

— Скажешь: вот, не успел войти, начал нести всякую чушь. Ладно, давай, говори. Без предисловий.

Казалось, будто это не разговор у постели больного, а дискуссия двух приятелей, удобно расположившихся на неприбранных постелях в общежитии студенческих времен. Оба усиленно бодрились, но все же Хагиока вдруг резко повернулся лицом к стене. Когда Сасаки увидел его худую, почти мальчишескую шею, утонувшую в сбитых на сторону подушках, у него тоже навернулись слезы на глаза.

— Давай завтра, — сказал Хагиока, снова наконец взглянув на друга. — А то меня скоро в жар бросит. Утром приходи.

— Ладно, приду.

— До завтра дело терпит, — улыбнулся Хагиока сквозь слезы.

Надо было что-нибудь сказать, пускай совершенную

ерунду, но Сасаки не нашел ничего подходящего. Так и ушел.

На следующее утро комнату больного залило яркое солнце. Было начало мая — здесь, в горах, это ранняя весна. На столике у кровати торчали из бутылки ветки ивы с отдающими серебряным бархатистым блеском почками — знак того, что и тоскливой горной зиме пришел конец. Больному тоже было лучше, чем вчера. Черную щетину сбрили, и выглядел он хотя и исхудавшим, но красивым.

— Смотрите, какой он сегодня с утра нарядный. Ждет вас, — радостно сказала Ёсико, подавая завтрак. От прихода Сасаки она наивно приободрилась.

— Ты вчера застал меня врасплох, — сказал Хагиока, тоже с улыбкой. — Ёсико, — крикнул он вслед выходящей из комнаты жене, — Сасаки-кун посидит у меня немного, мне нужно с ним кое о чем посоветоваться, так что скажи, пусть Маки-сан придет после обеда. И не Томэ-сан чтобы шел к нему, а ты сама сходи. Все равно тебе пока нечего делать.

Они остались вдвоем. Ни тому ни другому не хотелось начинать разговор первым. Потом Хагиока вдруг спросил:

— Какое сегодня число?

— Девятое.

— Значит, послезавтра ровно четыре года, как мы сюда приехали. Как летит время. — Хагиока говорил как бы сам с собой, рассеянно глядя куда-то на беленый потолок. Не меняя позы, он заговорил опять: — Мне конец.

— Знаешь, если бы все так: харкнул кровью раза два — и готов, то в Японии уже давно не осталось бы чахоточных.

— Спасибо, что ты так говоришь, но хватит нам обманывать друг друга. Я уже ко всему готов. Ты вчера сказал, что я счастливый, а я ответил: да, счастливый. Так оно и есть. То, что я здесь и что умираю вот так, окруженный всеми вами, — это по нынешним временам редкое счастье.

— Нельзя же так — добровольно оставлять надежду и ждать смерти. Отказаться от желания жить, даже в самый тяжелый момент, — это трусость. Подумай хотя бы о Ёсико. Как она останется одна? Рано тебе умирать.

— Не надо. Не говори так. — Теперь Хагиока уже смотрел другу в глаза, и по лицу его безостановочно катились слезы. Сасаки приходилось вытирать их собственным платком. Хагиока сжал его пальцы обеими руками — с набухшими венами и обесцвеченными ногтями. — Про Есико мы еще поговорим. Все равно обо всем придется хлопотать тебе, и нужно будет подробно все обговорить. Одно только скажу:

если бы я ее не повстречал, то так и остался бы с детства до могилы несчастным, вообще не знал бы, что в жизни бывает радость. В этом смысле Ёсико была для меня спасением. Но сама она думает, что это я для нее был спасением. Сейчас она верит, когда я говорю, что не умру. Считает, я поправлюсь. Мы с ней и до женитьбы, и после друг другу не лгали, но тут приходится ее обманывать. Поэтому я за судьбу Ёсико после моей смерти несу бóльшую ответственность, чем просто муж.

— Тогда тем более ты должен укрепиться в стремлении выжить. А ты чуть ли не радуешься, что умираешь. Это недопустимая роскошь.

— Роскошь, говоришь? — Хагиока уткнулся подбородком в край яркого одеяла и замолчал, обдумывая эти слова. Потом, кивнув, снова заговорил: — Пожалуй, ты прав. Совершенно прав. Уже одно то, что идет война, а я лежу с туберкулезом, — это большая роскошь.

— Ну, положим, это ты уж чересчур.

— Нет, дай сказать. В последнее время, вернее, с прошлогоднего моего приступа, я тоже стал так думать — ну, может быть, не в таких выражениях. Во всем мире творится невесть что. Европа само собой, но вокруг нас-то на всех фронтах люди убивают людей. В прошлых войнах были и такие, кто непосредственно от пуль не погибал, а теперь воздушные налеты добираются до каждого. Горят дома, люди остаются без крова, без гроша, страдают от голода, ненавидят друг друга, воруют друг у друга, а я тут полеживаю себе в тепле. Когда не валяюсь в беспамятстве и не харкаю кровью, то и не мучаюсь особенно. Все ко мне хорошо относятся, продовольствие с черного рынка — пожалуйста, дрова — сколько угодно. Даже когда объявляется воздушная тревога, то набат этот где-то там, за лугами, за лесами, воспринимается не со страхом, а с поэтическим воодушевлением, что ли. Да можно ли позволить человеку так жить? Я иногда сомневаюсь.

— Ну, забрали бы тебя на фронт — что от тебя, больного, проку?

— А когда я еще здоров был? Мы ведь приехали сюда — думаю, надо говорить во множественном числе, — мы сюда приехали, не зная тех забот, которые других волнуют. Конечно, быт у нас тут стесненный, но социально мы же привилегированные, у нас есть деньги. И то, что я кончил университет, и то, что ушел из банка и занялся этими лисами в свое удовольствие, и то, что могу вот так лежать, — все по

этой причине. Мне ничего не пришлось за это отдать, я только получал. Когда-нибудь надо и расплачиваться.

— Разве это оплачивается болезнью?

По логике рассуждения, вместо «болезнь» должно было бы прозвучать «смерть». Сказать так Сасаки, конечно, не мог, хотя намеренно выражался с грубоватой прямотой. Но по тому, как что-то сверкнуло в глазах друга, Сасаки понял: непроизнесенное слово услышано. Тем не менее Хагиока не дрогнул, даже пошутил:

— Способ оплаты у каждого свой. Я уж знаю, я в банке работал. — Потом он сказал, что способ оплаты бывает разный не только у разных людей, у разных классов, но, видимо, и у разных стран. Сасаки ведь сам говорил когда-то, что, сколько китайской крови Япония пролила, столько японской крови когда-нибудь ей и отольется. Так вот это как раз и имеется в виду. Италия и Германия повержены, теперь Японии приходится одной противостоять всему миру. Вот и наступило для нее время расплаты. Хагиока остро это чувствовал. — Я с самого начала Маньчжурского инцидента был против войны. Но я ни разу не выразил это действием. Можно, конечно, сослаться в оправдание на нашу общую интеллигентскую трусость. Но многие другие тоже были против, и тем не менее их заставили пожертвовать ради чуждой им цели самым дорогим: кто сам погиб, кто потерял семью. От меня же этого не потребовалось. А уж если я умру, так и не испытав страданий и унижений, которые придется перенести оставшимся в живых как побежденной нации — а придется, поражения уже не миновать, — то это будет уже более чем роскошь. Это эгоизм.

Хагиока продолжал таким тоном, как будто речь шла о ком-то другом, со спокойствием и убежденностью человека, который постоянно сосредоточен на этой мысли:

— Христианин разрешил бы все эти проблемы с помощью Бога. Но я, к сожалению, неверующий. Конечно, до приезда сюда я много страдал. Подолгу мучился. Молился. Но это было просто моление некоей огромной, мощной силе. Молиться так, как христианин молится Христу или Божьей матери, я не умею. У меня даже «Наму Амида-буцу»[1] не выговаривается. Не повезло нам, что мы воспитаны вне религиозной традиции. Но знаешь, видно, потому, что я так люблю природу, когда я слышу, что тело распадется на ато-

[1]Молитвенная формула буддистов.

мы и снова возродится в иной форме, что эти атомы соединятся во что-нибудь еще, — вот это по мне. Я лежу и все думаю: может быть, я стану красивым облаком и поплыву над этим плоскогорьем. Может быть, стану иголками лиственницы. А может, каплей воды в ручье. Правда ведь?

Хагиока посмотрел на друга, ища согласия, потом перевел взгляд на стоящие у изголовья веточки ивы и улыбнулся:

— Вот цветы: может быть, на будущий год они уже будут мной.

Сасаки знал, что больному нельзя много разговаривать, но не прерывал его. Он понимал: для этого человека, страстно любящего природу, все подобные фантазии о переселении душ, о которых он так радостно говорит, самая настоящая религия; для него, не написавшего в жизни ни строчки, это последние стихи.

— Я однажды рассказал Ёсико греческий миф о Филемоне и Бавкиде. Я сказал ей: давай в момент смерти превратимся в какое-нибудь дерево — умрем в один и тот же час, в один и тот же миг. Тогда-то мы и поклялись друг другу в этом. До того, как у меня открылось кровохарканье, я некоторое время чувствовал себя так хорошо, что сам удивлялся своему здоровью, но как раз именно тогда меня не оставляло предчувствие смерти, и Ёсико я ревновал, как никогда раньше. Я не хотел, чтобы Есико оставалась жить после того, как меня не станет. Но сейчас мне все видится совсем по-другому. Она выросла в центре Токио, а я ее упрятал в эту глушь. В нашем токийском доме она не жила, а мучилась, здесь вот за мной ходит. Требовать, чтобы она разделила со мной еще и смерть, — да об этом и думать-то уже грех непростительный. Я разрываю клятву, которую мы с Есико дали друг другу. Но сказать ей это в лицо не могу. Прошу тебя: сделай это вместо меня. Пожалуйста. Когда меня не станет...

Слезы, выступившие у него на глазах при имени жены, уже невозможно было сдержать; они стекали на подушку двумя струйками и смешивались там. Чувствуя щекой эту теплую влагу, Хагиока начал делать конкретные распоряжения. Дом в Токио, кажется, пока цел, но, если сгорит, церемонию погребения праха там не устроишь. Пока церемония не состоится, Ёсико пусть живет здесь, как жила. Таков был первый пункт устного завещания, которое Хагиока просил ей передать. Их связывала не просто любовная клятва, но твердое слово мужа и жены, и, чтобы разорвать его,

такое завещание было самым неподходящим средством. Сасаки выслушал и пообещал сделать все, как сказано.

— Спасибо. Ради этой просьбы я тебя и торопил. Знаешь, я счастлив. И ты, и Сумако-сан были так добры ко мне. А Ёсико такая прекрасная жена. Пожалуйста, будьте с ней добры, как я. Хотя вас и просить об этом не надо... Еще я хочу помириться с мачехой и сестрой. Мы, собственно, и не ссорились, просто как они ко мне относились, так и я к ним, а это нехорошо. Я все им прощаю и прошу, чтобы они подружились с Ёсико. Ведь если подумать, то сестре теперь суждено стать матерью детей, которые не родились у меня. Нам следовало бы быть внимательнее друг к другу, жить дружно... Если уж на то пошло, то, что я повстречался с Ёсико, — это тоже было суждено. Судьба, провидение: какая удивительная вещь. И то, что я с вами вот так подружился: как это удивительно. У меня все вызывает такое чувство: и эта земля, и соседи наши, Хирасэ, и даже Томэ-сан. То, что я не отправился неизвестно куда, а приехал в эти края, стал их соседом, сделался хозяйном, принялся разводить лис — все это такая удивительная судьба. Даже эти лисы — я их теперь гораздо больше люблю, чем прежде. Позавчера, кажется, это было — пришел Хирасэ, сообщил: самка в третьем вольере через неделю ощенится. Так мне хочется дожить до рождения лисят...

Скромное желание умирающего исполнилось. Он прожил еще около двух месяцев и умер за две недели до окончания войны. В начале июня приехали мачеха и сестра, рассказали о том, как под городом Нагоя попали под страшный пулеметный обстрел, и уехали обратно. На похороны пришли всего два-три человека из числа живущих неподалеку эвакуированных, да и те заглянули больше из вежливости, ненадолго. Все хлопоты пришлись на долю Сасаки, еще успевшего застать друга живым. Крематория в этой местности не было. Гроб на исходе дня Хирасэ, Томэ-сан и несколько нанятых помощников отвезли во впадину на склоне, за деревней, что у подножья горы. Впадина была вся в колокольчиках и цветах патринии. Вырыли яму, накидали туда крупных поленьев, обложили гроб сверху тремя мешками древесного угля и старыми циновками. Так здесь принято было кремировать. Зажигать огонь полагалось священнику, но и это был вынужден взять на себя Сасаки. Женщин отослали. Но и самому Сасаки не позволили оставаться долго после того, как занялся погребальный костер. Это тоже был местный порядок. Сасаки и Томэ-сан тронулись в обратный

путь. Тропинка была узкая, рядом двоим не пройти, с обеих сторон ее обступали высокие травы. Становилось зябко. Стрекотали насекомые. В горах уже наступила осень. Луны не было, зато ярко сияли звезды. На фоне темно-пурпурного неба смутно вырисовывалась гора Асама. Из зарослей там и сям торчали раскрывающиеся к ночи головки дикой лилии юсугэ. Белея в безмолвной, пустынной тьме, эти красивые и немного колдовские цветы делали горный пейзаж сказочным. Сасаки знал, что Хагиока особенно любил цветы юсугэ. Он обернулся на слабый запах дыма, в сторону невидимого костра, и задумчиво сказал спутнику:

— И впрямь проводы в поля последнего упокоения. Совсем в его духе.

По поводу Ёсико все очень тревожились, но ничего такого не случилось. Не знали, как быть, если она будет плакать, но она почти не плакала. Только молчала, бессмысленно сидя, как слабоумная. Если бы Сумако силой не заставляла ее есть, она бы и не ела. Даже когда по радио передали, что кончилась война, и все кругом только об этом и говорили, она оставалась равнодушной, словно вообще забыла, что война была. Однако она не пыталась последовать за мужем вовсе не потому, что забыла о данном когда-то слове. И не потому, что нарушила верность ушедшему. И даже не оттого, что должна была хранить прах мужа до тех пор, пока можно будет провести церемонию погребения в Токио, как было ей завещано. Смерть мужа сломила ее, как удар молнии ломает дерево. Осталось тело, из которого ушло что-то самое важное: так в приборе перегорает предохранитель, и остается груда бездействующих деталей. Словно механический человек, Ёсико разговаривала односложными фразами: «да», «нет». По существу, она действительно сдержала слово и ушла вслед за мужем. Ее больше не было, были останки, разве что не претерпевшие физического разложения.

— Что-то неспокойно мне. Здорова ли Ёсико-сан. Вчера, например, и к окну-то не подошла.

— Ну, это как раз естественно. Лишь бы не тронулась, это похуже, чем чахотка.

Так втихомолку говорили между собой супруги Сасаки.

Усадьба в Токио сгорела во время налета 25 мая. Мачеха со всем семейством так и остались жить у зятя. Хагиока с дотошностью бывшего банковского служащего оставил подробные письменные распоряжения относительно Ёсико; испол-

нением их занимался Сасаки. Однако в тяжелой, неспокойной послевоенной обстановке вести всевозможные переговоры по этому делу было непросто. Сасаки надеялся на возвращение дяди покойного, от которого давно не было вестей. Известно было только, что вице-адмирал Каба ранен и лежит в госпитале на Тайване. Трудно было рассчитывать, что Каба приедет скоро, но вопреки ожиданиям он вернулся в конце января и без предупреждения явился в дом племянника в горах.

— Ой, а я думаю: кто бы это мог быть? — удивилась Сумако, отворившая ему дверь. — Ёсико-сан, Ёсико-сан! Дядюшка пожаловал!

К этому времени Ёсико выглядела так, как будто долгие годы пролежала прикованной к постели, иссушаемая болезнью. Она вышла из комнаты неуверенной походкой, тощая, высохшая, и молча, без всякого выражения смотрела превратившимися в круглые черные впадины глазами в затылок дядюшке, который снимал сапоги — делал он это с помощью Сумако, так как левой руки у него не было. Дядюшка был такой же долговязый, как Хагиока, и очень походил на него. Войдя наконец в дом, он сказал ей с высоты своего роста:

— Ёт-тян, милая, как жалко Синъити.

Никто давно не называл ее уменьшительным именем — казалось, к ней снова обращается Хагиока. Не в силах ответить на приветствие, она судорожно прижалась к дядюшкиной груди, облаченной в невиданный мундир, и зарыдала так, как не плакала и в смертный час мужа.

— Ну что ты, что ты, не надо так.

Ёсико не успокаивалась. Казалось, вся тоска, которая до сих пор жила в ней как бы заледеневшей, в один миг превратилась в слезы. Дядюшке пришлось с помощью Сумако отвести в комнаты не прекращавшую всхлипывать невестку, словно маленького ребенка.

С этого дня Ёсико стала постепенно возвращаться к жизни. И старый вице-адмирал, никому не нужный в новые времена вместе со своим мундиром, потерявший от взрыва хиросимской бомбы и жену, и дочь со всей ее семьей, оставшийся на свете один-одинешенек, тоже обрел вместе с ней новую жизнь.

Иногда к ним приходила Сумако, наконец-то получившая возможность жить на своей собственной дачке. Дядюшка занимался тем же, чем занимался в свое время Хагиока, Ёсико заботливо ухаживала за ним, как когда-то за мужем,

а сосед Хирасэ учил дядюшку, как разводить лис, — подобно тому, как прежде он учил этому племянника. Шестидесятитрехлетний вице-адмирал с покорностью новобранца, начинающего флотскую закалку с отдраивания палубы, следовал всем указаниям. Лисы вернулись в свои вольеры.

Одетый в старые рабочие брюки племянника и в его синий свитер, распущенный и заново связанный Ёсико ради дезинфекции, он брал своей единственной рукой ведро с похлебкой для лис и, размахивая пустым левым рукавом, шагал к вольерам. От его прежнего облика не осталось и следа. О прошлом он никогда не говорил. Даже когда приехал Сасаки, тоже ставший погорельцем и ютившийся в Токио у приятеля, он попросил:

— Пожалуйста, давайте не будем об этом, — и раз навсегда положил разговорам на эту тему конец. Зато сказал: — А знаете, Сасаки-сан, это я ведь благодаря Синъити нашел себе дело: этих лис. Все-таки работа.

Дядюшка сказал то же самое, что и Томэ-сан. Проигранная война поставила на одну доску адмирала и батрака.

Судьба сбросила старого вояку с капитанского мостика в морском бою, чудом дала уцелеть, а теперь велела ему в этой горной глуши заниматься делом, которое оставил ему племянник, не проживший и половины его лет, — и он беспрекословно подчинился этой удивительной судьбе. Как Ёсико была лишь живыми останками, так и он сделался живым скелетом, вроде валяющегося на аэродроме неподалеку разбитого самолета или военного завода, от которого остались одни проржавевшие железобетонные корпуса. Его зычный командирский голос годился теперь лишь на то, чтобы его слова разбирал глухой Томэ-сан.

— Все когда-нибудь пригодится, — похохатывал он.

Сосед Хирасэ слегка гордился тем, что знаменитый некогда вице-адмирал Каба ходит у него в учениках. К тому же он рассчитывал, что с американской оккупацией вырастет и спрос на лисий мех, и был полон оптимизма. Как когда-то племяннику, он рассказывал дядюшке о своих мытарствах с лисами — всю историю, начиная с самого Сахалина. Каба покладисто выслушивал эти рассказы, покуривая нормированный табак, а когда он кончался — труху из листьев аралии или гречихи, местное сельское эрзац-курево. Когда дело дошло до господина Канэко, японского посла в США, чьими заботами в Японию были доставлены первые черно-бурые лисы, Каба заметил, что слышал об этом в бытность

свою военным атташе. Это несколько повысило его акции в глазах Хирасэ.

— Вот оно как! Значит, вы, ваше превосходительство, тоже имеете к лисичкам кое-какое отношение!

С тех пор Хирасэ иногда называл моряка прежним титулом, на что Каба неизменно отнекивался:

— Ну, это не надо, не надо.

Однако такое обращение вызывало категорический протест у О-Нами, жены Хирасэ.

— Дурная твоя голова, — говорила она, — ты посмотри, Его Величество теперь уже не Сын Неба, а такой же человек, как мы. И Каба-сан тоже больше никакое не превосходительство. Что толку, что ты его так величаешь, он же не мальчишка, как этот Хагиока-сан, он на это не купится.

Наступила зима, пришел Новый год, наступил случной сезон у лис. Распаленные самцы с утра до ночи, а то и ночью вспарывали своим тявканьем морозный, до минус двадцати промерзавший воздух. Было решено, как прежде, что следить за ними с вышки будет с утра Томэ-сан, а после обеда Каба. Закончив обед, который ради равной длительности смен Ёсико подавала теперь немного раньше, он сразу же выходил на улицу и кричал снизу тем самым командирским голосом:

— Томэ-сан, смена пришла!

Бородатый Томэ-сан медленно спускался, а Каба начинал взбираться на вышку. Взбирался он с флотским проворством. Наблюдательное помещение с низкими, для удобства наблюдения, оконцами было тесноватое, всего в три татами[1]. В уголке имелся очаг, где пылал древесный уголь — местные жители тратят его не задумываясь, как воздух, — и на крюке кипел чайник. Прежде чем заварить чай, Каба закуривал. Глядя сквозь стекло на один вольер за другим, он попыхивал дымом. На площадках ли, освещенных желтым солнцем, в сарайчиках ли самцы неотступно следовали за пышными хвостами самок, и их любовный лай звонко разлетался над заснеженным плоскогорьем и несся к далеким окрестным горам. Каба тем же внимательным взглядом, каким когда-то следил с капитанского мостика за кораблями противника, неторопливо наблюдал за симпатичными зверьками.

[1]Около 4,5 кв. м.

МИНАКО ОБА

УЛЫБКА ГОРНОЙ КОЛДУНЬИ

Я поведаю вам историю горной колдуньи...

Старинные предания обычно начинаются так: перевязав седые космы бечевкой, колдунья сидит в своей хижине в горной глуши и поджидает заплутавшегося путника, мечтая полакомиться человечиной. Ничего не подозревающий странник стучится в дверь — и цепенеет от ужаса при виде хозяйки. Зажав во рту гребень с выпавшими зубьями, омерзительная старая уродина пытается изобразить приветливую улыбку. Подметив испуг юноши, она шамкает:

— Поди, думаешь: «Вот карга! Ну прямо кошка-оборотень!» — и на желтых клыках пляшут отблески пламени качающегося светильника.

Юноша вздрагивает от жуткой догадки: «Верно, она хочет съесть меня в полночь?»

Перехватив настороженный взгляд гостя, жующего просяную кашу, старуха ухмыляется:

— А теперь тебе взбрело в голову, будто я хочу съесть тебя в полночь!

— Нет-нет, я просто подумал, что меня как-то сразу сморило от горячей каши, ничего больше мне и в голову не приходило! — побледнев, оправдывается путник. А сам леденеет от ужаса: «Она уже греет воду в большущем котле, точно хочет сварить меня и съесть!»

Злорадно ухмыляясь, колдунья сипит:

— Знаю-знаю, что ты подумал: «Она уже поставила воду в большущем котле — не иначе как хочет сварить и съесть меня в полночь!»

Пугаясь все больше, гость пытается протестовать:

— Ну что ты, хозяйка, придираешься?! Просто я ужасно устал и разомлел от каши. Вот и решил, что лучше мне скорее лечь, чтобы завтра пораньше отправиться в путь.

Но про себя он думает: «Мерзкая карга! Наверно, это и есть та самая горная ведьма, о которых ходит столько легенд. Иначе откуда бы ей знать мои мысли?!»

А ведьма опять слово в слово повторяет все, о чем он только что подумал.

Стуча от страха зубами, гость с трудом выговаривает:

— Пойду-ка сосну...

На подгибающихся ногах он проскальзывает в соседнюю комнатушку и, не снимая одежды, ложится на циновку. А колдунья, провожая его взглядом, бормочет:

— Ага, надеешься улучить подходящий момент и удрать...

И точно, гость лишь притворяется, что хочет спать, а сам только и ждет, когда хозяйка отвернется, чтобы ускользнуть от нее.

Вот так колдунья разгадывает все помыслы своих жертв. В надежде на спасение пленник выскакивает из страшного логова, старуха — за ним. Несчастный мчится и мчится, собрав все силы, ведьма неотступно преследует его. Так заканчиваются старинные предания о горных колдуньях.

Но и ведьмы не рождаются на свет морщинистыми старухами. Когда-то и они были очаровательными малютками с тельцем, нежным, словно свежевыпеченная лепешечка, источавшим едва уловимый сладковато-кислый детский запах. Наверно, и они в пору девичества пленяли юношей своей шелковисто-атласной кожей. Наверно, и они впивались розовыми перламутровыми ноготками в плечи возлюбленных, когда молодые люди, припав к ложбинке меж округлых грудей, задыхались от страсти...

До нас не дошли легенды о юных колдуньях, живших в горах. Должно быть, в молодости они не в силах вынести одиночества. Наступает пора переселения душ и превращений в лесных зверей и птиц: лисиц, журавлей, цаплей, которые, обернувшись затем красавицами, выходят замуж за простых смертных. Оборотни обычно умны и нежно любят своих супругов. Однако судьба их, как правило, горька: им достаются жестокосердные мужья. Несчастные женщины превращаются в отощавших, облезлых тварей и бегут обратно в горы. Так гласят легенды. Не обиды ли и невзгоды причина тому, что эти бедняги вынуждены становиться колдуньями?.. Что же до людоедства, то, как знать, может быть,

это просто-напросто проявление высшей любви? Восклицает же умиленная мать, прижимая к себе младенца: «У-у, мой миленький, сладенький. Так бы ам — и проглотила тебя».

...Героиня нашего рассказа была настоящей горной колдуньей. И прожила она до шестидесяти двух лет.

Когда душа ее отлетела, усопшую омыли спиртом. И что же? — в ее годы кожа покойной была нежной и глянцевитой, словно у восковой статуэтки богини. В волосах серебрилась седина, на округлом животе голубели тонкие прожилки вен. Веки были безмятежно сомкнуты, легкая, едва уловимая улыбка, затаившаяся в уголках губ, придавала лицу выражение удивительной чистоты и застенчивости, словно маленькая девочка силилась улыбнуться, изо всех сил сдерживая подступающие слезы.

Она была настоящей колдуньей, но никогда не жила в горной глуши, хотя временами ее и тянуло туда. Жизнь ее прошла и завершилась в деревне, как у самой обычной женщины.

Но дар колдуньи проявлялся у нее с тех пор, как она помнила себя. Бывало, в раннем детстве, особенно когда малышка увлекалась какой-нибудь игрой, с ней нередко случался конфуз. Тогда девчушка сердито выговаривала подбежавшей матери:

— Опять мокрая! Ну как тебе не стыдно?! Надо же проситься на горшочек! У мамы нет для тебя больше чистых штанишек! — Мать смеялась, а девочка продолжала: — Ну и ребенок, взрослого в тупик поставит. Охо-хо...

Если вечером отец запаздывал, то стоило матери взглянуть на часы, как девочка говорила:

— Хотела бы я знать, что он там делает каждый вечер. Твердит свое: «Служба, служба!..» Скучно дома, вот и старается улизнуть... Что поделаешь, все они таковы...

Мать с кривой усмешкой смотрела на дочь, а та продолжала:

— Глупая девчонка! Малышам пора в постель! Дети, которые вовремя не ложатся спать, не вырастут и навсегда останутся лилипутами!

Способность дочери читать чужие мысли поражала мать. Женщина с тревогой думала: «Девочка, безусловно, умненькая. Но это так обременительно для других!»

Дочь подрастала. Когда мать покупала ей новую игрушку, та говорила:

— Хоть немножко передохну, пока она будет занята игрой. — И тут же, поймав беспокойный взгляд матери, до-

бавляла: — Как это ей всегда удается угадывать, о чем думают другие?! Прямо ведунья какая-то. Люди, наверное, будут ненавидеть ее за это...

Подобные мысли частенько приходили матери в голову, и девочка каждый раз произносила их вслух.

Когда дочь пошла в школу, мать облегченно вздохнула: теперь у нее появилось свободное время — хоть несколько часов в день. Но вскоре она заметила, что девочка замкнулась в себе и день ото дня становится молчаливее.

— Неужели школа так быстро сделала тебя молчуньей? — удивилась мать.

Дочь нахмурилась:

— Стоит мне что-то сказать, как все смотрят на меня с недовольным видом. Я и решила больше помалкивать. Взрослым нравится, когда дети делают вид, что ничего не понимают. Вот я и стараюсь доставить им удовольствие.

Мать девочки, как и подобало матери ведуньи, назидательно возразила:

— Говори то, что думаешь! Не следует притворяться, ведь ты еще ребенок...

Дочь пристально посмотрела ей в лицо и презрительно скривила губки.

В школе девочка успевала в основном хорошо. Но, получив низкую оценку, рвала листки с контрольной работой, не показывая ее матери. Зная, что мать будет бранить ее, если она не доест свой завтрак, девочка, когда у нее не было аппетита, по дороге домой выбрасывала еду в мусорный ящик. Но, чтобы не вызвать подозрений, порой приносила остатки завтрака домой, говоря в оправдание:

— Сегодня учитель объяснял урок так долго, что я даже не успела и доесть.

Время шло, вот она уже превратилась в девушку. Семья была не из богатых, и мать не могла покупать дочери дорогие наряды. Когда они вдвоем отправлялись за покупками, девушка сама выбирала именно ту вещь, которую мать считала наиболее подходящей. Делая вид, что покупка очень нравится ей, дочь наставительно говорила, читая мысли матери:

— Очень милая вещица. Молодой девушке не пристало щеголять в роскошных нарядах. Люди могут подумать, что она содержанка какого-нибудь престарелого богатея.

Мать долго грустно смотрела на дочь и по дороге домой вдруг раскошеливалась на какую-нибудь нелепую и беспо-

лезную покупку. Дочь, словно не разгадав материнского порыва, опять демонстративно радовалась.

Не только с родными, но и со всеми, кому ей хотелось понравиться, девушка с кажущейся непринужденностью выбирала нужную манеру поведения. Кому-то приятно было видеть ее смеющейся — и она смеялась. Кому-то не хотелось вести разговор — и она погружалась в молчание. Кто-то, напротив, искал собеседницу — и она без умолку болтала. С высокомерными умниками старалась казаться чуточку глупее их, но ни в коем случае не дурочкой. Ведь они считают, что водиться с глупцами — попусту терять время. С людьми недалекими она была обходительна, подыгрывала их наивной простоте.

Честолюбие порождало стремление нравиться все новым и новым людям, и это поглощало у девушки массу жизненной и душевной энергии. Незаметно для себя она стала сторониться знакомых и целыми днями сидела теперь в своей комнате за книгой.

На вопрос матери: «Почему ты совсем не выходишь из дому? Погуляла бы с подружками» — последовал краткий ответ: «Я устаю...»

Мать тоже чувствовала себя напряженно в присутствии дочери и испытывала облегчение, когда девушки не было около нее. Она мечтала, чтобы дочь поскорее нашла себе достойного избранника и покинула дом. Иными словами, наступила пора расставания.

Дочь тоже понимала, что она — обуза для матери. По правде говоря, она обостренно чувствовала это с тех самых пор, как помнила себя. И ей хотелось развязать матери руки и обрести свободу самой. В то же время в одном из уголков ее сердца гнездилась ненависть к родной матери, которая нет-нет да выплескивалась беспричинными вспышками гнева, свойственного бунтующей юности. Но вот она осознала, что́ ее возмущает: хитрые увертки матери, которая, прикрываясь родительским авторитетом, уклонялась от честного соперничества. И тогда ей внезапно открылось, что мать состарилась, а она превратилась в женщину.

В ее жизнь вошел Мужчина. Муж оказался самым обыкновенным, заурядным человеком. Он являл собой классический образец юноши, воспитанного в атмосфере материнского обожания, и был убежден, что принадлежность матери к женскому полу безоговорочно гарантирует ему полную свободу поведения. Став мужчиной, молодые люди такого склада ищут возлюбленную, которая во всем похо-

дила бы на мать. Жена должна быть снисходительна, как мать, и возвышенно-благородна, как богиня. Ей надлежит нежно любить мужа беззаветной, слепой любовью, но в то же время обладать душой, открытой для диких, демонических страстей. К счастью, ее спутнику жизни было хотя бы присуще нечто мужское — любовь к женщине.

Мужчина доставлял жене радость, и она почитала своим долгом всячески ублажать его. Она научилась видеть каждый закоулочек его души так отчетливо, словно ей довелось потрогать ее руками. Но это требовало изнурительных усилий. Блажен, кто не утруждает себя стремлением заглянуть в душу ближнего...

Мужу нравилось, чтобы жена постоянно ревновала его, и ей приходилось идти на это. При малейшем намеке на появление некой соперницы жена устраивала в ее присутствии сцены ревности.

— Прошу тебя, не уходи! Я не смогу без тебя! Совсем погибну! — всхлипывая и цепляясь за мужа, умоляла жена, и ей самой уже начинало казаться, что она в самом деле существо слабое и беспомощное.

Ему было по душе, когда жена принижала других мужчин. И она старалась, словно не замечая достоинств знакомых, выискивать их недостатки. Но муж ее был не настолько глуп, чтобы поверить заведомой лжи. Ему было чрезвычайно приятно, когда, разобравшись в человеке, она подчеркивала его недостатки, а если и отмечала некоторые достоинства, то с оговоркой, что подобные качества не в ее вкусе. Словом, женщине приходилось постоянно взвешивать каждое слово.

В довершение всего мужу, как ни странно, хотелось, чтобы жена была желанной и для других мужчин, но при этом принадлежала ему одному. Он не только допускал, он прямо-таки подталкивал ее на флирт. Видно, в глубине души все мужчины немножечко сводники.

Перечисление конкретных примеров из их взаимоотношений завело бы нас невесть куда. Пожалуй, следует только заметить, что иногда она забывала закатывать сцены ревности или кокетничать с другими мужчинами. А порой простодушно высказывала свои искренние впечатления о симпатичных ей людях. Муж тотчас же делал кислую физиономию и сокрушенно думал: «Как же она толстокожа! Как ленива, неделикатна!» Но и когда она во всем угождала ему, он философствовал с высокомерием мудреца: «Женщины — совершенно неуправляемые существа. Они ревнивы, ограниченны, мелочны даже во лжи. Они глупы и малодушны.

Недаром по-английски слово «мужчина» одновременно означает и «человек». А женщину человеком делает только ее принадлежность мужчине!»

Руководствуясь таким вот неравноправным, лишенным всякой логики соглашением, они умудрились прожить более или менее счастливо половину совместной жизни. Постепенно он и она состарились. Муж вошел в тот возраст, когда мужчины только и знают, что стонать да охать и жаловаться на недомогание. От жены он требовал беспрестанного внимания и любил повторять: «Приведись мне уйти из жизни первым, мысль о твоей судьбе не дала бы мне умереть спокойно!» Женщину охватывала тревога, и постепенно она уверовала, что муж ее действительно серьезно болен. Считай она иначе, он бы не успокоился, а без этого не нашла бы покоя и она сама. Женщина терпеть не могла ухаживать за больными, ей казалось, она не вынесет этого бремени и зачахнет. Но волей-неволей она превратилась в заправскую сиделку, за что и была удостоена похвалы от супруга:

— Именно такой род занятий соответствует женской натуре. Благо, что женщина наделена хотя бы этим талантом. Здесь никакой мужчина не сравнится с ней.

В ту пору она начала резко полнеть: при ходьбе появилась одышка, как у беременной. Причина крылась в здоровом желудке и отменном аппетите. К тому же ей — женщине деликатной и отзывчивой — всегда хотелось сделать людям приятное. Когда ее угощали, она съедала даже то, что не особенно любила, лишь бы никого не обидеть. Ведь все считали ее чревоугодницей, и отказ был бы воспринят как оскорбление. Супруг же кичился своей железной волей. Когда жена смущенно приговаривала за обедом: «Опять я увлеклась...» — он окидывал ее презрительным взглядом и укоризненно говорил:

— Ты совершенно бесхарактерная женщина!

У мужа хватало твердости отвергнуть специально для него приготовленное угощение, если только он считал, что это может повредить его здоровью. Это был человек непреклонный, и его абсолютно не заботили чувства окружающих.

Такие слова, как «небрежность», «безразличие», «сила воли», были для мужа и жены исполнены столь разного смысла, что временами ее охватывало чувство нестерпимого одиночества. Женщина испытывала настоящий страх не только перед мужем, но и перед многими из окружавших ее людей: ей казалось, будто она живет среди чужеземцев, говорящих на другом языке. Девочкой она сторонилась

сверстниц и затворялась в своей комнате, теперь же грезила о том, как бы сбежать в горы и поселиться там в полном уединении.

В горах никто не будет докучать ей и она сможет спокойно предаваться мечтам. Экстаз охватывал ее при мысли о том, как она могла бы разоблачить всех своих деревенских мучителей: тупиц и глупцов, изображавших самодовольных счастливчиков и героев — а все лишь потому, что им не надо читать в чужих сердцах. Какую тяжесть она сбросила бы с души, если бы смогла воскликнуть, подобно легендарной колдунье: «... Вот о чем ты подумал сейчас!» Это принесло бы ей облегчение, сопоставимое с тем, что испытывает животное, когда ему вовремя надсекают саднящую кожицу на лбу, давая свободу с трудом прорезающимся рожкам.

Рисуя картины уединенной жизни в горах, женщина представляла себя в образе прекрасной феи, возлежащей на залитой солнцем поляне, обрамленной зарослями деревьев и диких трав, где бродят лесные звери. Но стоит показаться кому-нибудь из деревенских, и фея тотчас превращается в ведьму. У пришельца от страха, как у слабоумного, отвисает челюсть, он начинает нести околесицу, выкрикивать вызывающие грубости, доводя колдунью до исступления.

Муж приходит к ней в горы в жалких лохмотьях. Он бродит вокруг ее хижины и лепечет, как провинившийся мальчик:

— Пропаду без нее, пропаду. Она так баловала меня, исполняла все мои прихоти...

Услышав знакомый голос, женщина всматривается в свое отражение в зеркальной глади источника: правая сторона лица озарена нежной материнской улыбкой, левая искажена злобной ухмылкой колдуньи. Из угла рта стекает кровь: ведьма раздирает человеческое мясо. И в то же время губы целуют мужчину, который, свернувшись калачиком, словно младенец, припал к ее груди.

...Ожирение давало себя знать: сосуды не выдерживали, и у женщины начал развиваться склероз. Немели пальцы рук и ног, появились головные боли, звон в ушах. Женщина обратилась к врачу, но тот успокоил ее, сказав, что все это обычные проявления климактерического периода. А ведь ей едва исполнилось сорок. Последующие двадцать лет врачи продолжали придерживаться того же диагноза.

Муж полагал, что женщины выносливее мужчин, крепче и духом, и телом. Он любил приводить массу статистических данных о большей продолжительности жизни у женщин и

утверждал, что из них двоих первым умрет, бесспорно, он. Жена считала, что статистически жизнь мужчин короче отчасти потому, что многие из них сокращают ее себе сами: гибнут на войне или становятся жертвами преступного мира. Но, поскольку доказать свою правоту с помощью цифр ей было не под силу, она предпочитала не вступать в спор.

— И правда, мужчины только внешне сильнее нас, но ведь у них такие ранимые сердца. Конечно, они существа уязвимые, слабые, за это женщины и любят их...

Сказав это, она сознавала, что покривила душой, и, тут же мысленно возразив себе: «Без мужчин жизнь стала бы совсем мрачной», опять принималась усердно обихаживать мужа, не перестававшего жаловаться на недомогания. Несколько часов в день уходило у нее на приготовление диетических блюд, протертых и нежных, точно корм для малого птенчика.

Женщина чувствовала, что с ее состоянием здоровья при таком образе жизни она долго не протянет, но не находила возможности изменить хоть что-нибудь и продолжала ублажать супруга, убежденного в собственной немощности.

Однажды утром она долго не могла отвести взгляд от своего отражения в зеркале: борозды глубоких морщин, словно у горной ведьмы... отвратительный рот с редкими, пожелтевшими, как у старой кошки, зубами... на волосах белая изморозь седины... В руках появилось хрустящее, болезненное покалывание ледяных иголок. Тело казалось онемевшим, чужим. Ей вдруг вспомнилась мать, умершая много лет назад. Ток крови замедлился, перед глазами поплыл туман. На какой-то миг женщина впала в забытье. Когда слабое сознание забрезжило вновь, руки и ноги уже не повиновались ей, по всему телу растекался холод.

Муж привык к тому, что хозяйка вставала затемно, чтобы приготовить завтрак, и был крайне удивлен, почему она все не поднимается — супруги около сорока лет спали в одной постели. Увидев рядом с собой по-лягушачьи распластанное неподвижное тело, мужчина, вечно брюзжавший и ныввший, мгновенно забыл о собственных хворях и сам доставил жену в больницу. Врача, который еще накануне утверждал, что у больной всего лишь климактерические расстройства, словно подменили. Он установил диагноз: тромбоз мозга — и предупредил, что при неблагоприятном течении болезни это может очень быстро привести к печальному исходу. Муж поначалу совсем потерял голову, но потом, взяв себя в руки, срочно вызвал сына и дочь, живших далеко

от родителей. Дети не замедлили явиться. Вместе с отцом они дежурили около матери, у которой уже отнялась речь.

Последующие два дня были, пожалуй, лучшими днями в ее жизни. Муж и дети, сменяя друг друга, растирали ей руки и ноги, с готовностью выполняли самые неприятные, обременительные обязанности.

За двое суток кризиса не наступило, однако не было и признаков улучшения. Сознание продолжало угасать: женщина не узнавала окружающих.

— Несмотря на избыточный вес, у вашей матушки очень крепкое сердце. Она может прожить гораздо дольше, чем мы предполагали, — задумчиво склонив голову, заключил врач. — В моей практике был такой случай: больная с аналогичным диагнозом протянула на одних капельницах больше двух лет, так и не приходя в себя.

При этих словах муж и дети, стоявшие у постели матери, приумолкли. Сославшись на неотложные дела по службе, сын объявил о своем отъезде и высказал надежду на то, что в ближайшее время ничего не случится. Дочь сидела с мрачным видом: она уже беспокоилась о собственной семье.

— Побудь хоть ты еще немножко! — взмолился несчастный отец, просто не представлявший, как он справится один.

Дочь неохотно согласилась. Она вспомнила, как ухаживала в детстве за ней мать. Болезнь была опасная, и женщина буквально не отходила от кроватки дочери и спасла ее. «Если бы не мама, меня самой сегодня не было бы в живых!» — подумала дочь, сидя у постели разбитой параличом матери.

Прошло еще два дня. Глядя на мать, которая никак не реагировала на окружающее и, по сути дела, превратилась в живой труп, способный разве что дышать, дочь гадала, сколько же может протянуться такое положение. «Конечно, умирать в шестьдесят два года, пожалуй, несколько преждевременно. Но ведь человеку рано или поздно суждено умереть. Как знать, быть может, это милость судьбы — уйти из жизни окруженной заботой близких?..»

Со страхом вспомнила она рассказ врача о больной, прожившей в таком состоянии больше двух лет. «Хватит ли у отца сбережений, чтобы платить за лечение, если и маму ждет подобная участь? — с опасением подумала дочь. — Впрочем, худшее не это. Ни брат, ни я просто не можем постоянно находиться при ней, забросив собственные семьи!»

Молодая женщина вдруг подумала о своей пятилетней

дочурке, оставленной на попечение свекрови. Как раз в таком возрасте она сама заболела менингитом. Дочь с поразительной отчетливостью внезапно увидела фигуру обезумевшей от горя матери, которая, забросив все домашние дела, сидела, боясь пошевелиться, у изголовья горевшей в жару девочки. Как ни странно, эти воспоминания отвлекли ее мысли от умирающей матери. Молодую женщину охватило глубокое беспокойство: ей мерещилось, что дома без нее заболела дочурка...

Безучастная к заботам и треволнениям дочери, больная лишь изредка поводила бессмысленными глазами и издавала хриплые нечленораздельные звуки, более походившие на звериное мычание. В таком состоянии она прожила еще двое суток.

Следующее утро выдалось облачное и хмурое, как это нередко бывает весной в пору цветения вишни. Дочь с трудом поднялась с постели. Очевидно, сказывалась накопившаяся усталость: ведь уже целую неделю она неотлучно находилась при матери. Молодая женщина рассеянно поглядела на спящую: та продолжала ритмично дышать, но по-прежнему не приходила в себя. У нее немножко запали щеки, и от этого лицо казалось помолодевшим и даже красивым.

Когда врач закончил утренний осмотр, дочь попросила разрешения вымыть больную, явно нуждавшуюся в этом. Врач дал наставления сиделке и вышел. Та принесла все необходимое и деловито принялась приподнимать и крутить беспомощную женщину, словно это было бревно, а не человек.

Дочь нерешительно попыталась помочь. Стянув перепачканную, пропахшую потом сорочку, больную уложили на спину. И в этот момент она неожиданно широко раскрыла глаза и внимательно посмотрела на склонившуюся над ней дочь. В оживших, засиявших глазах мелькнуло подобие улыбки. То была мгновенная вспышка, яркая и печальная. Свечение тут же погасло, взгляд опять помутнел. Из уголков рта потекла слюна. Горло вдруг сжалось в напряженном спазме. Зрачки остановились, женщина вытянулась и застыла. Все произошло в считанные секунды.

Перепуганная сиделка бросилась за врачом. Тот примчался и начал делать искусственное дыхание, потом схватил шприц с толстой иглой и ввел стимулирующий препарат прямо в сердце. Все это скорее походило на попытку реанимировать подопытное животное во время неудавшегося

эксперимента. Во всяком случае, было проделано все возможное, чтобы заставить заработать остановившееся сердце.

Но женщина была мертва.

А, если сказать всю правду, она, собрав последние силы и волю, захлебнулась слюной, сознательно вызвав у себя смертельное удушье.

Обменявшись с дочерью прощальной улыбкой, умирающая безошибочно прочла ее мысли. Глаза дочери ясно говорили, что она больше не хочет быть рядом с матерью. «Мама, я уже не нуждаюсь в тебе. Твоя миссия завершилась! Иное дело, будь ты в состоянии жить, рассчитывая на собственные силы, не обременяя других... Но ведь теперь я должна взвалить все тяготы по уходу за тобой на себя. Нет, мамочка, если ты не хочешь мучить меня — тебе лучше тихо исчезнуть... Сама я уже сейчас готовлю себя к тому, чтобы уйти из жизни, не доставив моей девочке тех мучений, которые я вынесла здесь, подле тебя. Мой долг — поступить так. Я не желаю уподобляться тем родителям, которые становятся обузой для детей, будучи не в силах проявить необходимую решимость!»

«Что ж, наша дочь унаследовала от нас с мужем двойную силу воли. Пожалуй, она проживет в добром здравии до ста лет, не поддаваясь соблазнам и ведя размеренный образ жизни. Или будет жить как ей вздумается, сохранив подобающую твердость духа, чтобы самой уйти из жизни в восемьдесят». Умирающая была довольна собственной дочерью, которую она родила и взрастила.

Лицо дочери заслонило лицо ее уехавшего брата. Женщина разглядела его в уличной толпе далекого города. Виновато улыбнувшись, сын заговорил: «Знаешь, мама, дома меня с нетерпением поджидают горластые, прожорливые птенцы. Сам не знаю почему, но я должен доставлять им пропитание. Я только и делаю, что летаю с кормом к своему гнезду. Если бы, забросив свои дела, все без конца сидели возле своих матерей, человечество давно было бы обречено на гибель. Очевидно, моя забота о малышах — единственный способ сохранить и передать потомкам тепло той крови, которую ты влила в мои жилы».

Затем женщина перевела взгляд на мужа, с удрученным видом стоявшего около нее. Даже в глубоком горе старика не могла не поразить красота ее обнаженного тела. Вдовца согревала мысль, что он до последней минуты преданно ухаживал за женой. Самое большое счастье для человека — сделать счастливым другого. Женщина была довольна мужем,

способным найти утешение в любой ситуации. Она благословляла его и молила судьбу быть милостивой к мужу после ее кончины. В тот же миг ей почудился похоронный звон колоколов, провожавший ее в последний путь.

Сама, своими руками она запахнула белый саван. Оглянувшись назад, она вдруг увидела, как по пересохшему руслу реки мчится человек с разметавшимися от ветра волосами. Неизвестно откуда взявшаяся попутчица, тоже облаченная в саван, пояснила: «Его преследует горная ведьма!»

Женщина улыбнулась, почувствовав, как в груди у нее вдруг забилось сердце горной колдуньи. Сердце сокращалось мощными толчками, но отказали сосуды: необратимые уплотнения лишили их эластичности и мешали току крови.

Пришла пора вернуться душе колдуньи в тишину гор. Близок долгожданный миг, когда, распустив свои седые волосы, она встанет на краю утеса и, сверкая горящими глазами, нарушит горное безмолвие раскатами оглушительного смеха! Конец эфемерной мечте спуститься с гор и, изменив свой облик, пожить среди людей...

Женщине вспомнились дни, проведенные в грезах о жизни в горной глуши, вспомнилась печаль маленькой девочки, впервые ощутившей неприязнь к людям, и она покачала головой. Доведись ей в ту пору жить в горах, она, верно, превратилась бы в ведьму, пожирающую заблудившихся путников.

Она часто раздумывала, что лучше: жить в горах и быть ведьмой, питающейся человечиной, или жить среди людей с сердцем горной колдуньи. Теперь ей казалось, что особой разницы и не было. В горах ее называли бы горной колдуньей. В деревне считали бы оборотнем, а может быть, принимали бы за обыкновенную женщину, сильную духом и телом, прожившую долгую жизнь. Вот и вся разница, но суть-то едина.

«Наверно, и покойная матушка была настоящей ведуньей...» — пронеслось в сознании умирающей.

Поразительно, но в момент кончины на безмятежно-спокойном лице женщины светилась детски невинная улыбка.

Дочь, всхлипывая, судорожно цеплялась за мать, окончившую свой долгий путь. Взгляд ее из-под опухших от слез век выдавал чувство невыразимого облегчения; она прошептала: «Какое прекрасное у мамы лицо... лицо женщины, прожившей поистине счастливую жизнь...»

Муж беззвучно рыдал, широко раскрыв свои по-рыбьи выпуклые глаза, полные слез.

ФУДЗИКО ОТАНИ

ЕЕ ПОСМЕРТНОЕ ИМЯ

Однажды, когда в деревне хоронили кого-то из местных, Мацу обратила внимание на то, что могила сделана сразу на двоих — и для мужа, и для жены. Впрочем, жена пережила супруга ненамного, скончалась менее чем через год. Это были старые супруги из родовитой семьи, но муж уже давно жил отдельно, в городе у любовницы, почти не наведываясь в семью. Даже дух испустил и то в доме, что снимал для своей пассии. Оставшиеся в деревне сыновья не то чтобы по обычаю, а скорее из упрямства поставили отцу и матери единое надгробие. Говорили об этом разное. Одни — что теперь в семье не будет конца раздорам, другие — что жена покойного найдет наконец успокоение в одной могиле с мужем.

А на похоронах вдовы появилась, стараясь не бросаться в глаза, бывшая любовница, пожелавшая, вероятно, отдать последний долг. Ее фигурка, маячившая в отдалении, вызывала чувство неловкости — неужто пришла лишь для проформы?.. После того как провожающие стали расходиться, женщина украдкой подошла к могиле. Могло показаться, что это унизительная двусмысленность ее положения вынуждает ее вести себя таким образом, на самом же деле ей просто хотелось побыть наедине с покойным.

У Мацу, случайно заметившей ее, возникло ощущение, будто она стала невольной свидетельницей окончательного выяснения отношений в этом любовном треугольнике. Та, которую называли «любовницей», уже превратилась в старуху, еще более безобразную, чем умершая вдова. Поговаривали, что в отличие от высокомерной и холодной со-

перницы она была нежна и приветлива нравом, чем и приворожила чужого мужа. Мацу видела, как она кружила вокруг могилы, не отводя глаз от надгробного камня, обращаясь к нему и что-то бормоча под нос.

«С покойным разговаривает! — подумала Мацу. — Страдает оттого, что не она, а постылая жена с ним в могиле».

Вскоре старуха оторвалась от могилы и, проходя мимо Мацу, неожиданно обернулась к ней:

— Раз умер, значит, ничего не понимает. Скоро сгниет уже, в земле-то... Все, что было у нас, было при жизни... А сейчас-то и говорить не о чем. Вот так-то!

Последняя фраза, видимо, укрепила дух женщины. Засмеявшись, она все быстрее и быстрее зашагала прочь от могилы.

Мацу иногда вспоминала тот день. В ее сердце снова отпечатались слова: «Все равно ничего не понимает... все, что было, было при жизни». От них, как ни странно, становилось светлее на душе, правда, смеяться, как та женщина, Мацу бы не смогла. Это было ее сокровенной тайной.

«Тебя от могилы не оторвешь — все с муженьком никак не расстанешься!» — говорили ей односельчане. В этих местах умерших все еще хоронили в земле, а не сжигали, а могилы устраивали где угодно — в уголке земельного надела, у подножья горы, на невысоких холмах. Каждая семья имела свое захоронение. Место захоронений семьи Мацу — на холме. Здесь же погребен ее муж. Поскольку могилу сразу сделали супружеской, на надгробии высекли и ее посмертное имя. Так еще во время войны у Мацу появилась собственная могила.

В их краях принято делать общую могилу для супругов. Кто бы ни умер первым, оставшийся в живых прежде всего принимался за устройство последнего приюта, последней совместной обители на земле. Однако обычно этим занимались люди пожилые. И действительно, если человек доживает отпущенное ему время, если он не собирается еще раз вступать в брак, такая предусмотрительность вполне уместна. Как жили бок о бок все годы, так и заснут вечным сном рядышком, под одним постаментом. Старику естественно прийти сюда под занавес долгой жизни и самому закрыть его за собой. Но посмертное имя для такой молодой женщины, какой была Мацу, украсившее надгробную плиту мужа... Это было противоестественно.

Когда муж погиб на войне, все, да и сама Мацу, решили, что вторично она замуж не выйдет. Вот почему могила и ста-

ла супружеской. И никто в те годы не увидел в этом ничего странного. Впрочем, Мацу не заливалась, подобно другим вдовам, слезами по потерянному мужу. Она даже обрела некоторое умиротворение.

Один человек по имени Канэсигэ подтрунивал над Мацу:

— А вы уверены, что это действительно прах вашего мужа? Вы же не видели собственными глазами, так что поручиться нельзя. А вдруг произошла ошибка и там чужие останки? Тогда вам, хозяюшка, не позавидуешь...

И впрямь, если вместо праха мужа захоронили кого-то другого, странная получалась история...

Когда Мацу получила письмо от фронтового товарища мужа, бывшего рядом с ним в момент гибели, она долго не могла прийти в себя. Потом у нее возникли некоторые сомнения относительно подлинности останков, доставленных с далекого поля боя, — не произошло ли подмены? Ее угнетала мысль, что она не могла удостовериться в том, что это прах ее мужа.

— Тогда получится, что я вторично выйду замуж — только уже в могиле, — отвечала Мацу.

Как бы угадав ее мысли, Канэсигэ ухмыльнулся. С той поры, как он стал захаживать в их дом, все как-то смешалось, перепуталось.

Вообще-то, Канэсигэ — это прозвище, которое местные дали переселенцу Канэи Сигэёси. Канэи появился в числе эвакуированных, стекавшихся во время войны в эти места. Он выдавал себя за сотрудника некой фирмы, но никто не проверял, так ли это на самом деле. Он говорил, что ожидает прибытия жены и багажа. Багаж действительно вскоре доставили, а вот супруга все не появлялась.

Мацу до сих пор помнила, как опешила при его первом визите. Загородив своим крупным телом дверной проем, Канэсигэ обратился к ней на местном диалекте:

— Не надо ли в чем пособить, хозяюшка? Без мужских рук небось совсем худо, а? Исполню-ка я у вас свою трудовую повинность, все польза будет. А то хожу здесь как неприкаянный — раз эвакуированный, так теперь никому и не надобен.

Мацу ответила, что справится своими силами, и, поблагодарив, отказалась. Отказ не смутил Канэсигэ. Он зашел в дом и устроился у очага.

— Вы уж меня не гоните, дайте поработать... — сказал он

смущенно и, пряча глаза, обвел взглядом комнату. Несмотря на подобострастность и напускную застенчивость, в нем чувствовалась какая-то нахрапистость. Казалось, промолчи она — и он тут же выскочит в поле за домом и начнет махать мотыгой.

Всем своим видом он как бы говорил: «Какие тут могут быть стеснения — муж погиб на фронте, семья осталась без кормильца, надо помогать!»

Хотя их разделял очаг, у Мацу было такое чувство, что он прижался к ней и шепчет на ухо.

— Да разве вы сможете?.. — возразила Мацу. — Это наше дело, крестьянское... Пусть уж лучше каждый занимается, чем умеет.

Канэи, выбив трубку, поднялся:

— Смогу, не смогу... Вы хоть попробовать дайте.

Взяв стоящую в углу мотыгу, он вышел. А уж через два-три дня мотыжил участок Мацу с таким видом, будто это и впрямь была его непосредственная обязанность.

Вскоре Канэсигэ перезнакомился с перекупщиками, приезжавшими в деревню за зерном, и, как правило, навязывал им цену выше, чем прежде назначала Мацу. Его поведение можно было толковать по-разному. Был он настырен, даже нахален. Но с другой стороны, это можно было расценить как проявление усердия, желания угодить Мацу. Сам Канэи вроде и не претендовал на какие-либо дивиденды. «Это моя трудовая повинность. На хлеб хватает, и хорошо», — говорил он жителям деревни. Приходил Канэсигэ на «отработку» ежедневно, словно на службу. С этим Мацу ничего не могла поделать. Только если он потребует оформить его как наемного рабочего, то тогда у нее появится повод отказать.

— Вот что значит сильный мужчина! — говаривала Мацу свекровь, проникшаяся расположением к невесть откуда взявшемуся помощнику.

Потеряв сына, старушка вбила себе в голову, что Мацу командует ею. Теперь она нашла себе заступника. Канэи стал звать ее «мамаша».

— Угодить мамаше всегда приятно. — Он чутко улавливал настроение пожилой женщины, с покорным и мнимо заинтересованным видом терпеливо выслушивал ее пространные воспоминания о сыне.

— Какой совестливый этот Канэи, — замечала свекровь Мацу. — На войну не попал, так решил исполнить свой патриотический долг, помогая семье погибшего солдата —

моего любимого сына. А с перекупщиками продовольствия как обращается — прямо отбоя от них не стало!

Да и сама Мацу стала замечать, что торговцев в доме изрядно прибавилось с тех пор, как дела повел Канэсигэ. Не вынимая трубки изо рта, он с простодушным лицом «обрабатывал» потенциальных покупателей. А те, стосковавшись по продуктам, недостаток которых был весьма ощутим, предлагали все больше денег и товаров, уговаривая хитрого Канэи. Несмотря на то что практически после каждой сделки Канэсигэ оставался в выигрыше, он прикидывался обделенным, заставляя партнеров думать, что действовал себе в убыток.

«Только ради вас, исключительно из доброго к вам отношения», — приговаривал он обычно. По словам Канэсигэ, городским покупателям особенно льстило, когда им говорили «только ради вас», хотя на этом они теряли в деньгах. Таким обстоятельством и надо пользоваться. Постепенно дом Мацу превратился в центр мелких торговых операций, куда устремились горожане. Канэсигэ всегда умудрялся подыскивать именно то, что им требовалось, и всегда всем всего хватало. Правда, товар у Канэсигэ получался довольно дорогой, но он умел убедить партнеров, что закупить продукты в одном месте, разом, все равно выгоднее, чем приобретать партиями у разных продавцов. Все понимали, что Канэи и себя не обижает, выступая в качестве посредника, однако он представлял это дело таким образом, что оказывает услугу голодающим горожанам, не в силах оставаться безучастным к их страданиям.

Благодаря своей оборотистости Канэи довольно быстро сколотил небольшой капиталец и снял в аренду у одного местного амбар. Все разговоры о трудовой повинности в семье Мацу были лишь для отвода глаз.

Ее дом явился для Канэсигэ как бы плацдармом для предпринимательской деятельности, для того, чтобы освоиться и утвердиться в незнакомых ему местах.

Когда Канэсигэ отправлялся на поиски продовольствия для горожан, ему было важно, чтобы его принимали как «господина Канэсигэ из дома Мацу». Этих слов было достаточно, чтобы перед ним открывались все двери, чтобы находились продукты, которые он иначе бы не заполучил, да и цена оказывалась не столь высокой.

Жители деревни считали своим долгом сделать все возможное для семьи Мацу. Еще бы — ведь Мацу, несмотря на

молодость, уже приобрела себе посмертное имя и готова лечь в могилу к своему погибшему на фронте мужу!

— Вот погляди-ка! Как Канэсигэ мне угодил — счастье-то какое! — Свекровь с радостным лицом примеряла теплую безрукавку. Наряд прислал ей в подарок один из клиентов-перекупщиков, но старуха решила, что это дар самого Канэсигэ. Ловкий работник завоевал сердце своей пожилой хозяйки. Он старался поддерживать репутацию честного малого, демонстративно отдавая свекрови или Мацу небольшую часть полученных в обмен на продукты вещей или денег. В ответ на изъявления благодарности отнекивался:

— Что вы, о чем говорить... Я ведь себе ничего не оставляю.

Последнее время свекровь то и дело пилила Мацу:

— Ты бы хоть постирать сходила к нему. А то человек столько времени дома не живет.

Была поздняя осень, уже посеяли ячмень для второго урожая. Вечернее небо над вершинами гор прояснилось, и стало прохладно. Мацу, ступая по опавшим листьям, отправилась к Канэсигэ, жившему у подножия горы. Она не знала, как вести себя с этим настырным человеком. Незаметно, исподволь, он вторгся в ее одинокую жизнь и использует ее дом для бессовестной наживы. Когда свекровь отсутствовала, Канэи заигрывал с Мацу, слегка над ней подтрунивая. Нельзя было понять, в шутку он говорит или всерьез:

— Подумаешь, посмертное имя. Вы-то вполне живая и здоровая женщина. Такую женщину рано хоронить, не правда ли?

Мацу смущалась, слушая фривольные намеки. И ведь не расскажешь никому...

Вот и владения Канэсигэ. Заглянув в амбар, Мацу невольно зажмурилась — глаза щипал дым. Дымился маленький очаг, который хозяин наскоро соорудил в амбаре. На дощатом полу — нераспакованные, перевязанные грубыми веревками вещи. И больше ничего... Для одинокого мужчины довольно чисто, опрятно. Поворот событий Мацу не нравился — она не собиралась помогать Канэсигэ в его делах.

— Давайте, что у вас там есть — починить или постирать, — сказала она. — Вы не подумайте, что это я сама к вам пришла. Если уж благодарить собираетесь, то обращайтесь лучше к мамаше! — выплеснула она на Канэсигэ свою досаду. Все свекровь — это она послала Мацу сюда, рас-

считывая на участие Канэсигэ к их жалкой женской доле. — Могли бы догадаться и сами принести вещи, а то заставили меня тащиться сюда, теперь небось нос задирать будете.

— О, Мацу-сан! Заходите! Вы небось уже забыли, как пахнет в мужском жилище. Без мужчины женщина стареет. Значит, матушка надоумила? — Канэсигэ, ухмыляясь, пытливо смотрел на пришедшую.

Тогда Мацу пришло в голову, что живется ему тяжелее, чем можно было подумать. А ведь благодаря успешной торговле денежки у Канэи должны водиться, хоть и пытается он выставить себя бессребреником. Но неясно, куда он их тратит. Всем говорит, что по-прежнему продает вещи или же что кормится в доме у Мацу. Ни для кого не было секретом, что Канэсигэ тайком отправляет в город рис и древесный уголь. Сам же жалуется, что жена обирает его до нитки... «Приходится как-то изворачиваться, чтобы помогать ей деньгами», — объяснял он. При этом Канэсигэ всячески старался уверить Мацу и свекровь, что навсегда бросил жену и помогает ей только затем, чтобы загладить свою вину.

— Проходите, не стесняйтесь, Мацу-сан...

...Когда Мацу покинула амбар, месяц уже стоял высоко, его мягкий свет просачивался сквозь деревья у подножия горы. Идя по дороге, она вдруг почувствовала крепкий запах криптомерии. Такой же запах исходил от очага в жилище Канэсигэ. Он топил его свежесрезанными ветками этого ароматного дерева. Запахом криптомерии пропитались все поры ее тела, и казалось, он никогда не выветрится. К аромату хвои примешивался запах самого Канэи. В ушах Мацу продолжало звучать прерывистое дыхание мужчины, а тело все еще ощущало его жаркие объятия.

И вот сейчас, охваченная истомой, расслабленная, она медленно ступала по шуршавшей листве. Снизу доносился какой-то равномерный шум. Приглядевшись, Мацу увидела мерцающие блики на струях горного ручья. Они красиво сверкали под лунными лучами, а слабое журчание воды лишь подчеркивало безмолвие, стоявшее вокруг. Постояв немного и полюбовавшись, женщина тихо побрела домой...

Дня два-три спустя свекровь, увидев, что Канэсигэ беседует с одним из торговцев, приказала Мацу подойти и присоединиться к разговору. Мацу вначале растерялась, не понимая, что от нее хотят. Она побледнела и кинула быстрый взгляд на свекровь: неужто догадалась? Но свекровь

интересовало другое. Не сводя глаз с Канэсигэ, она торопила Мацу:

— Вот ловкач-то, вот ловкач! В деревне все говорят — пока мы тут рот разеваем, он нас с тобой вокруг пальца обводит!

Старуха ворчала, суетилась, словно только сейчас осознала опасность, мол, если Мацу будет вот так стоять в нерешительности, Канэсигэ приберет к рукам все их имущество. Убедившись, что все их услуги Канэсигэ — починка, стирка белья — выливаются только в траты на нитки и мыло, свекровь резко переменилась к чужаку.

Мацу очень не хотелось подходить к Канэсигэ, но как объяснишь свекрови свой отказ?!

Канэсигэ тоже сильно переменился. Он вообразил, что Мацу преследует его, и стал с ней груб и неучтив. Покупателям он говорил о ней гадости. Это еще больше задевало Мацу, но она не осмелилась пересказать Канэсигэ слова свекрови.

— Кур кормят, чтобы они неслись. Это уж точно. А вот чужих кур кормить — хуже не придумаешь! — Свекровь бросила эту фразу, проходя мимо Мацу, кормящей кур. Нетрудно было догадаться, что под «чужими курами» подразумевался Канэсигэ, но Мацу только опустила глаза.

— О ребенке бы подумала! Сюсаку уже десять, хорошо, если я еще лет десять протяну. Будь жив мой сын, не довелось бы мне терпеть такое на старости лет.

Разразившись подобной тирадой, свекровь брала внука за руку и отправлялась на кладбище. Глядя на их поднимающиеся на холм фигурки, Мацу порой стискивала зубы от бессильной ненависти, которую вызывали у нее упреки свекрови. Еще больнее было сознавать, что та идет на кладбище, чтобы развеять тоску. Знай она правду, и посещение могилы сына не помогло бы.

Зиму они прожили без крупных ссор, но мелким стычкам не было конца. Канэсигэ сказали, что больше в его услугах не нуждаются, однако он, притворяясь, что ничего не понимает, продолжал наведываться как ни в чем не бывало. Приходилось терпеть: люди издалека приезжали за продуктами и без посредничества Канэсигэ им пришлось бы туго.

Мало-помалу в холодном зимнем воздухе стало чувствоваться дыхание весны, смягчились очертания гор, пробуждающихся к новой жизни. На деревьях набухли зеленые почки. У Мацу работы в поле было невпроворот. И тут, в самый разгар полевых хлопот, Канэсигэ куда-то пропал.

— Вот так и обманывают стариков, а сначала как муха на мед... — Свекровь с подозрением покосилась на невестку. — Интересно, отчего это он сбежал, ведь так прямо и льнул?..

Дня за два до исчезновения Канэсигэ люди видели, как Мацу и Канэсигэ вместе прогуливались по дороге, опоясывающей гору.

— О чем это вы с ним беседовали позавчера, хотелось бы знать? — никак не унималась свекровь. Мацу молчала.

Как-то раз Сюсаку по просьбе Канэсигэ вызвал Мацу из дома. Все думали, что Канэсигэ ушел к себе, а он, оказывается, крутился возле дома и, увидев Сюсаку, сказал, что ему надо кое о чем поговорить с его мамой.

Все эти совместные прогулки, тайные встречи порождали у свекрови острые подозрения. Она утверждала, что Мацу и Канэсигэ явно сговорились.

Свекровь решила следить за ней, не отставала ни на шаг — даже когда Мацу ходила в баню. Банька располагалась в пристройке позади дома. В маленьком закопченном помещении скапливался пар, тускло светила лампа. Как-то Мацу сидела по горло в горячей воде. Скрипнула дверь, в проеме мелькнуло сморщенное личико. Не разобравшись поначалу, Мацу с перепугу вскочила. Во все стороны взметнулись брызги, раздался громкий всплеск — Мацу была женщина крупная, дородная, что называется в теле. За дверью затихли удаляющиеся шаги свекрови. Некоторое время Мацу, выпрямившись в полный рост, стояла неподвижно в остывающей воде...

Когда она вернулась к очагу и уселась на истертую от времени циновку, свекровь не промолвила ни слова. Повисла напряженная тишина. Старуха сидела сгорбившись, и все ее маленькое, испещренное морщинами лицо выражало полнейшую невозмутимость — как будто ничего не произошло. Седая, всклокоченная — свекровь уверяла, что поседела после смерти сына, — она сидела у очага, бесстрастно вглядываясь в огонь, горевший под почерневшим от сажи крюком для чайника.

Однажды вечером Мацу собралась выйти по нужде.

— Куда это ты? — окликнула ее свекровь. Мацу промолчала, и тогда старуха подняла крик: — Сбежать хотела? Нас бросаешь?

Мацу упорно молчала. Внезапно свекровь разрыдалась. Не участь невестки беспокоила старуху, ей было жаль саму себя. В старом крестьянском домишке сгустился мрак. И в этом мраке звучал дрожащий всхлипывающий старческий

голос. Свекровь твердила, что в деревне не осталось ни единого человека, что не знал бы, как Канэи Сигэёси обманул Мацу, а теперь сбежал, Мацу же настолько толстокожа, что даже не поняла этого. Канэи облапошил ее как последнюю дурочку.

— Если хочешь отправиться следом, давай катись, бросай дом, бросай ребенка, оставляй нас на произвол судьбы! Удерживать не стану, — взвинчивала себя свекровь. — Думаешь, я не понимаю — осталась одна, годы молодые, не устояла. Но перед людьми-то зачем было выставляться такой добродетельной? Была бы такой, какая есть. И уж не делай вид, будто заботишься о свекрови и маленьком сыне, будто ты работящая, хорошая невестка. Не стесняйся, что у тебя одна могила с мужем! Можешь устроить себе еще одну, в другом месте!

Мацу рассеянно внимала монологу в темноте.

— Канэсигэ хорошо устроился, жил в свое удовольствие, скопил деньжат, да и вернулся к жене. Война кончилась, теперь вряд ли сюда возвратится. А народ уж говорит: вот будет потеха, когда эта деревенщина помчится за ним в город и затеет свару с его женой!

Наконец свекровь умолкла. И все же даже во тьме Мацу кожей ощущала ее присутствие и сжалась в комок.

— Я ничего не знаю. А Канэсигэ просто выполнил трудовую повинность.

Рядом зашевелился Сюсаку. Мацу догадалась, что сын не спит, просто затаился. Она на ощупь поправила мальчику футон[1] и прилегла рядом, но сон никак не шел. Мацу казалось, что из темноты за нею неотступно следят чьи-то безжалостные, ненавидящие глаза. «Хорошо бы надгробие с посмертным именем куда-нибудь провалилось. Хорошо бы Канэсигэ умер». До сих пор к покойному мужу она относилась хорошо — а теперь между ними встал этот злополучный надгробный камень. Как бы она ни металась, он все равно будет тащить ее в могилу. Раньше на кладбище на Мацу снисходило умиротворение, теперь, наоборот, ей казалось, что там ей не хватает воздуха. Муж словно пригвоздил ее к могиле. Временами ей чудилось, что с холодной усмешкой он шепчет ей: «Придешь, никуда не денешься!» А могила станет не обителью вечного покоя, а скорее камерой пыток, только и дожидающейся ее.

[1]Футон — матрас, тюфяк, ватное одеяло.

А ее посмертное имя! Выходит, оно превратилось в предмет насмешек односельчан...

Во сне Мацу увидела себя большой коровой. Идущий рядом теленок был не Сюсаку, а ребенок от Канэсигэ. За оградой возникла огромная змея, которая росла прямо на глазах и превратилась в гигантского дракона. Чудовище набросилось на нее. «Это мой муж», — пробилась сквозь дрему мысль. Прикрывая собой дитя, она изо всех сил натужилась, и из нее, словно из пожарного насоса, хлынули потоки воды. Вода обрушилась на дракона. Он было вскинулся, задрав ужасную голову, но внезапно съежился и безвольно распластался на земле. Появился еще один дракон. Он полз, вытягивая мерзкую шею. Это была жена Канэсигэ. Сам Канэи тоже извивался неподалеку. Мацу постаралась залить водой и жену Канэсигэ, однако у нее не хватило дыхания.

Вдруг Мацу заметила, что все они находятся на кладбище. Увидев, что с могильного камня исчезло ее посмертное имя, выписанное красными иероглифами, Мацу вздохнула с облегчением. У нее просто не было посмертного имени. Но, приглядевшись, она поняла, что это могила не мужа, а какого-то незнакомого мужчины. Именно здесь, оказывается, должна быть похоронена Мацу. Но никто ее не хоронит. Наверное, потому, что у нее уже есть одна супружеская могила. Мацу направилась туда, но и там на нее никто не обратил внимания. Она заметила Сюсаку, сидящего вблизи на корточках, но подойти побоялась: сын был очень рассержен на нее. Надо что-то предпринять, иначе жена Канэсигэ схватит мальчика. Обернулась и видит, чторакониха вот-вот набросится на нее саму. А Канэсигэ злорадно ухмыляется... От ненависти и омерзения у Мацу перехватило дыхание, она захотела что-то крикнуть, но супруги вдруг повернули и поползли прочь по дороге. Мацу попыталась взлететь вверх и преградить им путь, но забилась в судорогах, не в состоянии сдвинуться с места.

...В этот момент она проснулась, вперившись в темноту. Ее распирало от бессильной ярости.

А слухам среди местных жителей не было конца. Поговаривали, что Мацу преследует Канэсигэ, липнет к нему, вот он и сбежал.

Однажды Канэсигэ проронил с усмешкой:

— Вдовы всегда охотятся за мужиками, но коль взяла себе посмертное имя, то рассчитывать уж, пожалуй, не на что...

Эти слова передавались в деревне из уст в уста.

Посчитали, что чужак большой любитель соблазнять порядочных женщин.

— Какая там порядочная!.. — возражали другие. — Возомнила о себе — придумала всю эту историю с посмертным именем, чтобы обмануть людей — вот, мол, какая я замечательная! Ведь тогда война шла... А сама-то ни одного мужика не пропустит. Иначе бы не позволила заезжему пройдохе с квадратной рожей и дергающимся подбородком зайти так далеко! Разве кто другой захотел бы иметь с ней дело?

Что касается подбородка, то у Канэсигэ действительно была скверная привычка дергать подбородком во время разговора, что деревенские принимали за высокомерие.

Передавали и последние слова Канэсигэ, которые он якобы бросил на прощание:

— Смотри, помрешь — заплутаешься, не будешь знать, в какую могилу ложиться!

Это была заранее заготовленная фраза — он придумал ее еще тогда, когда впервые пришел в дом Мацу. А ведь тогда в деревне никого так не уважали, как эту молодую вдову.

Некий майор, эвакуировавший в эти края свою семью, специально нанес ей визит. Он не жалел слов для восхваления женщины-камикадзе и призывал остальных последовать столь доблестному примеру в случае гибели мужа на поле боя. Дело дошло до того, что солдаток, не решившихся взять себе посмертное имя, стали считать мерзавками, не любившими по-настоящему своих мужей, и они даже не решались смотреть людям в глаза. По словам Канэсигэ, Мацу первая воспылала к нему страстью и сама предложила ему себя, когда пришла в амбар. «Баба крупная, крепкая и неуклюжая», — самодовольно ухмылялся Канэсигэ. А поскольку нашлись люди, видевшие, как Мацу ходила в амбар — ухаживать за работником, когда тот болел гриппом, — то этим разговорам поверили.

Все эти слухи отличались странной особенностью — люди, распространявшие их, пылали чувством мести. Мацу, когда-то так высоко чтимая, обладающая почетной супружеской могилой, сделалась объектом грязных насмешек. Для завистников наступил час отмщения.

Говорили и о другом. Канэсигэ, прикидывавшийся, что у него и иены лишней нет, на самом деле просто не желал делать обязательные пожертвования на нужды фронта. Он и отрабатывать-то пошел в семью Мацу — в семью погибшего солдата — лишь для того, чтобы освободиться от этого. Для видимости помогал Мацу, а тем временем спекулировал «ле-

вым» продовольствием на черном рынке. Втерся этаким паразитом-посредником между крестьянами и закупщиками из города — да греб себе денежки. И посылки жене отправлял регулярно — продуктами, древесным углем. А та небось тоже спекулировала. Впрочем, судя по слухам, семья Мацу тоже не оставалась внакладе — все они бессовестно орудовали вместе с Канэсигэ. Иначе стали бы они безучастно взирать на то, что их работник водит в дом покупателей! Или вот, к примеру, скаредная свекровь — то нахваливала работника, а то вдруг стала ругать на чем свет стоит. Разве это не свидетельство их темных делишек? Ведь стоило клиенту посетовать на непомерную цену, как Канэсигэ сокрушенно вбирал голову в плечи, давая понять, что решает не он, а несговорчивая старуха, и в конце концов сделка совершалась на выгодных ему условиях.

Так и сплелась молва о том, какие распутные и алчные люди живут в доме Мацу; когда же Канэсигэ исчез, вся деревня только и судачила о них.

— Кого нашел-то себе Канэсигэ!.. — доносились до Мацу насмешливые возгласы.

— Неужели и взаправду?.. Хотя, конечно, все-таки живой мужик...

Подобные пересуды вперемешку с хихиканьем Мацу выслушивала всякий раз, когда шла по улице. Она совсем замкнулась в себе, и с ее лица не сходило рассеянно-отрешенное выражение. Она замечала, что сын избегает показываться с ней на людях, зато охотно ходит вдвоем с бабушкой. Поначалу Мацу подумала, что это из-за того, что она задергала Сюсаку замечаниями. Действительно, в последнее время характер у нее испортился. Но позже она поняла, что причина совсем иная: Сюсаку всей своей детской душой стыдился матери. Однажды приезжий торговец спросил его:

— А отец-то куда ушел? Может, позовешь его?

Сюсаку ничего не ответил, только молча уставился на посетителя.

— Мне он позарез нужен. Ну, раз нет дома, позови мать, — настаивал тот.

Сюсаку напоминал ей покойного мужа. Иногда, когда Мацу чувствовала на себе его взгляд, ей казалось, что сын не столько стыдится, сколько порицает ее от имени покойного отца.

— Хорошо, что ты не в меня пошел... Но все равно забот не оберешься — одежда на тебе горит, в грязи вся...

Когда Мацу делала ему подобные замечания, мальчишка

сжимался в комок и старался побыстрее уйти. Ростом невелик, ниже сверстников, худой, с дурным цветом лица. В последнее время отношения с деревенскими ребятишками у него испортились, товарищи дразнили его, случалось — и камнями кидались. А ведь когда отец Сюсаку только погиб, такого не бывало. Лишь сын Ямагути, помощника старосты, не издевался над сыном Мацу, даже старался защитить его от других детей. Как унизительна была эта жалость! Однажды Сюсаку затаился за деревьями и долго поджидал, когда младший Ямагути пройдет мимо; дождавшись, запустил в него камешком и бросился наутек. Домой прибежал тяжело дыша, такой возбужденный, что бабушка всполошилась — уж не захворал ли.

— И чего ты такой дерганый? Даже от тебя нет мне покоя! — Бывало, Мацу схватит за плечи сына и начнет трясти, но Сюсаку такой тщедушный, что у Мацу сразу пропадает охота наказывать сынишку. «Стоит такой несчастный, рукава штопаные-перештопаные, а впадинка на затылке совсем еще младенческая...» — с горечью думала Мацу.

Шли нескончаемые дожди, дурманяще пахла молодая листва, глаза слепили краски только что наступившего лета. И именно в эту пору неожиданно вновь объявился Канэсигэ.

Узнав о сплетнях, будораживших деревню в его отсутствие, Канэи пошутил: «Уж на что я зловредный, да людская молва куда хуже!» Канэсигэ прикинулся теперь деликатным рыцарем, делая вид, что обеспокоен только положением Мацу — поскольку он тут решительно ни при чем. Теперь он не сможет навещать бывшую хозяйку, так как боится причинить ей еще больший вред и вызвать поток новых сплетен. Разумеется, самому ему бояться нечего, ничего предосудительного он не совершил, но для Мацу будет лучше, если они перестанут встречаться.

Одет Канэсигэ был по-прежнему скверно, но это не мешало ему бывать частым гостем в местной управе у помощника старосты Ямагути. Тот уже давно держался на своем посту, пересидев нескольких старост, поскольку их должность была в отличие от его выборной. Поговаривали, что помощник сам не желал покидать теплое местечко, хотя ему не раз предлагали баллотироваться в старосты. К нему-то и зачастил теперь Канэи, почти ежедневно появляясь в его доме, неизменно с подобострастным видом.

— Похоже, Канэсигэ решил сменить род занятий, — к такому единодушному мнению пришли все в деревне.

Тогда как раз наступило бурное время земельной реформы, вслед за которой мог встать вопрос о собственности на участки горного леса, что, естественно, вызывало тревогу у местных жителей — как бы не отняли! Неизвестно, от кого пошли эти слухи — то ли от помощника старосты, то ли от самого Канэсигэ. Во всяком случае, многие хозяева, последовав совету Канэсигэ «продавать, пока не поздно», поспешили реализовать по дешевке лес со своих горных участков. Продавали совсем молодые криптомерии, начисто забыв о посадках. Некоторые удивлялись, откуда у Канэсигэ столько денег, на самом же деле управляющий отделением банка в ближайшем городке по знакомству выдал льготный кредит на имя помощника старосты. Таким образом Канэсигэ получил средства, дающие ему возможность совершать сделки по купле-продаже леса с горных участков. На окраине деревни построили лесопильный завод — формально на имя Ямагути, и там поселился Канэсигэ.

— Выложил все, что у меня было, остались одни долги... Либо пан, либо пропал... — говаривал Канэсигэ, любовно оглядывая свое предприятие. Его привычка вздергивать подбородок теперь еще больше бросалась в глаза.

— Прогадали — сейчас могли б продать вдвое дороже. Цены на лес растут с каждым днем. Провел нас этот Канэсигэ, — такие жалобы слышались в каждом доме деревни.

Канэсигэ считал лесопилку своей собственностью, Ямагути был для него всего лишь кредитором, помогшим получить ссуду. Построил рядом с заводиком кухню и сам готовил. То и дело твердил как бы в шутку, что потратил последние гроши и в случае неудачи ему останется только повеситься. Однако собеседники Канэсигэ воспринимали его слова всерьез. Они видели, что он полон решимости.

— Сегодня опять видела Канэсигэ. Совсем другим стал, дела пошли на лад. Разговаривать с ним не стала, неблагодарный он человек... — уже не в первый раз Мацу слышала от свекрови подобные рассказы. Хоть и ругала его, называя «неблагодарным», но в глубине души явно радовалась его успеху. Радовалась вообще-то не за самого Канэсигэ, а рассчитывая что-то получить от него для семьи. Не проходило и дня, чтобы свекровь не заводила разговор о бывшем работнике. Вспоминала, как он впервые пришел к ним в дом — выглядел тогда нищим оборванцем. А потом обстирывали его, чинили одежду, за мыло, за нитки платили сами — что с него возьмешь...

Свекровь рассказывала об этом с какой-то гордостью, каждый раз не преминув добавить:

— И, конечно, никакой благодарности.

Слушая ее разглагольствования, люди говорили ей:

— А зачем вам, бабуля, молиться чужим деньгам? Еще увидите, как это глупо.

С тех пор как Мацу узнала о частных визитах Канэсигэ к помощнику старосты, она старалась обходить его дом стороной. И все же однажды встретилась с Канэсигэ, когда тот шел с женой Ямагути. Мацу волокла на спине целую вязанку дров и так согнулась, что не увидела эту пару до тех пор, пока не столкнулась с ними нос к носу. Она подняла голову и смутилась, не видя пути к бегству. Жена Ямагути, низкого роста, с хорошим цветом лица, заметила замешательство Мацу и поприветствовала ее так весело, как будто во всем этом было что-то смешное. Поскольку дрова на спине мешали им пройти, Мацу с извинениями вынуждена была сойти на обочину узенькой дорожки и пропустить обоих. Канэсигэ выглядел гораздо лучше, чем в прошлый раз. Проходя вслед за своей спутницей мимо Мацу, Канэсигэ молча приветствовал ее небрежным кивком головы, и ее всю передернуло.

Когда-то многочисленные «ловцы» продовольствия все куда-то подевались, и жизнь семьи Мацу стала совсем тяжелой. Выросли налоги, надежды на лучшее рассыпались в прах, а возврат к прежнему стал невозможен, было невыносимо тяжко.

Грузовик завода Канэсигэ каждый день вывозил бревна из селения, расположенного в глубине долины. Он же отвозил лесоматериалы в город. Лес на горах вырубался. Стояла ранняя осень, когда Канэсигэ неожиданно появился в доме Мацу. Он попросил продать ему дрова с участка Мацу в горах. Когда он назвал примерную цену и выложил половину в задаток, свекровь на радостях засуетилась, то вскакивая, то снова садясь.

— Я никогда не забуду ваших забот, мамаша! И теперь вот как вспомню — хорошие все-таки были времена... Конечно, всякие грязные слухи... Но я не хотел причинять вам зла и поэтому долго не наведывался. Платя добром за добро, назначаю вам за дрова самую высокую цену. А вторую половину — сразу же после начала вырубки, как договорились.

Свекровь, услышав, как он по-прежнему именует ее мамашей и добром вспоминает былое, так растрогалась, что опрокинула чашку, стоявшую на краю очага.

— По сравнению с прежними временами теперь ты выглядишь куда лучше. А я... Куда уж мне, совсем скверно. В мои годы только и остается ждать смерти, да и некоторые из моих близких, похоже, тоже ждут не дождутся — все-таки одним ртом меньше будет...

Вот так, похваливая одного и поругивая другую, свекровь пыталась ублажить Канэсигэ и выразить свое недовольство Мацу. Канэсигэ же посматривал в сторону Мацу с самодовольной усмешкой.

— Давненько мы с тобой не виделись... Ну что, хозяюшка, что поделывала, что-то не очень-то хорошо ты выглядишь, нездорова, что ли?

Мацу все молчала, и тогда Канэсигэ, посерьезнев, заговорил о том, что жизнь мало-помалу налаживается и он вызвал жену — так что, как говорится, прошу любить и жаловать.

— Что ни говори, а для мужчины жить одному тяжеловато. Правда, вот вызвал сейчас жену и пойдут всякие расходы. Если б хотел деньги накопить, жил бы по-прежнему холостяком, ведь так?

— Ну вы-то всегда все знаете! — Голос у Мацу сорвался на крик, она даже сама удивилась своей резкости.

— Хозяйка что-то строптивой стала, — сказал Канэсигэ, все еще усмехаясь.

Канэсигэ заговорил о жене, во-первых, чтобы заткнуть рот Мацу и, во-вторых, чтобы она не очень-то рассчитывала на него теперь, когда дела его пошли на лад. Сам он лез другим в душу, не признавая никаких преград, в свою же жизнь не пускал никого. По слухам, Канэсигэ был страшно скуп и именно поэтому жил с женой врозь. Мацу было досадно, что вынуждена продавать дрова такому человеку, поэтому и ответила ему с вызовом:

— Да хоть что угодно покупай! Деньги заплатишь — все продам!

— Ой ли? Посмертное имя-то не продашь... Насколько я разумею, оно не так высоко ценится. И гроша ломаного не стоит!

Канэсигэ сказал это вроде бы в шутку. Была у него такая манера — говорить о серьезном шутливо. Мацу почувствовала себя уязвленной. Потом Канэсигэ говорил, что вообще-то с самого начала решил, что не будет заниматься дровами, дело мелочное, пустяковое, но вот отдает долг благодарности. Это он повторил несколько раз. По сравнению с прошлыми временами он поднаторел и в пустословии: наго-

ворив напоследок кучу комплиментов, Канэсигэ удалился. У Мацу сложилось впечатление, что приходил он в конце концов для того, чтобы заставить ее еще раз испытать стыд.

А с дровами вышла неприятность. В ту зиму первый снег выпал рано, а затем потянулись ясные дни. Однажды ночью послышался какой-то шелест. Мацу было подумала, что пошел снег, и выглянула за дверь. В ночном темном небе холодно сверкали звезды. Наутро она поняла, что это было: внезапно грянувший мороз крепко схватил почву, покрывшие ее ледяные иголки заблестели глубоким блеском. Всплыли наверх и оголились корни ячменя. Все стали молить: хоть бы выпал снег!

— Стоит такая ясная погода, а он даже к рубке не приступал. Знали б, что так будет, лучше б продали другому покупателю, пусть даже подешевле, — то и дело повторяла свекровь. — Будем мешкать, пойдет новый прирост! — Ее беспокоило то, что Канэсигэ до сих пор не приступил к заготовке дров и не платит обещанной второй половины. — Мы так не договаривались, — ворчала старуха.

Пока Канэсигэ бездельничает, цена на древесину может возрасти. Словом, свекровь считала, что Канэсигэ, затягивая с вывозкой дров, наносит им ущерб. За весну деревья подрастут, и Канэсигэ просто-напросто присвоит себе прирост.

— Сколько раз я ему говорила, чтобы приступал к рубке, а он только обещает. Говорить с ним — время терять. От такого прохиндея всего можно ожидать — увезет дрова, а вторую половину денег себе оставит...

Поскольку обещание было нарушено, появился новый повод для беспокойства. И свекровь стала поговаривать о том, чтобы использовать эти дрова в своем хозяйстве. Она думала, что деревня до сих пор сочувствует ей, потерявшей на фронте сына.

— Никогда не думала, что можно так обманывать несчастную старуху, — повторяла она со слезами на глазах. — А Сюсаку-то — озорничает в нашем лесочке!

Когда свекровь, понизив голос, сообщила ей новость, Мацу чуть ли не бегом кинулась на гору. Это был тот самый участок, дрова с которого она обещала продать Канэсигэ. «Ребячьи шалости, особой беды не будет, — успокаивала она себя, — но надо спешить — мало ли что может случиться...»

Потом уже, когда она вспоминала об этом случае, перед ее глазами вставал Сюсаку, прикрывший лицо руками, как бы в ожидании побоев. Добравшись до места, Мацу застала

там неведомо откуда прознавшего о случившемся молодого работника Канэсигэ, который гнал ребятишек с лесной делянки, с остервенением преследуя озорников. Сюсаку был там с несколькими сверстниками, но то ли из-за того, что нес серп, то ли из-за болезненности бежал позади всех. Он задыхался, и лицо его было покрыто нездоровой бледностью.

— Сю-тян сказал, что отдает это нам, — кричали на бегу мальчишки, продираясь сквозь терновник.

Мацу с трудом перевела дыхание. Ей стало не по себе: Сюсаку сделал это явно для того, чтобы ублажить мальчишек — чтобы они перестали дразнить его. Она огляделась: маленькая связка тонюсеньких деревец, которые только и под силу срезать детям, да еще сломанные ветки. «Сюсаку решил, что ничего страшного не случится, если украсть на этом участке, — расстроилась Мацу, — он просто мстит Канэсигэ».

— Ишь какие поганцы — воровать вздумали! — возмущался работник.

Больше всего Мацу беспокоило, как бы люди не подумали, что это они со свекровью подбили мальчишку на воровство. «Раз получили задаток, то теперь не отвертишься», — сокрушенно подумала она и принялась извиняться за сына перед парнем. Она попросила его передать Канэсигэ, что в ближайшее время зайдет к нему и пусть тот не сердится.

От оголенных деревьев веяло холодом. Мацу тяжко было смотреть на Сюсаку. Он, конечно, убежден, что мать унизилась перед работником и что о Канэсигэ она печется больше, чем о собственном сыне. Сейчас он презирал униженную мать. Мысль об этом ранила сердце Мацу. Она подошла к Сюсаку поближе. Тот поднял свободную руку (в другой он все еще держал серп), как бы защищаясь от удара. Его плечи были удивительно похожи на отцовские, только по-детски худые и потому особенно жалкие.

— Ну что, пошли домой, — сказала Мацу.

Ей было досадно, что теперь придется идти к Канэсигэ — и не столько для того, чтобы потребовать оставшуюся сумму, сколько как бы с извинениями за поведение сына. Не избежать встречи и с женой Канэсигэ. На следующий день Мацу переоделась в опрятное кимоно, достала спрятанные гэта и, стараясь оставаться незамеченной, отправилась на лесопилку. Не дай бог, чтобы жители деревни узнали, что вот сейчас она идет к Канэсигэ! Дорога к заводу казалась

бесконечной. Женщины, сидевшие за шитьем на верандах своих домов, привставали, чтобы хорошенько разглядеть ее, и она, дабы не привлекать излишнего внимания, свернула в поле, на ближнюю дорогу.

Вокруг лесопилки распространялся запах стружки, раздавался визг режущих дерево машин.

Оттого, что из-за шума ее несколько раз переспрашивали и каждый раз ей приходилось громко выкрикивать имя Канэсигэ, лицо ее заливалось краской стыда. Но вышел к ней не Канэсигэ, а Ямагути, чего она совсем не ожидала.

— А-а, это вы? Хотите встретиться с Канэсигэ? — Помощник старосты Ямагути пытливо разглядывал Мацу, на его губах появилась ухмылка. Смысл ее был понятен Мацу, и она отвела глаза в сторону, чтобы не показать негодования.

Сообщив, что Канэсигэ в отъезде, Ямагути тут же удалился. Всем своим видом он давал понять, что с такой женщиной, как Мацу, он не желает иметь дела. «Да и Канэсигэ, наверное, здесь, на заводе», — подумала Мацу. Молодые рабочие о чем-то пересмеивались, и Мацу решила, что смеются над ней. Ну конечно, именно над ней. «Назвалась «Добродетельной и милосердной», вот как!» — донесся до нее насмешливый голос, произносивший ее посмертное имя...

Мацу повернула назад. Шла медленно, не думая ни о чем. А навстречу ей двигались свекровь и Сюсаку. Неряшливая старуха и худенький мальчишка.

— Ну как, в порядке? Получила должок? Теперь-то Канэсигэ небось не отвертелся!..

Свекровь приблизилась к ней, по-старчески хрипло дыша, поднимая и опуская костлявые плечи. Но Мацу, как будто не слыша, глядела с отсутствующим видом. В ее ушах все еще звучал другой голос: «Добродетельная и милосердная».

— Ну как, получилось? — повторила свой вопрос свекровь.

— Ничего не получится... Разве я могу что-нибудь сделать... — вздохнула Мацу и представила, как молодые рабочие насмехаются над ней за глаза. — Отдохнем немного и пойдем домой, — сказала она и присела на корточки.

ИНЭКО САТА

ВОДА

Икуё, пристроившись на корточках, плакала. Сидела она на платформе вокзала Уэно, сбоку от служебного помещения. Перед нею была железная стена вагона. Пассажирский поезд ждал отправления. В небе светило ясное весеннее солнце, только что миновавшее зенит. Состав заслонял лучи света, и в уголке, где примостилась Икуё, лежала тень. Комочек в зеленом свитере и серой юбке, с зажатой в объятиях брезентовой сумкой. Она плакала навзрыд. Икуё знала, что из окон вагона на нее смотрят недоуменные лица, но никак не могла сдержать слез и уйти куда-нибудь в другое место. Пассажиры видели только ее голову с завитыми волосами, подстриженными кружком, и марлевый платочек, которым Икуё беспрерывно вытирала слезы. На ее маленьком заурядном личике легко читалось, что она, несмотря на свои неполные двадцать лет, уже сама зарабатывает себе на жизнь. Мокрое от слез, оно выглядело страдальчески-беззащитным. Девушка, рыдавшая на вокзале средь весеннего дня, вызывала искреннюю жалость.

На пыльном перроне толпились люди, ожидавшие другого поезда. Конторка, около которой сидела Икуё, находилась на краю, в головной части платформы, и пассажиры стояли в удалении от девушки, но у нее под носом иногда раздавался топот торопящихся куда-то ног. Икуё, не замечая вокзальной суеты вокруг себя, ощущала только сумку, крепко прижатую к коленям. Она судорожно сжимала ее потому, что от чувства беспомощности ей необходимо было за что-нибудь ухватиться. Икуё, однако, не рассчитывала на чье-то участие. Она безропотно воспринимала свое одиноче-

ство в горе, здесь, в сутолоке Уэно, и, вытирая неудержимый ручей слез, призывала в душе мать.

Телеграмму на имя Икуё принесли позавчера утром в гостиницу в квартале Огава в Канде, где она служила. В тот момент она мыла посуду на кухне после завтрака, которым накормили группу в пятьдесят человек. Зрачки ее тревожно расширились при виде слов: «Матери плохо, срочно приезжай».

— Вот прислали... — сказала Икуё хозяину, и тот хитро скосил глаза.

Опыт общения со служащими приучил его всегда быть настороже. Поняв, что телеграмма вроде бы настоящая, он тем не менее пришел в дурное расположение духа. Хозяин заговорил с Икуё, перемежая притворные утешения, скрывавшие равнодушие, с полуугрозами. Причина его недовольства объяснялась тем, что ему не хотелось лишаться рабочих рук в разгар сезона.

— Подождем следующего известия. Если состояние действительно критическое, ты все равно не поспеешь в Фудзияму, даже если прямо сейчас поедешь.

— Слушаюсь! — только и вымолвила Икуё, а хозяин, не дав ни секунды на размышления, отправил девушку на кухню.

Икуё приехала в эту гостиницу в Канде из деревни, расположенной в Эттю, в местечке Камагавафути, позапрошлой зимой. Владелец гостиницы, ее земляк, взял ее на подсобную работу, с проживанием.

— Нога-то у тебя поплоше стала, — сказал он, оглядев девушку печальным взглядом.

— Верно, — отозвалась Икуё с простодушной улыбкой, которая всегда в таких случаях появлялась у нее на губах.

Левая нога у нее была чуть короче правой. По этой причине ее не приняли на прядильную фабрику поблизости от родного дома. Икуё устраивала служба в гостинице. За грязную работу ей платили столько, что она могла ежемесячно посылать деньги матери и откладывать небольшие суммы. Икуё копила деньги, чтобы свозить мать на лечебные источники. Мать выглядела совсем старухой. Икуе с трудом поверила, что жена хозяина — ее ровесница. Икуё училась в средней школе, когда мать однажды съездила на источники на деньги, которые присылала старшая дочь, прядильщица на фабрике. Прихватив узелок вещей для починки, мать отправилась на «курорт», который на деле оказался обыкновенной баней со множеством ушатов, наполняемых горячей

минеральной водой. Мать вернулась всего через пять дней, неузнаваемо помолодев. Казалось, что она стала выше ростом. Обычно она горбилась даже в доме. Икуё с малых лет помнила ее согбенную спину. И дело было не в годах, а в давнишней манере не распрямлять плечи. Кожа на ее лице посветлела, а щеки блестели свежестью.

С тех пор все приятные воспоминания у матери были связаны только с днями, проведенными на источниках. Она говорила, что отдых продлил ей жизнь года на три. Не могла забыть она и два вечера, проведенные на спектаклях, разыгранных труппой гастролирующих актеров в зале гостиницы, где она остановилась. Икуё казалось, что мать тайком вспоминала те дни даже тогда, когда в одиночестве сидела над шитьем. Каждый раз, как только дочь устраивалась рядом с тетрадками, мать принималась за свое:

— А все благодаря твоей старшей сестренке. Я ведь на заработанные ее трудом деньги смогла полечиться. Да-а, — говорила мать, по привычке растягивая окончание последнего слова.

В такие минуты Икуё думала, что устроится на работу, накопит денег и тоже пошлет мать на источники.

Икуё было пять лет, когда умер ее отец. Старшему брату исполнилось тринадцать, сестре — десять. Младшая Икуё в ту пору еще спала в одной постели с матерью. Не забыв младенческих дней, она, случалось, во сне искала материнский сосок. Грудь матери была теплой и мягкой. Однажды ночью, через несколько месяцев после смерти отца, сонная Икуё, почувствовав, что мать легла рядом, потянулась к ее груди. Мать отшвырнула руку дочери, Икуё от неожиданности проснулась и, закапризничав, настаивала на своем.

— Сказала, отстань! — Рассерженная мать, содрогнувшись всем телом, смахнула детскую руку с груди. Икуё заплакала от такой непривычной суровости. — Что ревешь? — все еще сердито окликнула мать.

Икуё не могла в то время понимать тонкостей материнского настроения. В другой раз она проснулась, потому что ей показалось, будто кто-то плачет.

— Мамочка! — позвала Икуё.

Ответа не последовало, но жалобные всхлипывания утихли. Икуё в темноте нащупала лицо матери. Ладонь ее намокла от слез, и девочка догадалась, что мать плачет над тяжелой долей, свалившейся на нее после смерти мужа. А может быть, она плакала из-за дочери, обиженной судьбой. Став взрослой, Икуё часто вспоминала те ночные слезы.

Мать страдала из-за физического недостатка младшего ребенка и винила себя в несчастье дочери. Она рассказывала, что однажды у Икуё в двухлетнем возрасте долго держалась высокая температура, поэтому она с девочкой на руках отправилась в городскую больницу в Фудзияму.

— Больше месяца пролежала в больнице. Врачи обнаружили, что ножка не в порядке, сказали, что это от рождения. Да-а. Чуток короче, почти незаметно ведь.

Однажды Икуё, уже ученица начальной школы, возвращалась домой по тропинке через поле, и какой-то мальчишка крикнул:

— Эй, колченожка! Куда хромаешь?

Это услышала мать, шедшая на некотором расстоянии от дочери. Вскрикнув, она схватила камень. Икуё, застыдившись материнского поведения, бросилась прочь. Она бежала, припадая на левую ногу, и левое плечико тоже опускалось в такт движению.

Характер у Икуё был если не легкий, то, во всяком случае, открытый. Весь день она проводила на ногах, но никогда не выказывала усталости. Таившаяся где-то в глубине ее души воля к преодолению трудностей обращалась, видимо, добросовестностью, которая вынуждала Икуё трудиться наравне со всеми. Через год с небольшим и повар, и хозяин гостиницы убедились в прилежании Икуё. Она чувствовала себя счастливой от сознания того, что чужие люди в Токио оценили ее труды.

— А наша Ику-тян станет хорошей хозяйкой, — случайно услышала она разговор повара с горничными.

Это были приятные для ее слуха слова, но потом повар, не подозревая, что девушка неподалеку, без обиняков завел разговор о ее ноге. Закончил, правда, откровенными похвалами ее трудолюбию. Икуё заплакала, прикусив губу. Повар поразил самую уязвимую точку ее души. Для хозяина, поначалу принявшего Икуё из милости, она оказалась сущей находкой. Он даже посоветовал ей пригласить мать в Токио, разрешив деревенской гостье остановиться в его гостинице. В это время и пришла телеграмма. Икуё полагала, что хозяин даст ей краткосрочный отпуск. Она была уверена, что он воспримет болезнь ее матери как свое собственное несчастье. Вышло иначе, Икуё остро почувствовала, что вокруг нее одни чужие. Поздно вечером она пришла к себе в комнату и рухнула на постель.

На следующее утро принесли телеграмму: «Мать умерла,

приедешь ли?» Икуё присела около кухонной плиты, а потом ничком упала на пол.

— Мама, мамочка! — тонким, сдавленным голосом кричала она.

Не притронувшись к посуде, она, заливаясь слезами, затолкала в сумку кое-какие вещи и сберегательную книжку. Не замечая отсутствия хозяина, гулявшего на берегу реки, Икуё попрощалась только с хозяйкой. Та пыталась удержать девушку, твердя, что негоже уезжать без разрешения.

— Ведь мать умерла уже. Оживишь ты, что ли, ее своим приездом?

Икуё выслушала жену хозяина с каменным лицом. Прижимая к груди брезентовую сумку, она вышла из кухни гостиницы на улицу и поспешила на вокзал Уэно. Хромала она сильнее обычного.

Икуё впервые ощутила свою неразрывную связь с матерью в тот миг, когда до ее сознания дошло, что матери больше нет в живых. Она лишилась единственного надежного для нее пристанища на свете. Только рядом с матерью Икуё забывала о своей ущербности. Если изъян Икуё был предопределен еще в прошлом существовании, как говорила мать, то это бремя они должны нести вместе. А не страдала ли Икуё за грехи своей матери? Понимая, как тяжела участь матери, Икуе никогда не делилась с ней своими догадками. В присутствии брата и сестры, однако, она позволяла себе держаться с чувством превосходства, которое не замечала одна только мать.

И вот матери больше нет. Икуё хотелось в мгновение ока оказаться рядом с нею и заплакать вместе. Мать уже в ином мире, а Икуё могла представить ее только спящей, в тонком хлопковом кимоно. Мать еще существовала в воображении, ее образ вызывал у Икуё неведомые ей прежде чувства печали и сострадания. Мать теперь совершенно беспомощна... Печаль, охватив все существо Икуё, выплеснулась беспредельной тоской. Страдания усугублялись сознанием своего полного поражения во всем, начиная со вчерашней уступчивости перед упрямым хозяином и кончая утратой матери.

Она совсем одинока. Это означало, что Икуё не с кем будет разделить бремя ее ущербности.

Сутолока на платформе существовала словно отдельно от человека, каждый двигался в своем направлении. Икуё тоже не имела отношения к этой круговерти. Надо было ждать целый час до подачи на путь ее поезда.

Состав, стоявший сейчас у платформы, готов был тронуться. Прозвучал сигнал к отправлению. Икуё, прижимая сумку к груди, распрямила спину и поднялась на ноги. Слезы словно отбелили ее маленькое лицо, веки набрякли, сузив глаза до щелочек.

Икуё пошла против движения тронувшегося поезда, ощущая тяжесть в ногах. Плечо ее подрагивало в такт шагам. Сейчас ее могли разглядеть пассажиры из окон уходящего поезда.

Перед служебным помещением была колонка. Из крана давно текла попусту вода. Служащие вокзала, наполнив чайники, спокойно уходили прочь, предоставляя воде растекаться по земле. Никто из сновавших мимо людей не завернул вентиль крана. Икуё добрела до водопровода. Слезы из распухших глаз стекали по щекам. Проходя мимо колонки, она завернула кран. Шум падающей воды оборвался. Казалось, что Икуё не обратила внимания на свой жест, она действовала машинально. Поезд удалялся, стуча по рельсам. С платформы, открывшейся свету, виднелся теперь городской пейзаж. Икуё вернулась на прежнее место и опустилась на корточки. Слезы по-прежнему струились из ее глаз. Весеннее солнце яркими лучами заливало платформу.

СУПРУГИ

— Завтрак готов! Слышишь? — окликнула Киёко мужа, нарезая маринованную редьку на краешке газовой плиты, стоявшей впритык к мойке, около самого входа в кухню.

— Угу. — Голос Эйдзиро прозвучал приглушенно, он еще лежал в постели, накрывшись с головой одеялом.

— Вставай же, сколько можно спать! — повторила Киёко. Лицо ее в такие минуты принимало привычное выражение озабоченности.

— У меня же выходной! — ответил Эйдзиро, подтверждая, что у жены есть повод хмурить брови.

— Как это?.. Опять?

Киёко — стройная, небольшого роста женщина с точеным носиком на круглом лице — направилась через две

комнаты в дальнюю. Эйдзиро и не думал подниматься. Теперь лицо Киёко выражало вынужденное смирение.

— Так и будешь весь день дома торчать? — проворчала она, не рассчитывая на ответ мужа.

Вернувшись в маленькую комнату, она начала расставлять чашки на складном обеденном столике. Киёко служила приходящей домработницей, поэтому торопиться нужды не было. Она выключила огонь под кастрюлей с супом из соевых бобов. Продрогшая Киёко прямо в кухонном переднике забралась к мужу в постель, устроившись с ним спина к спине. Ничего удивительного в выходном не было, но Киёко показалось, что он как-то связан со вчерашним разговором.

— Ты так и не решаешься порвать с мастером?

— Не приставай с ерундой! — недовольно буркнул Эйдзиро.

— Выходит, все отказались, остался ты один. Куда это годится!

— Получается так, но ведь... — отозвался он, стряхнув с себя сон. Эйдзиро перевернулся на живот и прикурил сигарету «Майлд севн» из пачки, лежавшей около изголовья.

— Вон как! Другие же осмелились, потому что мастер ваш чересчур много себе позволяет.

— Угу, — ответил Эйдзиро, подладившись под тон жены.

Вчерашний разговор, как и предполагала Киёко, был о том, что зарвавшийся мастер непомерно занижал оплату дневной выработки. Эйдзиро работал электриком на прокладке линий. Сейчас он подводил провода к большому жилому дому. Эйдзиро и его товарищи получали по девять тысяч иен в день. Один из рабочих узнал, что на самом деле полагается платить по пятнадцать тысяч, и все взбудоражились из-за мастера, по вине которого каждый терял шесть тысяч. Бригада состояла из восьми человек, каждый день мимо ее рук уплывало сорок восемь тысяч иен. Неизвестно, кому шли эти деньги — то ли мастеру по передоверенному подряду, то ли самой фирме. В любом случае ежедневный приварок в добрые пятьдесят тысяч попадал в руки к мастеру. Возмущение рабочих не подействовало на него, и семь человек покинули бригаду. Остался один лишь Эйдзиро. Он не последовал за всеми, потому что был по натуре добродушным. Поняв настроение Эйдзиро, мастер ничего, однако, не изменил в оплате, только ласково попросил:

— Пожалуйста, не прерывай работу, пока людей будем набирать.

— Угу, — как и следовало ожидать, ответил Эйдзиро, глядя в сторону.

Он был среднего роста, со светлым спокойным лицом. Киёко привыкла к кроткому выражению его лица, отражавшему природное добродушие и нерешительность. Женаты они были пятнадцать лет. Киёко жила экономкой в семье владельца частной больницы. Хозяин сделал пристройку к зданию, тогда Киёко и познакомилась с Эйдзиро, который проводил электричество в новое помещение. В то время Киёко уже перевалило за третий десяток и прошло три года после развода. Бывший муж, пристрастившись к спиртному, избивал Киёко каждый раз, как напивался. Она ушла от него по этой причине. К счастью, детей у них не было.

У Эйдзиро в пору первой встречи с Киёко лицо было ясным и очень бледным, это он объяснял тем, что родился в горной деревне префектуры Хёго. В целом же он производил впечатление деловитого человека.

— Парень что росток батата на токийской улице, но ничего, пообвыкнет, — пробормотала себе под нос Киёко.

В следующую встречу, которая произошла днем в выходной, она подарила Эйдзиро галстук, купленный в районе Синсайбаси. Это было еще в пору, когда он назначал ей свидания. Они зашли в харчевню съесть супа из красной фасоли, и Киёко, наученная прежним горьким опытом, внимательно приглядывалась к Эйдзиро. Сакэ он не пил, оказался сладкоежкой, поэтому у нее сразу отлегло от сердца. Киёко с удовольствием ела его любимые сладости. Она впервые пристально рассмотрела Эйдзиро — на нем был другой, не тот, что в рабочий день, пиджак серого цвета как будто с чужого плеча. Его не освежал даже галстук с редким геометрическим рисунком, разбросанным по голубому фону.

— Я принесла тебе галстук, — сказала Киёко, вынимая сверток из сумки.

Галстук был тоже серый, в узкую диагональную полоску вишневого цвета.

— Как? Мне? — отозвался Эйдзиро, глядя на проворные руки Киёко. Лицо у него просветлело, когда она приложила галстук к его груди. — Ну как, идет? — спросил он, склонив голову.

— Сразу похорошел! — с удовлетворением прошептала Киёко и, словно рассердившись, нахмурила брови.

Она была на четыре года старше Эйдзиро, но выглядела моложаво для своих лет из-за маленького роста. В красном

свитере или в какой-нибудь другой одежде яркой расцветки она казалась даже моложе Эйдзиро.

В натуре Эйдзиро была беспечность, свидетельством чему их утренний разговор. Он часто не выходил на работу. Киёко думала, что потворствует разгильдяйству Эйдзиро. Она хотя и говорила для порядка какие-то слова, но никогда не попрекала мужа за желание передохнуть, понимая, что он устает от тяжелой работы. Она только считала, что в детстве у Эйдзиро был неправильный рацион питания, название это она почерпнула из женского журнала. Воспоминания о пьяных дебошах первого мужа, однако, наводили ее на мысль, что питание — не столь серьезный пробел в воспитании Эйдзиро, с этим можно спокойно мириться.

Киёко радовалась, что обзавелась новой семьей. Она была счастлива не тем, что ее избранник именно Эйдзиро, а самим фактом замужества. Сейчас они жили в квартире в Ибараки, а поначалу у них было две комнаты в большом доме в районе Нисинари. Киёко расценивала холостячество в тридцать без малого лет как еще одно доказательство неприспособленности Эйдзиро к жизни. У нее улучшалось настроение даже оттого, что теперь хозяин зеленной лавки и к ней обращался почтительно, наравне с другими замужними покупательницами. Прежде, стоило ей только появиться на пороге, зеленщик, бывший в курсе ее развода, начинал мямлить что-то невнятное, поэтому она относилась к нему с подозрением.

Первое время инициативу в отношениях проявляла Киёко. В силу своего старшинства она снисходительно воспринимала беспечность, которая сквозила в добродушии Эйдзиро. Словом, она испытывала уважение к нему. Когда сумма недоплаты достигла сорока тысяч иен, Эйдзиро не вышел на работу, сказав мастеру, что служить больше не хочет.

— Заработанные тобой денежки утекли сквозь пальцы. Неужели и это так оставишь? Не ходи на работу, хотя бы таким способом компенсируй недоплату, — решительно сказала в тот день Киёко мужу.

Эйдзиро нарисовал план района, где находился дом мастера, и Киёко направилась в один из переулков в Тоёнака. Выяснилось, что мастер, обанкротившись, переехал в Такарадзука, а его прежнее жилище перешло к новым хозяевам. Такое случалось и прежде. Из-за простодушия Эйдзиро десятники не раз обманывали его.

Киёко знала эту черту характера мужа. Она осознавала,

что по наивности он привязался к ней, женщине на четыре года старше его, поэтому всегда уважительно относилась к мужу. Киёко, однако, не приходило в голову распространяться перед посторонними о простодушии Эйдзиро. Она понимала, что этим бахвалиться не стоит. Однажды она обмолвилась о характере Эйдзиро в том доме, где работала прислугой, но ее слова прозвучали как комплимент любящей жены.

Поначалу она называла Эйдзиро «миленький», а теперь, спустя пятнадцать лет, величала его не иначе как «наш хозяин». Такая манера внушала всем, что спутник жизни Киёко — человек с добрым сердцем, а это давало и Эйдзиро возможность чувствовать себя на высоте.

После очередного обмана Эйдзиро все же продолжал работать на прежнем месте, время от времени позволяя себе передохнуть денек-другой. Ежедневное прикарманивание мастером шести тысяч было откровенной эксплуатацией. Киёко порой сердилась из-за недоплаты, слишком уж нагло дурачили мужа. Эйдзиро тянул лямку исключительно по простоте душевной. Рабочие, которых наняли в бригаду взамен ушедших, наверняка не подозревали о действительной расценке. Эйдзиро тоже промолчал. Он воистину был безобидным существом.

Киёко обнаружила затвердение в области левой груди почти спустя полгода после того, как вся бригада, кроме Эйдзиро, уволилась. По совету приятельницы Киёко отправилась в больницу в районе Дзюсо. Домой она вернулась в растерянности и до вечера пролежала в постели. Пришедший с работы Эйдзиро застал ее на кухне за приготовлением ужина.

— В больницу ходила?

— Да, — отозвалась она, чувствуя, что у нее нет сил разговаривать.

— Ну и что?

— Говорят, что не рак. Операцию все же советуют сделать. Но если не рак, зачем тогда срочная операция? Пришла домой и все думаю. У меня не рак. С другой стороны, если не оперировать, то опухоль может перерасти в злокачественную. Считают, на всякий случай лучше удалить.

Ужинали в молчании. Всегда словоохотливая, Киёко сидела, почти не разговаривая и не притрагиваясь к еде. Она ощущала, как ее оставляют силы. После ужина она сразу же легла, даже не прибрав на кухне. Весь день она была сама не своя от нервного напряжения, а рядом с Эйдзиро рас-

слабилась и задремала. Через какое-то время она проснулась от шума на кухне. Эйдзиро мыл посуду. Киёко, смешавшись, вскочила с постели.

— Ты что? Это мое дело! Я сейчас! — сказала она, схватив мужа за руку.

— Чего переполошилась? Ты нездорова, я и сам могу.

Киёко вдруг ощутила, как все ее существо охватывает чувство облегчения. Впервые за годы их совместной жизни Эйдзиро взялся за домашние дела. Киёко никогда не заставляла его помогать по хозяйству. И вот муж с чашкой в руках стоит перед мойкой.

— Спасибо, — вымолвила Киёко, сдерживая подступившие к глазам слезы.

Заплакав, она шептала прерывающимся голосом:

— Спасибо тебе, большое спасибо...

Рыдания становились все громче. Самым сокровенным в ее порыве чувств было открытие, что рядом с нею «мужчина с истинно гуманной натурой». Она даже не удивлялась, что думает о муже в столь высокопарной манере, хотя прежде называла то же свойство его характера простодушием. Только сейчас Киёко уловила разницу между понятием человечности и наивности. Она была потрясена тем, что впервые думает о человеке, прожившем с ней бок о бок пятнадцать лет, как о каком-то возвышенном создании. Прежде Киёко скрывала от людей эту черту его натуры, а если и проговаривалась ненароком, то в словах ее сквозила досада. Сегодня она узнала иное значение слова «гуманность».

Ночью, когда весь дом погрузился в сон, Киёко лежала, широко раскрытыми глазами глядя на оконные занавески, на которых отражались уличные огни. В голове блуждали мысли об операции, о том, во сколько обойдется пребывание в больнице. Она ощущала тепло мужниной спины, но не могла сомкнуть глаз. Пожалуй, тысяч сто с лишним понадобится. Сбережений никаких нет. Припомнила Киёко и пройдоху мастера. Придется, верно, самой встретиться с ним. Она знала, что муж не способен на подобный разговор, но добродушие Эйдзиро приносило ей удовлетворение. Забота, которую проявил сегодня вечером муж, неожиданным образом настроила Киёко на размышления о высоких материях. Одно дело сказать: «Этот мужчина хорошо относится к людям», и совсем другое — «мужчина с истинно гуманной натурой».

Эйдзиро уже спал, по мужскому обыкновению слегка похрапывая. Наверно, в сновидениях его не тревожит пред-

стоящая операция. Не скажет ли он утром, что хотел бы передохнуть? Киёко свыклась с привычками мужа. Она пощупала опухоль. Операция, деньги, все заботы надо отдать завтрашнему дню, подумала Киёко. Она почувствовала, как руки ее вдруг мелко задрожали. Перевернувшись в постели, она одной рукой обняла Эйдзиро и прижалась щекой к его спине. В движениях ее была тревога, охватившая каждую ее клетку. Ноздрей коснулся привычный запах его тела. Киёко еще отчаяннее вжималась щекой в спину мужа, надеясь хотя бы сегодня раствориться в теплоте, исходящей от спящего Эйдзиро. У нее ведь нет иного места, где можно найти спасение в любых невзгодах.

Эйдзиро, во сне почувствовав движение жены, подложил руку под ее затылок. Уже пятнадцать лет она знает этот жест Эйдзиро. Киёко, вознося всем божествам молитвы о спасении, изо всех сил прижалась головой к спине мужа.

АЙКО САТО

БАНКРОТСТВО

1

Мы с Момоко смотрели телевизор. Какая была передача в тот раз, я не помню. Я лежала, положив под голову сложенный вдвое дзабутон и вытянув ноги к котацу, Момоко примостилась рядом.

Когда хочешь рассказать кому-нибудь сон, который отчетливо помнишь в момент пробуждения, с ним происходит то же, что с изображением на киноэкране, если на него случайно попадет свет: изображение тускнеет, отодвигается вглубь и совсем исчезает. Воспоминание о том вечере представляется мне теперь таким же растаявшим сновидением. В памяти сохранилась только комната, теплая и светлая, и смутное ощущение безоблачной радости, переполнявшей меня и развеселившуюся Момоко.

Время от времени я бросала иронические замечания о манерах и мимике выступавшего:

— Ну мыслимо ли при исполнении такой песни без конца шевелить бровями?

Или восклицала:

— Браво, браво, вобла сушеная!

Момоко хохотала, пожалуй, даже излишне громко. Изо дня в день я была завалена работой для журнала, и, если выдавались такие свободные минуты, радости дочурки не было предела.

Когда в комнату вошел Сакудзо, на наших лицах еще оставались следы счастливого смеха. Я с улыбкой встала навстречу мужу, но, взглянув на него, сразу же все поняла.

Лицо у мужа покраснело и неприятно лоснилось, как после выпивки, глаза воспалились. Особенно непривычным

было само выражение лица — какое-то по-детски беспомощное. Муж не сел, а просто рухнул на свое обычное место около котацу и, как тяжелобольной, выдавил из себя хриплым, прерывистым голосом:

— Нет слов... наша фирма... потерпела... крах...

В тот же миг лицо его исказилось гримасой, он не смог сдержаться, и я увидела, как по багровым щекам покатились слезы.

Я не помню всего, что говорила тогда. Знаю только, что я спросила недовольным тоном, каким обычно браню Момоко, когда она возвращается из школы в слезах:

— А что же Ито-сан? Ведь Ито-сан... Почему же он обманул? Ведь он же...

Только накануне вечером муж с сияющим видом сообщил мне, что один состоятельный человек по имени Ито обещал дать им тридцать миллионов иен и тем самым спасти акционерную компанию мужа.

Я почувствовала, как постепенно ко мне возвращается самообладание. Муж сидел неподвижно и молча, уткнувшись лбом в край котацу. Я не знала, что сказать. Сама я не чувствовала ни особого испуга, ни горя. Мне даже не было грустно от сознания, что настало время, которому рано или поздно суждено было наступить. Я просто была в полном недоумении, впервые увидев мужа таким, каким никогда до сих пор не видела. Я взглянула на Момоко. Девочка с изумлением смотрела на плачущего отца. Вдруг она подняла на меня глаза, и взгляды наши встретились. Я неожиданно уловила в глазах дочери усмешку. Момоко поджала губы, потом втянула голову в плечи, всем своим видом показывая, что она с трудом подавляет смех.

2

Не могу вспомнить, какой в том году был декабрь: холодный или теплый. Это произошло, пожалуй, третьего или четвертого декабря. Я пригласила господина Исиду из антикварного магазина, чтобы сдать для продажи несколько картин и фарфоровых вещей. Дело в том, что последние два-три года мы постепенно продавали то, что было поценнее, и уже распродали бо́льшую часть своего фарфора. Я считала, что у нас еще оставались кое-какие вещи, но из

разговора с антикваром неожиданно узнала, что и они уже были проданы.

— Еще осенью ваш супруг обращался к нам, так что они уже...

С раннего утра до поздней ночи у нас трещали телефонные звонки. Разные голоса на разный лад спрашивали, куда ушел муж. Я сама абсолютно не знала, где бывает и чем занимается Сакудзо. Домой он возвращался после трех-четырех часов ночи и молча укладывался спать. В семь часов он вставал и уходил из дому.

— Господина нет дома, он возвратится, должно быть, часа в три ночи... — как бесконечное повторение одной и той же магнитофонной записи доносился до моего кабинета голос служанки Цуруё, отвечавшей на телефонные звонки.

— Госпожи нет дома. Да... Я не знаю...

В паузы между телефонными звонками кредиторов вклинивались звонки из редакции журнала и телестудии.

— Я по поводу беседы на тему: «Критикуем наших мужей». Желательно, чтобы вы заострили один момент. Нет, сделаем иначе. Мы просим, чтобы вы, госпожа Сэги, как знаток этого вопроса, задали тон всей встрече и приняли в ней самое активное участие...

Едва я успевала задуматься над сказанным, как раздавался очередной звонок:

— Поскольку вы относитесь к сторонникам ниспровержения принципа «мой дом — моя крепость», необходимо, чтобы вы вступили в полемику с приверженцами этого кредо...

Вечерами я перебиралась работать из моего кабинета на втором этаже в столовую. После того как Цуруё ложилась спать, к телефону приходилось подходить мне самой. Не выпуская из правой руки авторучку, левой рукой я снимала телефонную трубку.

— Очень сожалею. Еще не вернулся... да, вы, очевидно, кое-что знаете о том, что у нас случилось... Он сейчас постоянно в разъездах... — отвечала я и снова принималась писать:

«...Есть мужчины, для которых наивысшее удовольствие — пристроиться в поезде напротив мини-юбочки. От избытка чувств некоторые из таких пассажиров могут даже свалиться с сиденья. Иногда у себя на службе мужчины нарочно роняют под стол ручки и карандаши. Это делается ради мини-юбочки, сидящей напротив.

Со времен отшельника Кумэ, свалившегося с облаков от

одного вида женской ножки, мужчины не в силах устоять перед женскими бедрами. Я понимаю, что было бы бессмысленно заниматься теперь критическим анализом всей эволюции этой проблемы. И все-таки становится бесконечно грустно и стыдно от сознания, что в наше бурное время, растеряв почти все подлинно мужские достоинства, мужчины сохранили интерес только к женским бедрам...»

На сочинение этих двух абзацев у меня ушло целых три часа. Это был очерк для газеты, печатавшийся по частям. К утру я во что бы то ни стало должна была сдать его в редакцию. Затрещал телефон. Сразу же раздался вопрос:

— Сэги уже вернулся? — Это звонил наш давнишний друг — писатель Катагири. — Как все нескладно, Акико-сан. Сэги тут обратился ко мне, и я одолжил ему пятьсот с лишним тысяч. Что же теперь будет? Я все ждал, что он сам что-нибудь скажет, а от него ни слова. Ну хоть бы из вежливости позвонил. Жена у меня нервничает, просто в отчаянии. Я-то сам верю Сэги и люблю его. У меня и в мыслях нет, чтобы он мог подобным образом обмануть мои дружеские чувства и мое доверие.

Чувствовалось, что Катагири не совсем трезв.

— Я ведь не столько из-за денег беспокоюсь, сколько совсем из-за другого. Ты понимаешь меня? Акико-сан... Ну, ты-то, наверно, понимаешь мое состояние?

— Да, — выдавила я как стон, — понимаю... очень сожалею... — больше я не в силах была сказать ни слова.

— Может быть, еще все уладится. Вот беда-то. И жена у меня... Ты ведь знаешь ее, так что можешь себе представить...

— Сожалею, очень сожалею. Я что-нибудь придумаю. Я... постараюсь вернуть.

Закончив телефонный разговор, я попыталась опять взяться за работу, но почувствовала, как во мне закипает гнев.

— Доверие... дружба... — бормотала я вне себя от негодования.

«Катагири-сан, значит, ваши дружеские чувства и доверие измеряются деньгами! — мысленно восклицала я. — Вы ведь все-таки литератор, и вам не пристало говорить о «доверии» и «дружбе» в стиле какого-то клерка. Почему вместо того, чтобы распространяться о «доверии» и «дружбе», вы не заявили прямо и ясно: «Будьте добры, верните мне мои деньги! Для меня пятьсот тысяч дороже дружбы!..»

Я несколько раз набирала номер телефона Катагири и каждый раз, еще до появления гудка, нажимала на рычаг. Я

понимала, что мое возмущение нелепо и что у меня, пожалуй, нет оснований обижаться на Катагири. Ведь я жена человека, который «обманул доверие». И как его жена, я должна пасть ниц с повинной. Сознание этого и чувство собственного бессилия приводили меня в еще большую ярость. Мне хотелось сказать:

«Ведь не я же все это натворила. Это сделал мой муж и вы сами».

Если бы прежде, чем решаться на что-нибудь, Катагири пришел ко мне за советом, я бы предупредила его:

«Ни в коем случае не давайте деньги акционерной компании моего мужа».

Теперь у меня для Катагири был другой ответ:

«Вы сами должны были понимать, на что идете, когда давали в долг деньги такому человеку, как Сакудзо Сэги... Сэги растяпа, но и вы не лучше».

Как мне хотелось любым способом раздобыть эти пятьсот тысяч. Я представляла себе, как хлестну пачкой денег по физиономии Катагири и, подобно героине из телевизионной мелодрамы, с презрением воскликну: «Ну что, восстановились ваши дружеские чувства и доверие?!»

Но у меня не было права поступить подобным образом. Я не переставала возражать против того, что муж взял на себя управление компанией. Всего раз пять я получила директорское жалованье мужа. И никаких особых благодеяний от его фирмы не видела. Да что там говорить, ведь, когда наступало время выплаты жалованья служащим или подходили сроки погашения векселей, нам частенько приходилось доплачивать по пятьсот тысяч, а то и по целому миллиону иен из моих собственных доходов. Деньги, которые я получала за свои литературные труды, таяли буквально на глазах. Заведующий финансовым отделом фирмы, этот тупица, считал в порядке вещей приходить ко мне за деньгами. Однако какой толк вспоминать все это. Я жена банкрота, и, как его жена, я не имею права роптать.

Вместо того чтобы звонить Катагири, я решила поговорить с Сюнкити Кавадой. Было уже за полночь, но это меня не остановило. Популярный писатель Кавада был общим другом нашей семьи и Катагири.

— Алло, — послышался в трубке сонный голос. Это обычная манера Кавады говорить по телефону. У меня она всегда вызывает желание как-то ошеломить его, и я начинаю говорить с нарочитой горячностью.

— Кавада-сан! Я возмущена, я просто вне себя. Мне завтра утром сдавать очерк, а тут...

— Опять твой дурень что-нибудь натворил?

— Мало сказать натворил. Он ра-зо-рил-ся!

— Разорился? Обанкротилась компания?

Голос Кавады зазвучал несколько громче и энергичнее. Но мне было мало этого, и я возбужденно продолжала:

— Просто ужас. От кредиторов отбоя нет. Бесконечные телефонные звонки совершенно не дают работать... Алло, вы слушаете, Кавада-сан? Ну скажите же мне что-нибудь вразумительное...

— Слушаю, слушаю. Дело в том, что у меня температура.

— Температура? Еще что придумали...

— Мне ведь операцию сделали. Восстановительную, после стерилизации.

Я еще раньше слышала, что лет десять назад из-за слабого здоровья жены Кавада прошел стерилизацию. Но недавно он развелся с первой женой и женился на своей возлюбленной. И теперь молодой жене страшно захотелось иметь ребенка.

— Значит, сделали наконец?..

— Да, и вот сегодня весь день промучился от дергающих болей.

— От дергающих болей?.. — переспросила я, совершенно обескураженная его словами.

— Чего только в жизни не случается...

— Да уж, действительно... — уныло подтвердила я.

— Что же теперь будет? Говоришь, компания обанкротилась...

— Откуда я знаю, что будет. Ну да ладно. Ложитесь и отдыхайте. Какой толк беседовать с человеком, который страдает от дергающих болей.

— Ты уж извини меня.

— Извиняю, извиняю.

Я положила трубку, и меня вдруг охватило чувство страшного одиночества. Была глубокая ночь, лампочка над головой горела ярче обычного. Не спала только я одна. Раздался телефонный звонок. Я схватила аппарат, сунула его под одеяло котацу и продолжала писать:

«...В годы Мэйдзи жил некий Камэтаро, известный тем, что он любил подсматривать за моющимися в бане женщинами. Самым приметным в его внешности были уродливые, выступавшие вперед зубы. С тех пор слово «дэбака-

мэ» — зубастый Камэ — стало нарицательным для любителей заниматься подглядыванием такого рода...»

Под одеялом опять затрещал телефон. У меня мелькнула мысль: «А вдруг что-то случилось с мужем?» Но даже если это и так, прежде чем подходить к телефону, я должна закончить свой очерк.

«...В эпоху Мэйдзи женщины носили японскую национальную одежду, так что ради соблазнительных зрелищ дэбакамэ приходилось специально пробираться к женской половине бани. Томясь теперь в преисподней, дэбакамэ, наверно, завидуют современным мужчинам и сокрушаются: «Вот времена-то настали — как все доступно и просто». Все это старые сказки...»

Телефон продолжал трезвонить. Часы пробили двенадцать раз, хотя на самом деле было уже половина второго ночи. Я не выдержала, вытащила аппарат из-под одеяла и подняла трубку.

— Алло, это квартира директора акционерной компании господина Сэги?

Я вздрогнула, узнав голос одной деловой дамы по имени Каё Хираи. Встречаться с ней мне не приходилось, но после банкротства мужа она звонила нам по три раза в день.

— Вот как? До сих пор не возвратился? Но где же он может быть? И что вообще можно делать в такое время?..

Дама решила, что муж просто велел отвечать, что его нет дома. Я даже вся сжалась от ее подозрения.

— Извините, пожалуйста. Я очень сожалею, но после ухода муж ни разу не звонил домой и не сообщал, где он находится и чем занимается...

Мы проговорили битый час. Опустив наконец телефонную трубку, я глянула на авторучку, которую машинально все еще держала в правой руке, и швырнула ее в стену.

3

Балансовый отчет акционерной компании мужа вызвал у меня чувство недоумения, я долгое время разглядывала его, не в силах понять, к какому разряду относится написанное число.

— Сколько?.. — вырвалось у меня. — Восемь нулей... неужели возможно такое? Это значит, сотни миллионов?! — Я пересчитала еще раз. — Единицы, десятки, сотни, тысячи,

десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы, десятки миллионов...

— Все верно, — подтвердил муж. И больше ни слова. Я тоже молчала. Через некоторое время я попыталась заговорить.

— Двести тридцать миллионов...

Как это ни странно, но астрономическая величина суммы подействовала на меня успокаивающе. Я просто не имела понятия, что это за деньги. Удивляло только одно: как при штате всего из тридцати человек за каких-то два года мог возникнуть долг в двести тридцать миллионов иен... В невероятной величине задолженности я видела прямое отражение личности самого Сакудзо Сэги.

Четыре года назад муж основал акционерную компанию по выпуску учебных материалов для служащих и административных работников. Инициатива принадлежала не мужу, это была идея одного его знакомого. Я протестовала. Муж не тот человек, который мог бы заниматься бизнесом. Я еще тогда предполагала, что этот знакомый использует мужа в своих целях, а потом Сакудзо не миновать неприятностей.

— И все равно я создам компанию! — заносчиво ответил муж на мои возражения. Если ему хочется настоять на своем, он всегда переходит на высокомерный, заносчивый тон. Однако в конце концов он оказался обманут своим приятелем.

— Ведь я тебе говорила! Теперь ты убедился в моей правоте?!

О, сколько раз с тех пор, как мы поженились, мне пришлось произносить эту фразу: «Ведь я тебе говорила!»

После предательства друга муж из упрямства решил организовать самостоятельную акционерную компанию. Я опять возражала, но он заявил тоном, не терпящим возражений:

— После происшедшего служащие оказались просто в воздухе. Что станет с ними, если я не создам новую акционерную компанию?!

Компания начала функционировать, не имея никаких поступлений, более того, с самого начала на ней повис долг, и ведь нужно было еще нести расходы по содержанию штата в тридцать человек.

— Вопрос не в том, получится у меня или нет! В данный момент я просто обязан поступить именно так! — объявил муж. Лицо у него стало злым, а в голосе слышалось то самое

упорство, которое вызывает у меня чувство полной беспомощности. Когда у мужа делается такое выражение лица и появляются эти безапелляционные нотки в голосе — на него уже нет управы. Встречая протест со стороны окружающих, он еще тверже стоит на своем.

Однажды утром мне позвонил Исида из антикварного магазина.

— Вы недавно передали мне гравюры Шагала и Леже. Дело в том, что...

Он еще не договорил, но мне сразу все стало ясно. Следующая фраза Исиды уже не удивила меня.

— После проверки выяснилось, что это лишь копии... очень искусно выполненные, но...

Пять лет назад мой супруг купил у какого-то знакомого, своего приятеля, две гравюры, уплатив за них триста с лишним тысяч иен. С видом знатока он заявил тогда:

— За эту цену удалось купить только потому, что человеку срочно нужны деньги. Если бы не это, он запросил бы за такие вещи миллион.

Возражала ли я тогда? О, я помню все до мельчайших подробностей. Помню, как была освещена комната, помню, какая стрижка была у мужа, только что вернувшегося из парикмахерской, помню даже, какие цветы стояли в вазе.

— Что ж, ничего не поделаешь, — равнодушно ответила я антиквару. Мое спокойствие, пожалуй, несколько встревожило его. Он начал осторожно прощупывать почву:

— Это, должно быть, такой удар для вас. Вы, наверно, очень удивлены... Я пытался разузнать, нельзя ли что-нибудь получить за них...

— Не беспокойтесь. Мы и без того доставили вам столько хлопот. Я предчувствовала, что кончится чем-нибудь подобным. — Я как-то бессмысленно рассмеялась и, прощаясь, попросила антиквара при случае вернуть мне гравюры.

Я уже предвкушала, как опять брошу своему супругу привычную фразу: «Ведь я тебе говорила!»

Мысленно обращаясь к Сакудзо, я торжествующе произнесла: «Настал час суда! Пора объявить, кто из нас прав!..»

Но разве беда моя уменьшилась оттого, что права оказалась я! И все-таки я с нетерпением ждала возвращения мужа. Мне хотелось поскорее увидеть, какая у него будет физиономия, когда я выпалю:

— Твои Шагал и Леже — подделки.

Я участвовала в беседе за круглым столом на тему «Критикуем наших мужей». О чем там говорили, я уже не помню. Знаю только, что все рассмеялись, когда я сказала:

— Молоденькие сотрудницы, работающие в фирме моего мужа, прозвали его «симурэсу»[1]. Дело в том, что у него никогда не бывают должным образом отглажены складки на брюках... Я все вечера напролет работаю, спать ложусь только в два-три часа ночи. Муж возвращается еще позднее. Придя домой, он одним махом стягивает с себя брюки, кальсоны, носки и швыряет на спинку кровати. Все это в скомканном виде так и валяется до утра. А утром — только бы успеть напялить все на себя...

Слушатели опять дружно захохотали, но кто-то из них заметил:

— Что ж тут плохого? В наше время все мужчины стали такими франтами, надо же кому-то быть исключением... Иначе на свете стало бы совсем скучно.

Сразу после беседы я отправилась на прием по случаю проводов старого года, его устраивало одно издательство в гостинице Акасака. На приеме должен был присутствовать знакомый редактор, и я собиралась попросить у него аванс. Не успела я войти в зал, как ко мне подошел Сюнкити Кавада. Держа в правой руке бокал, он заговорил:

— Слушай, я просто потрясен. Твоего-то дурня видели в Канда со скрипкой в руках.

— Со скрипкой?

— Да, Мурасима рассказывал, что случайно встретился с Сэги и тот объявил ему, что хочет продать скрипку, чтобы выплатить в последний раз жалованье своим служащим. Мурасима просто опешил: мыслимое ли дело при задолженности в двести миллионов носиться сейчас с какой-то скрипкой!

Перед глазами у меня проплыла картина: муж со скрипкой в руках бредет по городу в канун Нового года. Кавада продолжал:

— И о чем он только думает? Чем занимается целыми днями? Неужели у него нет более важных дел?

— Есть, вне всякого сомнения. Я сама, правда, не знаю... — ответила я холодно. Чувство сострадания к мужу, бредущему со скрипкой в руках по предновогоднему городу, вернуло мне хладнокровие. Я раскланялась со своими зна-

[1]От английского seamless — без шва.

комыми. Немного перекусила, выпила рюмку сакэ. Со мной опять заговорил Кавада:

— Да, все-таки твой Сэги ведет себя как-то нелепо. Мурасима говорит, что на скрипке даже были следы плесени.

Я промолчала. К нам подошел один наш общий знакомый, слывший последнее время модным писателем.

— Мне все рассказали, Сэги-сан. Как ужасно! Но представьте себе, в этом есть и положительная сторона. Да, это полезно. Молодые люди сталкиваются с трудностями. Благодаря этому они лучше узнают жизнь. А сама Акико Сэги станет наконец взрослой женщиной...

Литератор уже напился. Его самодовольный вид вызывал у меня отвращение. Он пристал к Каваде с какими-то вопросами о налогах. Потом они заговорили о женщинах.

— Она очень мила.

— Ну и?..

— Не сомневаюсь. И мне нравится, что она зря не задирает носа.

Обращаясь к Сюнкити Каваде, я прервала их:

— Всего доброго, Кавада-сан!

— Уходите? Так рано? — удивился Кавада и стал уговаривать меня. — Совсем ведь рано. Развлеклись бы еще немножко.

В этот миг я почувствовала, как неудержимо, словно приступ тошноты, меня охватывает ярость. Меня почему-то всегда раздражают и бесят эти круглые глазки Кавады и особенно его манера смотреть на всех с младенческой безмятежностью.

— Чтобы я осталась здесь? — бросила я ему. Про редактора и аванс я уже и думать забыла. — Все вы распухли от тщеславия... Постельные дела — ваша излюбленная тема. Проблема повышения налогов — вот предмет ваших тревог. Где вы воспитывались? Забыли, что такое стыд! Выскочки! Интриганы!..

В надутом лице ошеломленного Кавады было что-то трогательное. От этой мысли я, пожалуй, и пришла в себя. Все еще как в полусне, я вошла в лифт, совсем забыв, что обычно не езжу одна в кабинах с автоматическим управлением. Настроение у меня было убийственное. Вся сжавшись от стыда, я стояла и ждала такси. И это состояние невыносимого одиночества напомнило мне о муже.

4

Приближался конец года, и волей-неволей пришлось созвать собрание кредиторов. В тот день я, не отрываясь, корпела над юмористической повестью «Беспокойный сезон». Момоко пристроилась около моего стола и «варила» обед для кукол. Она крошила на мелкие кусочки ластик и «готовила» из него «приправу к рису». Вдруг я услышала ее бормотание:

— ...а что в нашем доме считается «семейными удовольствиями»?

— «Семейными удовольствиями»? Момоко, что ты хочешь сказать? — недовольно переспросила я.

— Да так... Это... — смутилась девочка, а потом добавила: — Наверно, это когда куда-нибудь идут в воскресенье или когда все смотрят телевизор и смеются.

— Нечего сказать! Находить удовольствие в том, чтобы пойти куда-то в воскресенье! — Я возбужденно продолжала: — Какой ужас! Какая убогость! Подумаешь — сходить куда-то в воскресенье. Похихикать у телевизора. До чего же скучна эта идиотская жизнь! Ну, знаешь, Момоко, если ты считаешь заманчивыми подобные вещи, ничего путного из тебя не выйдет.

Момоко всерьез обиделась и пыталась оправдаться:

— А разве это не весело? Покататься с папой и мамой на лодке или на аттракционе «Американские горы»...

— Даже слушать тошно. «Американские горы»! Да этим увлекаются одни бездельники! — отрезала я. — Целыми днями слоняешься из угла в угол, вот тебя и тянет ко всяким аттракционам с их острыми ощущениями. Мне и так ежедневно хватает своих собственных аттракционов!

Я вся издергалась из-за этого собрания кредиторов. Уж очень не хотелось, чтобы мой несчастный муж стал всеобщим посмешищем. Ведь он все-таки отец моей девочки.

Момоко уныло продолжала крошить ластик и вдруг решительно заявила:

— Мама, я хочу, чтобы мы всегда жили в этом доме.

Я ошеломленно уставилась на нее.

— Ну... ну... мне сказал Уэно-сан. Он сказал, что папина фирма разорилась и мы больше не сможем жить здесь...

— И когда же Уэно-сан успел наболтать тебе все это?

— Он мне еще раньше сказал. Так говорила его мама.

Меня удивило, что моя Момоко до сих пор ничего не рассказывала мне об этом.

— Мама, правда, что мы теперь стали бедными?

Тут уж я резко повысила голос и заговорила по-иному:

— Нечего сказать, красиво ведет себя мамаша Уэно! И это называется — образованная женщина! Разносить о нашей семье всякие сплетни! Невежа! Ладно, я ее просто поколочу!

— Но ведь их двое: там есть мама и бабушка... — уточнила Момоко.

— Ничего, и бабка свое получит. Так и буду по очереди оплеухи отвешивать.

— Но у них во дворе злая собака!

— Наплевать, — бушевала я, — дам собаке пинка и поколочу бабку. Я им устрою бомбежечку!

Момоко постепенно приободрилась.

— Какая ты у меня чудная, мама, — с недетской серьезностью сказала она. — Правда, задаешься и наозорничать можешь.

Я узнала, что собрание кредиторов прошло сверх ожиданий спокойно. Собралось их человек около ста. Из дирекции никого не было, заведующий финансовым отделом вообще куда-то уехал да так и не появился. Мужу самому пришлось отвечать на все вопросы, и это даже как-то расположило к нему аудиторию. Обо всем этом рассказал мне по телефону один мой знакомый. В заключение он добавил:

— Обычно в подобных случаях кредиторы выступают с резкими обвинениями, допускают бранные выражения, а иногда дело доходит даже до потасовок. На этот раз все было совершенно иначе. Господин директор поистине человек высоких нравственных качеств. Никто из присутствовавших и голоса не повысил. Более того, господину Сэги даже сочувствовали. Все видят в господине директоре человека редкой доброты и считают, что именно поэтому его и сожрали.

«Человек редкой доброты»! Я уже устала от этих слов. Кредиторы, ссудившие двести тридцать миллионов этому «человеку редкой доброты», очевидно, доверяли ему и хотели как-то поддержать, но, может быть, они использовали мужа в своих целях или просто отнеслись ко всему без должной серьезности. И теперь ему придется расхлебывать все это. Мой муж готов был из шкуры вон вылезти, чтобы помочь людям, которые не имели к нему никакого отношения, и, не задумываясь, одалживал им деньги. Точно так же ему самому удавалось получать займы и необходимые

поручительства от подобных ему добросердечных простаков. Добросердечие мужа не имело границ, отсюда и шли все несчастья. В наш век со своим редкостным добросердечием мой муж казался каким-то допотопным ископаемым. Такое редчайшее качество сбивает людей с толку. От доброжелательного отношения на них почему-то находит ослепление. В то время как именно доброжелательность и должна бы настораживать нас.

Муж вернулся с собрания необычайно взволнованным. Он несколько раз повторил:

— Этот негодяй Моригути, этот негодяй... — И все.

Моригути был в свое время у мужа заведующим отделом сбыта. Сотрудники отдела без конца выражали свое недовольство и даже не раз собирались уйти всем отделом, если Моригути не будет смещен. Муж так ничего и не успел предпринять, а Моригути тем временем сам ушел от них и начал заниматься субподрядами. Муж заключил с ним торговую сделку. Так Моригути стал одним из основных кредиторов акционерной компании мужа.

Несколько человек уже успело сообщить мне, что на собрании Моригути выступил с особым заявлением:

«Невозможно представить, чтобы всего лишь за два года образовалась задолженность в двести тридцать миллионов иен. В данном случае возникает подозрение в злоупотреблении служебным положением и хищении казенных денег. Я намерен возбудить против директора судебное дело!»

— Да, ничего не скажешь. Хорош оказался твой Моригути, — торжествующе бросила я мужу. — Ведь я предупреждала тебя. На кого он похож, когда, угодливо вытянув шею, нашептывает что-то собеседнику на ухо. А в глазах — жестокость и злоба... — говорила я мягким, спокойным голосом. В минуты подобного торжества у меня всегда такой спокойный голос. — Просто смехотворно. Бессмыслица, абсурд какой-то! Фирма выпускает учебные материалы для служащих и административных работников. Но какими же бездельниками оказались служащие этой фирмы! Какими тупицами зарекомендовали себя ее администраторы... Вот уж настоящая комедия! Ты торгуешь справочником «Что нужно знать руководителю фирмы» и получаешь пинки от собственных подчиненных. А этот тип позволяет себе говорить о каких-то подозрениях в мошенничестве. Приведи-ка его сюда! Я его тогда спрошу кое о чем. Ведь этот баснословный долг вырос за два года, из них свыше года Моригути занимал в фирме важную административную должность.

Интересно, что он скажет о своей собственной ответственности за этот период? Тогда он бил баклуши и снимал сливки, а как сливочки кончились — решил заняться критикой. Как только ты, Сакудзо, можешь молча сносить подобные вещи? Почему ты просто не дал ему по физиономии? Ну скажи, почему? Есть у тебя чувство собственного достоинства?..

— Не болтай глупости. Виданное ли дело, чтобы на собрании кредиторов директор фирмы дал по физиономии своему кредитору!

— А почему бы и нет? Кто запретил? Будь это я, я бы ему двинула.

По выражению лица мужа было видно, что он воспринимает мои слова как совершенно лишние. Это еще больше раззадорило меня.

— Тебя считают «человеком редкой доброты». Я-то теперь поняла, что никакой ты не добряк. Ты безнадежно самовлюбленный тип. Твое самомнение и погубило тебя. Ты полагаешь, что в жизни все ведут себя как возвышенные мечтатели и следуют своим благородным порывам! Сейчас я тебе скажу, в чем твой самый главный порок из всех, что у тебя есть. Не в том, что ты добряк. Не в твоей бездарности. В небрежности? Нет. И не в доверчивости. Твой неисправимый недостаток, Сакудзо Сэги, — твоя са-мо-на-де-янность! Сказать тебе? Да? Ты сейчас в душе преисполнен гордости. Ах! Как же! Ведь сегодняшнее собрание прошло на редкость тихо и гладко. Ты доволен и уже забыл о долге в двести тридцать миллионов. Это как раз в твоем духе. Уж очень ты о себе высокого мнения, а оснований для этого нет никаких! — выкрикнула я.

В это время раздался голос Момоко. Она читала книгу.

— Мама, у тебя нет ваты? Я хочу заткнуть уши, а то очень шумно.

5

Наступил Новый год. В доме у нас стояла непривычная тишина. С тех пор как мы поженились, это был первый Новый год без гостей, без телефонных звонков. Греясь возле котацу, мы с мужем целый день просидели перед телевизором. Новогодняя программа оказалась неинтересной, но мы смотрели все подряд. Цуруё накануне уехала

отдохнуть к своей младшей сестре. Момоко в одиночестве играла в саду в волан. Еще в прошлом году мы выпустили весь запас у ее праздничного кимоно, а теперь оно опять стало коротко. И дзори у нее не было, я не смогла купить их к Новому году, так что ей пришлось надеть спортивные туфли.

— Как тихо, — проговорила я.

— Да, тихо, — ответил муж.

Он даже не похудел, на лице его не было никаких следов утомления. По крайней мере мне так казалось. За этот год, правда, у него заметно прибавилось седых волос, но ему просто свойственна ранняя седина. Глядя на Сакудзо, никто бы не подумал, что у него серьезные неприятности. Он производил впечатление человека, вернувшегося из дальнего путешествия.

— Интересно, до каких пор продлится эта тишина и безмолвие.

— Пожалуй, после пятого января уже начнется...

Мы переглянулись, словно солдаты, сидящие в одном окопе. Я не представляла, каким будет для нас наступивший год. В скором времени мы, очевидно, оставим этот дом. Как бы то ни было, сейчас нам выпали самые мирные часы за все последние годы нашей жизни. Это напоминало затишье перед боем. Я протянула мужу подушку и посоветовала, как фронтовик фронтовику:

— Вздремни немножко.

Я поднялась и пошла приготовить что-нибудь на обед. В этот раз мы совсем не готовились к Новому году. Я поставила на электрическую плиту моти и вдруг вспомнила:

— А что, Мидзусава-сан вернул нам свой новогодний долг?

— Нет, — коротко ответил Сакудзо, не поднимаясь.

Я вспомнила прошлый Новый год. Это было третьего января. Мы принимали гостей, Мидзусава вошел, как раз когда я пекла моти. Мне еще пришлось вызывать к нему мужа из гостиной, где было полным-полно народу. У Мидзусавы тогда скоропостижно скончалась мать, и он приходил, чтобы одолжить у мужа сорок тысяч иен.

— Мидзусава-сан, наверно, знает о нашем теперешнем положении?

— Должно быть.

— Тогда почему бы не попросить его вернуть долг?

— Хорошо.

Я вспомнила еще.

— А Имура-сан?

Муж как-то говорил мне, что ему пришлось дать в долг Имуре двадцать или тридцать тысяч иен. На этот раз Сакудзо ничего не ответил на мой вопрос, но именно это лишний раз подтверждало, что долг остался невозвращенным.

Я переворачивала моти и продолжала вспоминать:

— Касаи — Сёно — Мори... — Прервав возню у плиты, я взяла ручку и лист бумаги и подошла к мужу.

— Послушай, Сакудзо, может быть, нам составить список и разослать письма тем, от кого все-таки есть надежда получить долги... А? Как ты думаешь?

— Можно. — Муж неохотно поднялся.

— Обстоятельства есть обстоятельства. Мы ведь денег у них не просим и ничего позорного не делаем. Они тоже должны хоть как-то рассчитаться с людьми, которые в свое время оказали им услугу. Разве не так? Ты не согласен?

— Все это верно, — подтвердил муж. Без особого энтузиазма он начал писать. Я снова занялась обедом.

— Ну как, записал? Вспоминаешь? — Оживившись, я в свою очередь подсказывала ему имена, всплывавшие у меня в памяти. Меня радовало, что муж сразу принялся за дело. Он уже щелкал костяшками счетов.

— Ну, подсчитал? Сколько получилось? Тысяч четыреста? Нет, наверное, пятьсот? — Я называла цифры, даже большие, чем предполагала сама. И вдруг слышу:

— Миллион девятьсот восемьдесят шесть тысяч иен.

— Сколько?!

Я отставила сковородку и подскочила к мужу. На одной стороне листа растянулась колонка фамилий такой длины, что ее сразу и взглядом не окинешь. Я даже не знала, что сказать. Кажется, и воздух в комнате стал другим. Читаю фамилии.

— Мицуэ Камияма?.. — Пытаюсь сообразить, кто же это, и сразу вспоминаю. Эта женщина принимала участие в издании любительского журнала еще в те времена, когда мы с мужем вместе занимались изучением литературы. Только она появилась там, когда мы сами стали посещать занятия все реже и реже. Особой дружбы у нас с ней никогда не было.

— Эта Мицуэ Камияма... ты что, был близко знаком с ней?

— Вовсе нет. Просто несколько раз встречались на литературных занятиях.

— С чего же это она тогда пожаловала к тебе за деньгами?

Муж бросил быстрый взгляд в мою сторону.

— Однажды она примчалась ко мне на службу и рассказала, что разругалась с их заведующим финансовой частью. До этого Ясуба-сан дал ей рекомендацию в какой-то женский журнал, и ей заказали написать повесть. Она рассчитывала на гонорар, а тут все сорвалось.

От мира и спокойствия, царившего в нашем доме, мгновенно не осталось и следа. Какое-то время я стояла, уставившись на мужа, и вдруг даже вскрикнула:

— А это? Что это такое? — Я рассмотрела, что против фамилии Камияма стояла цифра не 3000, а 30 000 иен. — Единицы, десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч! Целых тридцать тысяч! — заорала я. — Дать тридцать тысяч какой-то Мицуэ Камияме... — У меня стал заплетаться язык, дергался подбородок. Я не могла подобрать нужного слова. Горячая волна гнева захлестнула меня. Я почувствовала, что мне просто станет дурно, если я тут же не выплесну его из себя. — Какие обязательства могли быть у тебя по отношению к этой Мицуэ Камияме? Ну объясни, почему ты дал деньги совершенно посторонней особе. Почему? Ну скажи. Отвечай же, когда тебя спрашивают!

Сакудзо молчал. Когда я училась в начальной школе, у нас в классе был ученик по прозвищу Мартышка. Если учитель начинал бранить его, от него невозможно было добиться ни слова. Одна преподавательница всерьез невзлюбила Мартышку. Помню, как пронзительно орала она на него, пытаясь добиться от мальчишки ответа. Теперь мне стало понятно негодование этой преподавательницы. Мой супруг был из той же породы, что и Мартышка. Бесчувственный наглец, которого ничем не прошибешь! О, как он выводил меня из себя!

— Ты крутил с этой Камиямой? Ну говори... Ну отвечай же, отвечай! Кого ты из себя корчишь? Хоть признайся честно, было между вами что-нибудь или нет?!

— Не болтай глупости! Лучше вспомни сначала физиономию этой дамы!

— Говоришь, ничего не было? Даже не волочился за ней, — выкрикивала я, вся полыхая от гнева. — Вот почему ты и разорился! Где ты видал таких дураков, которые, еще не вернув капитала, вложенного в дело, начинают сами раздавать деньги в долг? Твой характер и довел тебя до банкротства! Ни с того ни с сего — бац и отвалил тридцать тысяч.

Ладно, можешь вообще катиться отсюда. Иди развлекайся со своей дамочкой. В наш век все держится на принципе: «Ты — мне, я — тебе!»

Я бросилась в кухню, схватила с плиты лепешку и прямо из коридора швырнула ее в Сакудзо. Лепешка угодила в голову мужа, куски и крошки разлетелись по всей комнате. Муж как сидел, засунув ноги под одеяло котацу, так и не шевельнулся, взгляд его был прикован к списку должников.

После новогодних праздников опять началась будничная суета. Не умолкая, трещал телефон. В восемь часов утра муж уходил из дому и где-то пропадал до поздней ночи, о его делах я ничего не знала. Однажды меня посетил господин Намбара, входивший в состав руководства акционерной компании мужа. Он пришел по поводу банковского займа, взятого под его поручительство. В беседе со мной господин Намбара особенно подчеркивал, что, несмотря на занимаемый пост, никакого жалованья от фирмы он не получал. Мы договорились с ним, что я возьму функции гаранта на себя и буду ежемесячно вносить некоторую сумму в счет погашения займа. Через несколько дней последовал визит Масао Нокаты. Ноката возглавлял страховое агентство и раньше частенько бывал у нас. Оказалось, что некий Симанака давал мужу поручительство при оформлении займа в одном кредитном обществе. Сам Симанака абсолютно не знал моего супруга. К нему обратился Ноката, и по его просьбе Симанака, в свою очередь проникшись сочувствием к моему мужу, оказал ему эту услугу. Таким образом, Ноката считал себя тоже ответственным за этот заем. Понадобилось немало времени, пока я наконец постигла всю сложность этих отношений. Коротко говоря, Ноката пришел за деньгами. Я взяла долг на себя. Ноката был, пожалуй, даже удивлен тем, что я так быстро и легко пошла на это. Он подозрительно посмотрел на меня и ушел какой-то обескураженный.

Я считала себя обязанной, насколько это было в моих силах, не оставаться в долгу перед теми, кто в свое время как-то помог нам. Какими только словами я не ругала все эти последние годы знакомых мужа, которые, одолжив у него деньги, считали вполне естественным не возвращать их даже тогда, когда дела у них шли вполне прилично! И поскольку я всегда возмущалась подобным поведением, теперь мне самой не пристало жалеть свои деньги. Когда я расска-

зала мужу о переводе долговых обязательств на свое имя, он буркнул:

— Ну что ж.

И только. Сам он ни разу не попросил меня об этом. Я все делала по собственному побуждению. Сакудзо никак не реагировал на мои действия. Он только произносил свое обычное «ну что ж». Совсем так же, как он отвечал, когда я, бывало, говорила о желании проехаться куда-нибудь на недельку или рассказывала ему о покупке кольца с яшмой.

Незаметно взносы в счет уплаты долгов стали поглощать почти весь мой заработок. Некоторые знакомые вразумляли меня:

— Жена не несет ответственности за долги мужа. Тем более когда речь идет не о частном долге, а о задолженности со стороны акционерной компании.

— Правильно, долг числится за компанией, но ведь потерпевшими-то оказались отдельные люди, — возражала я своим советчикам. В ту пору я продолжала жить такими высокими понятиями, как «чувство долга», «чувство ответственности»... У меня еще оставались кое-какие ценные вещи, годные для продажи. Есть мужчины, у которых из-за денег даже голос становится другим, у них появляется какой-то истерический смех, отвисает нижняя губа — словом, они совершенно преображаются. Подобные люди вызывают у меня презрение. И это презрение помогало мне самой легче расставаться с деньгами.

6

Сразу после Нового года предполагалось созвать комиссию кредиторов, но время шло, а заседание все откладывалось, из-за того, что основные кредиторы никак не могли прийти к единому мнению. Между тем наступил февраль.

Я узнала, что дом друга нашей семьи — художника Сиро Нумады — заложен в счет долга акционерной компании мужа. Мне сообщил это старший брат Сакудзо. Если в течение февраля нам не удалось бы достать денег, дом Нумады был бы описан. Муж отправился к брату, чтобы одолжить у него необходимую сумму.

Это произошло как раз на следующий день после небывалого для Токио снегопада — в саду лежали сугробы по ко-

лено. У меня уже не было сил ни сердиться, ни волноваться. Я стояла и смотрела на ослепительно сверкающий снег. Меня охватило предчувствие новой беды. Обрушившийся на этот раз удар оказался поистине ужасным. Позвонил брат мужа и сказал, что больше он для Сакудзо ничего сделать не может. Это было его окончательное решение. Он даже заявил:

— Пусть Сакудзо объявляет себя банкротом и поступает как заблагорассудится. Мы отказываемся от такого человека.

Да, неприятности сыпались на нас одна за другой. Я распродала все свои золотые вещи и украшения. И все равно вырученных денег, даже вместе с авансом в счет моих авторских гонораров, не хватало для спасения дома Сиро Нумады.

— Как с ножом к горлу пристали!.. Что ж, выползайте, рабы чистогана! — возбужденно восклицала я.

Свою злость и неприязнь к мужу я перенесла теперь на кредиторов. Я ненавидела их, словно имела на это право. Я должна была выжить, и для этого мне нужна была злость, как единственное оружие, пригодное для самозащиты! Черпая силу в злости, я швыряла деньги направо и налево, сознавая, что стоит мне начать сокрушаться о них — и я погибла.

— В твоем положении абсолютно неуместно поддаваться чувству собственного достоинства. Конечно, должно быть, приятно поступать как ты. Но это никому не нужно. И ты должна понять это, — говорила мне моя близкая приятельница. Может быть, она и была права, но во мне действовали силы, неподвластные мне самой.

Чтобы сохранить дом Сиро Нумады, я решила достать необходимые пять миллионов у ростовщика. Относить в заклад мне было уже нечего. Ростовщик жил в квартале, где собираются поденщики и бродяги. Там он содержал более десяти постоялых домов и ночлежек. Еще раньше мужу както раза два или три приходилось иметь с ним дело по учету векселей.

Я вышла из дому во второй половине дня. Было холодно, свинцовые облака затянули небо, стояла какая-то поразительная тишина. Единственным человеком, который возражал против моего похода к этому ростовщику, оказалась моя мать. Ее просто бросило в дрожь от одного упоминания квартала, где жил ростовщик. Мать бранила моего мужа, была обижена поведением его брата и родителей.

— Почему ты одна должна отдуваться за все?! — негодовала она.

Меня самое возмутило, что против моего намерения обратиться к ростовщику протестовала только мать. Ее протест еще раз заставил меня почувствовать, что на всем свете лишь она одна и думает обо мне. Ведь общие друзья Сиро Нумады и нашей семьи только и твердили: «Необходимо что-то сделать для Нумады».

Один Сюнкити Кавада пожалел меня. Тяжко вздыхая, он как-то сказал: «Да, нелегко тебе».

Сам Сиро Нумада позвонил мне по телефону и попросил успокоить его жену. Мой муж в свою очередь обратился ко мне с просьбой:

— Может быть, ты возьмешь это на себя?

Ростовщик оказался грузным, невысокого роста мужчиной лет за сорок. Одет он был в серый пиджак с отворотами во всю грудь, как носили лет десять тому назад; стоячий воротник рубашки сдавливал его мощную шею. На бледном лице поблескивали стекла очков. Мне он напомнил нотариуса из американских кинофильмов, который заправляет большими делами, сам оставаясь всегда в тени.

— Сэги-сан, поразмыслите хорошенько. Ваш супруг разорился. Он ничего не смог сделать, и ему пришлось объявить себя банкротом. После объявления банкротства выплачивать долги не принято.

В манере ростовщика говорить быстро и возбужденно угадывался живой, беспокойный характер.

— Люди, дававшие поручительства при оформлении займов, должны сами расплачиваться за это. Предоставляя свой дом в качестве залога, его владелец должен был знать, на что он идет. Не мог же он относиться к этому с такой же легкостью, как если бы он просто одалживал соседу сковородку. Дурь, ерунда какая-то! Ведь жизнь, Сэги-сан, — это не детская забава. Вам самой совершенно нечего беспокоиться обо всем этом. Плюньте, и дело с концом. Как только вы махнете на все рукой, каждый сам в силу необходимости что-нибудь придумает по своему разумению. Ну что? Так ведь я говорю? Люди сами должны отвечать за свои поступки.

Ростовщик даже подался всем корпусом в мою сторону. Он говорил со мной, словно с малым ребенком, которому стараются растолковать каждое слово.

— Да... Вот такие дела. Господин Сэги разорился. Если он будет придавать излишнее значение таким вещам, как репутация, достоинство, дружеские отношения, ему не подняться. Жизнь — суровая штука. Упав в грязь, нечего пятна считать!

У меня вдруг навернулись слезы. С тех пор как я узнала о банкротстве мужа, это было со мною впервые. Мне казалось, я снова становлюсь маленькой, робкой девочкой. Я родилась последним ребенком в семье, когда отец уже был в преклонном возрасте. Меня очень баловали. До восьми лет мать все еще давала мне грудь. Я никуда не ходила одна; если со мной заговаривали незнакомые люди, я не могла ответить и тут же принималась плакать. Я все время ходила следом за нашей служанкой или своей старшей сестрой и всячески сторонилась чужих.

Я сразу поняла, что ростовщик сочувствует мне. Он говорил со мной так не потому, что ему не хотелось давать мне деньги. Нет, он исходил из моих интересов. Решил, что я совсем не знаю жизни, и пожалел меня. Так мне показалось. Из-за этого я и расплакалась.

— Сэги-сан, Сэги-сан, — взволнованно заговорил ростовщик, наклоняясь ко мне, — надо быть стойкой. Нельзя поддаваться чувствам!

Я старалась успокоиться, но никак не могла. Мне казалось, что впервые в жизни я встретила человека, который видел во мне слабую женщину и вел себя как настоящий мужчина. И я стала по-детски умолять его:

— Все равно... мне непременно нужно достать деньги. Прошу вас, дайте мне в долг.

Ростовщик некоторое время раздумывал, потом посоветовал:

— Тогда ограничьтесь тремя миллионами. Ведь я говорю так, исходя из ваших интересов. Это вы поняли?

— Поняла. Но мне во что бы то ни стало нужно пять миллионов, — упорствовала я.

Ростовщик озадаченно молчал. Потом, видимо решив уступить мне, заговорил:

— Ну хорошо. Я дам вам деньги. Но при одном условии, Сэги-сан. Сверх этого никаких займов не делать. И больше ни у кого, кроме меня, денег в долг не брать. Иначе вы сами затянете себе петлю на шее.

Я вернулась домой бодрая и повеселевшая.

— Не все уж так безнадежно плохо на этом свете, — громко сказала я, обращаясь к мужу. — Не перевелись еще настоящие мужчины. Мужчины, которые способны проявить жалость к женщине...

Воспрянув духом, я от радости забыла о печальной стороне дела: наш долг возрос еще на пять миллионов.

7

Когда я внимательно все подсчитала, оказалось, что сумма, которую мне предстояло выплатить, перешла уже в разряд десятков миллионов. Чтобы вернуть такие деньги, понадобится, наверно, лет шесть.

Я отправилась в Осаку для участия в передаче Осакской телестудии, организованной для домашних хозяек. Теперь мне приходилось браться за любую работу независимо от того, по душе она мне или нет. В студии было полно телезрителей — все домашние хозяйки. Велась беседа о том, какую часть жалованья мужа следует давать ему на карманные расходы. В передаче принимал участие даже один мужчина, который умудрялся тратить ежемесячно всего две тысячи иен. Была вывешена специальная таблица, на которой указывалось соотношение мужчин, которые приносят домой конверт с жалованьем в нераспечатанном виде; мужчин, которые вручают хозяйке дома конверт вскрытым, но ничего не взяв оттуда, и, наконец, таких мужей, которые отдают жене зарплату, заранее отложив себе определенную сумму на карманные расходы. Выступала женщина лет пятидесяти.

— Приятнее, когда тебе вручают конверт с зарплатой в нераспечатанном виде. Тогда ты сразу чувствуешь привязанность мужа, его искренность — и хочется от всей души поблагодарить его...

— Сэги-сан, а каково ваше мнение? — неожиданно спросил диктор и поднес ко мне микрофон.

— По-моему, совершенно безразлично, запечатан или распечатан конверт, — ответила я и, почувствовав излишнюю резкость своих слов, тут же добавила: — Важно, чтобы содержимое было в сохранности... Мне-то самой не то что в запечатанном виде, вообще не приходится получать никаких конвертов...

В этот момент время передачи истекло. Выходит, я проделала путь из Токио в Осаку, чтобы произнести всего две-три фразы.

— Благодарим вас.

— Спасибо, что выбрались к нам, невзирая на вашу занятость... — Ответственный за передачу почтительно раскланялся со мной, я получила вознаграждение и отправилась в обратный путь. После возвращения домой я долго не могла избавиться от чувства стыда. Я поняла, что веду совершенно

никчемный образ жизни. Мне хотелось высказать все это мужу, но у нас с ним даже не было времени для подобного разговора. Он возвращался домой под утро, я обычно еще работала. Когда он окликал меня, я оборачивалась и, не выпуская авторучки, докладывала ему, кто из кредиторов приходил за день, какие были телефонные звонки. Муж выслушивал все это, стоя на пороге комнаты, и уходил спать. У меня уже не было возможности выбирать работу, и я бралась за все, что сулило выгоду. Выступала, например, с лекцией в «Профсоюзе работников оптической промышленности Токио». Чего меня понесло к этим оптикам, так ли действительно это было необходимо, я и сама не знала.

Сад наш выглядел совсем заброшенным: повсюду валялись опавшие листья, так и оставшиеся с зимы. Но и среди всего этого запустения уже виднелись приметы весны. Я обратила на это внимание случайно, во время телефонного разговора с одним кредитором, когда вдруг заметила среди сухой травы пробивающуюся зелень бурьяна.

Однажды, вернувшись из школы, Момоко, еще не успев снять ранца, пронзительно закричала:

— Мама! Какой ужас! Наша Коро поранила себя. У Коро идет кровь.

Я в это время говорила по телефону. Меня терзал расспросами один из кредиторов.

— Мама, скорее, скорее! У Коро кровь идет. Нужно смазать йодом. Ну, мама!

Перед застекленной дверью, возле которой я разговаривала по телефону, появилась раскрасневшаяся, озабоченная мордашка Момоко.

— Скорее, тебе говорят, скорее, мама! Посмотри, что с Коро... — барабанила Момоко по стеклу.

Я прикрыла рукой телефонную трубку и торопливо ответила:

— Ничего страшного! Оставь ее в покое, все пройдет.

— Как ты можешь говорить такое... Неужели тебе все равно, если наша Коро подохнет? — Широко раскрытые от изумления глаза Момоко покраснели, всхлипывая, она продолжала укорять меня. — Почему у меня такая жестокая мама? Значит, пусть Коро погибает?!

Я валилась от усталости. Когда тут мне еще заниматься собачьими недомоганиями.

Один посетитель явился к нам как-то утром и просидел в гостиной до шести часов вечера. Он пришел требовать деньги не с мужа, а с меня. Кредиторы быстро поняли, что

им выгоднее не за мужем гоняться, а иметь дело со мной. Я принимала долги на себя не из малодушной уступчивости, а скорее со злости. Посетитель ругал мужа на чем свет стоит:

— Скажите, ну позволительно ли вести себя так обанкротившемуся человеку?

А дело было вот в чем. Два или три дня назад этот господин вместе с моим муженьком сидели в кафе и о чем-то беседовали. В это время в кафе вошел приятель мужа, а с ним еще три «хостесс»[1] из бара. Девушки, оказывается, были знакомы с моим мужем, и вся компания села за его столик. Затем девицы принялись бесцеремонно заказывать себе всякие лакомства, а, когда стали расходиться, счет оплатил мой благоверный.

— Вот я и подумал: что же это за человек? Долги он не признает, а за мороженое для «хостесс» платит! — бушевал посетитель.

Да, как все это было похоже на моего супруга! Я сама уже не реагировала на это, но возмущение кредитора мне казалось справедливым. Как раз в тот день мне принесли заказное письмо с моим гонораром. Не распечатывая конверта, я отдала его посетителю.

Однажды муж обратился ко мне со словами, смысл которых сразу даже не дошел до меня.

— Послушай, Акико, прописка уже аннулирована. Пожалуй, лучше оформить развод.

— Ты это о ком говоришь? О нас с тобой?

— Да, — подтвердил муж, — я думаю, так будет лучше. Ведь впереди еще много неприятностей.

— Еще?

Невероятно! Я взвалила на себя двадцатичетырехмиллионный долг, и это, оказывается, только начало?!

— Если мы не разведемся, ты вряд ли сможешь работать, Акико. — Он говорил это таким тоном, словно всего-навсего советовал мне переехать на новую квартиру!

— А как же ты?

— Куда-нибудь уеду, — как ни в чем не бывало ответил Сакудзо.

— На что же ты будешь жить?

— Как-нибудь прокормлюсь.

Некоторое время я молчала. На лице мужа было написа-

[1]От английского hostess — хозяйка. Девушки, развлекающие посетителей в кабаре, барах и т. д.

но то самое безразличие, которое после нашей женитьбы появлялось у него при всякой размолвке и всегда так раздражало меня.

— Интересно, что ты думаешь обо всем этом. Как ты расцениваешь подобный финал? Я-то понимала, что все кончится именно так. Я понимала, а ты понимал? Ты представлял себе, к чему все идет, или ты не сознавал этого? Мне хотелось бы узнать от тебя хотя бы это.

Ответа не последовало.

— Не будем говорить обо мне. Но ведь то, что делаешь ты, равносильно предательству. И невзирая на это, ты спокоен. По крайней мере мне так кажется.

Я ждала, что меня охватит обычный приступ гнева. Сакудзо вел себя в своем стиле — со времени банкротства он, подобно моллюску, который при опасности захлопывает створки раковины, не проронил ни слова. Обычно его упорное молчание приводило меня в бешенство. Ярость вырывалась из меня, как пламя из огнемета. Но на этот раз я не испытывала гнева.

— Когда я пытаюсь высказать свои мысли, меня никто не понимает, — заговорил наконец муж. — Ладно, если бы дело ограничивалось одним непониманием. Но мои слова выводят слушающих из себя. А я только такие вещи и могу говорить. Обычному человеку не понять, какая пропасть разделяет того, кто попал в водоворот, и всех тех, кому ничто не угрожает.

— Что ты хочешь этим сказать? По-твоему, вполне нормально, что человек, попавший в водоворот, уже не в состоянии ничего видеть?

Муж с неохотой ответил:

— Нет, совсем не то. Вопрос не в том, кто прав, кто не прав. По сути дела, все шло своим чередом. Вот и все.

Во мне снова зашевелилась злость, и я возмущенно сказала:

— После всего, что произошло, ты еще способен излагать какие-то бредовые мысли!

Тут на моего супруга неожиданно нашло красноречие.

— У Гёльдерлина[1] есть превосходные слова. Звучат они примерно так: «Никому не дано возвыситься так, как человеку, и никто не может пасть так низко, как человек». Понятен ли тебе, Акико, зловещий смысл этих слов? Ведь речь

[1]Фридрих Гёльдерлин — немецкий поэт (1770—1843).

идет не о том, что иногда человек может высоко подняться, а иногда — низко пасть. Нет, весь ужас этого высказывания заключен в мысли, что человек в равной мере наделен способностью опуститься на дно и способностью подняться к высотам нравственного совершенства. Вот в чем чудовищность человеческой натуры.

Пробудившийся было во мне гнев исчез. Я чувствовала упадок сил, как бывает при небольшой температуре. Я сроднилась с этим бессилием, как с ароматами далекого детства. Когда-то, еще во времена занятий в литературном кружке, Сакудзо завораживал всех нас потоками своего красноречия. Выглядел он тогда героем. Сейчас у него был точно такой же победоносный, самодовольный вид.

— Послушай еще, Акико. Сейчас все разглагольствуют: «Банкротство, пожалуй, оказалось полезным лекарством для Сэги». Однако на самом деле никаких лекарств не существует!

Неужели он так быстро ожил? А может быть, он и не умирал? В памяти вспыхнуло видение: вот он со скрипкой в руках бредет по предновогоднему городу.

— Я не согласен с мнением, что после банкротства нужно махнуть рукой на долги. Я считаю, что следует выплатить все до последней иены. Но в теперешнем моем состоянии это мне не под силу. Вот и все.

Я представила себе, что он, наверно, легко и просто разведется со мной, будет невозмутим и спокоен, оставаясь по нескольку дней без еды, и, наверно, как ни в чем не бывало переночует где-нибудь под мостом. Он ни капельки не изменился. Взвалив на меня двадцатичетырехмиллионный долг, он бросает все и уходит.

— Ты не человек. Ты философствующий червяк!

У меня вырвался вздох. Меня злило, что, невзирая на все случившееся, его взгляды нисколько не изменились. Но с другой стороны, именно в этом я находила для себя какое-то утешение.

8

На следующий день мы с Момоко отправились на прогулку. Стоял теплый апрельский вечер. Над мозаикой из ветхих и еще совсем новеньких крыш нашего квартала раскинулся вечерний небосвод, окрашенный в мутно-розо-

вые и серо-голубые тона. Когда-то здесь был лесистый холм, теперь об этом напоминали лишь кое-где уцелевшие высокие, темные стволы гинкго и пильчатой дзельквы. Миновав живую изгородь, из-за которой доносился запах жареной рыбы, мы подошли к следующему забору, и в воздухе повеяло жареным мясом.

— Мама, чего ты боишься больше всего на свете?

— Твоя мама ничего не боится, она сильная и смелая. Вот маму твою кое-кто побаивается. Для мамы же ничего страшного нет.

— Ох, какая ты... Опять сразу начинаешь задаваться... А я больше всего боюсь живодеров-собачников. Потом похитителей... Мама, а что ты будешь делать, если меня вдруг похитят?

— Вот это вопрос. Ну что же. Дам объявление в газете — «Инструкция для похитителей»: «Пишите с Момоко диктанты. По арифметике давайте ей упражнения на умножение. Например: 99 умножить на 7, 99 умножить на 8...»

Внезапно перед нами открылся вид на окружную дорогу. Мы много раз приходили сюда, и каждый раз этот момент был неожиданным. Это объяснялось тем, что наш путь пролегал по запущенной, извилистой тропинке, в самом конце которой стоял деревянный коттедж. Он и скрывал автостраду.

Небо начинало понемногу темнеть, а внизу, словно горный поток, неслась вереница машин. Мы поднялись на виадук и стали лицом к югу. Город уже погрузился в темно-серые сумерки. С окраины одна за другой выскакивали автомашины с зажженными фарами. Казалось, в кабинах машин не было водителей — они стремительно мчались, словно автоматы, управляемые на расстоянии. Еще мгновение — и машины исчезали под нами. Не слышно было ни сигнальных гудков, ни человеческих голосов — единый мощный гул стоял над автострадой.

— Че-го шу-ми-те? Ду-ра-ки!.. — вдруг крикнула я с моста. — Момоко, попробуй-ка теперь ты.

Девочка радостно повторила за мной:

— Ду-ра-ки... Че-го шу-ми-те?.. — Наши голоса потонули среди гула и грохота.

— О, если бы воспрянуть!.. Если бы снова... — воскликнула я.

Автомашины все шли и шли. Вдоль шоссе зажглись огни люминесцентных светильников. Мы с Момоко стояли над рекой с грохотом мчавшихся машин и смотрели на юг.

КИМИКО САТО

В БАНЮ

Автобус отошел, и в воздухе вихрем закружилась пыль. Синобу несколько раз чихнула, прикрывая лицо рукавом теплого пальто. И почувствовала резь в горле. Еще не прошел насморк: простудилась она дней десять тому назад, когда возвращалась домой после бани. Последнее время она часто простужалась, почти каждый раз, как возвращалась от матери. И неудивительно: выкупав мать, она второпях мылась сама, а потом, не остынув, бежала домой, целый час тряслась в автобусе, а потом еще на пронизывающем вечернем ветру брела по дороге в гору. Синобу с мужем жили на холме, на северо-востоке Нагои, а мать — здесь, на побережье залива Исэ, то есть на противоположном конце города.

Синобу подняла воротник пальто и зашагала вперед, выпрямив худую спину.

Какой сильный ветер! Он разогнал плотные свинцовые тучи, и вдали на юге стали видны по-солдатски выстроившиеся в ряд огромные дымящие трубы. Дым красновато-коричневой краской раскрасил небо. Там — промышленный район, воздвигнутый на осушенном побережье полуострова Тита. Когда ветер меняется, трубы исчезают, словно испаряются. Под тяжелыми плотными облаками тянется вереница невысоких муниципальных домов, последние пять-семь лет старые деревянные лачуги не раз перестраивались. Черные жестяные крыши покрывали шифером, пристраивали низенький второй этаж, добавляли комнатушку без окон. Когда в просвет между тучами прорывается слабый луч заходящего солнца, видна каждая щель. На повороте

Синобу взглянула в сторону. И сразу заметила: что-то изменилось. Торговка okономияки[1], жившая по соседству с матерью, надстроила второй этаж с крышей из серой жести. Нижняя, черная крыша почти не видна из-за свисающих со второго этажа голубых труб сушилки для белья.

«Думает, если мать — одинокая старуха, над ней и издеваться можно...»

Синобу ускорила шаг. Местность была расположена на уровне моря, и стоило пойти дождю, как вода начинала захлестывать пороги домов, двери разбухали и плохо открывались. Синобу отворила дребезжащую фанерную дверь. Но мать, всегда выходившая на скрип двери, не появилась. Синобу прошла в кухоньку с земляным полом, за кухонькой помещалась небольшая, в три татами[2], комната с деревянным настилом. Из глубины дома слышался звук телевизора.

— Мама! Мама! — позвала Синобу.

Она ступила на дощатый пол. В просвет между неплотно задвинутыми фусума виднелся край неубранного футона. А ведь мать, как и Синобу, всегда была аккуратной: она не из тех, кто позволяет себе спать днем.

— Мама! Это я!

На всю комнату гремит телереклама.

— Мама!

Синобу бросила вещи на дощатый пол. Потеряла равновесие, споткнувшись обо что-то.

— Ну мама!

Она с усилием раздвинула фусума, и тут розовое одеяло медленно приподнялось.

— Это ты, Синобу?

Мать протерла глаза и заправила коротко стриженные волосы за уши. Движения ее тонких длинных пальцев были удивительно изящными. Синобу, тяжело дыша, наблюдала за ней.

— Ты что это, мама? Спать днем, да еще с включенным телевизором! Какая беспечность!

Мать села на колени, уперлась руками в пол и легким движением выскользнула из-под одеяла. Изящество матери, являвшее резкий контраст с грязной, засаленной наволочкой, неожиданно напомнило Синобу последние слова отца.

[1]Окономияки — несладкое печенье с овощами.

[2]Несколько больше 4,5 кв. м.

— Пожалуйста, позаботься о матери. Ведь она совершенно не приспособлена к жизни.

И отец, скончавшийся от чахотки спустя год после войны, и мать были словно из другого мира. Дед был управляющим субподрядным авиазаводом М. Слабый здоровьем и крайне избалованный отец, так и не доучившись в художественном училище, женился на красивой и покорной девушке и жил на средства, которые получал от деда, в пригороде, где не приходилось опасаться воздушных налетов, но после окончания войны завод закрыли, и отец, словно потеряв опору, покатился вниз. Некоторое время он преподавал рисование в женской школе. Работа обострила болезнь, и он умер в тот год, когда Синобу, окончив школу, поступила на работу в банк. Мать, разумеется, оказалась на иждивении Синобу. При всей изысканности манер мать совершенно ничего не умела делать. Она была так воспитана: женщина должна заниматься своим туалетом, а все остальное пусть делают другие.

Посему все то, чего мать не желала касаться, должна была взвалить на свои плечи дочь, Синобу. После смерти отца Синобу, отличавшаяся неженской твердостью, быстро освоилась с новой ролью...

Мать, даже не стряхнув приставшие к подушке седые волосы, сложила футон, сдвинула его в угол и спокойно возразила:

— Какая беспечность, Синобу? Да заберись сюда вор, тут и взять-то нечего. Одно старье, и нести тяжело — футон, телевизор, стиральная машина, холодильник... — Мать издала странный горловой смешок: — Ты что, Синобу, решила, что я умерла? И впрямь, в газетах частенько пишут о таком: когда умирают одинокие старики, об их смерти узнают только через несколько дней.

Синобу, нагнувшись за брошенным на пол свертком, нахмурилась.

— Знаешь, а это было бы неплохо. И мне хорошо, долго не мучиться, и тебе облегчение.

— Мама, ты что говоришь?! — возмутилась Синобу.

— А что? Сама виновата, что не родила себе сына.

Мать была родом из префектуры Миэ, и ее говор, слегка изменившийся от долгих лет жизни в Нагое, звучал удивительно мягко. Синобу, все еще хмурясь, развернула сверток и достала электрогрелку. Конечно, котацу с угольными брикетами было и дешевле, и давало больше тепла, но мать пос-

тоянно роняла горящие угли, прожигавшие в деревянном полу дыры.

— Вот, возьми. Здесь столько же, как и обычно...

Синобу протянула матери белый конверт. Двадцать три тысячи иен. Ровно на месяц. Год назад Синобу, рискуя вызвать недовольство мужа, несколько увеличила сумму, но цены росли прямо на глазах, и она не знала, можно ли прожить на эти деньги. Во всяком случае, у матери она не спрашивала. Мать благодарно приподняла конверт обеими руками и положила его в ящик алтаря.

— Я тебе принесла мед и масло, положу в холодильник.

Синобу отворила дверцу старенького холодильника — он, как и все вещи, был принесен из ее дома, — и у нее даже перехватило дыхание. Холодильник был абсолютно пуст. Стенки холодильника потрескались, из трещин на белой эмали проступила ржавчина. Синобу в сердцах захлопнула дверцу, откуда на нее словно пахнуло леденящим холодом.

Мать повернулась от алтаря и виновато проговорила:

— У меня не то что у тебя — и положить нечего. Не будешь же ставить туда овощи и соленья.

Синобу мучительно закусила губу. В горле точно комок застрял. Глядя в спину застывшей у холодильника дочери, мать сказала:

— Последнее время все тебя сердит, что ни скажи. А ведь я ничего такого не говорю.

Потом встала и добавила:

— Ладно, своди меня лучше в баню. Я уже девять дней не мылась.

Два года назад у матери подскочило давление. Она всегда была мнительной, даже малейшее недомогание лишало ее покоя, а тут она заметно сдала.

Узнав, что матери несколько раз становилось дурно в бане — домой ее приводили соседи, — Синобу попросила мать не ходить в баню одной.

— Пожалуйста, больше не делай этого. Зачем обременять соседей. Я сама буду приезжать и водить тебя в баню.

Но мать колебалась.

— От тебя на одном только автобусе час. Тебе будет трудно.

Все вышло так, как говорила мать. Детей у Синобу не было, но она с мужем хлопотала в книжной лавке и ухаживала за свекром, которому шел уже восьмой десяток, так что вскоре она стала приезжать всего раз в неделю, а потом —

и в десять дней. Мать покорно ждала, не жалуясь и не упрекая.

Взяв мать за руку, Синобу вышла из дома и увидела соседку, толстую торговку окономияки, разжигавшую на улице в переносной печке угольные брикеты. Было видно, что ей трудно нагибаться: ноги у нее короткие и тонкие, как у ребенка, а тело — круглое, точно бочка.

Синобу вежливо поклонилась.

— Спасибо вам, позаботились о матушке...

— В баню идете? Это дело, — отозвалась соседка. Она пристально оглядела украшенное гербом темное шерстяное кимоно Синобу и моргнула покрасневшими от недосыпания и едкого угольного дыма глазами.

— Эх, и мне бы разок помыться, пока водичка чистая. Моюсь всегда под конец, когда вода в чане уже черная, а цена такая же!

И она расхохоталась. Синобу еще раз поклонилась, и они двинулись дальше. Мать прошептала:

— Кончится ночная смена, придут рабочие с завода, так она до полуночи работать будет, подкладывая брикеты. Ох, и деньги она гребет! Телефон у себя поставила.

«N-сэйтэцу» был самый большой завод в южном промышленном районе города.

— Ишь, прямо над моей крышей сушилку пристроила...

Синобу, крепко сжав ее руку, ускорила шаг. Но вдруг приостановилась.

— Надо на обратном пути занести ей хотя бы сахару, вдруг придется когда-нибудь попросить ее позвать тебя к телефону.

В бане, что была поблизости с домом — даже старуха добрела бы туда за несколько минут, — Синобу мылась еще в детстве.

Нарисованная на кафеле стен Фудзи и большой, похожий на птичьи крылья вентилятор на потолке раздевалки — все те же, но сами купальни полностью переделаны. На стенах зеркала, перед ними краны с горячей водой. На еще новеньких зеркалах развешаны рекламные листки. Сверкают свежей краской черные и красные иероглифы: приглашают в магазин тканей и сусия[1], родильный дом и магазин по продаже аксессуаров для машин. Между зеркалами стоят белые

[1]Сусия — заведение, где подают суси — колобки из вареного риса, покрытые рыбой, яйцом, овощами и приправленные уксусом и сахаром.

цилиндрические баки для мусора, на них тоже виднеются иероглифы: «Безопасность движения нужна всему миру...», «Депутат городского совета...» Дальше — неразборчиво. Вот гадость, даже до бани добрались!

Одна из девиц с крашеными волосами, столпившихся по ту сторону большого чана, вытащила наманикюренным пальцем изо рта жевательную резинку и щелчком отправила в ящик «депутата городского совета». Девицы работали в баре у станции и всегда в этот час (баня открывалась в три дня) вместе ходили мыться. С тех пор как вокруг муниципальных жилых зданий понастроили хибар, где поселились рабочие с завода, таких девиц здесь пруд пруди.

Синобу немного отодвинулась и негромко сказала матери:

— Входи в воду постепенно, не окунайся целиком.

— Хорошо, — послушно кивнула та.

Мать ухватилась обеими руками за края чана и, повернувшись спиной, зашла в воду по колено. Некоторое время она стояла неподвижно, сверкая ягодицами; ее тело, располневшее после того, как ей исполнилось пятьдесят, светилось белизной. Затем, потихоньку согнув колени, она медленно, в течение нескольких минут, погрузилась в воду: сначала по пояс, потом до груди и наконец по шею. От напряжения мать губы вытягивает — у нее такая привычка, на вздернутом носу выступает пот. Бросив взгляд на ее невыразимо счастливое лицо, Синобу отвела глаза и сказала нарочито сухо:

— Может, подлить холодной? Такая горячая тебе вредна.

— Хорошо. — Мать послушно открыла кран.

«Старушка...», — невольно вспомнила Синобу слова мужа.

В доме Синобу примерно год тому назад, перегородив кухню, поставили ванну с газовой колонкой. Семидесятипятилетнему свекру стало не под силу ходить в баню.

— А дома ты сама его сможешь мыть, — сказал муж, когда ванная была готова. Повесив большое зеркало, он пришел в восторг от собственной идеи: «Просто прекрасно!» Но Синобу стеснялась мыть свекра.

— Ты что? Не девочка уже, чтобы стыдиться. Сама уже старушка. Оттого и детей нет.

Муж подмигнул. Необходимость заботиться об отце, видимо, не вызывала у него недовольства. Теперь почти каждый вечер свекор бормочет, когда Синобу вытирает его покрасневшее от горячей воды тело: «Эх, и хороша же была

водичка!» И каждый раз Синобу думает: «Завтра же поеду к матери». Но у нее столько хлопот — ведь магазин тоже всецело на плечах Синобу.

Хидэо было двадцать пять, когда он с первого взгляда влюбился в двадцативосьмилетнюю Синобу, работавшую тогда в банке, и привел ее в дом; с той поры она трудилась не покладая рук: ухаживала за больной свекровью, а когда та умерла, хлопотала на похоронах; потом выдала замуж золовку Бэнико. Также благодаря ее расторопности они получили банковскую ссуду, перестроили магазинчик. Теперь он приобрел свое «лицо»: Синобу с мужем подбирали книги по изобразительному искусству и общественным наукам, и их постоянными покупателями сделались студенты. Хидэо был человек безотказный, из той породы людей, что, наспех переодевшись после работы, тут же опять бегут куда-то. Он вечно был занят общественными делами, занимая пост секретаря Ассоциации местных жителей, и покупателей теперь обслуживала одна Синобу. Она была настолько аккуратна, что, обнаружив нехватку каких-то десяти иен, снова пересчитывала все на счетах. Если в конце месяца после уплаты процентов в банк и перевода обычной суммы матери оставались лишние деньги, Синобу откладывала их и потихоньку покупала новые электроприборы.

А старые — стиральная машина, холодильник, пылесос, телевизор — перекочевывали к матери.

Робкое условие, выдвинутое перед свадьбой: «Я единственная дочь и должна заботиться о матери» — Хидэо воспринял весьма спокойно и за последующие десять лет ни разу не выразил недовольства по поводу ежемесячных переводов матери. Но, блюдя интересы свекра и золовки, бóльшие потачки не допускал. Золовка Бэнико не теряла случая уколоть.

— Неудобно, конечно, так говорить — он ведь старший брат, — но это же просто святой, и только! Никаких развлечений — одних тропических рыбок покупает...

Бэнико, выклянчив, как всегда, у Хидэо денег на карманные расходы, ушла домой, а Синобу, стоя у большого, в метр шириной, аквариума, помешивала воду щипцами для углей. Тропические рыбки — морские ангелы и суматранские барбусы — метались из стороны в сторону, растопырив свои словно плиссированные плавники.

«Просто я предвзято отношусь к золовке», — попыталась Синобу уговорить себя. В тот день она купила цветной телевизор. Купила взамен еще нового черно-белого, потому

что сломался телевизор у матери. На мать было больно смотреть, когда она, склонив голову набок, с треском вертела переключатель в поисках хоть какого-нибудь изображения.

— Ты дергаешь переключатель, потому он так быстро и ломается, — сказала она, а про себя подумала, что надо бы перевезти сюда свой, черно-белый. Однако, когда Синобу купила цветной телевизор, оказалось, что она здорово ошиблась в расчетах. Даже при скидке нужно было три года выплачивать пять тысяч иен в месяц. Синобу даже перестала курить — якобы из соображений здоровья. Когда рядом с аквариумом устанавливали обновку, явилась Бэнико с ребенком.

— Ах, какая роскошь! То-то отцу радость.

И стала ластиться к Хидэо, который кормил червячками тропических рыбок.

— Послушайте, братец! Отдайте мне ваш старый, черно-белый. У нас на втором этаже нет телевизора. В гостиной-то, конечно, есть, но там свекровь спит. Вечером телевизор не посмотришь.

Хидэо засмеялся: «Ну что же, вот только жену спрошу». Сказать «нет» было немыслимо. Когда Бэнико, вызвав такси, суматошно грузила телевизор, Синобу, неслышно ступая, поднялась на второй этаж. Она подошла к свитку с изображением бодисатвы, висевшему у туалетного столика, и постепенно бурное дыхание успокоилось. Закуток в три татами, отгороженный на отведенном под склад втором этаже, — это ее комната, тут она поставила у крохотного, выходящего на север оконца столик и повесила над ним бодисатву. Бодисатва, сидящий на облаке и играющий на флейте, — память об отце. Отец умер, когда она только-только окончила женскую школу, и остался в ее памяти молодым и ясноглазым. Он рисовал бодисатву незадолго до смерти словно одержимый. Позднее Синобу узнала, что это был бодисатва Унтюкуё с фрески храма Бёдоин в Удзи.

— Не то. Нет, совсем не то!

Со вздохом, похожим на стон, он, сжимая кисть костлявой рукой, с силой ударял по листу бумаги.

А потом рвал и выбрасывал.

— Не то. Опять не то!

Синобу до сих пор словно наяву слышит его стоны.

Один из этих листов Синобу склеила и отдала мастеру сделать свиток. У бодисатвы была оторвана голова, поэтому на шее виднелся кривой воспаленный шрам. Бодисатва топтал босыми ногами облако и весело играл на флейте.

— Когда мать умрет, уйду. Уйду из этого холодного дома.

«Секретарша с большим опытом бухгалтерской работы, по совместительству горничная? Зарплата — двадцать три тысячи иен в месяц».

Небожитель вскидывает оторванную голову и вглядывается в бледную, как полотно, кусающую губы Синобу.

В такую пору Синобу и повстречалась с тем быстроглазым студентом. Она первая обратила на него внимание. Несмотря на зимний холод, он был в одной черной студенческой форме, даже без шарфа, и весь дрожал, засунув руки в карманы. Он разглядывал альбом репродукций картин из Лувра. Синобу заметила, что он смотрит на обнаженную женщину. Ее дышащее теплом тело свободно раскинулось на черном фоне. Темные страстные глаза студента то впивались в картину, то рассеянно обращались к проезжавшим мимо магазина машинам. От этого взгляда по телу Синобу пробегала дрожь.

«Нет, не то. Не то, не то!» — слышался ей голос отца. Синобу не могла отвести взгляд от профиля студента. Через несколько дней студент пришел снова. Он заметил взгляды Синобу, смутился и было захлопнул книгу. Но Синобу, не желая показывать, что она следит за ним, с улыбкой подошла и взглянула на репродукцию.

— Венера Бардо. Она как теплая. Хорошая картина.

Потом ей вдруг стало стыдно, и уши у нее порозовели. От ее головки с гладко зачесанными кверху волосами повеяло очарованием.

Студент, вздрогнув, пристально посмотрел на Синобу. После этого Синобу несколько дней чувствовала на себе взгляд его темных глаз. Ей казалось, что кожа ее склоненного над бумагами лица пылает и заливается алой краской. Однажды Синобу не вытерпела, поднялась, уронив с коленей счета. Сунула ноги в дзори и, глядя студенту прямо в глаза, медленно, как лунатик, пошла к нему. В этот момент пальцы Синобу коснулись чего-то мягкого. Синобу остановилась. Это была метелка из перьев. Пальцы Синобу сжали метелку и неожиданно для себя начали прилежно смахивать пыль с книг. Этим все и кончилось. Студент больше не приходил. Каждый день Синобу слонялась перед магазином. Ждала, ждала, устала ждать, отчаяние синяком отпечаталось на ее лице, и Синобу поняла, что ей уже сорок два и студент годится ей в сыновья. Она удивилась самой себе, как это не пришло ей в голову раньше.

«Что же мне делать? — А чего тебе хочется?»

Она не отрываясь смотрела на воспаленный шрам на шее небожителя.

...Синобу очнулась и обнаружила, что сидит в бане, перед зеркалом. Зачерпнув из чана воды, она полила себе на плечи. Набрала побольше, снова выплеснула на плечи, словно совершая ритуальное омовение. С недавних пор это вошло у нее в привычку.

Водопадом струясь с плеч, вода скользит по коже Синобу, рассыпаясь на бесчисленные капли. Ни одна капелька не задержится. Белая, с проступающей изнутри, как у жемчужины, розовизной, кожа отталкивает воду, не желает намокать. Синобу зачерпывает воду и выплескивает на тело.

Что выражают эти бессмысленные действия? Отчаяние? Досаду ли на себя уже увядающей, но так и не узнавшей настоящей жизни женщины?

В помутневшем от пара зеркале профиль Синобу, рассматривающей свое белое обнаженное тело.

— О, Ёко-сан! — вдруг воскликнула мать, вся, словно ребенок, в мыльной пене. Старуха, к которой она обращалась, являла собой полную ей противоположность: темная, худая, костлявая; она жила в семье женатого сына в муниципальном доме: сын служил в муниципалитете.

— Давненько не видались. Как здоровье?

Мать кладет на измазанные мылом колени мочалку и присаживается на кафельный пол.

— Помаленьку.

Ёко садится рядом и вытягивает ноги.

— А я зубы вставила. Выдирали через день, по четыре. Вот.

Ёко разевает рот и показывает ряд белых, похоже, фарфоровых зубов.

— Неужто все вставные? И вкус чувствуешь?

— Как только вставили, было немножко непривычно, но теперь даже лучше стало. Все что угодно могу разжевать, просто благодать.

— Все что угодно? Да ну? Вот хорошо-то!

Мать вздохнула и украдкой взглянула на Синобу. А у Синобу чуть не сорвалось с языка: «А сколько это все стоило?»

— А как поживает Табо?

Трехлетний Табо — внук Ёко.

Ёко скривилась.

— А вот, послушай. В субботу невестка с сыночком вернулись с работы пораньше и отправились с Табо на лыжах

кататься. Целый день его нянчу, пока они работают, а потом еще развлекаться изволят! Воображают, что заслужили это своим трудом. Каждое утро невестка уходит из дому в семь и возвращается в шесть. А я каждый день работаю по одиннадцать часов.

— Ну уж — одиннадцать часов! Это вы, пожалуй, прихвастнули! И потом, разве молодым не нужно отдыхать? — Синобу, сама того не желая, ввязалась в разговор.

— Ну а старикам отдыхать не нужно?

Ёко придвинулась костлявым телом, в глазах у нее загорелся гнев.

— Значит, и ты, Синобу, так думаешь? Выходит, старики за кормежку да за телевизор должны в ножки кланяться? Ни за что. Я сыну сказала: больно хорошо устроились. Сами развлекаются, а старуху заставляют работать. С завтрашнего дня отказываюсь нянчить Табо. Так и сказала.

Ёко торопливо облилась горячей водой и, вздрагивая всем телом, полезла в чан.

Синобу брезгливо наблюдала, как отвисшая старческая кожа трется о край чана. Но вслух все обратила в шутку:

— Старики должны быть тихими. Горячиться им вредно.

— Такими, как бабушка Курэнай[1]? Таких уже теперь нет — добреньких да благородненьких, — проворчала старуха и погрузилась в воду по шею.

У Синобу дрогнули губы. Она покраснела до кончиков ушей. Молча отошла и села в стоявшую напротив лекарственную ванну. Вернулась застарелая боль.

«Такую невестку, как Канако у бабушки Курэнай, только по телевизору и увидишь».

Так сказала тогда та старьевщица. Это была невысокая женщина с торчащими из-под желтого платка рыжевато-коричневыми волосами. Ее муж погиб в автомобильной катастрофе. Свекровь ее была маленькой сгорбленной старушкой. Выглядывавшие из-под момпэ[2] старческие ноги всегда были разрисованы причудливыми узорами пыли. Она, выбившись из сил и глядя перед собой пустыми глазами, тащила под палящим летним солнцем наполненный до краев тряпьем велосипедный прицеп. Невестка пронзительно кричала:

— Хозяйка, нет ли старья?

[1]Речь, видимо, идет о героине популярной телепередачи.

[2]Момпэ — рабочие шаровары.

Когда же она поворачивалась к свекрови, ее льстивый голос мгновенно менялся:

— Эй, бабушка, ну кто так завязывает? Гляди, вот-вот развяжется!

Синобу не утерпела:

— Зачем заставлять работать старого человека? Она же вот-вот упадет!

На что старьевщица возразила:

— А разве я кого заставляю?

И Синобу прикусила язык.

Через полгода невестка осталась одна. Соседи рассказывали, она радовалась, что «наконец-то избавилась от обузы». По сути дела, получая пособие за погибшего в аварии мужа, старьевщица не так уж нуждалась, чтобы заставлять работать свекровь. И все же она таскала за собой старую больную женщину, пока та не умерла прямо на улице.

Старьевщица, повязанная все тем же желтым платком, по-прежнему приходила скупать тряпье. В последнее время она начала приторговывать поношенными вещами. За пятьдесят — сто иен продавала свитера, старомодные женские костюмы. И похоже, торговля шла успешно. Неразборчивость женщин, покупавших такие вещи (неизвестно, кто их еще носил!), казалась Синобу омерзительной. Как-то дождливым днем, в самом начале зимы, старьевщица попросила позволения погреться в магазинчике Синобу и подкрепиться. Синобу усадила ее в конторке. Подав горячего чаю, спросила о свекрови.

— Никогда не прощу ей того, как она со мной обращалась. Ей-богу. Пока был жив муж, даже сасими разрешала покупать только на двоих. Накорми мужа — он мужчина! Сама ела: она старуха! А мне не давала. Мне казалось, что в нее просто дьявол вселился.

Синобу прервала старьевщицу, тараторившую без умолку:

— У нее было высокое давление?

У матери Синобу давление поднималось до ста восьмидесяти. Старьевщица сказала:

— У свекрови давление было под двести. Слава богу, все так кончилось, а то разбей ее паралич — вот было бы возни. Хорошо, умерла в одночасье.

Синобу подлила чаю, предложила маринованной капусты. Перед уходом гостья попросилась в туалет. Туалет был в коридоре, у черного хода, и она возвратилась через гостиную, где сидел свекор.

— Послушай, у того старика, что смотрит телевизор, давление тоже высокое? — спросила она, почему-то понизив голос.

Синобу обдало неприятным запахом изо рта старьевщицы.

— Попьет перед сном побольше, на рассвете захочется в туалет, верно? И в холодном туалете помрет.

Синобу, не отрываясь смотревшая в рот старьевщице, отпрянула. Сердце забилось так, что, казалось, было слышно, как оно стучит. А старьевщица как ни в чем не бывало достала из груды тряпья что-то из темно-лилового шелка и поднесла к носу Синобу.

— Может, купишь? Кимоно из узорчатого шелка! Если перекрасить, получится шикарная вещь. Я его купила по дешевке, так что отдам почти даром.

Синобу взяла в руки старое кимоно.

— Так это чужая вещь? — спросила, поборов дрожь в голосе.

— Такое мне часто попадается. Вот ведь времена: все выбрасывают.

Старьевщица взяла у Синобу бумажку в пятьсот иен и, посмотрев ее разок на свет, положила в кошелек. Она уже давно ушла, а сердце у Синобу все трепетало. Бурное дыхание вздымало грудь. Плотно затянутое (свободное Синобу не любила) кимоно стесняло движения. Оби сдавило грудную клетку, узел впился в кожу. Было трудно дышать, и Синобу даже запрокинула голову. Она скатала в комок обвившееся вокруг руки кимоно и пошла выбросить его в мусорный ящик перед магазином.

Но возле ящика она остановилась. Синобу расправила на руке темно-лиловый шелк, казавшийся в свете дождливого дня землистым. Скользкая блестящая ткань напоминала панцирь навозного жука. От правой руки, на которой висело кимоно, по всему телу распространился, рождая отвращение, влажный холод. Синобу, не опуская руки, боролась с тошнотой. Она купила это мерзкое кимоно потому, что старьевщица угадала ее мысли. В глубине души Синобу желала матери смерти. Она не могла отдать мать в дом для престарелых, когда та окончательно сдаст, но понимала, что помочь ей не сможет ничем; не раз, до изнеможения размышляя об этом, она в душе желала ей смерти, и змея тайной ненависти поселилась в ней: вот если бы не было матери, у нее началась бы новая жизнь! — отвратительная, холодная змея...

В тот день Синобу не выбросила старое кимоно. Переборов тошноту, она аккуратно сложила его и спрятала в глубине шкафа.

Ёко вылезла из чана и начала мыться. Опираясь на бортик, уселась — видно, утомилась. Вяло двигала мочалкой, размазывая мыло по шее и груди.

Увидев, что она с натугой перекинула мочалку на спину, Синобу вышла из воды и подошла к старухе.

— Давайте потру вам спину.

А сказав, подумала: что это я? Только что выслушав такую отповедь! Она была противна сама себе: мыть кому-то спину только потому, что когда-нибудь этот человек может помочь матери...

Но руки Синобу, энергично выжав мочалку, сами терли спину вверх от поясницы. Грязь скручивалась, как содранная кожа. Забавное зрелище: комочки грязи скатываются и падают, словно стертые ластиком — от боков к рукам, от затылка к плечам. Ёко прищурилась на хлопья грязи, падающие на колени.

— Вот благодать! Всегда прихожу сюда с Табо и спину-то как следует помыть не могу.

— Хороша же ваша невестка! Уж собственного-то ребенка могла бы сводить в баню.

— Да ведь и она тоже занята: то готовкой, то стиркой, вот и провозится допоздна. Да и Табо хочется спать.

Смыв всю грязь, Синобу хорошенько намыливает мочалку. От подбородка к затылку, от подмышек к коленям движутся внимательные, не пропускающие ни одной впадины пальцы. Смыв, развернула на спине прополосканную и отжатую мочалку и энергично похлопала по плечам.

— Больно было рвать зубы? — не удержалась от вопроса Синобу.

— Когда замораживали иглой, кольнуло, потом неприятно, когда бормашиной сверлили — др-р-р! А так ничего.

Утомленная купанием, мать сидела неподвижно, но тут встрепенулась.

— Действительно все что угодно можешь разжевать?

— Все, все, абсолютно все.

— Во что же вам это обошлось, тетушка? — наконец спросила Синобу.

Тридцать тысяч иен...

Надевая кимоно, Синобу быстро прикинула в уме и решила: пройдусь-ка по соседям и соберу заказы на учебную

энциклопедию. Кажется, внук председателя районного собрания в этом году поступил на первый курс, а сын ломбардщика сейчас на третьем, там, пожалуй, купят...

Когда, пройдя сквозь бамбуковую темно-синюю занавеску с фирменным знаком бани «Минатою», они вышли на улицу, ветер еще больше усилился. Тучи рассеялись, и опять показались трубы. Казалось, их крутит неистовым красно-фиолетовым водоворотом, обволакивая удушливым, смрадным дымом.

— Какой отвратительный запах.

— А по-моему, ничем и не пахнет, — удивилась мать.

Синобу чихнула. Подумала: неужели опять простуда? Немного пройдя, остановилась и, запрокинув голову, снова принюхалась. Поморщила привздернутый, как у матери, нос. Потом на ее лицо вернулось задумчивое выражение, и оно сделалось удивленным и милым, как у нашедшего что-то ребенка.

— Все-таки здешний воздух режет горло. Принюхайся хорошенько.

И Синобу зашагала, одной рукой держа банные принадлежности, а другой — сжимая руку матери.

ЁСИКО СИБАКИ

СИРЕНЕВЫЕ ГОРЫ

Совсем не удивительно встретить знакомого в многолюдной толпе, в сумерках текущей по городской улице. Случайность, не больше. Ёсико столкнулась с этим человеком по дороге домой. Он был журналистом в коммерческом агентстве и захаживал в финансовый фонд, в котором служила Ёсико.

— С работы? — спросил моложавый мужчина средних лет, подлаживаясь под ее шаг.

Он иногда просил Ёсико устроить деловую встречу с кем-либо из членов фонда, поэтому его предложение выпить чашку чаю она восприняла как вежливость коллеги по работе. Ёсико поклонилась, намереваясь уйти, но мужчина, расценив этот жест как согласие, подвел ее к ближайшему кафе. Заказав кофе, он стал разглядывать людей, мелькавших за окном. Казалось, ему жаль, что сумерки, окутавшие город, еще не освещены огнями. Ёсико тоже перевела взгляд на улицу. Она почувствовала облегчение потому, что мужчина не проявлял к ней особого интереса. Не расспрашивал, давно ли она служит, нравится ли ей работа. Ее занятие, верно, представлялось ему не стоящим разговора.

— Совсем нет людей в японской одежде, — произнес журналист.

Нашел время высматривать, кто же на работу пойдет в кимоно, подумала Ёсико.

— Даже в моем возрасте редко носят, — отозвалась она.

— В этом году вы раза два были в кимоно, госпожа Сида.

Ёсико удивилась. Действительно, она надевала его в пер-

вый рабочий день после Нового года и на прием по случаю юбилея фонда. Не было никакой обновы, пришлось вытащить на свет божий кимоно. Странно, что это запомнилось кому-то. Ёсико слышала от сослуживцев, что ее спутник несколько лет проработал за границей.

Принесли кофе. Ёсико поинтересовалась, в каких странах он был корреспондентом.

— Во Франции четыре года, в Швейцарии — три.

Она ощутила укол в сердце.

— Вы не слышали про город Бриг на границе Швейцарии и Италии?

— Да. Это крошечный городок у подножия гор.

Ёсико и раньше задавала знакомым вопрос о Бриге, но все только проезжали через него на поезде. Впервые перед ней сидел человек, знавший этот город.

— Горы там совсем близко. Я на открытке видела.

— В Бриге делают пересадку, оттуда начинается дорога на Церматт. Прелестный провинциальный городок у самой границы.

— На открытке, похоже, вид с вокзала. На первом плане идет трамвай, за рельсами тянется большая улица, судя по зданиям, это центральная часть Брига. Заметно, как улицы круто взбираются вверх, значит, совсем рядом высокие горы.

— Так и есть. На правой стороне улицы расположены банк и жилые дома, слева — кондитерская. Оживленного движения, правда, нет. Я ночевал однажды в Бриге. Было холодно, я купил шапку и зашел в кондитерскую выпить чаю. Вот и запомнил тот городок.

— А где была ваша гостиница?

— На углу площади, примыкающей к центральной улице. Небольшая гостиница, называется «Шварцхопф». Кто-то из ваших знакомых бывал в Бриге?

Ёсико медлила с ответом. Она не собиралась углубляться в эту тему, но ей не терпелось удовлетворить многолетнее желание узнать побольше о швейцарском городке.

— Открытку прислал мне из Брига муж, он умер восемь лет назад. Два года муж стажировался в Западной Германии. Открытку эту он отправил как последнюю весточку накануне возвращения домой. Из Цюриха он поехал в Альпы, поднялся на Юнгфрау, а на обратном пути, верно, проезжал Бриг.

— Это там умер ваш супруг? — спросил журналист, пристально глядя на Сатико.

— Погиб в автомобильной катастрофе, — произнесла Ёсико, чувствуя, что душу ей по-прежнему обжигает прошлое, но ей хочется наконец-то освободиться от наболевшего за долгие восемь лет. — За рулем была женщина. Собирались ехать в Женеву, но почему-то двинулись в сторону Италии. Говорят, надвинулся туман. Авария произошла на подъезде к Симплонскому туннелю. Машина перевернулась, оба разбились.

— Туманы там не редкость. Порой до Милана ничего не видно, — произнес он словно в утешение.

Ёсико разволновалась.

— Та женщина — японка, певица... Обычное транспортное происшествие, но некоторые увидели в нем глупый поступок, чуть ли не самоубийство влюбленных. Представитель фирмы побывал там и все уладил. У меня дочь — школьница, да и случившегося не переменить уже, поэтому я не поехала. Открытка из Брига пришла уже после смерти мужа.

Журналист молчал.

— Хорошо бы когда-нибудь оказаться на Юнгфрау и заехать в Бриг. Не знаю, право, зачем мне это нужно. Наверно, увижу городок и только тогда поверю, что муж действительно умер. Восемь лет эта мысль не дает мне покоя. Муж писал в открытке, что куда ни взглянешь — всюду горы, чудесный уголок.

Ёсико казалось, что за окном токийского кафе она видит горы. Она вернулась к реальности, ее сосед по столику хранил молчание. Она не могла понять, почему, зачем сама завела этот разговор, но была не в состоянии сразу же подняться и уйти.

— Что вы сделали прежде всего, вернувшись домой после долгих лет жизни за границей? — спросила Ёсико, чтобы переменить тему.

Она предполагала, что мужчине на родине хотелось бы ощутить вкус домашней еды, побыть с близкими, — съездить в Киото. Журналист, выйдя из состояния задумчивости, не торопился с ответом.

— Пошел в Кабуки.

Ёсико с трудом могла вообразить человека его типа в стенах классического театра.

— Я вырос в Хонго, — произнес он. — Заглядываю в Кабуки не ради спектакля. Не причисляю себя к истинным знатокам, но в свободное время захаживаю в театр. Мне безразлично, какая пьеса, могу одно действие посмотреть или

вообще уйти посреди спектакля. Но сам вид сцены, голоса, жесты и движения актеров переносят меня в другой мир. На глазах оживают до боли знакомые сюжеты. А случается, и вздремну от скуки. Словом, для меня Кабуки — самое что ни на есть японское в Японии.

Его слова поразили Ёсико. Верно, он увлекался с детских лет, подумала она.

— Как ни странно, но наш мозг хранит в себе знания давно минувших дней. Страшная штука — воспитание. Я помню спектакли, на которые меня в детстве водили бабушка или родители, — заметил он и добавил, что ощущает себя по-настоящему дома, только когда видит подмостки Кабуки, и тут же рассмеялся. Потом заметил, что теперь, спустя два года после возвращения из Европы, его совсем не тянет в театр. Это Ёсико хорошо понимала — потому что и сама была уроженкой Токио.

Узнав, что она родилась и живет в Ёцуя, журналист откровенно позавидовал ей. Они вышли из кафе. Перед ними высились здания Касумигасэки. На метро до Ёцуя две остановки, пешком — около получаса.

— Не хотите немного прогуляться?

— Так ведь на метро пять минут езды.

Журналист сказал, что жители больших городов отвыкли ходить пешком. Взглянув на часы, он вспомнил, что сегодня у него назначена встреча, а в следующий раз ему хотелось бы пройтись по мосту Бэнкэйбаси. Прощаясь, Ёсико извинилась за навязчивый разговор о Бриге, но в ответ услышала, что при новой встрече он покажет фотографии, снятые в том городе. Журналист добавил, что у него есть моментальный снимок, сделанный из окна гостиницы.

— Что бы там ни говорили, о чем бы вы ни знали понаслышке, все равно следует увидеть собственными глазами те места. Поезжайте в Бриг, побывайте на вершине Юнгфрау. — И он смешался с толпой.

Ёсико досадовала, что разговорилась о муже с первым встречным, предложившим ей чашку чаю. Выложила то, что обходила молчанием даже с родными и знакомыми. Наверняка показалась ему жалкой. Подумал: вот бедняга, в ее возрасте пришлось зарабатывать на жизнь, в кои-то веки с ней заговорил мужчина, вот она и потеряла голову. Такой я и показалась ему, с горечью размышляла Ёсико. Он рассказывал о Кабуки, а я ни разу там не была с тех пор, как мать перестала водить за руку. Если увижу его, пройду мимо,

словно мы не знакомы. Никогда больше не заговорю о Бриге, решила Ёсико.

Когда они встретились во второй раз, он, как и обещал, принес несколько фотографий. Городская площадь, снятый сверху из окна гостиницы вид крыш, сбегающих вниз по склону, шпиль какого-то собора, другие пейзажи швейцарского городка. Снимок на железнодорожной платформе был сделан, видимо, ранним утром — вокруг ни души. Надпись «Бриг» на здании вокзала, на табло — время отправления поезда. На последней фотографии сам журналист на фоне вокзала. Видно, что здание совсем маленькое. Ветер взъерошил мужчине волосы, лицо чуть утомленное — печальный путник.

Ёсико, разглядывая снимки, словно видела на них и своего мужа, погибшего вскоре после посещения Брига. Мертвый ничего не расскажет. Не известно, предчувствовал ли он смерть. В тексте открытки не было намека на мрачность или грусть. Ёсико, спохватившись, что неприлично долго вглядывается в фото мужчины, сидящего рядом, чтобы сгладить неловкость, сказала:

— Вот и мой муж тоже стоял так на платформе. Не знал, где найдет свою смерть. Виды Рима и Милана меня не трогают, но горы и этот приграничный городок — совсем другое...

— Говорят, бывает пора, когда солнце окрашивает швейцарские горы в сиреневый цвет. Лично я не видел сиреневых вершин. Впрочем, нечто подобное однажды было. Как-то закатное солнце на мгновение окутало лиловатой дымкой снежную вершину, редкостное зрелище!

В глазах Ёсико мелькнуло видение сиреневых гор. Бог ли, души ли покойных блуждают по горам, оставляя за собой едва уловимый след?

Она попросила разрешения переснять фотографии.

— Лучше бы меня убрать с этого снимка. Просто бродяга какой-то, — простодушно заметил журналист.

Ёсико подумала, что он угадал ее мысли. Со дня смерти мужа ее не покидало ощущение потерянности и невезения.

Вышли из кафе. Погода располагала к прогулке, и они направились из Тораномон в сторону Акасака. Ёсико чувствовала себя непривычно оттого, что идет по улице в сопровождении мужчины. А ему было в диковинку провожать женщину, которая живет в старинной части города, по сути дела давно уже слившегося с пригородом.

— А где вы были во время бомбардировок? — спросил он.

— Всю войну прожили здесь.

После налета 13 апреля 1945 года окрестности Ёцуя выгорели дотла. Тогда семилетняя Ёсико с матерью бежали в район Дзингугайэн, где были установлены зенитки. Вражеские самолеты, вторгшиеся в токийское небо, не удалось сбить. Едва спаслись в убежище, бомбы так и сыпались. Невозможно забыть языки пламени, взмывшие в небо над городскими руинами.

Каким спокойным выглядит он сейчас, город, спаленный зажигательными бомбами. Ёсико и ее спутник прошли мост Бэнкэйбаси, перекинутый через канал Акасака. По обе его стороны как символы мирного времени стояли громадные гостиницы.

— Повезло. Жизнь на волоске висела.

Оказалось, он тоже прятался с родителями на окраине района Отяномидзу, а вот убежище по соседству было полностью разрушено взрывом. Жизнь зависела от того, открыта ли дверь в убежище.

— Сколько же вам было лет? — поинтересовалась Ёсико.

— Тогда? Как и вам.

Оба радостно рассмеялись. Миновав гостиницу в квартале Киоитё, они вышли на дорогу, тянущуюся вдоль канала по направлению к императорскому дому приемов в Акасаке. По берегам канала цвела люцерна.

— А вы знаете, что около резиденции растут тюльпанные деревья?

— Тюльпанные? — переспросил он.

Аллея высоких деревьев выглядела величаво. Цветов на ветвях еще не было.

— Дерево это называют еще и лилейным, ведь цветки лилии и тюльпана похожи. У него крупные цветы, диаметром до шести сантиметров, зеленоватого оттенка, а сердцевина желтая. Как распустятся, значит, лето настало.

— Как любопытно! Интересно слушать вас.

— Это в благодарность за ваш рассказ о сиреневых горах. Какое, наверное, чудо, когда снежные пики, скалы становятся сиреневыми! В эту минуту люди возносят молитвы, они ведь как никогда близки к богу.

— Альпы вечны и неизменны, а люди неумолимо старятся.

Журналист с ностальгической грустью говорил о горах. Они дошли до станции Ёцуя, откуда до дома Ёсико было

рукой подать. Обычно она спешила, возвращаясь с работы, поэтому неторопливая прогулка по городу была ей в диковинку. На службе она слышала много разных рассказов о загранице, а этот человек говорит только про горы. Интересно, как приспособилась его семья к его отсутствию. Она знала по себе, какими долгими оказались два года ожидания мужа. Конечно, боль утраты никогда не пройдет. Образ мужа постепенно стирался в ее памяти, но горечь, тоска словно осели на дне ее души.

Мужчина огляделся по сторонам, как бы намекая, что пора расставаться. В городе зажглись огни.

— Не выпить ли нам пива? — сказал он.

— Дом у меня не ахти какой. Может быть, заглянете на минутку? Я живу с матерью и дочерью, она студентка второго курса университета, — сказала Ёсико.

— Позвольте сегодня откланяться, — пробормотал он и быстро зашагал в сторону станции.

Верно, удивился приглашению, подумала Ёсико, сожалея о своем простодушии.

Ёсико снились сиреневые горы. Вечер, начало лета. Солнце освещает Альпы, покрытые вечными снегами. Оно заходит, и вот наступает миг, когда возникают сиреневые горы. Ей видится муж, который, поднявшись на Юнгфрау и насладившись видом окрестных гор в летние сумерки, спускается в Бриг. Тогда горы были тоже сиреневыми. Во сне она говорит с мужем.

Рассвело, но Ёсико продолжает грезить наяву. До нее доносится какой-то шум. Тогда она понимает, что в саду сильный ветер. И дождь, кажется, идет. Ёсико встает и закрывает ставни. Дождь действительно все сильнее барабанит по крыше. Жаль будить дочь, но Ёсико идет в соседнюю комнату.

— Маюми, проснись, Маюми! Ливень, вставай скорее!

Накинув дождевик, Ёсико вышла на улицу. Дорогу перед домом размыло, а вода все прибывала. Когда-то этот район был тихим уголком, но в годы экономического бума его принялись застраивать высотными домами, и теперь в округе деревянных строений наперечет — дом Ёсико и еще несколько соседских. Бетонные громадины не только заслонили солнечный свет, но и нарушили естественную дренажную систему. Земля не впитывает дождевую воду, и ливень каждый раз превращается в сущий поток, после которого в саду болото. Появилась Маюми, и они вышли на

дорогу, открыть сточный люк. Они с трудом чуть-чуть отодвинули тяжелую крышку, и поток хлынул в колодец. Люк на проезжей части, поэтому полностью открывать его опасно.

Вымокнув до нитки, они поспешили в дом. Вот где пригодились бы мужские руки, подумала Ёсико. В прихожей с полотенцем в руках их ждала Харуко, мать Ёсико.

— А если на месте нашей деревяшки тоже выстроить что-нибудь современное? — переодеваясь в ванной, сказала Маюми.

Дочь знала, у матери на это нет ни средств, ни желания. Ёсико выросла в этих стенах, но поскольку побывала замужем, то дом, строго говоря, принадлежал бабушке, Харуко, жившей на пенсию мужа. Она и в свои семьдесят два была крепкого здоровья, красила волосы в черный цвет, порой ее и Ёсико принимали за сестер.

— Одна постарше, другая помоложе, — отвечала в таких случаях мать.

Возраст все же брал свое, и теперь она с трудом спускалась со второго этажа. Глядя на дряхлеющую мать, Ёсико видела в ней себя и чувствовала, как уходят и ее годы. Переодевшись в сухое, она вернулась в комнату и показала Маюми фотографии Брига. Интересно, как отнесется к ним дочь?

— Бриг? А это кто? — спросила Маюми, показывая на человека перед вокзалом. — На отца вроде не похож.

Тема Швейцарии долгие годы находилась под запретом в их семье, но название приграничного города, похоже, отпечаталось в сознании Маюми.

— Так, знакомый. Оказалось, этот человек бывал в Бриге. Он советует съездить туда, говорит, симпатичный провинциальный городок.

— Да куда уж тебе, мам! Не выдумывай! Давай я поеду!

— Для нас с тобой это путешествие имеет разный смысл, — отозвалась Ёсико. Ее задели слова дочери, и она подумала, что минули те дни, когда Маюми ни шагу не делала без матери.

Да, она хорошо ответила на вопрос дочери. Просто знакомый. Приятно, что в ее замкнутом мирке приоткрылось крошечное окошечко в жизнь. Маюми почти не бывает дома, ей веселее в кругу друзей. Каждое утро она в одно время с матерью уходит из дома, но Ёсико не знает, посещает ли дочь занятия.

— Смотри не перетрудись! — насмешливо говаривала

Харуко, наблюдая за внучкой, сновавшей вверх-вниз по лестнице. — Какой же это университет, коли ни воспитания, ни знания жизни не дают! — сокрушалась она.

— В конце месяца еду в Окутаму с ночевкой, — заявила Маюми.

Деньги на поездку она заработала сама, в их компании семь человек, юноши и девушки.

— Все будет хорошо? — спросила Ёсико, нахмурившись.

— Ты о чем это? — бросила Маюми.

Ёсико вглядывалась в дышащее свежестью смуглое лицо дочери.

— Ну ты даешь, ма! Испугалась, что мальчики с девочками под одной крышей без присмотра. А другие родители, наоборот, советуют поскорее приятеля подыскать.

— Маюми, ты совсем отбилась от дома!

— Старушка, заладила одно и то же!

Ёсико просто потеряла дар речи.

На днях она услышала на работе сплетни о журналисте. Ее начальник Омия сказал, будто Эгути из коммерческого агентства прежде занимался скульптурой. Он увлекался искусством до стажировки за границей, но потом случились какие-то неприятности, и о любимом деле пришлось забыть. Эгути поступил на службу в агентство, в котором прежде просто подрабатывал.

— Семь лет за границей отдал делу, совершенно далекому от его увлечений. Представляете? Я сам расспрашивал его. А он со смехом говорит, что все пошло прахом.

Омия толком не знал, что случилось у Эгути, но предполагал разрыв с женой. Ёсико иногда овладевало желание увидеться с Эгути, посидеть с ним в кафе, побродить по улочкам, поговорить. Ее не волновало его семейное положение. Уставшая от жизни с матерью-старухой и взрослой дочерью, Ёсико жаждала свободы, дружеского общения с существом иного пола. Харуко любила пиво, и маленькую бутылку всегда выпивала одна, а из большой угощала Ёсико. Харуко жила своей жизнью, а собственную дочь считала лишенной самолюбия безнадежной неудачницей. Вот бы она удивилась, узнав, что к ее дочери проявил интерес мужчина!

Эгути заглянул в фонд, когда закончился дождь. Наконец-то объявился, подумала Ёсико. Он долго просидел, уединившись с президентом сталеплавильной фирмы. После рассказов шефа Ёсико иными глазами смотрела на журналиста. Рабочий день закончился, она вышла на вечернюю

улицу и направилась в кафе. Эгути сидел за столиком в одиночестве. Они не договаривались о встрече, но Ёсико подошла к нему.

— Вы не против моего общества? — спросила она.

Раза четыре они вот так случайно встречались в кафе. Есико, пристраивая на стуле ненужный теперь плащ, сказала:

— Ну и ливень утром был!

— Казалось, что крышу сорвет, — отозвался он.

Журналист жил в многоквартирном доме. Ёсико рассказала, что их затапливает из-за соседства с большими зданиями.

— Как бы совсем не утонуть. Токио меняется на глазах. У нас в Ёцуя есть часовня бога Инари, но наверняка со временем и ее снесут.

— В моем родном Хонгоюсима тоже все застроили гостиницами, не узнать! Ничего не осталось от былого духа. Правда, после дождя, когда высотные здания разрывают тучи, показывается чисто-голубое небо. Красота! Все же и в нынешнем Токио есть чем полюбоваться.

— Говорят, вы занимались скульптурой?

— Давным-давно, делал вещицы из нержавеющей стали. И сейчас руки чешутся. Не стоит говорить об этом.

— А почему вы оставили любимое занятие? — неожиданно вырвалось у Ёсико. Вряд ли она услышит ответ.

— Один мой приятель считал, что жизнь наша предопределена заранее, и из кожи лез, чтобы получить специальность гида-переводчика, но вынужден был вернуться в Японию. Есть еще один знакомый художник, который обожает самые низкопробные забегаловки. У третьего жена страдает неврозами и несколько раз покушалась на самоубийство. Вариантов множество. Испытания сушат души, и человек заживо становится мумией. Остаются лишь осколки жизни да гордыня. Когда возвращаешься в Японию, становишься другим человеком. Как себя чувствуешь в новой роли? Привыкнешь — даже страшно.

Ёсико не вкладывала особого смысла в свой вопрос, а он ответил так, что пронзил ей сердце. Неужели это его жена пыталась свести счеты с жизнью?

Они вышли из кафе и направились, как всегда, в сторону моста Бэнкэйбаси. Около гостиницы завернули в китайский ресторанчик. Ёсико была здесь впервые, хотя знала его по названию.

— Здесь в прежние времена продавали пирожки с мясом.

— Да, после войны казалось, что нет ничего вкуснее на свете.

Они мысленно перенеслись в дни своего военного детства. Эгути вспомнил, как, держа пирожок двумя руками, ел сначала тесто, а потом начинку. Ёсико радостно кивала. Общие воспоминания веселили их.

Каждый выбрал любимое блюдо, оказалось, что вкусы их совпадают. Он заказал острые креветки, она — морские ушки. Ёсико чувствовала прилив необыкновенного счастья, отхлебывая из чашечки китайскую водку. Ни мать, ни дочь не могут скрасить одиночества, только теперь чувствуя себя человеком, думала Ёсико. Она рассказала, как утром пришлось открывать люк.

— Воде некуда стекать, может затопить сад.

— Удивительно слышать про собственный сад в центре Токио, — заметил Эгути.

— Теперь солнце совсем не заглядывает в него, но «забытая столица» цветет. Знаете такие цветы? Маленькие, синенькие. Как только распустятся, я их пересаживаю в горшки и ставлю на солнечное место.

— Никогда не видел, но название красивое, — ответил Эгути и представил мелкие цветы, монотонную жизнь Ёсико.

— Отцветут, и я снова пересаживаю их в землю. Сад мамиными стараниями выращен, но в последнее время она прихварывает и ворчит.

— Дочь, верно, помогает?

— Ничего не делает. Чуть возразишь ей, так она дерзит, называя меня старухой.

Эгути засмеялся, зная, что молодежь причисляет людей их возраста к выжившим из ума старикам. Ёсико не пыталась скрывать, что после смерти мужа ее семейная жизнь пошла прахом.

— А вы любите представления дзиута-май[1]? — спросил он вдруг, словно припомнив что-то.

Ёсико никогда не бывала на таких представлениях. Эгути тоже знал о них понаслышке. У него были билеты на представление, и он предложил сходить в театр, предупредив, что не возбраняется и вздремнуть под музыку.

Непогода пронеслась над городом, в вечернем небе

[1]Дзиута-май — театральный танец, исполняемый под старинную песню.

взошла луна. Пройдя по боковой улочке мимо гостиницы, они оказались на берегу канала. В воздухе стоял густой аромат цветов. Ёсико показалось, что этот уголок чем-то напоминает набережную Сены. Эгути, похоже, нравилось здесь. И после возвращения в Японию он, должно быть, продолжал чувствовать себя путешественником, если у него не было семьи, и это место, связанное с прошлым, вызывало в нем ностальгические чувства. Желание погрузиться во все японское, ощутить каждой клеткой существа родину влечет Эгути на это представление, думала Ёсико. Сколь же тяжкими были для него семь лет в чужой стране! Она шла по улице и в мыслях видела рядом с собой покойного мужа.

Концерт был в конце недели, в выходной день, поэтому Ёсико решила надеть кимоно, решив, что японская одежда уместна для такого случая. Выбирать особенно не из чего, и Ёсико остановилась на светло-зеленом кимоно с рисунком из красных ирисов. Харуко радостно хлопотала вокруг дочери, словно предчувствуя добрые перемены. Маюми, сложив руки на груди, пристально наблюдала за матерью, предполагая, что в театр ее пригласил тот самый тип с фотографии. Конечно, старушку щеголихой не назовешь, но в кимоно смотрится совсем недурно, думала Маюми. Они с бабушкой проводили мать до порога дома.

— Смотри не оплошай! — сказала вслед матери Маюми.

— О чем ты? — спросила Харуко внучку.

Ёсико грустно улыбнулась. Может быть, в глазах дочери она выглядела женщиной, пытающейся понравиться мужчине. Ёсико чувствовала себя неловко. Она вышла на вечернюю улицу и направилась на условленное место. Эгути сидел у окна китайского ресторанчика. Лицо его было рассеянным. Взглянув на кимоно Ёсико, он приветливо улыбнулся. До концерта оставалось не так много времени, но Эгути не торопился и предложил поужинать.

— Когда-то я частенько катался на лодке около Бэнкэйбаси. Несколько лодочек всегда качались здесь на воде, а теперь пейзаж изменился. В следующий раз приеду сюда и вообще ничего не узнаю, — взволнованно произнес он.

— Что-нибудь случилось? — спросила Ёсико, охваченная внезапным смятением.

— Нет-нет, — успокоил он ее и заказал ужин.

Она знала, что выпадают дни, когда у него не ладится на работе. Беспокойство, однако, не отпускало ее, нервы напряглись до предела.

— Неужели вы опять уедете за границу?

— Уже знаете? Кто-нибудь успел рассказать?

Ёсико произнесла вслух то, чего страшилась более всего. Вот и все, подумала она с замирающим сердцем.

— Всего два года, как вернулся. Наконец-то нормальная жизнь начала устраиваться, и вот, пожалуйста, снова отправляют. В течение двух недель необходимо вылететь. — Лицо его выражало почти что отчаяние.

Заболел корреспондент агентства, и требуется срочная замена. Отказаться нельзя, поскольку Эгути работал там и хорошо знает дело. Место жительства — Париж, но придется ездить по всем европейским странам и вести всю работу в одиночку. Только-только обосновался на родине, как приходится бросить все.

Ёсико опустила голову. День, принесший ей какую-то надежду через восемь лет беспросветного существования, померк у нее на глазах. Она пробормотала что-то.

— Так ведь еще две недели впереди! — решительно произнес Эгути.

Они пролетят как миг, настанет срок отъезда. Все закончится, не успев начаться. Неужели после смерти мужа у меня не может быть ничего, кроме одиночества? — думала Ёсико.

Она спросила, на сколько лет предполагается командировка.

— Два года по крайней мере, — ответил Эгути.

Для нее этот срок непереносим. Ровно столько она ждала мужа. Разговор оборвался на полуслове. Ёсико даже не заметила, как закончился ужин.

Эгути взглянул на часы и сказал, что пора идти. Ёсико не была настолько искушенной в отношениях с мужчинами, чтобы притворяться перед Эгути, но все же подумала, что сейчас надо взять себя в руки. Театр находился неподалеку от рва, окружающего императорский дворец, и был одной из достопримечательностей улицы. Когда в подавленном молчании они вошли в здание, первое отделение уже закончилось и в фойе толпились зрители. Царила та самая атмосфера, в которой Эгути чувствовал себя по-настоящему дома, в Японии. Среди публики было много роскошно одетых людей. Ёсико поймала себя на мысли, что ждет окончания представления.

Сцену заливал яркий свет. Занавес открылся, и по залу пронесся легкий шорох. На подмостках стояла изящная красавица, будто бы сошедшая со старинной гравюры. Волосы

уложены в прическу «симада». В ослепительно белом кимоно, перетянутом полосатым поясом оби, красавица держала в руках темно-голубой зонт. Старинная песня называлась «Снег». Сама артистка застыла словно в грезе — лишь легкие снежинки падали и падали на грудь... В ее печальной позе запечатлелась неизъяснимая прелесть и грациозность танца. «Осыпались лепестки цветов, растаял снег. Все миновало, от былого не осталось и следа!» Слова тоски по безвозвратной любви. Белоснежный подол дрогнул — женщина двинулась по сцене. Стройная фигура поплыла в пространстве, словно растворяясь в воздухе. Луч света следовал за актрисой. Слепой аккомпаниатор, тронув струны сямисэна, запел: «Печально одинокое ложе, на изголовье мерно падают слезы».

Слезы струятся, увлажняя белоснежные рукава. Гибкая фигура, утонченное лицо женщины окутаны неземной дымкой. Актрисе восемьдесят лет. Подобно невесомому цветку, она медленно удаляется со сцены. Плоть исчезла, испарилась, на сцене витает лишь ее тень. Представление закончилось. Минуты сопричастности с искусством зажгли сердца зрителей и актеров. Следующий танец, как бы перекликающийся с предыдущим, был не менее изыскан.

Когда они вышли из театра, на город уже опустилась тьма. Ёсико и Эгути брели по безлюдному берегу канала. Казалось, что рядом слышится дыхание актрисы, шелест ее шагов. Ёсико почудилось, будто она вместе с актрисой пережила опьяняющие мгновения, когда им явилось откровение. Она поняла, что до сих пор была иссякнувшим источником, а не женщиной. Эгути, вернувшийся на родину из дальних странствий, хотел наполнить ее жизнь живой водой. Надо благодарить судьбу, что этот заветный миг настал до их разлуки. Слова Эгути прозвучали в унисон ее мыслям.

— Так вы побываете и в Женеве, и в Цюрихе? — спросила Ёсико.

— Если там будут какие-то важные встречи.

— Взгляните на Альпы, когда их вершины залиты алым или сиреневым светом. В такие мгновения, верно, переносишься из этого мира в другой, неведомый.

— Вам тоже обязательно нужно съездить туда. Непременно увидеть те горы, — произнес Эгути.

Стоит ли, подумала про себя Ёсико. Для работающей женщины, у которой старуха мать и дочь в том возрасте, когда глаз да глаз нужен, путешествие в Швейцарию всего лишь мечта. С завтрашнего дня чередой потянутся будни. Ёсико

чувствовала, как безысходность сдавливает ей сердце. Приграничный городок, швейцарские горы, которые до вчерашнего дня постепенно стирались в ее памяти, с новой силой возьмут ее в плен. Из-за угла показалась машина, и Эгути придержал Ёсико за руку.

Сегодня Ёсико увидела великолепную актрису преклонных лет, сохранившую в себе истинно женскую натуру. Впервые к Ёсико пришла мысль, что ей тоже хочется быть тем, чем сотворила ее природа. Она поняла, что женщине никогда не поздно быть женщиной. Впереди целых две недели, подумала она.

Они дошли до Тисимагафути. В ночи вспыхивали фары автомобилей.

КРУГИ НА ВОДЕ

Однажды в доме Такако появился невысокий мужчина в черном костюме. Он сначала заглянул к соседям. Из рекламного агентства, долго не задержится, думала Такако, впуская его в прихожую. Незнакомец, однако, вел себя так, словно имел какую-то особую миссию. Это предчувствие появилось у Такако еще до того, как гость неопределенного возраста с сияющей улыбкой протянул ей визитную карточку. Она ощутила приближение смутных перемен и подумала, что всегда нужно быть готовой к худшему. Такако позвала свою мать, Рицу.

— Вы вдвоем в этом доме? — осведомился мужчина.

Такако жила с матерью, страдавшей ревматизмом, и работала в университетской библиотеке. Были еще два старших брата и сестра, но они жили со своими семьями отдельно. В родительском доме остались Рицу и ее младшая дочь. Братья с женами время от времени навещали мать, а сестра, уехавшая в провинцию, вообще не давала о себе знать. Рицу говорила, что стоит детям обзавестись собственным семейством, как они сразу же забывают родителей. Когда-нибудь и младшая дочь улетит из родного гнезда. Рицу, рано овдовев, отказывала себе во всем, чтобы вывести детей в люди. Не успела оглянуться, а жизнь прошла и она превратилась в полунищую старуху. Не имея возможности побаловать внуков подарками, она стеснялась звать их в гости. Не-

вестки, изредка на минутку заглядывавшие к Рицу, детей с собой не приводили. Она посетовала на безденежье старшему сыну, жившему в многоквартирном доме. Просьба матери испортила ему настроение, поэтому он не пришел сам к ней с деньгами. Спустя некоторое время принесли денежный перевод, адрес в нем был написан рукой невестки. Сын не удосужился даже черкнуть несколько слов. Второй сын жил у родителей жены и работал вместе с ней. Рицу не раз говорила, что перебралась бы в приличный пансионат для стариков, будь у нее деньги. Такако не обращала внимания на эти слова. Когда Рицу чувствовала себя неплохо, она встречала дочь вкусным ужином, а дождливые дни проводила в постели, мрачным взором обводя стены и злясь, что дочь задерживается.

— Что я могу поделать? Работа есть работа. Стоит ли сердиться из-за того, что поедим на час позже?

— Никому не понять настроения старого человека, лежащего день напролет в пустом доме. В пансионате с садиком я чувствовала бы себя иначе, там бы меня окружали друзья.

— Заведутся у нас когда-нибудь деньги, обещаю сделать по-твоему, — ответила Такако и поймала себя на мысли, что все в доме ее раздражает. Мать отчасти тоже помеха на ее пути к счастью. С некоторых пор у Такако появилась привычка рисовать в мечтах другую жизнь, зная, что фантазии ее не сбудутся. Например, раздвигая утром занавески, она воображала, что живет в прекрасном многоквартирном доме, на третьем этаже. Она выходит на балкон, украшенный красивыми цветами, купающимися в лучах утреннего солнца. Такако оглядывается в комнату, где еще царит полумрак, и видит спящего мужчину, это обязательно Тамура. Значит, я вышла замуж. В рабочие дни Такако не возилась с завтраком, а в мечтах она разогревала сваренный накануне борщ. Она расчесывает волосы, радостно ожидая, как аппетитный запах с кухни разбудит мужа. Очень важно, что они живут не на первом этаже и никто не нарушит их покой. Вряд ли мать, братья и сестра всерьез думают о моем замужестве, думала Такако.

Вот и вчера она встретилась с Тамурой после работы, и настроение испортилось. Он сказал, что хотел бы переехать в новую квартиру, Такако уклонилась от обсуждения этой темы.

— Как ты себе жизнь, интересно, представляешь? Мы не так молоды, чтобы по улицам прогуливаться, да к тому же выматываешься за день, — заметил Тамура.

— Я вот не устаю, — усмехнулась Такако.

— Ты всегда норовишь поддеть меня. Хватит, надоело! Сколько можно топтаться на месте! — Его тон выдавал дурное настроение.

Он работал в исследовательском институте при университете и подумывал о научной стажировке в Германии. Такако с ее причудами стала тяготить его. Они встречались каждую субботу, но он решил порвать отношения. Они уже расстались бы, не звони ему сама Такако. Ему, конечно, не удалось сразу отойти от нее. Однажды он пригласил ее на выставку, но не потому, что хотел посмотреть картины, чувствуя ее рядом; просто у него оказались билеты, так уж лучше пойти вдвоем. У полотен Тернера они пришли к заключению, что он волнует их призрачной фантастичностью. В эти минуты она ощущала духовную близость с Тамурой, но это не давало полноты счастья. Интеллектуальные беседы об искусстве с мужчиной, конечно, не оставляют страстных воспоминаний. У Такако не было никого, кроме Тамуры, поэтому, слушая рассказы о его планах на будущее, она думала о своем неминуемом одиночестве. Провожая Такако субботним вечером, Тамура морочил ей голову уже знакомой историей о том, как сестра заставляет его жениться, чтобы пойти в приемные сыновья. Тогда у сестры в старости не будет хлопот, подумала про себя Такако. Скажи она это Тамуре, разрыв произошел бы сразу. Его старшая сестра, работавшая в ресторанчике, где подавали рыбу «фугу», приезжала к брату дважды в месяц в ее выходные. Она помогла брату получить образование. Сестра была его единственной родственницей. Тамура говорил, что не хочет жить в доме, где его властная сестра чувствовала бы себя неуютно. Такако сочувствовала затруднительному положению приятеля, потому что сама была связана по рукам и ногам из-за матери и проводила жизнь в бесконечных домашних стычках. Неурядицы, размолвки — постоянные спутники родственных уз. Такако даже почувствовала боль, увидев, с каким выражением лица Тамура рассуждает о возможной женитьбе и вступлении в семью будущего тестя на правах приемного сына. Такако редко заходила к нему домой, опасаясь ненужных разговоров среди соседей. Сплетни мгновенно долетали до сестры, и Тамура чувствовал себя неловко. Перспектива его вхождения в чужую семью стала последней каплей в их вялых и неопределенных отношениях. Такако упрямо хранила молчание. Их трехлетний роман на грани краха, и она не могла разобраться, где случились

ошибки, кто из них виноват. Вошли на станцию, и Тамура, протягивая билет, взглянул в лицо Такако. Она выронила билет из рук.

— Не зевай! — произнес Тамура, поднимая его с пола.

Расстаться тихо, сострадая другу? Нет уж, увольте, думала Такако. Сострадание лишь удобный повод для разрыва. Зажав билет в кулаке, Такако направилась к платформе. Подошел поезд, и они попрощались, так и не приняв окончательного решения. Платформа поплыла мимо вагонного окна, и Такако посмотрела поверх головы Тамуры. Нет, так просто расстаться с ним я не могу, подумала она, прикусив губу.

Больная Рицу и Такако редко видели гостей в своем доме. Они усадили посетителя в черном костюме в гостиной. При ближайшем рассмотрении он оказался человеком средних лет, даже немного старообразным. В прихожей она подумала, что он моложе. На его визитной карточке значилось: «Агентство коммерческого содействия, ЛТД». Дело связано с господином Сэйитиро Мики. Гость произнес имя отца Такако, умершего двенадцать лет назад. Она не имела понятия, чем занимается это агентство.

— Наша фирма осваивает новые земли, делит их на участки и пускает на продажу. Сейчас мы работаем в районах Насу и Каруидзава.

Мужчина достал из кармана пожелтевшую вырезку из старой газеты и показал рекламу своей фирмы.

— К территории, которую мы сейчас разрабатываем в Каруидзаве, примыкает участок площадью в пятьсот цубо[1], поэтому возникла необходимость узнать, оставил ли владелец, господин Мики, какие-либо распоряжения насчет этой земли.

— Муж мой скончался. Неужели у него правда был такой кусок земли? Шуточное ли дело, участок в Каруидзаве! Надо как следует подумать, — смущенно бормотала Рицу, блуждая в воспоминаниях о прошлом.

Ее муж Сэйитиро был геологом. Во время войны он работал в Маньчжурии. После капитуляции, оставив жену с детьми в Токио, он преподавал в университете Кюсю. Пропадал подолгу в горных экспедициях, но при этом оставался прекрасным мужем и заботливым отцом. Рицу, однако, не

[1]Цубо — мера площади, равная 3,3 кв. м.

могла поверить, что у ее мужа был собственный участок земли.

Представитель фирмы сообщил, что земля зарегистрирована на имя Мики почти тридцать лет назад, в 1942 году, когда те места еще и не называли Каруидзавой. Рицу, услышав прежнее название местности, словно что-то припомнила.

— Да, муж что-то говорил. Он дал кому-то деньги взаймы под заклад земли, а вот что с ней сталось потом, не знаю. Сэйитиро послали в Маньчжурию, а тот знакомый его умер. Скорее всего, муж сам позабыл про тот участок. После войны стоимость денег изменилась и сумма старого долга превратилась в гроши, никто и не вспомнил, — продолжала Рицу.

— Вот и хорошо. Тот район до сих пор представляет собой пустошь, не облагаемую налогом. Участок ваш расположен на крутом склоне, дома на нем не выстроить. Даже в войну один цубо земли там стоил как пачка сигарет. Сейчас наша фирма выравнивает откосы, готовя площадки для застройки. На этой стадии работ мы наткнулись на участок господина Мики. Я хотел бы обсудить с вами этот вопрос. Да, извините, пожалуйста, а свидетельство о землевладении у вас имеется?

— Где-нибудь завалялось в доме, пожалуй, — выдавила из себя Рицу, дабы не сказать, что никогда не видела этого документа. С тех пор прошло много лет, к тому же они переехали на новое место. Муж давно умер, и Рицу с недоверием восприняла сообщение гостя.

— Три месяца пришлось трудиться, чтобы разыскать вас, уважаемая госпожа Мики! — Эти учтивые слова он произнес с особой значительностью. — Отыскал адрес владельца, но оказалось, он там не живет. Обратился в районное управление, чтобы навести справки о судьбе семьи Мики в военные годы, тоже никакой информации, поскольку архив сгорел в войну. Туда-сюда метался, пока не понял, что нужно разыскивать людей, знавших Сэйитиро Мики в годы войны. Узнав, что прежний хозяин земли умер, подробно расспросил его домашних о работе изыскательского отряда в Маньчжурии на железной дороге, в составе которого находился и ваш муж, госпожа Мики. Война закончилась, и фирма, ведавшая железной дорогой в Маньчжурии, лопнула как мыльный пузырь. Бывшие служащие и люди, знавшие что-либо о тех годах, разъехались по всей стране. Шеф приказал обязательно отыскать Сэйитиро Мики. Несколько

дней ушло на поиски документов о Маньчжурской железной дороге, после чего удалось напасть на след человека, участвовавшего в их подготовке. Кто умер, а кто еще здравствует; так вот, один старик, живущий в Дзуси, наконец-то назвал состав изыскательского отряда. Я добрался до компании, где он служил, и выяснил, что господин Мики переселился в мир иной. Нашелся сотрудник, некогда служивший в Харбине. Я спросил, не доводилось ли ему слышать имя Мики, но он ничего определенного не ответил. Я тогда еще не предполагал, что таких отрядов было несколько. Человек этот назвал мне трех своих знакомых тех лет. Я продолжил поиски, окрыленный надеждой, что теперь уж непременно раздобуду достоверную информацию. Я повстречался со множеством людей прежде, чем выяснил, что Сэйитиро Мики был не служащим компании, а ученым, которому поручили проведение геологических изысканий в районе Маньчжурской железной дороги. Я буквально пережил потрясение, когда на одной из таких встреч услышал: «Да, я знаю господина Мики». Общался он, однако, с вашим мужем только в войну, а после потерял с ним связь. Так вот он позвонил своему давнему приятелю, который и сообщил, что Сэйитиро Мики давно скончался. После многих взлетов и падений я наконец-то разведал, что господин Мики умер в Сэйдзё. Узнал я это вчера вечером. И, едва дождавшись утра, приехал в ваш дом, госпожа Мики. Домашние смеялись за ужином, что я подался в сыщики. А жена говорит, мол, за спиной у тебя вроде кто-то прячется.

Тщетные и долгие поиски владельца земли не имеют непосредственного отношения к делам нашей фирмы, поэтому я порой выходил из терпения, однако, узнав адрес семьи Мики, я почувствовал, что камень с души упал, цель достигнута. Оставалось самое важное — удостовериться в наличии наследников Сэйитиро Мики. Лучше вложить душу в тщательный розыск законного хозяина, чем нервничать, как бы не продать незаконно земли, хотя шанс один из ста. Я не жалел трудов, зная, что придет час удачи. И вот настала минута, когда неведомый мне господин Мики пригласил меня к себе. Я отыскал адрес дома, который вы сняли после переезда из Сэйдзё. Три месяца, проведенные с утра до ночи на ногах, привели меня к двери с табличкой, на которой написана ваша фамилия!

И в этот миг лицо его, привычное к заискивающей улыбке перед клиентами, расплылось в блаженном покое. Ра-

дость была столь велика, что он даже забыл недавние страдания и опомнился, лишь увидев Такако.

— Вы дочь господина Сэйитиро Мики? Наконец-то! — пробормотал гость.

— Сколько хлопот мы вам доставили! — произнесла Рицу, жалкая и потерянная. Она перевела взгляд на дочь. Слышалось надрывное дыхание Рицу. Напористый поток слов, обрушенный на них мужчиной, его долгое упорство потрясли Такако. Неужели заброшенный отцом кусок земли настолько ценен?

— Если бы вы согласились уступить ваш участок, он сгодился бы для постройки дома.

— А что он представляет собой?

— Обыкновенный склон горы в естественном его состоянии не представляет никакой ценности, поэтому цена ему две тысячи иен за цубо.

Такако просветлела — за пятьсот цубо выходит миллион.

— Я хотела бы посмотреть участок. Никогда не бывала в Каруидзаве.

— То место трудно отыскать. Да и холода уже наступили в тех краях. Лучшая пора в Каруидзаве — конец весны и лето. Положитесь на меня, и мы сошлись бы на миллионе двухстах тысячах. Это хорошая цена.

— Даже без документа на землю? — спросила Рицу, не скрывая беспокойства.

— Что-нибудь придумаем.

Рицу радостно засуетилась.

— Я-то не возражаю, да вот с сыновьями необходимо посоветоваться.

Мужчина, приняв официальное выражение лица, которое подобает сотруднику фирмы, имеющей дело с недвижимостью, условился о дне следующей встречи.

— Вы не покажете мне фотографию господина Мики? — произнес он извиняющимся тоном. — Хочется увидеть человека, в течение трех месяцев поддерживавшего во мне силу духа.

Почувствовав симпатию к мужчине, Такако проводила его до порога дома.

Замаячившее впереди счастье благотворно сказалось на состоянии здоровья Рицу, утихли боли в суставах локтей и коленей. Она ласково обращалась к дочери, и улыбка теперь почти все время блуждала по ее лицу.

Негаданная весть сулила невероятные деньги, и Такако думала, что сможет устроить мать в комфортабельный

пансионат, с садом, украшенным цветочными клумбами. Подарок отца, не ведавшего корысти при жизни, обеспечит спокойную старость матери, думала она.

Первыми прибежали старшие братья — Хидэити и Ясуо. К удивлению Такако, приехала Намико. Сестра, за все время жизни в Хиросаки не приславшая хотя бы одного яблока в сезон, примчалась в Токио, оставив семилетнего ребенка. Такако подумала, что вряд ли бы сестра собралась так быстро к матери в случае ее внезапной болезни. Никто не знал о земле, купленной отцом тридцать лет назад, поэтому все трое с недоверием слушали рассказ Рицу.

— Он получил ее в залог под деньги, которые дал знакомому в долг. А после войны настала такая неразбериха, что отец сам года три не мог прийти в себя от растерянности.

— Да-а, — произнес Хидэити.

Старший сын редко виделся и говорил с отцом, который то уезжал в Маньчжурию, то пропадал в горных экспедициях. Не было его рядом и в ту минуту, когда отец внезапно умер от инфаркта. Этот кусок тощей земли в Синсю вызывал, видимо, особое чувство в душе человека, видевшего собственными глазами просторы материка.

— Отец наш совершил великое дело, — сказала Намико, расплывшись в улыбке.

— Хорошо, что этот человек разыскал нас. Иной деляга переписал бы землю на другую фамилию, и дело с концом. — Хидэити испытывал благодарность по отношению к служащему, и в то же время ему было приятно ощущать себя хозяином земельного участка.

— Мама все ворчала на покойного папочку, а выходит — зря.

— Действительно, отец облагодетельствовал нас, — смущенно вымолвила Рицу.

Дети засмеялись. В этой непринужденной атмосфере Такако впервые за многие годы почувствовала, как кровные узы согревают сердце.

— Миллиона двухсот тысяч маме надолго хватит. Она хотела бы перебраться в пансионат. Как по-вашему?

Братья и сестра вздрогнули от слов Такако. Повисло молчание, все трое растерянно заерзали.

— Ты полагаешь, этих денег достаточно на частный пансионат? — наконец выдавил из себя Хидэити.

В разговор вступила Намико, сидевшая рядом с Хидэити.

— Земля в Каруидзаве дорожает день ото дня. По-моему, надо бы прицениться.

Такако заметила, что участок расположен не в самой Каруидзаве, а на окраине Коморо, на склоне горы, в том месте, которое сейчас разрабатывают под застройку.

— Не знаю, насколько подходяща цена в миллион двести тысяч иен за такой участок, но мне кажется, следовало бы согласиться с условиями сотрудника фирмы, отыскавшего нас. Деньги и так падают на нас с неба, — заключила Такако.

— А ты уверена, что там именно пятьсот цубо? На деле может оказаться и больше, — строго произнес Хидэити.

— Не исключено, что земля гораздо лучше, чем на словах. Иначе стала бы фирма тратить время на поиски хозяина, — поджав губы, сказала Намико.

— Согласен с Намико. Не терпеть же убытки лишь потому, что агент сам назвал сумму, — подал голос Ясуо.

По словам его тестя, земля в Каруидзаве стоит не меньше пяти тысяч иен за цубо.

— Надо кому-нибудь из нас поехать туда и разузнать все, — заключил он.

Такако всматривалась в братьев. Радость от сознания того, что у семьи Мики есть собственный участок земли, куда-то пропала, и их лица выражали откровенную алчность.

— Деньгами должна распорядиться мать по собственному усмотрению. Вы рассуждаете, забыв о ее трудном положении. Дарованное по милости судьбы необходимо использовать на благо матери, — решительно сказала Такако.

Она умолчала о том, что агент не расположен был показывать их владение.

— Предлагаю мужчинам продолжить переговоры с фирмой, меня устроит любой результат, — добавила она.

Хидэити и Ясуо договорились, что до встречи с представителем фирмы стоит наведаться в Каруидзаву. Выбор пал на ворчуна Хидэити, тяжелого на подъем, зато дотошного и педантичного. Ясуо, отличавшийся легким нравом, к сожалению, в ближайшее время уезжал в командировку в Кансай. Начали припоминать истории, связанные с земельными операциями, и с каждой минутой участок в пятьсот цубо в их воображении раздавался вширь.

— Только я услышала про землю, так сразу подумала, что она стоит не меньше трех миллионов. Надо бы навести справки, а то компания нас одурачит, — сказала Намико,

обводя взглядом родных. — Мне небольшую долю, надеюсь, выделите.

Она завелась на тему, как стесненно живут служащие, отправленные на работу в провинцию, как тяжел быт, сколько хлопот с учебой дочери.

— Неизвестно, удастся ли когда-нибудь вернуться в Токио. У дочки прекрасные успехи в занятиях фортепиано, но за обучение дерут безбожно, — лился неуемный поток слов, в котором жалобы перемежались с бахвальством.

— Везде одно и то же, — произнес Хидэити, отвернувшись от Намико.

Проблемы были и у Ясуо, который находился в двусмысленном положении мужа, приведенного женой в родительский дом.

— Если не вернусь с добычей, то, пожалуй, сегодня на порог не пустят, — пошутил он.

Разговор зашел о том, что наследство отца следует разделить по закону.

— Матери причитается одна треть, а каждому из нас достанется по одной шестой.

— Миллион — это большие деньги, а если дробить их на шесть частей, то они сквозь пальцы утекут, — возразила Такако.

— Вольно ж тебе говорить, не терпя семейных тягот.

— Хорошо бы получить три миллиона иен, тогда материнская доля составит миллион.

— А нам тогда по скольку причитается? По пятьсот тысяч, да? Здорово!

Такако употребила все красноречие, пытаясь переубедить братьев и сестру в том, что три миллиона должны принадлежать только матери. Шальные деньги необходимо истратить на содержание матери в доме престарелых. Такако тоже обрела бы свободу. В этот решительный момент ей было безразлично, расстанутся ли они с Тамурой.

Потрясенная Рицу сидела между детьми, сжавшись в комочек. Счастливая тем, что дети ведут себя по-родственному, она сама хотела поделить деньги без их напоминаний. Ее уязвил спор о долях наследства. Она испугалась, как бы большие деньги не посеяли раздора в семье. Поняла она и то, что Такако всерьез решилась определить ее в пансионат.

Молодежь несет вздор о трех миллионах иен. Жадность людская безгранична. Миллион двести тысяч! Воображения не хватает, такая сумма, а ведь пустят по ветру, с беспокойством думала Рицу, потирая распухшие от ревматизма паль-

цы. Она, как и Такако, согласна была на цену, назначенную старательным сотрудником фирмы. Высказать свое мнение Рицу не посмела, поскольку вокруг оживленно обсуждали, на что употребить пятьсот тысяч.

От вокзала Уэно до Каруидзавы два часа десять минут езды на экспрессе. Такако пригласила в путешествие Тамуру. Стоял один из последних дней сезона, радующего глаз осенними красками. Хидэити накануне один побывал в Каруидзаве. В управлении ему показали на плане их участок, но он не сумел отыскать его на местности. Осмотрев нечто похожее на отцовскую землю, он, усталый, вернулся домой. Брат попросил Такако договориться с сотрудником фирмы, чтобы тот свозил их туда.

— Семья у вас действительно дружная. У такого никчемного человека, как я, нет родственников, с которыми можно посоветоваться насчет земли. — Тамура явно заинтересовался рассказом Такако.

Он чувствовал смутное раздражение оттого, что у Такако нежданно обнаружилась собственность, но его подмывало своими глазами осмотреть участок.

— Дружная, говоришь? — иронично осведомилась Такако.

Видел бы он дележ денег! Намико перед отъездом в Хиросаки твердила одно и то же — вопрошая, когда ей доведется снова приехать в столицу. Ясуо мечтал отправиться в заграничное путешествие. Каждый в душе жаждал завладеть всей суммой. Такако в прекрасном настроении отправилась в Каруидзаву, ее не радовала только встреча с человеком в черном костюме и с невыразительным лицом. Уж этот наверняка видит нас насквозь, думала она.

— Братья за сколько намерены уступить?

— Хотят в два-три раза дороже первоначальной цены. Им нравится сам процесс торга. Один хочет в путешествие, другой новый дом, а я настаивала отдать все матери, а про себя думала, что хотела бы вдвоем с тобой съездить на Гуам, — ответила Такако.

Почему именно на Гуам? Она и сама и знала. Просто однажды в проспекте свадебных путешествий ее внимание привлек этот остров. Свалившаяся на голову удача рисовала в ее фантазиях картины счастливого замужества.

— Гуам? — пробормотал под нос Тамура.

Недурно на недельку прокатиться за границу, думал он. Хорошо бы вырваться на свободу из этой унылой жизни, в

которой одна лишь нудная работа за нищенскую плату. Чем плохо быть метрдотелем в ресторане, контролером в бане или каким-нибудь повесой, слоняющимся по разным странам. Зачем, собственно, витать в облаках, когда под рукой реальный шанс спасения в виде невесты из приличной семьи. Все может остаться только мечтами, если пустить события на самотек. Доля наследства, чудом приплывшая в руки Такако, придавала его прожектам некоторую осязаемость. А моя неудачница сестра наверняка зайдется от зависти, а то и ненависти к Такако, думал он.

В Каруидзаву прибыли около полудня. Светило солнце, дул холодный ветер. В автобусы садились люди, приехавшие полюбоваться последними осенними листьями. Такако и Тамура направились в контору фирмы. Она знала, что нужный ей человек половину месяца проводит на объекте, знакомя токийцев с участками. Мысль о предстоящей встрече омрачала настроение. На стеклянных дверях конторы висело несколько планов осваиваемых земель. В тесном помещении они увидели единственного служащего и одного посетителя.

— Ваш агент должен вернуться с минуты на минуту.

В центре комнаты горела керосиновая печка.

— Конечно, гора мешает, но с ней можно справиться, — сказал полный мужчина, судя по его виду — местный житель. Служащий рассеянно слушал его. Такако и Тамура рассматривали планы, висевшие на стене. Толстяк двинулся к выходу, а Тамура пошел на улицу купить сигарет. Городок, в который приезжают из Токио спасаться от летней жары, в эту пору выглядел пустынно. Тамура вернулся в контору, и следом за ним вошел мужчина в черном костюме. Он казался еще более постаревшим, чем в день их первой встречи. Агент спокойно поздоровался с Такако и ее спутником, не намереваясь демонстрировать своих чувств клиентам, которые не приняли безоговорочно его условий сделки и наконец-то пожаловали собственной персоной. Он внимательно посмотрел на них, только узнав, что Тамура не является наследником Сэйитиро Мики. Спустя некоторое время подошла машина, и они втроем отправились на осмотр участка. Долго ехали по государственному шоссе, пока справа не показалась гора Асамаяма. Служащий сказал, что дней пять назад выпал первый снег, но сразу же растаял.

— Гора была очень красивой, словно припудрилась чуть-чуть. Считай, у нас мертвый сезон настал.

Миновав Нака-Каруидзаву, машина свернула на дорогу, уходящую в противоположную от подножия Асамаямы сто-

рону. Здесь, в горной глуши, где ничто не напоминало о благословенной летней Каруидзаве, глупо придираться к цене, думала Такако. Она застыдилась того, что изображала землевладелицу перед Тамурой. Дорогу устилал красный ковер, а верхушки деревьев еще кое-где желтели редкой листвой. Добрались до склона горы, по соседству с ним был осваиваемый участок, по которому ползал бульдозер, рабочие таскали камни, корчевали пни. На площадке еще оставалось несколько нетронутых деревьев. Участок семьи Мики располагался поблизости, в зарослях. Они вышли из машины на склон, и Такако вскрикнула от изумления. Ее глазам предстал чудесный вид — холмы, меж которыми петляла узкая горная дорога, а прямо против Такако царственно высилась Асамаяма, снизу опоясанная лентой шоссе. Она никогда раньше не видела горы, столь совершенной по форме. Тамура тоже застыл на месте.

— Ни с какой другой точки Асамаяма не смотрится так великолепно. Это вам в награду за долгий путь сюда. Далековато, конечно, — нарушил молчание сотрудник фирмы.

— Не предполагала, что здесь так красиво, — отозвалась Такако.

Мужчина натянуто улыбнулся. Такако и Тамура вслед за ним обошли участок Мики. В действительности площадь в пятьсот цубо оказалась меньше, чем рисовало воображение. По расположению на склоне место, конечно, небезопасное, зато отовсюду видна Асамаяма.

Агент спустился вниз к рабочим, а Такако с Тамурой присели на пеньки. Ярко светило солнце, но холодный ветер студил кончик носа и уши, напоминая о грядущей зиме.

— Красота! Словно кто-то передвинул величественную гору в собственный сад. Истинное чудо! Жалко даже продавать.

— Будь у меня деньги, ни за что бы не отдал. Построил бы хижину и наслаждался целыми днями, глядя, как над Асамаямой курится дымок. Люблю бездельничать!

Такако представила праздно лежащего Тамуру. Летом вокруг дачи скачут белки. На веревке, натянутой между деревьями, полощется на ветру кипенно-белое белье. Тамура иногда ездит на велосипеде за французскими батонами. Счастье всегда представало перед ней в незатейливом и скромном облике. Нельзя ли оставить себе хотя бы сто цубо земли? У меня ведь есть право на этот участок, думала Такако.

Бульдозер тронулся с места, вздымая черную землю. Раз-

буженная почва, вздрогнув, со стоном подалась машине. Скоро будет срыт склон, на котором они сидят с Тамурой, пойдут под нож деревья и кустарники.

— Земля, конечно, дороже миллиона иен. Агент-хитрюга хотел, чтобы вы не глядя продали. Прикидывается, что душа нараспашку, а сам себе на уме. Похоже, он еще и зануда. Решил одурачить.

— Хорошо, что приехали. Но как вести разговор?

— Скажи, что передумали уступать.

Агент направился в их сторону. Сверху он казался совсем крошечным. Заметно было, что брюки ему коротковаты.

— Не замерзли? Ветер пронзительный сегодня.

— Мы тут обсуждали, что славно было бы выстроить здесь домик. А продашь землю — и прощай мечта.

— Трудно будет подвести коммуникации на гору. Право на воду принадлежит здесь нашей компании. Безнадежное дело строить индивидуальный дом, — степенно произнес представитель фирмы.

Такако смутилась, но Тамура не сдавался.

— Готовые участки пойдут, верно, по хорошей цене. И нам не грех подороже запросить.

— Стоимость определяется по завершении всего объема работ. Земля, не приведенная в порядок, почти что даровая. Это ведь просто горный склон. Вопрос о цене на эту бросовую землю возник лишь из-за вклинившегося сюда участка господина Мики.

— Естественно. Земля принадлежит семейству Мики, это тоже реальность. После осмотра местности возникла необходимость изменить первоначальные условия продажи, — продолжил Тамура.

Агент, выдергивая засохшие травинки, ответил тихим голосом:

— Одним разворотом бульдозера вашу землю можно обратить в участок под дачу. Зачем же упускать такой шанс?

Такако с возмущением отметила про себя, что в его интонации прозвучала непозволительная настырность.

В тот день, когда этот мужчина впервые пришел в их дом, его оживленное лицо показалось ей даже симпатичным. Видимо, в тот момент он явил свой подлинный облик, обычно скрытый маской.

Белый дымок, курившийся над Асамаямой, окутал вершину горы, слившись с облаками.

Пожалуй, и глазом не моргнет, если ему объявить, что землю не продадим, думала Такако. Мужчина, привычный к

неожиданным поворотам обстоятельств, хранил невозмутимое выражение лица. Стоило чуть поддаться, как его трехмесячный труд пойдет насмарку.

Такако не могла определить, порядочный это человек или проходимец. Агент пригласил их в машину. Гора растаяла в дымке, и взору Такако открылась равнина. По горной дороге, усыпанной осенней листвой, скользили легкие тени. Казалось, вот-вот мелькнет лисица или заяц. Спустившись к подножию, они двинулись в сторону государственного шоссе, ведущего в Каруидзаву.

Такако нервничала, представляя, как разгневаются братья в случае ее отказа продать землю. Тамура сидел молча, глядя в окно машины.

Агент пригласил их в кафе на привокзальной площади. Глоток горячего питья принес Такако облегчение. Мужчина рассказывал Тамуре о необходимости ускорить сроки работ, потому что со дня на день может пойти снег. Следующий объект, на который ему предстояло перейти, поблизости от Токио. Наконец разговор зашел о цене.

— Больше трех тысяч за цубо не дам, — решительно сказал агент.

— Полтора миллиона, значит. Слишком дешево. Распродавать будете по двенадцать-тринадцать тысяч за цубо. Половина от этого — и по рукам! Я уговорю семью Мики согласиться. — Тамура упорно наседал на собеседника.

Братьев он и в глаза не видел, подумала Такако.

— Речи быть не может, — отрезал агент. Он не притронулся к поданным бутербродам.

Непреклонность его тона навела Такако на мысль, что агент вовсе не уверен в назначенной им цене. Тамура же городит чепуху потому, что речь идет о чужой собственности. Такако, ощутив, что не все еще потеряно, решила предпринять новую попытку достигнуть компромисса.

— Площадь больше чем пятьсот цубо, — возразил Тамура.

— Ровно пятьсот.

— В таком случае я сама распоряжусь землей, — сказала Такако и впервые увидела, как лицо агента омрачилось. Да, нынче она наблюдала много разных выражений его физиономии.

В поезде Тамура выпил пива и повеселел.

— Ну и нахал! Надо бы посильнее прижать его к стенке. Конечно, пять тысяч за цубо нереально, но по четыре — самый раз, выходит два миллиона, — без умолку тараторил он,

словно обсуждались ставки на ипподроме. — Сколько тебе причитается? — произнес Тамура, загибая пальцы. — Мне тоже полагалось бы за посредничество.

Он произвел расчет.

— Меньше, чем я предполагал. Родственников у тебя многовато. Тем не менее достаточно на первый взнос за дом из трех комнат с кухней. И на небольшую поездку за границу останется.

Такако смеялась вместе с Тамурой, столь воодушевленным суммой, которая и присниться ему не могла, но в душе ощущала горечь. Поманили деньгами, сразу забыл об их разрыве и о планах сделаться приемным сыном в чужой семье.

Такако отвела глаза от возбужденно болтающего мужчины и почувствовала, что все ей безразлично. Ей расхотелось терять собственную долю ради матери.

Интересно, что представляет собой тот человек из фирмы, изредка думала она. С виду мягкий, а порой как скала, с места не сдвинешь. Не теряя самообладания, он заставил кричавших наперебой Хидэити и Ясуо прийти к компромиссному договору. В сумбурном разговоре с братьями Мики агент ни разу не упомянул о своем благодеянии, о том, сколь тяжкими были его трехмесячные изнурительные поиски их отца. Верно, он постоянно подавлял в себе присущую людям гордыню.

Намико с приличной суммой в кармане и в приподнятом настроении отбыла в Хиросаки, вскоре она прислала матери лаковую коробку для хаси, выполненную в характерной для Цугару манере. Следом пришло послание, в котором она просила одолжить под проценты деньги на приобретение небольшой квартиры. Рицу порвала письмо и выбросила клочки в мусорное ведро. Такако вышла прогуляться, сделав вид, что ничего не заметила. Вскоре явился Хидэити и предложил Рицу построить в складчину отдельный флигель во дворе дома, который она снимала.

— А кто же будет в нем жить?

— Мои дети, — ответил, слегка покраснев, Хидэити, а потом добавил, что не хотел бы бросать больную мать, да и ей было бы надежнее рядом со старшим сыном.

Рицу обещала подумать, а в душе ее мелькнула радость, что на счету в банке у нее шестьсот тысяч иен. Она не рассказала Такако о беседе с сыном.

Холодный ветер добрался и до Токио. В субботу по дороге с работы Такако, купив в универмаге подарочные купоны, направилась в фирму, расположенную в незнакомом ей

районе. Контора находилась в небольшом здании. Такако открыла дверь — просторная комната была плотно заставлена столами, и за каждым сидели сотрудники. Она назвала секретарю имя нужного ей человека. Мужчина, который казался таким неказистым и продрогшим на склоне горы в Каруидзаве, здесь выглядел аккуратным и подтянутым. У него, видимо, было свободное время, потому что он пригласил Такако в соседнее кафе.

— У вас какое-то дело в связи с участком? — Тон у него был доверительный, а может, он и действительно был искренен.

— Благодаря вам дело улажено. Была бы счастлива, если бы отыскался еще один забытый отцом кусок земли.

Мужчина неопределенно улыбался, не понимая цели визита Такако. Сошлись ведь на миллионе восьмистах тысячах.

— Закончили работы в Каруидзаве?

— Там почти все снегом замело. Наполовину успели. Вы хорошую пору застали.

— Вряд ли я когда-нибудь окажусь в тех местах. Асамаяма — настоящее чудо, и лесистый склон просто прекрасен. Незабываемый день, признаюсь. Странно, что отец не видел того уголка.

— Я думаю, у вас будет случай еще раз приехать, не хотите? На будущий год вдвоем?

Размышляя, соберется ли Тамура на такой пикник, Такако придвинула к мужчине небольшой сверток.

— Вашими стараниями мы обрели отцовскую землю и деньги за нее. Я давно намеревалась отблагодарить вас. Примите этот скромный знак благодарности.

Мужчина выглядел растерянным. Конечно, три месяца поисков — редкость в его работе, но он никак не рассчитывал на подобное проявление чувств.

— Я только выполнил служебный долг, — произнес он, глядя на сверток в фирменной бумаге.

— Вам тяжело далась эта история.

— Мне часто приходится разыскивать людей, устанавливать личность владельцев, но господин Мики был для меня вроде журавля в небе, однако поиск увлек меня. Я сначала, правда, полагал, что такую неудобную землю мог купить сугубо непрактичный человек, поэтому надеялся быстро завершить сделку. Когда я приступил к делу, ухватиться было буквально не за что. Подумывал бросить, слишком уж безнадежно, но тут всплыла Манчьжурская железная дорога.

Потянулась вереница встреч с разными людьми, включая тех, кто знал вашего батюшку по изыскательскому отряду. Их судьбы сложились по-разному. Эти люди и вывели меня на верный след. Я каждый день вспоминал слова моего отца, учившего, что день удачи не настанет без трудов. За пятнадцать лет работы в бесконечной суете, в череде успехов и неудач лицо мое превратилось в мертвую маску. Я освободился от нее, когда вернул семье Сэйитиро Мики то, что по праву принадлежало ей. Это был хороший опыт. Так что благодарить следует мне, — сказал мужчина.

— Думаю, покойный отец радуется, что вы отыскали нас, — с теплотой в голосе произнесла Такако.

В сумке лежала фотография отца, но она вдруг засомневалась, не будет ли это театральным жестом — показывать ее агенту.

— Когда поиски завершились, начались обычные торги, — сказал мужчина, доставая сигарету из голубой пачки «Патто».

Такако впервые увидела, что он курит.

— Какие у вас необычные сигареты!

— Давно курю их. В них меньше никотина, чем в других. Покупаю сразу по тридцать пачек в табачном магазинчике около бюро по трудоустройству.

Лицо его приняло беззаботное выражение. И это было самое естественное из всех его лиц, что довелось наблюдать Такако. Она решила минуты через три откланяться, подумав, что нехорошо отрывать человека от работы. Такако знала, что никогда больше не увидится с ним, и эти мгновения казались обоим драгоценными.

ЁСИКО СИГЭКАНЭ

БЕЛАЯ БЛУЗКА

Приоткрыв дверь, ту, что поближе к доске, в классную комнату заглядывает школьный служитель.

В первой группе пятого класса стоит страшный гвалт — большая переменка. Вижу, как шевелятся губы служителя, но разобрать что-нибудь практически невозможно. Сидящая рядом девочка окликает меня:

— Ямадзаки-сан! В учительскую!

Еще накануне мама сказала мне, что придет в школу со справкой от врача. Наверно, потому и вызывают. Неужели я не поеду?! Ни за что не останусь! Ведь решили же, что на работы поедет только один пятый, старший класс. Все уедут, а мне оставаться одной. Нет, так не пойдет!

В учительской меня поджидает классный руководитель:

— Приходила твоя мама, говорит, что ты не сможешь поехать на работы. Видишь ли, если ученица уклоняется от мобилизации, то ей не видать свидетельства об окончании школы. Но у тебя справка... Словом, посоветуемся с директором.

Наш классный руководитель — инвалид войны. Вместо правой руки у него протез, поэтому он всегда в белых перчатках.

— В конечном счете все зависит от человека. Болезнь можно преодолеть, стоит только захотеть. Война идет не только с этими американшками и британцами — сражаться надо с собой. — Учитель дергает подбородком, давая понять, что я свободна.

Только я перешла в пятый класс, как давние слухи о предстоящей мобилизации школьников стали оправдывать-

ся. Еще бы — на фронтах так тревожно! Отправляли нас в промышленный район в четырех с лишним часах езды на поезде от города, в котором я живу. Там масса военных заводов, их уже несколько раз бомбили. О больших разрушениях, правда, не сообщалось, но, говорят, были жертвы. Все пятиклассники будут жить в общежитии и трудиться у станка наравне с заводскими рабочими. Извещение об этом разослано родителям.

Папа и мама буквально впились глазами в повестку и перечитывали ее, тяжело вздыхая. У меня есть старший брат. Весной прошлого года его призвали в армию и направили на флотские курсы летной подготовки. С тех пор мы получили от него несколько писем, но вот уже более трех месяцев ни одной весточки. Тревога раздирала сердце родителей — уж не послали ли его на фронт, в авиацию, и он уже вылетел в свой последний полет. Поделившись с матерью горестными мыслями, отец сказал:

— Если случится худшее, у нас останется Хидэко. Надо выдать ее замуж, чтобы род не прервался.

— Сначала пусть закончит школу, и мы ей подыщем жениха. А все-таки хорошо, что я родила тебе дочь, правда? — поддакнула мама.

В повестке из школы содержался пункт, требовавший одобрения родителей. При мысли, что придется согласиться на утрату единственной своей надежды, им становилось не по себе. Тогда они пошли к знакомому врачу и упросили его написать справку.

— Завтра я принесу ее в школу. Тут написано, что у тебя слабое здоровье. Ты уж не выдавай меня, — предупредила мама, показав справку. «Настоящим удостоверяется, что подательница сего страдает от последствий пневмонии и подлежит освобождению от физического труда», — написано в ней. Действительно, еще в начальной школе я перенесла тяжелое воспаление легких. С тех пор при рентгене у меня всякий раз наблюдалось затемнение, а школьный врач на медосмотре неизменно ставил в моей карточке красную печать: «Нуждается в дополнительном обследовании». Этим-то заключением и воспользовались родители. Знакомый врач, к которому они обратились, решил на всякий случай вписать мне в справку еще и симптомы туберкулеза: «Затронуты легкие... и т. д.» Однако мать решительно воспротивилась и попросила переписать бумагу: «С клеймом чахоточной кто возьмет ее замуж?!»

Я принялась упрекать родителей, просила не позорить

меня. И вообще я с некоторых пор с нетерпением ожидала мобилизации. «Скорей бы приступить к работе на заводе, тогда я встану в один ряд со всеми», — мечтала я.

...Несколько дней назад я услышала голоса летчиков-смертников:

«Отец! Мать! Простите меня за то, что я уйду раньше вас из жизни и не успею выполнить сыновний долг. Завтра, чтобы защитить мою родину, вас, отец, мать, сестренка, я протараню вражеский корабль!»

Голос из радиоприемника раздавался хриплый и довольно унылый, не скажешь, что он принадлежит восемнадцатилетнему юноше.

— Бабушка! Береги свое здоровье! Желаю тебе долгой жизни!

— Каёко! Оставляю на тебя родителей!

Голоса тоже звучали с хрипотцой, но, как бы то ни было, они принадлежат моим сверстникам. А вот еще двое — голоса у них высокие, чистые, дерзкие.

— Я, Масао, иду на смерть ради его величества императора. Отец, мать, приходите в храм Ясукуни, на встречу с моей душой!

Поначалу я слушаю безучастно, не вдумываясь в произнесенные слова. Но вот вступает диктор: «Мы не можем назвать место, но завтра эти молодые соколы вылетят со своих баз, чтобы атаковать вражеские корабли».

Я чувствую, как комок подступает к горлу.

— Хиса! Послушай — мое сердце разрывается от мысли, что ты останешься одна. Наших родителей уже нет на свете, а теперь ухожу и я, твой старший брат... — Тут фраза обрывается — и не потому что парню больше нечего сказать, а просто закончилась передача. Звучит музыка: «Выйдешь в море...» Я стою, ничего не видя вокруг, по щекам текут слезы.

Я и раньше была преисполнена веры в нашу победу во славу императора. Но эта вера была, скорей всего, внушена мне извне, каждодневными поучениями.

Теперь же голоса молодых камикадзе потрясли меня до глубины души своей неотразимой конкретностью.

Сверстники, которых я никогда не видела... Они пришли к микрофону, страстно желая, чтобы и я услышала их голоса.

Они идут умирать за меня. Родина, о которой они говорят, на самом деле место, где я живу, тот пейзаж, который я вижу ежедневно своими глазами. Родина для них — это я,

незнакомая им девушка. Когда они оторвутся от земли с бомбовым зарядом и отправятся в последний полет, в сознании кого-нибудь из них, возможно, и возникнет образ их ровесницы, точно так же как сейчас до меня доносится дыхание незнакомого героя у микрофона.

«Я не хочу, чтобы вы погибли!» — беззвучно шепчу я юношам, которых никогда не знала в лицо.

Они защищают меня, отважные парни. Среди них и мой старший брат. Они загородили меня собою от наседающего врага, от чужеземцев... Слушая их по радио, я отчетливо представляю каждого воина.

Я последую их примеру. Не могу же я вечно оставаться в долгу и бесстыдно пользоваться их защитой. Пример храбрецов напоминает мне, что та же самая горячая кровь течет и в моих жилах!

И вот тогда я окончательно решилась...

Родители умоляюще смотрят на меня. Они рассказывают мне, как ухаживали за мной, когда я едва не умерла от воспаления легких. Они клянут судьбу, которая сначала отняла сына, а теперь может лишить их дочери. Их жалобы и уговоры длятся целую вечность — от получения повестки из школы и до того самого момента, когда они ставят на ней печатку в знак согласия. Для меня же теперь важны не чувства родителей, а стремление во всем быть похожей на наших героев.

Больше таких передач по радио мне не довелось услышать, но впечатление, произведенное этой, оказалось неизгладимым. «Не хочу, чтобы вы погибали!» — твержу я снова и снова.

Справку от врача принесла не одна моя мама. Конечно, некоторые действительно были больны, но большей частью справки добывались всякими правдами и неправдами. Учителя подозревали это. Было решено всех, кто принес освобождение, подвергнуть тщательному осмотру в городской больнице. Но я туда ни за что не пойду, поскольку с самого начала решила не прибегать к помощи справки.

Случилось это в прошлом году, поздней весной. В тот день украли рассаду сладкого картофеля из питомника, устроенного в дальнем углу школьного двора. Тогда-то мы и познакомились с новой учительницей, которая пришла к нам после окончания женского пединститута. Сначала мы выслушали нотацию по поводу кражи из питомника, а потом состоялось представление учительницы.

Школьный двор был почти полностью распахан.

Ученики от первого до пятого класса старательно обработали мотыгами отведенные им участки. В огород были превращены и утрамбованные многими поколениями школьников теннисный корт и волейбольная площадка, на которые насыпали высокие грядки, чтобы высадить на них бататную рассаду.

Питомник уже зеленел листьями батата. Стебли растений переплетались в замысловатое кружево, вылезали за высокую ограду питомника, гнулись книзу, к самой земле.

На завтра договорились высаживать их в подготовленную землю. Для этого четырехклассников освободили от занятий.

Однако, когда на следующий день мы, как обычно, пришли в школу, перед нами предстал разоренный питомник. Минувшей ночью рассаду кто-то выкрал. А ведь питомник был окружен прочным забором и пробраться в него было не так просто. Войти можно было только через запертые ворота или боковую калитку. Сам же школьный двор охраняла колючая проволока. Лишь только с северной стороны школьной ограды имелся некий лаз, через который с большим трудом на животе можно было выбраться наружу. А дальше приходилось продираться сквозь густые заросли дубняка, посаженного вдоль забора. Ученики пользовались этим способом, когда требовалось сбегать домой за забытой вещью.

Рассада была рассыпана по всей тропинке, ведущей к лазу. Учителя ломали голову над тем, как похититель узнал про потайной ход, которым пользовались исключительно дети. Решили собрать всех в актовом зале.

— Мы с таким трудом вырастили рассаду, распахали весь школьный двор, надеясь накормить вас, и вот за одну ночь все уничтожено. Еще как-то можно понять, если б украли уже собранный урожай, но воровать рассаду — этого еще никогда не было! И ведь знали куда бежать — через лаз, о котором не известно никому из посторонних! Даже я, директор, не знал о его существовании. И что особенно интересно: прямо из питомника направились к нему, кратчайшим путем!

В зале царила гробовая тишина, настроение у всех было испорчено.

Директор, одетый в полувоенную форму защитного цвета, с высокой кафедры подозрительно вглядывался в лица учеников. Теперь даже у крестьян не раздобудешь необходимого количества рассады. А ведь и директор, и учителя рассчитывали на богатый урожай бататов осенью. Очевидно,

поэтому во взглядах, которые директор бросал на учеников, сквозило нескрываемое разочарование.

Представление новой учительницы прошло в напряженной атмосфере.

Она была в темно-синем костюме и белоснежной блузке. Никаких ставших привычными для военного времени шаровар или брюк. И еще чулки телесного цвета. Когда директор представлял нам учительницу, я заметила глубокую тень у ее переносицы. Позже, на уроке математики, которую стала вести учительница, я поняла, что это просто родимое пятно. Словно легкий мазок кистью на рисунке тушью, оно делало чуть-чуть более серьезным ее юное розовое личико. А еще, когда я прошла мимо нее в коридоре, то успела заметить целое скопище веснушек, причем только по одну сторону носа.

Нарисовав на доске треугольник или круг, она оглядывает класс. «Ну как, решите эту задачку?» Тогда пятнышко у носа кажется излишним. Но стоит ей убедиться, что это не под силу ученикам, она слегка опускает голову — и тогда на лице появляется глубокая тень.

После ухода мужчин на фронт в школе остались одни учителя в возрасте. Уроки английского отменены — это язык врага, а чтобы заполнить оставшееся время, ввели физический труд и занятия по этикету. Очевидно, посчитали, что после работы в огороде необходимо прививать детям хорошие манеры. Ну, например, как сделать пять шагов по татами, не задев их кромки, или как сидеть на коленях, подогнув под себя ноги, отвешивая при этом вежливые поклоны, как положено благовоспитанным девицам.

Никакого смысла в этаких, с позволения сказать, занятиях я не видела и делала движения механически, повинуясь приказам учителей. Врожденная трусость и честолюбие — как бы обо мне плохо не подумали — удерживали меня от выражения протеста.

В кругах и треугольниках, которые чертила нам новая учительница, скрывался какой-то особый смысл. В поисках его я находила огромное удовольствие. После урока я шла с тетрадкой к учительнице и задавала ей многочисленные вопросы.

Веснушки ее сходились в одно пятнышко у носа, а дальше к глазу тянулась легкая полоска без четких границ. А поскольку она проходила только по одной стороне лица, то мне казалось, что перемены в форме родимого пятна имеют

какое-то отношение к напряженной работе ее мозга, который неустанно решает самые замысловатые задачки.

Иногда она приходила в кимоно с крупным цветочным узором и темно-синей хакама[1]. Говорили, что директор приказал ей ушить рукава: они-де слишком широки и колышутся при ходьбе. После этого она стала ходить в блузке и юбке в сборку.

Выглянет из-за спин сидящих впереди одноклассников блузка с белоснежными кружевами, и как-то забываешь о суровых нравах военного времени.

Ничто не сможет изменить моей решимости — даже возможная гибель брата.

От общежития до завода — полчаса ходьбы. Отправляясь в путь, мы завязываем вокруг головы хатимаки — платок с изображением Восходящего солнца, свидетельство нашей готовности работать засучив рукава. Наш ведущий запевает: «Крепко завяжем волосы черные, чтоб работе нашей не мешали!» Все тридцать минут мы печатаем шаг, распевая песни. Когда я пою: «Мы, девушки, — штурмовой отряд», мне хочется, чтобы нас услышали отважные парни, которые завтра будут таранить вражеские корабли.

Классы распределили по заводам и фабрикам: одни шили парашюты, другие — обмундирование. Нас же отправили на металлический завод. Говорили, что он производит детали для моторов, но общий чертеж был только у мастера. А он его не выпускает из рук и когда раскладывает, то делает это так, чтобы никто из нас не мог заглянуть в него.

«Военная тайна! Вам, девочки, знать не полагается...» — смеясь, подмигивал он нам. После месяца учебы мы уже довольно успешно справляемся с токарным станком. Руки в сплошных волдырях, они лопаются, твердеют, превращаются в мозоли. Рабочие хвалят нас: «Молодцы, девчата!» За каждой закреплен свой станок.

Мне и не обязательно все знать. Наклонившись над станком, я старательно обтачиваю заготовку.

«Один винтик дороже всех ваших пальчиков, — любит повторять нам мастер, — пальцем врага не убьешь, а винт уже оружие!»

Вот он стоит за моей спиной и почти обнимает:

— Правую руку держи на бабке, только покрепче. — То-

[1]Хакама — часть японского официального костюма; у женщин — в виде юбки.

лстыми пальцами он сжимает мое предплечье. Стараюсь высвободиться из его объятий. — Ишь нагуляла! — гладит он меня сзади и торопливо переходит к следующему станку.

Наша учительница уже не носит белой блузки. Теперь она в мешковатой рабочей одежде, на ней широкие, завязанные тесемками у щиколоток шаровары. Бесформенная одежда делает ее еще моложе, похожей на маленькую куколку. К тому же она маленького роста, и если взглянуть на нее сзади, то можно вполне принять ее за школьницу. Учительница ходит между станками, бросая гневные взгляды на мобилизованных рабочих, которые пристают к ее подопечным.

Наконец наступает обеденный перерыв. Девчонки высыпают на заводской двор, на солнышко, и, собравшись в круг, скромно обедают хлебом с отрубями гадкого серого цвета и сладким картофелем. То и дело к ним подходят пожилые рабочие. Ковыряя во рту зубочистками, они заигрывают, отпуская в наш адрес скабрезные шутки. Девчонки в ответ только взвизгивают.

Но меня привлекают лишь настоящие мужчины — те, чьи голоса я слышала по радио. Конечно, после той передачи прошло немало времени, и многие из них, скорей всего, погибли. Но на смену погибшим приходят новые добровольцы. Вот это мужчины! Словом, насмешки мастера и этих мобилизованных работяг нисколько не волнуют меня. Тем более что мои парни не сплевывают сквозь пожелтевшие зубы; они не ходят немытыми, в замасленной одежде; они аккуратно бреются каждый день. Даже короткая стрижка идет им — ведь у них идеальная форма головы. Стоит такому парню пожелать, и я не задумываясь стану его. Пусть хоть что-нибудь останется от него, прежде чем он бросится в атаку. И когда в бой уйдет последний, я последую за ним.

Ну а эти на заводе не годятся им даже в подметки. Как противны их липкие оценивающие взгляды, которые они бросают на нас. Стоит им приметить сколько-нибудь взрослую ученицу, как они тут же начинают приставать к ней. Некоторых своими грязными шуточками они доводят до слез.

Тот, о котором я думаю, не способен на подобное. Он не требует ничего взамен. Такие, как он, умирают первыми, подставляя себя под вражеские пули. Он лишь издали вглядывается в меня и с грустной улыбкой говорит: «Живи! Я буду защищать тебя!» И никаких домогательств. Одним сло-

вом, у меня есть четкий идеал, и я спокойно пропускаю мимо ушей шуточки рабочих.

Каждый раз, когда кто-нибудь из них начинает приставать к ученице, учительница с суровым видом одергивает его. То и дело она подходит к мастеру, требуя, чтобы он сделал замечание мобилизованным. И каждый раз возвращается с побледневшим лицом. Вот и сейчас из дальнего уголка цеха, где работает группа наших учениц, доносится хихиканье и визг. Учительница тут же бежит делать выволочку какому-то обнаглевшему типу. Тот, видно, не остается в долгу, и она возвращается на прежнее место с покрасневшими щеками.

Пухлые щеки учительницы стали заметно опадать. Углубились тени у переносицы. Теперь она не снует между станками, ободряя девушек, а больше стоит, прислонившись к стенке. Иногда поднимает опущенные глаза и холодно смотрит на мастера и рабочих. По мере того как углубляются тени на лице учительницы, все ниже и гуще становится ее голос. А ведь он звучал совсем иначе, когда накануне нашего отъезда она выступала в классе с последним напутствием. Тогда ее взволнованный голос растекался с кафедры, доходя до сознания каждого ученика:

— Наступает час решающего сражения на территории страны! Японцы — и стар и млад — готовы сражаться, объединив помыслы и усилия. Завтра мы выезжаем. Трудиться придется не покладая рук. Ни в коем случае вы не должны быть обузой для старших, тех, кто кует оружие, работая как одержимый. Равняйтесь во всем на своих друзей — рабочих!

Покраснев от волнения, учительница внушала нам решимость хорошо трудиться. Теперь же ее голос, потеряв былую прелесть, звучал глухо и уныло, словно что-то застряло у нее в горле.

— Вам не хватает силы духа, поэтому вы не можете трудиться как следует. Слушаете всякие грязные разговоры, даете им повод насмехаться над вами, — бранила нас учительница.

Когда-то в своем кимоно с широкими рукавами она беззаботно ходила по школьным коридорам. Казалось, она бросает вызов самой смерти: пусть война в разгаре, но цветок раскрывается, коль пришло его время... Теперь же она стоит, прислонившись к заводской стене, и ничто не напоминает во взвинченной и озабоченной женщине нашу прежнюю учительницу.

Мы возвращаемся в общежитие строем, в замасленной, пропитанной потом одежде. Молча шагаем по дороге, петь мы уже не в состоянии. Некоторые уныло плетутся, понурив головы.

Первое время, когда мы только поселились в общежитии, у нас еще были припасы, которые мы взяли с собой из дома. Мы питались ими, разделив поровну, примерно две недели. Но затем продукты кончились, и с тех пор нас не покидало чувство голода.

Встаем мы значительно раньше установленного времени. И все из-за супа из мисо[1], который раздают в столовой. На каждый стол, рассчитанный на шесть человек, приносят деревянную бадейку с супом. Тому, кто встает пораньше, достается черпак и соответственно право разливать суп.

«Хозяйка» черпака опускает его на дно, делая вид, что помешивает содержимое бадейки. На самом же деле она ждет, пока осядет гуща. Потом разливает суп в расставленные на столе чашки, с невинным видом наливая себе порцию «пожирнее». Именно так поступает каждая, кому посчастливится захватить черпак.

Перед тем как приступить к скромной трапезе — супу из мисо и жидкой кашице из соевых бобов, ученицы складывают ладони в благодарственной молитве:

— Благодарим небо и землю, родителей, учителей за их щедрые дары. А теперь отведаем их!

Искоса глядя на «счастливицу», орудующую черпаком, я даю себе слово завтра же встать пораньше...

На завтрак я прибегаю, опередив всех. Залпом выпиваю суп, в несколько приемов поедаю кашу. Покончив с едой, поднимаю голову и внимательно смотрю на учительницу, сидящую за столом у окна. Прильнув губами к краю чашки, она спокойно потягивает суп. Потом ставит ее на стол и берет в левую руку плошку с кашей. Ест она медленно, мелкими глотками, изящно двигая палочками для еды. Ест попеременно то из одной чашки, то из другой. Такое впечатление, что она растягивает удовольствие. У меня появляется еще один повод восхищаться нашей учительницей — ведь порцию она получает ту же, что и мы, да и в аппетите нам не уступает.

Я испытываю постоянное чувство голода и частенько как бы забираюсь в собственный желудок. Напрягая «зре-

[1]Мисо — густая масса из перебродивших соевых бобов.

ние», я вижу, как со всех сторон меня окружают стены, испещренные бегущими в разные стороны складками неопределенной формы. Их глубина мне неизвестна. Орошаемая жидкостью возвышенная часть желудка почему-то сверкает.

Пищеварительные соки медленно стекают в глубину складок. Пока это происходит, соки густеют, становятся клейкими, окрашивают стенки желудка блеклыми красками. Мне хочется хоть раз раздуть до пределов желудок, в который я забралась, и посмотреть, что там происходит на дне складок. Если это удастся, то можно будет четко разглядеть внутренность всего желудка.

Господи! Неужели я действительно нахожусь в желудке, я ли это, сидящая в нем на корточках? И зачем я здесь, что мне тут делать?! Ах, вот в чем дело — мне надо разгладить глубокие складки, чтобы увидеть дно моего бедного желудка...

Если я не высыпаюсь, у меня начинает болеть голова. Однажды я встала пораньше и завладела черпаком. Когда же перед едой все сложили руки в молитве, я, приоткрыв глаза, заглядываю в свою чашку и замечаю там слишком много гущи, кусочки даже выглядывают из жижи. Чтобы остальные не заметили этого, когда раскроют глаза, на словах «щедрые дары» хватаю ее в руки. Ведь когда дойдет до «отведаем их», взоры всех устремятся к шести чашкам, чтобы сравнить их содержимое. В тот день меня не отпускали головные боли, и, когда закрепляла в суппорте резец, я едва не лишилась пальцев. С тех пор я махнула рукой на черпак.

Дядя живущей в нашей комнате Нацуко служит в этом городе вольнонаемным при штабе армии. Его особое положение дает возможность «отовариваться» продуктами по блату. Два выходных, положенных в месяц, Нацуко проводит в его доме.

Что ж, ей повезло с дядей. Такова воля провидения, и мне нет никакого дела до того, что она там ест. Злит другое — у Нацуко появилось множество прихлебательниц — они так и вьются вокруг нее, когда она возвращается в общежитие. Уже прозвучал отбой, пора спать, а она все сидит в конце темного коридора, окруженная подружками.

Оттуда до меня доносится приглушенный смех:

— Вот попробуй это. Угадаешь — дам еще одну.

— Карамелька!

— Нет.

— Во рту тает... — и так далее.

Спустя какое-то время Нацуко ощупью пробирается в

комнату. В темноте распространяются аппетитные ароматы...

Тихая и незаметная в школе, Нацуко обретает власть. Уборку туалета и коридора — раз в неделю — делают за нее подружки, а сама она лишь роется в стенном шкафу, где прячет продукты. Иногда оттуда выглядывают расписанные ярким красным узором банки с леденцами. Нацуко постоянно перекладывает, пересчитывает, проверяет содержимое своего богатства.

Я игнорирую Нацуко. Я не признаю власть, основанную на умении и возможности доставать недоступные остальным сладости. И, разумеется, не собираюсь ей угождать. Я не интересуюсь, что там у нее в шкафу, и не завидую ей, что бы она ни уплетала.

Напротив нас, на другой стороне улицы, находится общежитие рабочих, отбывающих трудовую повинность. Ходят слухи, что у Нацуко роман с одним из его обитателей. Кто-то видел, как она передавала ему коробку с карамелью. Меня и Митико, живущих вместе с ней в одной комнате, вызывают в дежурную комнату.

— Митико-сан, — спрашивает учительница, — соблюдает ли Нацуко-сан режим?

— Да, — тихо отвечает Митико, опустив голову.

— Перед отбоем я обхожу все комнаты, проверяю... Вот после этого?

Учительница смотрит на меня.

— Иногда она возвращается среди ночи. От нее пахнет конфетами. Пробирается в темноте в комнату. Я делаю вид, что сплю. — Меня словно прорвало; взволнованная, я готова была уничтожить Нацуко.

— Как часто она возвращалась так поздно?

— Я не считала, много раз. Тихонечко прокрадывается в комнату и забирается под одеяло.

Митико смотрит на меня широко раскрытыми глазами.

«Но я ведь не лгу!» — успокаиваю я себя, глядя прямо в лицо учительнице.

— А почему ты раньше не сообщила?

— Я не могу доносить на подруг. Я дорожу их дружбой.

— Понимаешь, мы отвечаем за вас перед родителями. А что, если с Нацуко-сан случится что-нибудь?! — выговаривает мне учительница, но, видно, мои слова о дружбе ей понравились. Она берет с нас слово о том, что мы ничего и никому не расскажем, и отпускает.

Я не спеша разглядываю ящик в стенном шкафу, кото-

рый отведен Нацуко. Он выдвинут сантиметров на десять, и оттуда выглядывает красная банка. Я смотрю на нее и упрямо не отвожу глаз. Все-таки я победила тебя, красная банка!

Мне ничего не известно о связи между Нацуко и мобилизованным парнем. Может быть, действительно кто-то из подружек Нацуко пустил такой слух из ревности. А может, он просто понравился ей, и она подарила ему конфеты.

Во всяком случае, мне надо было покончить с красной банкой. Ведь только конфеты раздражали меня, вызывали слюну. Дело не в Нацуко, а в ее банках, поэтому, победив их, я могу быть спокойной.

С заплаканными глазами, все еще всхлипывающая, Нацуко приводила в порядок свой ящик.

— Она просто его пожалела...

— Нет, это она за эмульсию, которой он поделился с нею, — сочувственно шептались подружки Нацуко, стараясь между тем держаться на расстоянии от нее. Лишь бы не впутываться в неприятное дело.

Дядю вызвали к школьному начальству, а самой Нацуко было объявлено, что она на три дня отстраняется от занятий. «Подумать только — отстранили от посещения занятий в женской школе, теперь она не сможет выйти замуж, кто же ее возьмет такую...» — судачили подружки...

Звучит сигнал воздушной тревоги. Поначалу я каждый раз вскакивала и мчалась в убежище. Но чаще все ограничивалось воем сирены, а вражеские самолеты проносились куда-то дальше. Не хочется никуда бежать — никто пока вроде не собирается бомбить нас.

Зато все время хочется спать. Лучше умереть, только бы дали поспать. Погибнуть во сне все равно, что умереть под наркозом. Все кончится, прежде чем сообразишь, что произошло. Если бы мне предложили выбирать между сном и смертью, думаю, я бы лучше поспала.

Просто отключаюсь и не слышу даже сирену. Находишь себе самое оригинальное оправдание. Ну, например, чем работать как сонная муха, лучше уж хорошенько выспаться, а днем потрудиться как следует на благо родины, все равно вся жизнь отдана ей. И уже в продолжение этого тяжкого сна ты все-таки поднимаешься и бежишь в бомбоубежище.

А там аж дух захватывает от спертого воздуха. В душной темноте я почему-то думаю о пироге из фасолевой пастилы. Причем не свежем, только что отрезанном, а старом, засохшем. Края его засахариваются, становятся совсем белыми.

Вот в этот белый, затвердевший кусок мне и хочется вонзить свои зубы. С силой откусить его...

Снаружи продолжает завывать сирена. Звук ее распространяется и под землей, вызывая неприятные ощущения в животе. Со стенок убежища падают кусочки земли... Край отрезанного пирога — сплошной сахар. Даже во рту долго не тает.

— Некому таскать носилки! Эй, пусть кто-нибудь выйдет! — кричат у входа в убежище. Но никто не откликается на этот призыв. Парней из захватившей меня радиопередачи здесь нет, они на фронте.

Билет на поезд может достать только тот, у кого есть блат в железнодорожных кассах. Например, это люди, занятые распределением продуктов, чиновники, ведающие талонами на питание. Вот у крестьян полно продовольствия. Так что, распоряжаясь билетами, служащие железных дорог обеспечивают себе пропитание.

Словом, в общежитие приезжают лишь те родители, которым тем или иным путем удалось добыть билет на поезд. Приходят в общежитие с коробками, набитыми вожделенной едой. Усаживают своих чад в укромных уголках и набивают им желудки.

И никто не пригласит: «Садись с нами». Накормив дочек до отвала, они заполняют едой коробки и банки, прячут их в стенные шкафы — каждой в свое отделение. «Не ешь все сразу, береги продукты, ни с кем не делись. Достанем билет, привезем еще», — внушают они деткам.

Прижавшись к решетке окна, девушки долго провожают взглядом уходящих родителей. На щеках остаются отпечатки прутьев, по лицу струятся слезы. Родители оборачиваются, не решаясь сразу уйти, видят они только своих детей...

Мои родители, знала я, не настолько изобретательны, чтобы найти возможность навестить меня. У них нечем соблазнить железнодорожников — ни вещей, которые можно обменять на продукты, ни особых привилегий. Отец возглавляет общий сектор в городской управе. Начинал с официанта и достиг своего нынешнего положения с огромным трудом. Тем не менее он хотел во что бы то ни стало дать нам образование и устроил старшего брата и меня в гимназию. Брат мой прекрасно учился и после четвертого класса, минуя пятый, был переведен в школу высшей ступени. Он смог продолжить учебу только потому, что стал стипендиатом. С отцовскими средствами мы могли

рассчитывать лишь на среднюю школу. Лишних денег у отца никогда не было. Короче говоря, вознаградить станционных служащих, чтобы те достали билет, ему было нечем. Так что я перестала и надеяться на приезд родителей.

Ночью у спавшей рядом со мной Митико прихватило живот. Накануне к ней приезжали родители, и она ела все подряд. А все остатки быстренько упрятала в шкаф. Под вечер родители Митико уехали.

Митико вся скорчилась и кричит от боли. В дежурной комнате должно быть лекарство. Бегу туда по коридору — надо разбудить учительницу. Изнутри просачивается свет. Обычно, прежде чем войти, я спрашиваю разрешения. Но я спешу: состояние Митико внушает тревогу — она так мучается. С криком врываюсь в дежурку.

Учительница держит в каждой руке по половинке увесистой рисовой лепешки. Их ярко высвечивает круг лампы, прикрытой колпаком для светомаскировки. Сама учительница сидит в темноте. Видны одни руки, а выражение лица ее остается для меня неразличимым.

— Митико-сан плохо! Живот болит. Пойдемте скорей!

Руки с половинками лепешки замерли и словно застыли в кружке света. Я стараюсь не смотреть на них и поскорее задвигаю сёдзи[1].

Вечером, после отъезда родителей Митико, учительница вызвала ее к себе в дежурную комнату. Вернувшись через какое-то время, Митико сообщила нам: «С завтрашнего дня перехожу на кухню. От работы на заводе меня освободили. Приказано оставаться в общежитии и помогать повару».

Общежитие наше находится у подножия горы, поэтому возможность попасть под бомбежку здесь не так велика. На заводе гораздо опаснее.

Догадаться о связи между переводом Митико на кухню и рисовой лепешкой в руках учительницы проще пареной репы. Каждая из нас, живущих в общежитии, мечтает стать помощником повара. С завистью мы наблюдали, как за раздаточным окошком она разливает по бадейкам суп из большого котла. Вообще-то на кухне работают трое — пожилые супруги, живущие там же, и приходящая прислуга. Лишь изредка руководительница того или иного класса направляет кого-нибудь из своих учениц им на помощь. Чем они руководствуются при этом — совершенно непонятно. Вызывают

[1]Сёдзи — раздвижная перегородка в японском доме.

в дежурную комнату и приказывают: «Поработаешь недельку на кухне!» Меня, правда, так ни разу и не вызывали. Это казалось мне очень странным. Теперь же все стало на свои места — рисовая лепешка, высвеченная лампой, решает наши судьбы. И еще моя учительница смеет с презрением отзываться о мобилизованных работягах: «Гадкие, мерзкие типы!» А твои руки разве не грязнее их рук? А палец, которым ты указала Митико пойти работать на кухню? Ведь он выглядит гораздо уродливей, чем все толстые, в трещинах пальцы заводского мастера.

Придя в нашу комнату, учительница хлопочет возле Митико. По-прежнему отвожу от нее взгляд. На меня уже не производят впечатления ни ее накрахмаленная, белоснежная блузка, ни белые кружева, украшающие ее высокую грудь.

Как обычно, усталая, в промасленной одежде, возвращаюсь с завода в общежитие. Там меня ждет мама! Вот уж никак не могла подумать... Как она достала билет?

— У меня разрешение от учительницы, — говорит мне мама и тащит куда-то в сторонку. К моему полному разочарованию, я не вижу ничего съестного. Это выводит меня из себя — другие родители так сразу вытаскивают продукты.

— И чего приехала? Ну какая польза от твоего приезда? — сержусь я. Это еще оттого, что я голодна. Недовольно разглядываю мать — зачем она потащилась сюда в такое трудное время?!

— Ты же знаешь отца. На такие дела он не способен, единственно, что может, — быть честным. Не пускал меня к тебе, боялся, что из школы исключат. Знаешь, от твоего брата никаких вестей. Жив ли, умер, где сейчас — ничего не известно. Если еще и тебя потерять... Одним словом, я за тобой! — произносит она одним духом, всем своим видом выражая непреклонную решимость. Я же все больше выхожу из себя.

— А станок я на кого оставлю?! Мы днем на них работаем, а ночью нас сменяют мобилизованные. Работы полно, и за три смены не справиться. Если я брошу свой станок, то что будет? Ты понимаешь, что такое долг?!

— Ты не беспокойся — я договорилась с учительницей, молоденькой, ну той, что тебе так нравится! Я ей рису привезла, первый сорт... Упросила — сказала, что у тебя жених появился. Она тут же согласилась. Я сказала, что родители жениха торопятся. Теперь тебя сразу отпустят.

Я тупо смотрела на мать...

— Ну, правда, правда! Договорились о смотринах. Надо поскорее уезжать, пока учительница твоя не передумала.

А мне так хотелось есть...

— Я не могу допустить, чтобы моя дочь погибла. Кругом бомбят. И от голода не дам тебе умереть! — сказала мама с выражением полной решимости. — А твоей обожаемой барышне я преподнесла целый сё[1] риса... Обменяла на кимоно, которое подарила твоя бабушка мне на свадьбу. Единственная память...

Так вот, оказывается, в чем дело! Я ведь застала учительницу, когда она уплетала рисовую лепешку. Теперь она, пожалуй, снова сварит рис, на этот раз преподнесенный ей мамой, и скатает из него вкуснейшие колобки. Из нашего риса, без отрубей. При одной мысли о колобках у меня буквально потекли слюнки, а желудок изготовился к приему пищи. Стенки его напряглись, вот-вот зашевелятся складки.

Как ни крути, но бедственное состояние желудка с некоторых пор определяет ход моих мыслей. Если я смогу хоть чем-нибудь его наполнить, то есть смысл бежать отсюда. Стыдно, конечно, предавать оставшихся, которые будут отрабатывать и мою долю, но желудок мой настолько истомился в ожидании пищи, что мне уже не до угрызений совести. Переполненный соком, он толкает меня на измену, лишь бы насытиться.

Нет-нет, пора уезжать. Главное, побороть голод, а там время покажет.

Мы идем в комнату и складываем в узелок мои скудные пожитки. Попрощаться удается лишь с Митико. Учительница только и сказала:

— Так ты замуж собралась... Поздравляю! Япония нуждается в человеческих ресурсах. Словом, «плоди и размножайся!» Желаю тебе родить крепкого мальчика.

Теперь у нее лицо увядшей женщины.

Прежде чем поставить свою печатку на нашем заявлении, она старательно возит ее в штемпельной подушечке. Печать получается такой жирной, что даже фамилию учительницы трудно разобрать.

— Не знаю, как будет с дипломом — может не хватить дней посещения. Во всяком случае, постараюсь, чтобы ты смогла окончить школу, как и все. Ведь у нас смотрят косо на тех, кто пропустил много занятий или бросил школу.

[1]Сё — мера емкости, равная 1,8 л.

На одной стороне лица учительницы множество веснушек. Раньше они концентрировались справа, у переносицы, а теперь заполонили всю щеку, словно их наклеили.

Вместе с мамой мы выходим из общежития. Никто нас не провожает — в это время все в бане.

У мамы припасен для меня обратный билет, а вот как она его достала?

— Когда-то он ухаживал за мной, а теперь стал помощником начальника станции. Так вот, я выпросила у него билет, — объясняет мне мама уже в вагоне.

Она вынимает из сумочки несколько картофелин, завернутых в газету.

— Что ж ты тянула? Не знаешь разве, какая я голодная! — с обидой восклицаю я. Если б она раньше меня накормила, не было б такого бегства из общежития.

— Я только и думала, чтоб увезти тебя поскорей. Не до еды было.

Мама с аппетитом поглощает картофель. Не отстаю от нее и я. Только покончив с едой, я вспоминаю о подругах.

Кто же завтра вместо меня будет работать у станка? Ясно, что кому-то придется отрабатывать мою долю. И все же мама придумала ловкий предлог для моего бегства. Конечно, патриотичней было бы остаться на заводе, чтобы и дальше вытачивать детали, но на пользу государства должно пойти и то, что я, ее дочь, вернусь домой и выполню свой долг перед родителями. Как говорится, шито белыми нитками...

Я пытаюсь найти себе какое-нибудь оправдание, успокоить свою совесть. Раз я уехала под предлогом замужества, то действительно надо выйти замуж, тогда никто не посмеет обвинить меня во лжи. Получится, что никого я не предавала, так как, выйдя замуж, я попаду в равные условия с теми, кто проливает пот у токарного станка. Будем вместе преодолевать трудности на благо отечества.

— Одеяло! Забыла в шкафу! — неожиданно вспоминаю я. Его сшила мама из своего просторного нижнего кимоно с узором из крупных пионов, просидев над ним всю ночь. Я натягивала одеяло на голову, ощущая на себе мягкое прикосновение шелка. В общежитии я спала, завернувшись в него. Проснешься от нестерпимого голода, встанешь с постели, чтобы выпить воды, а когда потом прижмешься лицом к шелковому одеялу, как-то легче становится.

— Я вернусь за ним! — Я вскакиваю со своего места.

— О чем ты говоришь! Живыми бы вернуться, больше

ничего не надо. Одеяла не жалко — кому-нибудь пригодится. Главное, что я тебя вернула. Не хватало, чтобы я лишилась обоих детей.

Поезд мчится, приближая нас к дому, а я все больше удивляюсь, какая же сила воли у мамы!

А ведь она не всегда была такой... Вела домашнее хозяйство на скромную зарплату отца, готовила и обшивала всю семью. Старательно хлопотала по дому, но решать самостоятельно ничего не могла, да и не желала. То и дело говорила: «Ну что будем делать, папочка?» Когда же подрос старший брат, стала оглядываться и на него. Гордилась, что он такой образованный.

— С тех пор как забрали твоего брата, я стала крепче от пролитых слез. И ума набралась. Иначе как бы я увезла тебя, Хидэко? Только не проболтайся отцу насчет риса, ну того, что я сунула твоей учительнице. — Мама, кажется, позволила себе расслабиться в трясущемся от быстрой езды вагоне.

...Смотрины, оказывается, не были выдумкой! Мой жених — единственный наследник большого хозяйства в деревне, достаточно удаленной от нашего городка. Его отец — местный богатей, владелец мельницы, — желает срочно женить своего отпрыска, до того как его заберут в армию. А просватала меня дальняя родственница со стороны отца.

В той семье искали умную девушку, которая, выйдя замуж за их сына, родила бы здорового наследника. В нашем маленьком городке многие всерьез гордились успехами моего брата. Перейти из местной средней школы в школу повышенной ступени в большом городе — такое случалось лишь раз в несколько лет. К тому же брат стал стипендиатом, что освобождало от платы за учение. Неудивительно, что о нем знал весь город. Проведав, что я его младшая сестра, родственники жениха загорелись желанием заполучить меня в невесты.

Кстати, они не преминули проверить меня через школу. Учитель, оставшийся присматривать за ней, перелистав журнал, заметил: «По математике за учебный год ниже третьего места не спускалась. Способная...» Ну а вообще-то в женских школах в случае подобной проверки не принято сообщать плохие сведения. Поэтому о том, что по остальным предметам успехи у меня не столь блестящие, никто и не узнал. «А вот еще — с момента поступления в школу ни одного прогула или опоздания. Редкая посещаемость — какое здоровье, силу воли надо иметь!» — вовсю расхваливал меня

учитель, словно спеша поскорее выдать замуж одну из своих учениц.

— Правда, их семья побогаче будет, но особо задаваться не станут, — уговаривала меня родственница. — Только очень торопят. Хотят, чтобы в род Сайто побыстрей влилась свежая кровь. Им нужна толковая сноха. Ты, Хидэко-сан, уж не подведи, поезжай поскорей к ним в деревню на смотрины.

— Я ж училась хуже брата. Отметки средние или ниже среднего, выше не было, — честно признавалась я.

Но родственница поняла мои слова как проявление скромности — еще бы, ведь учитель дал мне отличные рекомендации!

Вернувшись домой и понемногу приходя в себя, я стала все больше и больше беспокоиться об одноклассницах, оставшихся на заводе. Да, я поступила отвратительно — бросила свой токарный станок, бежала с предприятия. Теперь только замужество может избавить меня от угрызений совести. Только в этом случае я забуду о своем побеге и смогу считать себя честным человеком.

Было решено, что мы втроем: папина родственница, мама и я — поедем в деревню к жениху. Родственница убедила нас, что так будет лучше — не они к нам, а мы к ним, посмотрим, как они живут...

— С продовольствием будет все хуже и хуже. Если ты, Хидэко-сан, войдешь в семью Сайто, то покажешь, какая ты хорошая дочка. Уж своих-то родителей ты всегда накормишь. У них столько земли — таких богачей во всей округе не сыщешь! И потом, там налеты не страшны. Убежишь в горы, затаишься, а тем временем вражеские самолеты улетят. Считай, что в эвакуацию едешь! — твердила по дороге родственница.

Но что значит «затаиться в горах»? Это же еще одно бегство! Выходит, мои слезы были притворными, когда я шептала: «Не хочу, чтобы вы погибли!» Мои парни отважно воюют, вызывая огонь на себя. А я, значит, спрячусь в горной глуши, пока вражеские самолеты не отбомбятся. К чему же тогда все мои клятвы?!

Но и перед старшим братом у меня есть одно обязательство. В ночь перед тем, как уйти на фронт, он подозвал меня к себе.

— Живым я, скорей всего, не вернусь. Вся надежда на тебя, Хидэко! Родители так много сделали для меня, жили одной мыслью — вывести меня в люди. Не станет меня, и их

жизнь потеряет всякий смысл. Пусть живут ради тебя, береги их!

А я-то — не послушалась родителей, не вняла их мольбам и уехала на работы... Настало время выполнить обещание, данное брату.

Передо мной одно за другим всплывают лица моих подруг. Голодные, они недвижно сидят в своих комнатах, обхватив колени. А ведь совсем недавно они были живыми, веселыми. Единственное, чем заняты их мысли, — это встать пораньше и захватить черпак для разливки супа. Когда я думаю о девочках, я испытываю чувство вины за то, что, живя у родителей, я хоть с грехом пополам, но могу утолить свой голод.

Короче говоря, больше у родителей жить невозможно. Что-то и я должна взять на себя, иначе как я буду смотреть людям в глаза. Только покончив со своей беззаботной жизнью, я избавлюсь от чувства вины.

Сойдя с автобуса, мы шли минут тридцать, пока не добрались до зеленого поля, засаженного рисом, откуда прямая тропинка привела нас к небольшому поселку. Короткий подъем по пологому склону, и перед нами предстало жилище семьи Сайто.

Просторный дом окружен белой глинобитной оградой на каменном фундаменте; крыша сверкает красной черепицей. Миновали ворота усадьбы, а дом еще не близко: идти по вишневой аллее, ведущей в гору. И, лишь преодолев солидное расстояние, добираемся до цели. Остановившись посреди косогора, мама задирает голову, чтобы как следует разглядеть дом Сайто.

— Батюшки, дом-то какой громадный! Неужто и вправду наша Хидэко будет жить в таких хоромах? А что, если передумают? — с тревогой бормочет мама.

— Ну перестаньте! Они ж сами захотели. Вам нечего опасаться, положитесь на меня! — успокаивает ее папина родственница.

К чему эти смотрины? Каким бы он ни был, я должна выйти за него замуж. И ему вовсе не обязательно жить в доме, на который можно смотреть, только задрав голову. Им может быть кто угодно, вот в каком положении я оказалась. Только так я заплачу один из своих многочисленных долгов. И хоть не по всем счетам будет уплачено, но на душе, возможно, станет легче.

За белой оградой растут высокие, красиво подстриженные деревья. Некоторые из них буквально утопают в белых

соцветиях. Пытаюсь припомнить, как называются деревья, но напрасно. Рядом мельница. Из громадного помещения, в котором спокойно разместятся несколько обычных амбаров, доносится шум мотора.

Внутри дома столбы, балки, половицы — все из гладко струганного, некрашеного дерева с отчетливо проступающим натуральным узором. Коридор устлан соломенными татами. В доме настолько просторно, что, пожалуй, сначала услышишь шаги и только потом появится человек.

Нас провели в большую комнату, настоящую залу, и усадили спиной к токонома[1], в «красный угол». Потом к нам присоединился старик с грозно торчащими кверху усами, а за ним проследовал молодой человек. Взглянув на старика, я опустила глаза, чтобы не смотреть на жениха. «Так должна вести себя порядочная девушка», — учила меня мама.

— По-настоящему нам следовало самим приехать... Но, видите ли, супруга моя приболела... Не знаю, как отблагодарить вас за приезд, — церемонно приветствовал нас отец жениха.

Потом нас с женихом сажают друг против друга. Так же лицом к лицу садятся мама с его отцом. Папина родственница занимает место посредине.

Хозяин дома хлопает в ладоши, и по его сигналу нас начинают потчевать все новыми и новыми блюдами. Даже до того, как стало плохо со снабжением, я никогда не видывала подобного угощения. Те же чувства испытывала и мама, смотревшая на стол широко раскрытыми глазами. Как попала сюда, в горную глушь, живая рыба? Давненько я не пробовала нарезанной тонкими ломтиками сырой рыбы. Подали даже пирог из фасолевой пастилы, сладкий-пресладкий — сахара явно не пожалели. А края при этом нисколько не засахаренные, поблескивающие свежей начинкой...

Мой жених, видно, совсем не хочет есть: едва перебирает палочками для еды, как будто обедает так каждый день.

— Сынок у меня единственный, наследник, — сообщает нам хозяин. — Предки не простят мне, если на нем оборвется славный род Сайто. Уж лучше был бы без руки или ноги, тогда б хоть живым остался, но вот ведь беда — признан годным к воинской службе по первому разряду.

А парень, оказывается, в этом году окончил про-

[1]Токонома — стенная ниша с приподнятым полом и полочками.

фессиональное училище. Шея короткая, а сам краснолицый. Чуть что, лицо покрывается капельками пота. Если сказать что-то хочет, то, запинаясь, долго подыскивает слова. Время от времени поднимает глаза и бросает на меня быстрый взгляд.

Я видела многих из тех, кто мобилизован на оборонные заводы, — у каждого была какая-то профессия, всех их сорвали с насиженных мест. Были и торговцы, и владельцы ресторанов. Были и такие пожилые, что я просто удивлялась, как их забрали. Появлялись изредка и молодые люди, но они вскоре отправлялись на фронт. Но никто из них не представлялся мне настоящим мужчиной. Ни разу я не встречала человека, который был бы похож хоть чуточку на тех парней из отрядов камикадзе.

Такое же разочарование я испытала и в отношении моего жениха. Кого же он мне напоминает? На дикого зверя он не похож. Но и не птица какая-то... Пожалуй, глаза у него как у кита...

У кита глаза спокойные, а характер явно не бойцовский. Ему не угрожает опасность быть съеденным, поэтому нет нужды настороженно следить за тем, что происходит вокруг. Беззаботно бороздит он океанские просторы, а проголодается — раскроет огромную пасть и заглотнет в себя побольше морской воды. Вместе с тем, что имело неосторожность плавать в ней. Зверь, чтобы наесться, подстерегает свою жертву и, выждав удобный момент, должен с быстротой молнии схватить ее. Кит же в подобной акробатике не нуждается. Стоит ему пожелать, как добыча сама оказывается в желудке...

Но даже на него не похож мой жених! Ему не нужно шевелиться — пища появляется на столе сама. По всей видимости, ему и не приходится охотиться, подстерегать добычу. Да, на зверя он не похож. Самец приносит добычу своей самке, телом защищает ее и детенышей. А что может самец, который никогда не подстерегал добычу? Сможет ли он защитить ее от внешнего врага в нужный момент? Этот парень явно не самец, все инстинкты в нем чрезвычайно ослаблены — вот почему я не ощущаю в нем мужчину...

«Смотри на него, но чтоб было незаметно!» — предупреждала меня мама. Следуя ее совету, я лишь искоса поглядывала на жениха. А он в свою очередь, пододвигая мне одно блюдо за другим, старался не глядеть в мою сторону.

«Парень он вроде неплохой, — стараюсь переубедить я себя. — Тихий и глупые шуточки не станет отпускать, как те

мобилизованные». До прихода сюда я всячески ободряла себя. Но вот теперь идея замужества совсем перестает мне нравиться, она попросту не вяжется с человеком, сидящим передо мной.

Глядя на меня, отец жениха серьезно изрекает:

— Я смотрел, как барышня поднимается от ворот по склону, и подумал, какая у нее уверенная походка. Говорят, что с такой фигуркой и роды легкие. Я тут замучился с больной женой... Очень мне по нраву ваша дочка, сразу видно — крепкая. Вот такая невестка нам и нужна: здоровая, сообразительная. Пусть только поскорее родит нам славного наследника.

Жених весь покраснел и от стыда опустил голову. На лбу у него белые гнойные прыщики. «Давно мог бы выдавить», — почему-то пришло мне в голову.

И мама, и родственница в отличном настроении очищают одно блюдо за другим. А у меня, мечтавшей набить желудок до отказа, такое ощущение, что с ним что-то произошло. Какая-то непонятная тяжесть, и никакого удовлетворения от еды...

На прощание нам вручают мешочек очищенного риса, и мы отправляемся домой по дороге среди зеленеющих полей, обдуваемые ветром.

Договорились, что отец тоже побывает у Сайто, чтобы познакомиться с женихом. Родственница и мама прожужжали ему уши, рассказывая о богатстве семьи, о роскошном угощении. Однако на вопрос, каким мы нашли моего суженого, даже я не могла толково ответить.

Отцу почти каждый день приходится разносить по домам извещения о гибели солдат. Вообще-то под его началом есть посыльный, который мог бы разносить похоронные извещения, но отец считает, что это может делать только он сам. Первым в городе он узнает имена погибших. Иногда это бывает сын друга, иногда просто знакомый молодой парень. Говорят, что, когда отец со скорбным видом появляется на пороге дома, держа похоронку в руках, все, побледнев, застывают на месте.

— Знаешь, каждый раз, проглядывая имена погибших, я прежде всего убеждаюсь, что там не значится твой брат, и только тогда успокаиваюсь, — поникнув головой, признается отец. — Дрожишь все время — сейчас пронесло, а как будет в следующий раз?! С ума сойти от такой работы! Только жизнь укорачивает.

Вернувшись от Сайто, отец, так же как мама, принимается расхваливать их жизнь.

— После тяжелой работы как-то легче на душе становится в деревне — так там спокойно. Поля тихие-тихие, все как в сказке. И ведь не так уж далеко от нас. Просто удивительно, что в Японии еще сохранились подобные места.

Странно все-таки — поехал знакомиться с моим будущим мужем, а сам только и говорит о том, как хорошо в деревне и какими диковинными блюдами его угощали.

Работа у отца такая, что на признательность рассчитывать не приходится. Встречают его как посланца из преисподней. С появлением отца дом оглашается рыданиями. Никому нет дела до того, с каким горестным чувством разносит отец проклятые извещения. Тот, кто их получает, даже и не взглянет больше в его сторону.

Понятно, почему отец даже не пытается скрыть радость от посещения семьи Сайто.

— Я думаю, что, когда Хидэко выйдет замуж, она ни в чем не будет знать нужды. Недаром мы ее растили, коль она будет жить в таком раю. А их сынок называл меня папенькой. Угощали всевозможными блюдами из карпа — сырой, ломтиками, сваренный в мисо... Все там есть! Раньше я думал, что вся Япония воюет, но, оказывается, есть места, где войны нет.

И все же о молодом человеке отец тоже особенно не распространялся.

Тем временем папина родственница стала спрашивать, не пора ли завершать сватовство. Спросили об этом и у меня. Я ответила утвердительно:

— Я согласна. Я уже давно решила, что выйду замуж. Если папе и маме там так понравилось, то давайте жить там втроем. Рис будем есть белоснежный. Сахар каждый день и все такое прочее... — Мои представления о замужестве дальше этого не шли.

Отца же одолевали мрачные предчувствия:

— Для тебя, Хидэко, замужество единственный способ выжить в этой войне. Ты должна остаться в живых! Что станется с твоим братом — никто не знает. Все может случиться — сегодня, завтра...

Скорей всего, отец опасался, что если я не выйду замуж и останусь дома, то меня снова отправят на работы. Причем на этот раз неизвестно куда, ведь я выбыла из списков мобилизованных школьников. Спасти хотя бы меня, по-

селить в безопасном месте — вот что больше всего заботило отца. Конечно, если я устроюсь куда-нибудь на работу, то меня никуда не отправят, но это будет означать, что я обманула подруг. Так что замуж выходить мне нужно обязательно!

— Решать должна ты сама. Против твоей воли мы не пойдем. Но коль согласна, то надо так и сказать... — торопил меня отец.

Я решительно кивнула. Правда, беспокойство снова охватило меня, когда я вспомнила о китовых глазках парня — неужели мне жить с ним? Но хватит дурить, будь что будет! — решила я. Слишком далеко зашла и не могу обмануть ожидания родителей. Надо как-нибудь избавляться от своих предубеждений.

Ведь в доме с вишневой аллеей полно продовольствия — большая редкость по нынешним временам. А сахара столько, что можно готовить даже пироги!

На своем опыте я убедилась, как трудно совладать с пустым желудком. Реальность в два счета превратила в прах идеалы «вечного служения отечеству», мою веру в «девушек-добровольцев». Словом, я готова продать даже душу.

А что, разве я одна такая? А моя обожаемая учительница — исключение? Ей ведь тоже захотелось есть. И она пустилась во все тяжкие, лишь бы избежать голода. А еще внушала нам, что любовь — это «способность отказаться от себя ради блага других».

Но у всего, оказывается, есть свои пределы. Может быть, и отказываться можно, пока не испытаешь голода. Даже учительница, проповедовавшая истинную любовь, поняла, что голодный желудок — это непозволительно.

Скоро, пожалуй, вся Япония уподобится нашему общежитию с его скудным пайком. Отправится мама за покупками, а покупать нечего. Могу представить, до чего я дойду в таком случае. Наверно, буду отнимать еду у родителей. Даже не вспомню о том, что завещал мне старший брат!

Если я войду в дом Сайто, то, что бы ни случилось, у меня всегда будет что поесть. Лишь бы не голодать — тогда я смогу сохранить остатки человеческого обличья.

Размышляя таким образом, я в какой-то мере пыталась ослабить неприятное впечатление от китовых глазок.

...Мама шьет мне свадебное кимоно. Достала где-то на черном рынке промтоварный талон и за огромные деньги купила у мануфактурщика припрятанный отрез. Неизвестно каким образом она приобрела и дорогой шелк с набивным

узором для подкладки кимоно. Теперь ночи напролет проводит, склонившись над шитьем, при скудном — в городе затемнение — свете лампы.

— Родила девочку, готовься к свадьбе. Вот и я так делала... — отвечает мама на вопрос, откуда взялись деньги, и продолжает свою кропотливую работу.

Привела невесть откуда пожилого столяра, чтобы освежить почерневший от времени комод. Надергала старой ваты для спальных принадлежностей. Мне оставалось только восхищаться ее изобретательностью.

Еще не было готово кимоно, как к нам заявился посыльный от семьи Сайто. Оказывается, жених получил повестку о призыве и через четыре дня уходит в армию. Так что Сайто настаивают на моем срочном приезде, чтобы успеть со свадебной церемонией хотя бы в узком семейном кругу.

— Брать с собой ничего не надо, нужна только сама барышня, — то и дело повторяет посыльный. К сожалению, моего отца нет в городе — уехал в командировку по делам местной управы, вернется только завтра. Посыльный от Сайто торопит меня:

— Поезжайте скорей, никаких вещей брать не нужно!

Мама вторит ему:

— Торопись! У вас остается всего лишь три дня. Придется обойтись без настоящей свадьбы. Ну что ты там мешкаешь, Хидэко!

А что собирать-то? Наверно, то же самое, что и в общежитие — зубную щетку, туалетную бумагу, рабочую одежду.

Несмотря на уговоры, посыльный не проходит в комнаты, а сидит на пороге у входной двери и время от времени нетерпеливо постукивает своими гэта[1].

Может быть, поехать в школьной форме? Когда мы отправлялись на работы, мы вышли из школьных ворот строем, причем на нас была не рабочая одежда, а форма, в которой мы ходили в школу. Следовательно, форма — это и есть мое выходное платье.

Нет, это просто смешно — на свадьбу в форменной одежде! Что же мне надеть? Кимоно, над которым вот уже несколько дней сидит мама, еще не готово. Если у меня что-нибудь и есть для выхода, так это только белая хлопчатобумажная блузка и синяя юбка. Ну еще, пожалуй, шаровары с

[1]Гэта — деревянная обувь.

набивным узором. После некоторого раздумья остановилась на блузке и юбке.

Едва не задохнувшись от волнения, я поднимаюсь все по той же вишневой аллее. Как и в прошлый раз, хочу войти через парадный ход, где меня уже поджидает хозяин дома. Но он преграждает мне путь:

— В нашем доме невестке не положено пользоваться парадным ходом. Среди домашних ты последняя. Пойми все правильно с первого раза и воспользуйся черным ходом. Запомни, ты должна быть скромной и послушной, — с этими словами отец жениха ведет нас вокруг дома. Нам с мамой ничего не остается, как послушно следовать за стариком. Видно, и мама толком не сообразит, отчего нас не пустили с парадного хода. По ее рассказам, когда они с отцом поженились, то имели лишь по плетеной корзине с вещами. Естественно, что подобные нравы вызывают у нее недоумение. Но еще более непонятна эта сцена мне...

Свадебная церемония свелась к тому, что напротив жениха и его отца сидели только мы с мамой. С матерью жениха случился удар, когда она узнала о повестке, и теперь она не поднимается с постели. Раньше она хоть иногда вставала, а теперь совсем слегла, даже не ест...

В домашней молельне, рядом с большой комнатой, приготовлено нечто похожее на тосо[1], что пьют на Новый год. Перед алтарем мы усаживаемся друг против друга. Жениху наливают вина в покрытую красным лаком чашу, и он осушает ее. Потом его отец ставит передо мною ту же самую чашу, не удосужившись помыть, и снова наполняет ее. Подумать только — мне пить сакэ из посуды, которой только что пользовался этот крестьянский парень! Усы хозяина торчат кверху, словно приказывая мне: «Пей!» Я безвольно принимаю чашу в руки и пью из нее.

— Пить надо три раза, — говорит мне отец жениха.

Несколько раз перед алтарем мы обмениваемся свадебными чашами, после чего нас уводят в дальнюю комнату. Там уже расстелена постель с двумя подушками. Нас усаживают друг против друга в изголовье постели, и мы снова обмениваемся чашами с напитком.

Бросив быстрый взгляд в мою сторону, мама шепчет мне:

[1]Тосо — новогоднее сакэ.

— Невеста должна во всем повиноваться жениху. Доверься ему, и не надо бояться.

«Это кто же невеста, я, что ли? А жених — этот парень?» — рассеянно соображаю я.

В опустевшей комнате ярко выделяется лишь узор на одеяле. Верхняя кромка его обшита темно-синим бархатом. Подушки сделаны из того же материала.

— Понимаешь, я... — почесывает голову парень. Я вижу, как с его наголо остриженной головы опадает перхоть. Он робко придвигается ко мне. — Понимаешь, я... — и снова почесывает голову. На синий бархат опять сыплется перхоть. Подняв до этого низко опущенную голову, парень смотрит на меня. Китовыми глазками. Совсем иными, чем у настоящих мужчин, овладевших моим воображением. У них-то глаз не промах.

Изготовился сбить неприятельский самолет. Точно выбрал прицел и настороженно следит за каждым его маневром. Тут уж нет ни врагов, ни друзей. Как самец, готовящийся к прыжку из засады. Его тело исполнено энергией, он с трудом сдерживает себя, стремясь выбрать для прыжка подходящий момент.

— Я... Это у меня впервые...

Как все-таки белая перхоть противно выделяется на синем бархате...

Неужели пальцами, которыми только что чесал голову, он будет трогать меня? Округлыми и в то же время плоскими ногтями? Как мне противны эти пальцы. Мои парни не тянут руки к моему телу. Лишь издали они пристально наблюдают за мной. Только перед ними я расстегну свою белую блузку.

Жених приближается ко мне, протягивает руки, чтобы обнять. Невольно я отшатываюсь от него. Он снова придвигается. Мне отвратительна его обсыпанная перхотью голова!

Внезапно издали доносится вой сирены — воздушная тревога.

— Вообще-то не опасно и все же давай выйдем во двор, посмотрим, что там, — обрадованно говорит жених и поднимается с постели.

Я выхожу вслед за ним. Там уже стоит хозяин.

— Хидэко-сан, твоя матушка недавно уехала. Что-то в эту ночь много их прилетело. Гул-то какой стоит! Но здесь можешь не тревожиться. Только пролетают над нами, — говорит он и, как бы спохватившись, продолжает: — А вы-то,

нашли из-за чего мешкать! А ну, быстрей в постель, кончайте свое дело!

Делая вид, что ничего не слышал, жених подходит поближе к отцу и вместе с ним всматривается в черное небо, оглашаемое гулом самолетов.

— Что творится — никогда еще столько не прилетало. Целый город могут разбомбить. Все сгорит...

В голосе хозяина дома не чувствуется особого беспокойства.

— Интересно, куда сегодня вдарят? — спрашивает у своего отца парень.

Тот называет заводской район, где я работала.

— Это уж точно... По звуку туда направились... Слышите, гул затихает... А вы что? У вас только три ночи, сегодня тоже считается. Давайте по-быстрому в свою комнату, — торопит нас свекор.

Мною овладевает страстное желание — бежать в направлении заводского района. Да, да, именно такое желание.

Но я стою, пригвожденная к своему месту, и всматриваюсь в черное небо, туда, где затихает гул пронесшихся над нами бомбардировщиков...

АЯКО СОНО

ФУДЗИ

— Папочка сегодня вернется? — спросил трехлетний Масаёси, ходивший в младшую группу детского сада.

— Да, на поезде приедет после обеда, — ответила Тамико сыну. — Ты расскажи папе про свой садик.

Она почувствовала, что произносит эти слова почти механически. Ее муж Масами работал в одной из самых известных в Японии сталелитейных компаний. Он был старшим сыном в семье: мать одна воспитывала троих детей. Не имея возможности поступить в университет, Масами после колледжа пошел работать. Выдержав отборочные испытания, попал на завод Комацу в префектуре Исикава. Тамико тогда служила в банке неподалеку от этой компании. Минуло почти шесть лет со дня их свадьбы. Масами с юных лет привык быть главным в семье, но Тамико он порой казался чересчур скупым. Она тратила почти всю свою зарплату на горнолыжные развлечения, а Масами, посылая деньги матери, жившей в провинции, скопил необходимую сумму, чтобы отпраздновать свадьбу в принадлежавшем компании доме отдыха. Тамико мечтала поехать в свадебное путешествие, хотя бы до Кагосимы, но оно ограничилось недельным пребыванием на полуострове Ито. Тем не менее Тамико и ее мать высоко ценили самостоятельность Масами.

Молодожены поселились в доме, тоже принадлежавшем компании, заняв две комнаты — шесть и четыре с половиной татами. На короб из-под чая, покрытый винилом, поставили телевизор; подушки для сидения, связанные из старой шерсти, класть было некуда, поэтому их пристроили

в виде украшения поверх ящика для обуви в прихожей. Тамико радовалась каждому пустяку, вносившему уют в их бедное жилище. Доказательством семейного счастья, как говорили знакомые, являлась дородность Тамико. Огорчало только то, что ей трудно стало подбирать европейскую одежду.

Масами оказался не просто старательным работником, но и целеустремленным по натуре человеком. Тамико поняла это вскоре после свадьбы. Масами испытывал буквально шок, когда кто-то из его окружения проявлял большую, чем он, осведомленность в каком-либо вопросе. Тамико не могла судить об уровне его образованности, но замечала, как смущался муж, если не знал какой-то ерунды вроде сплетен из мира искусств.

— Представляешь, как начнет с серьезным видом рассказывать про какую-нибудь актрису, да так подробно — кто, откуда, за кем замужем. Я знаю эти новости из журналов, которые читаю в парикмахерской, а он меня все за дурочку держит, — жаловалась Тамико матери, приходя в родительский дом.

— Разве плохо стремиться к знаниям? Сейчас ведь у многих на лице одно дурацкое самодовольство. Если человек утратил страсть к учебе, считай, ему конец.

Тамико слушала мать, вобрав голову в плечи. Учение было ей всегда в тягость. Некоторые ее одноклассницы рыдали на последнем уроке, а с лица Тамико не сходила радостная улыбка. Она думала только о том, что впереди беззаботная жизнь без занятий и экзаменов.

Некоторые знакомые Тамико, стыдясь, что их мужья имеют лишь школьное образование, лгали детям, будто «папа закончил университет», а она никогда не делала ничего подобного. Ей казалось нечестным приписывать мужу то, чего не было в его прошлом.

Когда родился Масаёси, Тамико почувствовала, что ей пора позаботиться о здоровье. За годы замужества она поправилась на десять килограммов. У пышнотелой Тамико было столько молока, что его хватило бы еще на одного младенца, когда она отняла сына от груди. Укладывая Масаёси днем, она и сама частенько прикладывалась поспать. Мать Тамико даже беспокоилась, как бы дочь ненароком не придавила ребенка грудью. Малыш, однако, был смышленым и, засыпая, сам выплевывал сосок.

Однажды Масами вернулся с работы домой с решительным выражением на лице.

— Я подал заявку на поступление в университет, — сказал он.

Тамико не сразу взяла в толк, о чем говорит муж. Его компания, штат которой насчитывал несколько десятков тысяч человек, открыла для своих работников специальный факультет университета.

— Желающих отбирают по итогам работы в компании и результатам письменных экзаменов. Учиться посылают на четыре года, — добавил он.

Тамико чувствовала, как голос мужа звенит от напряжения.

— Вообще-то следовало посоветоваться с тобой, но, с другой стороны, такие проблемы мужчина должен решать сам.

— Значит, ты уедешь в Фудзи? — Тамико слышала, что специальный факультет находится в этом городе у подножия Фудзиямы.

— Буду навещать вас раз в месяц. Придется четыре года пожить врозь. Зарплату и квартиру сохранят, а я уж как-нибудь устроюсь.

— Будь по-твоему, — ровным голосом ответила Тамико.

У нее мелькнула мысль, что волноваться рано, скорее всего, он провалится на экзаменах. Желающих попасть в университет было много на всех предприятиях компании, разбросанных по всей Японии. Совсем не просто добиться привилегии учиться на специальном факультете.

Масами действительно обладал волевым характером. Он выдержал конкурс, где на одно место претендовало несколько десятков человек, и был зачислен в университет.

Повода для особого беспокойства не было. На факультете учились только мужчины, жили они в общежитии. Женщин там было несколько человек, да и то из служащих. Общежитие гостиничного типа располагалось в уединенном местечке в горах. Общежитие запирали в десять вечера, поэтому студентам не хватало времени даже на то, чтобы съездить в город и пропустить рюмочку в баре. Даром зарплату четыре года платить не станут. Учебу мог выдержать только упорный человек, готовый к монастырскому затворничеству.

— Я тебя будто замуж отдаю, — сказала Тамико два года назад, провожая Масами в Фудзи.

Он не хотел ничего брать с собой, но она купила ему новую пижаму и нижнее белье, потом отправила постельные

принадлежности, другие необходимые вещи, не забыв кастрюльку для варки супа из концентратов на ужин.

От мужа приходили восторженные письма. «Университет превосходный! К нам приезжают известные профессора, занятия по технологическим дисциплинам проводят ведущие специалисты нашей компании. Общих лекций немного, в группах не более десяти человек. Никаких сомнений, это лучший университет в Японии!»

«Я впитываю новые знания, как песок влагу. Не могу даже представить, как я прожил столько лет без учения!»

Да, мужчина — существо сильное, думала Тамико, считавшая, что можно обойтись и без образования. Зачем книги, если есть еженедельные журналы. В воспитании ребенка литература тоже ни к чему, всегда можно с людьми посоветоваться. Нет, Тамико совсем не ощущала ограниченности своего кругозора.

Аккуратно, раз в месяц, муж приезжал домой. Масаёси, забыв отца, сначала дичился, не шел к нему на руки, но постепенно освоился.

Вскоре Тамико тоже с удивлением почувствовала, что воспринимает мужа как постороннего человека. Трудно объяснить, что изменилось в их отношениях. Изголодавшийся за месяц Масами жадно набрасывался на жену. Две ночи пролетали в страстном упоении, внося новизну в их супружество. Тем для разговора, однако, не находилось. Тамико оживленно пересказывала мужу все, что случилось за месяц. У жены такого-то обнаружили камень в печени, собака того-то попала под машину, на том-то поле батат удался лучше, чем в прошлом году. Тамико говорила без умолку. И прежде Масами не отличался умением выслушивать жену, а теперь на лице его было явное раздражение.

— Прошу тебя, хватит этой чепухи!

— Что же я должна говорить? Я не могу рассуждать о высоких материях. В отличие от тебя в университетах не училась! — обиженно ответила Тамико.

Муж промолчал, и она почувствовала себя глубоко задетой. Семью в одиночку тащу на себе. Жизнь моя, может, и ничтожная, но ничего не поделаешь, думала Тамико.

Масами теперь еще ворчал на неудобство их жилья. В общежитии он успел привыкнуть к комфорту.

— Ночью пошел в туалет, холод жуткий! В кухне и ванной хоть котелок с горячей водой держи, чтобы чувствовать себя человеком, когда бреешься утром.

— Нашел проблему! Можно над керосиновой печкой повесить чайник. Такая вода тебя устроит?

Сегодня день очередного приезда мужа. Подросший Масаёси с нетерпением ожидал отца, а Тамико тяготили эти визиты. Она стала относиться к наездам мужа как к вынужденной обязанности. Масами, видимо, тоже руководило только чувство долга.

Масами любил соления, приготовленные женой, хотя вслух никогда не хвалил. Он в один присест съедал по чашке маринованной капусты, редьки, репы.

— Да, учение — занятие странное, — бормотала Тамико, направляясь в маленькую кладовку, чтобы принести мужу еще немного овощей.

Капуста и редька сохранили в маринаде естественный цвет.

— Чего ему в этом Фудзи? — еще тише прошептала она, чувствуя комок, подкативший к горлу.

Слеза упала в кадушку.

БЕССОННИЦА

— Вы, верно, останавливаетесь в роскошных номерах, когда ездите на горячие источники? — робко спросила Мивако Нодзи.

— Да что вы! — отозвалась Нобуко, чувствуя в словах приятельницы недвусмысленный подтекст.

Ее муж Юдзиро Сираиси возглавлял токийский филиал известной американской компании по производству лекарственных препаратов. Прежде все ответственные посты занимали американцы. Юдзиро Сираиси, прошедший стажировку в США и прекрасно говоривший по-английски, стал первым японским директором. Было это назначение знамением времени или же по финансовым соображениям оказалось проще назначить на эту должность японского специалиста — в любом случае тридцатидевятилетний директор приобрел известность: им заинтересовалось несколько еженедельников.

Муж Мивако, Котаро Нодзи, учился вместе с Юдзиро в колледже. Юдзиро еще на школьной скамье решил изучать право или экономику, а Котаро интересовали исключитель-

но гуманитарные предметы. Юноши были полной противоположностью друг другу. Спортивный, везде приметный Юдзиро и неизменно державшийся в тени Котаро. Накануне поступления в университет у Котаро обнаружилось заболевание почек, и почти два года он провел между больницей и домом. Подлечившись, он поступил в третьеразрядный частный университет, хотя в колледже учился довольно прилично. Юдзиро вернулся после двухлетней стажировки, куда его направила торговая фирма, а Котаро, только что получив диплом, определился в промышленную газету. Он давно интересовался журналистикой, поэтому решил последовать своему призванию. Однако Котаро, несомненно, чувствовал бы себя куда лучше в ином месте, нежели в газете, специализировавшейся в сталелитейной отрасли.

Нобуко познакомилась с Котаро, когда тот жил еще холостяком, вскоре после того, как сватовство с Юдзиро завершилось браком. Котаро сказал тогда, что рад бы жениться, да семью ему не прокормить. Ростом он был ниже Юдзиро, и вообще язык не повернулся бы назвать его красавцем. У Котаро был приятный глубокий голос, живой ум и располагающая к себе манера разговаривать с людьми. Казалось, Юдзиро доставляло удовольствие общение с человеком совсем из иного мира, и он охотно принимал у себя Котаро. В его отношении к школьному приятелю, быть может, сквозила некоторая жалость. Юдзиро не принадлежал к породе людей, склонных демонстрировать свои чувства.

— Ну, ты, вольный журналист, принеси хотя бы бутылку! — так Юдзиро приглашал Котаро в гости.

Нобуко, провожая гостя, непременно вручала ему рыбу, маринованную в мисо, вареный батат или другую домашнюю снедь. В ее душе незаметно поселилась привязанность к приятелю мужа.

Работа для Юдзиро была превыше всего. Он приводил домой всех партнеров, приезжавших в Токио из Америки, и Нобуко устраивала приемы. Муж втолковывал ей все до мельчайших деталей — цветы, свечи, порядок расположения гостей за столом, европейская сервировка. Нобуко и сама советовалась с ним. Он разрешал ей заказывать часть блюд из ресторана, но не позволял угощать гостей только покупной едой. В награду за хлопоты муж водил Нобуко по ресторанам и дважды брал в Америку и Европу. Путешествия эти можно назвать исключительно «учебными». Дегустация вин, аранжировка цветов, ассортимент крепких напитков, хронометрирование кулинарных процессов —

такие задачи ставил Юдзиро перед женой за границей. Нобуко подхватила грипп, и у нее разболелся желудок, ей захотелось японской еды, но муж не позволил.

— Поездка короткая, количество обедов ограничено, нечего тратить время на посещение японских ресторанов. Еда там невкусная, но дорогая.

Некоторым жизнь Нобуко казалась праздником. Большинство японских мужчин приглашают своих гостей в ресторан или в бар, а «господин Сираиси принимает всех у себя дома, и всегда жена рядом». Приятельницы завидовали тому, что у Нобуко была возможность появляться в длинном вечернем платье с меховым палантином на плечах.

Она равнодушно выслушивала подобные замечания, а в душе думала, что такая жизнь хотя бы заполняет пустоту бездетности. За час до прихода гостей Нобуко с растрепанными волосами еще хлопотала по дому, потом принимала ванну, тщательно оттирая в надушенной воде руки от въевшихся в них кухонных запахов. К тому же на лице следовало изобразить неописуемую радость по случаю визита гостей.

Лососину на закуску, соусы для салатов она приготовила накануне. Овощи, чисто вымытые вчера, лежали в виниловом пакете. Сегодня должна была прийти сотрудница фирмы Юдзиро, чтобы помочь Нобуко разложить еду по тарелкам. Для обслуживания гостей пригласили официанта в черном костюме из соседнего ресторана, куда часто захаживал Юдзиро.

Самым комичным в дни приемов было то, что Нобуко и ее мужу приходилось оставаться дома в уличной обуви. Простодушная Нобуко держала наготове тапочки для гостей, но иностранцы направлялись сразу в гостиную, а она не смела указать им на грязные туфли. Супруги делали вид, что они тоже не придерживаются японского обычая. Следующий день целиком уходил на уборку дома, затоптанного «ногами с улицы».

Нобуко радовалась приходам Котаро Нодзи. Он пил неразбавленный виски, лед не просил, от закуски тоже отказывался. В отличие от ее мужа он судил обо всем глубже и раскованнее. Иногда Котаро заглядывал в отсутствие Юдзиро.

— Пожалуйста, проходите! — говорила она, от радости не чуя под собой ног.

Нобуко страдала бессонницей. Она теряла покой дней за десять до очередного прихода иностранцев. Она завела специальную тетрадь для записи приемов и вносила в нее

дату, фамилии посетителей, меню, порядок расположения гостей, оттенки букетов, свечей, скатертей, салфеток. План был детально разработан на бумаге, но среди ночи она просыпалась от ужаса, не понимая, сон это или явь. Ей чудилось, будто до приема всего полчаса, а она забыла приготовить мясное блюдо или не купила свечи. Нобуко облегченно вздыхала, уразумев, что это всего лишь ночное наваждение, и терпеливо ждала наступления дремоты. От внезапных пробуждений у нее колотилось сердце. До приема еще целых три дня, все в порядке, есть время приготовиться как следует, думала Нобуко, но сон не шел к ней.

Она вскользь упомянула о бессоннице в разговоре с Котаро.

— Я и сам толком не сплю по ночам, — ответил он.

— Юдзиро даже по выходным встает в пять утра, чтобы сыграть в гольф. А я только к трем кое-как засыпаю. Звонит будильник, и надо вставать. Состояние ужасное, — с улыбкой сказала она.

— Я вообще-то боюсь звона будильника. Мне кажется, он как иголкой пронзает каждую нервную клетку, — отозвался Котаро.

Нобуко напрасно умоляла мужа не заводить будильник по выходным.

Они говорили с Котаро на самые разные темы, не ограничиваясь обсуждением только каких-то значительных событий. По поведению, по словам Котаро Нобуко одно время чувствовала, что он неравнодушен к ней. Никаких доказательств его любви, однако, не последовало. Предложи она Котаро сбежать куда глаза глядят, предполагала Нобуко, он, скорее всего, отверг бы ее, сказав, что сам нуждается в помощи. К тому же Нобуко была воспитана в старомодном духе. Она понимала, что для разрыва с мужем нужна сильная воля. Знакомые супругов Сираиси видели, что Нобуко находится под пятой супруга, но никто не мог заподозрить ее в мечтах бросить меха, приемы и тихо припасть к груди Котаро.

После полугода неопределенности Котаро Нодзи женился. Он, видимо как и Нобуко, опасался развития их отношений, поэтому решил закабалиться по собственной воле, не доводя дело до разрушения чужой семьи. Его жена, Мивако, оказалась заурядным существом, и Нобуко недоумевала, что нашел в ней Котаро. Круг ее чтения ограничивался еженедельными журналами, темы разговоров были банальными.

В семье Нодзи вскоре родился младенец, событие это ошеломило Нобуко. Юдзиро не хотел детей, говоря, что ребенок свяжет их по рукам и ногам, не даст жить в собственное удовольствие. Нобуко понимала, что мужу нет дела до ее желания стать матерью. Котаро Нодзи построил себе отдельный домик по соседству с домом тестя, директора начальной школы. Ребенок их рос, окруженный заботами родителей и дедушки с бабушкой.

— Муж говорит, что их фирма построила пансионат в Атами. Всего лишь четыре комнаты, но там почти никто не бывает, поэтому тишина и покой. Вы не поедете с нами отдохнуть на денек? Я, конечно, знаю, что вы останавливаетесь в роскошных номерах, когда ездите на горячие источники. Неприлично, верно, приглашать вас в скромный домик, но все же...

— Во-первых, я не так часто езжу на источники.

Это была полуправда. Действительно, Юдзиро, отправляясь с иностранцами на воды, захватывал с собой Нобуко, и они останавливались в роскошных гостиницах. Муж, однако, не тратил денег на то, чтобы поехать к источникам вдвоем, просто так. Она знала прижимистость Юдзиро, да и уж не такая это радость — ехать на пару с мужем.

К удивлению Нобуко, муж принял предложение семейства Нодзи. В конце июня, в самый разгар сезона дождей, они отправились в Атами на машине Юдзиро.

Пансионат, похожий на обычную дачу, находился в окрестностях Атами, в горах Киномия. Дом окружали сливовые деревья, красивые в пору цветения, но сейчас под дождем мокла одна листва. Моря не было видно. Когда дождь прекратился, в долине, затянутой дымкой, громко защелкал соловей.

— Не обессудьте, пейзаж здесь так себе, — сказала Мивако.

— За что же извиняться? — заметил Котаро, потупив взор.

— Считается, раз Атами, так подавай море, а здесь прекрасно можно ванной обойтись.

Других гостей в доме не было, и супружеские пары расположились в японских комнатах по обе стороны от большой европейской гостиной.

Пансионат обслуживала пожилая чета. По доброте душевной они выставили обильное угощение — старательно приготовленную рыбу и овощи.

— Как хорошо здесь! Теперь даже в первоклассных

гостиницах, не моргнув, подают остывшую жареную рыбу, — произнес Юдзиро.

— Зато ждать не приходится. Может, и приготовили как следует, да кошка утащила у повара из-под носа. Вот и подают другую.

— Лучше всего, конечно, простая пища, — произнесла Нобуко, чувствуя, что на душе у нее стало покойно.

— Вам спать еще не хочется? — обратился Котаро к Нобуко.

— Нет, приятно вот так отдохнуть от забот.

— Это мы еще посмотрим! На новом месте обычно плохо спится, — с явным раздражением сказал Юдзиро.

— Мивако в этом отношении можно позавидовать. Сон такой, что может землетрясение проспать. Недавно дочь утром уронила на пол три чайные чашки и две тарелки, так она и не услышала.

— Наверно, поздно легла в тот день, — отозвалась Мивако.

Около одиннадцати супруги разошлись по комнатам. За ужином Нобуко выпила довольно много сакэ. Порой оно помогало ей заснуть, хотя не приносило забытья в ту же минуту, как только голова опускалась на подушку.

Нобуко услышала рядом тихое похрапывание мужа. Она уставилась в темное пространство комнаты. В часы бессонницы, в награду за мучения, она позволяла себе воображать, как бы она жила с Котаро. Нобуко дала клятву, что ни словом не обмолвится о своих мечтах, ничем не выдаст себя. Только томительными ночами, изнывая от бессонницы, она жаждала видений, в которых Котаро находился рядом.

Время шло, а Нобуко все лежала неподвижно на спине, глядя в темноту. Она чувствовала себя счастливой уже потому, что этой ночью от Котаро ее отделяли каких-нибудь десять метров. Мысли о нем приносили Нобуко утешение, что ей есть ради чего жить на свете.

Который теперь час? Половина ночи миновала. Нобуко услышала, как кто-то тихо раздвинул фусума в комнате Нодзи, потом пошел через гостиную в сторону ванной. Нобуко прислушалась к звуку шагов. Это Котаро. Ступает осторожно не потому, что боится разбудить свою Мивако, спящую непробудным сном.

С какой добротой Котаро относится ко мне.

Как мало нужно женщине для счастья — не заводить будильник и без стука открывать дверь, подумала Нобуко. Глаза ее наполнились слезами.

ТАКАКО ТАКАХАСИ

ЛЮБИТЬ...

Акико подошла к перекрестку, и ее взгляд невольно устремился направо, где чуть выше дороги стояла кучка домов. Туда же она смотрела и вчера, когда приходила сюда. И позавчера.

Что-то всегда заставляет ее смотреть туда. Хотя ничего особенного она там не ожидает увидеть. И ни о чем конкретном в этой связи не думает. Однако ее не покидает ощущение, что видится ей там что-то важное, вызывающее какие-то особые мысли.

Левую руку оттягивает корзина с продуктами.

В памяти вдруг всплывает такой обычный для нее диалог:

«Я счастлив», — говорит он.

«Я тоже счастлива. Очень, — отвечает Акико. — Нет, в самом деле», — добавляет она. В его глазах читается, что ему нужно подтверждение этих слов. А может быть, оно необходимо ей?

Уже семь месяцев они живут вместе. И этот диалог повторяется ежедневно. Всегда с какими-то вариациями, но основа не меняется.

О чем бы ни думала Акико, всякий раз, подходя к перекрестку, она мысленно проговаривает этот диалог.

На пути от торговой улицы к жилым домам это второй перекресток. Здесь с левой стороны почти сплошной стеной стоят дома, и только в одном месте между ними зияет пустота. Та самая невысокая гора отсюда не видна, хотя Акико кажется, что она смотрит именно на нее. Только кажется, уверенности нет. Но не это главное.

Главное в том, что до последней клеточки тела она пропитана им — его речью, голосом, прикосновениями, его лицом, движениями, запахом... Он — это Кирио. В ее жизни не первый мужчина. Но прежде ей неведомо было, что чувства, ощущения могут быть настолько глубоки. Нет, не в этом дело, что, в общем-то одинокая прежде женщина, она теперь проводит ночи с мужчиной. Она и сама не знает, как объяснить себе то неясное состояние радости ли, раскрепощения ли, страдания, в которое погружена эта почти незнакомка, заменившая в ней прежнюю сломанную женщину. Как объяснить себе, что эта новая женщина — она сама? Как поверить в невыразимое словами счастье, которое каждый день испытывает ее душа, вырвавшаяся в беспределье? Интересно, всем ли женщинам на пороге тридцати доводится пережить то же? А может быть, гораздо больше таких, кто не испытывает ничего подобного до конца своих дней? Рассуждая о переживаниях, она не чувства имеет в виду, а нечто другое... Как бы это определить? Это как бы слившиеся в единый звук возможности, предоставляемые человеческим существованием, это как бы одновременно и вход и выход.

Ну вот ее собственный пример.

Их первая встреча.

Однажды Акико отправилась путешествовать. Объяснить себе, отчего при устоявшемся, размеренном быте ей вдруг после долгого перерыва захотелось забраться куда-нибудь подальше, она не могла. Лет до двадцати пяти она часто ездила, ходила в походы — одна, вдвоем или втроем с кем-то. Ей нравилось путешествовать, по меньшей мере раз в месяц она отправлялась куда-нибудь. Позднее, начав жизнь затворницы, Акико объясняла свою прежнюю страсть к путешествиям интересом к новому и неизвестному. Но в последние несколько лет она сильно переменилась: интерес к внешнему миру померк, она углубилась в себя. И вот неожиданно семь месяцев назад ее неудержимо потянуло в путешествие.

В летний зной ей захотелось отправиться в самые жаркие места.

Гостиницу заказала заранее только на первую ночь, дальше маршрут не продумала, решив останавливаться на ночлег в любом месте, куда занесут ноги.

Из городка Т., в котором она жила, Акико на электричке доехала до города О., оттуда экспрессом дальше на запад.

В первой на пути гостинице ей посоветовали сделать

остановку в местечке К. Туда надо было ехать более часа на экспрессе, потом пересесть в обычный пассажирский поезд.

Какое-то время она сидела в ожидании поезда на пересадочной станции. И на платформе, и в зале ожидания стояла духота. А ведь температура здесь всего на 5—6 градусов выше, чем в Т. Горячий воздух был почти неподвижен. Акико кожей ощущала его отличие от воздуха в своем городке. Ей подумалось, что, видимо, здесь в воздухе много минеральных частиц; разогреваясь, они и создают такую особую жару. Видимо, и почва здесь по минералогическому составу отличается от почвы в Т. И, значит, мелькавшие за окном поезда сложные переплетения длинных толстых труб — вполне вероятно, заводы по переработке руды.

Наконец поезд подошел. Это была, вероятно, конечная станция, потому что народ толпой валил из него. Она ждала, когда все выйдут, и неожиданно услышала странные, похожие на звериный вой рыдания. Они доносились из человеческой реки, текшей в ее сторону от последних вагонов. Ей захотелось увидеть, кто так рыдает, и она стала вглядываться в толпу. Все вокруг тоже оглядывались. Между тем рыдания слышались все ближе. И наконец Акико увидела, что рыдала совсем черная — именно такой она показалась Акико, — еле волочившая ноги старушонка. Словно идя по канату, протянувшемуся от глаз Акико, старуха шла прямо на нее; рыдания и всхлипывания прерывались какими-то словами. Акико знала о притягательной силе своего взгляда, и все же непостижимым показалось ей, что старушка направляется прямо к ней, ведь смотрели на нее многие другие люди. Действительно, что ли, ее глаза обладают магическим притяжением? Похоже, да. Некоторые люди говорили, что испытывали завораживающее действие ее взгляда.

Старуха схватила Акико за руку и начала о чем-то горячо просить ее. Но чего она хотела, Акико не понимала; старуха говорила на каком-то диалекте, ни слова не разобрать. Но слова что... Это старое существо представлялось Акико огромной дырой, из которой непрерывно вытекали слезы и мольбы. Слезы можно было хоть на время вытереть платком, но голос не остановишь. Дыра от рождения. При том, что старуха была ниже ее ростом, при том, что явно чувствовалось, как меж ее пальцев просачивается, вытекает из старухи жизнь, Акико поразила невероятная громадность ее существа и той жгучей мольбы, которая одна лишь составляла его суть. Акико шла рядом со старухой, не выпуская ее руки. И вдруг почувствовала, что в глубине черной дыры сверкнула

надежда — старуха так страстно жаждала ее. Рискуя пропустить свой поезд, Акико медленно вела старуху по лестнице к выходу. Одета была эта старая женщина в светло-коричневое платье, в руках держала сшитую из разноцветных лоскутков сумку. От нее исходил запах — скорее слез, чем пота. Все лицо — лоб, глаза, нос — было мокрым, слезы ручьями стекали вниз; но оно не было красным, как это бывает при плаче, и оттого создавалось впечатление, что такой вид обычен для старухи, что такой она и появилась на свет.

У выхода отчаянно махала руками и что-то кричала какая-то женщина. Акико поняла, что она встречает старуху. Передавая с рук на руки старую женщину, Акико подумала, что передает саму ускользающую жизнь.

Вернувшись на платформу, Акико обнаружила, что ее поезд ушел.

Отчего рыдала старуха? Совершенно непонятно. Ясно только, что по какой-то причине исчезла форма, сдерживавшая ее вытекающую жизнь, она вытекала из нее слезами, голосом.

Акико, задумавшись, стояла на платформе. Со всех сторон ее обволакивал горячий воздух, раздражающе действовали сгорающие в нем невидимые глазу частицы минералов. Блеск рельсов резал глаза. Внимание ее приковал красный рекламный шар на крыше дома, напротив станции; он был красен настолько, что солнечные лучи тускнели в столкновении с ним.

Следующего поезда пришлось ждать больше часа.

Вот он пришел, наконец. Акико входит в вагон и занимает место. Перед самым отправлением появляется загорелый молодой человек в альпинистской шапке. Ища свободное место, он обводит глазами вагон и плюхается напротив Акико. Затем сбрасывает на пол рюкзак. В его движениях чувствуется сила, энергия. Кресла в вагоне стоят по четыре в ряд, многие пустуют; Акико надеялась занять ряд одна, и появление другого человека чуть раздосадовало ее. Но молодой человек производит неплохое впечатление. Более того, он очень даже недурен. М-да... А ведь последние несколько лет мужчины совсем не интересовали ее. В невестах не ходить — ушло ее время; о замужестве не только не мечтала, но в принципе считала, что это не для нее. Может быть, поэтому друзья и живущие в другом городе родители с братьями смотрят на нее как на диковинного зверя, да и вообще отстранились от нее.

Между тем молодой человек заговорил с Акико. В том, как он вторгался в чужую душу, угадывалась настойчивость. Ее безразличие не смущало его, и он с увлечением рассказывал о своем путешествии. Оказалось, что, как и она, он выбрал для поездки самое жаркое место и самое жаркое время.

— Как бы понятнее выразиться? — Он задумался на миг. — Возможно, в зное удастся поймать момент кипения жизни.

Она молчала. Ей это было неинтересно. Но в то же время показалось, что в дверь, за которой скрывается ее инертность, стучат — то ли слетающие с его уст слова, то ли нечто таинственное, образуемое связью между словами.

Все ее прежние знакомые были обычными серьезными людьми. Особенностью этого человека (он казался лет на пять-шесть старше ее) была способность, разрушив оболочку, проникать внутрь собеседника, обволакивать его словами. Внезапно вспомнилась старушка. В какой связи, отчего? Связующей нити Акико так и не нашла. Под напором слов, произносимых молодым человеком, образ старухи отступил. А голову назойливо сверлила одна только мысль: что-то в этом самом жарком месте в это самое знойное время должно произойти...

Молодой человек рассказывал между тем, что добирался сюда автобусами, что видел по дороге много скалистых круч.

— А на них, слышали, наверное, сохранились древние наскальные изображения огромных размеров. Они-то и были поначалу целью моего путешествия. Известно много таких мест, и люди толпами ходят туда. Но думалось мне, есть немало не отмеченных в путеводителях изображений, может быть только частично сохранившихся. И мне страшно захотелось побродить, поискать их. Я очень внимательно вглядывался в скалы. Ведь часто складки гор, выступы, трещины образуют фигуру Будды или часть ее. Вот так, неожиданно для самого себя, я увлекся поисками наскальных изображений. Мужских и женских.

— А что, есть и те и другие? — Акико невольно включилась в разговор.

— В путеводителях об этом не пишут, так что точно не скажу. Ну а почему бы нет? Наверняка есть. Мне даже кажется, я слышал об этом. То есть не от кого-то слышал, а... как бы объяснить... Если идти в глубь заложенной в человеке памяти, то... В общем, я слышал об этом еще до своего появления на свет.

— Что ж, это вполне вероятно. — Акико уже сознательно

поддерживала разговор. — Бывает, и мне многое вспоминается, как будто всплывает из глубин памяти. Перед тем как засну, например, или во сне, а то и в полудреме. Причем вспоминается то, чего сама никогда не видела, о чем не слышала, с чем совершенно не сталкивалась.

— Да, в человеке еще до рождения заложены немалые знания. Он рождается с памятью о бесконечном множестве того, что ему не доведется узнать из собственного опыта. Я, во всяком случае, так думаю. Впрочем, никто мне эту мысль не преподнес готовой, кажется, я родился с ней. Но вернемся к разговору об изображениях мужчин и женщин.

Ему явно хотелось порассуждать на эту тему.

И она осторожно осведомилась, почему ему так хочется поговорить с ней об этом. Для такого разговора могли бы найтись более подходящие собеседники, она отнюдь не лучший вариант. Однако, независимо от собственной воли, часть ее существа прислушивалась к речам попутчика.

— Почему? Вы спрашиваете, почему я говорю об этом с вами?

Сколько в его голосе уверенности!

Она не ответила, и молодой человек заговорил снова:

— Не может быть, чтобы вам это было совсем неинтересно, вы же человек. Но даже если и не захотите слушать, я ведь заставлю.

Эта фраза рассмешила ее. Он тоже засмеялся. В этот миг она почувствовала, будто в ней что-то раскололось. Точнее сказать, будто дрогнула гладь плотно обволакивающей ее водной поверхности. И будто какая-то сила увлекает ее вдаль.

А он говорил:

— Я вглядывался во все скалы, попадавшиеся на пути, искал эти самые барельефы. Собственно, не надо было искать, я уверен, что они есть везде, просто не видны. Да, просто скрыты от глаз. Но если внимательно, очень внимательно всматриваться, видно, что скалы просто испещрены изображениями мужчин и женщин. Они совсем не такие, как изображения будд, — не такие явные. Картина-загадка, ребус. Создатели намеренно вырезали фигуры так, что барельеф казался стертым. Но тот, кому удавалось изображение разглядеть, получал тайное послание из прошлого.

— Кто же создатель?

Почему-то ей захотелось узнать о ваятелях прошлого побольше.

— Люди.

— Что за люди?

С каждым вопросом ее уносило все дальше и дальше.

В последние годы ей казалось, что под ее телесной оболочкой скопилась вода, что, как солнечные лучи под линзой, она сконцентрировалась в одной точке и застыла в гладкой плотной неподвижности. Но разговор с этим человеком потревожил гладь, образовал в ней трещину.

— Создатели — мириады людей. И их желания.

Его лицо вспыхнуло, брови нахмурились.

— Но ведь ваятели — конкретные люди?

Ей уже хотелось бесконечно продолжать этот разговор.

— Гм... В определенном смысле точно так же, как и зрители — вот я, например, — которые смотрят на эти сокрытые в камне изображения...

Его глаза обращены вдаль, надеясь где-то там найти ответы на свои вопросы-размышления.

— Так кто же создатель?

В ее вопросе звучит настойчивость.

Он громко смеется в ответ, показывая ровные белые зубы. И отвечает:

— Я и говорю — желание. Страсть. Желание пробуждает к жизни мужчину и женщину. Желанием живы люди. И недаром человечество состоит из мужчин и женщин.

Уж не попала ли я в ловушку? — подумалось Акико. Ну и ладно. Всегда смогу из нее выбраться. Станет нужно — и вода во мне снова сомкнется.

Поезд шел по побережью, останавливаясь на каждой станции. Вагон наполнялся пассажирами в летней одежде, в соломенных сандалиях; столичными «штучками» были лишь он и она. Люди устраивались в креслах, с заметным усилием стараясь не выказывать своего любопытства. Только что зашел дядька с огромной бамбуковой корзиной, насквозь мокрой, и по вагону сразу распространился запах рыбы.

— Летний зной. Скалы, устремленные ввысь. Поверхность их испещрена изображениями... Как тебе это — нравится? Изображения не на страницах книги, которую можно, краснея, тайком рассматривать, а напоказ всем, открыто, откровенно. Эти изображения стали частью Вселенной... Нет, скорее, Вселенная создала эти изображения. Земля приняла откровения древних. Последние три дня я только и занимался поисками этих откровений.

Кондиционеров в вагонах нет, все окна раскрыты настежь, и через них вливается, разливается по вагонам смешанный с песком и пылью жаркий соленый воздух. Иногда слева раскаленным добела железом сверкает море; в основ-

ном же за окнами тянутся поля с высохшими от зноя, склонившимися к земле растениями.

Молодой человек, меняя тему разговора, спрашивает:

— Куда вы едете?

— Собственно, никуда конкретно. Хотя гостиницу на всякий случай присмотрела.

Она понимает, что в ответе содержится подтекст.

— Вы, однако, отважная женщина. Путешествуете в никуда. Одна?

— Мне нисколечко не страшно.

Она постеснялась добавить, что существо ее переполняет вода.

— Ну, если так...

Он слегка улыбнулся. И Акико увидела, каким приветливым стало его лицо.

— Что «если так»? — переспросила она, и ей вспомнилось, что и прежде бывали у нее подобные разговоры с мужчинами.

— Я хотел сказать, что если так, то вам, наверное, не страшно поехать дальше со мной.

— А куда вы едете?

Это она спросила только для того, чтобы не отвечать на его вопрос. Ей, без сомнения, хотелось ехать с ним.

— Есть тут недалеко на побережье студенческая гостиница. Говорят, она обычно пустует. Я, конечно, не предлагаю жить в одном номере. Например, я займу номер двести шестой на втором этаже, а вы сто шестой на первом. Согласны занять номер подо мной?

— Под вами?

Она ощущала удовольствие оттого, что попадает в сети.

Поезд остановился. Женщина с ребенком на спине забросила в вагон большую коробку с помидорами и огурцами, еле успела сама заскочить внутрь. Покачивая ребенка в такт движению поезда, тихо запела тоскливую песню.

— Под вами? — переспросила она.

Как не похож он на ее прежних поклонников!

— Да. Сны, которые я буду видеть вверху, соединятся со снами, которые вы будете видеть внизу. И тогда кто-нибудь, бросив издалека взгляд на студенческую гостиницу, заметит в ночном небе радугой висящие наскальные изображения и удивленно воскликнет: «Ого! Да это то, что я тщетно искал три дня!»

Он произнес эту легкомысленную фразу с огромной серьезностью.

Акико подошла к перекрестку, и сразу взгляд ее метнулся налево и вверх. Вчера, когда она приходила сюда, было так же. И позавчера так же.

Корзина с продуктами оттягивала левую руку. За продуктами к ужину она ходила теперь во второй половине дня. Став жить с Кирио, поменяла время работы. Прежде оставляла утро для себя, а на работу уходила в полдень. Теперь же наоборот: послеобеденное время посвящает дому — приборке, готовке ужина.

Сегодня захотелось пройти чуть дальше, чем обычно. Дома были разные по высоте, меж ними хорошо просматривалась даль, магнетически притягивавшая ее, и она пошла дальше, не желая расставаться с этим необычным ощущением. Пройдя метров сто, она увидела подготовленную для строительства площадку — огромную, на ней могли бы разместиться три многоэтажных дома. И стало понятно, что благодаря именно этому пустырю еще на перекрестке ощущался невероятный для города простор. Дома на этой части улицы стояли чуть выше дороги; она поднялась туда, чтобы с более высокого места видеть больше. Ей вдруг показалось, что она упирается головой в небо. Разливавшийся вокруг свет был по-весеннему ярок, казалось, таким его делали лопающиеся в солнечных лучах блестки. Акико сделала глубокий вдох и с восторгом подумала, что она вдыхает и выдыхает этот свет. И все же внутри себя она ощущала что-то ненужное.

Снова подумалось о Кирио.

Так всегда — и вчера, и позавчера, и позапозавчера: стоит ей подойти к перекрестку и взглянуть вдаль, как с неизменной четкостью вспыхивает мысль о нем. Будто эта даль и он составляют нечто неразделимое.

То, что произошло семь месяцев назад, представилось ей одновременно и естественным, и непостижимым. Впрочем, непостижимость тоже казалась естественной. Слишком разительно отличалось содержание ее прежней жизни от нынешней. Совершенно очевидно: не будь того момента — не случился бы такой перелом в ее судьбе; тот момент образовал трещину, разделившую ее жизнь на две такие разные части. Оказавшись в этой трещине с отличным от прежнего электрополем, она подчинилась новым силам.

Подобные судьбоносные моменты как возможность, вероятно, заложены в каждую человеческую судьбу. Но возможность — словно неродившийся ребенок; она может оказаться вне бытия, если недостает хотя бы одного условия.

Например: если б не старуха, из-за которой она опоздала на поезд... Можно полагать, в орбите каждой человеческой судьбы носятся эти возможности — нереализуемые или пока нереализованные, и несть им числа.

Наверняка между ее нынешним состоянием, которое, пожалуй, можно назвать счастьем, и тем незабываемым моментом есть прямая связь. Течение жизни вынесло ее в расщелину, подобную жерлу вулкана, и она преодолела ее.

— Я счастлив, — говорит Кирио.

— И я. Очень счастлива, — говорит Акико.

Других состояний не было ни разу.

Вот только первое время то и дело вспоминалась рыдавшая на станции старушка... Ясно было, что у нее случилось горе — возможно, умер кто-то из близких. Или же вспоминалась чья-то смерть. Это, в общем-то, тривиально. Другое поразило Акико: ей казалось, что из старушки вместе с нескончаемыми слезами вытекает жизнь. В какой-то момент мелькнула мысль: может быть, старушка не в себе? Но нет, старуха как старуха. Однако все эти чувства и предположения поглотила окутавшая станцию невыносимая духота.

Почему же так?! — мысленно поразилась Акико, поймав себя на том, что к радостным мыслям о Кирио примешались горестные воспоминания о старухе, о том вечере, наполненном слезами и рыданиями.

Так ли, не так — этого понять не дано. И совсем другое: может ли в принципе ощущать себя счастливой одинокая женщина? Наверное, нет. Хотя... Хотя, если покопаться во мраке памяти каждой женщины вплоть до ее появления на свет, такая наверняка найдется.

Акико чувствовала убежденную уверенность в том, что пробудить в ней счастье может только он — не любой, а именно тот, кто ей встретился; но если бы при этом отсутствовало какое-то обстоятельство, такая встреча бы не состоялась.

Физической близости с Кирио предшествовали невыразимо сладостные мгновения, когда произносимые им слова одну за другой отпирали двери ее памяти. И в том поезде, что со всеми остановками двигался по побережью, в той насыщенной солью духоте постепенно, незаметно просыпалось от летаргического сна качественно другое «я»; оно все более проникало в нее, все удобнее располагалось в ней. Эта сладость длилась несколько часов. И еще 12—13 дней, которые они прожили в гостинице, ежедневно продлевая там свое пребывание. При этом, как Кирио и заявил в самом на-

чале, он поселился на втором этаже, она на первом. И только сны их соединялись, пока через 5—6 дней не вызрела настоящая встреча.

— Хочу быть вместе с тобой.

Он первым сказал это.

— Да.

Она сразу согласилась.

О женитьбе не было сказано ни слова. Начавшаяся тут совместная жизнь сроками не оговаривалась.

— Зовут меня Кирио. Фамилия Тамура.

И он улыбнулся ласковой улыбкой, очень редкой для него.

— А я Акико. Акико Окуяма.

Она тоже приветливо улыбнулась.

— Я живу один в городе К. На западной его окраине есть новый жилой массив. В нашем городе нет ничего ультрамодного, особо красивого. Зато из моего окна видно море. Оно, конечно, не так близко, как здесь, и не столь первозданное.

— А я живу в городке Т. Довольно давно покинула родительский дом и живу одна. У меня всего лишь одна комнатушка, и, конечно, мне лучше переехать к тебе. Работаю я неполный день; думаю, какую-нибудь работу смогу найти и в твоем городе. Вещей у меня никаких нет, так что сразу отсюда могу ехать к тебе.

— Поедем сразу. Как есть. О твоем прошлом никогда не буду спрашивать, мне это ни к чему. Разумеется, и о своей прежней жизни не стану тебе рассказывать. Хочу сообщить лишь, что работаю в химическом научно-исследовательском институте.

— Зарплата у тебя, конечно, в несколько раз больше, ведь я работаю неполный день, да и должность скромная — продавец в продовольственном магазине; могу, впрочем, работать и в любом другом. Так что зарплата в самом деле мизерная, я буду полностью отдавать ее на домашние расходы. А ты отдавай только треть зарплаты.

— Лучше каждому отдавать половину.

— Нет, я буду отдавать всю. Мне совершенно ничего не требуется. И сбережения никакие не нужны. А возникнет необходимость — заработаю дополнительно. Я чувствую абсолютную свободу, когда нет лишних денег.

— А почему ты работаешь продавцом? Поговорив с тобой, я подумал, что у тебя солидная должность в какой-нибудь фирме. ...Ох, извини, ведь о прошлом — ни слова.

Сегодня Акико не стала задерживаться у перекрестка; с тяжелой сумкой в руках поспешила домой. Сегодня суббота, Кирио дома. Прибирает квартиру, пока она ходит за покупками. В конце недели они всегда устраивают генеральную уборку. Он любит ею заниматься. Энергичный, мускулистый, все делает легко и красиво, каждый уголок вычищает до блеска. На ужин по субботам они всегда готовят что-нибудь замысловатое. Оттого и была полна ее сумка, в которой кроме продуктов она несла домой вино и ликер.

Если представить время как нечто состоящее из бесчисленных клеточек, то для нее они все до последней наполнены до отказа, набухли гранатовой спелостью. Вот сейчас: она идет по улице, он что-то делает дома. Но их связывает время, и каждая его клеточка исполнена жизни. Как в мыльных пузырях, сверкая, отражается солнце, так в каждой клеточке — ее существа, их времени, — сверкая, отражается он.

Могла ли она предположить, что какой-нибудь человек так глубоко войдет в ее жизнь? Что есть в этом мире человек, каждое слово и жест которого станут ощущаться как собственные?

«Кирио», — вслух произнесла Акико.

К ее приходу уборка была завершена. Они сразу же принялись в тесной кухоньке готовить ужин, и все это время она чувствовала, что растворяется в излучаемой им ласке; они жили в одном дыхании.

— Вон ту луковицу, — говорит она.

— Пожалуйста. — Он протягивает луковицу.

— Подай нож, — просит она.

— Возьми. — Кирио вытаскивает нож из футляра и протягивает его.

Пока он не очень умело резал морского гребешка, она мелко рубила лук, всякую зелень, перец, отжимала лимон, готовила соус.

Ненароком Акико подняла глаза и взглянула в окно. Из комнаты море было видно, но отсюда, из кухни, обзор закрывают жилые дома, большие здания офисов. Между двумя зданиями оказалось пространство, которого Акико прежде не замечала. Оно, не сужаясь, тянулось вглубь, как бы создавая коридор для ветра, и он, несущий прохладу, и в самом деле ощущался. А заканчивался проход кустарником, кажется нэриумом; зелень была густой, но, освещаемая заходящим солнцем, казалась прозрачной. Там ощущался воздух, простор, угадывалось что-то, уходящее к небу... Акико

посмотрела на небо. В мартовскую зарю оно напоминало розовое стекло.

Акико рассеянно смотрела за окно и вздрогнула, услышав:

— Акико!

Громкий голос Кирио вернул ее к действительности.

— Что?

Акико слабо улыбнулась. Всего лишь какое-то мгновение она смотрела в окно, а казалось, будто отсутствовала очень долго.

— О чем ты сейчас думала?

В его глазах сверкнула искорка, лицо покраснело.

— О чем?..

Она растерялась. Да, собственно, ни о чем не думала.

— Ты иногда бываешь такая, я давно уже заметил.

Он с трудом выдавил из себя эти слова, явно тяжело было у него на душе.

Если уж кому-то тяжело, так это мне, подумалось Акико. Хотя нет, то была не то чтобы тяжесть, скорее, что-то крепко сковывает душу. Но что — этого она самой себе не могла объяснить.

— Какая «такая»? Объясни, пожалуйста. Ведь саму себя со стороны не видишь. Какая я иногда бываю?

— Ты вдруг будто исчезаешь, даже когда мы очень близки. Да вот как сейчас. Мы вместе что-то делаем. Казалось бы, и мысли должны быть одинаковые. Но нет. Взгляну на тебя — а ты отрешенно смотришь в окно.

— Да нет, тебе кажется... Там вон, смотри, кустарник нэриум растет, листья на солнце блестят... Сколько раз смотрела в окно, не замечала его.

Вот и все, что она могла сказать. А ведь он прав. В самом деле.

— Помнишь, однажды мы поехали в кино в город О.? Когда возвращались назад, в поезде долго спорили о фильме. И тогда тоже ты неожиданно замолкла, показала пальцем в окно и сказала, что где-то там твой городок Т., там, далеко за горами, у подножья какой-то горы, только ты не знаешь какой, гор много, где-то там ты жила прежде. Сказала мне все это и опять замолчала. Потом мы, конечно, вернулись к разговору о фильме. Ты что-то говорила, но я чувствовал, что твои мысли очень далеко. И что между нами возникла стена. Несокрушимая стена. И это не единичный случай. В конце прошлого года как-то вечером мы пошли вместе в китайский ресторанчик около порта, потом гуляли

по набережной. Было очень холодно, со стороны гор дул ветер. Когда мы подошли к пирсу, ты вдруг отошла в сторону, постояла немножко одна, потом сказала, что пройдешь вперед шагов сто и сразу вернешься. И пошла вдоль причала. Я подумал тогда, что, возможно, ты переела и тебе нехорошо. Что ты удаляешься, чтобы на моих глазах тебя не вырвало. Потому что ветер был холодный, не до прогулок. Ты действительно отошла шагов на сто, остановилась и стала глядеть в море. Долго так стояла, очень долго. Зима, огней в порту мало, и я с трудом различал твой силуэт. А море, куда был обращен твой взгляд, виделось черной бездной. Я не удержался и подошел к тебе. Что с тобой? — спросил я, ты посмотрела на меня как на случайного встречного. И, ничего не сказав, пошла рядом. И я понял в тот момент, что не в темноте дело. Понадобилось какое-то время, чтобы ты смогла вернуться в обычное состояние.

Кирио произнес этот монолог, держа в руке нож, которым резал морского гребешка. Густой запах моллюсков завис в кухне.

— Прости меня, пожалуйста. Совсем ничего подобного за собой не замечала. Думала, что ты абсолютно счастлив, как я. Все время была в этом твердо уверена. Извини меня.

Акико готовила в тот момент мясной соус и держала в руках заготовленный для него мелко нарезанный лук, перец и лимон.

— Я-то счастлив. Мне иногда кажется, что ты несчастлива со мной. И что-то постороннее смущает твою душу. Не знаю, как лучше сказать... Ну вот, объясни, пожалуйста, что происходило с тобой в тот вечер в порту?

— Просто смотрела на море. Смотрела в небо. Кроме черноты, правда, ничего не видела.

— А убедительнее не объяснишь? Мне понятно было бы, например, если бы ты сказала, что, находясь рядом со мной, думала о другом. Ай, извини, глупость слетела с языка, я пошутил.

Кирио улыбнулся. Улыбка была открытой, светлой. Акико тоже ответила улыбкой, и они продолжили готовить ужин. Но его слова о «другом» крепко засели в голове; долго потом она мучительно пыталась разгадать эту загадку.

— Акико, ты куда?

Голос Кирио заставил ее обернуться.

Второй раз после вчерашнего разговора она увидела в его глазах вспыхнувшую искорку.

— А ты что здесь делаешь?

Странное обстоятельство, что не только она, но и он оказался вдруг здесь, на платформе станции Н., повергло ее в изумление.

— Очень прошу тебя извинить меня, но я просто шел за тобой.

Это он сказал, чуть запинаясь, а потом скороговоркой продолжил:

— Последнее время я несколько раз звонил домой из института и не заставал тебя. Это стало меня беспокоить. Ну, утром ты на работе. А после обеда? Я все размышлял, размышлял, и чем дальше, тем больше нервничал. Тем более удивлялся, что вечером, когда я возвращался с работы, ты всегда встречала меня и ужин был всегда готов. Значит, далеко ты не уезжала. А сегодня у меня как раз были дела в другом институте, неподалеку. Я решил заехать домой. Притормозил у дома и вдруг вижу — ты выходишь. Видел, как ты постояла некоторое время перед домом, глядя в небо, а потом медленно пошла. В руке ты держала корзину для продуктов, и я подумал сначала, что ты направилась в магазин. Но ты шла как во сне. Тогда я оставил машину и пошел следом. Ты повернула было к гастроному, но не вошла в него, а пошла дальше, у железнодорожной станции с отсутствующим видом постояла немножко, потом достала из кошелька мелочь, в автомате купила билет и пошла на перрон. Я шел очень близко, но ты настолько была погружена в себя, что не замечала ничего вокруг. Подошел экспресс, ты вошла в вагон, я тоже, в соседний. Мне хотелось понять, куда ты едешь, с кем собираешься увидеться. Я заметил, что ты даже и не переоделась, как была в домашнем платье. Я хотел понять тебя. Я ведь тебя никому не хочу отдать. Наша совместная жизнь не скреплена брачными узами, но ведь каждый прожитый день, да, каждый день был клятвой в любви. Все казалось таким незыблемым... Кроме тех моментов, когда ты, находясь рядом, была одновременно где-то далеко.

Он заговорил громче. Она попыталась остановить его и повела в конец платформы.

— Прости, я доставляю тебе страдания, но беспокоиться совсем не о чем.

Она улыбнулась и взяла его за локоть.

— Все так, ты ничего плохого не делаешь. И все же... Вот ты сошла здесь. Я думал, ты пересядешь на другой поезд, но ты вышла на платформу и просто стояла несколько минут. Поезда приходили и уходили, а ты стояла. Постояла, глядя

куда-то в небо, потом перешла на противоположный путь, и это было странно: только что приехала сюда и сразу едешь обратно; в ожидании экспресса ты даже, сверяя время, смотрела расписание. Ну разве это не странно?

— Кирио, поверь мне. Я в самом деле пошла за покупками и корзину не случайно взяла. Хотя нет, не так... Это ведь было вчера... Вчера неожиданно мне очень захотелось поехать в свой городок Т. Я так и не зашла в гастроном, ноги понесли меня на станцию, там купила билет до Н., села в экспресс, доехала досюда, сошла с поезда и остановилась тут на платформе. Здесь надо было сесть на поезд линии Н., доехать на нем до конца, до станции Т., сделать пересадку на линию Т. и ехать потом до станции X. Но ехать до конца почему-то духу не хватило, было просто сильное желание поехать в ту сторону. И сегодня тоже — не пойму, отчего появилось такое же желание. Вот и добралась сюда.

Все это она выпалила залпом. И не было лжи в ее словах. Последнее время ей часто вспоминается прежний дом; повинуясь неясной силе, она даже направляется туда, но, к счастью, останавливается на полпути.

— А может быть, ты ждала здесь кого-нибудь?

Кирио опять повысил голос, и стоявший неподалеку студент с любопытством взглянул на него. Рядом много высших учебных заведений, обычно на станции полно студентов, но сейчас каникулы, перрон пуст; только белесое марево висит над рельсами.

— Я ждала кого-то?

Вопрос Кирио звучал настойчиво, та же настойчивость была и в его взгляде. Акико взглянула на него и ничего не ответила, ушла в себя. Да, действительно, ей и самой казалось, что она ждала кого-то. С таким настроением стояла тут и вчера, и сегодня.

Она могла бы ответить: да, ждала. Но не хотела произносить это вслух.

— Погоди, нас слушают. Давай присядем на ту скамейку.

Она пошла к краю платформы, где стояла красная пластмассовая скамейка.

— Во всяком случае... — начал он и осекся.

— Что «во всяком случае»?

Неважно было, о чем он спросит дальше, ответить ей все равно нечего.

— Душа твоя отдана кому-то другому.

Он произнес эти слова с заметным усилием.

— Что ты имеешь в виду?

А ведь это так. И Акико отвечает вопросом.

— Кому же?

— Человеку, которого ты любишь.

— Но ведь это ты, Кирио.

— Нет, не я.

— Почему ты делаешь такой вывод? Уж себя я лучше знаю.

— А потому, что других объяснений быть не может, кроме этого единственного: в последнее время ты мысленно общаешься с находящимся где-то далеко любимым человеком. К такому заключению не только я, к нему неизбежно пришел бы любой, понаблюдав за тобой.

Он пристально смотрел на Акико, словно ел ее глазами.

Подошел экспресс, постоял и отправился дальше. И до него поезда приходили и уходили. Портфель с институтскими бумагами лежал у Кирио на коленях. Он сидел рядом с Акико и глядел куда-то вдаль.

— Кирио, дорогой, ты все навыдумывал. Нет у меня никого, кроме тебя, ну почему ты этого не понимаешь?..

И все же она попыталась согласиться с ним и проверить, прав ли он, полагая, что она мысленно беседует с кем-то далеким и любимым. И с изумлением почувствовала, что он прав, потому что ее сердце сжалось на миг, как это бывает, когда думаешь о любимом человеке.

— По линии Т. ехать до станции Х., там ты жила... А как ты вообще жила до того, как мы познакомились?

— Об этом не спрашивай, все равно не отвечу. Мне будет чудовищно тяжело это сделать. Нет таких слов. Словами не смогу рассказать тебе свою жизнь.

Акико медленно повернула голову к Кирио, их глаза встретились; в ее глазах читался отказ продолжать тему, в его была невыразимая боль. И чтобы отвести ее от себя, она быстро заговорила:

— Когда я выхожу на станции Х., я иду не в центр города, а возвращаюсь немножко назад, мой дом рядом с железной дорогой. Там спокойно, хотя мимо проходит много поездов. Обычно меня всякий шум выводит из себя, но то место мне казалось достаточно тихим. Не потому, что поезда движутся бесшумно, нет, просто этот шум не достигал моих ушей, здесь дело во внутреннем настрое, я уходила от внешнего мира в себя. Извини, Кирио, тебе кажется, наверное, что я несу что-то несусветное. Но иначе не могу тебе объяснить. Хотела бы, но, боюсь, мои речи покажутся тебе еще более странными, так что лучше остановимся на этом.

В общем, жила я там одна. Три года. По утрам читала, днем ходила на работу, а вечера... По вечерам сидела одна в своей комнате. Вот так и жила. О более престижной работе, роскошной жизни вовсе не мечтала. Наоборот, считала, что вкусная, обильная еда замутит душу. Мне даже хотелось жить бедно, ничего не иметь. Вот и все, Кирио. Это все. Ну ты хоть чуть-чуть можешь понять меня?

Воспоминания о той размеренной жизни, казалось, полностью успокоили Акико. И сейчас ей подумалось: вот тот момент, о котором Кирио говорил: она рядом, но ее как будто бы нет. В эту минуту Акико еще глубже ушла в себя. Звуки шумной пересадочной станции, лязг и стук проходящих электричек не касались ее, затворившейся в своем покойном мире.

Наконец мысли вернулись к Кирио. Вглядываясь в любимое лицо, она позвала его. У нее не оставалось сомнений, что и он видит между ними прозрачную стену.

— Кирио!

Она окликнула его еще раз, вложив в голос сколько могла тепла.

— Я всегда хотел видеть тебя всю без остатка своей, хотел, чтобы ты вся-вся, до последнего атома, принадлежала мне. И сейчас смотрю на тебя такими глазами.

Акико увидела в них глубокую тоску. Но она знала его, знала, что он от своего не отступает. И это она тоже очень в нем любила.

Акико ведь и сама не хотела отказываться от Кирио. Но не могла не признать того, что оба они оказались на гребне волны, которая вот уже месяца два неумолимо несет их к разлуке. Так волны — большие, маленькие — медленно, но неумолимо относят к берегу оказавшиеся на их гребне кусочки дерева. И чем сильнее Акико это ощущала, тем тяжелее и беспокойнее были мысли о Кирио.

Сегодня Акико купила билет не до станции Н., а до конца, до станции X. На сей раз сделала это совершенно сознательно.

По дороге к поезду с противоположной платформы Акико бросила взгляд на красную пластмассовую скамейку, на которой неделю назад сидели вдвоем с Кирио. По инерции чуть не направилась к выходу. Поезда на линии Н. идут со всеми остановками, медленно, и это соответствует ее настроению. Выйдя на станции Т., она глубоко вздохнула: уже совсем скоро буду дома. Высокие горы сменяются холмами, скоро появится и тот, единственный. Подниматься на него

она не будет, но к подножию, откуда виден ее дом, словно преклонивший перед холмом колени, ей хочется подойти. От станции Т. другой поезд повезет ее со всеми остановками дальше, и среди зелени замелькают крыши элегантных особняков — до боли знакомые, будто не было этих последних семи месяцев... Нет, наоборот, знакомые до боли именно потому, что ее не было здесь все это время.

Акико выходит на станции Х., пересекает железнодорожный путь и идет к своей улочке. Вот и ее двухэтажный деревянный дом, в котором прошло три года жизни. Взгляд сразу устремляется на крайнее окно второго этажа в последнем подъезде. Солнце бьет прямо в затворенное окно, и за его чернотой невозможно предположить что-нибудь о жизни обитателей этой квартиры. Но Акико достаточно было просто видеть это окно. Оно для нее как собственное прежнее лицо. Это ее лицо было обращено к холму, оно было открыто дневному свету и ночной тьме, все ее существо заполняла до краев вода, образовав туго натянутую гладь. Кирио разорвал эту гладь, но оттого только неодолимее стала тяга к нему.

— О, неужели это вы, Окуяма-сан?

В дверях показалась домоправительница.

— Очень соскучилась, захотелось приехать сюда.

Другого объяснения Акико не могла найти.

— Тогда проходите, пожалуйста. А та комната еще не занята.

— Да? Рада это слышать. Неужто ждет меня?

Вслед за управляющей Акико вошла в дом, поднялась на второй этаж, прошла по узенькому темному коридору с дверями по обеим сторонам, принюхалась к запахам — у каждого дома есть собственный запах, и, вспомнив его, еще сильнее почувствовала, что вернулась к себе. Домоправительница протянула ключ, Акико открыла дверь и вошла в комнату.

— Ничего не изменилось!

— Да, все осталось, как было. У вас ведь стоял в комнате только стол, да еще книжный шкаф был.

— Верно. Даже занавесок на окнах не было.

Она просыпалась рано, с рассветом, и каждое утро любила смотреть на белесое небо.

— Никак не можем найти постояльца. То говорят, у железной дороги очень шумно, то не устраивает, что рядом мастерская по изготовлению надгробий. Приходят смотреть часто, да толку...

— Уж не хотите ли сказать, что были бы рады, если бы я вернулась? А может, и в самом деле вернуться?

Управляющая пошла вниз готовить чай, и Акико осталась в комнате одна.

Квартирка была маленькая: слева малюсенькая кухня и сама комната в пять татами[1]. Широкое окно выходит на пути. У окна стол, у левой стены книжный шкаф. Справа от окна на стене еле заметен квадратный след от картины. Комната находится на северной стороне, к тому же треть оконного стекла матовая, поэтому всегда здесь сумрак. Акико вспоминала, какой была комната при ней, и ей показалось, что она вновь живет здесь, думает и чувствует как прежде.

— Я приготовила чай.

Управляющая пришла за ней.

— Спасибо, сейчас спущусь.

Но сама не двигалась с места.

Ее охватило вдруг ощущение, что над нею нависло нечто прозрачное и светлое, с огромными крыльями, готовое подхватить в свои объятия; будто искрящиеся волны ласково окатывают сердце; в ней растекалась пронзительная сладость счастья. Сладостная истома росла, вихрилась, достигала апогея, и Акико целиком погружалась в нее; потом истома ослабевала, почти исчезала, но затем вновь ширящейся волной поглощала ее. В комнате было сумрачно, но глазам было больно от яркого света, исходившего изнутри.

С ней не раз случалось такое, пока она жила здесь, но впоследствии эти ощущения совсем стерлись. Она подумала, что они напоминают наслаждение, вызываемое прикосновениями Кирио. Но это совсем другая истома, она связана с другой частью ее существа, обладает крыльями, которые уносят ее в высший покой, именуемый счастьем; Акико предчувствовала, что, доверившись этим крыльям, возможно взмыть к несравненно большему счастью.

— Ну где же вы, Окуяма-сан! Чай совсем остыл.

Управляющая снова поднялась за ней.

— Ой, извините, я просто хотела побыть здесь минуты три.

— Какие три?! Прошло уже, наверное, тридцать минут!

Беззаботно болтая, Акико спустилась с управляющей в ее комнату. Уселись пить чай.

[1]Примерно 9 кв. м.

— Выглядите счастливой.

— Да, я совершенно счастлива.

И Акико не кривила душой. Потому что имела в виду сиюминутные ощущения.

Когда Акико вышла из дома, ей захотелось побродить немного вокруг. Несколько раз она поглядывала на вершину холма, но подниматься не стала, медленно побрела по улицам городка.

Пора было возвращаться. Чтобы сесть в поезд, надо было пересечь переезд. Акико остановилась у шлагбаума и стала наблюдать за медленно проходившим грузовым составом. Вагоны цвета слоновой кости на малой скорости ползли вверх и вдруг неожиданно остановились. Из окна головного вагона высунулся человек в черной форме и черной фуражке, он улыбался и приветливо махал рукой. А потом и машинист, тоже в черной униформе, обернулся и с улыбкой посмотрел на Акико.

Она побежала к поезду, улыбнулась железнодорожникам.

— Все в порядке?

— А как вы, Окуяма-сан? Не болеете? Все очень беспокоимся о вас.

Это сказал первый из них.

Машинист тоже высунулся из окна:

— Что-то давно вас не видно. Или вы больше не живете здесь?

— Да, так сложились обстоятельства. А до того, в самом деле, три года, не пропуская ни дня — и утром, и вечером, — поднималась на холм. Будто бы ради этого и жила тут.

— В любое время добро пожаловать снова, — сказал один.

— Добро пожаловать, — повторил другой.

— Будем ждать вас, — сказал первый.

— Ждем вас, — повторил второй.

Выстукивая мелодию, поезд медленно пополз вверх и скоро скрылся из виду.

Акико хорошо знала путь, по которому идет состав, могла бы даже подробную карту вычертить. Сначала дорога петляет, потом круто идет вверх. Там по обе стороны тянутся выстроенные десятки лет тому назад прелестные особняки — и традиционные, и европейского вида, каждый по-своему уютен; они утопают в зелени садов, тоже прелестных каждый по-своему; дома и сады, прохожих не видно, кажется, никто там и не живет — удивительный покой. Где-то

посредине холма дорога довольно круто пойдет вниз, дома будут попадаться реже, а потом начнется лес. За первой рощей появится Дом, какого не увидишь ни в одном жилом квартале. Акико, бывало, поднималась к нему минут за двадцать (зимой еще затемно), входила внутрь; помещение заполняли люди в черной одежде и в черных головных уборах, Акико шла вместе с ними. Иногда она опаздывала на две-три минуты и тогда, при приближении, слышала лившееся из Дома песнопение, слов и музыки не разобрать, песня как будто шепталась, но это было упоительно. Порой она нарочно приходила позже, чтобы услышать музыку, рождающуюся где-то высоко в воздухе, опускающуюся вниз, ниже, ниже, стремящуюся плавно воспарить вверх, но остающуюся в пределах досягаемости, музыку, в необъяснимой тоске сжимающую сердце, плывущую над деревьями и травой и вновь возносящуюся, чтобы раствориться вверху, там, где родилась... А после наступало молчание, и это было еще слаще, она чувствовала, будто ее физическое существо тает в воздухе, соединяясь в объятиях с чем-то таким же бестелесным...

Акико доехала до станции X. Как и вчера, направляется на свою прежнюю квартиру, только сегодня час другой — пять вечера. Договорились с Кирио встретиться там в 6.30.

Желание повидаться с ним на бывшей квартире возникло у нее после обеда, она сразу же позвонила Кирио в институт, он согласился. В конце концов, ничего другого не оставалось. В начале совместной жизни договорились о прошлом не вспоминать, да ей самой было не до того, настолько, особенно вначале, она была под влиянием магии Кирио. А если бы даже решилась заговорить о прошлом, не нашла бы нужных слов.

— Кирио, я очень хочу показать тебе что-то. Тогда, наверное, ты совсем успокоишься. Но, возможно, ничего не поймешь... Да наверняка не поймешь. Однако мы с тобой подошли к тому рубежу, когда это надо сделать. А то ты начал уже дуэль с тем «другим человеком».

— Понял. Закончу дела и сразу поеду. Думаю, успею к половине седьмого. Еду, значит, электричкой до станции X., иду вдоль пути назад, первый деревянный двухэтажный дом... Понял... Ну, до вечера.

— О, Окуяма-сан, вы опять к нам приехали?

Домоправительница очень удивлена.

— Мне надо показать одному человеку свою прежнюю

комнату. Он приедет в половине седьмого, а я подъехала чуть раньше. Можно, я подожду его в той комнате?

— Пожалуйста, конечно. Она вроде бы и сейчас ваша, так что, пожалуйста, располагайтесь. Я буду очень рада, если ваш знакомый снимет ее.

Акико не стала уточнять ситуацию, взяла ключ и поднялась на второй этаж. Вставила ключ в замочную скважину, открыла дверь, вошла. И сразу глубокое безмолвие комнаты проникло в душу. Самым прямым образом это место было для нее связано с тем Домом; есть еще невидимая отсюда горная тропа, соединяющая комнату с тем Домом.

Ступая по тишине, Акико проходит через всю комнату, подходит к окну и открывает его. Заветный холм полностью отсюда не виден, его загораживает крыша двухэтажной галантерейной лавки и расположенная поодаль станция X. С левой стороны доносятся удары молотка о камень; при закрытом окне стук из мастерской, где изготавливают могильные плиты, почти не слышен. Поезда проходят здесь каждые десять минут, но галантерейная лавка чуть глушит грохот.

Акико закрывает окно, подходит к стене, на которой остался след картины, останавливается перед ним. Картину она взяла с собой в новое жилье, но та, кажется, не понравилась Кирио, и Акико, аккуратно завернув ее, убрала в книжный шкаф. Тут она присела и, не закрывая глаз, отрешилась от всего — погрузилась в себя. Так она собиралась ждать Кирио.

Она вернулась к действительности оттого, что из коридора донеслись шаги — несколько человек, шумно топая, приближались сюда.

В комнате появилась домоправительница с незнакомыми мужчиной и женщиной.

— Извините, Окуяма-сан. Эти господа хотели бы посмотреть комнату, так что буквально минуточку побеспокоим вас. Наконец-то пришел черед и для этой комнаты — сегодня и эти господа, и знакомый ваш интересуются.

Акико помахала руками, желая сказать, что это не так, но управляющая, не обратив внимания, принялась с жаром давать гостям объяснения.

Акико не вставала с места, надеясь, что все это скоро кончится. Но безмолвие комнаты и ее собственный покой были нарушены, ей пришлось наблюдать за визитерами.

— Так что не спешите, подумайте. Тем более что знакомый этой госпожи — первый претендент.

Управляющая одна ушла вниз.

— Ну что, мамочка, остановимся на этой? — спросил парень лет двадцати пяти, с крашеными рыжими волосами, в джинсовых брюках и куртке.

— Снять, что ли, эту? Сама не знаю... — Женщина лет пятидесяти — пятидесяти пяти, толстая, тоже крашеная.

— Так ведь дешево. Да и нужна, только чтобы ночевать, мамочка.

Парень произносил свое «мамочка» слишком уж сладко, так что можно было принять эту пару за любовников, но, с другой стороны, их лица похожи, вполне возможно, мать и сын.

— Мы-то решим, а ведь есть еще приятель этой дамы, он первый.

Женщина посмотрела на Акико и заулыбалась.

— А он когда решит? — очень серьезно спросил парень.

Акико почувствовала горечь. Ей не хотелось, чтобы ее комната досталась этим людям.

— Мы на днях открываем поблизости закусочную. Он будет ночевать в ней, а мне нужно где-нибудь рядом место, чтобы спать. Плата за эту комнату нас вполне устраивает. Пришлось ведь потратиться, чтобы открыть закусочную...

С нелепыми рыжими волосами и густой косметикой удивительно контрастировали добрые чистые глаза женщины.

Вытягивая себя из горького оцепенения, усилием воли заставив себя успокоиться, Акико сказала:

— Я здесь совсем по другому делу. И человек, который скоро придет сюда, не собирается снимать квартиру. Так что поступайте как вам угодно.

— Ура! — завопил парень.

А женщина задумчиво произнесла:

— Что ж, снимем, что ли...

— Но, знаешь, мамочка, все-таки боюсь, поезда будут мешать тебе.

— А у меня есть вот что. С этим я могу быть где угодно, и ничто мне не помешает.

Женщина показала кассетный магнитофон, который держала в руках вместе с сумочкой. Потом улыбнулась Акико.

— Так, проверка! — Молодой человек с шумом распахивает окно, потом преувеличенно серьезно спрашивает: — Извините, но ожидающая кого-то персона позволит нам произвести эксперимент с музыкой?

— Да, сюда придут в половине седьмого, есть еще сорок минут. А я пока просто отдыхаю.

Акико стоило немалых усилий сказать это.

Магнитофон загромыхал. Женщина включала звук то громче, то тише.

— Это певица А.?

— Давай лучше поставим другую кассету, певца Б.

Женщина достала из сумочки кассету и вставила в магнитофон.

— Внимание! Приближается поезд! Слушай! Слушай!

Голос парня перекрывал громыхавшую музыку.

Шум подходящего, останавливающегося, затем отправляющегося поезда накладывался на песню.

— Замечательно поет, а? — обратилась женщина к Акико, показывая на магнитофон и надеясь получить утвердительный ответ; ее лицо сияло от счастья.

— Отличная мелодия, правда? — И парень дружелюбно посмотрел на Акико.

— Ой, заслушалась, о проверке и забыла, — с досадой сказала женщина, на что парень ответил, явно радуясь развлечению:

— Ничего, скоро опять поезд придет, минут через десять.

Акико порывисто поднялась:

— Я потом приду. До свидания.

Она вышла из комнаты. И ей показалось, что она попрощалась с ней. Оскверненная шумом, то была уже другая комната. Акико вышла на улицу и отрешенно стояла у входа в дом, не зная, стоит ли после этого приглашать в эту комнату Кирио.

Решив дожидаться Кирио на станции, медленно побрела туда. Шесть пятнадцать. Станцию заполняли возвращающиеся со службы люди. Она встала у выхода. Не хотелось ни о чем думать. Вдруг показалось, что кто-то машет ей рукой. Она обернулась и увидела развеселых мать и сына, они поднимались к платформе и что-то ей кричали. Она поняла: комнату решили не снимать. Акико в ответ помахала им. Но от впечатления, что комната осквернена, уже было не избавиться.

Ждать Кирио там нельзя. Акико сникла.

Ноги понесли ее к холму. Немного поднявшись, оглянулась на выход с перрона. Решила ждать Кирио тут. Грустно-нежный сумрак опускался на холм, как на ладони видны были старинные особняки, их было много, каждый внушал мечты и надежды. И холмы, горы — справа и слева.

Уже шесть сорок пять, а Кирио все не появлялся. Ох, подумала она, он ведь может приехать не поездом, а на

своей машине. А возможно, ему было удобнее ехать другой электричкой, и теперь он с другой станции добирается сюда на такси, а в час пик это непросто, он, наверное, вне себя от ярости.

Между тем сумерки сгустились, трудно стало различать выходящих со станции людей. Акико вдруг очень захотелось подняться на вершину. Она решительно пошла вверх. И сразу же почувствовала, что задыхается. На первом повороте остановилась, чтобы отдышаться, взглянула назад. В глаза бросилось то, чего она никогда прежде не замечала, хотя поднималась по этой тропе тысячи раз, — окно бывшей ее комнаты. Да, это оно, крайнее справа, в нем горит свет и заметен силуэт человека. Кирио? Она энергично замахала руками, хотя ясно было, что оттуда ее не увидать. Сердце бешено колотится. Вперилась взглядом в далекое окно. Кажется, человек за окном в пиджаке серебристо-серого цвета, в таком Кирио ушел сегодня утром на работу. Разглядеть, тот ли на нем галстук — зеленый в темно-синюю полоску, — было невозможно. Но рост, плечи, осанка не оставляли сомнений, что то был Кирио.

— Кирио!

Издав возглас, Акико круто повернулась и побежала вверх.

Тропа петляла, Акико понимала, что дом уже не виден, но все равно еще раз обернулась. И сказала, обращаясь к уже невидимому Кирио:

— Любимый.

Потом, подняв глаза к теряющейся в темноте вершине холма и продолжая подниматься вверх, произнесла:

— Люблю Тебя.

Но эти слова было обращены уже не к Кирио.

ХИРОКО ТАКЭНИСИ

ПОСТОЯЛЬЦЫ

Хисаси рисует лошадей. Он изобразил вид сбоку — три боевых скакуна мчатся в ряд, корпус в корпус.

Несмотря на воскресный день, за отцом с фабрики прислали посыльного, и он, наскоро позавтракав, только что отправился на работу. Перед уходом вручил сыну лист рисовальной бумаги: «Это тебе на сегодня!»

Комната для занятий выходит на задний дворик, поросший травой, и до мальчика доносится разговор, который ведут между собой, развешивая белье, его мать и постоянно живущая в их семье женщина средних лет, которую все зовут «тетушкой». Вообще-то место, где обычно сушат вещи, не видно из комнаты Хисаси, но сегодня там навалены матрацы и простыни, поэтому женщинам пришлось протянуть веревку между растущими во дворике дубками, чтобы развесить на ней летние кимоно постояльцев.

— Господ офицеров уже, пожалуй, погрузили на транспорт... — говорит тетушка.

— Даже если уже на корабле, то, наверное, все еще торчат в гавани. Так просто это не делается, — отвечает ей мама.

— Жара такая, а на море от нее никуда не денешься. Парни-то молодые, но не все же качку выносят...

— А что они видят? Изо дня в день небо да море. И на родину, где ждут не дождутся родители, не съездишь. Да и ждет их не увеселительная прогулка. Как подумаешь об этом — и неловко отказать: пусть хоть недолго поживут у нас, в человеческих условиях, до отплытия.

— Коли на одну ночь или, на худой конец, на две, кто

стал бы возражать... Но на целую неделю, госпожа, это уж слишком. Хоть и говорят, что без кормежки.

— Ну если бы просто приказали: «время такое, военное», «начальство требует», разве б пустили на столько дней в парадные комнаты? Но ведь ясно, куда они отправляются, должно же быть какое-то сострадание?! Так что пусть уж отдохнут в комнате с токонома, а мы уж несколько дней потерпеть можем... Вот только какая погода будет вечером — не ровен час, может, отложат погрузку на корабль.

— А разве вы не могли отказаться от постоя, ведь вашу семью так уважают в городе...

— Да как тебе сказать... Вот если б кто заболел, тогда уж мы, конечно, отказались бы, не посмотрели бы ни на какие приказы.

Тетушка зажимает кимоно и трясет его, расправляя складки. И потом голосом, в котором сквозит явное недовольство, изрекает:

— Староста соседской пятидворки[1] пришел с таким видом, словно мы просто обязаны пускать на постой, раз в доме столько комнат. Возмутительно! Неужто он всерьез думает, что чем больше он людей пришлет, тем больше мы будем радоваться?

— Ну может, и хотел так сказать, да ведь не сказал же...

— И слава Богу! Но выслуживается-то как — можно подумать, побольше пришлет на постой, так важней его в городе никого и нет.

— А что тут поделаешь? Гостиницы все забиты, волей-неволей приходится просить жителей, чьи дома у гавани, чтобы пустили к себе военных.

— Наш хозяин, да и вы, госпожа, слишком добренькие, никому отказать не можете. Вот что меня раздражает. Можно войти в положение тех, кто ждет погрузки, тут я с вами, госпожа, согласна. Но я говорю о старосте — его-то иногда надо ставить на место.

Прошлую неделю Хисаси спал в одной постели с родителями в комнатушке, где стояла статуэтка Будды и хранились посмертные таблички с именами предков, одновременно комната служила проходом в кладовую.

[1]Пятидворка (топаригуми) — объединение жителей соседних (пяти) домов. Создавались в годы войны с целью взаимопомощи, а подчас и для взаимной слежки.

Мальчик был вполне доволен переменой — ему казалось, он путешествует с родителями. Хотя, конечно, Хисаси уже не маленький — через два года ему предстоят экзамены в среднюю школу.

Как уведомил их староста пятидворки, при приеме на постой военнослужащих, ждущих отправки на фронт, семья, получившая соответствующую разнарядку, не обязана заботиться об их питании или готовить им баню, достаточно предоставить помещение для ночлега и постельные принадлежности. На таких условиях члены соседских общин и принимали к себе на постой военных.

Военные постояльцы уже не раз останавливались в доме Хисаси — только на одну ночь или, как на этот раз, на целую неделю. Приезжали преимущественно офицеры, хотя иногда в сопровождении солдат, причем не более пяти человек.

Простую уборку во дворе и вокруг дома делал старик, приходивший к ним уже много лет подряд, по дому же помогала молодая женщина, приехавшая для того, чтобы поучиться хорошим манерам, но недавно она уехала домой, чтобы ухаживать за больными родителями, и так и не вернулась, так что все заботы по хозяйству легли на плечи все той же тетушки, что постоянно жила в их доме.

Тетушка, понятно, была не в восторге от квартирантов — приходилось обстирывать их, к тому же в доме стояла непереносимая вонь от солдатских сапог. Хорошо хоть белье сохло быстро, а вот когда на цементном полу в прихожей выстраивались пять пар сапог, то просто невозможно было пройти мимо.

Матери Хисаси было непонятно, чем руководствуется староста при расквартировании, сколько военных приходится на один дом. Почему-то некоторые семьи, у которых тоже было достаточно комнат, освобождались от постоя. Бывало и так, что староста многозначительно сообщал, что на этот раз он пойдет навстречу и постояльцев будет поменьше, но мать и не думала его благодарить.

В соответствии с разъяснением старосты в доме Хисаси военных не кормили и баньку для них не топили, тем не менее мать не упускала случая проявить присущее ей гостеприимство — поила чаем, угощала сладостями. Иначе она не могла. Одни офицеры ограничивались чаем. «Мы не должны причинять вам излишних забот», — благодарили они, так и не дотронувшись до домашнего печенья. Другие с удовольствием угощались сладостями и просили еще одну чаш-

ку чая. По-разному воспринимали семейный прием будущие фронтовики. Каждый раз, наблюдая за ними, мать Хисаси чувствовала, как комок подступает к горлу.

Поначалу, когда только-только появились первые постояльцы, мать Хисаси угощала их домашними кусамоти[1]. Тогда еще вместе с офицерами приезжали и солдаты. С появлением постояльцев забот у Хисаси не прибавилось, поэтому неудивительно, что общение с ними ничего, кроме удовольствия, ему не приносило.

Сколько Хисаси себя помнил, у них в семье на Новый год всегда толкли рис для моти, причем специально для этого приглашали рабочих с отцовской фабрики. На заднем дворе складывали из кирпичей очаг с котлом и на пару варили в нем клейкий рис, затем перекладывали его в чугунную ступу. Тут-то и начиналось подлинное новогоднее действо — холодным зимним вечером двое мускулистых парней, став друг против друга и подбадривая себя громкими выкриками, начинали по очереди опускать в ступу тяжеленные песты. К небу поднимался пар, окутывая лица молодцов. А вот подливать холодную воду было обязанностью тетушки.

Обдуваемые предновогодним ветром, Хисаси с мамой подбрасывали дрова в очаг, так, чтобы рис весь пропах дымком, а потом мальчик бежал в комнаты положить на буддийский и синтоистский алтари подношенье для душ предков. Получал угощение и сам Хисаси — небольшую порцию горячего риса клали в черпак, заменявший обычную чашку. Иногда предоставлялась возможность и поболтать с рабочими парнями. Словом, весь день он был занят и приятно уставал. А работники, придя в хорошее настроение от праздничного сакэ, вовсю орудовали пестами, дыша перегаром.

В этот единственный день комнату Хисаси для занятий и прилегающую к ней просторную веранду застилали циновками поверх татами, и все остальное помещение временно превращалось в цех по производству моти — рисовых колобков. Мама и молодая служанка, переложив только что растолченный рис в деревянный ящик и быстро посыпав

[1]Кусамоти — рисовые лепешки с зеленью. Моти — праздничное блюдо японцев, изготавливается из специального, клейкого сорта риса (мотигомэ). Приготовление моти составляет часть новогоднего ритуала.

руки и моти рисовой мукой, одной рукой выдавливали рисовую массу, а другой разрывали ее на небольшие кусочки и лепили из них маленькие колобки.

Сколько ни учила его мама, у Хисаси никак не ладилось: уж очень это тонкая работа — лепить круглые моти. Пока он возился с клейкой массой, она остывала, и тогда начиналось подлинное мучение — как будто лепишь игрушки из сырой глины. Лепешки прилипали к пальцам, ладоням, твердели, и отмыть руки можно было, лишь опустив их в горячую воду.

Но процесс приготовления моти пришлось упростить после того, как стала ощущаться нехватка рабочих рук, а отец не мог не считаться с тем, что от всех требовалось самоограничение. Тогда он велел приходящему работнику построить под навесом простенькое устройство для толчения риса — теперь это делалось в каменной ступе с помощью одного песта, причем его уже не надо было держать в руках — пест поднимался нажатием ноги на педаль, и стоило отпустить ногу, как пест сам собой опускался в ступу и дробил рис. Теперь можно было обойтись без мужских рук.

К тому времени, когда ввели систему постоев, в доме уже перешли на новый способ. Тетушка нажимала на педаль, мама подливала воды, а Хисаси суетился вокруг них. В результате получались рисовые лепешки с зеленью. Тетушка была довольна, поскольку можно было делать два дела сразу — толочь рис и читать книжку. Она стала даже называть себя «Киндзиро Ниномия в юбке»[1]. А свежесорванные молодые листья полыни придавали моти восхитительный аромат.

Однако тогда уже мама не могла угощать солдат благоухающими колобками — раз офицеры не дотрагивались до них, то и солдатам ничего не оставалось, как следовать их примеру.

— Благодарим за сердечную заботу! — вытягивается в струнку перед мамой Хисаси денщик, отдает ей честь в прихожей и торопливо покидает дом вслед за своим офицером.

— Какие болваны эти офицерики! — возмущается на

[1]Киндзиро Ниномия — так в народе называют Ниномию Сонтоку, ученого и земледельца первой половины XIX века. Его прилежание ставится в пример школьникам — неся за спиной вязанку дров, он продолжал читать книгу, держа ее в руках.

кухне, перемывая посуду, тетушка. — Лишать солдат такой вкусноты! Как же они будут командовать солдатами, если не хотят о них заботиться?! — продолжает ругать она бездушных офицеров.

Поначалу и мама Хисаси разделяла возмущение тетушки:

— Офицеры не только о своих подчиненных не хотят думать, им и на наши чувства наплевать!

Но потом передумала: «Нет, им тоже нелегко, им самим гораздо проще было отдать угощение солдатам». При этой мысли мама начинает жалеть не только солдат, но и их командиров.

Офицеры, покинувшие сегодня утром дом Хисаси, в представлении его мамы были совсем молоденькими — им еще и до тридцати далеко. Ранним утром денщики приводили к ним лошадей. Офицеры — их было трое — вскакивали в седла и куда-то уезжали, а вечером цокот копыт возвещал об их возвращении. По рассказу старейшины соседской группы, где-то неподалеку располагался военный гарнизон.

Каждое утро Хисаси выходил на улицу проводить всадников. Тем более начались летние каникулы, занятий в школе не было. Отец Хисаси никогда не общался с военными постояльцами, всю заботу о них он полностью переложил на плечи мамы и тетушки. Офицеры были малоразговорчивы, но как-то само собой получилось, что чаще всего их собеседником оказывался мальчик.

Как понял Хисаси, за каждым офицером была закреплена своя лошадь. У самого высокого офицера была самая статная лошадь. На другой, лишь немного уступающей ей по стати, ездил толстяк. Хисаси забавляло то, что самому низкорослому и худощавому офицеру досталась лошадь под стать, маленькая и костлявая, но он с радостью отметил, что самая красивая шерсть была именно у нее.

Однажды высокий офицер предложил показать мальчику висевший у пояса в кожаных ножнах японский меч. Но Хисаси отрицательно качнул головой. Его интересовал не меч, а конь.

Хисаси не раз доводилось слышать, что глаза у лошадей удивительно ласковые, такие больше подошли бы зайцу. Еще больше поразило его, какой добрый у них взгляд. Когда он смотрел лошади в глаза, он часто забывал о том, что это просто животное. Но больше всего восхищала его слаженность движений их задних и передних ног. Сколько бы он

ни смотрел, он неизменно испытывал не просто ощущение чуда, а какой-то благоговейный страх перед тем невидимым, что сотворило столь совершенное существо. Все в лошади было прекрасно!

Частенько, убедившись, что поблизости никого нет, Хисаси ложился на татами и пытался подражать движениям лошади. Однако не проходило и нескольких секунд, как он беспомощно переворачивался на спину. Тем не менее кувыркание не могло остановить мальчика — он без конца повторял свои безуспешные попытки. Единственное, чего он боялся, — что кто-нибудь застанет его за этим занятием. Он был смешон самому себе — барахтается с голым пузом, задрав кверху руки и ноги, словно майский жук, перевернутый на спину.

Возможность изо дня в день наблюдать рядом с собой сразу трех лошадей пробуждала в Хисаси воодушевление. В школе на уроке рисования он изображал только лошадей. Учитель рисования постоянно хвалил его, утверждая, что Хисаси рисует лошадей лучше, чем кто-либо в классе, и что они получаются как живые. Однажды, не сказав ни слова самому автору, учитель послал его рисунок на выставку лучших творений младших школьников, устроенную некоей газетой. Рисунки Хисаси получили специальный приз. Нельзя сказать, что мальчик был не рад, но награда сама по себе его мало заботила — его больше интересовали лошади.

Школьный товарищ Хисаси попросил сделать для него рисунок — домашнее задание. «Нарисуй только половину, остальное доделаю я сам, — сказал одноклассник. — Иначе учитель догадается, и тебе тоже попадет». Неизвестно, сколько раз Хисаси рисовал лошадей для товарища, но ни разу не испытал чувства, что рисует для другого. Он был одержим одной мыслью — как бы поглубже изобразить доброту глаз лошади, удивительную смену движений ее четырех ног. Чем больше погружался он в рисование, тем добрее и ласковее представлялись ему глаза живой лошади, тем восхитительней был ее бег. Рисуя, он то приближался к живому облику лошади, то, наоборот, отдалялся от него. Лишь в процессе рисования Хисаси испытывал волнение и радость — и каждый раз тревогу.

У отца были свои причины выдавать мальчику каждый день лишь по листку бумаги. Сыну он объяснял это тем, что не следует попусту тратить бумагу. На самом же деле он беспокоился о его здоровье. В глубине души отец был доволен, что Хисаси настолько увлекся рисованием, что, не

ограничиваясь домашним заданием, отдает ему все свободное время, тем не менее он решил, что, если будет выдавать мальчику по одному листку в день, тем самым поставит его в определенные рамки. Так и договорились — один листок, и не больше.

Было и еще одно соображение: пусть Хисаси постоянно мечтает о лишнем листке бумаги — это только отточит его способности.

В то время как о всех школьных принадлежностях Хисаси заботилась мама, рисовальная бумага находилась в ведении отца. «Наверное, потому, что никакого отношения к школе она не имеет, — думал мальчик. — И стол такой огромный, столько ящиков в нем и так много бумаги для рисования, а папа так скупится на нее!» — сетовал Хисаси. Стол был действительно большим, с тремя выдвижными ящиками с каждой стороны, и все запирались на ключ.

В одном из ящиков, по всей вероятности, хранились важные бумаги, связанные с фабрикой. В другом отец держал палочки для чистки ушей, пинцеты для выдергивания волос и для других нужд и, наконец, увеличительные стекла. Последних было особенно много, разных видов. Были лупы с двумя, тремя линзами, их можно было совмещать или же, наоборот, раздвигать. В том же ящике отец хранил несколько импортных авторучек. Каждое утро, перед тем как встать, еще в постели, отец имел обыкновение записывать в дневник события предыдущего дня. И пользовался он только заграничными ручками.

Еще в одном ящике, о котором знал Хисаси, покоился увесистый альбом с марками разных стран, там же лежало несколько университетских конспектов и масса завернутых в целлофан, неразобранных зарубежных марок. Отец, очевидно, где-то заказывал такие марки, и их ему регулярно присылали.

В выходные дни отец, бывало, подзовет сына к столу и спрашивает:

— Хочешь взглянуть на новые марки?

Хисаси, чуть не ложась на стол, отвечал: «Конечно, хочу!», после чего отец аккуратно, по одной, вынимал пинцетом только что полученные марки и раскладывал их на специальной белой бумаге. Марки были и с гашением, и чистые. Не вдаваясь в объяснения, папа лишь время от времени замечал:

— Вот это действительно редкость! — Или же: — Цвет неплохой, как ты думаешь?

Иногда протягивал Хисаси лупу, чтобы тот как следует рассмотрел рисунок.

На мальчика действовало умиротворяюще то, как отец возится с заграничными марками, радуется каждому новому приобретению, хотя тот предпочитал только свое, национальное, дома никогда не ходил в европейской одежде, да и на улице, за редким исключением, предпочитал носить кимоно.

Хисаси до сих пор помнит, как наставлял его отец, когда он только-только начал ходить в школу:

— Если тебе вдруг придется идти по темной улице, сожми руки в кулак и загороди ими лицо. Когда тебе угрожает враг, в первую очередь защищай глаза!

Больше Хисаси не мог вспомнить случая, когда отец давал бы ему конкретные советы.

Рисовальная бумага лежала в самом нижнем ящике стола, в левой тумбе. Что же касается содержимого остальных двух ящиков, то оно не было известно Хисаси. Да и весь этот громадный стол с ящиками, запертыми на ключ, представлял для мальчика такую же загадку, как и его суровый отец.

Это случилось три дня назад, вечером.

Вернувшиеся верхом офицеры немного передохнули в гостиной, после чего самый высокий из них от имени всей тройки обратился к маме Хисаси:

— Извините за беспокойство, которое мы причиняли вам столь длительное время. До нашего отъезда осталось каких-нибудь два-три дня. Перед отплытием мы хотели бы посетить местный храм и взять с собой Хисаси. Отпустите его с нами на весь завтрашний день. За него можете не беспокоиться.

Еще в младших классах Хисаси несколько раз бывал в синтоистском храме, о котором говорил офицер. Весной там было много посетителей, приходивших полюбоваться цветением вишни, приезжали и паломники из дальних мест. Неподалеку протекала река. Мама Хисаси поблагодарила офицеров:

— Большое спасибо. Сын мой, конечно, будет очень рад, но мне следует дождаться мужа и посоветоваться с ним. Тогда я вам дам окончательный ответ. — С этими словами мама вышла из комнаты.

— Ну как, Хисаси? — спросила она сына. Тот был вне себя от радости — подумать только, целый день с лошадьми!

— Конечно, поеду! — ответил он, но ему не терпелось

узнать подробности от самих офицеров. — Завтра тоже на лошадях?

— Завтра на электричке! — Ответ рослого офицера разочаровал мальчика.

Тем не менее детским сердцем своим Хисаси, пусть не совсем отчетливо, но не мог не понять, что ожидает военных после того, как они покинут их городок, и что его отказ сильно огорчит их. Но было и раздражение: «Чего ради они тащат меня с собой?! Эти военные не здешние, и наш храм для них в новинку. А вишни знаменитые? Цветы давно осыпались, остались одни листья. Пройдешь под ними, и тебя всего козявки обсыпят. И все же я поеду с ними! Решено! Если папа не станет возражать, я стану их провожатым».

Шел уже десятый час, когда на следующее утро Хисаси с полной холодного ячменного чая фляжкой (о чем позаботилась мама) вышел из дома вместе с военными.

— Вы за ним проследите, будьте добры, пожалуйста! — согнулась в глубоком поклоне мама, обращаясь к офицерам.

Хисаси был очень благодарен им за то, что ни в электричке, ни на улице они почти не проронили ни слова. У него всегда портилось настроение, когда на пути домой после занятий ему встречалась тетушка, возвращавшаяся с покупками, и засыпала его вопросами, на которые требовалось тут же отвечать: «Ну как было сегодня? Завтрак съел полностью?» — или же: «Вечером будут гости с фабрики! А мыться когда будешь — до обеда или после?» Хисаси почему-то стыдился, когда домашние окликали его на улице. Более того, он предпочитал отмалчиваться, считая, что разговаривать на ходу неприлично. Причем он хотел, чтобы так поступали и остальные — и молодая служанка, и даже мама.

Офицеры шли не особенно быстро, но широким шагом, поэтому Хисаси с трудом поспевал за ними. Шли они в ногу, несмотря на то что были разного роста. Это обстоятельство вызывало восхищение у мальчика: «Вот что значит военная выучка!» Попадавшиеся навстречу солдаты, печатая шаг, отдавали честь офицерам. В ответ те резко поднимали руки в белых перчатках. Шагать рядом с ними было сплошное удовольствие!

Когда вышли на дорогу, ведущую к храму, открылся вид на реку. Коней там не было.

Словно оправдываясь, Хисаси сказал офицерам:

— Кавалеристы купают здесь своих лошадей, но это только после занятий на плацу, а сейчас, пожалуй, рановато, никого не видно...

Хисаси не раз был свидетелем зрелища, которым мог наслаждаться без конца: выстроившиеся в шеренгу всадники, поигрывая поводьями в лучах заходящего солнца, медленно спускаются по откосу в реку. Короткий привал. Словно слившиеся с лошадьми фигуры кавалеристов золотистым цветом отражаются на водной поверхности, колышутся вместе с течением реки. Мгновения, когда люди и лошади застывают на месте, словно стройные ряды ханива — глиняных фигурок древних воинов, которые находят при раскопках курганов.

Четверо ненадолго присели на берегу реки, в которой на этот раз не было коней.

Хисаси рассказал офицерам, что он с друзьями часто приходит на расположенный поблизости кавалерийский плац, чтобы запускать модели самолетов, и со всеми подробностями объяснил им, с какого направления и каким образом выходят сюда, к реке, после окончания учений всадники.

— За что же ты, Хисаси, так любишь лошадей? — спросил офицер, тот, что повыше. — Наверное, за то, что они умные...

— Насколько же они умные? — в свою очередь спросил Хисаси.

— Иногда умнее человека, — ответил толстый офицер.

Худой офицер только тихонько посмеивался, слушая их беседу, и немного спустя проронил, словно разговаривал с самим собой:

— Хоть говорить они не умеют, зато могут выразить все телодвижениями. И мысли человека читают...

Вишневые деревья в храмовом парке уже отцвели и покрылись густой листвой.

Когда Хисаси бывал здесь раньше, он встречал раненых из военного госпиталя — их отпускали сюда на свидание с родными. Они обычно сидели на скамейках, в белых халатах и армейских сапогах. Но, наверно, из-за того, что время было еще дообеденное, ни раненых, ни их родственников нигде не было видно. У мальчика отлегло от сердца. Он и не мог предположить, что в парке будет так спокойно.

Сняв фуражки и опустив головы, три офицера долго стояли перед Главным храмом. Стоявший позади Хисаси последовал их примеру и тоже опустил голову. Он знал, что за храмом находится кладбище погибших на фронте, и потому нервничал — ему хотелось побыстрее увести отсюда офице-

ров, чтобы избавить их от печальных мыслей. Тем более что пока еще паломников на территории храма было мало.

Был уже вечер, когда Хисаси, покрытый легким загаром, вернулся домой. Под мышкой он нес альбом рисунков с изображением боевых коней. Высокий офицер сказал маме:

— Благодарю вас! Возвращаю вам Хисаси целым и невредимым.

На расспросы матери, как он провел этот день, мальчик отвечал односложно, без подробностей. Сказал, что после посещения храма они поехали за город на электричке, вернулись, пообедали в городе, потом зашли в самый большой книжный магазин, где офицеры купили ему этот альбом, хотя он вовсе его не выпрашивал. Вот, пожалуй, и все.

При всем том, что у Хисаси не было сколько-нибудь запоминающегося разговора с офицерами, он ощутил, что после дня, проведенного в их обществе, стал относиться к ним совершенно по-иному. В какой-то момент общение с ними перестало быть ему в тягость. Потому и матери не мог толком доложить, как провел день.

— Доволен, что поехал? — На этот вопрос матери ответил утвердительным кивком, но полной уверенности не было.

Сегодня утром после отъезда офицеров Хисаси закрылся в своей комнатке и самозабвенно принялся рисовать трех лошадей. Сегодня он не хотел изображать их недвижными, застывшими. Он хотел, чтобы три боевых коня, которых каждое утро приводили к офицерам, скакали бы во весь опор. Иными он их не видел — они должны нестись вперед! И пусть не только грива, но и вся шерсть, от холки до хвоста, ерошится на ветру!

Спустя примерно месяц на адрес отца Хисаси пришло письмо, подписанное тремя офицерами. В конверт была вложена фотография и небольшая записка, в которой они выражали благодарность за теплую заботу о них во время пребывания в городке, сообщали, что они все здоровы, выполняют свой воинский долг и желают счастья всей семье.

Снимок был сделан в храмовом парке, на фоне густо разросшихся вишен. Позади Хисаси, который расположился посередине, стоял высокий офицер. Пригнувшись, положил руку на плечи мальчика. Справа, держась рукой в белой перчатке за рукоятку меча, стоял толстяк, а слева — худощавый

офицер. Почему-то он один, задрав голову, смотрел совсем в другую сторону.

На обратной стороне конверта не было обозначено местопребывание офицеров, было только название воинской части, которое и служило адресом. На лицевой стороне был поставлен штамп: «Проверено цензурой». Раздумывая над смыслом того, что из всей семьи три офицера избрали его одного для прощания, Хисаси ощутил, как на него внезапно нахлынул неудержимый поток печали. Он понял, что в этот момент он сделал шаг в новый, неведомый прежде мир чувств. Он погрузился в мысли, которые не мог поведать ни отцу, ни матери.

СЭЙКО ТАНАБЭ

ЖОЗЕ, ТИГР И РЫБЫ

— Ой, мост!.. Ой, смотри, море! — радостно вскрикивает Жозе, ловя ртом воздух. (Жозе вообще очень быстро начинает задыхаться — и при легкой простуде, и просто от смеха или волнения. Кажется, будто кто-то не дает ей вдохнуть. Скорее всего, это связано с ее болезнью, но толком никто не знает. С детских лет Жозе не ходит — одни врачи утверждали, что тому виной церебральный паралич, другие заявляли, что паралич здесь ни при чем, причина болезни, мол, непонятна. Врачи все спорят и спорят, а Жозе тем временем исполнилось уже двадцать пять.)

А сейчас Жозе просто захлебнулась встречным потоком воздуха — хотела крикнуть во все горло, а получилось еле слышно, слова проглотил ветер.

— Жозе, ну-ка закрой окно! Опять тебе плохо будет, — прикрикивает на нее Цунэо, и Жозе поспешно нажимает пальцем на одну из кнопочек, что расположены в ряд на дверце машины, — стекло ползет вверх. Раньше им попадались автомобили, в которых стекло надо было поднимать, вращая ручку. Эти рукоятки никак не желали слушаться Жозе, а сегодня повезло — взятая напрокат машина оборудована по последнему слову техники. Жозе нравится жать на кнопки, и она поднимает и опускает стекло несколько раз подряд.

— Не балуйся, дуреха! — улыбается Цунэо.

— Никогда раньше такого не видела, — удовлетворенно заявляет Жозе.

— Подумаешь. Сейчас еще и не такие машины есть.

— Жозе не о том, она о поездке. Никогда не видела такой красоты, как здесь.

— Я тут тоже впервые.

— Ты — совсем другое дело. Для Жозе увидеть что-нибудь впервые — целое событие. Она и море-то видит второй раз в жизни.

— Скажите пожалуйста, какая задавака. Если уж на то пошло, мы оба впервые в жизни совершаем, можно сказать, свадебное путешествие — ты и я.

— Ха-ха, как бы не так.

— Ты что, уже ездила с кем-нибудь?

— Не твое дело. Жозе есть что вспомнить в жизни, не то что господину надзирателю.

— Балда.

Если Жозе называет Цунэо «надзиратель», значит, она в прекрасном расположении духа. Прозвище это возникло так. Однажды, когда они собирались на прогулку, Цунэо зашел в туалет. Жозе надоело его ждать, и она забарабанила в дверь:

— Эй, хватит ерундой заниматься! Жозе надоело ждать! Выходи живее!

Цунэо отозвался:

— Полегче! Ты как с мужем разговариваешь?

— Тоже мне муж!

— Здрасьте, а кто я тебе?

— Надзиратель, вот ты кто! — выпалила Жозе, и ей это словечко настолько понравилось, что с тех пор в хорошие минуты она только так Цунэо и звала: «Эй ты, надзиратель!» Цунэо и сам уже стал говорить про себя: «С нашей, надзирательской, точки зрения...» У него вообще характер легкий, покладистый, он и к имени «Жозе» привык довольно быстро.

Однажды она вдруг заявила:

— Все, с сегодняшнего дня меня зовут Жозе. Я так решила.

— Как это — Жозе? — удивился Цунэо. — Ты же Кумико.

— А так. Имя Жозе подходит мне больше, чем Кумико. Отныне я тебе больше никакая не Куми, понял?

— Думаешь, это так просто — взяла и поменяла имя? Надо в мэрию заявление писать.

— Плевать на мэрию. Куми решила, что теперь она — Жозе, и дело с концом. Смотри, если не будешь звать ее Жозе, она откликаться не станет.

Со временем Цунэо выяснил, откуда взялось это имя. Жозе была записана в муниципальную библиотеку (инвалиды имели право пользоваться ею, не уплачивая вступительного взноса) и открыла для себя Франсуазу Саган. Первую ее книгу Жозе взяла по ошибке, решив, что это детектив. Стала читать — понравилось, и со временем она перечитала все произведения французской писательницы. Там ей и попалось имя Жозе — так звали одну из героинь. Кумико Ямамура решила, что «Жозе Ямамура» будет звучать несравненно изысканней. Ей казалось, назовись она по-новому, и с ней обязательно произойдет что-то очень хорошее. А может быть, все наоборот: хорошее уже произошло, и Кумико считала, что новая жизнь требует нового имени. Ведь хорошее тоже имело имя — Цунэо.

Поначалу Цунэо принял эту выдумку в штыки: «Что еще за Жозе такое?» (романов он не читал, и никаких ассоциаций имя Жозе у него не вызывало, а ломать язык было неохота), но сопротивление его длилось недолго, и скоро он привык.

Жозе случалось и прежде, насмотревшись телевизор, перенимать то манеру говорить, то жесты разных актрис и звезд эстрады, но изменить собственное имя ей раньше в голову не приходило.

У Жозе с детства выработалась привычка говорить о себе в третьем лице. Когда отец женился и привел в дом мачеху, ее трехлетняя дочка только начинала разговаривать и называла себя по имени и «она», как это бывает иногда у маленьких детей. Видя, как отец и новая мать умиляются, слушая лепет младенца, Жозе, которой в то время было уже четырнадцать, тоже стала говорить про себя «она» и «Куми», надеясь завоевать расположение родителей. Но это не помогло, вид прикованной к каталке девочки-переростка (а у Жозе к тому времени уже и месячные начались), сколько она ни коверкала язык, умиления у мачехи не вызывал, и та быстро спровадила падчерицу в приют для детей-инвалидов. На первых порах отец навещал Жозе довольно часто, потом реже, а со временем совсем перестал приходить. Но привычка говорить о себе в третьем лице так и осталась.

Матери Жозе не помнит — та бросила семью, когда девочка была совсем крохотной. В приюте она прожила до семнадцати лет, а потом ее забрала к себе бабушка, мать отца, вдвоем с которой они и поселились в городском пригороде. Бабушка жалела Жозе, но одно только было плохо: уж больно она стеснялась перед соседями, что у нее внучка

такая калека, и вывозила девочку на прогулку только вечером, когда стемнеет. Бабушка тихонько открывала заднюю калитку, выкатывала коляску на улицу, но сил у нее было маловато, и прогулки эти давались ей нелегко. А Жозе так хотелось подышать воздухом, особенно весенними и летними вечерами.

Как-то они оказались возле мелочной лавки, которая еще не закрылась; бабушка оставила Жозе у дверей, а сама пошла что-то купить — не то стиральный порошок, не то салфетки. Улица в этом месте шла под уклон. По сторонам тянулись длинные заборы, шумели кронами деревья. Было уже совсем темно. Жозе вдруг почувствовала, что у нее за спиной кто-то стоит, и в следующий момент коляска тронулась с места и, набирая скорость, покатилась под уклон по мостовой. Потом Жозе утверждала, что ощутила у себя за спиной присутствие чего-то злого и страшного. Цунэо спорил с ней, по его мнению, это была идиотская шутка какого-нибудь подвыпившего подонка. Но Жозе его не слушала, за годы, проведенные в семье отца и в приюте, она научилась безошибочно чувствовать злобу и враждебное отношение.

На самом деле все произошло так: проходивший мимо мужчина вдруг, не говоря ни слова, толкнул коляску под уклон и тут же скрылся. Коляска сначала медленно, потом быстрее понеслась вниз по улице. Выскочившая из лавки бабушка, крича от ужаса, побежала за коляской, но где ей было догнать. Сама же Жозе так перепугалась, что потом ничего не могла вспомнить. Она успела ощутить только одно — тяжесть исходившей от незнакомца ненависти — и, сжавшись в комочек, пронзительно визжала на одной ноте.

Шагавший вверх по ступенчатому тротуару парень, заслышав крики и разобравшись в ситуации, бросился наперерез и остановил коляску. В этом месте спуск как раз был более отлогим. И все же парня сбило с ног, швырнуло на асфальт — зато коляска остановилась, даже не перевернувшись. «Вы целы?» — спросил парень, поднимаясь на ноги. Жозе сидела не шевелясь и молчала. Она задыхалась от потрясения и все никак не могла справиться с приступом удушья. Глядя на мертвенно-бледное лицо, не на шутку перепугавшийся парень спрашивал еще что-то, но Жозе не слышала его. Только когда подбежала бабушка, девушка немного пришла в себя.

— Как только таких сволочей земля носит! — возмущался парень и предложил докатить коляску до дома — на

всякий случай. Так Жозе и познакомилась с Цунэо. Он тогда был еще студентом и снимал неподалеку комнату.

С тех пор Цунэо, когда у него выдавалось свободное время, стал заходить за Жозе и брать ее с собой на прогулки. Жозе была маленького роста и физически совсем неразвита, поначалу Цунэо принимал ее за подростка.

— Чудная ты какая-то, Куми-тян, — удивлялся Цунэо. — Вроде девчонка девчонкой, а иногда такие вещи знаешь, что прямо диву даешься.

Когда же выяснилось, что Жозе старше его на целых два года, у Цунэо челюсть отвисла. То, что во многом она осталась «девчонка девчонкой», было сущей правдой. Жозе, ничего не видевшая, кроме дома и приюта, мало что знала о жизни. В собраниях и мероприятиях, устраиваемых для инвалидов, она не участвовала, так что новым знакомствам появиться было неоткуда. Живя в приюте, Жозе не любила откровенничать с сиделками и молодыми людьми из числа добровольных санитаров, поэтому они обращали на нее мало внимания, а то и вообще забывали о ее существовании.

Знание жизни Жозе черпала из книг и телепередач. Она часто хвасталась Цунэо, какой большой дом был у ее отца, с прудом, в котором плескались карпы, с качелями на зеленой лужайке. Эта картина была из другого мира — мира книг и телеэкрана. В школу Жозе никогда не ходила, но отец научил ее катакане, хирагане[1] и кое-каким иероглифам, а дальше она училась уже по книгам сама. Она и английский освоила, читая сказки. Еще они с отцом часто играли в сёги[2]. Когда же папа был на работе, девочка любила слушать по радио трансляции бейсбольных матчей. Ей так хотелось увидеть игру собственными глазами, что однажды отец посадил ее к себе на спину и отнес на стадион. В тот день Жозе увидела и знаменитого питчера Мураяму, и своего любимого Ёсиду. А может, и не в тот — с годами все матчи перемешались у нее в памяти: и виденный на стадионе, и транслировавшиеся по радио или телевизору.

— А в конце матча полил дождь, — рассказывала Жозе. — И папа посадил меня к себе на колени, а сверху накрыл своим пиджаком.

На самом деле ничего этого не было — просто когда-то, еще в приюте, Жозе видела по телевизору матч, про-

[1]Катакана, хирагана — слоговые азбуки в японском языке.

[2]Сёги — японские шахматы.

ходивший под дождем, и ей запомнилось, как мокнущие на трибунах зрители сидели, закрывшись от ливня газетами или натянутыми на головы пиджаками. С годами пласты памяти сместились, и теперь она была уверена, что это их с отцом застал когда-то на стадионе дождь.

— Мой папа знаешь какой добрый, — часто говорила она Цунэо, — он для Жозе все-все делал.

Однажды Цунэо, желая пошутить, возьми и брякни:

— Раз он такой добрый, чего ж в приют-то тебя сплавил?

— Дурак! — взвилась Жозе. — Кретин! Иди ты знаешь куда! Где тебе понять такие вещи?!

От гнева она начала задыхаться, Цунэо был вынужден умолкнуть и впредь этой темы не касался. Он понял: рассказы Жозе не ложь, а фантазия, несбывшиеся мечты, неисполнившиеся желания, которые живут в душе своей, обособленной от реального мира жизнью.

Бабушка и Жозе едва сводили концы с концами, живя на пособие, но охотно подкармливали нищего студента. Цунэо неделями сидел на одном рамэне[1], и бабушкина стряпня казалась ему пищей богов. Он с волчьим аппетитом проглатывал ее немудрящие закуски: сирааэ[2] со шпинатом и конняку[3], суп мисо[4] или варенную с редькой каракатицу. Постепенно Цунэо стал бывать в доме все чаще.

Жозе расспрашивала его о непонятных вещах, встречавшихся ей в книгах. Хоть она и не могла ходить, но верхняя половина тела была развита нормально, и Жозе читала сама — не то что полностью парализованные, которым приходится пользоваться книгами-кассетами.

Но на первых порах Цунэо больше всего поражала не страсть Жозе к чтению, а ее непонятная отстраненность от всего на свете. Он никогда близко не сталкивался с инвалидами, но один из его приятелей, имевший отношение к системе социального обеспечения, много ему о них рассказывал. По словам приятеля, у всех инвалидов сильно ощущение, что они подвергаются дискриминации со стороны общества, поэтому среди них много людей озлобленных. Однако в Жозе Цунэо никакой горечи не замечал. Она просто не выносила толпы и жила тихо и одиноко, не при-

[1]Рамэн — дешевая китайская лапша.

[2]Сирааэ — вареное мясо или овощи под специальным соусом.

[3]Конняку — пастообразная приправа.

[4]Мисо — суп из перебродившей бобовой массы.

нимая участия в митингах и демонстрациях, которые то и дело устраивали ее товарищи по несчастью, пытаясь добиться улучшения своего положения.

Возможно, ее любовь к уединению отчасти возникла потому, что бабушка так редко вывозила ее на прогулки. Когда в дом приходили чужие — служащие муниципалитета или посыльные из магазинов, — Жозе никогда с ними не разговаривала.

Так и вышло, что Цунэо стал для нее единственным окошком во внешний мир. Он возил ее в баню (Жозе пускали туда только перед самым закрытием, в одиннадцать вечера, когда посетителей уже не было), ждал, пока она выползет обратно на порог, и усаживал на коляску. Потом она дожидалась, пока помоется он, и встречала его недовольным ворчанием:

— Ну что ты там застрял? Я закоченела вся. Опять, наверное, простыла.

Беззлобно переругиваясь с ней, Цунэо катил коляску домой. Он давно понял, что за брюзжанием и капризами Жозе пыталась скрыть признательность и нежность. Но упаси Боже сказать ей об этом — она разразилась бы гневным криком, начала бы задыхаться... Да и не хватило бы у Цунэо тонкости и красноречия выразить свою догадку в словах.

И еще Цунэо поражала так мало сочетавшаяся с ворчанием красота белого точеного личика Жозе — ну точь-в-точь как у куколки «итимацу». По сравнению с Жозе остальные девушки — взять хотя бы студенток — казались ему здоровыми и сильными самками, чуть ли не секс-бомбами. Когда же Цунэо гулял с Жозе, у него возникало ощущение, будто он везет не живую девушку, а старинную драгоценную куклу, бесценную реликвию какого-нибудь знатного рода. Пожалуй, Жозе все-таки шла безапелляционная и деспотичная манера, в которой она разговаривала со своим приятелем.

Поначалу в доме бабушки не было ни водопровода, ни канализации, но вот наконец отдел социального обеспечения муниципалитета выделил средства, и рабочие встроили ванную и туалет. Около унитаза поставили специальную подставку и поручень, чтобы Жозе было удобней. Она принимала самое активное участие в разработке проекта этой ответственной конструкции, все ее пожелания и замечания рабочим передавал Цунэо. То подставка была высока, то поручень низковат — угодить Жозе было трудно, и Цунэо каждый раз ходил просить:

— Вы уж, ребята, извините, но надо будет еще разок переделать все заново...

Бабушке исполнилось восемьдесят, ей было уже трудно управляться на кухне, и Жозе пришлось самой заниматься стряпней. Сидя в коляске, она не доставала до стола, и Цунэо, любивший поработать руками, сделал ей специальный столик, спустил пониже шкафчики и полки, вообще переоборудовал всю кухню, чтобы Жозе могла хозяйничать прямо с коляски. Но временами она требовала от него слишком многого, и Цунэо только разводил руками:

— Это чересчур сложно, мне не сделать.

Но денег нанять настоящего плотника в доме все равно не было, и приходилось довольствоваться скромными возможностями Цунэо.

Жозе научилась готовить, только это занимало у нее очень много времени. Ей требовалась целая вечность, чтобы нарезать овощи, но блюдо в конце концов получалось — пальчики оближешь. Она и стирать стала, даже белье развешивала сама на специально сколоченную Цунэо сушилку. На улицу Жозе без посторонней помощи выходить не могла, но по дому передвигалась, опираясь на костыли, так что с хозяйством кое-как управлялась. Костыли, сконструированные Цунэо, внизу имели широкие опорные пластины, как у снегоступов, и Жозе никогда с них не падала. Было и еще одно приспособление — она называла его «самокат». Цунэо притащил однажды с помойки старый пылесос и сделал из него нечто вроде тележки, на которой Жозе могла ездить по дому. Только надо было соблюдать осторожность — стоило разогнаться побыстрей, как «самокат» тут же заваливался набок.

Может создаться впечатление, что Цунэо целыми днями просиживал с Жозе, но это было не так. Он жил обычной студенческой жизнью — учился, ездил в путешествия, навещал своих родных, живших в префектуре Хиросима, любил покататься на лыжах. После получения диплома ему пришлось изрядно побегать в поисках работы, и за все это время он ни разу не выбрался к Жозе. Наконец место нашлось — должность клерка в мэрии соседнего городка. После долгого перерыва Цунэо отправился в знакомый дом, но там теперь жили другие люди.

— Старушка умерла, — объяснили ему. — А внучка, та, что калека, переехала на какую-то квартиру, ей выплачивают пособие.

Цунэо отыскал дом по указанному адресу. У подъезда,

прикрытая от дождя полиэтиленом, стояла коляска. Когда Цунэо постучал в дверь, в коридор выехала Жозе на «самокате», отталкиваясь от пола «снегоступами». Личико ее осунулось больше прежнего, подбородок заострился, глаза стали огромными, как всегда коротко подстриженные волосы утратили блеск. Голодает, подумал Цунэо, и, хотя никто не поручал ему заботиться о девушке, сердце заныло от сознания собственной вины.

— Ты прости меня, очень занят был. Совсем закрутился, даже зайти не мог. Не сердись... Бабушка, значит, умерла?

— Ага.

Жозе вовсе не казалась грустной или обиженной. Зная вздорный характер своей приятельницы, Цунэо был уверен, что она обрушит на него град упреков, да еще и закатит рев по умершей бабушке, но Жозе была на удивление спокойна и бесстрастна.

— Похороны устроил муниципалитет, — рассказала она. — Квартиру найти было непросто. Мало того, чтоб дешевая была, надо же еще, чтобы без лестницы.

— Так и живешь тут одна?

— Раз в месяц приходит женщина из благотворительной организации, делает покупки.

— А соседи как, ничего?

— Гады, все как на подбор. Даже не заговаривают со мной, боятся, попрошу их о чем-нибудь. А на втором этаже живет один гнусный старикашка. Хихикает подленько так и нашептывает: «Дай за грудки потискать, что хочешь для тебя сделаю». Она его боится — вечером запирается на все замки. Днем ничего, днем этот тип пропадает на бегах...

Цунэо улыбнулся, услышав вместо «я» знакомое «она». Оттого что Жозе была так непривычно спокойна, он еще острее ощутил весь ужас ее существования после смерти бабушки. От жалости сдавило сердце, и Цунэо отвернулся, делая вид, что рассматривает комнату. Шкаф, полки, зеркало и всю прочую мебель, принадлежавшую бабушке, Жозе продала перед переездом, чтобы наскрести денег на плату за квартиру.

— У Куми теперь вместо мебели картонные коробки, — показала она. — Их хоть двигать можно с места на место, ни к кому не обращаясь за помощью. Смотри, какие они красивые, Куми их на рынке подобрала.

Она составила коробки одна на другую, вырезала стенку с одной стороны, и получилось нечто вроде шкафа с открытыми полками. Снаружи Жозе обклеила свой «шкаф» цвет-

ными картинками из дамского журнала, который, если ей верить, она стащила из приемной зубного врача. В небольшой десятиметровой комнате вещей почти не было, но все равно казалось, что в ней жуткий беспорядок; теперь Цунэо понял, это из-за разноцветных коробок.

— Слушай, — вздохнул он. — Ты что, ничего не ешь, что ли? Гляди, как отощала. Щеки вон ввалились.

— Жалеть вздумал? — сердито отвернулась от него Жозе. — Можешь не беспокоиться, уж еду приготовить она как-нибудь сумеет.

Цунэо не хотел сказать ничего обидного, но самолюбивая Жозе надулась не на шутку. Это уже потом, много позже, Цунэо узнал, что Жозе всегда очень гордилась своей белоснежной, словно присыпанной мукой, кожей и своим кукольным личиком, считая себя необыкновенной красавицей. И тут вдруг — «щеки ввалились». Обида была нешуточной. Осыпаемый бранью, Цунэо встал и, пожав плечами, сказал:

— Ну ладно, я еще зайду.

— Можешь не заходить! Нечего тебе сюда шляться! — злобно крикнула Жозе.

— А-а... Ну, счастливо тогда.

Хочешь не хочешь, надо было уходить. Когда он надевал в прихожей обувь, Жозе, задыхаясь, воскликнула:

— Ты что же, вывел ее из себя, а теперь имеешь наглость еще повернуться и уйти?

— Да ты же сама...

— Ничего не желаю знать!

— Ладно, я пошел...

Тут в спину Цунэо полетел деревянный «снегоступ». Обернувшись, он увидел, что в огромных глазах Жозе стоят слезы.

— Куми-тян! — пробормотал он растерянно, а она, глядя на него сквозь слезы, сказала дрожащим голосом:

— Ну и уходи. Скорее... И больше не приходи.

Но теперь Цунэо уйти уже не мог, видя, как она задыхается от волнения. Он осторожно подошел к ней, и Жозе вдруг обхватила его руками.

— Не хочу, чтоб ты уходил! Побудь еще немножко. Хоть полчасика! Мне так скучно одной. Телевизор я продала, радио сломалось...

— Чего-чего? Я тебе что, вместо телевизора и радио, да?

— Ты лучше, чем радио, — улыбнулась она сквозь слезы. — С тобой поговорить можно.

Цунэо вдруг охватило щемящее чувство нежности к этой девушке. Перед самыми его глазами оказались ее крошечные, удивительно изящные губки, и он, не понимая, что делает, припал к ним ртом. Поцелуй длился долго, и твердые поначалу губы Жозе раскрылись, его язык коснулся ее маленького горячего язычка.

На улице было тихо-тихо, только один раз промчался, тарахтя мотором, мотоцикл.

Когда их губы разомкнулись, Жозе, часто дыша, прошептала:

— Цунэо, делай что хочешь. Она согласна.

— Ты о чем?

— Сам знаешь...

— Ты что? Я тебе не старикашка со второго этажа!

— Значит, Куми тебе не нравится?

— Чего это «не нравится»? — пробурчал он обескураженно.

— Так что же ты? Мужчина ты или нет?

— Я не затем сюда пришел...

— Ой, какой же ты зануда. Куми тоже не затем тебя ждала, но теперь все изменилась. Куми тебя любит. Она бы никому такого не сказала — только тебе. Не знаю, что будет потом, и знать не хочу, у меня такое впервые.

— Так ты серьезно?

— Дверь на ключ закрыл?

— Нет.

Цунэо поспешно бросился к двери и повернул ключ. Впервые девушка сама звала его. Ему приходилось иметь дело со студентками, но никогда еще он не видел такого тонкого, хрупкого тела. Ножки у Жозе были тоже словно кукольные — точеные, но по-женски округлые и вовсе не безжизненные. Очень скоро запас знаний, накопленный Жозе из книг и телевидения, иссяк, и она всецело доверилась Цунэо; когда все кончилось, он обнял ее и, приподнявшись, тихонько спросил:

— Не сердишься?

— Чего это мне сердиться, — ответила она. — Только все совсем не так, как Куми себе представляла.

— Лучше или хуже?

— Лучше.

— Хорошо.

Цунэо лежал, вспоминая своих мимолетных подружек из числа студенток, которых и любовницами-то не назовешь. Обычно после этого самого ему и смотреть на них ста-

новилось противно. А теперь хотелось только одного: прижать к себе маленькую голову Жозе покрепче (собственно говоря, тогда она была еще не Жозе, а Куми-тян).

— Куми любит. И тебя, и то, что ты делаешь, — сказала она, и слышать это было ему приятно. — Оставайся ночевать.

— Ладно.

— И завтра оставайся. И всегда. Будь здесь и днем и ночью.

— Нельзя, я же теперь работаю. Даже твой старикашка со второго этажа и тот днем куда-то уходит. Днем у мужчины дела.

— Если ты не будешь меня слушаться, я сейчас возьму и закричу на всю улицу. И в газету позвоню: изнасиловали беззащитную калеку. И в мэрию пожалуюсь.

— Да ну тебя.

Весь вечер они пролежали обнявшись. За незадернутыми шторами оранжевел закат, потом спустилась синяя ночь. Повернувшись на бок, Цунэо задел рукой картонную коробку.

— Что это? — спросил он и заглянул внутрь — там лежало что-то обернутое белой тканью.

— Бабушкины кости и пепел, — фыркнула Жозе.

Отец обещал забрать и похоронить, объяснила она, но все никак не соберется прийти. Эта коробка тоже со всех сторон была обклеена картинками с видами каких-то чужеземных городов.

Уходить Цунэо не хотелось, и он остался ночевать. Следующее утро выдалось ясным и чистым, стояло самое начало весны. Цунэо решил устроить Жозе прогулку — она так давно не была на свежем воздухе.

Он позвонил приятелю, и тот взял для них напрокат машину, на которую они погрузили коляску. Жозе была недовольна.

— Что это ты придумал? Не хочу я никуда из дома! Мне и здесь хорошо!

— Как бы не так, — засмеялся Цунэо и поцеловал ее. — Еще как хочешь, вот и капризничаешь.

Глядя на нее, он почувствовал, что и сам тоже охотнее остался бы дома и снова отнес ее в постель. Никогда он не видел ничего соблазнительнее этих тонких, словно игрушечных ног, притягивавших его с непреодолимой силой.

Жозе потребовала, чтобы ее отвезли в зоопарк. Один раз, еще в приюте, их возили туда на автобусе, но времени было

совсем мало, и она успела увидеть только птиц, Обезьяний остров и слона. Территория зоологического парка была необъятной, а дети-инвалиды устают так быстро.

Сегодня Жозе хотела посмотреть на тигра. Цунэо покатил ее к зверинцу. Людей в зоопарке, несмотря на будний день, было полным-полно — погожий весенний день многих выгнал из дому. Наглядевшись на тигра, Жозе осталась вполне довольна, сказав, что именно таким она его себе и представляла. Словно завороженная она смотрела, как гибкий и могучий зверь мечется по клетке. Встретившись взглядом с его яростными и безумными кошачьими глазами, Жозе затрепетала от страха. Но любопытство было сильней. Тигр перестал кружить по вольеру и замер прямо перед Жозе. У той от ужаса и волнения перехватило дыхание.

Тигр ударил по бетонному полу мощной лапой, способной свалить наземь слона, по его телу прошла судорога, и он грозно зарычал. Желто-черная, полосами, шерсть ослепительно вспыхивала на солнце. Услышав рев, Жозе чуть не лишилась чувств. Она изо всех сил вцепилась в руку Цунэо и прошептала:

— До чего же страшно! Как во сне...

— Ну а чего смотришь, раз страшно?

— Мне всегда хотелось увидеть что-нибудь страшное-престрашное. В тот день, когда у меня появится любимый. Ведь тогда я смогу обнять его, и мне больше не будет страшно... Куми давно решила: если ее кто-нибудь полюбит, она пойдет в зоопарк и станет смотреть на тигра. А если никто не полюбит, значит, тигра мне так и не видать, что уж тут поделаешь...

С высоты этот остров кажется темно-зеленым пятном. Зелень по-южному густая, сочная, и остров похож на скопление морских водорослей. Жозе не раз просила Цунэо отвезти ее сюда, посмотреть знаменитый гигантский аквариум. Островок расположен в океане, у южной оконечности Кюсю, и за один день в оба конца не обернуться. Поэтому Цунэо взял отгул, и теперь они едут смотреть рыб. Жозе больше всего на свете любит зоопарки и аквариумы.

Остров связывает с Большой землей огромный мост, выкрашенный в красный цвет. Он похож на длинную красную нитку, и Жозе думает: «А остров — будто мячик, подвешенный на этой нитке». Машина мчится, петляя по горной дороге, и остров со своим красным мостом то исчезает из виду, то вновь появляется, с каждым разом все увеличиваясь. Вот

мост уже совсем рядом, и Жозе с Цунэо несутся по нему к острову.

Они словно парят высоко-высоко, и ей даже делается страшно, потому что море где-то далеко внизу, и Жозе думает, до чего же он высокий, этот мост. Но вот пролив позади, и теперь по обе стороны шоссе сплошь паркинги. Ждут пассажиров экскурсионные автобусы, но Цунэо гонит машину мимо — он едет по прибрежной дороге, ориентируясь по указателям, и останавливается у отеля, стоящего возле самой линии прибоя.

— Я просил их по телефону, чтобы дали номер, в который не надо подниматься по лестнице. У нас, мол, инвалидная коляска и все такое, — объясняет Цунэо, доставая из багажника сложенную коляску.

Выбежавший навстречу молодой швейцар в черной униформе так подчеркнуто старается не смотреть на ноги Жозе, что ей прямо жалко его становится. На ней сегодня длинная юбка, бледно-розовая. И кофточка тоже розовая, с короткими рукавами. Вид у Жозе надменный, подбородок задран вверх, она не удостаивает швейцара даже взглядом. Изобразить на лице вежливую улыбку она считает ниже своего достоинства. Украдкой поглядывая на девушку, до жути похожую на куколку «итимацу», молодой швейцар оправдывается:

— Вас разместили на втором этаже. Но это ничего, у нас лифт. А на первом номеров нет — там столовая и банкетный зал.

Однако дверь в лифт для каталки слишком узка, и Цунэо приходится поднять Жозе к себе на спину. Швейцар держит сложенную коляску. Пожилые дамочки, едущие в том же лифте, так бесцеремонно разглядывают Жозе, что она окончательно выходит из себя.

Номер, как и подобает комнате для новобрачных, украшен цветами, но Жозе не обращает на них внимания. Не успевает за швейцаром закрыться дверь, как Жозе накидывается на Цунэо:

— Тоже мне надзиратель! Надо было все как следует разузнать! Что это за лифт такой, в который коляска не влезает! Видел, как эти старые ведьмы на меня пялились?!

— Да ладно тебе, Жозе. Взгляни-ка лучше на море! — восхищенно произносит Цунэо, отдернув шторы. Во всю стену номера — окно, а за ним, сколько хватает глаз, безбрежный морской простор. Ярость Жозе проходит. Хватаясь

за стол и стулья, она перебирается поближе к окну и, замерев от восторга, смотрит на океан.

— А в подземном этаже отеля тот самый аквариум, да? — шепчет Жозе.

— Да.

— Идем туда скорей!

— Успеем. Устал я — столько за рулем сидел. Дай отдохнуть малость.

— Ну и черт с тобой! Дурак! Попрошу того швейцара, он меня отвезет.

Цунэо, вздохнув, выкатывает Жозе в коридор. Без помощи швейцара все равно не обойтись. Высота аквариума восемь метров, и вниз ведет бетонная лестница. Цунэо опять несет Жозе, а швейцар тащит сзади коляску.

Они спускаются ниже, ниже, и лестницу вдруг окутывает сумрачный, мерцающий свет. Жозе усаживают в коляску, швейцар уходит, и они остаются вдвоем с Цунэо на самом морском дне. За стеклом — прозрачная зелень воды. Колышутся водоросли, порхают стайки голубых мальков, скользят красные рыбы. По песчаному дну ползают крабы, раки, черепахи. Кругом ни души и тихо-тихо, только гулкие шаги Цунэо да поскрипывание коляски. Перед самыми глазами Жозе величественно проплыла огромная серебристо-голубая рыбина. Это макрель. Едва не задевая животами за коралловые рифы, кружат пурпуровые лакедры, морские караси, каменные окуни и полосатые куньи акулы. Острые морды рыб напоминают человеческие лица, глаза смотрят холодно и равнодушно.

— Здорово! — простодушно восхищается Цунэо. — Не зря мы в такую даль тащились. Красота, правда?

Но Жозе молчит, утратив дар речи. Ей кажется, что они попали на настоящее морское дно, где не бывает ни дня, ни ночи. У нее кружится голова, и ей немного страшно, но Жозе требует, чтобы Цунэо снова и снова обвозил ее вокруг аквариума. Наконец ему это надоедает, и, обругав Жозе, Цунэо просит билетершу позвать сверху швейцара. Потом относит Жозе наверх. Когда лестница остается позади, Цунэо уже еле стоит на ногах от усталости. Наверху сияет щедрое летнее солнце, идет бойкая торговля в сувенирных магазинах, в воздухе пахнет морем. Попив в гостиной холодного кофе, Цунэо и Жозе возвращаются к себе. Еду им приносят прямо в номер.

Поздно ночью Жозе просыпается. Шторы раздвинуты, комнату заливает серебристый лунный свет, и Жозе вдруг

кажется, что они с Цунэо — на дне аквариума, они превратились в рыб. «А вдруг мы умерли», — думает она.

Цунэо давно уже живет с нею вместе. Они считают, что поженились, но брак не зарегистрирован, не было и свадьбы. Да и родителям Цунэо ничего не известно о невестке. Урна с костями бабушки по-прежнему стоит в комнате, в картонной коробке.

Жозе вполне устраивает ее жизнь. Она готовит сама, тратя на это долгие часы, зато получается вкусно. Ей нравится кормить Цунэо, ухаживать за ним, стирать. Деньги она расходует очень экономно, откладывает, и раз в год они могут позволить себе такую вот поездку.

«Неужели мы умерли? Нас больше нет?»

Глядя на себя и Цунэо — до чего же они сейчас похожи на рыб, — Жозе удовлетворенно вздыхает. Она не знает, сколько еще Цунэо пробудет с ней, но, пока он рядом, Жозе счастлива. Когда она думает о счастье, ей кажется, что «счастье» — синоним слову «смерть». Абсолютное, всеобъемлющее счастье — это как смерть, так она считает.

«Мы превратились в рыб. Мы умерли».

Думая об этом, Жозе счастлива. Прижавшись к Цунэо покрепче и взяв его за руку, она устраивает поудобнее свои красивые бессильные ноги и снова засыпает.

ТАЭКО ТОМИОКА

В ЗООПАРКЕ

У зоопарка в павильоне я купила кофе в бумажном стаканчике и хрустящий картофель в бумажном пакетике — все вместе обошлось мне в четыреста пятьдесят иен. Кофе был горячий, к нему прилагались чашечка с молоком, крошечная, словно из игрушечного сервиза, сахар и ложечка. Картофель тоже был с пылу с жару, горячий и вкусный. Он был слегка присыпан солью, а на бумажном пакетике значилось «Фрэнч фрай».

Чтобы перекусить в павильоне, пришлось выстоять длинную очередь. Отпускали сразу из трех окошек, но к каждому тянулась вереница человек в двадцать. И уж если кто-то брал кофе, то не один стаканчик, а сразу шесть, вдобавок — хрустящей картошки шесть пакетов, три гамбургера, две нанизанные на палочки колбаски, жаренные в кляре — что-то вроде тэмпура[1], — брали помногу, а потому и очередь не продвигалась. Так поглядеть — пустячок, какая-то картошка, а сколько денег уходит! Каждый выкладывает по нескольку тысяч иен. Пакетик из-под картошки крохотный, квадратиком сантиметров десять, правда, длинные ломтики картошки насыпаны с верхом, но сам по себе пакетик столь мал, что взрослый человек уничтожает все его содержимое в одно мгновение.

Все приобретенное съедалось тут же на скамейках перед павильоном. Семейные располагались за столиками из

[1]Тэмпура — национальное блюдо из овощей, рыбы, креветок, жаренных в кляре.

толстых бревен, сооруженными перед скамейками. Родители, двое детей, каждый что-то съел, что-то выпил — и вот уже двух-трех тысяч как не бывало. И ведь это вовсе не значит, что все сыты. Скорее всего, покинув зоопарк, они еще перехватят рамэн где-нибудь на полпути к дому или зайдут поужинать в ресторан. Сплошное разорение!

Два обстоятельства крайне огорчили меня. Во-первых, я попала в зоопарк в «День ребенка»[1], и второе — кабанчики, о которых я читала заметку в местном издании одной центральной газеты, уже выросли и были совсем не похожи на тех, с газетного снимка. У тех малышей на теле еще сохранялись поперечные полосы. Полоски исчезают, когда малыши подрастают. Я-то шла посмотреть на полосатых кабанчиков, а, оказалось, у них уже полосок и в помине нет, спят себе все как один цвета грязи. Взрослые же кабаны тоже спали, в буквальном смысле слова грязные и неподвижные, как каменные глыбы. Вероятно, вывалялись в жиже. Может быть, грязью они уничтожают паразитов на теле, не знаю. Грязь эта высохла и затвердела, все тело словно коростой покрыто. У спящих малышей не то, у них просто щетина такого цвета. «Ах, полосатеньких уже нет», — пробормотала я про себя, заглянув за ограду, но, конечно же, отозваться на мои слова было некому.

Полосатых кабанчиков я так и не увидела, но еще более огорчительным было то, что я попала туда в «День ребенка». Что ни говори, перебор с человеческими детенышами. Но у меня выходной выпал именно на «День ребенка», хотя в начале мая по календарю сплошная вереница праздничных дней.

За весну в зоопарке прибавилось потомства. И люди, пришедшие поглядеть на зверей, почти все были с маленькими детьми. Было несколько молодых пар без детей, но таких, как я, одиночек, не было никого.

Зоопарк располагался в естественном парке, разбитом на обширном склоне, и звери тут содержались не в клетках: здесь удачно использовался рельеф местности, вольеры разделялись искусственными перегородками, непреодолимыми в прыжке, — все было устроено так, чтоб животные могли вольно передвигаться. Даже львов — их было штук двадцать — посетители могли наблюдать с искусственно возведенной кручи.

[1]Государственный праздник, выходной, празднуется 5 мая.

Голос из громкоговорителя, установленного возле загона шимпанзе, постоянно предупреждал: «Самцы горилл и шимпанзе крайне возбудимы и, если им что-то бросают в клетку, отвечают в свою очередь тем же, швыряя за ограду различные предметы. Кормить животных не разрешается». Повсюду стояли щиты с надписью: «Животных не кормить».

Молодой человек с маленьким мальчиком на плечах бросил что-то мелкое в загон к шимпанзе. От пешеходной дорожки его отделял ров шириной метра три. Мелкий и легкий, предмет не долетел и угодил прямо в ров.

— Ты что, папа! — воскликнул мальчик.

— Ладно, погоди! — Молодой папаша спустил ребенка с плеч и вытащил что-то съедобное из пакета, который держала в руках женщина — по всей видимости, его жена, мать этого ребенка.

Разорвав на части, мужчина бросил в загон булку. Она тоже угодила в ров. Тогда он забрал у ребенка початок кукурузы и запустил его туда же. На сей раз удачно. Ребенок громко засмеялся.

— Ты только посмотри, как он поразился! Ну и физиономия! — расхохоталась молодая мать.

Толпа семейных вокруг дружно разразилась смехом. Остальные тоже стали швырять что попало в загон. Никто, конечно, не метил прямо в обезьян. Однако порой подачки шлепались совсем рядом с животными. Какой уж тут громкоговоритель — все и думать забыли о предостережениях.

И вдруг кто-то вскрикнул. Обезьяны тотчас же отреагировали. Самый крупный самец стал что-то бросать точно так же, как это делали люди. В вольере не было подходящих мелких камней. Весь он представлял собой цементные горы и ущелья, кое-где были устроены сооружения наподобие качелей из прочной металлической арматуры. Да еще лежали шины от автомобилей, на которых ездят люди. И больше ничего. Человеческие подачки разбросаны по всей территории. Но обезьяна продолжает что-то швырять в ту сторону, где столпились люди. Непонятно что, но ясно: нечто твердое. Вот еще один встал и тоже швырнул что-то, размахнувшись снизу вверх. Люди бросились врассыпную, загалдели — шимпанзе вконец разъярились, и что тут началось! Оба самца действовали как заправские бейсболисты — то жесткий удар, то быстрый, то толчок, то удар дугой, то свечкой.

Когда мне было двадцать с небольшим, сама идея замужества вызывала у меня протест. И такой же протест вызы-

вала у меня позиция взрослых: как увидят молодых, особенно девушек, так они тут же норовят всех запросто пережениить, пристроить. Я тогда еще совсем для себя не уяснила, что же такое семья, которая рождается в результате брака. Но тем не менее под натиском родителей один раз я отправилась на «смотрины». Мне было тогда двадцать два года.

Прочили мне человека с изрядным жизненным опытом, уже в том возрасте, когда реально представляешь, что такое брак и что такое семья. Разговор он вел сугубо житейский. Он примерял меня к себе и к тому представлению о семье и браке, которое у него уже сложилось. Это легко прочитывалось в его словах. Я же тогда ни сном ни духом не ведала, что такое семья, даже вообразить не могла замужества. И вообще еще не решила, как мне собой распорядиться в жизни.

— Моя мать будет жить с нами, — сказал мне мой «нареченный».

Его мать ушла вместе с моею, когда мы вчетвером отобедали. Это была интеллигентная женщина лет пятидесяти пяти с виду. Как только обе они оставили нас одних, так сказать, «поболтать о том о сем», я поняла вдруг всю двусмысленность своего положения и совершенно смешалась. Поэтому я сидела, уставившись в пол, почти не поднимая глаз. Вот уже двадцать лет с тех пор я живу одна, без семьи. Я привыкла к повседневному одиночеству. И когда слышу, что у кого-то состоялись смотрины, больше уже не ощущаю при этом неловкости.

Когда в стае затеяли свару, тот самец, что послабее, выхватил у самки детеныша и прижал его к себе. Другие не нападают, если на руках детеныш. Я такие забавные сценки видела в документальных фильмах о шимпанзе и всякий раз от души смеялась.

Обезьяны уже ничего не бросали в толпу. Думаю, они просто подражали людям.

Все животные, содержащиеся в зоопарке на склоне холма, жили семьями. Были тут и обычные пары, и по нескольку самок при одном вожаке, и даже по нескольку самцов при одной самке. В большинстве своем — молодые семьи, с только что, весной, народившимся потомством. И на эти молодые семьи пришли посмотреть тоже сплошь молодые семьи с маленькими и даже грудными детьми. Здесь, вдали от города, небо над холмами было чистым и ясным. На просторных склонах резвились молодые семьи — люди и звери. Родители — все молоды, дети — малы. Прозрачный воздух

звенел от людских голосов: казалось, взмывая ввысь, эти голоса сталкиваются и разлетаются прочь друг от друга. Взрослые особи рода человеческого млеют от счастья, наблюдая, с какой радостью детишки разглядывают животных. Да и звери при виде радостных человеческих лиц млеют от счастья, одинаково присущего всем молодым семьям. Устают ли звери от постоянного разглядывания? Наверняка устают. Но, с другой стороны, они ведь тоже разглядывают. И люди, и звери — все они вместе, на одной территории. Между ними нет преград. Человек вполне может перепрыгнуть трех-, пятиметровый ров и отправиться в гости к тиграм и львам. Ведь все они одинаково счастливы. Но люди к просторным вольерам, где содержатся львы, подъезжают на микроавтобусах. Для маскировки белый корпус машины разрисован черными разводами. В царстве львов есть и естественные рощицы, и пруд, и холм. И среди всего этого, извиваясь, бегут белые асфальтовые дорожки, а по ним снуют микроавтобусы. Сиденья в них расположены так, что каждый пассажир оказывается у окна. Окна огромные, с прочным толстым стеклом, нижняя кромка — на уровне сиденья, поэтому львы за окном все на виду.

Потревоженные во время полуденного сна, львы поднимаются, словно готовясь к прыжку, и забегают вперед по ходу изредка останавливающихся автобусов.

— Боюсь! — с восторгом визжат маленькие дети.

— Смотри, какая пасть! Попадешься такому на зуб — берегись! — шепчет молодая мать ребенку.

Лев стучит в окно передними лапами. Сгрудившись перед ним, люди в автобусе начинают рычать. Лев рычит в ответ. Где уж тягаться с этим рыком хору людских голосов! Вырвавшись словно из-под земли, этот рев отдается эхом, упираясь в бетонные заграждения обширного львиного царства, взмывает ввысь и плывет, нарастая, как волна, над всей территорией зоопарка. Звериный рев, да и только! В тени деревьев сонно возлежали где два, где три льва. Где львы и львицы, а где группы одних только самцов. Изредка пара львов чинно пересекает дорогу. Говорят, что самцы у них ничего не делают. И что одна расторопная львица может прокормить несколько самцов. В зоологических трактатах я про это, конечно, не читала, кто-то в свое время мне рассказывал. И еще я слышала, что пышная грива служит льву для защиты: в поединке противники норовят вцепиться друг другу в шею. Неужели это и в самом деле так? Может, и мужчин длинные волосы предохраняют от укусов в шею?

Мне очень захотелось погладить льва по спутанной гриве, как гладят собак. Захотелось поиграть с львиным выводком, как играют со щенками. Вот они, львы, рядом. Почему же нельзя выйти из автобуса и пойти туда, к ним? Неужели съедят? Естественно, они нападают на тех, кто вторгается на их территорию, но ведь мы уже фактически вторглись под надежной броней — в автобусе. Львы — не шимпанзе, они ничем не закидывают людей. Они почти безразличны к пробегающим мимо автобусам. А набрасываются на окна, видимо, лишь те, у кого плохое настроение.

На конечной остановке микроавтобуса — стенд с фотографиями вожаков разных времен. Была там и фотография льва, изувеченного в жарком поединке за первенство. Все двадцать львов, кажется, разбиты на несколько семейств. А вожак возглавляет всю стаю. Вожак всегда самец, может, инстинкт соперничества и есть проявление его дикости? А в чем, интересно, проявляется моя дикость? Может, в душе, которая так и тянется порезвиться со львами, как со щенятами? Почему нельзя мне выйти из автобуса и поиграть со львами? Почему нельзя мне отдать себя на съедение? Ведь я-то их не съем! О, эта густая грива! Она, наверно, дыбом встает во время поединка.

Я была тогда очень юной и предельно сексуальной самкой, но замуж все-таки не вышла. Человек, которого мне прочили, был слишком холоден как мужчина. А у меня, крайне сексуальной, возбужденной самочки, был уже опыт общения с таким же сексуальным, возбужденным самцом. «Люблю, люблю тебя!» — твердила я ему. «Люблю, люблю тебя!» — вторил мне вдохновенный партнер. Мы сливались в объятиях: я прижималась плечами к его плечам — сплетенные руки, спутанные волосы. Мы постоянно касались друг друга — так обезьяны ласкают своих избранников. Или часами болтали по телефону, чтоб прикоснуться друг к другу словами. И это были те же обезьяньи ласки. Но когда во чреве зародилось дитя, мой «самец» куда-то пропал. В этом отличие человеческих нравов от повадок животных. И самка, уничтожив дитя в зародыше, тем самым положила конец первому и последнему в своей жизни периоду полового возбуждения.

— Вы, вероятно, любите животных! — заговорил со мной какой-то мужчина. — От них до нас метров пять, и, если б там было побольше места, они без труда преодолели бы преграду, разогнавшись. А прыгать без разбега — пустое дело! — уже сам себе заметил он.

Он имел в виду двух тигров, там, в вольере. Захваченная великолепным зрелищем, я не слишком вслушивалась в человеческий голос.

— О, бамбук весь высох! — не совсем кстати пробормотала я.

Вспомнилась поговорка: «Среди пионов — «китайский лев»[1], среди бамбука — тигр». В углу тигрового вольера, высохшие и потемневшие, стояли два-три деревца. И именно поэтому было ясно, что бамбук здесь посажен явно с умыслом.

Тигры были безмолвны. Они даже не смотрели в сторону юных человеческих пар. Перевесившись через ограду надо рвом, я долго разглядывала тигров. И мне совсем не хотелось погладить их, поиграть с ними, как это было со львами. Я была просто подавлена их красотой и величием. Усы, черные, блестящие, словно стальная проволока. Напряженный профиль с огромной пастью. Я ошеломленно представляла, как этот тигр несется на меня, широко и вольно расставляя лапы.

По эту сторону ограды галдела толпа молодых человеческих семей. Они облепили меня со всех сторон, толкаясь, крепко прижали к ограде.

— Попробуй, позови, тигры повернутся к нам, — сказал молодой папаша, и ребенок простодушно закричал: «Эй, эй!» Тигры даже не шелохнулись.

У меня за спиной тоже не оставалось места для разбега, чтоб перемахнуть преграду. Но меня все-таки потянуло туда, к тиграм. Их вольер располагался на склоне с утрамбованной поверхностью. С вершины холма виднелся проход, ведущий туда, где, как мне показалось, тигры спят по ночам. Не иначе — вход в клетку зверинца. Вряд ли там, за вольером, простираются поля и луга. Вот бы и мне туда, в клетку с тиграми. Меня неудержимо потянуло туда, в вольер. Я представила, как вползаю тигрицей на четвереньках в клетку, и страстно этого возжелала. Да, мне хотелось туда, в вольер.

В отличие от львов тигры не рычали. Самцы лежали в отдалении от тигриц. Тигрят, похоже, не было. Мне подумалось, что японским пейзажам тигры соответствуют гораздо больше, нежели львы. Трудно представить себе льва, удравшего и укрывшегося в горах, гораздо легче — тигра.

Пешеходные дорожки заполонили молодые родители,

[1]Каменное изваяние, принадлежность садово-парковой архитектуры.

катившие своих детенышей в маленьких легких колясках. Некоторые отцы несли детей на спине, в своеобразных рюкзачках. Шагали и маленькие дети, уцепившись за маму и папу и раскачиваясь при ходьбе, как на качелях. Все они разом остановились и дружно захлопали в ладоши, когда вольно разгуливающий по дорожкам павлин распустил свой хвост. Потряхивая своим роскошным оперением, павлин надменно и гордо прошелся перед самкой. Наблюдая за этим «ухаживанием», люди стоя аплодировали павлину, подбадривая его. Павлиний хвост мерно подрагивал во всем великолепии радужной окраски на фоне ясного неба.

— Приходишь в зоопарк, а тут кругом — одни люди! — Мужчина, заговоривший со мной возле тигриного вольера, снова оказался рядом.

В джинсах, на вид лет тридцать пять. Я ему ничего не ответила и нырнула в толпу.

Если не спеша, внимательно осматривать зоопарк, здесь можно провести часов пять. Но людская толпа подхватила меня и тянула все дальше — я так и не смогла толком налюбоваться животными.

— К сожалению, не смогу проводить вас до дома, пожалуйста, будьте осторожны на обратном пути, — сказал мне тогда мужчина, пришедший на смотрины. Он проводил меня до станции и посадил в электричку.

Из окна вагона я видела, как он удаляется размеренной, неспешной поступью. Он говорил, кажется, что в студенческие годы занимался дзюдо — наверно, поэтому выработал такую степенную походку. И, глядя вслед этому атлетически сложенному человеку, я представляла себя с ним в постели — с человеком, которого больше никогда не увижу. Но даже эротические мысли ничего во мне не разбудили. Я, видно, плохо себе представляла, как лягу с ним. Может, он как мужчина был уже готов к созданию семьи. А может, и нет — я по молодости не разобралась. Когда обе матери ушли и мы остались вдвоем, он заказал крепкие напитки. И стал пить, спокойно так, даже не разбавляя водой. Ему было 32 года — на десять лет старше меня.

— Вы любите, видно, сакэ? — спросила я почти с возмущением.

— Не то чтобы люблю, но выпить могу много!

В разговоре он ни разу не обмолвился ни о женитьбе, ни о семейной жизни, ни о детях. Мне, тогдашней, он показался скучным и слишком взрослым. Много старше своих лет.

— Раз вы учились на факультете английской филологии,

наверное, и диплом писали на английском? — спросил он меня.

— Да, на английском, — ответила я.

— Это, наверное, было ужасно! — Тут он снова выпил.

— Да, мне потом здорово влетело за то, что многие места в работе по смыслу были непонятны. Не английский, а нагромождение ошибок. Дохлый номер — писать на английском, если ты не гений, разумеется... — засмеялась я.

Он сдержанно улыбнулся. Вполне милая улыбка. Но он уже снова пил, опрокидывая рюмку за рюмкой. Я подумала, что он, наверное, привык пить молча, в одиночестве. Он говорил, что преподает в вечерней школе в маленьком провинциальном городе.

Странно, пил он много, но совсем не пьянел.

— Не люблю сидеть в одном месте. Давайте сходим еще куда-нибудь, — предложил он, и мы перешли в бар, расположенный в подземном этаже той же гостиницы. Я там тоже выпила разбавленное виски. Матери об этом я, конечно же, ничего не сказала. В баре мы уже с ним почти не разговаривали, только пили.

У выхода из зоопарка тянулись в ряд ларьки с сувенирами. В одном из них продавались только тряпичные зверюшки. Дети клянчили в подарок зверюшек, которых только что видели. Тут были и шимпанзе, что забрасывают чем попало посетителей, и львы, и тигры. Но тряпичные зверюшки не рычали, мордашки у них бесчувственные, несимпатичные. И все-таки почти все детишки, шагающие с молодыми родителями к станции, уносили с собой из зоопарка вожделенных тряпичных зверюшек. Ворота зоопарка закрылись, и львиный рык сюда уже не доносился.

ДОГОРАЮЩАЯ СВЕЧА

Его зовут Кикудзо, в свои семьдесят три года он живет одиноко, снимая комнату в деревянном доме. В этой крохотной, на шесть татами, комнатушке, запущенной и грязной, он спит, и места в ней хватает только на одну постель. На низком, видавшем виды комоде стоит в рамочке

фотография старушки — это третья по счету жена Кикудзо, умершая два года назад. При ходьбе Кикудзо прихрамывает, волоча ногу, — дали о себе знать то ли ревматизм, то ли невралгия. Узкое лицо, коротко стриженные седые волосы. Брови седые и, как это часто бывает у стариков, на удивление длинные и лохматые. Линия бровей с изломом, и поэтому они не выглядят чересчур густыми.

Как-то заявилась к Кикудзо старая женщина. Это О-Ито, первая его жена. Она на два-три года старше Кикудзо, и на вид ей можно дать все семьдесят шесть лет.

— Я вовсе не затем явилась, чтоб посмотреть, как ты живешь. На днях повстречалась с О-Хисой — мы с ней вместе когда-то играли в оркестре, я ее обо всем расспросила. Она говорит, что к тебе всякие знаменитости ходят и ученики не забывают, — тараторит О-Ито. — А это я купила возле станции, может, поешь?

О-Ито вынимает из узелка инаридзуси[1] и раскладывает их на замусоленной циновке.

— И еще О-Хиса говорит, что в этом году надо справлять третью годовщину О-Кото, — О-Ито бросает взгляд в сторону комода, на фотографию.

— Что толку говорить о мертвых, — в словах Кикудзо проскакивают теплые нотки.

— А годовщину когда справляли? — спрашивает О-Ито.

— Во время праздника Бон[2]. Она ведь умерла на шестнадцатый день Бона. В этот день даже черти в преисподней отдыхают. Знала, когда умирать! — отвечает Кикудзо.

— А ты знаешь, что Тёко умерла в конце прошлого года?

— Нет, не знал я этого.

— Она жила в доме для престарелых, там и умерла. Когда ее компаньон Сёсукэ умер, она, кажется, еще какое-то время выступала, но вскоре ушла со сцены. — За разговором О-Ито съедает принесенное с собой угощение.

Тёко — вторая жена Кикудзо. С О-Ито он сошелся, когда ему было чуть больше тридцати лет, и жили они одним домом лет десять, после этого он три года провел с Тёко, потом какое-то время вел холостяцкий образ жизни, а лет с пятидесяти уже не расставался с О-Кото, которая и умерла

[1]Инаридзуси — вареный рис, обернутый в тонкий слой поджаренного творога-тофу.

[2]Дни поминовения усопших, справляются 15 июля и в ближайшие 7 дней до и после 15-го.

здесь, в этом доме. Получается, что с О-Кото их связывают двадцать лет совместной жизни.

— Все-таки надо бы отметить третью годовщину. Жена как-никак! — убеждает О-Ито Кикудзо.

— Ты пришла, чтоб сказать мне об этом? — спрашивает Кикудзо.

— Ну, и для этого тоже, конечно. Но еще я хочу выступать с тобой на представлениях, которые ты устраиваешь в последнее время.

— Еще чего надумала! Ты уже стара для этого! — смеется Кикудзо.

А все-таки О-Ито не совсем обычная старуха. Да, каштановые волосы ее (конечно же, крашеные) очень редки, морщины на лице глубоки, но ведь она в прошлом актриса: брови подведены, следы помады на губах. Правда, красится она своеобразно — то ли по старинке, то ли «по возрасту» — брови словно кистью выведены, аляповато-широкие, почти сросшиеся у переносицы, помада — лишь на нижней губе, по центру, грим словно для проформы.

— Да, говорят, на твоих, как их там, концертах профессионалов-то и не бывает, одни недоучки выступают. Вот я и подумала, что могла бы выручить, без дела ведь сижу. Мы с тобой в молодые годы в Камигате неплохо справлялись, и сейчас мог бы сделать для меня вставку в своей программе! — О-Ито просит с необычайным воодушевлением, в ней проснулся предприниматель.

Кикудзо ей не отвечает. Нет у него настроения растолковывать все обстоятельства дела. Действительно, он выступает с рассказами, дает представления, но лишь раз в месяц далеко за городом в помещении общественной бани. Спросите у Кикудзо, и он скажет, что ученики-энтузиасты попадают к нему случайно и ненадолго, и сам он уже подумывает в скором времени бросить сцену. Да, он пока еще выступает перед дилетантами, но только потому, что баня эта расположена недалеко от его дома — пешком можно дойти. А если б пришлось ездить на электричке, он бы не стал соглашаться. Странно, что в наше время еще находятся чудаки, готовые слушать «курува-банаси» — рассказы о веселых кварталах. По правде говоря, у Кикудзо нет лицензии на исполнение. Просто мастеров «курува-банаси» уже не сыщешь — не то что в прежние времена.

Кикудзо родом из знаменитой артистической семьи, но сейчас он уже не выходит на большую сцену. Да не только сейчас, уже почти двадцать лет, как не выступает. В детстве

бабушка обучила его игре на сямисэне[1], и, памятуя о его прошлом, к нему часто обращались знакомые с просьбой обучить их; давая уроки музыки, он почти не покидал своего дома. Вероятно, любители словесных жанров прознали о нем и, «откопав» Кикудзо (по новой моде следовало бы сказать «совершив открытие»), создали «общество любителей старинных словесных жанров», разрекламировали его сверх всякой меры, мол, у нас вы услышите свежие, смачные байки — словно сами побываете в веселых кварталах; поэтому раз или два набилось столько народу, что хозяин бани, у которого арендовали помещение, вознегодовал.

Когда небрежно одетый, щуплый и низкорослый, с простым лицом подмастерья, а вовсе не утонченного артиста, Кикудзо появлялся на сцене, впечатление было жалкое; вроде все при нем: и профессионально-изысканные манеры, и подобающее выражение лица, и движения, которые вырабатываются только упорным трудом с такими капиталовложениями, как время и деньги, но на всем этом лежала печать убогого прозябания и старости, на излете творческой судьбы вокруг него, как ветер поздней осенью, закручивалась вихрем пустота. Вот уж правда, когда некуда приткнуться, остается лишь вспоминать сальные байки.

«Нет, не хочу я больше выступать перед публикой», — думает про себя Кикудзо, но не говорит об этом О-Ито.

— Меня поразило, что наш председатель — студент, вылитый «волосатый»[2]. Просто удивительно. Я только потому и согласился, только поэтому! — Разложив два дзабутона[3], Кикудзо укладывается бочком, поджав под себя колени.

По мнению О-Ито, он никогда не тянул на эстрадную звезду, но все-таки она общалась с ним в его лучшую пору, в пору расцвета, и потому теперь этот семидесятитрехлетний старик, то ли от ревматизма, то ли от невралгии приволакивающий ногу, был ей совсем непонятен.

С тех пор как умерла О-Кото, Кикудзо больше не утруждал себя стиркой, он перестал следить даже за тем кимоно, в котором ему приходилось появляться на людях, и носил его круглый год, так что оно уже давно лоснилось от грязи: и ворот, и рукава, и подол. Для пожилого вдовца ничего

[1]Сямисэн — японский национальный струнно-щипковый музыкальный инструмент.

[2]«Волосатый» — бранная кличка европейцев.

[3]Дзабутон — большая плоская подушка для сидения на циновках.

удивительного; тем не менее даже в предбаннике, когда Кикудзо восседал на дзабутоне, его наряд выдавал в нем артиста.

— Мне уже столько лет, да я и не заикнулась бы ни о каком «хамэмоно» ни с кем, кроме тебя. Я ведь погибаю от безделья, — продолжает О-Ито.

При разговоре О-Ито издает какие-то странные звуки — видимо, плохо пригнаны челюсти. Это у нее тоже своего рода «вставка» — «хамэмоно».

«Хамэмоно» — это особая инструментальная пьеса, которая в Камигате исполняется оркестром во время представлений ракуго[1] в перерыве между рассказами. Когда Кикудзо выступал в Осаке, О-Ито играла на сямисэне за бамбуковой шторой в левой группе оркестра.

— Выступлениям в бане скоро конец, — говорит Кикудзо. Был период, когда публика ходила неплохо, теперь уже не то. Если приходят, то, как правило, человек десять, а в последнее время и десяти не набирается. Да и те — чудаки студенты, в свое время «откопавшие» Кикудзо с его рассказами, да два-три старика из соседних домов — вот и все.

Разрекламированный любителями-энтузиастами, Кикудзо попал под прицел журналистов: несколько раз у него брали интервью и даже делали фотоподборки для еженедельника. Фоторепортер снял деревянный дом у железнодорожной насыпи, где жил Кикудзо, его замызганную комнату в шесть татами. Кикудзо не сумел ни отказать ему, ни уклониться от этой процедуры.

Тогда Кикудзо говорил о том, что в искусстве исполнителя многое зависит от школы и от усердия, но есть такие жанры, где, как ни старайся, сколько ни учись, изначально невозможно добиться высокого мастерства, совершенства — такое уж само по себе это искусство. Разумеется, он имел в виду себя. Но в интервью, которое сопровождало фотоподборку, все это было представлено как менторские откровения признанного мастера, и Кикудзо возмутился. У него была отличная школа, но что касается старания — Кикудзо никогда не усердствовал. Было только реальное ощущение, что жизнь до сих пор текла по заданному руслу. Задолго до шестидесяти, еще полный сил, несмотря на то что никто еще его не гнал, Кикудзо бросил сцену, во многом и из-за того, что сам считал: мастерства, подобающего в его возра-

[1]Ракуго — жанр комического эстрадного рассказа.

сте, так и не достиг и на сцене ему не место. Он никогда не был тщеславен, не утруждал себя проявлением честолюбивых помыслов, и давние знакомые часто приводили примеры того, как может не повезти с наставником. Кикудзо и тут не был исключением. Действительно, первый его наставник умер на втором году обучения, Кикудзо перешел к другому, но, не успев еще к нему привыкнуть, был призван в армию, и долго носило его по свету, как воздушный шарик, оторвавшийся от ниточки, что связывала его с Камигатой и Токио, — какое уж тут везение!

В его семьдесят с лишним лет Кикудзо пристало бы, опираясь на тросточку, разгуливать во дворе дома для престарелых, но, надо сказать, он все-таки оставался артистом, и именно поэтому, когда он усаживался на дзабутон в предбаннике и заводил свои «пикантные истории», от него веяло чистотой — ни грана пошлости, мирских страстей и желаний, и по мере развития сюжета рассказы не расцвечивались «клубничкой», напротив, тон его приобретал все более уныло-меланхолическую окраску. Вовсе не потому, что Кикудзо был знаменитостью-мизантропом, просто в его искусстве воплощалось то, что из голого вымысла просеивалось в реальность. И происходило это не от физической немощи — признака приближающейся старости; подтверждением тому был факт его ухода со сцены в пятьдесят с небольшим лет.

— Ну неужели в этой бане напоследок не найдется дела? — спрашивает О-Ито.

— Я хожу туда только для того, чтобы двигаться. Надо двигаться, а иначе беда, — отвечает Кикудзо. — Я ведь нигде не бываю, кроме этой бани. Сижу целыми днями дома, слушаю радио да сплю. Даже уроки с сямисэном бросил, отказал ученикам.

— А ведь мог бы пока, стоит только захотеть, — замечает О-Ито.

— Все дело в том, что уже ничего не хочется, — смеется Кикудзо.

Когда он смеется, брови с изломом становятся еще круче и погребают под собой маленькие глазки — даже симпатично!

— Первый муж О-Кото, она с ним давным-давно разошлась, заявился на днях, просил себе что-нибудь на память, чудной такой дед! — снова некстати смеется Кикудзо.

— Ну, ты скажешь! Какой он тебе дед? Сам-то на себя погляди, — тут уж и О-Ито заливается смехом.

Сама она одета по-европейски, но на ногах — белые носочки-таби. Видно, устала — пересела, вытянув ноги вперед.

Кикудзо возлежит в засаленном халате. В комнате нет ничего, кроме старого комода за его спиной с фотокарточкой О-Кото и маленькой горки с посудой. Все углы завалены одеждой, пустыми бутылками, немытыми чашками, старыми журналами.

— А помнишь, в Осаке ты тоже жил у железной дороги, — говорит О-Ито. — Возле храма Тэннодзи, не помню, на какой ветке... — добавляет она. О-Ито нет-нет да переходит на осакский диалект.

Кикудзо ничего не помнит. Не помнит он ни Тобиту, ни Тюсёдзиму.

Не прошло и месяца после посещения О-Ито, как Кикудзо навестили два студента из его почитателей и сообщили, что очередная их встреча в бане будет последней. Вот и настало время прощания со сценой. Выступления продолжались ровно год — и то хорошо!

— Ну что же, выйду-ка я по такому случаю при полном параде и исполню «Догорающую свечу»...

Припомнился ему разговор с О-Ито о «хамэмоно».

Как ни странно, у Кикудзо легче стало на душе, когда он узнал, что ему отказали. Он вдруг воспрянул при мысли, что ему больше не придется выступать перед публикой (даже пять человек для артиста — уже публика). Он облегченно вздохнул, представив, что горстка почитателей, собиравшаяся раз в месяц, перестанет туда приходить. В тот месяц, когда в журнале была опубликована фотоподборка о Кикудзо, к ним набилось много посторонних. Эти чужаки настырно требовали рассказов о старине.

Вероятно, есть старики, которые любят посудачить о прошлом, но Кикудзо не из таких. Никогда, ни в молодости, ни в более зрелом возрасте, он не делал ничего на потеху публике. У него все было как бы между прочим, просто сама среда, в которой он вырос, сделала из него сказителя. Чтобы стать хорошим рассказчиком «курува-банаси», ему не пришлось ни специально учиться, ни специально развлекаться на стороне. Просто всегда как-то само собой выходило, что, просыпаясь, он обнаруживал рядом женщину, он отправлялся к женщине с грошами в кармане, а когда они кончались, оставался там и зарабатывал.

Когда юный писака-журналист нахально говорил ему что-то о «просветленной осени человека, познавшего все удовольствия», Кикудзо решил: «Поделом мне, зажился на

белом свете». Развлечения требуют денег, а без денег — что это за разгул! Ни разу в жизни Кикудзо не удалось поразвлечься. На это никогда не хватало денег. Если ты, имея деньги для развлечений, отправляешься в увеселительные заведения и с помощью этих денег играешь женщиной и Ложью, в самой этой Лжи порой открывается Истина, и, может, развлечение в том и состоит, чтоб ускользнуть от Истины, откупившись Ложью — деньгами, и тем самым расторгнуть с Истиной сделку. Ужасно, если Истина во всей своей наготе предстает в таком месте. Но Кикудзо был не из тех кутил, у которых денег куры не клюют, он так и прожил жизнь, не изведав всей прелести этих явлений и исчезновений Истины. Вот уж действительно нелепица! В глубине души он продолжал считать, что не пристало это называть развлечением.

За домом тянется железнодорожное полотно, перед домом за две-три постройки — канава. Когда-то это была речка, но, поскольку из окрестных домов туда стали сливать и помои, и мыльную воду, она превратилась в сточную канаву.

В этой самой канаве утонул мальчик трех-четырех лет. Кикудзо стоял и смотрел, как его вытаскивали на берег. Увидев тельце сына, мать его, молодая женщина лет двадцати пяти, сдавленно застонала.

К Кикудзо подошла женщина лет пятидесяти.

— Господин Кикудзо, если вы не прекратите выступлений в бане, у вас будут неприятности с попечительским советом, — сказала она.

— В этом месяце кончаю, — ответил ей Кикудзо.

Тельце ребенка, извлеченное из канавы, завернули в кусок ткани.

— И пожалуйста, поаккуратней с газом, господин Кикудзо! Приучитесь отключать центральный клапан, — продолжала женщина. Это была управляющая. Она одиноко жила в комнатушке у входной двери. — С этими стариками хлопот не оберешься! — проворчала она, обращаясь к стоящим рядом соседям.

— А мне жаль мужчин, которые доживают свой век в одиночку, — заметила молоденькая соседка. В этом ее «жаль» слышалось другое: «Жалкое зрелище представляют собой...»

Кикудзо наблюдал за матерью утонувшего ребенка. Она подняла голову, и он разглядел ее лицо, пухлое, простецкое, длинную шею. Ему показалось, что он встречал ее где-то

прежде, но он так и не вспомнил, кто она и откуда. Вдруг пришло в голову, что О-Ито ее наверняка знает.

Захлебнувшегося в канаве ребенка увезли куда-то на велосипеде, толпа зевак разошлась, и Кикудзо, приволакивая ногу, поплелся в супермаркет за приправой к ужину. Он старался не пользоваться общей кухней и всегда покупал себе готовые продукты, не требующие возни. Либо бобы отварные, либо крекеры, либо постный соевый творог, либо цукудани[1]. Протянув пятисотиеновую бумажку, Кикудзо уплатил за бобы и получил сдачу восемьсот иен. Видимо, кассир приняла ассигнацию за тысячу иен. Кикудзо сгреб мелочь и рысцой потрусил из магазина, досадуя на больную ногу. Удаляясь от супермаркета, он несколько раз обернулся с явным удовольствием.

Вернувшись, он обнаружил у себя О-Ито. Красть у него нечего, поэтому, отправляясь к станции, он не закрывал двери на ключ. Он уже объявил своим ученикам, что в последний день исполнит в бане «Догорающую свечу», объяснил, что в этот номер включается «хамэмоно», народная песенка под аккомпанемент сямисэна, и порекомендовал им О-Ито. Видимо, они связались с нею — вот она и пришла.

— Ты, кажется, собрался всех сразить наповал! — говорит О-Ито.

— Сама уговаривала меня в прошлый раз! Теперь уж все, лебединая песня! — смеется Кикудзо.

— Это хорошо, вот только с ногой у тебя неважно, да и занятий больше не будет, может, переедешь ко мне? Ты не стесняйся, у меня там только дочка, и туалет не то что здесь, на улицу не придется бегать. Чем тебе плохо — будем жить под одной крышей, поддерживать друг друга на старости лет...

Из угла комнаты Кикудзо извлекает необычную тумбочку с выдвижными ящиками, раскладывает по тарелкам еду, только что купленную в супермаркете.

— Странно мне, что ты теперь совсем не пьешь, а ведь, бывало, прежде хлестал сакэ, как воду, — говорит О-Ито.

— Это все мои рассказы, мне там по ходу пить приходится, — с этими словами Кикудзо выходит за дверь, приволакивая ногу, ставит чайник на общей кухне, достает из

[1]Цукудани — мелкая рыбешка, моллюски и т.п., проваренные в соевом соусе с сахаром.

стенного шкафа кастрюлю с остатками риса и начинает готовить.

О-Ито сидит и время от времени закуривает сигарету.

— Нельзя было тебе уходить со сцены, сейчас даже пластинки выходят. Глупо, что бросил!

— Теперь в Камигате одни хэтари-сан, — отвечает Кикудзо.

Так называют тех, кто, получив признание как исполнитель песен под сямисэн в маленьких эстрадных театрах ёсэ, оставляет ремесло сказителя «курува-банаси» и уходит в оркестр.

Кикудзо набросил поверх белья легкое женское кимоно с укороченными рукавами.

— У нас тут под вечер ребенок утонул перед домом в канаве. Ты, кажется, прежде знавала его мать, больно похожа на кого-то из твоих, — вспоминает Кикудзо.

— Наверное, Кимиэ. Красоточка была — лицо удлиненное, кожа светлая...

— Да, это она, Кимиэ.

— Эта девчонка жила у нас, а потом ее как ветром сдуло, умотала в Токио, и с тех пор ни слуху ни духу...

Единственное, что их еще объединяет, — это разговоры о прошлом. О-Ито живет втроем с дочерью и внуком, захочется — есть с кем поговорить, а у Кикудзо и того нет. И друзей нет. Были друзья в детстве, друзья в школе, были друзья по развлечениям на каждом этапе жизни, было у него много друзей, но завершался этот этап, и он расставался с ними. Так всегда и бывает. А сейчас, когда ему за семьдесят, Кикудзо уже не нуждается в друзьях.

В последний вечер в бане набралось много народу — судя по всему, студенты постарались. Был даже корреспондент с фотокамерой. Пришла и О-Ито, чтоб исполнить свое «хамэмоно» — песню «Снег» под аккомпанемент сямисэна.

«Догорающая свеча» — рассказ из серии «курува-банаси», но в Камигате его относят к жанру рассказов о чайных домиках. Ибо суть забав и система там различны. Кикудзо заучил этот рассказ, когда еще выступал в Камигате. И теперь собирался исполнить его так, как это было принято в Камигате.

В «Догорающей свече» гейшу, которая умирает в тоске от любви к своему господину, зовут Които. О-Ито играла, сидя на нижней ступени (о каких кулисах может идти речь в бане!), в сцене, где сямисэн, возложенный на алтарь в память

о погибшей Които, вдруг сам начинает звенеть, славя песней обоих. Но совсем не совпадение имен определило выбор рассказа для последнего выступления Кикудзо, а просьба О-Ито, которой хотелось выступить с «хамэмоно».

— «Было это давным-давно. Не ждет нас тот, кого мы ожидаем...», — и после этих слов вступает сямисэн.

— «Покойна будь, Които. Ты так меня, презренного, любила. И я отныне никогда не назову своей женой другую».

— «Так молвил молодой хозяин. Които, ныне слышишь ли его? Вот уж гостинец так гостинец!»

И тут сямисэн умолкает.

— «Ах, сямисэн умолк! Пойду взгляну, что там случилось...»

— «Добро пожаловать. А, молодой хозяин! Които больше никогда играть не сможет на сямисэне».

— «Но почему?»

— «Свеча уже угасла...»

Когда Кикудзо закончил свой рассказ, публика разошлась неспешно и тихо, словно украдкой покидая дом усопшего. И Кикудзо, прихрамывая, поплелся домой. За ним семенила О-Ито с сямисэном. Она тоже живет недалеко от бани. Ей все равно идти мимо дома Кикудзо, вот она и пристроилась к нему.

— Кикудзо-сан, может, пивка по кружке? — предложил хозяин бани, но Кикудзо отказался и ушел. Хозяин сдавал им помещение в аренду ради сына — тот учился в одном университете с учениками Кикудзо. Конечно, сынок его вряд ли продолжит дело отца, он уже устроился на службу.

— Возраст сказывается. Давно я уже не выступала, сямисэн тяжелый такой... — бормочет О-Ито, пробираясь по кромке канавы.

Подошли к дому Кикудзо.

— Ты не забыл о нашем разговоре? — спрашивает О-Ито. — О том, чтоб к нам перебраться... — тут же напоминает она.

— Да стоит ли! Я, пожалуй, тут останусь, — отвечает Кикудзо.

— Ну, что поделаешь! Понимаю, переезд — дело непростое. Будет настроение, заходи в гости. Днем у меня никого не бывает, — с этими словами О-Ито отправляется дальше. — Я зайду к тебе помянуть О-Кото в третью годов-

щину, — обернулась О-Ито. На краю канавы белеет ее юката[1].

Кикудзо вошел в дом, снял кимоно и уже сидел в одних кальсонах, когда к нему без стука вошли два студента — постоянные почитатели.

— Мы пришли поблагодарить вас за то удовольствие, которое вы доставляли нам в течение этого года!

— Неужели целый год прошел? — удивился Кикудзо.

— Мы многому научились, — добавили студенты.

«И чему это они могли научиться?» — подумал Кикудзо.

«Догорающая свеча» — для всех что-то новенькое. Но Кикудзо считал, что исполнил не так, как следовало. Экспрессом. В угоду публике убрал все лишнее.

— Некоторые так и не поняли, о какой свече идет речь... — сказал один студент.

— Да и подсвечников никто не видел, — заметил другой.

— А вообще, сколько времени горит свеча? — спросил более дотошный.

Кикудзо не ответил.

— Хорошо было в старину. Какие были изысканные развлечения! — продолжал студент.

— Ничего хорошего! — буркнул Кикудзо.

Видя, что он не в духе, студенты наконец догадались уйти.

У Кикудзо и в бане всегда портилось настроение, когда велись такие разговоры.

В хорошем настроении он бывал редко — вот разве что когда наблюдал со стороны, как тащат из канавы захлебнувшегося ребенка, или когда получил восемьсот иен сдачи на пятисотиеновую бумажку. То есть он пребывал в хорошем расположении духа только тогда, когда наблюдал что-нибудь необычное либо когда ни с того ни с сего выгадывал для себя что-то.

Вдруг в ушах зазвучала мелодия «Снег», которую он услышал в бане. Но тут же звуки подмял под себя грохот проходившей электрички. Всякий раз, когда по железнодорожному полотну шел мимо поезд, дом весь трясся.

Поужинав, Кикудзо залез под одеяло. С облегчением подумал, что больше уж к нему никто не придет.

По воскресеньям Кикудзо стал бывать в районном муниципальном центре для престарелых, хотя приходилось

[1]Юката — легкое летнее кимоно из хлопчатобумажной ткани.

ездить на автобусе. По воскресным дням там собирались бывшие актеры, сказители. Кикудзо выезжал после обеда, принимал бесплатно ванну и в качестве зрителя шел на бесплатный концерт. Его окружали незнакомые старики.

Как-то ему пришло в голову, что, будь О-Кото жива, она тоже бы с ним ходила. О-Ито несколько раз заговаривала с ним о поминках на третью годовщину, но дело в том, что никто, ни О-Ито, ни О-Кото (и с Тёко было то же самое), не был с ним зарегистрирован как положено, поэтому за прахом О-Кото приходила ее единственная сестра, она-то и поместила урну в храме, на правах родственницы.

— Вы, Кикудзо-сан, тоже не вечны, и будет лучше поручить уход за прахом сестрицы служителям храма, заплатив им вперед за вечное хранение, — сказала она.

Ей уж на вид лет семьдесят. И, судя по всему, одинока. И сам Кикудзо, и эта престарелая сестрица скоро обратятся в прах, а пока, перекладывая останки в урну, обсуждают их дальнейшую участь.

— Чтоб расплатиться наперед... — начала было сестра. Это означало, что ей нужны деньги. «Дайте денег, — требовала сестра, — муж вы ей или нет?» Но Кикудзо промолчал — у него таких денег не было. Сам он считал, что нечего платить за вечное хранение, урна может и дома постоять...

На воскресных концертах выступали заурядные артисты либо новички.

Молодые исполнители как сквозь зубы выговаривали тексты. Но старики смеялись. Этот смех напоминал Кикудзо звуки, которые он слышал в далеком детстве, — так потрескивает на погребальном костре мертвое тело.

Домой он возвращается автобусом. От остановки идет вдоль канавы. И каждый раз, проходя тут, думает: вдруг еще какой несмышленыш угодил в канаву и захлебнулся? Вода черным-черна, и не поймешь, глубоко ли, мелко. Кое-где через канаву перекинуты железобетонные мостики.

ТИЁ УНО

ДУНОВЕНИЕ ВЕСНЫ

— Мии-тян! Мидори-тян! — слышится из соседнего дома слащавый женский голос, и сразу же: — Садакити-сан вернулся! Скорее наливай воду в таз!

Тотчас мать с дочерью Мидори выносят во двор большой таз, по очереди наливают в него воду, до меня доносится:

— Хорошая водичка! Залезай поскорей!

Из моего окна хорошо видно, как сын соседа Садакити, раздевшись догола, орудует в тазу мочалкой.

Вот так, под вечер, Садакити каждый раз возвращается с работы домой. А работа у него такая: погрузив на тележку горшки с самыми разными растениями, он бродит от поселка к поселку, от дома к дому в окрестностях нашей деревни Нисияма, меняет их на старые горшки или, что случается реже, продает их желающим.

Это занятие не особо прибыльное, но Садакити любит возиться с растениями.

Раньше этим делом — его можно, наверное, назвать садоводством — занимался вместе с Садакити его отец, но с ним приключилось что-то вроде паралича, во всяком случае, он внезапно слег, заявив, что ноги у него отказали, и Садакити стал выходить на работу один.

Именно тогда у них в доме и поселились приехавшие с Гавайев мать с дочерью, вроде бы родственницы отца Садакити.

Отец Садакити стал совсем беспомощным, и они, очевидно решив, что лучшего и желать не приходится, по-хозяйски обосновались в доме Садакити. Это были те самые мать с дочерью Мидори.

С тех пор оттуда только и слышно было, что «Мии-тян» да «Мидори-тян». Отец Садакити, похоже, притворялся, будто ему до этого дела нет, но в глазах окружающих Мидори выглядела чуть ли не дочерью, и казалось, будто в доме у Садакити все в порядке.

Мне нравился Садакити. Дом моей бывшей кормилицы тетушки О-Тоё стоит как раз на пути Садакити, и я всегда поджидала его возвращения.

— Ну что, Садакити? Удачным был день? — спрашивала я обычно, но вот что случилось однажды. Заметив, что из большого пальца на ноге Садакити сочится кровь, я переполошилась: — Ой, кровь! У тебя идет кровь!

— Ах, это? — Садакити громко рассмеялся. — Сегодня утром наша Мидори нечаянно пнула ногой камень, ну, тот, что я кладу в цветочные горшки. И попала мне прямо по ноге.

— Больно, наверное, было? — только и спросила я, но слова Садакити «наша Мидори» полоснули меня по сердцу.

Только не подумайте, что я ненавижу Мидори. Это не так, я ее ненавижу только тогда, когда Садакити говорит: «Наша Мидори». Вернее, не ненавижу, а завидую ей.

Говорят, то, что случилось однажды, случится снова, и вот что вскоре произошло. Эта самая Мидори опять пнула ногой булыжник для цветочных горшков и угодила Садакити по ноге, по тому же самому месту.

Невероятно, но Садакити из-за этой раны совершенно обезножел.

— А это они так замыслили, чтобы Садакити не смог ходить и с тобой встречаться! — предположила тетушка О-Тоё, узнав про эту историю.

Да разве возможно такое: запустить в Садакити булыжником, чтобы он не смог ходить?

— Не выдумывай, О-Тоё! Быть такого не может! — разубеждала я О-Тоё, но про себя вдруг подумала, что кто его знает, может, она и права.

После этого каждодневное «Мии-тян! Мии-тян!» неслось уже вперемешку с «Садакити-сан!».

Но все же: отец Садакити совершенно беспомощен, а теперь и Садакити не может двигаться, так кто же, собственно, кормит семейство?

Ну что я за дурочка, если так близко к сердцу принимаю дела совершенно чужой семьи!

Потом до меня дошли слухи, что эти мамаша с дочкой хоть и не богачи, но вернулись с Гавайев не с пустыми кар-

манами, деньжат на десять-пятнадцать лет безбедной жизни хватит.

Так что же, они собираются содержать Садакити с отцом на свои гавайские деньги? Нет, нет, быть этого не может. Просто им по возвращении с Гавайев нужно было где-то обосноваться. Это уж потом они, конечно, решили завладеть домом Садакити...

Не могу забыть, с каким раздражением я наблюдала из своего окна за домом Садакити! Да, было дело. Но вот что произошло в седьмую годовщину смерти моей матушки. За день до этого я с помощью тетушки О-Тоё наготовила о-хаги[1] и разносила их теперь по знакомым.

Я подошла к дому Садакити, держа в руках коробочку с о-хаги. И, подходя с этой коробкой, я все ждала, не выглянет ли Садакити. Но он так и не появился. И тут выскочила, сияя улыбкой, мамаша Мидори. «Что это у тебя? О-хаги? У нас любителей сладкого нет, но все равно это очень любезно с твоей стороны!» — добавила она и как бы нехотя взяла коробочку о-хаги. Я тоже ей улыбнулась, будто ничего не произошло, и ретировалась. Да, тогда уже начало темнеть.

И тут из окна Садакити в мою сторону вылетели три бумажных комочка. Я в замешательстве подняла их, придя домой, развернула их на кухне у лампы; оказалось, что это письмо от Садакити. «Умоляю, сделай то, о чем я тебя попрошу. У меня есть три близких друга детства в городке Тогэ, что недалеко от нашей деревни. Они не знают о том, что со мной стряслось. Расскажи им обо всем и попроси помочь. Сообщаю их имена и адреса. Ёсида Юкио — сын владельца рисовой лавки, живет в третьем восточном квартале Тогэ. Танабэ Горо — старший сын владельца магазина импортных товаров напротив храма Хатимана. Третий — наследник владельца ресторана суси на углу улицы Сакамати. Все они с готовностью помогут в этом деле. Разыщи их поскорее и попроси забрать меня из этого дома и доставить к костоправу в Тогэ. Скажи, пусть для этого возьмут мою тележку для цветов». Вот что я в конце концов разобрала, сложив три бумажки вместе.

Я так и вскрикнула. Ну почему, почему это написано не мной, почему я допустила, чтобы все это написал сам Са-

[1]О-хаги — колобок из вареного риса, покрытый сладкой пастой из соевых бобов.

дакити? Ведь и ребенку ясно, что его надо везти к костоправу в Тогэ! Я сорвалась с места. Прежде всего побежала к тетушке О-Тоё и попросила ее проследить за моим домом. Потом кинулась к другу детства Садакити Ёсиде Юкио в третий восточный квартал Тогэ.

Когда я выпалила: «Помогите Садакити!», он не стал особенно расспрашивать и тут же побежал со мной. Втроем они посадили Садакити на тележку и отвезли к костоправу в Тогэ.

После этого для меня начались счастливые деньки! За моим домом следила по моей просьбе тетушка О-Тоё, а я только и делала, что ходила к костоправу в Тогэ. Быть бы только поближе к Садакити, ухаживать за ним, а большего мне и не надо.

Вдобавок костоправу уплатили, сложившись, три друга детства Садакити, они же приносили Садакити каждый день пищу. О чем еще мне было заботиться?

И нога Садакити зажила очень быстро, не пришлось долго ждать, как я думала.

* * *

Может, оттого, что организм Садакити был крепким, может, дело в молодости, но уже через каких-то два с половиной месяца раздавленный палец на его ноге принял нормальный вид.

И как по-вашему, куда он вернулся сегодня, в день выписки? Неужто в свой родной дом, где его ждут не дождутся отец и мамаша с дочерью с Гавайев? Ничего подобного! Вы не поверите, но Садакити прямиком направился не в свой дом, где стоят его цветочные горшки, а туда, где живу я, в дом, за которым присматривает тетушка О-Тоё!

А поверите, что Садакити не просто пришел ко мне, а вошел в дом моим мужем?

Ну и не верьте, как вам угодно, главное, что я-то в это верю. С сегодняшнего дня я и Садакити стали законными супругами.

«Счастливого пути! С возвращением!» — так приветствую я теперь мужа по утрам и вечерам. И отец Садакити перебрался к нам из своего укрытия, и мы приставили к нему тетушку О-Тоё, чтобы он не испытывал неудобств.

За хорошим идет хорошее, и вот теперь мы живем, уверовав, что там, где раньше жил Садакити, давным-давно поселились наши кровные родственники, те самые мать с

дочерью Мидори с Гавайев. А они не только не завидуют тому, как мы дружно живем с Садакити, а, наоборот, только радуются, глядя на нас.

Воистину, нет ничего удивительнее человеческой души! Когда я поняла, что все рады переменам в моей жизни, то мне стало так легко, будто подул весенний ветер.

Вечерами мы с Садакити сидим в обнимку и беседуем: если Садакити удастся подработать, можно сделать наш тесный, но радостный дом еще светлее и радостнее, пристроив пару комнат для отца Садакити и тетушки О-Тоё.

Под какой же счастливой звездой мы родились! К счастью, участок у нас большой, и думаю, не за горами то время, когда все мы, так вот негаданно сблизившись, заживем вместе под ласковым солнышком.

ОСЕННИЙ ВЕТЕР

«Досточтимая Сакагути Яэко-сэнсэй[1]! Я — Юкико, дочь Сёкити Юасы. Мое имя Вам вряд ли о чем-нибудь говорит. Но если Вы не знаете, кто я такая, то имя моего отца Сёкити Юасы Вы, скорее всего, не забыли. Ведь лет сорок тому назад вы провели полгода в Осаке?

Мой отец был в то время Вашим близким другом. Не просто возлюбленным, а именно близким другом. Он служил старшим продавцом в акционерном магазине Окамура, что у пристани. А Вы в то время изволили проводить в отеле «Осака» выставку картин великого Нисидзё Рэйдзи, Вашего тогдашнего супруга. Отец говорил, что Вам оказывало поддержку газетное издательство Осака симбун и от посетителей не было отбоя. Впервые отец увидел Вас на этой выставке. Ему тогда, хоть он и был уже старшим продавцом, не исполнилось еще и сорока, и вполне естественно, что Ваш яркий образ навсегда врезался в его память. Об этом можно судить хотя бы по тому, что он обо всем без утайки подробно поведал мне, своей дочери.

С тех пор Вы стали для отца главным содержанием его жизни. Когда хозяин магазина господин Окамура пригласил Вас в Хариму на горячие источники горного курорта

[1]Сэнсэй — почтительное обращение к старшему, учителю и т.д.

«Долина радости», отец напросился в сопровождающие и отправился с Вами в горы.

На принадлежащем хозяину магазина Окамура серебряном руднике неподалеку от «Долины радости» обнаружили новую рудную жилу, поэтому он страшно спешил и пригласил Вас на горячие источники, даже не выяснив, интересуетесь Вы рудниками или нет.

В горы Вы прибыли, когда уже начало вечереть. На таких горных курортах угощают блюдами из горных растений, но Вам еще подали мороженое сасими из карпа, пригласили местных гейш, и дело кончилось шумной пирушкой. После нее все расходившиеся гурьбой гости были изрядно пьяны, но (ведь это была простая гостиница в горах), то ли постелей на всех не приготовили, то ли еще почему, только спать все легли, не долго думая, вповалку.

Вдруг рядом с отцом послышался чей-то голос: «Ай-ай, если так раскрываться, недолго и простудиться!» На отца пахнуло ароматом духов (несомненно, Ваших, сэнсэй), и одновременно он почувствовал, как кто-то натянул на него одеяло.

Чье-то мягкое тело прижалось к отцу... Это случилось глубокой ночью, и после этого он как убитый проспал до утра, пока солнце не осветило его изголовье и не раздались торопливые призывы: «Эй, вставайте, вставайте, отправляемся в горы!» Тогда и началась связь между Вами, сэнсэй, и моим отцом.

О том, что было потом, я не буду подробно рассказывать, скорее всего, Вы и сами помните. Одно за другим следовали свидания в маленьких гостиницах Осаки, в дальних чайных домиках, отец совсем забросил работу, но моя добрая матушка твердила одно : «Опять он работает допоздна!» И мне, ее дочери, было горько видеть, как она ждет с замиранием сердца, когда же застучат в переулке его гэта...

Не прошло и полугода после той поездки на горячие источники, как открылось, что отец ради Вас, сэнсэй, присвоил в магазине деньги и купил на них пять картин великого Нисидзё Рэйдзи. Отца уволили из магазина, и наша семья оказалась на улице.

Как Вы после всего этого стали к отцу относиться, я, его дочь, знать не могла. Отец, бывало, говорил, весь светясь: «И в этой гостинице я бывал с госпожой!» Но по слухам, Вы вернулись в Токио, в свою семью. В Осаке Вас уже не было. Лишь спустя год матушка начала плакать и жаловаться, что не может забыть, что ей причинила Сакагути Яэко. Именно

тогда у нее обострилось ее душевное заболевание, она пряталась от людей в глубине дома и так и не оправилась от этого удара.

Я не смею утверждать, что мать заболела и умерла по Вашей, сэнсэй, вине. Как и не могу утверждать, что наши дальнейшие горести — на Вашей совести. Но нам так и не удалось выбраться из ямы, в которую мы однажды попали. И вот прошло сорок лет, отец лежит в больнице Тацута в Мино, конец его близок, у него произошел разрыв аневризмы, образовавшейся в правом предсердии, и для переливания требуется много крови. Я из сил выбиваюсь, чтобы собрать необходимые средства, но денег у меня нет.

В такое время я вспомнила о Вас только по одной причине. Вас посетит господин Номото, наш сосед. Он служит в магазине Уэки и в скором времени отправляется в Токио. Он принесет мою расписку о получении трехсот тысяч иен, а дальнейшее — в Вашей власти. Я заклинаю Вас всеми богами, ради Вашего доброго имени — одолжите отцу в конце его жизни эту небольшую сумму — триста тысяч иен! Скорее всего, Вы не откажете ему в этом».

Такое письмо на исписанных с двух сторон убористым почерком четвертушках бумаги, нарезанных из студенческой тетради, я прочитала как-то утром в постели. Мне совершенно не свойственна привычка впадать в хандру даже в самые тяжелые, «сонные» утренние часы, но, прочитав это письмо, в котором целых три раза встречалось такое сильное по смыслу выражение, как «скорее всего», я, совсем как ракушка, спасающаяся от непрошеного агрессора, моментально захлопнула в своей душе крышку.

Имя этого мужчины, Сёкити Юасы, я забыла. Я смутно помнила, как ездила далеко в горы смотреть серебряный рудник «Долина радости». Но неужели я действительно со словами: «Ай-ай, если так раскрываться, недолго и простудиться» — укрыла этого мужчину одеялом и прямо так и скользнула к нему под бок? Если допустить, что что-то подобное действительно имело место, как можно напрочь забыть имя человека, с которым у нас дошло до такого?

В моей долгой жизни был период, когда я торговала вразнос картинами Нисидзё Рэйдзи в районе Кансай. По ряду причин нам просто позарез нужны были деньги. В Осаке я оставила картины в гостинице и потом ходила по знакомым, прихватив три-четыре полотна, и предлагала их купить. В душе у меня словно бушевал холодный осенний ветер.

В общем-то, не в моем характере завоевывать чье-либо расположение. Сейчас мне самой не верится, сколько мучений это мне доставляло, но именно потому в людей, покупавших картины, я чуть ли не влюблялась — настолько склоняли меня к самообману невыносимые обстоятельства. И это было так отвратительно, что мне становилось еще горше.

Оттого ли я забыла это имя — Сёкити Юаса, — что с того времени прошло долгих сорок лет? Или оттого, что я поклялась самой себе забыть, как тогда в моей душе бушевал холодный ветер? Прочитав письмо его дочери, я рассудила, что нет резона считать его выдумкой с целью выманить у меня деньги. Так, значит, это действительно было? И женщина, легко скользнувшая под одеяло, — это я?

Прошло два-три дня, но посланец из магазина Уэки так и не появился. Больше вестей от них не было. Может, этот человек уже умер, не дождавшись результатов хлопот своей дочери? Или, несмотря на нужду в деньгах, ему пришлась не по душе затея с письмом и потому они не пытались больше настаивать? На том переписка и оборвалась. Холодный осенний ветер?.. Этот образ передает чувство, на мгновение охватившее меня.

ФУМИКО ХАЯСИ

ПОЗДНЯЯ ХРИЗАНТЕМА

Табэ сказал по телефону, что придет под вечер, часов в пять, и Кин, удивленная этим звонком — прошел уже год со времени их последней встречи, — положив трубку, взглянула на часы. До пяти оставалось еще два часа. Прежде всего надо успеть принять ванну. Приказав служанке подать ужин пораньше, Кин торопливо прошла в ванную комнату. Она должна казаться еще моложе, чем год назад, когда они расстались. Ни в коем случае нельзя дать Табэ заметить, что она постарела; выглядеть старухой — значит признать себя побежденной.

Кин медленно погрузилась в горячую воду, а выйдя из ванны, поспешно достала из холодильника лед, мелко раскрошила его и, завернув в тонкую, сложенную вдвое прозрачную ткань, добрых десять минут тщательно массировала перед зеркалом лицо. Она растерла его докрасна, так что почти онемела кожа. Кин не покидает мысль, что ей уже пятьдесят шесть лет, но она твердо убеждена, что умудренная опытом, ловкая женщина без труда может скрыть свой возраст. Кин смазала онемевший лоб, щеки, подбородок дорогим заграничным кремом. Из зеркала на нее глядят большие глаза мертвенно-бледной пожилой женщины. Кин чувствует внезапное отвращение к собственному облику. Но тут в памяти всплывает другой образ — красивый, обаятельный, ее лицо в ту пору, когда с открыток глядели ее изображения. Слегка отвернув подол кимоно, Кин оглядывает ноги. Они уже не так полны и упруги, как прежде, явственно выступает тонкая сеть синих прожилок. Хорошо уж и то, что

не слишком худы... С чувством некоторого облегчения Кин успокаивает дряхлеющее сердце. Она еще может нравиться. Не будь этого сознания, на свете стало бы слишком неуютно. Она тихонько, как бы испытующе, проводит рукой по ноге. Кожа гладкая, мягкая, словно оленья замша. Кин вспоминает рассказ Сайкаку «У храмов Исэ встретишь людей со всей Японии»[1] — о замечательных плясуньях О-Суги и Тама, чья слава гремела повсюду. Они плясали и пели, и перед ними была натянута ярко-алая сеть, а паломники любовались их пляской и бросали им деньги сквозь сеть и старались попасть в них...

Кин вспоминает эти страницы и никак не может отделаться от ощущения, что ее собственная красота, когда-то такая же яркая, как неувядающие краски старинной картины, канула в безвозвратное прошлое.

В молодости все ее помыслы были сосредоточены на деньгах, но по мере того, как она старела, и в особенности после тяжких испытаний этой ужасной войны, жизнь в одиночестве, без мужчин, стала пугать Кин. С годами красота ее изменилась, характер этой красоты был уже не тот. У Кин хватало ума не рядиться в кимоно кричащих тонов, как то делают другие стареющие женщины. Она терпеть не могла мелочных ухищрений, когда женщина, которой уже перевалило за пятьдесят, вешает на исхудалую грудь ожерелье, напяливает на себя ярко-красную клетчатую юбку из ткани, пригодной разве что для нижнего кимоно, и белую атласную блузку с рюшами или, пытаясь скрыть морщины на лбу, носит широкополую шляпу, а из-за ворота нарочно выставляет краешек красного кимоно. Кин от души презирала эти дешевые приемы, достойные разве лишь публичных женщин.

За всю свою жизнь она ни разу не надела европейского платья. Темно-синее кимоно из ткани «касури» с безупречно белым воротником жатого белого шелка, бледно-кремовый широкий пояс из ткани «хаката». Зеленовато-голубой шнурок, придерживающий пояс, завязан так, чтобы ни в коем случае не бросался в глаза. В таком костюме хорошо обрисована грудь, бедра кажутся узкими. Живот затянут как можно

[1]Ихара Сайкаку (1642—1693) — великий японский писатель. В его многочисленных повестях и новеллах отражены быт и нравы японского средневекового города. Храмы Исэ расположены на юго-западе о. Хонсю, главная святыня синтоизма. Упомянутый рассказ входит в книгу «Последняя ткань Сайкаку», изданную посмертно в 1694 г.

туже. Она сама придумала этот наряд, изяществом не уступающий туалетам европейских женщин... Волосы с коричневатым отливом хорошо оттеняют белую кожу — никто не скажет, что их обладательнице уже за пятьдесят. Полы кимоно сходятся правильно, край подола безукоризненно чист — может быть, оттого, что Кин носит платье чуть короче обычного...

Готовясь к свиданию, она одевалась неизменно скромно, но изысканно. Все еще сидя перед зеркалом, Кин выпила немного сакэ и, как всегда, тотчас же тщательно почистила зубы щеткой, чтобы не чувствовался запах спиртного. Небольшая порция сакэ молодила ее лучше любой косметики. Кин слегка хмелела, на щеках выступал легкий румянец, большие глаза туманились поволокой, лицо, протертое глицериновым кремом и покрытое тонким слоем белил, становилось прозрачно-ясным, будто в него вдохнули жизнь. Только губы она мазала густым слоем дорогой темной помады — единственное красочное пятно на всем ее облике. Ногти Кин не красила никогда, тем более теперь, когда она постарела; крашеные ногти всегда выглядят как-то хищно, а сейчас делали бы ее смешной и жалкой. Она лишь смазывала ладони растительным соком, коротко подстригала ногти и полировала их кусочком шерсти. В прорезах рукавов мелькают только бледные тона — нижнее кимоно Кин носит всегда из тканей нежной, неяркой окраски, неуловимо переходящей от бледно-розового в голубовато-зеленый цвет.

Кин ни на минуту не забывает, что она женщина. Лучше умереть, чем опуститься, стать неопрятной старухой, как множество других. «Так много роз, что жизнь одна вместить не может их...» Кин любит эту песню, которую певала в былые годы прославленная артистка. Жить без любви, без мужчин — страшно подумать. Она глядит на букет чайных роз — подарок Итая, — и великолепие этих цветов навевает на нее грезы о прошлом. Давние привычки, склонности — все, что некогда радовало в жизни, — все изменилось, но ее это не печалит. Порой, просыпаясь ночью, когда она одна, Кин, загибая пальцы, украдкой пытается перечесть всех мужчин, с которыми ее сталкивала жизнь со времени ее юности: «Этот, потом тот... Потом еще тот, другой... Ах да, еще вот этот... Да, но ведь с ним я встретилась, кажется, еще до того, как познакомилась с тем... Или, может быть, позже?..» Кин путается, сбивается со счета, совсем как в детской шуточной песне-считалке. Случается, при воспоминании о разлуке с иными из этих мужчин у Кин наверты-

ваются на глаза слезы. Но она не любит вспоминать о разлуках, гораздо отраднее думать о встречах. По ночам, в одиночестве, приятно перебирать в памяти воспоминания, живущие в сердце. «Давным-давно один кавалер...» — совсем как в старинной повести «Исэ моногатари»[1], которую она когда-то читала.

Телефонный звонок Табэ раздался совсем неожиданно, он подействовал на нее возбуждающе, словно крепкое дорогое вино. О, конечно, Табэ влекут к ней только воспоминания. Память о былом увлечении, видно, все еще живет в его сердце и манит бросить последний взгляд на пепелище любви. Что ж, неужели он так и уйдет, печально вздохнув на прощанье при виде унылых руин, поросших дикими травами?.. Нет, он не должен заметить ни малейших признаков разрушения ни в ее внешности, ни во всем ее окружении. Она будет вести себя скромно и сдержанно — так всего лучше, и пусть эта встреча поможет им перенестись в атмосферу былого. Пусть он навсегда сохранит память о минувшем, пусть уйдет с ощущением, что женщина, которую он когда-то любил, и впрямь была хороша!.. Тщательно приведя себя в порядок, Кин поднялась и, стоя перед зеркалом, в последний раз окинула взглядом свою фигуру. Ничего не забыто?..

В столовой приготовлен ужин. Усевшись за маленький столик, напротив служанки, Кин поела бобового супа, вареной морской капусты и овсяной каши, выпила сырое яйцо — только желток.

Когда ее навещали мужчины, Кин меньше всего заботилась о том, чтобы уставлять стол яствами и покорять сердце поклонника, мило воркуя: «Сама готовила...» Что может быть глупее, чем завоевывать мужчину, демонстрируя свои таланты хозяйки, если он бесконечно далек от всяких помыслов о браке? Мужчины, которые ухаживали за Кин, сами приносили ей угощение и подарки. Кин считала это в порядке вещей.

Никогда в жизни Кин не встречалась с мужчинами, у которых не было денег. Есть ли на свете что-нибудь менее привлекательное, чем мужчина, не имеющий денег?! Влюб-

[1]«Исэ моногатари» (нач. X в.) — классическое произведение японской литературы, состоящее из ста двадцати пяти небольших новелл, объединенных несколькими общими героями. Один из центральных эпизодов книги связан с храмами Исэ. Каждая новелла начинается словами: «Давным-давно один кавалер...»

ленный мужчина в нечищеном пиджаке, в белье с оторванными пуговицами — она испытывала непреодолимое отвращение к людям такого сорта. Любовь сама по себе была для Кин чем-то прекрасным, ее надо было творить, как творят произведения искусства. В молодости Кин слыхала не раз, что похожа лицом на знаменитую Манрю. Она видела както раз эту Манрю, когда та уже оставила профессию гейши и вышла замуж: да, в такую красавицу можно влюбиться с первого взгляда. Кин была очарована совершенством ее красоты. Вот тогда-то она и поняла, что без денег сохранить красоту невозможно.

Девятнадцати лет Кин стала гейшей. Особыми талантами она не отличалась, но была хороша собой — потому-то ей и удалось сделаться гейшей. Вскоре ее пригласили в дом к одному французу, довольно пожилому господину, который путешествовал по странам Востока. Он привязался к ней, называл «японской Маргаритой Готье». Кин и сама любила воображать себя «дамой с камелиями». Мишель-сан был далеко не молод; сейчас он, наверно, давно уже покоится в могиле где-нибудь на севере Франции, но Кин почему-то все не может его позабыть. Перед отъездом на родину он подарил ей браслет с опалом, усыпанный мелкими бриллиантиками, и она бережно хранит этот браслет — единственную вещь, с которой не решилась расстаться даже в трудные военные годы. Мужчины, с которыми привелось встречаться Кин, неплохо преуспели в жизни, но после войны она потеряла их след и ничего не знала об их судьбе. Люди поговаривали, будто у Кин Аидзавы солидное состояние, но это не вполне соответствовало истине. Кин никогда не стремилась открыть дом свиданий или стать владелицей ресторана. Все ее имущество составлял дом, по счастью уцелевший во время бомбежек, и дача в Атами, так что Кин была вовсе не так богата, как могло показаться. Дачу она записала на имя сводной сестры и по окончании войны, как только подвернулся случай, продала. Дни проходили в полной праздности. Прислугу — глухонемую девушку — подыскала ей сводная сестра. Кин жила очень замкнуто. В кино или театры ее не тянуло, а бесцельно бродить по улицам она не любила. Да и не хотелось, чтобы при ярком солнечном свете люди заметили, как она постарела. При дневном освещении постаревшая женщина кажется еще более жалкой. Кин нравилась уединенная жизнь; к тому же она давно уже пристрастилась к чтению романов. Кое-кто советовал ей взять на воспитание девочку, чтобы избежать одиночества

на старости лет. Но Кин не любила думать о старости. Дело в том, что Кин никогда не знала своих родителей. Она помнила, что родилась в Осагаве, близ города Хондзё, в префектуре Акита; пяти лет ее увезли в Токио и отдали в семью Аидзава, где она воспитывалась как дочь; это было все, что сохранилось у нее в памяти. Кин получила фамилию Аидзава. Вскоре ее приемный отец Хисадзиро Аидзава уехал по делам в Дальний — он занимался какими-то строительными подрядами — и с тех пор словно в воду канул; Кин только пошла тогда в начальную школу. Приемная мать, Рицу, женщина деловая, занималась перепродажей акций, сдавала внаем дома.

В те времена на улице Кагурадзака в магазине Тацуи, где шили японские носки «таби», была красавица дочка Матико. Это был старинный торговый дом. «Таби от Тацуи» ценили даже обитатели особняков в районе Ямано-тэ. Но особенным успехом пользовалась красавица Матико, сидевшая за швейной машиной у просторного входа, декорированного традиционной темно-синей фирменной занавеской. Студенты университета Васэда во множестве приходили в лавку покупать «таби»; люди болтали, что иные из них, уходя, оплачивают не только заказанные носки... Кин была моложе Матико лет на пять-шесть, но тоже славилась в околотке привлекательной внешностью. Соседи прозвали девушек «Две Комати[1] с улицы Кагурадзака».

Кин исполнилось девятнадцать лет, когда в дом Аидзавы зачастил биржевой маклер по имени Торигоэ. С той поры дела в семье Аидзава постепенно пришли в расстройство, приемная мать Рицу пристрастилась к вину, дни потянулись безрадостные, мрачные. Однажды Торигоэ забавы ради овладел Кин. В отчаянии она бежала из дому и стала гейшей в заведении Судзумото, в квартале Акасака. А Матико Тацуи как раз в то время погибла: нарядная, в кимоно с длинными рукавами, села прокатиться в самолете — тогда это было еще в новинку — и разбилась над равниной Сусаки. Об этом много писали во всех газетах. Кин выступала под именем Кин'я; вскоре ее фотографии появились в журналах и даже на открытках, которые тогда начинали входить в моду.

Все это было давным-давно. И все-таки Кин никак не может примириться с тем, что ей уже больше пятидесяти лет. Порой ей кажется, что она слишком зажилась на этом

[1]Комати (IX в.) — знаменитая поэтесса, славилась красотой.

свете, порой — что молодость промелькнула чересчур быстро.

После смерти приемной матери все ее небольшое состояние перешло по наследству к сводной сестре Кин — Сумико.

Кин познакомилась с Табэ в ту пору, когда Сумико с мужем держали пансион для студентов в районе Тодзука. Незадолго до того Кин рассталась с человеком, с которым была близка три года: сняв комнату в пансионе Сумико, она наслаждалась свободой и беззаботной жизнью. Это было в самом начале войны на Тихом океане. Студент Табэ часто заходил в столовую Сумико. Кин познакомилась с ним, и както незаметно у них завязался роман, хотя Табэ по возрасту годился ей в сыновья. Пятидесятилетняя Кин была моложава и по-прежнему очаровательна — никто не дал бы ей больше тридцати семи, тридцати восьми лет. По окончании университета Табэ сразу же призвали в армию; он ушел на войну в чине лейтенанта. До отправки на фронт часть, в которой он служил, некоторое время стояла в Хиросиме. Кин два раза ездила туда навестить Табэ.

Не успевала она приехать в гостиницу, как являлся Табэ, одетый в военную форму. От него несло отвратительным запахом казармы, но все же Кин провела с Табэ в гостинице две ночи. Она очень устала с дороги и впоследствии говорила, что боялась отдать богу душу в его могучих объятиях. Сколько он ни вызывал ее телеграммами, больше она к нему не поехала. В сорок втором году Табэ отправили в Бирму. По окончании войны он был демобилизован и на следующий год в мае вернулся в Японию. Он сразу же приехал в Токио и разыскал дом Кин в Нумабукуро.

Табэ сильно постарел, передних зубов у него не хватало. Встреча разочаровала Кин, и в душе она распрощалась с былыми мечтами. Табэ был уроженец Хиросимы, но старший брат — влиятельный человек, чуть ли не депутат парламента — помог ему устроиться в Токио и начать какое-то дело, связанное с автомашинами. Не прошло и года, как он, живя в Токио, снова превратился в представительного господина; как-то раз он навестил Кин и сказал, что собирается жениться. Потом они опять целый год не видались.

В самый разгар бомбежек Кин почти задаром купила свой теперешний благоустроенный дом в Нумабукуро и поселилась в нем. От Тодзуки до ее нового жилища было рукой подать, и все-таки дом в Нумабукуро уцелел, а бывший пансион Сумико сгорел дотла. Сумико с семьей при-

ютилась у Кин, но, как только война кончилась, Кин выставила сестру и зятя. Впрочем, Сумико очень быстро отстроила себе новый дом на пожарище в Тодзуке, так что впоследствии она даже благодарила Кин. Ведь сразу же после войны отстроить жилье стоило пустяки.

Кин тоже воспользовалась обстоятельствами: она продала дачу в Атами, получила триста тысяч иен наличными, купила на эти деньги полуразрушенный дом, отремонтировала его и продала в несколько раз дороже. Когда дело касалось денег, Кин всегда действовала весьма хладнокровно. Опыт научил ее, что деньги обладают способностью расти, как снежный ком, надо только не терять голову. Кин ссужала деньгами. За высоким процентом она не гналась, предпочитая небольшой процент, но с надежным залогом — так было гораздо выгоднее. Не очень доверяя банкам еще с самого начала войны, Кин старалась по возможности пускать деньги в оборот. Она была не так глупа, чтобы прятать деньги в кубышку, словно какая-нибудь крестьянка. Посредником при всех этих операциях служил ей муж Сумико — Хироёси. Люди умеют развивать поистине бешеную энергию, надо только не забывать о поощрении; Кин хорошо усвоила эту истину.

Теперь Кин жила вдвоем с прислугой в четырехкомнатном доме; со стороны могло показаться, что она ведет унылую, однообразную жизнь; но она не скучала, и, судя по тому, как редко она куда-нибудь выходила, эта жизнь вовсе ее не тяготила. Собаки Кин не держала. Она была твердо убеждена, что крепкие запоры гораздо лучше защищают от воров, чем любой пес, и поэтому у нее в доме замки были надежнее и крепче, чем в любом другом. Прислуга у нее жила глухонемая, и, когда кто-нибудь приходил в гости, можно было не опасаться чужих ушей. А все-таки, несмотря на все предосторожности, ей мерещились порой грабители, делалось страшно, что ее могут убить. Случалось, она, затаив дыхание, с тревогой прислушивалась к безмолвию и тишине, которые завладели домом. И только голос радиоприемника, порой включенного с утра до поздней ночи, нарушал молчание.

Не так давно Кин познакомилась с неким Сэйдзи Итаей, державшим оранжереи близ Мацудо, в префектуре Тиба. Он доводился не то братом, не то еще какой-то родней человеку, купившему у нее дачу в Атами. Во время войны Итая владел торговой конторой в Ханое, а затем вернулся в Японию и завел свое цветоводство. Несмотря на свои сорок лет,

Итая выглядел много старше и был совершенно лыс. Несколько раз он приходил к Кин в связи с покупкой дачи, и как-то так получилось, что он стал регулярно, раз в неделю, навещать Кин. С тех пор как Итая начал бывать у Кин, ее дом постоянно украшали свежие цветы. Вот и сегодня ваза в нише полна прекрасных чайных роз сорта «каштановые».

Листья гинкго увяли, печален желтеющий сад...
Сердцу милы покрытые инеем розы...

Желтые розы похожи на зрелую женщину в полном расцвете сил. Это сказано в каких-то стихах... Запах роз, тронутых инеем поутру, властно пробуждает воспоминания в душе Кин. Когда раздается телефонный звонок Табэ, Кин становится ясно, что он своей молодостью привлекает ее гораздо больше пожилого Итаи. Конечно, тогда, в Хиросиме, ей пришлось порядком от него натерпеться, но, во-первых, Табэ был тогда военным, и потом, бурный темперамент тоже в конце концов оправдывается молодостью, теперь она это понимает. А вспоминать об этих встречах ей радостно. Чем ярче воспоминания, тем они почему-то становятся дороже, по мере того как проходит время...

Табэ запоздал, он пришел много позже пяти. Явился с большим свертком. Достав из свертка бутылку виски, ветчину, сыр и другие закуски, он уселся перед жаровней. От прежней его юношеской свежести не осталось и следа. Серый в клетку пиджак, темные зеленоватые брюки — вполне современный деловой человек.

— А ты хороша по-прежнему.

— В самом деле? Спасибо. И все-таки мое время уже прошло.

— Ну нет, ты и теперь привлекательнее моей жены.

— Но госпожа, наверное, молода?

— Молода, да что толку? Провинциалка...

Кин достала из серебряного портсигара Табэ папиросу. Табэ зажег для нее спичку. Служанка внесла поднос, уставленный бокалами для виски и тарелками с ветчиной и сыром.

— Славная девушка, — с улыбкой проговорил Табэ.

— О да... Но глухонемая.

— Неужели? — Несколько удивленный, Табэ внимательно поглядел на служанку. Девушка приветливо ему поклонилась. Кин почувствовала вдруг, что девическая све-

жесть, которой она раньше не замечала у служанки, неприятно режет ей глаз.

— Ну, как вы живете, дружно?

— Кто, мы? — Табэ затянулся папиросой. — Через месяц ожидаем рождения ребенка...

— Ах, вот как! — Кин взяла бутылку и налила виски в стакан Табэ.

Табэ охотно выпил и налил виски Кин.

— Замечательно ты живешь!

— Что вы! Чем же?

— Какие бы бури ни бушевали вокруг, ты одна ничуть не меняешься... Удивительная женщина! Впрочем, у тебя, наверное, есть хороший патрон... Недаром ты красавица, Кин. А все-таки позавидуешь женщинам, право!

— Вы шутите? Кажется, я не причиняла Табэ-сану особых хлопот или неприятностей и, право, не заслужила таких злых шуток.

— Рассердилась? Не надо. Честное слово, я не хотел тебя обидеть. Просто, по-моему, ты счастливица. Мужчинам сейчас приходится ох как туго... Только это я и имел в виду. По нынешним временам легко и просто не проживешь. Либо тебя сожрут, либо пожирай сам... Вот я, например, живу так, словно каждый день все ставлю на карту.

— Но ведь ваше дело, кажется, процветает?

— Далеко не так... Хожу по краю пропасти — вот каковы мои дела. Так трудно добываются деньги, что голова кругом идет.

Кин молча пригубила виски. За стенкой трещит сверчок, и это действует ей на нервы. Табэ выпил второй стакан виски и, перегнувшись через жаровню, порывистым движением схватил ее руку. Рука без колец мягка и нежна, как беспомощный шелковый платочек. Кин сидит не шелохнувшись, ее неподвижная рука остается в руке у Табэ. В его захмелевшей голове водоворотом клубятся воспоминания. Вот она сидит перед ним, эта женщина, такая же красивая, как была когда-то. Странное чувство охватывает Табэ. Годы и месяцы текут непрестанным потоком, приносят новые и новые испытания: взлеты и падения. А эта женщина — все такая же. Табэ пристально вглядывается в ее лицо. Те же крохотные морщинки вокруг глаз, очертания лица ничуть не изменились. Кажется, все, что творится на свете, ее ничуть не касается. Табэ захотелось узнать, какова подлинная жизнь этой женщины. Нарядная обстановка, изящная фарфоровая жаровня, роскошные

розы, целый букет, да и она сама: сидит перед ним, безмятежно, приветливо улыбаясь... Ведь ей должно быть уже никак не меньше пятидесяти, и все же она по-прежнему воплощенная женственность, благоухающая, изящная. Табэ не знал настоящего возраста Кин. Он представил себе свою наемную квартиру, усталую, опустившуюся жену, которой едва исполнилось двадцать пять...

Кин достала из ящичка тонкую трубку с серебряным чубуком и закурила. Ее тревожило, что Табэ то и дело беспокойно потирает рукой колени. Уж не испытывает ли он денежных затруднений? Кин внимательно изучала выражение его лица. Чувство, с каким она когда-то ездила к нему в Хиросиму, уже поблекло, угасло в ее сердце. Теперь, когда они встретились снова в обыденной жизни, Кин остро ощущает, как бесконечно далеки они друг от друга. Эта отчужденность тяготит, ей становится грустно. Может быть, это оттого, что она слишком хорошо его знает? Может быть, поэтому ее не тянет больше к нему? Кин расстроена: вот они снова вместе, но самое главное — чувство — не разгорается вновь.

— Послушай, нет ли среди твоих друзей человека, который дал бы мне взаймы четыреста тысяч иен?

— Что такое?! Деньги? Но ведь это огромные деньги, четыреста тысяч!

— Да, мне до зарезу необходима эта сумма. Не можешь ли ты меня выручить?

— Конечно, нет. Бессмысленно обращаться ко мне с такой просьбой... Да разве я могу!..

— Послушай, я не постою за высокими процентами, а?

— Оставьте! Напрасно вы это. — Кин вдруг ощущает легкий озноб. Ее охватывает тоска по бездумным, приятным отношениям с Итаей. С тяжелым сердцем она снимает с жаровни давно уже кипящий чайник и наливает себе чай.

— Ну, хотя бы двести тысяч ты мне не устроишь? Я век буду тебе обязан...

— Право, вы меня удивляете! Зачем вы все это говорите? Ведь вы хорошо знаете, что у меня никогда не было денег. Есть ровно столько, сколько нужно на жизнь. Значит, вы пришли ради денег, а не потому, что хотели меня увидеть?

— Нет, хотелось тебя повидать — это я говорю без обмана, но я думал, что с такой женщиной, как ты, можно обо всем посоветоваться...

— Вы бы лучше попробовали поговорить с вашим братом.

— Он ничего не должен знать об этих деньгах.

Кин не ответила. Ей вдруг пришло в голову, что еще год, самое большее два, и она вовсе станет старухой. Она видит теперь, что страстная любовь, когда-то соединявшая ее с Табэ, исчезла без следа. А может быть, то была вовсе не любовь, а просто плотское влечение? Непрочная, мимолетная связь мужчины и женщины, хрупкая, как опавший сухой лист, летящий по ветру... И вот он сидит перед ней, этот Табэ, — они просто случайные знакомые, чужие, далекие друг другу люди.

Душу Кин пронизывает холодок; заметив это, Табэ спохватывается.

— Переночевать оставишь? — улыбнувшись, тихо спрашивает он.

Кин в изумлении глядит на него.

— Что вы! Нет, нет! Вы шутите! — посмеивается она, нарочно сощурив глаза, чтобы заметнее были морщинки на висках. Блестят красивые белые вставные зубы.

— Ты, право, что-то слишком уж холодна! Обещаю, что больше ни слова не скажу о деньгах. Просто, увидев мою прежнюю Кин-сан, я немного раскис и позволил себе пожаловаться на жизнь... Но знаешь, у тебя действительно будто попадаешь в другой мир. Ты, видно, под счастливой звездой родилась. Что бы на свете ни случилось, тебе все нипочем. И правильно! Не то что нынешние молодые женщины — если бы ты знала, какие они все убогие, жалкие... Ну а европейским танцам ты научилась?

Кин приглушенно смеется.

— Не знаю я этих нынешних танцев. А вы?

— Немного танцую.

— Да? И есть, надо полагать, хорошая партнерша? Но ведь это стоит, наверно, немалых денег?

— Глупая, мне не так легко достаются деньги, чтобы я стал их тратить на женщин.

— А между тем выглядите вы отлично. Разве может человек так выглядеть, не имея солидного капитала, — что-то я таких не встречала...

— Все это одна видимость. А в кармане у меня ветер свищет. Тяжелые времена... Точь-в-точь по поговорке: «Вставать и падать — удел человека»...

Кин тихонько рассмеялась: она загляделась на волнистые черные волосы Табэ. Какие густые... спадают на лоб... В

них уже нет того блеска, которым она любовалась в пору его юности, когда Табэ носил студенческую фуражку, но зато лицо его приобрело иную прелесть: оно привлекательно своей зрелостью и, пусть в нем нет особой тонкости, оно дышит силой. Кин налила Табэ чай, наблюдая за ним с настороженностью зверя, учуявшего какой-то новый, незнакомый запах.

— Правду говорят, будто скоро будет денежная реформа? — небрежно, полушутливо спросила она.

— А у тебя так много денег, что ты тревожишься?

— Как вы грубы! Вы так переменились! Ходят слухи, вот я и спросила...

— Не думаю, чтобы в современной Японии возможны были такие крутые меры. Ну а у кого денег нет, тем и вовсе можно не волноваться.

— О да, разумеется. — Кин поспешно нагнула бутылку с виски над стаканом Табэ.

— Эх, съездить бы на несколько дней в Хаконэ или еще куда-нибудь в тихое местечко и хорошенько отоспаться...

— Вы так устали?

— Да, все из-за этих проклятых денег.

— Ну, это совсем на вас не похоже — тревожиться из-за денег. Я поверила бы еще, если бы дело касалось женщины...

Табэ бесит ее невозмутимо-спокойный тон. И вместе с тем он с невольным удивлением и любопытством разглядывает Кин, словно какую-нибудь редкостную старинную безделушку. Провести с нею ночь было бы, в сущности, одолжением с его стороны. Взгляд рассеянно скользит по ее лицу. Твердая линия подбородка изобличает сильный характер. Он вдруг подумал о молоденькой служанке, которую видел только что. Красавицей ее не назовешь, но для него, повидавшего множество женщин, эта юная свежесть таит в себе прелесть новизны. «Если бы я пришел сегодня сюда впервые, у меня, наверно, не было бы столь тягостно на душе». И он явственно ощутил, как постарела Кин, на лице ее уже проступила усталость. Раньше этого не было. Словно уловив что-то, Кин встала, прошла к себе в спальню и, взяв с туалета шприц, быстро сделала укол. Протирая ваткой кожу на руке, она взглянула в зеркало и провела по лицу пуховкой. Было досадно и больно от этой встречи, встречи двух людей, совершенно равнодушных друг к другу; неожиданные, незваные слезы повисли у нее на ресницах. Будь на месте Табэ Итая, она бы поплакала, уронив голову

ему на колени, а может быть, позволила себе даже немного покапризничать. Но Табэ, сидящий там, в столовой, перед жаровней... непонятно даже, дорог он ей или ненавистен. Ах, ушел бы он поскорее! И в то же время ей словно все еще хочется пробудить в нем сожаление о прошлом. За эти годы он узнал столько женщин...

Возвращаясь в столовую, Кин заглянула в комнату служанки. Поглощенная выкройкой европейского платья, та низко склонилась над листом газетной бумаги и усердно работала ножницами. Аккуратно зачесанные наверх волосы открывали гладкую, белую, на диво полную шею. Кин вернулась в столовую. Табэ прилег подле жаровни. Кин включила приемник, стоявший на шкафчике с посудой. Неожиданно полилась громкая музыка. Табэ сел и снова поднес к губам бокал с виски.

— Помнишь, как мы с тобой ездили в Сибамату, в ресторан «Кавадзин», по дороге попали под дождь и промокли до нитки? Нам еще подали там жареного угря без риса.

— Конечно, помню. В то время стало уже очень трудно с продуктами. Вскоре вас забрали в солдаты... Там еще стояла в нише ваза с пестрыми лилиями, и вы ее опрокинули... Помните?

— Разве?.. — Лицо Кин вдруг показалось ему опять молодым. — Знаешь что, давай съездим туда как-нибудь еще разок?

— Отчего же, с удовольствием... Но только у меня пропал к этому интерес... А как вы думаете, в ресторане «Кавадзин», наверное, опять подают все, что хочешь? — Кин старается бережно воскресить былые воспоминания, боясь спугнуть то сожаление о прошлом, что минуту назад, в спальне, вызвало у нее на глазах слезы. Но, вопреки ее стараниям, в памяти всплывает лицо другого мужчины, а не Табэ. Уже после того, как она ездила в Сибамату с Табэ, она была там еще раз, по окончании войны, с другим человеком, по имени Ямадзаки; недавно он умер от рака желудка. Ей вспоминается душный, жаркий день в конце лета, погруженная в сумрак комната ресторана «Кавадзин» на берегу реки Эдогава. В ушах стоит ритмичный шум насоса, качающего воду из реки. Кричат цикады, а за окном по высокой плотине, сверкая на солнце серебряными спицами, мчатся, словно наперегонки, велосипедисты; жители Токио спешат в деревню за продуктами. То было второе свидание с Ямадзаки. Он был очень юн, Ямадзаки, совсем не искушен в

обхождении с женщинами, и эта его юность внушала Кин что-то похожее на благоговение. Еды в тот день у них было вдоволь, и эта обстановка благополучия, возможность впервые после долгих, тяжелых лет войны перевести дух вызывала ощущение необыкновенной тишины и покоя, словно, кроме них двоих, никого и ничего не существовало на свете. Возвращались они поздно вечером; Кин помнит, как они ехали в автобусе до Синкоивы по широкой военной автостраде.

— Ну как, увлекалась ты кем-нибудь после меня?

— Я?!

— Ну да.

— Кроме вас, я никого не любила.

— Неправда.

— Да почему же? Конечно, никого. И потом, кому я нужна такая?

— Не верю.

— Вот как? Так, по-вашему, моя весна еще впереди?

— Ну, ты еще долго проживешь!

— Может быть, пока не превращусь в дряхлую старуху... А до тех пор я...

— До тех пор не хочешь бросать старые привычки, это ты хотела сказать?

— О, какой же вы злой! И сколько желчи! Вас не узнать. Где ваше доброе сердце?

Табэ взял серебряную трубку Кин и попробовал затянуться. Табачный нагар попал ему в рот. Он достал платок и вытер губы.

— Давно не прочищала, вот и горчит... — Кин, улыбаясь, отобрала у него трубку и стала вычищать ее, постукивая о разостланную на циновке бумагу.

В Кин есть для Табэ что-то загадочное. Жизнь с ее безжалостными законами, по-видимому, пощадила ее. Судя по всему, она имеет достаток, при котором раздобыть двести - триста тысяч иен вовсе не так уж трудно. Как женщина Кин уже нисколько его не привлекает, но Табэ невольно влечет атмосфера благополучия и довольства, которая ощущается в ее доме. Вернувшись с войны, Табэ пытался заняться коммерцией, уповая лишь на собственную энергию, но небольшие деньги, которые ссудил ему брат, полностью улетучились скорее чем за полгода; и потом, у него связь на стороне, эта женщина тоже вскоре ожидает ребенка. Вспомнив о старом своем увлечении, он навестил Кин в надежде, что она сумеет ему помочь; но Кин так переменилась, от ее бы-

лой привязанности к нему не осталось и следа; она держится до тошноты отчужденно, и это свидание, после столь продолжительной разлуки, как будто ничуть ее не волнует. Поза чинная, лицо неизменно спокойное. Это спокойствие сковывает Табэ, мешает вернуться к прежней интимности... Он снова взял Кин за руку и крепко сжал ее пальцы. Кин не шевельнулась, не отняла руку, словно ничего и не почувствовала. Она даже не нагнулась к нему и другой рукой продолжала выколачивать трубку об пол.

Долгие годы разлуки наложили на обоих глубокий отпечаток. Уже никогда не вернется былая близость, былая нежность: оба они постарели. Оба мысленно сравнивают прошлое с настоящим. Оба полностью отрешились от всяких иллюзий. Оба устали, каждый по-своему, и теперь встретились, неся в душе бремя усталости. Где она — счастливая случайность, о которой пишут в романах? Увы, ее не существует! В романе, возможно, все выглядело бы гораздо красивей, не столь грубо. Удивительно устроена жизнь! Они встретились сегодня лишь для того, чтобы окончательно отвергнуть друг друга. Табэ вдруг померещилось, что он убивает Кин. Но убить ее — значит совершить преступление. Подумать только! Убить женщину или даже двух женщин, до которых никому нет дела, что в этом, в конце концов, такого? И все-таки его сочтут преступником. Какая нелепость!.. Старая женщина, незаметная и слабенькая, как мошка, а вот поди ж ты, выдержала все бури и знай живет себе как ни в чем не бывало. Эти два комода, наверное, битком набиты дорогими кимоно, накопленными за долгую жизнь. Когда-то давно она показала ему браслет — подарок какого-то Мишеля, француза, что ли, — наверное, это не единственная ее драгоценность! И дом тоже, безусловно, принадлежит ей. Убить женщину, которая держит глухонемую служанку, — как это легко и просто... Но в расстроенном воображении Табэ тут же с непостижимой отчетливостью возникают воспоминания юности: он видит себя студентом, влюбленным в эту женщину; война в разгаре, а он мчится на свидание с Кин...

Образ Кин, сидящей напротив, с необъяснимой силой врезается в душу. Она сидит неподвижно, не шелохнется, и все прошлое их любви как наяву проходит перед его мысленным взором.

Кин поднимается, достает из комода фотографию Табэ, снятую в студенческие годы, и протягивает ему.

— О-о, что я вижу! Моя старая карточка!

— Да, она сохранилась у Сумико, я у нее отобрала. Вы похожи здесь на молодого аристократа... Правда, эта синяя куртка очень шла вам? Возьмите эту карточку себе. Покажете жене, ей будет приятно. Вы здесь такой красивый... И не такой злой, как теперь.

— Неужели все это действительно было?

— Конечно... Зачем вы не такой, как тогда; вы были бы замечательным человеком!

— Ты хочешь сказать, что из меня не вышло ничего путного? Ну, в этом, во-первых, повинна ты, а во-вторых, бесконечная война.

— Ах нет, вовсе не то... Не в этом дело. Просто вы так огрубели...

— Гм... Огрубел? Что поделаешь, такова жизнь.

— Теперь видите, как я любила вас? Столько лет хранила вашу фотографию!

— Ну, берегла, наверное, ради коллекции. А свою почему не подарила?

— Что, карточку?

— Ну да.

— Меня пугают старые фотографии. Но я ведь, кажется, послала вам на фронт свою карточку; я сфотографирована там в костюме гейши.

— Я ее потерял...

— Вот видите! Значит, я любила сильнее...

Жаровня все еще разделяет их нерушимой преградой. Табэ уже окончательно захмелел. У Кин бокал по-прежнему полон больше чем наполовину. Табэ залпом выпивает чашку остывшего чая и равнодушно откладывает фотографию.

— Вы не боитесь опоздать на трамвай?

— Я никуда не пойду. Неужели ты собираешься выгнать на улицу пьяного?

— Ну да. В доме одни женщины, неудобно перед соседями.

— Перед соседями?! Вот уж не ожидал, что тебя могут беспокоить подобные соображения!

— Представьте, могут.

— Скажи лучше, ждешь своего покровителя?

— Как вам не стыдно! Нехороший Табэ-сан! Как у вас только язык поворачивается!..

— Ладно, оставим... Вот что: пока я не достану денег, мне нельзя возвращаться домой... Ты разрешишь несколько дней побыть у тебя?

Положив подбородок на руки, Кин широко раскрытыми глазами уставилась на бледные губы Табэ. Итак, даже самой страстной любви неизбежно приходит конец. Она молча изучает сидящего напротив мужчину. Прежнего трепета нет уже ни в ее, ни в его сердце. Юношеская скромность Табэ улетучилась без следа. Кин готова, кажется, швырнуть ему деньги, лишь бы он поскорее убрался. Но ей противно дать хотя бы грош безобразно пьяному человеку, который сидит перед нею. Если уж давать, то во сто крат лучше дать деньги кому-нибудь, кто еще не потерял окончательно совесть. Что может быть отвратительнее мужчины, утратившего чувство собственного достоинства! Кин помнит немало юношей, сходивших из-за нее с ума. Юность влекла ее, казалась священной. Она всегда стремилась найти идеального возлюбленного, это было для нее главным. Кин приходит к выводу, что Табэ — просто ничтожество. Ему повезло, он вернулся с войны цел и невредим, — что ж, так, видно, судил рок... Она вспоминает, как любила его, как ездила вдогонку за ним в далекую Хиросиму... Вот тогда-то и следовало опустить занавес над этим романом.

— Что ты на меня так уставилась?

— Я?! Ничуть, это вы все время не спускаете с меня глаз, а у самого что-то недоброе на уме...

— С чего ты взяла? Просто загляделся на мою красавицу Кин-сан...

— Да? Ну вот, и я тоже... Любуюсь, каким вы стали интересным мужчиной.

— Э-э, пустяки, пустяки... Все отговорки...

Табэ чуть не проговорился, что у него мелькнула мысль об убийстве, но усилием воли подавил уже готовые было сорваться слова.

— Для вас расцвет еще только наступает. Счастливый!..

— Да и ты тоже далеко еще не стара.

— Я? Нет, для меня уже все кончено. Все уже позади. Еще год, самое большее — два, а потом, пожалуй, уеду доживать век в провинцию.

— Значит, ты пошутила, что до смерти не оставишь старых привычек?

— Ах, что вы! Я ничего подобного и не говорила! Я живу только воспоминаниями, больше мне ничего не нужно. Давайте же останемся добрыми друзьями.

— Не увиливай... Друзьями! Ты ведь не барышня-гимназистка, что начала толковать о дружбе. А воспоминания... Черта ли в них, в воспоминаниях!..

— Что ж, может быть, вы и правы... Но ведь вы сами, первый, заговорили о том, как мы ездили в Сибамату.

Табэ опять беспокойным жестом погладил коленку. Ему нужны деньги. Деньги! Надо получить у нее взаймы хотя бы пятьдесят тысяч.

— Значит, ты и в самом деле никак не можешь меня выручить? Я отдаю в залог все мое дело...

— Вы опять о деньгах? Со мной об этом толковать бесполезно. У меня нет ни гроша. А богачей таких я не знаю, да и откуда мне знать? Мне самой бы впору попросить у вас взаймы...

— Послушай, если все будет удачно, я верну тебе гораздо большую сумму. Я тебя не оставлю. Ты мне будешь всегда дорога...

— Оставьте, хватит... Довольно этих любезностей. Вы же обещали, что не станете больше говорить о деньгах!

Казалось, по комнате со свистом пронесся порыв осеннего ветра; Табэ сжал в кулаке тяжелые щипцы, лежавшие у жаровни. Ярость исказила лицо. Какая-то дразнящая мысль танцует в его мозгу; весь во власти этой мысли, Табэ с силой сжимает щипцы. Электрической вспышкой ударяет в голову кровь, будоражит его, туманит сознание... Кин с безотчетной тревогой неотрывно глядит на руку Табэ. Ей кажется, будто все это когда-то уже было с нею, будто она переживает эту сцену вторично.

— Вы пьяны. Пожалуй, вам и в самом деле лучше переночевать здесь.

Услышав, что ему позволяют остаться, Табэ разжимает кулак. Шатаясь, походкой вконец захмелевшего человека он выходит из комнаты. Кин глядит ему вслед и, словно о чем-то догадавшись, презрительно усмехается. После войны люди стали на себя не похожи... Кин достает из шкафчика баночку с хиропоном и поспешно проглатывает пилюлю. В бутылке еще осталась треть виски. Пусть выпьет до дна, напьется мертвецки пьян, завтра она выгонит его прочь. Ну а ей — хочешь не хочешь — придется всю ночь просидеть не смыкая глаз... Кин схватила фотографию юного Табэ и швырнула в яркое пламя жаровни. Повалил густой дым. Запахло гарью. Служанка осторожно приоткрыла фусума, заглянула в комнату. Кин, улыбаясь, жестами приказала ей постелить гостю в другой комнате. Чтобы поскорее заглушить запах горелой бумаги, Кин бросила в огонь ломтик сыра.

— Э, что ты тут жжешь? — В раздвинутые фусума загля-

нул Табэ; одной рукой он опирался на полные плечи служанки.

— Хотела попробовать, вкусен ли жареный сыр, и нечаянно уронила в огонь...

В клубах белого дыма вьется тонкая черная струйка. Круглый стеклянный абажур, свисающий с потолка, похож на плывущую в облаках луну. От жаровни несет едким чадом. Задыхаясь, Кин ходит по комнате и с силой раздвигает перегородки и оконные рамы.

ТАЙКО ХИРАБАЯСИ

МАТЬ ТРЕХ ДОЧЕРЕЙ

В трехместной палате появилась новая пациентка. Она была немолода, но необыкновенно изящна: покатые хрупкие плечи, высокая талия, ловко повязанная поясом оби[1]. И багаж ее был под стать: не какой-нибудь саквояж, а фуросики[2] с изысканным узором. Проводившему ее до палаты таксисту она грациозно протянула чаевые и сказала что-то вроде: «Простите, тут совсем немножко...» Таким тоном раньше обращались к рикшам.

С соседками поздоровалась по-мужски коротко. Смертельно скучавшей немолодой, лет сорока, пациентке с полипом сразу же стало ясно: ну, с этой непросто будет поладить.

При попытке завязать с ней беседу новенькая ответила с обезоруживающей откровенностью:

— Вы уж извините, но я не могу говорить. У меня все серьезнее, чем у вас. Просто сил нет терпеть, как больно!

Она легла и принялась растирать себе поясницу. Черные блестящие волосы на подушке кажутся расплавленными. Они зачесаны наверх и, если хорошо присмотреться, уложены в старинную прическу кусимаки. Изящная линия носа, угольно-черные ресницы, губы красные, как цветы камелии, — в молодости она, очевидно, была необыкновенной красавицей...

Вскоре пришли медсестра с врачом и сделали ей укол. При этом обнажилась узкая грудная клетка, которую мало

[1]Оби — пояс в традиционном японском костюме.

[2]Фуросики — платок, используемый для ношения вещей.

украшали жалкие сморщенные смуглые груди, похожие на сушеную хурму. Такое увядшее по контрасту с лицом тело обычно бывает у процветавших в молодые годы гейш.

Когда врач ушел, пациентка с полипом сказала:

— Давайте-ка я попробую угадать. Вы прежде этим занимались? — и изобразила, будто играет на сямисэне.

— Нет, ошибаетесь. — Новенькая, покачав головой на тонкой шее, перевернулась на бок, сморщившись словно от сильной боли. Судя по всему, ее состояние действительно было тяжелым: несколько раз забегала медсестра, щупала пульс, уходила за тонометром, измеряла давление.

Потом появилась другая сестра и стала задавать вопросы, делая пометки на разных бланках. Женщина отвечала с трудом.

— Значит, сейчас вы живете одна?

— Да-а. — Ее дыхания не хватало даже на такие короткие слова.

— Кто у вас поручители — дети?

— Да-а.

— А они знают об этом?

— Как бы вам сказать... — Ее дыхание прервалось, и раздался шелестящий, словно дуновение ветра, смешок. — Нет, не знают.

— Как же так? — Медсестра не собиралась отступать, но больная уже отвернулась к стене. — Госпожа Сида! Не могут же быть поручителями люди, которые сами об этом не знают! Ведь они и документов никаких не заверят.

— А мне и не нужно никакое поручительство. Расходы я заранее оплатила. Так что берите сколько нужно.

— Дело же не в деньгах! — Медсестра уже не первой молодости, хорошо вышколена, но с трудом дожидается бросаемых этой женщиной отрывистых ответов. К тому же из результатов обследования ясно, что больная неизлечима. Поэтому, если сейчас же не уладить вопрос с поручительством, то все дальнейшие хлопоты рано или поздно лягут на ее плечи. Впрочем, дело даже не в этом — сама ситуация вопиюще нелепа.

Сида раздраженно закрыла глаза. Бледные — словно упала легкая тень — пятна окрасили ее веки, такие тонкие, что под ними угадывались движения глазных яблок.

— Что же делать? Ладно, попробую вызвать одну из ваших дочерей. Ну хотя бы вот эту.

И сестра удалилась, изучая выписку из книги семейной регистрации и бормоча что-то себе под нос.

— Госпожа Сида! Нужно, чтобы все документы были в порядке, а то будут неприятности. Позвольте мне позвонить за вас по телефону, когда я пойду в столовую, — предлагает пациентка с полипом. Это считается, что у нее полипоз стенок желудка, по крайней мере так утверждают врачи. Но отличается ли на самом деле ее болезнь от заболевания Сиды? Чего тут только не встретишь: и язвы желудка, и полипы, и колит. Удивительно, до чего мало в этой онкологической лечебнице раковых больных! Эта пациентка — хозяйка маленького кабачка в Ситамати. Домой звонит часто, но муж не явился ни разу.

— Гуляет! Пока жены нет, пустился во все тяжкие, — посмеивается она, словно ее только что осенило. Но раза три в день непременно семенит по коридору к телефону в своем махровом халате.

Сида не приняла предложения позвонить по телефону и только пробормотала:

— Ни к чему, — после чего опять закрыла глаза.

Ночью Сида стонала.

— Ужасно! Похоже, она недолго протянет. Только-только у нас остались одни легкие больные — и на тебе! — сообщила наутро в коридоре пациентка с полипом девушке, переведенной сюда из психиатрической больницы, когда обе направлялись за подносами с едой.

Но лицо девушки остается безучастным. Ей удалили часть прямой кишки и вывели трубку. Но это, похоже, ее не особенно волнует. Она радуется большей, чем в психиатрической больнице, свободе и вечерами прогуливается по коридору туда-сюда.

Целый день пациентка с полипом нетерпеливо ждала, когда же придет поручитель Сиды — ее дочь. Она надеялась на волнующую сцену встречи давно расставшихся матери и дочери. Однако так никто и не явился.

Под вечер снова зашла медсестра.

— Ваша дочь не пришла. Что же делать? Может быть, вы найдете себе другого поручителя?

— Не стоит. Желающих не будет.

— Почему? Это же ваши родные дети? — Медсестра бросает взгляд на Сиду, пытаясь угадать, не обиделась ли пациентка.

— И родные дети не придут, — устало шепчет Сида словно в забытьи и закрывает глаза.

Она почти ничего не ест. Закрытая крышкой чашка с рисовым отваром долго стояла на столе, пока сестра не

принесла взамен молоко. Сида потянулась за ним и отпила половину, но ее тут же вырвало.

После этого она стала подолгу лежать с закрытыми глазами.

— В полицию, что ли, обратиться? Пусть хоть они заставят дочь прийти. Уж не знаю, что там у них произошло, но все равно это чудовищно. Дочь даже не интересует, жива ее мать или нет! — сказала принимавшая Сиду медсестра на посту.

Такое бывало и раньше. Взять, например, девушку на соседней кровати, доставленную из психиатрической больницы. Какая-то женщина — не то мать, не то тетка — оставила ее тут со словами: «Я больше не приду. Полагаюсь на вас, сестра», и во время операции никого из родственников рядом не было.

Ситуация, конечно, похожая, но кажется, что вокруг Сиды сгустилась особая атмосфера — яростная, обжигающая и в то же время зловещая. И то, что ее не посещают дочери, свидетельствует скорее о буре страстей, а не о холодности и бесчувственности от бедности или нехватки помощников в доме.

На другой день после обхода лечащий врач спросил вышедшую за ним в коридор медсестру:

— Домашние так и не приходили?

— Нет, похоже. Правда, она живет отдельно от них.

— Видно, серьезно они поссорились. Может быть, из-за наследства ее мужа?

— Не знаю, но в графе «Профессия» записано, что она глава школы национального танца. Не похоже, что она нуждается в деньгах. Раньше по телевизору часто показывали преподавательницу танцев Рюхо Сиду. Она, конечно, очень изменилась, но судя по всему, это она и есть.

— М-да... такую больную лечить непросто. Ведь в заболевании не последнюю роль играет психологический фактор.

— Принимавшая ее сестра говорит, что через пару дней надо бы сходить к ее дочери домой.

— Хорошая идея, только уж больно это хлопотно.

И на следующий день вызванная дочь не явилась. Не явилась она и после визита к ней участкового.

Прошли суббота, воскресенье, и в понедельник, свободный от дежурства, медсестра посетила дочь Сиды, живущую с мужем в оживленном квартале. Она была очень похожа на мать, с виду — немногим за тридцать, так же, как мать,

изящна, словно плакучая ива. Когда она, сидя на татами, поклонилась, ее длинные, тонкие выразительные руки задвигались со своеобразной экспрессией. Такой же тонколицей красавицей была, очевидно, несколько десятилетий тому назад сама Сида.

Медсестра спокойно изложила суть дела, стараясь понять настрой собеседницы. Но та твердила только:

— Да, да, спасибо вам за заботу, — и не выказывала, вопреки ожиданиям, ни малейшего признака ненависти к матери. И усердно повторяла: — Поступайте как вам угодно. Я вам полностью доверяю.

— Мы можем обеспечить лишь медицинскую помощь. Но ведь если не утешить, не приободрить больного, то все лечение пойдет насмарку!

Дочь Сиды потупилась и долго подбирала слова, разглядывая свое аккуратное кимоно.

— Видите ли, я думаю, мать не нуждается в моем утешении...

Слова упали — словно капли дождя на железную кровлю. И, подобно каплям дождя, они звучали размеренно-монотонно, лишенные даже тени эмоций.

— Но почему?

Дочь молчала.

Даже покладистая медсестра не могла подавить раздражения:

— Может быть, вы — для проформы — сообщите причину?

— Ах, это не так сложно, как вы думаете. Просто... Извините, пожалуйста, но вот-вот вернется муж, и мне хотелось бы закончить нашу беседу.

— Да-да, понимаю. Ничего не поделаешь. — И медсестра ушла с испорченным настроением.

С этого дня сознание Сиды стало порой мутиться. Случалось, ее тускло блестящие, будто атласные, веки приподнимались и она восклицала: «Красиво, очень красиво!» — а глаза бессмысленно всматривались в потолок.

— Что вы там увидали? Госпожа Сида, что — очень красиво? — приставала к ней пациентка с полипом, но душа Сиды уже принадлежала другому миру, в отличие от тела, и в ответ слышалось только:

— А-а-а... — Веки с двойной складкой по-прежнему подняты, и в запавших глазницах сидят, словно ракушки, потерявшие блеск глаза...

Все средства были испробованы, прежде чем дочь Сиды посетила больницу.

И медсестры на посту, и пациентка с полипом прямо извелись, поджидая ее с самого утра.

Наконец она появилась — часа в два, с разрешением на посещение. В руках у нее была маленькая коробка, завернутая в бумагу. Она грациозно поклонилась и открыла дверь в трехместную палату, которую ей указали. Следом зашла все та же сестра, принимавшая Сиду.

Посетительница встала у изголовья, на котором покоились уложенные в прическу кусимаки волосы металлического отлива.

— Госпожа Сида, ваша дочь пришла! — прошептала в круглое ухо Сиды пациентка с полипом. Но в черных глазах Сиды не промелькнуло ни тени чувства.

Тем не менее дочь минуты две внимательно рассматривала лицо матери. Потом развернула сверток и поставила на стол коробочку с десятью круглыми пирожными.

— Простите, что доставили вам столько хлопот. Угощайтесь, пожалуйста, хоть с чаем попробуете.

Узкую, как у матери, талию дочери охватывал изящный оби, с низко спущенным бантом. Судя по осанке, она немало усвоила из уроков матери.

Она изящно поклонилась, словно сложилась пополам, и сразу же повернулась, даже не взглянув на лицо матери, направившись к двери.

— Постойте, неужели вы уходите?

— Да, я ухожу.

— Как же так можно? Это уже слишком. Вы же не для того пришли, чтобы поздороваться с нами?

Последовало вежливое «извините» — и посетительница покинула палату.

И спустя полчаса после ее ухода пациентка с полипом еще продолжала плакать. А Сида лежала с полузакрытыми глазами и только иногда брала тонкими, как бамбуковые ростки, пальцами стоящий у изголовья чайничек и отхлебывала воду.

— Госпожа Сида, горько вам, наверное?

Но Сида только шепчет: «Нет...» — и, не то устав от расспросов, не то просто утомившись, закрывает глаза, и выпростанная из-под одеяла рука свешивается с кровати.

— Прямо как чужая! — бормочет женщина с полипом, но Сида молчит.

— Даже хуже, чем чужая!

Но и на подобные фразы Сида уже никак не реагирует. Впрочем, знаю по себе, что сами тяжелобольные не осознают критичности своего состояния — во всяком случае, не настолько, насколько это может показаться по их внешнему виду. До самого конца они не верят в то, что скоро умрут, поскольку в них еще сохраняются некие жизненные силы, питающие их заблуждение. Если выключить стосвечовую лампочку, воцарится мрак; если включить снова, загорится свет той же силы — середины быть не может. И даже если жизнь вот-вот погрузится во мрак, она «горит», испуская свет на все сто свечей.

Однако похоже, что порой реальность в мозгу Сиды уступает место видениям иной жизни. Такое происходит все чаще и чаще.

...Ей чудится, будто вокруг нее колышется тонкий приятный шелк.

Эти прикосновения она ощущала когда-то в прошлом. Так вихрился воздух вокруг ее гибкого тела в танце, когда она была молода и прекрасна.

В те времена она страдала так, будто даже в этом мягком воздухе был разлит любовный дурман, не дающий ей покоя, и тот танец был судорогами страдания.

Она принадлежала к танцевальной школе Мияма и подавала из всех учеников самые большие надежды. «Школа Мияма» звучит красиво, но на самом деле в Токио она была не особенно известна, поэтому ее основателю Мияме не удалось открыть большую студию, и он, добавив к своим ученикам, появившимся после переезда из Киото в столицу, еще и учеников учеников, приобрел под школу маленький зал в Имагавабаси, на задворках бывшего универмага «Мацуя».

Она прошла начальный курс у ученика Миямы — Рюдзяку и в один прекрасный день стала одной из его любовниц. Но Рюдзяку, по натуре человек страстный, к тому же профессионально заинтересованный в новых ученицах, менял женщин одну за другой. После рождения дочери Сида окончательно поняла, что замужество с Рюдзяку никогда не состоится.

В тот момент она как раз получила наследство от отца, оптового торговца хлопчатобумажными изделиями из Хоридомэ, и к чувству оскорбленного достоинства не примешивались материальные претензии. Оттого ее ненависть пылала сильнее и чище.

По характеру она была не из плаксивых, и, вместо того

чтобы самой лить слезы, ей захотелось заставить страдать его. Способ банальный, но ничего другого ей на ум не пришло: она плеснула серной кислотой ему в лицо, этот столь важный для танцора «инструмент». С тех пор и до самой старости Рюдзяку перед каждым выходом на сцену сначала накладывал на шрам бамбуковой палочкой тон, а потом уже гримировался — столь глубока была рана.

Месть свершилась, но теперь ей, с ребенком на руках и без покровительства танцевальной школы, предстояло идти тернистым путем. И она танцевала, выкладываясь до последнего.

Выступала и на банкетах, и на праздничных увеселительных вечерах. На двери своего дома повесила вывеску, завела учеников, отказавшись от псевдонима, создала пусть и небольшое, но способное служить тылом «Общество содействия школе Сида».

Впоследствии наиболее усердно и бескорыстно трудился в этом обществе отец ее второй дочери — Ямакава. Ямакава тогда еще учился и был на родительском иждивении.

Его родители, кичившиеся своим происхождением по линии вассалов могущественного феодального клана на Кюсю, держали в тех местах частную школу и считали себя важными персонами. С самого начала было ясно, что он ей не пара. Да Сида и не хотела вверять свою судьбу мужчине моложе себя.

И все же именно в то время она была счастливей и увереннее в себе, чем когда бы то ни было. Именно тогда ей постепенно приоткрылась истинная, без блеска суть мужчины, этого «ослепительного небесного тела», и она нашла в себе силы задуматься, не из того ли оно на самом деле сплава, что идет на самые мелкие монетки.

И чем более она прозревала, тем совершеннее делался ее танец. После рождения двух дочерей красота ее достигла наивысшего расцвета. Ее кожа блестела, как белый тонкий шелк, но, несмотря на худощавое сложение, мышцы на ее руках и ногах были твердыми и упругими.

Казалось, внутри ее гибкого, будто лук, тела таятся скрученные в пружинки напряженные нервы. В обособившуюся школу Сида стали один за другим, сразу по нескольку человек, переходить ученики и ученицы из непопулярной школы Мияма. А на то, что многие мужчины поступали к ней в ученики, привлеченные приставшей к ней славой распутницы, Сида просто не обращала внимания.

Конечно, у нее было немало тайных любовных историй.

Людям она открыла только имя владельца магазина лесоматериалов, от которого родила третью дочь.

Но и с ним ей не захотелось связать свою жизнь. Последующие двадцать с лишним лет были, наверное, самыми благополучными в ее жизни: в эти годы она, мать трех дочерей, глава маленькой школы, окруженная почтительными учениками и ученицами, упивалась славой покорительницы сердец за свои мнимые и подлинные любовные истории.

Старшую дочь Аки она собиралась сделать своей преемницей и решила, пока не сыщется хорошая партия, дать ей пожить одной, но та в двадцать три года влюбилась в одного бездарного ученика матери.

И этот тоже был студентом.

Студентам, пахнущим сыростью, как незрелые овощи, Сида всегда симпатизировала. Подспудно она жалела, что не родила мальчика, и при виде студентов в ней просыпалось своеобразное материнское чувство.

Однако любви старшей дочери и сына прокурора, студента юридического факультета, она противилась изо всех сил. А почему так противилась — и сама не понимала.

Оказавшись в самом начале на распутье — согласиться или воспротивиться, — она внезапно решила сопротивляться и потом уже не могла остановиться.

Дочь свою она просто измучила. Но чем сильнее она противилась ее уходу из дома, тем упорнее было встречное сопротивление.

В какой-то момент Сида поняла, что ей не удастся помешать их любви, примирилась с этой мыслью и неожиданно успокоилась. И постаралась ради дочери по-иному взглянуть на человека, против которого так яростно возражала.

Процесс пересмотра мнения зашел слишком далеко. Стараясь сблизиться, она постепенно начала ощущать в груди постыдную тяжесть. Сколько раз жизнь уже наносила ей эту рану!

А он уже давно, конечно, предвидел это, угадывал своей глубинной мужской интуицией. От малейшего нажима с его стороны Сида менялась в лице и сникала, и это перед студентом! Сколько бы лет ни прошло, не избавиться ей от этой печальной слабости.

Когда она испугалась того, что творит, было уже поздно. Старшая дочь ушла из дому и с соблюдением всех приличий вышла замуж за служащего школы Мияма.

Роман с тем студентом продлился совсем недолго, и

потом Сиде оставалось лишь проклинать это случайное стечение обстоятельств.

Вторая дочь Фую тоже вскоре достигла брачного возраста. На этот раз Сида была предусмотрительнее и не перечила сватам.

Но эта дочь видела, что случилось с ее сестрой, и потеряла к матери всякое уважение и доверие. Зная историю своего рождения, она росла в постоянных стычках с матерью, Сида же не испытывала в отношении прошлого ничего, кроме раскаяния, и мечтала, собственными руками устроив свадьбу Фую, совершить таким образом богоугодное дело, одним махом снимающее с нее все грехи.

Решив приблизить свадьбу на два месяца, Сида отправилась как-то в универмаг за покупками. Там она обратила внимание на редкостные хакама[1] из дорогой ткани сэндайхира и купила их для будущего зятя.

Но подарок, сделанный от чистого сердца, дочь истолковала совершенно превратно. Вообразив, будто мать собирается поступить с ней так же постыдно, как со старшей дочерью, Фую молча, без всякого объяснения, покинула дом. Со сватами и женихом она сохранила связь, и только Сида осталась в одиночестве.

Тут общественное доверие к Сиде окончательно рухнуло. А вслед за этим ученики один за другим стали покидать ее. В довершение всех бед покинула дом — не без помощи сестры — младшая дочь, Хару, и вышла замуж за преподавателя колледжа.

Все это произошло за каких-нибудь пять лет, и как будто кончился сон. Она осталась одна и вскоре заболела.

Обнаружив болезнь, поначалу врач, имевший связи в артистических кругах, прилагал все усилия для того, чтобы, пользуясь этим случаем, восстановить контакты Сиды со старшей дочерью и помирить их. Но без всякого результата.

Дочь унаследовала материнский характер. Эти две сильные личности вертели врачом как хотели, и ему пришлось отступиться.

Сида, не подозревая о серьезности своей болезни и не прочувствовав еще по-настоящему одиночество, жила одна-одинешенька в когда-то красивом, выстроенном из кипа-

[1]Хакама — часть традиционного японского костюма, напоминает шаровары.

рисовика здании школы, с мужской твердостью решив: «Чему быть, того не миновать».

Некогда под быстрыми ногами в белоснежных таби[1] натертый до блеска пол звучал тут как барабан. А теперь на нем лежит толстый слой пыли и даже занесенные со двора ветром сухие листья... Но она не ропщет, потому что ни о чем не жалеет. К Сиде заходила живущая поблизости бывшая ученица, теперь уже немолодая жена книготорговца, помогала готовить завтрак и ужин, открывать и закрывать ставни.

Вид у Сиды был плачевный, но ей было о чем вспомнить, и эти ослепительные воспоминания о прошлом она берегла, как бесценное сокровище.

Стоило ей вытянуть, не вставая, руки и пристально вглядеться в них, как перед глазами всплывала сцена из прошлого, когда эти тонкие кисти двигались в танце, как ящерицы, с лихорадочной выразительностью.

Она была хрупкого сложения, и ей лучше всего удавались не любовные роли пышных красавиц, а абстрактные роли одиноких, печальных женщин — как в пьесе «Сумидагава». Когда видели ее безжизненную маску сумасшедшей, то представляли себе застывшую от отчаяния и горечи душу. На самом же деле тело ее пылало и в такие мгновения. Много раз в своей жизни она поступала как ребенок, невольно тянущийся к домашнему алтарю за запретным угощением. Но все минуло как сон. Она потеряла и славу, и дочерей. И бесчестье тоже миновало. Ничего не осталось. Но при всем том ей чудится, будто она скопила целую груду драгоценных камней... Совсем одна, без провожатых, захватив только узорчатое фуросики, приехала она в эту больницу.

Состояние Сиды за последние три-четыре дня резко ухудшилось, открылась кровавая рвота. По обыкновению она спит, свесив выпростанную из-под одеяла руку с кровати. Эта рука, в былые дни походившая на зловещую живую ящерицу, теперь безжизненно свисает, словно изящная безделушка; ее пальцы широко расставлены и будто пришиты к кисти.

— Неужели некому ее навестить? Может, есть еще какие-нибудь родственники? — заводит опять разговор пациентка с полипом, но никто ей не отвечает.

[1]Таби — носки из плотной ткани.

И сестры, и врач уже отказались от мысли о помощи родственников и заняты только лечением.

Однажды поздним вечером у нее начались перебои с пульсом. Прибежали врач и сестра. Через час Сиде полегчало, и пациентка с полипом, подойдя к ее изголовью, сказала совершенно некстати:

— Хочется небось повидаться с дочерью? Давайте я ее вызову!

И в этот момент впервые в черных глазах Сиды выступили жемчужины слез.

Когда покойную перевезли в морг, не нашлось никого, кто провел бы эту ночь у тела усопшей. Та же самая медсестра, немало побегав, с трудом разыскала двух бывших учениц Сиды, которые и отвезли тело в крематорий.

СЛЕПЫЕ СОЛДАТЫ

В тот день — девятого марта тысяча девятьсот сорок пятого года, — в день массированного воздушного налета, небо над префектурой Гумма было ясным и самолетам, поднявшимся с аэродромов в окрестностях Оты, дул в хвост северный ветер. Я (некая «крестьянствующая интеллигентка») спустилась из Насики, что на горе Акагиями, в лощинах которой в то утро снег был твердым, как лед; из Камикамбаи доехала по линии Асио до Кирифу, пересела на линию Рёмо и сошла в Такасаки. Там я хотела пересесть на линию Синъэцу, в направлении Уэно.

Было примерно половина пятого вечера, небо было светлым, почти белым, чернели только пыльные крыши текстильного района и стволы хурмы между листвой, да в зале ожидания было темно и шумно от людей с чемоданами и связками овощей.

Когда я, взглянув на большие часы при входе, вышла из зала ожидания, по виадуку как раз шагал отряд полицейских с опущенными на подбородки ремешками фуражек. Они спустились на мою платформу. Двое, командир и его помощник, были в стальных касках и белых перчатках.

Помощник обсуждал какой-то вопрос с шедшим рядом

станционным служащим, но их беседу оборвал, что-то коротко приказав, командир. Служащий перешел пути, принес из подсобки белый мел, потеснил пассажиров и начал проводить по платформе линию.

Я стояла у лестницы, поджав ногу, ушибленную в переполненном вагоне упавшим свертком с гвоздями. Служащий оттолкнул меня и продолжал рисовать белую линию. Поезд по обыкновению опаздывал. Привыкшие к грубости станционных служащих пассажиры послушно отступали в сторонку и от нечего делать глазели, выжидая развития событий.

Наконец показался заляпанный грязным снегом поезд. Сбившиеся в кучу полицейские незаметно рассредоточились и встали у выходов из первого вагона, который я себе наметила. Как раз там проходила белая разграничительная линия.

Купе в вагоне были совершенно пустые. Но едва я сделала попытку войти, меня грубо остановили полицейские. Вглядевшись, я увидела в глубине купе сидевших друг против друга молодых элегантных морских офицеров. Да это же принц Такамацу! — я сразу же узнала Его высочество по характерному орлиному носу.

С трепетом рассматривала я этого прекрасного юношу: передо мной словно ожило фантастическое существо, которое я видела разве только на страницах газет.

Моим первым побуждением было закричать, поделиться этой новостью с другими: «Здесь принц! Настоящий принц!»

Но ни я, ни другие не могли позволить себе такой роскоши. Занимайся чем угодно, хоть размышляй о жизни и смерти, — но если не втиснешься в вагон, придется прождать еще несколько часов.

И я поспешила к середине состава. Но время было упущено из-за ненужного душевного движения, того мгновения, что я рассматривала принца, и я опоздала. Тем не менее я продолжала стоять позади толпящихся пассажиров и заглядывала в переполненный вагон в надежде туда попасть.

После того чистенького, элегантного купе с красивыми голубыми подушками теснота прочих вагонов показалась мне особенно отвратительной. Разбитые окна и двери без стекол зашиты голыми досками, плачущие дети, старухи, сидящие на поклаже, завернутая в фуросики шифоньерка, выставленная на всеобщее обозрение метла. К окну подошел

жандарм и громко спросил, обращаясь к сидящим в купе, есть ли в вагоне свободное место, но среди пассажиров не нашлось желающего ответить.

Делать нечего, я поспешила к хвостовым вагонам.

Но там не было ни одного пассажира и какой-то военный, кажется унтер-офицер, пересчитывал легкими кивками головы выходивших один за другим солдат в грязно-белой форме. От солдат со скатками шерстяных одеял за спиной исходила невыносимая вонь.

«Что тут происходит?» — подумала я, невольная свидетельница этой сцены, — и тут ноги мои задрожали от страха и отвращения.

Присмотревшись, я поняла, что все выходившие солдаты были слепыми, они протягивали вперед руку странным характерным жестом: для того, чтобы нащупать спину идущего впереди. Были они ужасно изможденными, с бледными лицами и отросшими волосами; из моргавших слепых глаз бежали слезы, и точно определить их возраст не представлялось возможным, но я подумала, что им от тридцати до пятидесяти лет. Приглядевшись внимательней, я заметила, что каждый пятый был зрячий, в форме цвета хаки, немного отличающейся от японской, и в руке держал палку.

Судя по тому, как внимательно они следили за слепыми солдатами, не упуская из виду передних, они то ли надзирали за слепыми, то ли опекали их.

«Куай-куайдэ! Куай-куайдэ! (Скорее! Скорее!)», — закричал один из них по-китайски и подтолкнул палкой спускавшегося перед ним солдата. И тут до меня дошло, это — китайцы. Мне стало также ясно, что они не просто грязные — нет, с ними произошло еще что-то, непонятное.

Вышедшие из поезда солдаты построились в четыре шеренги и остались ждать на платформе. Было их человек пятьсот.

Я, не веря своим глазам, вгляделась пристальней. У всех у них, словно от нестерпимого света, текли из полузакрытых глаз слезы, и все они действительно были слепые.

Зрячие солдаты отдали честь, и из вагона вышел японский офицер с саблей на боку.

— А остальные? — спросил он, проходя мимо занятого подсчетами унтер-офицера.

— Остальные — в w часов w минут, — отрапортовал тот.

«Что с ними произошло?» — сквозило в сочувственных

взглядах почти всех пассажиров. Некоторые женщины готовы были заплакать.

Было заметно, что и командиру, и унтер-офицеру хотелось укрыть солдат от взглядов пассажиров. Но отправление поезда все задерживалось из-за того, что еще не все солдаты вышли, и толпы зрителей все прибывали, теснясь теперь и за ограждением.

Наконец шедший в голове колонны солдат начал ощупью подниматься по лестнице, и состав медленно двинулся.

Я наконец-то ухватилась за поручень освободившегося вагона, и с подножки мне было видно, как сопровождавшие колонну полицейские тихонько шептались о чем-то.

— Или их использовали для опытов с отравляющими газами, или на заводе случился взрыв, — проговорил стоявший неподалеку мужчина с висевшей на шее железной каской.

— Вряд ли такие опыты проводят в самой Японии, — возразил его спутник.

— А откуда вообще они прибыли? — спросила я стоявшую рядом деревенского вида женщину лет сорока.

— Да вроде из Синонои.

«Значит, со стороны Нагои», — подумала я про себя, но это ничего не объясняло.

Гнетущее впечатление от этой встречи вскоре забылось, и пассажиры принялись обсуждать свои дела.

— Еду из Этиго. Везу дочь в Тибу, на военный завод, — доверительно сообщила попутчица, с которой я только что познакомилась.

Она рассказала, что сопровождает дочь, которая состоит в женском добровольческом отряде, но запоздала с отъездом из-за нарыва на шее. Билеты невозможно было купить, поэтому они добирались на перекладных, толкались в очередях за билетами и наконец-то доехали досюда, но натерпелись, конечно, немало.

Удивительное равнодушие, с каким она только что отвечала на вопрос о китайских солдатах, вызвало во мне чувство, близкое к антипатии, но, слушая ее повествование, я поняла, что на то были свои причины. Все сейчас были настолько поглощены своими заботами, что их не могли взволновать подобные инциденты.

Когда поезд проследовал очередную станцию, я протиснулась в купе, где недавно ехали китайцы, в надежде сесть и дать отдых ногам.

Но из-за страшной вони там было невозможно находиться, и я сразу же вернулась назад.

Вскоре из хвостового вагона прошел, раздвигая людей, проводник.

— Следующая станция Дзинбохара! Следующая станция Дзинбохара! — объявил он.

В западном окне светило пылающее вечернее солнце, его огромный красный шар только начал — с какой-то предсмертной торжественностью — опускаться вниз.

Тут я заметила, что вагон, в котором ехали китайские солдаты, отцепили и наш вагон оказался последним.

«А впереди-то вагон принца!» — вдруг вспомнилось мне. Но я так устала, что мне и в голову не пришло напомнить об этом попутчикам.

После войны я как-то спросила торговцев на станции Такасаки, отправили ли тех китайских солдат дальше. Но они ответили, что ничего не видели. Наверное, солдаты так и остались навсегда в тех местах.

ЮМИЭ ХИРАИВА

ИДИЛЛИЯ

1

По радио объявили, что ожидается дождь, и тут же небо вдруг посветлело, тучи унеслись прочь, выглянуло ласковое солнце, и наступило настоящее летнее воскресное утро.

Мацуэ Симокава сидела в гостиной, окна которой выходили на солнечную сторону, и читала газету, когда во двор вышла ее невестка. Поначалу Мацуэ не придала этому особого значения, поскольку еще не знала, что́ там понадобилось Кумэко.

Кумэко была женщиной рослой, ширококостной и сильной. Она стала натягивать бельевую веревку, обмотав ее вокруг ветки дзельквы, росшей в углу сада, и только тогда Мацуэ заволновалась. Она с беспокойством следила, как невестка в один миг обвязала веревку вокруг трех деревьев, закрепила ее, потом вернулась на минутку в дом и, вытащив целый таз выстиранного белья, принялась его развешивать. Ну что за человек такой, с досадой подумала Мацуэ, нахмурив брови. Так хотелось, отдохнув немного после завтрака, повозиться в саду — в кои-то веки погожий день выдался. Поколебавшись, она сложила газету и поднялась на второй этаж. Там находилась спальня молодых.

— Котаро, — позвала она сына, остановившись у двери.

До того, как Котаро женился, она входила в его комнату запросто, безо всякого стука, но вскоре после женитьбы он заявил: «Знаешь, мама, ты не ходи в нашу спальню, Кумэко это не нравится». С тех пор она сюда ни ногой.

— Котаро! — снова позвала Мацуэ. — Выйди на минутку.

Сын наконец отозвался и выглянул из комнаты. Он был в пижаме. Котаро шагнул в коридор и сразу прикрыл за собой дверь. Это она ему так велела, обиженно подумала Мацуэ.

— Ты чего, мам? — спросил Котаро, зевая. Утром по воскресеньям у него всегда был усталый вид. Как он за последнее время обрюзг и расплылся, мысленно покачала головой Мацуэ. Раньше он таким не был: вставал самое позднее в девять, любил по утрам пить чай с маринованными сливами, разговаривая с матерью о том о сем.

Мацуэ как-то прочла в журнале, что в семьях, где работают и муж, и жена, для супружеских отношений, как правило, отводится ночь с субботы на воскресенье. Там было написано, что в многоквартирных домах в эту ночь вода в ванных шумит, не умолкая, чуть ли не до рассвета.

Прочитав статью, Мацуэ стала вспоминать свое недолгое замужество. Она вышла замуж в двадцать два, а в последний год войны овдовела. Немного ночей довелось провести ей с мужем, но и того скудного опыта было достаточно, чтобы догадаться, отчего сын по утрам в воскресенье выглядит таким утомленным. Вот почему в эти дни Мацуэ так не любила смотреть в глаза Котаро.

Отводя глаза в сторону, Мацуэ сказала:

— Я тебя очень прошу, поговори с Кумэко. Она снова развешивает белье в саду. Ведь есть же сушилка на втором этаже...

— Мама, ну скажи ты ей сама.

— Ты же велел, чтобы я ей упреков не делала, только через тебя... Сам же говорил.

Вскоре после свадьбы, когда Кумэко, помыв голову, забыла вытащить из сливного отверстия в ванной волосы и произошел засор, Мацуэ предупредила ее:

— Волосы, деточка, когда помоешься, нужно собрать, а потом завернуть в бумажку и выбросить в мусор.

А на следующий день Котаро обрушился на нее с упреками:

— Кумэко — взрослый человек, и не надо учить ее жизни. Если тебе что-то в ее поведении будет не по нраву, ты говори мне, а я уж сам с ней разберусь.

Мацуэ так тогда и не поняла, какая связь между засором в ванной и тем, что «Кумэко — взрослый человек», но приняла к сведению: теперь, когда невестка будет снова оставлять воду в мыльнице, ронять на пол колпачок от тюбика с зубной пастой и так далее, замечания придется делать через

посредника. Поэтому она решила помалкивать, делая вид, что ничего не замечает, и только в особо злостных случаях, как, например, сегодня, шла жаловаться сыну.

Котаро прямо в пижаме спустился в сад, а Мацуэ вернулась в гостиную. Сын, стоя на веранде, переговаривался с женой. Потом вошел в гостиную и сказал:

— Кумэко говорит, что в сушилке положено сушить футоны[1], а не белье.

«Да что я ей, дурочка, что ли?» — возмутилась Мацуэ, а вслух произнесла:

— Сад есть сад. Дзельква еще ладно, но разве можно уродовать веревками хрупкие веточки сливы и красной сосны? Как только деревья не жалко!

Из-за спины Котаро послышалось:

— Что вы такое говорите, мама! Столько дней дождь лил, и вот наконец солнце. Как же это белье не проветрить? Ведь сушильной машины у вас в доме нет. Знаете же, что я всю неделю вкалываю как проклятая, а в выходной, вместо того чтобы отдыхать, вынуждена домашние дела разгребать! А мне еще доклад подготовить надо! Не деревья бы жалели, а человека. Все у вас шиворот-навыворот!

Мацуэ молчала, сдерживая гнев. Вид у невестки, когда она выходила из себя, был довольно устрашающий. Во время свадьбы Кумэко, надев туфли на высоком каблуке, возвышалась над мужем на добрых полголовы.

— Надо же, все у тебя доклады, ай-я-яй, — примирительно сказал Котаро, пытаясь успокоить жену, но та демонстративно отвернулась и ушла в другую комнату.

Мацуэ сидела и смотрела на сад. Развешанное во дворе белье слегка колыхалось на ветру, принявшиеся с таким трудом азалии и гортензии совсем поникли под тяжестью мокрых простынь. Сад, конечно, совсем крошечный, но сколько воспоминаний было у Мацуэ с ним связано! В этом доме она поселилась, когда вышла замуж. Земля принадлежала местному синтоистскому храму, и арендная плата была так мала, что все соседние семьи жили здесь еще с довоенных времен, никуда не желая уезжать.

В окно снаружи заглянул Котаро. Он был в спортивной рубашке и вертел на пальце ключи от машины.

— Мам, мы поедем погуляем.

Мацуэ не ответила. Молодые каждое воскресенье

[1]Футон — ватный тюфяк или одеяло.

отправлялись на прогулку. Доклад докладом, но этот ритуал соблюдался строго: они и обедали и ужинали в городе, а возвращались домой только поздно вечером, обвешанные покупками.

Кумэко даже попрощаться не зашла. Впрочем, она и раньше не имела такой привычки.

Когда Котаро с ней познакомился, она, выпускница знаменитого женского колледжа, работала учительницей в школе при ее альма-матер. Выйдя замуж, Кумэко перешла на работу в лабораторию по изучению детской психологии при колледже. Кто бы мог подумать, что она окажется столь бесцеремонной невесткой. Когда она преподавала в школе, все буквально на руках ее носили — и ученицы, и их родители. Во время свадьбы гости в один голос пели ей дифирамбы: и умная она, и талантливый педагог, и тонкий психолог, и еще бог весть кто.

Нет, воистину не все золото, что блестит, — узнав невестку поближе, Мацуэ лишний раз в этом убедилась.

Прошел целый час после ухода молодых, прежде чем она наконец успокоилась и смогла сесть за работу. Ей надо было подготовить для своих учеников пособия на следующую неделю. Мацуэ давала уроки каллиграфии: дважды в неделю у себя дома, один раз в муниципальном доме культуры и еще один раз — в женском общежитии завода в Иокогаме. Пока Котаро не окончил университет, Мацуэ преподавала в школе. Когда-то, в юности, она увлекалась каллиграфией и даже получила диплом. Потом, когда Мацуэ осталась одна с маленьким Котаро, ей это очень помогло — иначе как бы она смогла вывести сына в люди? Правда, теперь ей казалось, что все усилия и лишения были напрасны.

В два часа Мацуэ вышла во двор — надо было снять с веревки высохшее белье. Невестка, заранее зная, что свекрови придется это сделать, даже не извинилась. Не сочла нужным обременять себя лишними проявлениями вежливости.

Выйдя в сад, Мацуэ охнула и схватилась за сердце. Вся трава между красной сосной и кустами была безжалостно вытоптана. И не просто трава — ростки орхидеи кумагайсо, издавна произрастающей в долине Мусасино, циприпедиум, белямканда, эритрониум и другие растения, которые Мацуэ собирала столько лет. Что-то ей дарили подруги, такие же, как она, страстные садоводы-любительницы, какие-то цветы и травы она разыскала сама, бродя по склонам Тандзава и в горах Хаконэ. В каждый росток, в каждую былинку, росшие в саду, был вложен немалый труд.

И вот растения лежали поникшие, затоптанные острыми каблуками.

— Да что же это, господи... — растерянно пробормотала Мацуэ, чувствуя, что у нее слабеют колени, а по лицу текут слезы.

2

Молодые вернулись домой в девять. Открыли ключом дверь, затеяли чаепитие в столовой и даже не зашли поздороваться с Мацуэ, сидевшей в гостиной.

Ну, сегодня я ей все выскажу, подумала Мацуэ и, решительно затянув пояс халата, вошла в столовую.

На столе стояло блюдо с вишнями, супруги смотрели телевизор. Увидев мать, Котаро все-таки виновато потупился.

— Ой, мама, ты еще не спишь?

— Не неси ерунды. Кто это ложится в девять часов?

Разговор с самого начала шел на повышенных тонах. Кумэко, подчеркнуто не обращая внимания на свекровь, глядела на экран.

— Котаро, сделай милость, выключи телевизор.

— Мам, ты что?

— Выключи, я говорю!

Кумэко резко поднялась и ткнула пальцем в выключатель. Потом, ни слова не говоря, направилась к двери.

— Кумэко-сан, — ледяным тоном произнесла Мацуэ, — извольте-ка задержаться.

— Вам что-нибудь от меня нужно?

— Я хочу вас кое о чем спросить.

Кумэко, скривившись, села.

— У меня еще доклад не готов.

— Ничего, целый день болтались невесть где, найдете и еще несколько минут.

Все, что накопилось в душе Мацуэ за долгие месяцы, прошедшие после свадьбы, рвалось теперь наружу.

— Мама, мама... — попытался остановить ее сын, но Мацуэ, повернувшись к нему спиной и глядя невестке прямо в глаза, спросила:

— Кумэко-сан, вам ведь, кажется, известно, как я люблю цветы? Давно было известно, еще до того, как вы вышли замуж за моего сына.

Кумэко ленивым жестом вынула из пачки сигарету и щелкнула зажигалкой.

— И вы знали, что у меня в саду есть растения, которыми я очень дорожу, — продолжала Мацуэ.

— А, трава всякая, знаю, — небрежно махнула рукой Кумэко, выпуская изо рта струйку дыма.

— Не «всякая трава», а полевые цветы.

— Это одно и то же.

— Как же вы могли так с ними обойтись?

— О чем вы?

— Как «о чем»?! Вы их все затоптали, когда вешали белье, — и кумагайсо, и эритрониум! Достаточно было просто под ноги посмотреть!

Кумэко нахмурилась:

— Что-то не припомню, — и вызывающе посмотрела свекрови в глаза. Лицо у нее все-таки было красивое, особенно брови и нос. — Может, слегка и наступила, но «затоптала» — это уж слишком.

— Именно затоптали! Эритрониум совсем загублен, а кумагайсо я пересадила, но не знаю, выживет ли.

— Ничего я не топтала!

— Да нет, милочка, топтали! И еще как!

— Ну, не знаю. Я ведь не слон... Знаете, мама, вы просто злитесь, что я белье повесила сушить, вот и выдумываете.

— Кумэко-сан... — задохнулась от возмущения Мацуэ. — Да есть ли у этой женщины совесть?!

— Ладно, мама, погоди, — примиряюще сказал Котаро и, взяв со шкафа большой фонарь, вышел во двор. Походив немного вокруг сосны, он подошел к веранде.

— Ну что ты, мама, так волнуешься! Ничего страшного.

Мацуэ вскрикнула:

— Да я же все привела в порядок! До самого вечера провозилась! — Она подошла к двери. — Вот утром сам увидишь.

Котаро погасил фонарь и вернулся в дом.

— Да я же вижу, что ничего ужасного не произошло. И потом, ведь не одна Кумэко выходила в сад. Она же говорит, что не наступала на твои цветы.

— Не сама же я их затоптала!

— Снимала белье и наступила — очень просто. Глаза-то у тебя уже не те.

— Котаро, ты ее защищаешь? — с горечью спросила Мацуэ.

— А что ты на нее кидаешься из-за какой-то травы? Так ведь тоже нельзя.

— Я на нее кидаюсь?

«Эта погубила столь дорогие сердцу матери растения, а родной сын говорит, что я "кидаюсь из-за какой-то травы"?!» Мацуэ не верила своим ушам.

— Скажите, мама, в каких, по-вашему, отношениях находятся человек и природа? — перешла в контратаку Кумэко. — Мы защищаем природу, оберегаем окружающую среду не для чего-нибудь там, а чтобы человеку жилось лучше. Природа существует для человека. Это, извините, ерунда получается, когда из-за какой-то сосны или травы человеку никакой жизни нет. Вам, мама, наверно, покоя не дает, что мы с Котаро каждое воскресенье уезжаем на прогулку. Ну так вот — чтоб вы знали, — работающим людям смена настроения, развлечения просто необходимы. А в вашем доме отдыхать мы не можем... И вообще, не вмешивайтесь вы, ради бога, в нашу жизнь.

— Кумэко-сан! — взвилась Мацуэ, не помня уже ничего, кроме своих обид. — Раз вы так, то уж позвольте и я выскажу вам кое-что. Значит, не вмешиваться в вашу жизнь? А как же вы сами-то? Вешаете сушить белье и футоны, а кто их снимать будет? Возвращаетесь-то вы с вашей гулянки не раньше девяти! И так каждую неделю, все я должна за вами убирать! И ванну я за вами мой, и унитаз, и на кухне убирай. И еду готовь!

Котаро несколько раз пытался прервать обличительную речь Мацуэ:

— Мама, ну перестань. Кумэко ведь работает.

— Работает? А я, я не работаю?! Пользоваться моими услугами вы не брезгуете, а скажи я хоть слово, сразу «не лезьте в нашу жизнь»! Смешно, правда? Нет, Кумэко-сан, так у нас дело не пойдет!

— Что вы, собственно, предлагаете? Я живу так, как считаю нужным. А если вам не нравится, давайте жить врозь! — И Кумэко, яростно топая по лестнице, ушла наверх. Мацуэ смотрела ей вслед, стиснув зубы.

— Знаешь, мама, ты кончай эти сцены закатывать. Так жить невозможно. Раз уж мы все под одной крышей, давай уступать друг другу, — раздраженно проговорил Котаро и удалился следом за женой.

Часы пробили десять. Мацуэ налила себе чаю и присела на стул. Как Котаро изменился, подумала она. Ведь единственный сын. Когда мужа забрали на войну, с которой он не вернулся, Котаро было всего три года. Двадцать шесть лет

они прожили вдвоем — мать и сын. Невестка появилась в доме всего полтора года назад, позапрошлой осенью. Сколько раз Котаро говорил:

— Ты столько для меня сделала, мамочка. Вот увидишь, я женюсь только на той девушке, которая тебе понравится.

Обещал взять жену добрую, уважительную. Как-то раз сватали ему одну девушку, но та хотела непременно жить отдельно от родителей, и вот ведь — Котаро отказался наотрез. Все вокруг говорили, что лучшего сына не сыскать, да Мацуэ и сама так считала.

На Кумэко Котаро женился по любви. Они познакомились в консерватории — оба любили классическую музыку.

— Кумэко рано лишилась родителей, — рассказывал матери Котаро. — Одна-одинешенька на всем белом свете. Есть старший брат, но он женат и живет в Фукуоке, она с ним почти не видится. Кумэко так тоскует по настоящей семье, она будет очень тебя любить, мамочка.

Когда Котаро сказал, что его будущая жена согласилась жить в их доме, Мацуэ страшно обрадовалась: ей казалось, что сын сделал удачный выбор. До свадьбы она видела Кумэко всего два раза, и та показалась ей очень милой и воспитанной девушкой. Котаро, выросший без отца, отличался характером покладистым, но нерешительным. Мацуэ очень хорошо это понимала и была рада тому, что в его невесте чувствовалась сила воли. Молодые будут прекрасно дополнять друг друга, мечталось ей. Кумэко, бедной сиротке, привыкшей к одиночеству, она станет второй матерью. Мацуэ предвкушала, как они вместе будут покупать наряды, ходить в театр, иногда ужинать втроем в ресторане... Все эти мечты рассеялись как дым, после того как молодые вернулись из свадебного путешествия.

Кумэко с самого начала подчеркнуто избегала общения со свекровью. Сразу началось: «Мы в ваши дела не лезем, и вы в нашу жизнь не вмешивайтесь». Не то что разговаривать по душам, но и в одной комнате-то со свекровью находиться не любила.

Дело не доходило до открытой ссоры только потому, что Кумэко почти не бывала дома. Утром они с Котаро уходили на работу в восемь, а возвращались уже в девятом часу вечера, а то и позже. Если рабочий день у молодых супругов заканчивался раньше, они созванивались, встречались в городе и ужинали где-нибудь вместе. В выходные Кумэко и Котаро уезжали кататься на целый день. А на Новый год отправились в небольшое путешествие.

Поскольку у Кумэко не было подруг среди соседок, Мацуэ удавалось скрывать от приятельниц и знакомых унизительную ситуацию, создавшуюся в семье. Как-никак она была преподавательницей, и ее авторитет мог пострадать, узнай люди, как третирует ее Кумэко. Да и слишком сильно перед свадьбой расхваливала она своим ученикам будущую невестку, неудобно теперь было признаваться, что она настолько не разбирается в людях.

Все знакомые Мацуэ не уставали восхищаться образцовой семьей:

— Надо же, как у вас все ладно выходит: и вы работаете, и невестка... Позавидуешь такому счастью.

Подобные отзывы льстили самолюбию Мацуэ, и она тщательно скрывала от посторонних недовольство невесткой. Но раздражение, не находя выхода, с каждым днем нарастало, становилось все нестерпимей. Самым обидным Мацуэ казалось то, что сын в жене души не чаял. Прежде Котаро во всем слушался матери, теперь же он ни в чем не противоречил Кумэко. По мнению Мацуэ, виной всему были те самые проклятые супружеские ночи.

Вскоре после свадьбы Кумэко как ни в чем не бывало заявила свекрови такую вещь:

— Мама, а вы знаете, что Котаро до того, как женился, был девственником? Смешно, все же тридцать лет человеку. В первую брачную ночь рыдал, как дитя малое...

«Да что он в тебе, орясине, нашел?» — хотелось тогда крикнуть Мацуэ. Как она раньше гордилась, что сын растет серьезным, совсем непохожим на своих сверстников! Теперь Мацуэ проклинала прежнюю близорукость. Если бы Котаро хоть немного знал женщин, то ни за что не попался бы на крючок к этой вульгарной девке, думала она.

Со второго этажа донесся шум льющейся воды. Поселившись в доме, Кумэко первым делом добилась, чтобы наверху встроили отдельную ванную и туалет.

Взглянув на потолок, Мацуэ передернулась. Плеск воды, словно издеваясь над ней, не прекращался. А потом все повторилось еще раз.

3

После этой ссоры Кумэко перестала разговаривать со свекровью. Однако жизнь в семье шла своим чередом. Каждое утро молодые съедали приготовленный Ма-

цуэ завтрак и, не моя за собой посуды, отправлялись на работу. Надеясь пронять их, Мацуэ специально не мыла грязные чашки и тарелки, но на Кумэко это не действовало: посуда день за днем накапливалась в раковине, и, хочешь не хочешь, свекрови приходилось браться за мытье — есть становилось не на чем. Стирка и уборка тоже входили в обязанности Мацуэ. В конце концов она махнула на невестку рукой — себе дороже связываться. И так уже все нервы были измотаны, побаливало сердце, кисть на занятиях, выводя иероглифы, дрожала в руке.

И в дом Мацуэ Симокавы вернулось спокойствие. Знакомые не уставали восхищаться:

— Вот идеальная семья! Наверно, семьи будущего должны быть именно такими.

Поломанные растения, слава богу, не погибли. Каждый день, сталкиваясь с невесткой, Мацуэ усилием воли подавляла неприязнь и терпела, терпела.

Шли дни. В конце июля молодые, взяв отпуск, уехали на Окинаву. Мацуэ узнала о предстоящем отъезде в самый последний вечер — и то, конечно, от сына, а не от Кумэко.

На следующее утро, глядя через окно в спину деловито шагавшей с чемоданом в руке невестки, которая даже не соизволила попрощаться (не говоря уже о том, что сам по себе отъезд без предварительной договоренности со свекровью был верхом наглости — мало ли какие у той могли быть планы), Мацуэ почувствовала, что ей очень хочется стукнуть Кумэко чем-нибудь тяжелым.

Однако, когда соседки говорили: «Как вам, наверно, одиноко в пустом доме», Мацуэ, держа марку, отвечала: «Ну что вы, Кумэко-сан приглашала меня поехать с ними. Но вы же знаете, у меня уроки, да и потом, куда мне в мои-то годы тащиться на Окинаву. Пока здоровье позволяет жить одной, пусть уж молодые ездят вдвоем, куда им хочется». И собеседницы умилялись: «Ах, как правильно вы говорите. Вот уж повезло Кумэко-сан со свекровью!»

На следующий день после отъезда молодых супругов Мацуэ достала из почтового ящика открытку, прочла — и застыла в недоумении. В открытке, адресованной на имя Котаро, сообщалось, что его заявка на приобретение квартиры удовлетворена.

Мацуэ и понятия не имела о том, что Котаро и Кумэко собираются покупать квартиру. Ну невестка еще ладно, но даже сын ни словом с ней об этом не обмолвился. Мацуэ позвонила по телефону, указанному на открытке, и там ей

ответили, что требуется внести первый взнос — один миллион иен. Для приобретения квартиры необходимо уплатить несколько миллионов иен в течение первого года, а остальная сумма вносится в рассрочку на протяжении двадцати лет.

Мацуэ не знала, что и думать. Земля, на которой жила семья, принадлежала храму, и за нее полагалось вносить арендную плату, но дом был хоть и старый, зато свой, и право на пользование участком тоже чего-нибудь да стоило. Дом поставили еще до войны, он не раз ремонтировался, расположение комнат было удобным, имелись пристройки, хотя, конечно, для современного электрифицированного быта с кондиционерами и обогревателями старые стены и не очень подходили. Мацуэ не раз слышала, как Кумэко жалуется на это мужу.

Значит, молодые решили перебраться в современное жилище, подумала она. Для двоих новая квартира, расположенная в пригороде Токио, была, пожалуй, великовата. Поэтому, оправившись от первого шока, Мацуэ попробовала посмотреть на эту новость с иной точки зрения.

В последние годы в районе стало слишком много машин. Временами над домами повисал смог, и в переезде за город, безусловно, были свои плюсы. Мацуэ вспомнила, как сын однажды сказал, что плохой воздух особенно вреден для людей пожилого возраста, и ей стало казаться, что все не так уж ужасно.

И тем не менее они могли бы и с ней посоветоваться. Ведь, если переезжать, придется и о новых учениках подумать, и о комнате для занятий, да мало ли еще о чем. Размышляя о предстоящем переезде, Мацуэ с нетерпением ждала того дня, когда вернутся супруги.

Они приехали домой поздно вечером.

Услышав, как поворачивается в замке ключ, Мацуэ засунула за пояс оби ту самую открытку и вышла навстречу.

— Ты еще не спишь? — недовольно нахмурился Котаро. — Иди, иди, ложись. Завтра поговорим...

Чувствовалось, что мать им мешает. Мацуэ вынула повестку:

— Вот. Пришла, пока вас не было.

Котаро взял у матери открытку, Кумэко заглянула ему через плечо, и оба переменились в лице.

— Что вы задумали? — спросила Мацуэ. — Квартира квартирой, а что делать с домом?

Котаро растерянно оглянулся на жену, та подала ему какой-то знак глазами.

— Почему же вы в таком важном деле не посоветовались со мной? — продолжала допытываться Мацуэ.

Смешавшись, Котаро поморщился:

— Да мы не думали, что ответ придет так быстро...

— Ну как же так? Ведь и дом надо продавать, и с моими учениками как-то разобраться.

Кумэко вдруг рассмеялась.

— Что вы, мама, к чему эти хлопоты? — Она взяла у Котаро открытку и спрятала ее в сумочку. — Вы как жили до сих пор, так и живите. А дом — чего его продавать. Земля не своя, а за старую развалюху много ли заплатят? Да и потом еще столько возни с переоформлением права на пользование участком. Лучше уж оставить все как есть.

— Но как же это, Кумэко-сан?..

— А так, — отрезала невестка. — На новую квартиру переезжаем только мы двое, а вы тут совершенно ни при чем.

— Вы оставите меня одну?!

— Ничего. Вы, мама, еще молоды, да и все равно мы с Котаро в этот дом только ночевать приходили. Если мы уедем, не придется вам себя утруждать, снимая за нами стираное белье, и травку вашу драгоценную никто не потревожит.

От потрясения Мацуэ на миг лишилась дара речи.

— Кумэко-сан... Так это вы в отместку за ту историю?

— Вовсе нет, — рассмеялась невестка. — Мы уже год как заявление на квартиру подали. Если бы жилищно-строительные компании всегда так оперативно реагировали на заявления граждан, квартирный кризис давно отошел бы в прошлое.

И Кумэко занялась приготовлением кофе на двоих.

— Котаро... — повернулась Мацуэ к сыну, — неужели ты можешь бросить мать одну?..

Сын почесал в затылке и виновато улыбнулся — так он улыбался в детстве, когда мать ругала его за какой-нибудь проступок.

— Да, нехорошо как-то... — пробормотал он, кладя сахар в кофе.

— Почему это «нехорошо»? — вмешалась Кумэко и тоном профессионального психолога начала объяснять: — Когда птенцы подрастают, они оставляют родительское гнездо и строят свое собственное. Таков закон природы. Бич нашей

эпохи — инфантильные мужчины, привыкшие держаться за мамочкину юбку. Они отличаются мягким нравом, но зато подвержены чужим влияниям, зависимы, нерешительны и безответственны.

Мацуэ слушала и не верила ушам. А Котаро обиженно отхлебывал из чашки кофе.

— Человек должен, достигнув определенного возраста, отделяться от родителей и начинать самостоятельную жизнь, — продолжала разглагольствовать Кумэко. — Только таким образом формируется личность и индивидуум становится полноправным членом общества. В этот период основная обязанность родителей — не ставить своему чаду палки в колеса. Они просто не имеют права мешать личности обрести независимость...

Речь Кумэко продолжалась долго. Иногда Мацуэ прерывала ее, пытаясь воззвать к сыновним чувствам Котаро, но тот молчал. Наконец, пробормотав что-то примирительное, встал из-за стола и ушел на второй этаж. В тот вечер ни о чем договориться так и не удалось.

Ночью Мацуэ не сомкнула глаз. В голове вертелись одни и те же мысли: какая дрянь эта Кумэко, и еще — любым способом помешать сыну уехать из родного дома.

На следующий день Мацуэ должна была ехать на урок в Иокогаму. Молодые супруги в восемь утра отправились на работу. Мацуэ хотела, улучив момент, поговорить еще раз с Котаро наедине, но Кумэко, видимо, догадывалась о ее намерении, и супруги до самого ухода на работу носа из спальни не показывали.

В девять, заперев дверь дома на ключ, Мацуэ уехала на занятия — в этот день у нее в заводском общежитии было пять уроков, которые начинались в десять утра и кончались в пять.

Владелец завода увлекался каллиграфией, считал, что она очищает душу и укрепляет характер, поэтому часть рабочего времени отводилась на писание иероглифов.

Домой Мацуэ попала только к семи. Открыла дверь, вошла в столовую, зажгла свет. Котаро и Кумэко, видимо, еще не возвращались. Распахнув окно, чтобы освежить застоявшийся за день воздух, Мацуэ пошла на кухню выпить ячменного чая. И замерла на пороге — куда-то исчез холодильник. Пригляделась — ни электропечи, ни тостера, поредели ряды сковородок и кастрюль на полках, посудный шкаф тоже опустел на одну треть.

Мацуэ кинулась назад в столовую. Когда она минуту на-

зад включила там свет, что-то показалось ей странным, но тогда Мацуэ не придала этому значения. Так и есть — пропали цветной телевизор и стереосистема.

Задыхаясь от волнения, она бросилась по лестнице на второй этаж. Дрожащей рукой открыла дверь в спальню. Комната была пуста: вся мебель, кроме платяного шкафа, исчезла, да и в шкафу остались одни голые вешалки.

В комнате Котаро была такая же картина — ничего, кроме стопки старых журналов в углу.

Борясь с головокружением, Мацуэ медленно спустилась вниз. Все было ясно -- сын с женой в ее отсутствие съехали из дома. Сын ее предал. Сердце рвалось от горя на части, но глаза оставались сухими. Было мучительно стыдно за Котаро, который так послушно плясал под дудку жены, но еще сильнее терзала ненависть к невестке.

Час за часом Мацуэ сидела, застыв словно камень. Потом зазвонил телефон. Медленно она поднялась и сняла трубку.

— Мама, это ты?.. Ты, наверно, удивлена?

У Мацуэ не было сил отвечать. Открыла рот — но звука не получилось, лишь захрипело в горле и заломило в висках.

— Ты, мама, не волнуйся. Это не так уж далеко, я буду тебя навещать.

— Котаро... — вымолвила наконец Мацуэ. Ей пришла в голову одна мысль: — А где вы достали деньги?

Слова вырвались сами собой.

— Какие деньги?

— Первый взнос за квартиру.

Действительно, где они взяли целый миллион иен?

— Ах, эти, — как ни в чем не бывало ответил Котаро. — Кумэко накопила. Кое-что еще до свадьбы, а остальное — из наших с ней зарплат.

Он, видимо, звонил из автомата — раздался предупредительный сигнал, извещавший о конце разговора.

— Ну ладно, мам, я скоро к тебе зайду...

И телефон отключился. Новая обида легла на сердце Мацуэ. С самой свадьбы она не брала с молодых ни иены на домашние расходы. Еще когда Котаро был холост, она оставляла сыну всю его зарплату целиком — на карманные расходы. Она не нуждалась в этих деньгах, привыкла в денежных делах полагаться только на свой заработок. Ей вполне хватало того, что сын иногда покупал фрукты и пирожные, дарил матери с премий небольшие подарки — сумочку там или сандалии дзори.

Надо было настоять, чтобы они с Кумэко тоже вносили свой вклад в семейный бюджет, с запоздалым сожалением подумала Мацуэ. Не хотелось, чтобы невестка считала ее скупердяйкой. Да нет, Кумэко, наверное, ничего бы и не дала — она за десять иен удавится.

Все полтора года Мацуэ содержала семью на свои заработки. А они воспользовались ее щедростью, чтобы накопить денег на квартиру и бросить мать одну!

А ведь, что ни говори, когда в доме, где жили два человека, появляется третий, расходы соответственно возрастают. У Мацуэ лежали кое-какие деньги в банке, но миллион ей, конечно, и не снился.

Пустым взглядом Мацуэ оглядела комнату. В углу, где прежде стоял телевизор, что-то белело. Это оказалась небольшая фотография, наверное сделанная во время свадебного путешествия. Котаро и Кумэко стояли бок о бок на вершине какой-то скалы. «Эта женщина отняла у меня сына», — промелькнуло в голове Мацуэ. Сына любящего, внимательного. Бывало, еще в начальных классах, перед тем как идти с матерью на школьный утренник, Котаро всегда говорил: «Мамочка, надень свое самое красивое кимоно...» А во время спортивных праздников! Он первым из всех ребят бросался к матери, стоял рядом с ней и деловито уплетал рисовые колобки. А какой ласковый был — часто шептал Мацуэ на ухо: «Вот увидишь, мама, выросту большой и все-все для тебя сделаю. Такую себе невесту найду, что будешь жить и радоваться». Мацуэ как наяву слышала голос маленького Котаро. Надо его вернуть во что бы то ни стало, подумала она. Если у Кумэко родится ребенок, будет уже поздно. Надо торопиться, надо спасать сына.

Но как?.. Мацуэ сжала поднятые к груди руки. На развод надеяться нечего — Кумэко не выпустит добычу из рук.

И тогда в голове Мацуэ возникла м ы с л ь.

4

На осуществление своего плана Мацуэ отвела полгода. Прежде всего необходимо было обеспечить прикрытие. И она с удвоенным усердием принялась расхваливать невестку перед своими учениками — конечно, не считая младших, детских, групп:

— Знаете, ведь это по моей просьбе они переехали отсю-

да на новую квартиру. Здесь в последнее время воздух стал совсем никуда. Для маленьких детей это очень вредно, а дело у них молодое, сами понимаете... Ну вот, я и затеяла этот переезд. Уж как меня упрашивала Кумэко-сан, чтобы я с ними переехала, сколько слез пролила, бедняжка, но я решила иначе. Что вы, как же это я буду жить без своего сада, без своих травок, собранных в долине Мусасино? Да и потом, у меня же уроки. Кумэко-сан умоляла меня прекратить работать и просто жить у них, но я еще не старуха, уж до шестидесяти-то потружусь... Звонят сюда каждый день, беспокоятся. Мол, как я тут одна? Зовут к себе в гости. Вот будут внуки, тогда, так и быть, перееду. Кумэко-сан ведь работает, надо будет ей помогать. Ну а пока поживу одна, на свободе, потешу напоследок душу.

Похвалам Мацуэ в адрес невестки не было конца. Выросла без родителей, а такая заботливая, любит свекровь, как родную мать. И работа-то у Кумэко такая полезная для общества, что бросать ее ни в коем случае нельзя, и подарки-то она свекрови дарит, и в гости без конца приглашает — в общем, знакомые были в полной уверенности, что счастливее семьи на всем белом свете не сыскать.

Хотя Мацуэ рассказывала всем, что сын с невесткой днюют и ночуют у нее в доме, на самом деле они так ни разу ее и не навестили.

Выждав с месяц, Мацуэ отправила им по почте ключ от своего банковского сейфа, сопроводив его письмом. На конверте были указаны имена обоих супругов, а в самом письме говорилось, что она, Мацуэ, стала старая, бестолковая, все забывает и очень боится, что засунет столь драгоценный ключ куда-нибудь, а потом не вспомнит, так пусть уж лучше он хранится у них. А если им нужны будут деньги — нелегко, наверное, обставить новую квартиру, — пусть берут, не стесняются.

В сейфе, кроме денег, лежали ценные бумаги, оставшиеся у нее еще от покойного мужа. Вряд ли Кумэко стала бы продавать их — Мацуэ знала, что по нынешнему курсу это вышло бы себе в убыток. А так акции давали в год около миллиона иен дивидендов. Мацуэ была уверена, что Кумэко не хуже ее умеет считать и промашки ни в коем случае не даст.

Не прошло и недели, как Котаро навестил мать на обратной дороге с работы. Он сказал, что ключ от сейфа они получили.

— Нам сейчас, в общем-то, покупать особенно нече-

го, — виновато отводя взгляд, добавил он. Чувствовалось, что сердце у него все-таки не на месте.

— Ну и пусть, спокойнее, если ключ будет у вас. На что мне деньги? Я ведь работаю, а одной много ли надо?.. Дивиденды поступят после Нового года, ты уж купи на них что-нибудь Кумэко-сан — драгоценность какую-нибудь, что ли...

Мацуэ старалась, чтобы в ее голосе ни в коем случае не прозвучали раздражение или обида. Она приготовила любимые блюда Котаро, купила пива, сходила в мясную лавку и принесла два куска мяса.

— Отнеси мясо домой, — сказала она. — Пожарьте себе бифштексы.

— Ну что ты, мама... — растрогался Котаро.

Наворачивая за обе щеки, он жаловался:

— Каждое утро на завтрак одно и то же — готовый рамэн. Я понимаю, она тоже работает, но так хочется иногда горячего мисо.

Вечерами, по словам Котаро, они или ужинали в городе, или ели купленный в магазине салат с какими-нибудь галетами.

— Между нами, мамочка, будь сказано, есть эти магазинные творения невозможно. Полуфабрикаты — еще куда ни шло...

И Котаро принялся перечислять достоинства и недостатки полуфабрикатов: чем хорош концентрат кукурузного супа, в каком магазине продают вкусные пирожки шаомай, а в каком дорогие и несъедобные и так далее.

Мацуэ видела, что выросший на домашней пище Котаро уже сыт по горло «кулинарным мастерством» Кумэко. Обратила она внимание и на то, что одет сын тоже неважно — костюм старый, потрепанный, да и не больно чистый. Видимо, молодой семье влетали в копеечку питание по ресторанам и покупка полуфабрикатов, тоже стоивших недешево. На одежду денег, судя по всему, не хватало. А у матери Котаро привык, что к каждому сезону ему покупают по крайней мере комплект нового нижнего белья.

До конца лета Мацуэ решила не появляться на квартире у молодых. Но то и дело посылала им разные небольшие подарки: что-то сладкое, или какое-нибудь импортное полотенце, или что-нибудь для дома — обязательно подороже и со вкусом. Котаро заходил к матери довольно часто. Она готовила его самые любимые блюда, в холодильнике всегда

стояло пиво — кому знать вкусы сына лучше, чем родной матери.

Причем насильно Мацуэ его едой не пичкала и непременно давала что-нибудь с собой — рыбу или мясо, чтобы угостить Кумэко. И каждый раз Котаро уносил с собой подарки, якобы подаренные Мацуэ учениками и «вовсе ей не нужные», — бутылку виски, оливковое масло, чай, иногда даже флакон французских духов.

Мацуэ видела, что день за днем недовольство сына женой растет.

— Готовить ни черта не умеет, — жаловался он, — уборку не делает, в доме кавардак. Зато стирать просто обожает — если на улице дождь, всю комнату мокрым тряпьем завешает. Что это за жизнь? Даже книгу спокойно не почитаешь. То ли было, когда мы у тебя, мам, жили. Хорошо здесь — как ни придешь, тишина, покой, цветы вон в вазе стоят...

Особенно Котаро раздражало то, как неряшливо Кумэко одевается.

— Целыми днями в одном и том же — в штанах и рубахе. Как на улицу идти — раскрасится вся, расфуфырится, а когда дома — даже не причесывается, так и ходит до самого вечера, обмотав голову полотенцем.

Мацуэ всегда одевалась очень тщательно. Возясь в саду или делая уборку, она, конечно, надевала рабочие штаны и халат, но, закончив, сразу же переодевалась в нарядное кимоно, повязывалась новым оби. Поскольку ей приходилось давать уроки дома, опрятно одеваться давно превратилось у Мацуэ в привычку.

В сентябре Котаро принес весть о том, что Кумэко беременна.

— Толком еще ничего не выяснилось, — пожаловался Котаро, — а ее уже мутит, тошнит, что ни день — слезы, истерика. Прямо терпения не хватает.

То, чего Мацуэ так боялась, не произошло — Котаро не испытывал особого счастья при мысли о том, что скоро станет отцом. Наверное, правду все-таки говорят: мужчина начинает любить своего ребенка, когда тот уже немножко подрастает и делается хорошеньким. Пока же Котаро, наоборот, очень мучился из-за того, что Кумэко, забеременев, совсем перестала заниматься домашними делами, да и характер у нее вконец испортился.

— Ну что ж, ничего не поделаешь, — добродушно пос-

меивалась Мацуэ. — Женщины всегда такие, когда ждут маленького. Ты уж делай Кумэко-сан скидку, не обижай ее.

Как бы Котаро ни ругал жену, Мацуэ не говорила о невестке ни одного дурного слова. Только твердила:

— Ах, бедная Кумэко-сан. Как она только на работу ходит!

Котаро же находил в жене все новые и новые недостатки. «Забавно, — думала Мацуэ, — когда я ему указывала на то же самое, он ее защищал. И чем больше я жаловалась, тем сильнее был обратный эффект».

Одним воскресным утром, уже в октябре, Мацуэ впервые позвонила супругам по телефону. Спросила, можно ли зайти — она будет по делам в их районе и хочет кое-что им занести.

Котаро вышел встретить ее к автобусной остановке, сказав, что дома тут все одинаковые и Мацуэ может заблудиться.

Квартира находилась на самом последнем этаже. Сразу было видно, что в комнатах пытались быстро навести порядок, но пыль осталась невытертой, пол неподметенным.

Кумэко была само радушие. Еще бы — два месяца свекровь осыпала ее подарками, да и денег не раз подкидывала.

— Ой, какой чудесный вид! — воскликнула Мацуэ, подходя к окну. — Но для меня такое жилье не годится. Нам, старухам, лучше живется в старых развалюхах, где можно в саду покопаться.

Это она сказала специально, чтобы Кумэко не подозревала ее в желании перебраться к ним на квартиру.

— Как вы там, мама, одна-то живете? Не одиноко? — спросила Кумэко, как самая любящая из дочерей. Можно было подумать, что это не она, а кто-то другой затеял переезд.

— Нет, я привыкла жить одна. Ведь Котаро я и раньше целыми днями не видела. Бывало, прибежит с улицы — и сразу к себе, наверх. Что есть он, что нет его.

— Скажешь тоже, — засмеялся Котаро.

Кумэко подала чай. Мацуэ отхлебнула — ну и пойло, сына вполне можно было понять. Сама Мацуэ уж на что, на что, а на чай никогда денег не жалела, всегда покупала высшего сорта.

— Ну, Кумэко-сан, поздравляю вас с радостным событием. Только вот как вы, бедняжка, на работу ходите? Это, наверное, так тяжело. Вы уж берегите себя.

Сегодня Мацуэ принесла в подарок талонов на десять тысяч иен и фрукты, объяснив:

— Одна из моих учениц вышла замуж и в качестве прощального подарка принесла вот... Мне самой-то ничего не надо, может, вы, Кумэко-сан, купите себе что-нибудь. И вообще, к рождению ребенка нужно столько всего приготовить. Я вполне могла бы давать вам каждый месяц немного денег — ну, тысяч двадцать-тридцать... Честно говоря, я и сегодня собиралась что-нибудь купить своему будущему внуку, но сейчас столько появилось всяких хитрых товаров для младенцев, что я не решилась. Давайте я вам лучше буду деньги давать, а вы покупайте сами.

Кумэко вся расплылась от радости. Мацуэ подумала, что, кажется, даже недооценивала любовь невестки к деньгам.

Перед уходом Мацуэ как бы между прочим предложила:

— Хотите, я буду приходить помогать вам с уборкой, Кумэко-сан? Вам надо очень беречь себя, особенно в первые месяцы. Упаси вас боже поднимать тяжести или делать тяжелую работу.

— Вот спасибо. Прямо не знаю, как вас благодарить, — обрадовалась ленивая невестка.

— Ничего-ничего. Вы же работаете? Так я буду иногда заходить.

Все шло по плану. Два раза в неделю Мацуэ стала навещать супругов, принося подарки и убирая квартиру. Ее поразило, сколько грязи накопилось в доме за каких-то пару месяцев. На кухне, похоже, Кумэко вообще не убирала, туалет тоже мыли последний раз бог весть когда.

— Как стало чисто! — восхитился пришедший вечером домой Котаро. В прежние времена Мацуэ не преминула бы заметить: «Теперь видишь, что она за человек? У неаккуратности тоже должен быть свой предел». Но теперь она промолчала.

Так уж повелось, что во время своих приходов Мацуэ стала и еду готовить. Приготовит — и домой, сама ужинать ни за что не остается.

Кумэко с соседями особенно не общалась, но вскоре все вокруг уже знали, какая замечательная у нее свекровь. Встречая Мацуэ на лестнице или во дворе, соседки говорили ей:

— Ох и повезло же вашей невестке.

Мацуэ в ответ нахваливала Кумэко. Уж такая она добрая, славная и расчудесная, что лучше просто не бывает.

На самом же деле Кумэко очень скоро привыкла к посещениям свекрови и стала принимать их как должное. А потом начались и жалобы — то «мама» еду приготовила не так, то вещи после уборки неправильно расставила, то окно забыла помыть. Мацуэ поражало, как только у Кумэко хватает наглости ее попрекать — ведь сама ничего по дому не делает. Но Мацуэ все сносила и только извинялась, стараясь не выводить невестку из себя. А тем временем ждала своего часа. Ее р е ш е н и е оставалось твердым. Она прекрасно понимала, что никакого компромисса с Кумэко быть не может. Как быстро невестка свыклась с положением барыни, гоняет свекровь, словно служанку, и даже спасибо не скажет! Можно было себе представить, какое будущее ждет Мацуэ, когда она совсем состарится, не сможет работать, когда иссякнут сбережения.

Нет, р е ш е н и е оставалось неизменным. Надо было просто дождаться случая.

Наступил ноябрь. Кумэко хныкала с утра до вечера, жаловалась на плохое самочувствие, говорила, что у нее часто темнеет в глазах и кружится голова. Однажды Мацуэ отправилась к постоянному врачу Кумэко и с видом крайнего беспокойства стала выпытывать:

— Как же так — «голова кружится»? Ведь Кумэко-сан ходит на работу. Вдруг ей станет плохо где-нибудь на улице?

— Это самая обычная вещь при беременности, — рассмеялся врач. — Скоро пройдет, не волнуйтесь. Но все же старайтесь невестку одну не оставлять.

В поликлинике визит Мацуэ не остался незамеченным — соседки видели ее и лишний раз восхитились: до чего же заботливая свекровь.

А потом настала т а суббота. С полудня пошел дождь и лил до самого вечера. Это было первое непременное условие разработанного Мацуэ плана. В дождливую погоду окна в доме обычно закрыты. Шторы по вечерам у всех задернуты — люди, живущие в многоквартирных домах, особенно ревниво охраняют свою частную жизнь.

Кумэко вернулась домой раньше мужа. Пришла и сразу опустилась в кресло, заявив, что плохо себя чувствует. Мацуэ налила воды в ванну, приготовила ужин. Тут как раз вернулся Котаро, и она отправила его в ванную.

За окном давно стемнело. Дверь из кухни вела на балкон, где висели веревки для сушки белья. Когда пошел дождь, Мацуэ все оттуда сняла, а одно полотенце оставила — специально.

Кумэко сразу этого не заметила, потому что шторы на окне были задернуты. Когда же Котаро ушел в ванную, Мацуэ, как бы спохватившись, воскликнула:

— Ой, а полотенце-то осталось на балконе!

Кумэко, усевшаяся смотреть телевизор, неохотно поднялась.

— Извините, ради бога, — запричитала Мацуэ. — Я днем убирала в ванной, вот и вывесила его.

— Никаких сил с вами нет. — Кумэко рывком отдернула штору, открыла дверь и вышла на балкон. — Надо же додуматься! Дождь льет, а она...

Кумэко привстала на цыпочки, чтобы дотянуться до веревки. И тогда Мацуэ, предварительно оглянувшись на соседние окна, изо всех сил толкнула невестку в спину. Молодая женщина перелетела через невысокое ограждение и с зажатым в руке полотенцем упала с восьмого этажа. Смерть была мгновенной.

Во время похорон и поминок Мацуэ рыдала и каялась:

— Если бы только я не забыла снять то проклятое полотенце...

Все решили, что с Кумэко, вышедшей на холодный балкон из теплой комнаты и потянувшейся за полотенцем, произошел ее обычный приступ головокружения и она потеряла равновесие.

Мацуэ следила за тем, чтобы не переборщить с изъявлениями скорби. Все должно было выглядеть естественно. Безусловно, сыграла свою роль иллюзия идеальной семьи, создавшаяся у соседей стараниями Мацуэ. Никому и в голову не пришло подозревать свекровь в убийстве столь горячо любимой невестки.

— Какой удар для бедной женщины, — вздыхали знакомые, сочувствуя Мацуэ. — Она так ждала появления внука.

— Ох, как бы она на себя руки не наложила...

Из Фукуоки на похороны приехал старший брат Кумэко. У Мацуэ и Котаро близких родственников не было.

Новый год Мацуэ встретила с сыном, вернувшимся под родную крышу. Она снова была счастлива.

Квартиру, естественно, продали. Поскольку после гибели Кумэко прошло совсем немного времени, гостей с новогодними поздравлениями не было. Мацуэ занималась с учениками и наслаждалась жизнью. Как будто вернулась та чудесная пора, когда Котаро еще не помышлял о женитьбе. Снова он был нежным и внимательным сыном. Ценные бу-

маги благополучно лежали в сейфе, Кумэко до них так и не добралась. Вот-вот должны были выплатить дивиденды, и Мацуэ собиралась купить на эти деньги новое кимоно и съездить вдвоем с сыном куда-нибудь на теплые источники.

Однажды вечером Котаро поднял голову от газеты и сказал:

— Знаешь, мама... Ты не переживай. Это был просто несчастный случай.

Мацуэ пришлось отвечать на утешения сына:

— Как же «не переживай». Я так ждала внука...

— Не казни себя. — Сын свернул газету. — В следующий раз я подыщу себе жену, которая обязательно тебе понравится. Она будет очень тебя любить, вот увидишь. Еще сильнее, чем Кумэко. Не беспокойся, мамочка, нам будет опять хорошо втроем.

Пальцы Мацуэ, державшие чайную чашку, похолодели.

СЭЦУКО ЦУМУРА

СВЕТЯЩИЕСЯ ЧАСЫ

«Если ударить его ножом, он так и умрет, не проснувшись, даже не дернется», — думала Митиё, вглядываясь в лицо спящего мужчины.

Спал он, надо сказать, крепко. Митиё даже показалось странным, что можно позволить себе быть до такой степени беззащитным дома у малознакомой женщины.

А ведь у него вовсе не стальные нервы. Когда он не спит, на лице у него такое выражение, словно у него что-то болит, и потому никогда не поймешь, о чем он думает. Стоит ей неожиданно заговорить, как на лице у него проскальзывает легкий испуг. Он молчалив, и Митиё все еще очень мало знает о нем.

Митиё и самой невдомек, отчего у нее сложились такие отношения с этим человеком.

Встретилась она с ним месяца два назад. В тот день она направилась к входу в парк, чтобы забрать свою дочку, Тикако, — сюда приходил специальный автобус, развозивший детей из садика.

Поначалу, когда детский сад только открылся, мамы ежедневно провожали и встречали детей, но уже месяц спустя дети привыкли и стали добираться туда сами. Тогда и мамы — за исключением немногих — перестали ходить к остановке автобуса.

Тикако резвилась, обрадованная тем, что мамочка пришла встретить ее — в последнее время это случалось не так уж часто.

Был ясный погожий день, и Митиё — хотя у нее и

побаливала поясница: утром стирки было больше обычного — была довольна — быстрее высохнет.

— Дождика нет, а ты встретила меня? — Маленькая Тикако явно подметила особенность работы матери, больше занятой в хорошую погоду.

— Уж очень захотелось подышать воздухом, — объяснила Митиё. Ей не хотелось возвращаться домой, и она решила погулять с Тикако в парке. Он был не бог весть каким — площадка с качелями, песочницы и пруд с лодочной станцией, окруженный узкой дорожкой, в траве стояли скамейки.

— Хочу на лодочке покататься!

— Что ты! Я и грести-то не умею!

— Это ж нетрудно, научиться легко.

— Нет, так только кажется.

Митиё уселась на скамейку. А Тикако было скучно сидеть на одном месте, и она побежала к качелям.

Тут около Митиё ударился о землю мячик, подпрыгнул прямо перед лицом и, подскакивая, покатился к мужчине, сидевшему у самого пруда, скользнул мимо его ног и упал в воду, а тот и не пошевелился.

Бросившийся за мячом мальчишка громко вскрикнул. Он сердито посмотрел на человека, которому стоило лишь протянуть руку, чтобы поймать мяч, и с досадой прищелкнул языком.

Только тут мужчина поднял голову и взглянул на него.

— Что ж вы не ловили?! — упрекнул его мальчишка.

Тогда мужчина, видно, окончательно очнулся и перевел взгляд на водную гладь. Он ничего не заметил.

На вид простой служащий... И не так уж молод... Митиё сначала показалось странным — чего это он расселся среди дня? Хотя, конечно, ничего особенного в этом не было — может статься, он коммивояжер или страховой агент, устал от беготни по улицам, вот и присел отдохнуть.

Когда Митиё встала, мужчина по-прежнему сидел на своем месте. Пустые глаза, которыми он смотрел на мальчишку, буквально загипнотизировали Митиё. Она еще раз оглянулась: мужчина сидел неподвижно и невидящим взором смотрел на поверхность пруда. Он явно никуда не спешил.

В следующий раз Митиё встретила мужчину на том же месте.

Естественно, в парк она пошла вовсе не потому, что ду-

мала о мужчине. Просто минуты, проведенные там, внесли какое-то разнообразие в утомительный ритм ее жизни.

Митиё жила вдвоем с дочерью в маленьком городке, снимая комнатку в шесть татами с крохотной кухонькой в доходном доме. Квартиры располагались по обеим сторонам коридора, у Митиё — окнами на запад. Комнату на западной стороне она выбрала потому, что за нее брали дешевле. Но если зимой жизнь в ней была сносной, то летом, во второй половине дня, закрытая наглухо комната превращалась в парилку. Окно только одно, слева и справа живут соседи, поэтому, чтобы как-то проветрить ее, приходилось открывать дверь настежь, повесив у входа бамбуковый занавес. Правда, с тех пор как Митиё начала брать надомную работу, такая планировка стала устраивать ее.

Соседку Митиё звали Тамаэ, она служила в небольшом ресторанчике в увеселительном квартале и на работу ходила в кимоно. Поэтому ее белые носки-таби за один вечер становились черными от пыли. Домой Тамаэ возвращалась поздно ночью и спала до полудня, выстирать себе таби она не успевала. «А отдать в чистку — сдерут по пятьдесят-шестьдесят иен за пару», — жаловалась она Митиё.

После того как муж завел себе женщину и перестал ходить домой, обстоятельства вынудили Митиё продать записанный на нее домик и переселиться на частную квартиру. С тех пор прошло два года. Пришло время серьезно задуматься над тем, на какие средства жить дальше, как растянуть скромное состояние — ведь проесть его, если ничего не предпринимать, можно в один миг, тем более что из-за маленькой дочки у Митиё не было возможности устроиться на работу вне дома. И вот соседка натолкнула ее на мысль заняться стиркой таби. Ни капитала, ни техники на это не потребуется.

Митиё подумала, что если она будет брать по тридцать иен за пару, то в клиентах недостатка не будет. Ничего страшного — ведь она будет иметь дело всего лишь с носками. Постирать штук двадцать в день — не такой уж тяжкий труд. Двадцать пар — шестьсот иен. Это гораздо выгодней, чем делать искусственные цветы или вышивать на перчатках, не разгибаясь с утра до вечера. Правда, занятие не особенно чистое, но Митиё не могла требовать слишком многого. К тому же можно не платить посредникам.

Когда она высказала свою идею Тамаэ, та сразу же загорелась.

— Я одна могу давать тебе двадцать или даже тридцать

пар в месяц. Ну, в нашем ресторане работают еще две женщины, кроме того, я предложу девушкам из соседних заведений. Тридцать иен за пару — так каждая будет согласна.

Начало положили, как и предполагалось, девушки из ресторана, в котором работала Тамаэ. Со временем у Митиё набралось более пятидесяти постоянных клиенток. Каждая сдавала в стирку как минимум двадцать пар в месяц, получалось тысяча пар, так что заработок Митиё не опускался ниже тридцати тысяч иен. Два дня в неделю она ходила собирать испачканные таби и тут же возвращала чистые.

Первое время Митиё стирала таби в маленькой раковине у себя в комнате. Конечно, она не испытывала особого удовольствия оттого, что приходится стирать носки женщин из увеселительных заведений в той же раковине, где она моет посуду и овощи, но не хотела, чтобы о ее занятии проведали соседи. Они и так судили да рядили, как это одинокой женщине с ребенком удается добывать себе средства к существованию.

Позже Митиё решила — пусть лучше знают, что она стирает носки, чем строят всякие догадки насчет мужчин, у которых она якобы находится на содержании. Тем более что работы прибавилось и она уже не могла обходиться одной раковиной — теперь она стирала целые пачки таби в общественной прачечной, устроенной на заднем дворе их дома.

Громко сказано — «общественная прачечная». На самом деле это была небольшая бетонированная площадка, на которой с трудом размещались два таза и водопроводный кран. А поскольку она была открытой, без крыши, то в дождливый день стирку приходилось отменять.

На стирку таби уходило времени больше, чем она предполагала. Сначала их надо было замачивать полчаса в горячей воде со стиральным порошком, а потом каждую штуку хорошенько потереть щеткой. Больше всего пачкались кончики таби — их приходилось тереть особой щеткой из тонкой проволоки. Пожелтевшие таби отбеливались, подкрахмаливались, а потом — сушка. И все исключительно руками — стиральная машина тут ничем помочь не могла. Когда таби было особенно много, на стирку уходила вся первая половина дня, после же обеда окно на запад оказалось удобным местом для сушки.

Митиё гладила после ужина, когда Тикако была дома. Гладила аккуратно, прыская на таби водой. Раз взялась за дело, то халтурить она не станет. По натуре Митиё была большой чистюлей. Раньше, когда муж приходил домой, она

заставляла его переодеваться, каждый день меняла ему белье. А еще терпеть не могла, когда он ронял повсюду пепел от сигарет, ходила за ним и вытирала. Может быть, идея заняться стиркой таби тоже была связана с ее чистоплотностью.

Но теперь, когда это стало ее постоянным занятием, монотонная работа раздражала. Иногда хотелось бросить все — ведь тридцать пар таби — это шестьдесят штук, и все белые, и все одинаковые.

Выстиранные таби по меткам раскладывались в мешочки. Разносила чистые и собирала грязные два дня в неделю, но, поскольку приходилось обходить разные районы, получалось так, что отдавала каждой недельную пачку. Благодаря доброй молве заказчиц становилось все больше и больше, так что вскоре наступил момент, когда она стала отказываться — не было ни времени, ни сил. Поначалу Митиё ходила только по квартирам, но потом договорилась с некоторыми хозяйками баров — теми, что и жили при своем заведении, — чтобы те собирали носки. Так, конечно, удобнее и с оплатой. Обходы свои совершала днем — ведь не сунешься же в бар, когда там все девушки в сборе и пришли гости. К тому же по вечерам Митиё должна быть дома с ребенком.

А когда Митиё обходила квартиры, ей, случалось, не отпирали, хотя дома явно кто-то был. Конечно, мужчина. Правда, если они еще не забрались в постель, то девушки и не думали стесняться. Откроет дверь в одном халатике на голое тело, присядет на корточки, не обращая внимания на заголившиеся коленки, примет вещи, заплатит за стирку, отдаст грязные таби. А ведь если в квартире лишь одна комната, то, как ни отводи глаз, все равно видишь «гостя». Для обоих Митиё — просто пустое место.

— А ты только таби занимаешься? Не можешь постирать мне трусики? — просят ее некоторые. И объясняют — в прачечной берут по пятьдесят-шестьдесят иен, а вот если б она постирала по тридцать, то очень бы выручила...

— А какой смысл отдавать в прачечную, если можно купить новые — обойдется ненамного дороже.

— Нет, я дешевку не ношу. Покупаю за четыреста иен.

— Ну и что ж, значит, семь стирок, и только... — не соглашалась Митиё.

Еще понятно, когда сдают в прачечную таби — хорошо выстирать их нелегко, но нейлоновые трусики величиной с носовой платок — тут особых усилий не требуется. Если бу-

дут платить столько же, сколько за таби, то это вроде бы даже и выгодно...

— Если отнести в прачечную, где работают молодые мужчины, то там с удовольствием постирают!

— Вот и сдавайте туда...

Какой бы выгодной ни представлялась работа, Митиё никак не решалась браться за стирку нижнего белья. В тот день, когда ей попытались всучить стопку смятых трусиков, у Митиё вконец испортилось настроение и, чтобы хоть как-то отвлечься, она решила заглянуть в парк.

В дни, когда Митиё отправлялась к своим клиентам и возвращалась поздно, Тикако после детского сада шла играть к подружке, жившей в том же доме.

Тикако наверняка ждет сейчас, что мама вернется домой, оставит вещи и они вместе пойдут в магазин купить себе что-нибудь на ужин, но Митиё настолько устала, что ее угнетала мысль о том, как набросится на нее заждавшаяся дочка. Как ни верти, с мешком, набитым грязными таби, в кафе не пойдешь. Обычно Митиё шла прямо домой, но в тот день почему-то возвращаться сразу не хотелось...

Солнце еще светило, и в парке, как обычно, самозабвенно играли детишки, в пруду на лодках катались люди, а скамейки в затененных деревьями местах были заняты обнимающимися парочками. Наступал момент, когда парк заполнялся совсем иной публикой.

Обходя пруд в поисках незанятой скамейки, Митиё ненамеренно взглянула и на ту, где в прошлый раз сидел мужчина, и невольно вздрогнула — в той же позе, тем же пустым взглядом он смотрел на водную гладь, как будто и не вставал с того дня, когда она его впервые увидела.

Скамейка, на которой Митиё сидела в прошлый раз, оказалась незанятой, и она опустилась на нее. Мужчина сидел поближе к пруду, поэтому она могла незаметно искоса поглядывать на него.

А этому человеку явно приходится много разъезжать по городу. Странно, что она встречает его в одном и том же месте. Может быть, он просто привык устраивать себе здесь перерыв во время работы?

Стирать таби — нелегкий труд, но еще мучительнее было для Митиё иметь дело с «девушками». Пожалуй, и этому человеку не по нутру его работа...

Возраст мужчины Митиё не могла определить. В прошлый раз он выглядел на сорок; когда мальчишка упрекнул его, что он не поймал мячик, на его лице появилось выра-

жение растерянности. Но сейчас он казался человеком пожилым, крепко помятым жизнью. Может быть, такой вид придают ему давно не стриженные волосы, прикрывающие уши?

«И как это терпит его жена, что он ходит таким растрепанным? — подумала Митиё. Сама она всегда гнала мужа к парикмахеру. — Если его работа связана с разъездами, то жене тем более следовало бы обращать внимание на его внешний вид». Митиё горько усмехнулась, поймав себя на том, что слишком далеко зашла в своем любопытстве.

О том, что женщине, к которой ушел муж, нет и двадцати и что она грязная девка, Митиё узнала от рассыльного. Она уже догадывалась о том, что у мужа кто-то есть, но удостоверил его измену этот развязный подросток. Он видел, как ее муж ходил к этой самой девице. Митиё подумала было про себя, что такая, как она, со своей требовательностью, и в самом деле не подарок... Но простить мужу всю эту грязь, его поздние возвращения от этой мерзавки... Словом, нетерпимость Митиё привела к тому, что муж еще больше сблизился с той женщиной и в один прекрасный день ушел к ней насовсем.

Нельзя сказать, что Митиё не понимала, что многое в ее поведении подтолкнуло мужа в объятия соперницы. Но больше всего заставляли страдать ее вопросы маленькой дочки — почему не возвращается домой папочка. А тот за год не то что ни разу не показался дома, но даже денег не соизволил прислать.

Однажды, не выдержав, Митиё пришла все-таки к дому, где жила та женщина, — адрес сообщил ей все тот же рассыльный. Но так и не смогла постучать в ее дверь. Просить любовницу, да еще гораздо моложе себя, чтобы та вернула мужа, показалось ей невозможным и постыдным.

И все же, несмотря на измену, она не раз среди ночи вскакивала с постели — ей слышались шаги мужа, идущего по проулку. И когда убеждалась в своей ошибке, закусывала губы от досады на свою слабость. Чтобы положить конец всем эти глупостям, избавиться от отчаяния, она однажды упаковала одежду, личные вещи мужа и отправила их по тому адресу, а дом, полученный в наследство от отца, продала. Правда, если б она этого не сделала, то есть не продала дом, то осталась бы совсем без средств.

Первое время после переезда ее не покидала надежда, что когда-нибудь муж все же разыщет ее. Однако с тех пор прошло почти два года. Митиё стала уже испытывать некое

удовольствие оттого, что муж оставил ее в покое. Она сама удивлялась непрочности брачных уз — хоть и женились они по сговору, но все-таки прожили вместе четыре года, и дочь у них есть, а расстались с такой легкостью.

Как будет дальше — продолжат ли они эту жизнь врозь, оставаясь формально супругами, или их следующая встреча будет посвящена переговорам о разводе?

Неожиданно похолодало. Это солнце стало садиться за горизонт. Митиё пришла в парк, чтобы хоть ненамного остаться наедине со своими мыслями; и вот на тебе: глядя на мужчину, она вспомнила о муже, о котором с каких-то пор и думать забыла. Ей даже неизвестно, живет ли он с той девицей. Разве это не свидетельство того, что интерес ее к мужу ослабел?

В соседней школе зазвенел колокольчик. Очевидно, детям, играющим на школьном дворе, пора возвращаться домой.

Мужчина неторопливо поднялся со скамейки. Митиё показалось, что он взглянул на нее. Смутившись оттого, что долгое время рассматривала его, она отвела глаза в сторону. Мужчина прошел мимо, нисколько не обращая на нее внимания, и направился к выходу из парка.

Так после обхода клиенток Митиё стала время от времени заглядывать в парк.

Разумеется, не для встречи с тем человеком, но тем не менее она всегда заставала его там.

Однажды — час был обеденный — он ел на скамейке, открыв принесенную с собой коробочку. В другой раз спал, прикрывшись газетой. «Не слишком ли он пренебрегает своей работой? — удивлялась Митиё. — Ведь, если он коммивояжер или агент страховой компании, должна же у него быть какая-то норма? Нет, — сочувственно думала она, — такая работа совсем не для него!»

Может быть, фирма, в которой он служил, обанкротилась, и теперь он перебивается случайными заработками? Но при таком отношении к делу его будущее весьма ненадежно...

Как-то придя домой к постоянной клиентке, Митиё не застала ее дома. Навстречу вышел мужчина, которого она уже несколько раз видела у нее в квартире.

— В баню пошла. Сколько нужно?

Решив, что мужчина намеревается заплатить ей, Митиё присела на корточки, чтобы достать записную книжку.

— Дверь, закрой дверь! — прикрикнул мужчина, видно не желая, чтобы проходящие по коридору соседи увидели его в квартире у женщины, да еще днем.

— Извините... — Митиё закрыла дверь, которую она нарочно — раз хозяйки нет дома — оставила приоткрытой.

— Без мужика живешь?

— Да...

— Таби стираешь... Как же ты дошла до этого?

— Значит, больше ни на что не способна.

— С такой мордашкой могла бы и другое занятие найти.

— Поздно, я уже не так молода.

— Ну, не скромничай. А замуж как, не собираешься?

— У меня ребенок, — сухо ответила Митиё, чтобы положить конец назойливым расспросам.

— Сколько тебе причитается?

— Можно в следующий раз. Вот я кладу сюда. — Она показала мужчине выстиранные таби. — Передайте мне, пожалуйста, тот сверток... — и она указала на сумку со сложенными в ней таби.

Подавая Митиё таби, мужчина вдруг схватил ее за руку и привлек к себе. Застигнутая врасплох, Митиё тут же оказалась в его объятиях.

— Хочешь, с завтрашнего дня тебе не придется заниматься такой работой? Обеспечу...

Митиё изо всех сил оттолкнула мужчину, а сама отлетела к двери, сильно ударившись об нее. Она поспешно сунула испачканные ноги в туфли (когда мужчина схватил ее, туфли соскользнули, и она испачкала чулки о бетонный пол прихожей) и выскочила в коридор.

— Постой, а вещички?! — мужчина со смехом швырнул ей вслед сверток.

Подняв таби, Митиё пошла к выходу. Все в ней кипело — какое ничтожество, а еще так мнит о себе!

Когда-то она решила, что не станет служить в увеселительных заведениях, а теперь выходит, что стирать таби для ресторанных девок еще более унизительное занятие!

Этот негодяй сказал, что стоит только захотеть — и ей не придется стирать чужие носки. Неужели я выгляжу такой — изголодавшейся по деньгам и мужчинам?

Митиё поправила растрепавшиеся волосы. Ощущение было такое, словно горячее дыхание этого человека просто прилипло к ее шее. Прижав Митиё к себе, он бесстыдно принялся шарить по ее груди. Мужчина внушал ей отвраще-

ние, но кровь в ней все равно закипела. Митиё даже разозлилась на себя — до чего же она опустилась!

— Какая мерзость! — Ее даже передернуло от досады. В последнее время она стала разговаривать сама с собой. Стирает таби и приговаривает: «Ничего не поделаешь, ничего...» А то шагает по улице со свертком грязных таби, и время от времени у нее вырывается бессмысленное: «Так-так-так».

Бывает еще хуже — идет она с Тикако и по привычке бормочет, а та пугается: «Ты что-то сказала, мамочка?»

В тот день ей уже никуда не хотелось идти, и ноги сами собой понесли ее в парк.

На этот раз она четко сознавала, что идет к тому незнакомцу — пусть слабовольному, лишенному жизненной силы, но чем-то ей близкому и ободряющему.

Она уже была недалеко от парка, когда небо внезапно почернело, хлынул ливень. У нее не было ничего, чем прикрыться от дождя, и тогда она вспомнила, что посреди пруда есть островок, а на нем беседка.

Ребятишки, игравшие в парке, бежали к выходу, и лишь одна Митиё шла в парк.

Незнакомца на скамейке, конечно, не было. Ушел ли он, спасаясь от дождя, или вообще не приходил сюда сегодня?

К островку был переброшен мост с красными перилами — горбатый бетонный мостик, под которым могли свободно проходить прогулочные лодки.

Одно название, что остров... Почти весь занят беседкой. Когда Митиё бежала по мостику, дождик барабанил вовсю. Она буквально влетела в беседку, в которой кто-то уже спасался от ливня, и, хотя опередивший ее человек сидел спиной, Митиё тотчас же узнала в нем незнакомца.

Он размеренно жевал принесенный с собой завтрак, отрешенно вглядываясь в мощные струи дождя. Столь же равнодушно реагировал он и на внезапное вторжение, нарушившее его одиночество, — лишь лениво повернул голову.

— Дождь-то какой! — словно обращаясь к самой себе, проговорила Митиё. Очутившись лицом к лицу с мужчиной, она растерянно разглаживала промокшие волосы.

Мужчина явно колебался — ответить ему или нет, но в конце концов так и не раскрыл рта. Митиё решила, что он, наверно, недоволен, и извиняющимся тоном проговорила:

— Это ведь ливень, скоро пройдет.

Вглядываясь в возбужденное лицо Митиё, мужчина неожиданно ласково ответил:

— Да вы присаживайтесь, пожалуйста! — И, подвинувшись к краю скамейки, освободил ей место рядом с собой.

Митиё робко уселась на краешек.

— Я иногда вижу вас здесь. Живете поблизости?

Митие с удивлением посмотрела на мужчину: значит, и он заметил ее!

— Дочурку встречаю. Сюда к воротам подъезжает автобус с детьми.

Она как бы оправдывалась: «Нет, не ради вас я прихожу». На самом же деле в последнее время она чаще всего заглядывала в парк как раз без Тикако.

— Ваша работа связана с разъездами по городу? — спросила Митиё.

— Вы о чем?.. — не понял мужчина.

«Ах, как нехорошо получилось! — подумала она с сожалением. — Он еще решит, что я чересчур назойлива, да еще упрекаю его».

— Здесь в общем неплохо, все-таки парк. Вода, зелень — просто замечательно. Можно хоть немного отвлечься... — сказала и с досадой подумала: «И чего это я все время оправдываюсь?»

Палочками для еды мужчина выковырял из коробочки остатки риса и швырнул их в пруд. Карпов, правда, в нем нет, но кое-какая рыбешка водится...

Потом каблуком ботинка выдолбил прямо перед собой ямку, бросил туда оставшуюся приправу и забросал ее землей. В тонкой коробке для завтрака больше ничего не оставалось. Он завернул ее в газету и положил в лежавший рядом портфель.

Заботливая у него жена... В наше время редко кто дает с собой мужу уложенный в коробку завтрак. Все больше и больше семей утром обходятся и вовсе без риса, едят европейскую пищу с хлебом. Даже мамаши не утруждают себя готовкой... Ну а если их ребенок едет на школьную экскурсию, дают ему заранее купленное норимаки[1].

Итак, жена каждое утро варит ему рис, укладывает его в коробочку, а он, чтобы случайно не обидеть ее, делает вид, что съел рис до последнего зернышка...

[1]Норимаки — кушанье из вареного риса с уксусом, завернутого в сушеные водоросли.

А может быть, это я испортила ему аппетит?

Хотя нет, в такой ливень холодная пища, да еще без чая, вряд ли кому-нибудь полезет в горло! Наверно, продрог до костей...

Дождь перестал, проглянуло солнце.

— А может, вы ко мне заглянете, чайку попьете? — сказала и спохватилась: — «Что же я наделала! Пригласила к себе человека с улицы, да еще в дом, где и так все следят друг за другом!»

— Ну что ж, можно... — не стал возражать незнакомец.

Митиё пожалела — но не возьмешь же назад свои слова.

— У меня, правда, не убрано, но если вы не против... — Митиё была несколько разочарована тем, что он не отказался.

Только позже она поняла, что он вовсе не был нахалом и не питал к ней особого интереса, просто у него была уйма свободного времени...

Едва переступив порог, мужчина с удивлением уставился на развешанные под карнизом таби. У окна места уже не было, и приходилось развешивать их на веревке по всей комнате.

— Да, вот такая у меня работа! — В ее голосе прозвучал вызов.

— Да-а...

— Моя клиентура — женщины из ресторанчиков и баров. Не предполагала, что это окажется таким тяжелым занятием.

— Могу представить... — Гость явно был поражен количеством развешанных носков.

— Проходите сюда! Извините — вам придется сидеть под таби, но с них уже не капает.

Митиё предложила гостю подушку для сидения и поставила на газовую плиту алюминиевый чайник.

— Стирать-то не так трудно... Вот общаться с клиентками — тут дело обстоит похуже...

— Да...

И неразговорчивость одного, и многословие другой объяснялись, скорей всего, неловкостью, которую они испытывали в этот момент. Вскипел чайник.

— Хотите зеленого чаю? Можно и черного... Или кофе, правда, только растворимый.

— Мне зеленого.

Митиё достала чайный сервиз, которым давно уже не пользовалась. По крайней мере сегодня она поставила его на

стол впервые после переезда сюда. Приходила в гости лишь соседка, Тамаэ, да подружки дочери, Тикако.

— А где ваш муж?

— Мы разошлись.

— Вот как! — Мужчина умолк, не зная, как ему быть дальше.

— А вы живете хорошо, ведь правда?!

— Как вы определили?

— Ну, каждый день едите завтрак, который вам готовит супруга...

— Такой у нее способ выражения любви.

— Хвастаете? — с нарочитой дерзостью спросила Митиё. Она почувствовала укол в сердце — неужели она сама плохо заботилась о муже?

— Я-то?! Нет! Это она считает себя идеальной женой, а мне все равно.

— Ладно, можете не оправдываться!

Тем временем вернулась из садика Тикако. Увидев гостя, она тут же застенчиво прижалась к матери.

— А ну-ка, поди погуляй на улице!

Но девочка продолжала поглядывать на гостя из-за спины матери и никак не хотела уходить, хотя Митиё предлагала ей мелочь, чтобы купить себе что-нибудь. Уж слишком редко приходили к ним гости. Когда девочке пришлось все же выйти из комнаты, мужчина проговорил:

— Все время с вами?

— Ну что вы! Ничего подобного! Я постоянно занята делами и не могу заниматься ею. Так что она привыкла играть одна.

— Что она знает про отца? — начал было гость, но тут же осекся — очевидно, пожалел, что задал этот вопрос.

— Ей еще и трех лет не было, когда он ушел. С тех пор муж у нас больше не появлялся. Я сказала, что он лежит в больнице, в далеком городе. Когда мы разведемся с ним, я, пожалуй, скажу, что он умер.

Мужчина молчал.

«И зачем я все это говорю ему... Ведь мы только-только познакомились», — подумала Митие, но так и не смогла сдержать в себе желание выговориться.

Она вспомнила сказку, герой которой поведал свою страшную тайну безгласному кувшину. Пожалуй, ничего не произойдет, если она выговорится перед человеком, не имеющим никакого касательства к ее жизни.

Кстати, зовут его Нобуо Кадота. Работает в парфюмер-

ной фирме, где-то в районе Канды, на улице Суда, у него жена и сын-студент.

Вот и все, что он рассказал о себе. На большее его не хватило. Во всяком случае, ни названия фирмы, ни его домашнего адреса она так и не узнала.

Когда в соседней школе зазвонил колокольчик, он встал и взял в руки портфель.

— Как поздно... — было видно, что Кадота искренне удивлен.

«Он не заметил, как пролетело время! Может, ему у меня понравилось?» — подумала Митиё. Ей же казалось, что время тянется нестерпимо долго. А еще, пока он был с ней, ее не покидала тревожная мысль, что наступит момент, когда он встанет, чтобы уйти.

— Вы сказку про Золушку знаете? — неожиданно язвительно спросила Митиё.

— А что с ней произошло, с этой Золушкой?

— Как только часы били двенадцать, ей надо было спешить домой.

На какое-то мгновение глаза его приобрели испуганное выражение.

Странно, сравнила его с девочкой из сказки, а он даже не улыбнулся...

Митиё вспомнила, как в разговоре с ним она прошлась насчет его жены, а он вдруг ни с того ни с сего начал оправдываться. Такой уж характер, все принимает всерьез и шуток не любит.

Митиё с нетерпением ждала Кадоту — хотя где-то в подсознании она чувствовала, что он не из тех, с кем можно легко и непринужденно познакомиться.

Неудовлетворенность из-за его долгого отсутствия не мешала Митиё сознавать: если бы Кадота пришел слишком быстро, это, возможно, тоже разочаровало бы ее. Словом, она сама не знала, чего хочет.

Спустя несколько дней она пришла в парк чуть поздней обычного, но Кадоты не было видно. Странно. По ее расчетам, в это время он должен разворачивать свою коробочку с едой. В первой половине дня, когда Кадота разъезжает по делам фирмы, приходить не было смысла.

Митиё уселась на его лавочку и стала ждать.

Так просидела она около часа, а потом вдруг вспомнила и направилась к беседке.

Кадота, вглядывавшийся, как обычно, в водную гладь, услышав шаги Митиё, тем не менее обернулся.

— Ах, вот вы где! — сказала Митиё. Какой-то особый смысл усматривался в том, что Кадота сидел именно здесь, а не на своей скамейке. — Вы уже позавтракали?

— Нет еще.

— Может, выпьете у меня чаю?

Несколько раз Митиё приходила в парк за Кадотой. Ну а потом он и сам стал заходить к ней без приглашения.

Только предупредила его, что по вторникам и пятницам ее нет дома — обходит своих клиенток.

Любопытно, с тех пор как они познакомились, Митиё перестала разговаривать сама с собой. А жильцы дома, наверно, вовсю чешут языки насчет Кадоты, но ей наплевать...

Однажды к Митиё постучали: решив, что это Кадота, она пошла открывать. Возле двери стоял незнакомый человек лет сорока.

— Что вам угодно? — спросила Митиё, держа дверь на цепочке.

— Вы Митиё Татэбэ, не так ли? У меня поручение от вашего мужа.

Митиё сняла цепочку и слегка приоткрыла дверь.

— От мужа?

— Да, от него. Он настаивает на разводе.

Случилось то, что она и предполагала: если муж разыщет ее, то лишь для того, чтобы предложить развод...

Причем встречаться с нею он не пожелал, а прислал вместо себя посредника.

— Видите ли, у него родился ребенок и ему необходимо поскорей развестись. Мой клиент просил передать, что средства на воспитание Тикако вы можете взять из денег, вырученных от продажи дома.

...Предлагает воспользоваться деньгами за ее собственный дом, доставшийся в наследство от отца и записанный на нее!

Митиё просто онемела от возмущения — подумать только, каков эгоист: связался с другой женщиной, ушел из дому, а теперь требует развода, видите ли, у него родился ребенок. И к тому же уверен, что, уступив жене ее же дом, он совершает благородный поступок.

— Передайте ему, что я не возражаю.

...Да, ее бывший муж не из тех, кто станет платить алименты или что-нибудь подобное. Но скандала она устраивать не намерена. Жаль только, неприятный осадок от всей этой истории...

— В таком случае, я приду к вам еще, чтобы все оформить...

Так разговором у дверей решился наконец вопрос о разводе.

В этот самый момент Митиё заметила Кадоту — увидев посетителя, он повернул назад.

— Кадота-сан! — крикнула Митиё, нисколько не заботясь, что ее могут услышать. — Кадота-сан! Заходите, заходите.

Понимая, что посланец мужа расскажет ему о Кадоте, Митиё постаралась вложить в свой голос побольше нежности.

Когда дверь оказывалась запертой, Тикако знала, что мамы нет дома, и тогда играла на дворе либо шла к подружке.

На этот раз, когда дочка вернулась из сада, Митиё лежала в объятиях Кадоты. И хотя дверь была заперта, Тикако тем не менее позвала ее из коридора:

— Мама!

«Неужели дочка каким-то образом почувствовала, что я дома?!» — подумала Митиё, затаив дыхание.

Немного помедлив, Тикако удалилась, стуча каблучками. А может быть, она всегда так делает — зная, что мамы нет дома, на всякий случай окликает ее?

Когда шаги Тикако затихли вдали, Кадота еще крепче прижал к себе Митиё.

— Можно?

«Ну кто же спрашивает об этом у женщины...» — раздраженно подумала Митиё и резким движением прильнула к нему.

Когда незадолго до этого его рука легла на плечо Митиё, она почувствовала, что тело уже не подчиняется ее воле и буквально растекается какой-то вязкой массой.

Пока Митиё жила без мужа, она не испытывала особых желаний. Теперь же, хоть она вроде и не любит Кадоту, ею овладело не изведанное до сих пор страстное желание без остатка раствориться в нем — она даже злилась на себя за столь откровенную реакцию.

Придя в следующий раз, Кадота протянул ей белый конверт.

— Что это?

— Я вам доставляю столько хлопот...

— Какие хлопоты?! О чем вы?!

— Ваша ужасная работа... Вы надрываетесь, а я тут бездельничаю.

Митиё была тронута его вниманием. Ничего ей не надо, достаточно, что он приходит к ней — одно это дает ей силы жить. И все же она не решилась признаться ему в этом.

— Возьмите, пожалуйста.

Взяв конверт, Митиё заглянула внутрь и с негодованием отбросила его.

— За кого вы меня принимаете?!

Из конверта выглядывали банкноты. Сколько их — она даже не поняла. Вот уж никогда бы не подумала, что Кадота предложит ей деньги.

Увидев, как изменилась в лице Митиё, Кадота растерялся:

— Не сердитесь! Я отвлекаю вас от работы. И хочется прийти, и как-то неловко — вот и убиваешь половину дня в парке. А время тянется так долго...

— Так вы приходите сюда убивать время? — Митиё не могла не заметить, что, поймав его на слове, она тем не менее упрекает без злости. Ей было приятно от сознания, что Кадоте хочется бывать у нее.

— Я боялся, что досаждаю вам своими визитами.

— Стала бы я тогда приглашать вас!

— Но так часто...

— Хватит вам притворяться!

Митиё испытывала досаду — стесняться после того, что произошло между ними! Надо признаться, она была безрассудна до крайности, он же сдержан, и воспоминание об этом, конечно, несколько беспокоило.

— Ничего страшного. Приходите и отдыхайте, даже в мое отсутствие. Ничего особенного у меня, правда, не бывает, но чаю всегда можно напиться. А если захочется прилечь, достаньте из шкафа подушку и одеяло.

Митиё дала Кадоте ключ от своей комнаты.

— Вряд ли он мне понадобится — без вас нет смысла приходить, — усмехнулся Кадота.

Тем не менее, когда на следующий день Митиё вернулась домой со свертком грязных таби, она застала Кадоту спящим под рядами сушившихся по всей комнате носков. Он лежал на двух подушках для сидения, прикрывшись своим видавшим виды плащом. Придя неизвестно когда, он закрылся от нежданных посетителей и теперь чувствует себя как дома.

По-настоящему ей следовало, сложив таби, пойти за дочкой, но она заперла дверь и тихонько присела рядом с Кадотой.

Многие месяцы она возвращалась в пустую комнату, и теперь, застав в ней спящего мужчину, она испытала необыкновенное ощущение.

Все-таки ему больше некуда приходить. Просто удивительно — ведь мог бы дома отдохнуть, но нет — ему непременно нужно создать в семье впечатление делового человека, целые дни проводящего в разъездах по городу.

И все же почему, при всем том, что он, совершенно очевидно, не утруждает себя работой, на лице спящего лежит печать усталости? Скоро прозвучит школьный колокольчик, а он так крепко спит, что, наверно, даже не услышит. Надо пойти с Тикако в город, что-нибудь купить на ужин. Когда они вернутся, он, скорей всего, еще будет спать.

А как воспримет маленькая Тикако то, что в их отсутствие в комнату забрался мужчина и спит там?

Митиё достала из шкафа одеяло и прикрыла им Кадоту, но потом дотронулась до его плеча, решив все же разбудить его.

Тот неожиданно удержал ее руку. Она была уверена, что Кадота спит, а он, оказывается, уже проснулся.

Митиё ожидала, что он обнимет ее, но Кадота, не сдвинувшись с места, только и проронил:

— Спасибо!

За дверью послышался голос Тикако:

— Мама! — Не дождалась, когда она ее встретит, и сама пришла домой.

Кадота быстро встал, Митиё свернула одеяло и забросила его в стенной шкаф...

— Так ты уже дома! — недоверчиво, с оттенком неудовольствия сказала Тикако.

— Только что пришла. Извини, что я опоздала.

На приветствие Кадоты Тикако отвечать не стала. Проводив его, Митиё с девочкой немного спустя вышли из дома.

Тикако шагала молча, всем своим видом выражая неодобрение — то ли потому, что мама не встретила ее, хотя и пришла домой раньше, то ли — что застала в комнате Кадоту. Чтобы ублажить дочку, Митиё предложила:

— Давай вечером приготовим гратан[1] с макаронами — моя Тика их любит.

— Скажи, мама, а тот дядя — не папа? — с серьезным

[1]Гратан (от *франц.* «gratter» — скрести) — блюдо из мяса или рыбы, запеченных с макаронами в духовке.

видом спросила Тикако и, задрав голову, посмотрела на мать. Она давала понять, что не даст ей увильнуть от ответа.

— Почему папа? Я ж тебе говорила, что отец болен и сейчас далеко в больнице.

— А где? Так далеко, что мы не можем к нему поехать?

Надо было придумать что-то вразумительное. Тикако достигла уже такого возраста, что не может удовлетвориться разговорами о больнице. Митиё думала, что после развода скажет дочери, что отец умер в дальних краях, и на этом можно будет поставить точку. Почему же она заранее не подготовила более убедительного объяснения? Не оттого ли, что в душе надеялась, что муж все-таки когда-нибудь вернется? Конечно, наступит — и довольно скоро — время, когда девочка узнает, что ее отец, увлекшись молодой женщиной, ушел из дома, бросил ее, но как сейчас ответить на ее вопрос? Застигнутая врасплох, Митиё не находила нужных слов.

— Видишь ли, папа тяжело болен. Так что пока видеть его невозможно, — вымучив из себя подобие отговорки, Митиё потянула Тикако за собой: — Давай побыстрее пойдем за покупками. Твоя мамочка ужасно проголодалась.

Ее ответ ничего не прояснил — ни насчет отца, ни насчет дядечки, который в последнее время стал захаживать к ним. Тикако упрямо сжала губы и больше не произнесла ни слова.

Наступил апрель, но с утра по-прежнему шел холодный дождь. «Февральская погода», — утверждали газеты.

Дожди наводили на Митиё уныние. И в значительной степени оттого, что сырая погода мешала ее работе, хотя обычное женское недомогание тоже нельзя было сбрасывать со счетов.

Комната была сплошь завешана полувысохшими таби, один вид которых вызывал у нее глухое раздражение. Она подтопила, чтобы просушить комнату, но испарения от мокрых носков лишь наполнили помещение запахом прели. Чтобы побыстрее высушить таби, Митиё решила проглаживать их влажными.

— Когда ж этому наступит конец? — вырвалось у нее.

Прошла уже неделя с их последней встречи, а Кадота все не приходил.

Она сходила в парк. Но ни на скамейке, ни в беседке его не было.

Митиё пожалела, что так и не узнала его адреса. Ну хоть

бы взяла рабочий телефон. Но, видя, что Кадота не особенно охотно говорит о себе, она не решилась этого сделать. Ей мало что о нем известно. Спросить-то хотелось, но нежелание показаться назойливой перевесило.

Идет дождь или нет, а таби надо сдавать в назначенный день. Ее клиентки отдают ей недельный запас. Редко у кого бывает больше. Прижмешь утюг к мокрым носкам, и тут же из-под него вырываются густые клубы пара. Перестанет парить, и на вид все высохло, а потрогаешь через минуту — таби все еще влажные. Работа никак не кончается, и тоска все больше овладевает гладильщицей.

Услышав стук в дверь, Митиё подумала, что пришел Кадота. От уныния не осталось и следа. Но у входа стоял молодой полицейский в черном дождевике.

— С великим сожалением должен вам сообщить... — напыщенным тоном начал полицейский, — что ваш муж совершил самоубийство.

— Что?! — вскрикнула Митиё и тупо уставилась на полицейского. Смысл его слов не сразу дошел до нее.

— Вчера ночью ваш супруг повесился на кладбище К. Сегодня утром его обнаружили и сообщили в полицию.

— Муж? Почему муж?

— В полиции есть записка для вас.

Из участка позвонили на пост, и он примчался оттуда на велосипеде, чтобы сообщить Митиё о случившемся.

Митиё была потрясена, какое-то время она недвижимо стояла посреди комнаты, не зная, что ей делать. Что делать? Скоро из детского сада вернется Тикако, но ведь не возьмешь же ее с собою...

Затворив окно и накинув плащ на домашнее платье, Митиё заперла комнату. В дождливую погоду она обычно ходила встречать дочку к парку, где останавливался автобус. На этот раз пришлось попросить жившую в их доме женщину, у которой дочь ходила в тот же садик, что и Тикако. Наспех объяснила ситуацию и попросила взять ее к себе — пусть дети поиграют вместе. Довольная тем, что первой узнала о столь страшном происшествии, соседка взволнованно заверила Митиё, что она может не беспокоиться за дочку и что она сделает все необходимое для маленькой Тикако.

Выйдя на шоссе, Митиё остановила такси и попросила отвезти ее по адресу, который сообщил молодой полицейский. Это было не так далеко.

Наблюдая за «дворниками», хлопотливо снующими по

ветровому стеклу, Митиё терялась в догадках — что же толкнуло супруга на самоубийство?

Только полмесяца прошло с того дня, когда к ней явился «гонец» от мужа, человека не первой молодости, и предложил договориться о разводе. Конечно, он мог рассказать мужу о Кадоте, с которым случайно столкнулся у дверей... Но не пришел же ее бывший супруг в невменяемое состояние только из-за того, что у Митиё кто-то есть. Человек, приходивший от мужа, сказал ей, что женщина, с которой тот жил, родила ребенка и поэтому ему надо спешить с разводом. Митиё сделала все зависящее от нее: она согласилась на развод без всяких условий! Зачем же ему понадобилось расставаться с жизнью?

Особого горя по поводу смерти мужа она, естественно, не испытывала. Лишь сознание того, что до сих пор ошибалась, считая, что он счастлив с молодой женщиной, навевало на нее грустные мысли...

Для полиции небольшого пригорода в столичной префектуре происшествие было несколько обременительным. Поднявшись по шаткой деревянной лестнице на второй этаж, Митиё прошла в кабинет, где ее встретил добродушного вида толстяк, полицейский средних лет.

— Госпожа Митиё Татэбэ? Позвольте выразить вам свои искренние соболезнования! — сказал он, склонив голову. — Вы могли предположить, что ваш муж может пойти на такое?

В его голосе Митиё уловила осуждение, но что она могла ответить? Ведь они давно жили врозь.

— А ваш муж оказался весьма предусмотрительным. Все продумал. Прикрепил веревку к суку, накинул петлю на шею, присел на могильный камень, принял горсть снотворного. Точно измерил длину веревки, чтобы она затянулась на шее, когда он заснет и сползет вниз. Подумать только — все это на тот случай, если не умрет от таблеток.

«Что же толкнуло его на такой отчаянный поступок? Почему он решил умереть?» Чем больше Митиё слушала рассказ о том, как тщательно было подготовлено самоубийство, тем больше она недоумевала:

— А вы уверены, что это мой муж?!

«Понимаю, вам трудно поверить...» — словно говорили глаза полицейского.

— Вот письмо, которое он оставил.

Он положил перед нею небольшой сверток и вместе с ним конверт. Адрес был указан не точный, приблизитель-

ный: «...улица, вход в переулок у бани, коттедж «Вечность», г-же Митиё Татэбэ». Чернила на конверте расплылись, по всей видимости, от дождя, но почерк был незнакомый, явно не мужа.

— Могу я прочесть?

— Конечно, ведь адресовано вам.

Едва Митиё прочла адрес, как у нее возникло нехорошее предчувствие, пальцы, которыми она распечатывала конверт, дрожали.

Листок почтовой бумаги был исписан аккуратными иероглифами:

> «Мне некуда было деваться.
>
> Целый день я проводил, глядя на часы. Какой долгой казалась каждая минута!
>
> Лишь в вашем доме я забывал о течении времени.
>
> Мне нечего вам оставить. Лишь эти часы, все мое имущество. Часы старые, но прошу их принять».

Дрожь пальцев перекинулась на все тело. Дрожь исходила откуда-то из глубины тела, поэтому сдержать ее, как ни старалась, она не могла.

— Очень сожалею, — полицейский облегченно вздохнул, решив, что Митиё убедилась в смерти мужа. — Вам придется еще опознать труп...

— Это не муж, — продолжая дрожать, вымолвила Митиё. — Этот человек не мой муж. Известите поскорее его жену.

Полицейский ошарашенно посмотрел на Митиё.

— Кроме этого письма, он ничего не оставил. При нем не нашли ничего, что бы удостоверяло его личность, — оправдываясь, пролепетал он.

— Домашнего адреса его я не знаю... он мне говорил только, что служит в парфюмерной фирме, где-то в районе Канды, на улице Суда.

Полистав телефонный справочник, полицейский нашел парфюмерную фирму на улице Суда и приказал своему сотруднику выяснить, работал ли там человек по имени Нобуо Кадота. На выяснение много времени не понадобилось — Кадота там действительно работал...

— Они говорят, что Кадота долгое время болел и не ходил на работу. Вот его и уволили. Четыре месяца назад это случилось.

У Митиё перехватило дыхание. Значит, четыре месяца

подряд он уходил из дома с завтраком, заботливо приготовленным женой, и убивал свободное время в парке, пока в школе не прозвенит последний звонок.

Выяснив телефонный номер, из участка тут же позвонили домой семье Кадоты.

— Жена его потрясена. Она даже не знала, что муж уволен. Четыре месяца делал вид, что ходит на работу. Где же он проводил все это время?! — начал было полицейский и пристально посмотрел на сидящую перед ним женщину.

Митиё молча поднялась со своего места.

Полицейский остановил ее уже у выхода:

— Держи, это ведь он тебе оставил...

Толстяк протянул ей небольшой сверток, лежавший на столе. Как-то незаметно он перешел на фамильярный тон.

Положив его в сумочку, Митиё спустилась по скрипучей лестнице и вышла на улицу.

И тут ощутила страшную усталость, как будто сразу постарела на несколько лет. Все, что было у нее с Кадотой, казалось теперь достоянием далекого прошлого.

Сырой воздух проникал сквозь одежду, пронизывал тело...

Соседка, на которую она оставила Тикако, совсем заждалась и, когда Митиё вернулась, приготовилась было засыпать ее вопросами, но, взглянув на ее бледное, изможденное лицо, тут же закрыла рот.

Митиё изо всех сил старалась делать вид, словно ничего не случилось. Пробовала и с Тикако заговорить, но в голове была полная пустота. Когда Тикако уснула, она достала из сумочки сверток. В нем лежали старые часы, которые она видела у Кадоты. Завела их, и они тихонько затикали. Сердце Кадоты навсегда перестало биться, а вот часы, бывшие до последней минуты на его руке, по-прежнему живут.

Митиё вспомнила, как несколько лет назад подобрала маленького щенка и, когда ночью он заскулил, она положила рядом с ним небольшие настольные часики. От кого-то она слышала, что щенок принимает тиканье часов за биение сердца матери — и успокаивается...

Митиё легла в постель, положив у изголовья часы Кадоты, но никак не могла уснуть — так они громко тикали. Взяла их в руки — светящийся зеленоватым светом циферблат показывал два часа ночи.

Неужели Кадота и ночью всматривался в часы? Днем мучился оттого, что их стрелки движутся слишком медлен-

но, неохотно, а ночью следил за ними, ожидая утра, когда надо было «идти на работу»...

Дождь, не переставая, лил еще два дня.

Таби не просыхали.

Митиё ничего не хотелось делать. Уловив своим детским сердечком, что с мамой творится что-то неладное, Тикако старалась поменьше надоедать ей.

Вечером на третий день после посещения полиции домой к Митиё пришла скуластая редкобровая женщина.

Черный чесучовый воротник плотно облегал ее шею. Была она примерно того же возраста, что и Митиё.

Женщина бросила на нее колючий взгляд. И тут Митиё интуитивно поняла, что перед ней жена Кадоты.

— Я жена Кадоты, — представилась женщина пронзительным голосом.

Хотя Митиё предвидела ее появление, внутренне она совершённо не была готова к встрече.

— Пожалуйста, заходите! — попятившись из тесной прихожей в комнату, пригласила гостью Митиё.

Ступив одной ногой в комнату, та на мгновение застыла в изумлении перед вереницами сушившихся таби, сплошь развешанных под потолком.

Когда они уселись друг против друга, гостья строго спросила ее:

— Вы когда познакомились с Кадотой?

— Еще и месяца не прошло.

Митиё, правда, и раньше видела его в парке сидящим на скамейке, но это ведь нельзя было считать знакомством.

— Он и сюда, конечно, приходил?

— Нет, не приходил!

Митиё хотелось хоть немного смягчить горе несчастной женщины, но та сварливо возразила:

— Не может быть! Куда ему еще было деваться?

— Да, иногда я встречала господина Кадоту в парке, здесь поблизости, но мы только здоровались друг с другом.

— Ах, вот оно что! Ну, точно — познакомились в парке, а потом привели его к себе на квартиру.

— Зачем вы так со мной разговариваете? Вы ведь и мужа оскорбляете.

Понятно, жена Кадоты переживает, но так разговаривать с собой она все равно не позволит.

— Оскорбляю, говорите? А разве не вы оскорбили меня? Муж ни словом не обмолвился, что ушел с работы, и все потому, что познакомился с вами. Обрадовался, что уволили

и никто не мешает похаживать к вам. Из выходного пособия домой ни одной иены не принес. Понятно — все вам отнес!

Митиё ошеломленно смотрела на женщину.

— Что-нибудь осталось от пособия? Сколько он вам дал?

Можно представить, сколь скудной была сумма, выплаченная ему фирмой. Ходил, наверно, на удешевленные утренние сеансы в кино или же сидел в дешевых кафе, а после обеда посещал музеи, библиотеку или что-нибудь вроде этого. Словом, тянул время, бывая там, где можно посидеть подольше и подешевле. Но и при таком скромном времяпрепровождении деньги иссякли уже через четыре месяца, и ему пришлось большую часть дня проводить в парке.

«Значит, деньги, которые он хотел мне дать, были остатками выходного пособия, — подумала Митиё. — Получается, что тогда он думал о смерти».

Хотела было объяснить этой женщине, что отказалась от его денег, но решила, что это, пожалуй, бесполезно. Сказала только:

— Выходное пособие? Первый раз слышу.

— Кто этому поверит? Потратил все деньги на вас и побоялся домой возвращаться. Вот и покончил с собой.

«Значит, еще можно подумать, что нашелся мужчина, решивший погибнуть ради меня», — усмехнулась Митиё.

Приняв ее улыбку за насмешку над ней, женщина пришла в ярость:

— Вы даже часы его утащили!

Митиё отвернула рукав своей кофточки и сняла часы. Женщина выхватила их из рук и поднялась, чтобы уйти. Когда та была уже у самого выхода, Митиё бросила ей вслед:

— Почему же Кадота-сан не оставил вам завещания?

Женщина тупо уставилась на Митиё налившимися кровью глазами, а потом, громко хлопнув дверью, ушла.

Кляня себя за невольно вырвавшиеся слова, Митиё вслушивалась в неровные шаги женщины.

Выглянула в окно и увидела, как та, ссутулившись, плелась по улице. И когда смотрела ей вслед, Митиё внезапно пронзила горькая мысль: неужели и она достигла возраста, когда ходят такой походкой.

Сушившиеся под карнизом таби касались ее щек, обжигая холодком металлических пряжек.

ЮКО ЦУСИМА

МОЛЧАЛИВАЯ СДЕЛКА

В лесу была кошка. Факт сам по себе не удивительный. В кошачью компанию входят рысь, пума и сам лев. Даже для домашних кошек лес наверняка не самое худшее место обитания. Тем не менее при виде кошки я заколебалась — неужели передо мной действительно кошка? Я сказала «в лесу», а на самом деле встреча произошла поблизости от домов, в японском саду, известном со времени Эдо под именем Рикугиэн. Называть его лесом, быть может, странно, но деревья старинного сада, уцелевшего в кольце многоэтажных зданий, переплелись в такие заросли, что тропинка вдоль ограды тонула в сумраке и даже средь бела дня становилось как-то не по себе. Иначе как лесом эту чащобу не назовешь.

Кошке, нашедшей пристанище в этом лесу, далеко до рыси. Всего лишь котенок — белый с черными пятнами, месяцев трех от роду. Безобидное создание, с первого взгляда вызывающее умиление. Совсем не страшное. Я, однако, от растерянности даже как-то напряглась, когда котенок настороженно и сердито уставился на меня.

Котенок прятался в зарослях неподалеку от пруда. Это объяснила моя десятилетняя дочь, которая первой заметила котенка.

— Да, в самом деле, — сказала я, с трудом разглядев его неприметное тельце.

— Смотри! Еще один, а вон там тоже! — громко закричала дочь.

Мой второй ребенок — пятилетний мальчик, — пока

еще не отыскавший бело-пятнистого котенка, заплакал и затопал ногами:

— Сестра вон сколько увидела, а я ни одного! Где они? Куда смотреть?

Старшая сестра с выражением превосходства на лице склонилась над братом и объяснила, где находился первый котенок. Несколько прохожих, привлеченных голосом дочери, тоже занялись поисками. Был воскресный вечер, и в парке гуляло много людей. Набралось четыре кошки. Затаившись каждая в своем уголке, в зарослях, они следили за движением человеческих ног по песчаной дорожке. Один шаг к зарослям — и кошка исчезла. Взрослым с высоты их роста трудно разглядеть, где спряталось юркое существо. Подсчитать их тем более невозможно, поэтому кажется, что кошек здесь очень много.

Раздался плач моего младшего ребенка. В какой-то момент я упустила его из виду. Я тревожно озиралась по сторонам, а дочь, смеясь, сказала:

— Да вон он, там!

Сын сидел в том самом месте, где обнаружился первый котенок, и плакал. Разглядев наконец бело-черную шкурку, сын со всех ног бросился в заросли, а котенок сразу же скрылся. Мальчик расплакался, не зная, как выбраться из чащи.

— Зачем полез? Все равно тебе котенка не поймать! — крикнула сестра брату. — Вот дурачок! Выходи скорее!

Дочь развлекалась, но ее зов не мог помочь малышу. Он оказался в плену у низко склонившихся к земле ветвей, во мраке, оплетенном паутиной, и ему было страшно.

— Ну хватит! Ступай и выведи его оттуда! — сказала я, слегка подтолкнув дочь.

— Сам залез, а обратно выбраться не может! — девочка с недовольным видом, но торопливо обошла заросли, пытаясь найти просветы между ветвями. Присев на корточки, я разглядела сына под густым пологом листвы и ждала, когда туда проберется дочь.

— Как тебя угораздило забраться туда? Ишь куда занесло! — проворчала дочь, нерешительно топчась на месте.

Она все же заставила себя раздвинуть ветви и пойти навстречу брату. Дети вернулись ко мне, усыпанные сухими листьями и веточками.

— Даже самые маленькие котята, живущие здесь, куда проворнее обыкновенных кошек. Никто не может взять их на руки и приласкать, — поучала сестра брата, рассчитывая

на мое одобрение. — Котята же здесь родились, ясно? Значит, у них должна быть мать. Где же она?

Дети внимательно вглядывались в деревья. Мать-кошка, если она действительно есть, конечно, затаилась в самом укромном уголке. В доступных постороннему взгляду местах резвились только котята. Мать такой неосмотрительности не допустит.

— Она, может, сейчас наблюдает за нами, забравшись куда-нибудь повыше, хотя бы вон на то дерево, или из какого-то другого укрытия, — сказала я, поглядев вверх.

Невидимая кошка страшила меня. Интересно, дикие ли кошки обосновались в городе, или, наоборот, одичали брошенные домашние и произвели на свет потомство? В любом случае безлюдный по ночам лес служил им прекрасным прибежищем.

Ровно двадцать пять лет назад, когда мне, самой младшей в семье, исполнилось десять, моя мать с тремя детьми перебралась в окрестности сада Рикугиэн. Мать рассказала нам историю сада, и вскоре мы отправились на прогулку. Считалось, что мы живем по соседству с Рикугиэном, но его окружала кирпичная стена высотой в добрых три метра, к тому же дом наш находился как раз на противоположной от единственного входа стороне, поэтому мы довольно скоро потеряли к саду интерес. Впоследствии мы больше ни разу не ходили туда всей семьей. О близости большого парка нам напоминало скорее множество птиц, обитавших в округе. На крыше дома, на деревьях нашего сада я видела голубую сороку, таежную горлицу, канадскую казарку и других пернатых обитателей сада. Летом раздавалось стрекотание японских цикад. Для меня, городского ребенка, и цикада, и голубая сорока были в диковинку.

После окончания начальной школы я с группой одноклассников пошла в сад Рикугиэн, и там кто-то из нас придумал закопать послание будущему, не помню уже, на десять или двадцать лет, впрочем, как забыла и то, что́ написала я в той бумаге. Вложив листок в маленькую бутылку, мы зарыли ее под сосной, на самом возвышенном месте сада. С той поры я ничего не слышала о нашей «капсуле времени», скорее всего, она до сих пор так и покоится под сосновыми корнями. Каждый раз, приходя в Рикугиэн, я пытаюсь отыскать то приметное дерево, но тщетно. Тогда, в детстве, я была уверена, что найду сосну, сколько бы лет ни минуло. Во мне живет отчетливая память о тех днях, и я с недоумением размышляю, почему это мне никак не удается оты-

скать заветное дерево? Однако мне и в голову не приходит копаться в земле, во всяком случае, на глазах у собственных детей, чтобы удостовериться в правильности своих догадок. Мы, вчерашние одноклассники, которым предстояло распрощаться, разойдясь по разным школам, закопали бутылку в порыве детских чувств. Со временем мы, как это водится, напрочь забыли друг о друге, а склянка с письмом стала чем-то иллюзорным и нереальным.

В феврале следующего года мой старший брат — мы были погодками — умер от острой пневмонии. В апреле старшая сестра поступила в университет. Страшась одиночества, я тянулась к тем же развлечениям, что и сестра: слушала джаз, ходила в кино, знакомилась с юношами-студентами и старшеклассниками. Старшая по возрасту подруга ввела меня в компанию студентов колледжа, и мы иногда вчетвером ходили на прогулки в Рикугиэн. Я изо всех сил старалась принарядиться по моде только в те дни, когда мы отправлялись в сад. Я не только не отличалась красотой, но и не была хотя бы миловидной, поэтому одна из всей нашей компании держалась неловко, скованно и чувствовала себя хуже некуда. Я жаждала, подобно моим спутникам, которые впервые оказались в Рикугиэне, обмирать от восхищения огромным садом в японском стиле, однако, когда живешь целых три года в доме, откуда каждый день видны кирпичная стена и деревья, первое, что бросается в глаза, — это не свежесть ухоженной зелени, а скорее густые темные заросли вдоль ограды, к которым не прикасалась рука человека.

Я мечтала о друзьях мужского пола, но длилось это недолго. Подростки не обладали тем, что искала в них я, а то, что требовалось им, не имело ни малейшего отношения ко мне.

Я уже училась в колледже, когда умер старый шпиц, много лет проживший у нас в доме. Потом долгое время мы не заводили собаки. Сестра, сразу после университета выйдя замуж, уехала, и мы остались вдвоем с матерью — и ощущением неприкаянности. Поэтому в конце концов мать решила завести собаку и принесла откуда-то щенка терьера. В его жилах текла кровь хорошей охотничьей собаки, и мать, обзаведясь гребнем и щеткой, приступила к его серьезному воспитанию. Питомец рос, однако ожидаемого от него ума не проявлял и спустя полгода все еще вел себя по-щенячьи, да к тому же оказался трусливого нрава. Жизнерадостное создание вприпрыжку носилось вокруг дома, пронзительно

лая. Проку от такой собаки не было, но мы любили ее. Собака скрашивала мое существование в доме, где все мне опостылело. Мать, овдовевшая, когда я находилась в младенческом возрасте, после смерти сына пребывала в состоянии всенощного бдения у гроба усопшего, не прерываемого наступлением нового дня. Виделись мы только за едой, причем ни одна из нас не нарушала молчания. Я была старшеклассницей и позволяла себе только походы в кино, хотя и довольно часто, однако мать, считая, что я попала в силки порочного мира, порой выходя из терпения, в запальчивости бросала мне обидные слова, а я грозилась, что уйду из дома, как только мне исполнится восемнадцать. Я действительно приняла такое решение. Вот как раз в этот период и жил у нас непутевый шумный песик. Он любил забегать в дом, верно, я избаловала его щенком, и стоило мне открыть стеклянную дверь, как он стремительно, точно резиновый мячик, прыгал мне на руки, в упоении облизывая мое лицо и ладони.

Матери терьер стал в тягость. Она охладела к собаке, лай действовал ей на нервы. И вот однажды терьер исчез. Я думала, что он сбежал на улицу. Прошло три дня, но пес не вернулся.

— Удрал за ворота, а по глупости дорогу домой найти не может. Надо бы обратиться в собачий приемник. — Я нарушила привычное молчание, поскольку дело касалось собаки.

— Если ты о псе, так я недавно вышвырнула его за стену Рикугиэна.

Я была потрясена, впервые услышав о столь необычном способе избавления от собаки, но не посмела вымолвить ни слова. Я даже не поспешила в сад на поиски. Мать могла и убить собаку, но она довела ее до кирпичной стены и перебросила через нее. Терьер был небольшой, не более тридцати сантиметров, поэтому матери достало сил. Неожиданно оказавшись в одиночестве, песик, наверно, кружил по огромному лесу, исступленно лая, вместо того чтобы сидеть тихо, сжавшись в комочек. Несомненно, его сразу же обнаружил смотритель Рикугиэна. Следующее место, где мог оказаться терьер, пожалуй, собачий приемник. Я надеялась, что с ним не произошло самого страшного. Я представляла себе лес днем, когда он наполнен птицами и насекомыми. По крайней мере я знала, что в пруду обитают карпы, черепахи и сомы. А что ночью? Лично мне бы не хватило мужества остаться в закрытом на ночь саду, и я гадала, провел ли хоть кто-

нибудь в Рикугиэне ночь — до открытия ворот утром? Даже днем там творятся поразительные дела. Может ли собака, рожденная терьером, жить в этом мире какой-то иной жизнью? Необходимо было убедить себя в том, что собака воспользовалась теми возможностями, которые рисовало мое воображение.

С того времени я начала сторониться сада Рикугиэн. Глухой лес, чуждый большому городу, пугал меня. Он принадлежал собаке, выброшенной моей матерью.

В конце концов я ушла от матери, правда чуть позже дня восемнадцатилетия. И вот по прошествии нескольких лет я вернулась в окрестности материнского дома — к близости леса — вместе с маленькой дочерью и младенцем сыном на руках. Уподобившись своей матери, я не сумела дать своим детям возможности познать, что такое отец. Только об этом я сожалела.

Теснота квартиры заставила меня понять, сколь драгоценен зеленый простор Рикугиэна. Я стала наведываться в сад с детьми. Несколько раз мы выпускали в пруд своих домашних черепах и золотых рыбок. Многие жители соседних домов приносили сюда обитателей аквариумов, которых не могли более держать в тесных квартирах, с надеждой, что пруд дарует долголетие их питомцам.

В нескольких местах над водой возвышались скалы. На каждой гроздьями висели черепахи, просушивали на солнышке панцири. Они не могли расплодиться в пруду естественным путем в таком количестве. Крошечные черепашки, когда-то купленные на ночных ярмарках или в зоомагазинах, на приволье заметно подросли. Даже сквозь водоросли видны были шеренги черепах на дне пруда. Золотые рыбки, вьюны и прочая водяная живность не уступали черепахам в плодовитости.

Вокруг леса вырастали все новые многоэтажные дома, и с каждым годом, если не днем, все больше и больше живых существ переселялось из человеческого жилья в Рикугиэн. Мне, однако, не приходило в голову, что людское равнодушие коснется даже кошек. Впрочем, если выбросить черепаху — дело обычное, то незачем церемониться и с кошкой, и с собакой. Когда живое существо служит только игрушкой, то и обращаться с ним можно как угодно. Попавшей в лес живности было необходимо ускользнуть от взора смотрителя и выжить среди более сильных обитателей, потому, пожалуй, к новой жизни приспособились в основном кошки и пресмыкающиеся.

Узнав, что в Рикугиэне развелось много кошек, я вспомнила выброшенного матерью терьера, припомнила свои полудетские страхи. Меня преследовала мысль: как живется кошкам в лесу? Может быть, они питаются остатками еды, которую приносят с собой люди? Но все урны для мусора — объект внимания ворон, тоже плодящихся в лесу, — накрыты металлической сеткой. Даже самой ловкой кошке непросто выудить оттуда что-либо съедобное. Промышляют, верно, ящерицами и мышами, а за кирпичной стеной лежит город, битком набитый разнообразным мусором. По ночам кошки в поисках пищи покидают Рикугиэн.

Вдоль одной из сторон леса проходит улица, застроенная жилыми домами, по которой ездят автобусы. Балконы домов там выходят на лес. Кошке ничего не стоит вспрыгнуть на балкон, и жильцы могут легко приманить ее каким-нибудь лакомством. Мне почему-то казалось, что должны быть люди, подкармливающие кошек. Пожалуй, старики и одинокие женщины. А может быть, и дети, держащие в тайне свою привязанность к кошке. Лично мне дружба ребенка и кошки кажется обычным делом — может, потому, что об этом часто говорится в сказках. Но кошка должна давать что-то взамен маленькому человеку, иначе их отношения оборвутся. Существуют истории о том, как некогда жители гор обменивались с обитателями равнин: липовую кору, которую собирали целый год, меняли на три сё риса в виде лепешек. Жители гор и равнины никогда не встречались лицом к лицу, так велик был обоюдный страх. Но когда сделка все-таки свершалась, то это бывало стремительно и безмолвно. Обмен происходил — и обе стороны даже не успевали увидеть или услышать друг друга. По-моему, каждый предпочел бы именно такую операцию. Хотя всегда есть страх быть застигнутым врасплох и риск, что тебя увидят свои же.

Интересно, что может получить от кошки ребенок из многоквартирного дома, например, мои дети? Им ни к чему годовой запас липовой коры. Игрушки, конфеты, много чего хочется ребенку, но только не лыко. Что же тогда? То, что трудно так заполучить ребенку, и то, чем кошки одарены в избытке. Дети оставляют еду на балконе. А получают взамен отца. Как вам нравится такая сделка? Раз в году кот сходится с кошкой, то есть становится отцом. До отвращения много раз. Но это — поразительно равнодушный отец. Вот-вот на свет появятся четверо котят, а ему и заботы нет. Он даже не замечает этого. Он — отец лишь постольку, поскольку име-

ется потомство. Отец, не ведающий своих детей. Считается, что мужчина становится отцом, только признав в родившемся ребенке свое дитя, однако это весьма ограниченный взгляд. Не слишком ли легко и произвольно самец делит детей на два сорта — признанных и непризнанных? Быть может, ребенку было бы лучше самому выбирать себе подходящего отца. В таком случае если дети остановят свой выбор на коте, взобравшемся к ним на балкон, то это не будет чересчур обременительным для него. Отец появляется за окном каждый вечер, чтобы взглянуть на пару из своих многочисленных отпрысков. Двум человеческим детенышам хочется этого, потому они кладут постоянно на балконе кошачью еду. Кот приходит ночью, и дети, крепко спящие в этот час, не могут ни видеть, ни слышать его. Но им достаточно наутро убедиться в том, что кот соизволил посетить их. Во сне они видят, как кот-отец прижимает их к груди.

Встреча с человеком-отцом состоялась полгода назад, мы вместе сходили в музей транспорта, куда дочь и сын давно просились. Свидание осуществилось по моему настоянию. На этой земле благополучно существует мужчина, он же — отец моих детей, поэтому я решила продемонстрировать его им в живом виде. Одержимая желанием никогда не расставаться, я была для него обузой. Моя попытка что-то изменить рождением первого ребенка не удалась, и под проклятия мужчины на свет появилось второе дитя. Я не могла забыть его, единственного среди людей, а для детей, особенно для младшего сына, он был всего лишь фотографией — недвижной, немой тенью человека. Сыну исполнилось три, потом четыре года, и чем больше он подрастал, тем неотвязнее становилось мое стремление показать ему отца. Не постигнет ли моих детей та же участь, что и меня, разлученную с отцом смертью? Смерть всесильна, с ней остается только смириться. Но здесь живой человек, и мне хотелось, чтобы в памяти детей остался живой отец, у которого есть глаза, рот, тело, которые двигаются, есть живой голос.

В тот день мужчина явился почти на час позже условленного времени. Дети, истомившиеся от ожидания в кафе, при виде его просветлели, но не промолвили ни слова.

— Извини, что пришлось оторвать от дел, — с улыбкой произнесла я.

Больше слов не было. Не присев, он спросил:

— Куда пойдем?

Мужчина шагал один, сам по себе, а я и дети шли с отрешенном видом, словно не замечая его присутствия. В электричке я тоже не разомкнула губ. Дети, не осмеливаясь приблизиться к мужчине, уставились с потерянными лицами в окно. Потом вышли из вагона и в той же манере продолжили путь. Мужчина опять шагал впереди.

В музее транспортных средств выставлены настоящий вагон скоростного экспресса, курсирующего по линии Синкансэн, паровозы, самолеты, большой макет-панорама. В памяти моей хранились радостные воспоминания о том, как я была здесь со всем классом, в школьные годы. Мои дети, блестя глазами, носились по музею.

— Теперь в тот вагон хочу! А сейчас эту модель заведу! — кричали они, перебегая от экспоната к экспонату.

Они развлекались часа два. В какой-то момент я потеряла из виду мужчину. Обойдя музей, мы вернулись к входу и нашли его там, неизвестно где пропадавшего все это время.

— Что дальше? — спросил он, поэтому я предложила передохнуть где-нибудь и выпить соку.

Кивнув, мужчина первым вышел из музея искать кафе. Дети по-прежнему не удалялись от меня ни на шаг. Он вошел в кондитерскую, где на прилавке были выставлены торты, и я с детьми последовала за ним. Мы втроем устроились напротив мужчины. Ни сын, ни дочь не проявили желания сесть рядом с ним. Пили сок. Я была на грани отчаяния: неужели мне совсем нечего сказать ему? И разве ему не хочется задать мне два-три вопроса? Как чувствуют себя дети в последнее время, например. Мужчина, пожалуй, истолкует мой ответ по-своему: как мое стремление заставить его участвовать в воспитании детей. Кое-как совладав с собой, я попросила его еще об одной встрече. Сейчас, похоже, мы не могли обменяться даже общепринятыми вежливыми фразами, положенными при встрече, вроде «они выросли», «самое главное, дети здоровы», не возбуждая ненужной подозрительности друг у друга. Так не должно быть, потерянно думала я, но не могла выдавить из себя ни слова, даже о детях. Мужчина действительно был их отцом, но не тем, который растит своих детей. Родными он признавал только тех двоих, что родила ему законная жена. Мужчина согласился встретиться с моими детьми исключительно из снисходительности, поэтому мне оставалось только выразить ему признательность.

Раз мы не могли беседовать о детях, то и говорить было не о чем. В нашем прошлом не было ничего, что заслужива-

ло бы воспоминаний. Будь такое возможно, я бы забыла все, происшедшее словно во сне. Прошлое доставляло нам обоим лишь боль. Расспрашивать о его семье, разумеется, я не могла. Не решалась коснуться и самой нейтральной темы, его работы, иначе мужчина заподозрил бы меня в том, что я помышляю о возобновлении наших отношений.

Мы рассеянно слушали голоса детей, болтающих друг с другом. На выходе мужчина купил торт и, сунув его старшему ребенку, ушел. Дети, почувствовав облегчение с его уходом, заторопились домой, предвкушая радость угощения. Ни один из них так и не взял мужчину за руку, не заговорил с ним. Хотелось сказать, что еще можно догнать его и потрогать, но они все равно не послушались бы меня.

Представится ли им другая возможность? Не исключено, что они больше никогда не встретятся, а может быть, случай сведет их через год-другой. Я знала только то, что ни я, ни мужчина никогда, пожалуй, не станем безразличны друг другу. Он всегда будет где-то внутри меня. И не стоит облекать мои мысли о нем в слова. Необходимо хранить молчание. Пока оно длится, мы не нарушаем чужой территории, а значит, сохраняется возможность в любое время возобновить торг.

Говорят, отношения горцев с жителями равнины носили название «молчаливой торговли». Я начинаю понимать, что в ней не было ничего из ряда вон выходящего: такие сделки необходимы, чтобы выжить. Например, мне, матери, и моим детям приносит утешение жизнь поблизости от Рикугиэна. Забрасывая различные вещи в лес, мы считаем, что они не отринуты нами, а просто отпущены на волю в другой мир, и, давая простор воображению, рисуем себе неведомый образ этого леса, трепеща от страха или благоговения. Живность, заполнившая лес, внимательно вглядывается в мир людей, простирающийся за кирпичной стеной. Во всяком случае, пока еще не приходилось слышать, чтобы кто-то подвергся нападению со стороны лесных обитателей.

Род молчаливой сделки совершается между лесом и тем, что находится вне его пределов. Может быть, мои дети и в самом деле вступили в сговор с лесным котом.

ФУМИКО ЭНТИ

ВАГОН С ХРИЗАНТЕМАМИ

Судя по тому, что дороги еще были не так хороши, как сегодня, и езда на машине доставляла много неудобств, дело было, по всей видимости, лет семь-восемь назад. В тот год я почти до середины сентября жила в летнем доме в Каруидзаве. Однажды женская организация города Уэда пригласила меня прочитать лекцию. И вот, когда день уже клонился к вечеру, я выехала из дому.

Сейчас я уже забыла, по какому поводу состоялась эта встреча, но помню, что, поужинав и побеседовав с собравшимися около часу и немного отдохнув, я села в обратный поезд что-то немногим позже девяти.

Экспрессы по летнему расписанию уже не ходили, и, услышав, что будет обычный пассажирский с остановкой в Каруидзаве, я решила ехать этим поездом, так как очень хотела вернуться домой в тот же вечер.

В те времена в поездах еще существовало деление на второй и третий классы, но в этом составе второго класса вовсе не было. Делать нечего, пришлось сесть в вагон третьего класса, старый и обшарпанный, еще довоенного образца. В этом вагоне было очень мало пассажиров.

— Много свободных мест. Это хорошо, — говорила я. чтобы не огорчать провожающих. Но когда поезд тронулся, ужасающе лязгая и скрипя на поворотах, стало окончательно понятно, что этот вагон, с сиденьями, обтянутыми грязным потертым зеленым сукном, никак не назовешь комфортабельным.

— Ну ладно, потерплю часа два, а там, глядишь, и Ка-

39 1943

руидзава, — уговаривала я себя, переводя взгляд на пейзаж за окном вагона.

Уже почти полная в это время луна поднималась из-за невысоких гор, отчетливо высвечивая голубоватым светом их силуэт на фоне рисовых полей, тянущихся вдоль железнодорожного полотна. Рис уже созрел, и колосья поникли, и уже нельзя было наблюдать, как дробится отражение луны в воде каждого квадратика рисового поля. Но лунный блик вдруг посверкивал то там, то сям, причудливо отражаясь от виниловых трещоток, отпугивающих птиц.

И ночное небо прозрачного темно-синего цвета, и свежий ночной воздух, проникающий внутрь полупустого вагона, — все это рождало настроение ранней осени в горном краю Синсю, наполняя душу печалью.

— Поскорее бы оказаться дома! — думалось мне, как вдруг, не проехав и десяти минут, поезд дернулся и остановился на какой-то маленькой станции. Конечно, это был отнюдь не экспресс, и поэтому остановки были неизбежны. Но несмотря на то, что никто здесь не входил и не выходил, поезд, казалось, и не собирался трогаться с места. Наконец, после довольно продолжительной стоянки, он тронулся, но, не успев отъехать, снова остановился на какой-то станции и точно так же, как и на предыдущей, не торопился отъезжать.

Мои немногочисленные попутчики, мужчины средних лет, по виду крестьяне из окрестных деревень, сидели далеко от меня, но не было настроения подойти к ним узнать, почему поезд так медлит. Они, казалось, не принимали близко к сердцу эти долгие остановки. Выглянув из окна, я увидела, что в хвосте нашего состава прицеплено несколько вагонов, по виду товарных. Действительно, там, похоже, шла погрузка.

Если бы я раньше знала, что этот поезд предназначается для перевозки грузов, а пассажиры садятся в него по случаю, то сделала бы все возможное, чтобы успеть на местный скорый, который ушел без малого час назад. Но что теперь махать кулаками после драки!

Выскакивать на полпути глубокой ночью на неизвестной станции — безумие, и, смирившись, я решила: будь что будет! Как-нибудь за ночь, шатко ли валко, эта колымага дотащится до Каруидзавы. Я вынула из сумочки маленькую книгу и попыталась углубиться в чтение, но нестерпимый лязг вагона отдавался в ушах, мешая читать. Несмотря на усталость, сна не было ни в одном глазу — может быть, оттого, что с пола по ногам струился холодный воздух, а скорее все-

го, оттого, что меня бесили бесконечные остановки этого поезда.

Наконец, когда, кажется в четвертый раз, поезд остановился на довольно большой станции, я, чтобы как-то развеять досаду, вышла на платформу. В конце концов, думала я, мы простоим здесь не меньше десяти минут, и, даже если этот неторопливый поезд тронется, я легко смогу вскочить на ходу.

На этой станции с поезда сошло еще несколько человек. Как и следовало ожидать, в хвосте состава грузили какие-то довольно объемистые, продолговатые, завернутые в рисовую рогожу тюки. Железнодорожные служащие без излишней торопливости заносили их в открытые двери вагона. Эти тюки были почти одинаковой величины и похожи на огромные пухлые сигары; железнодорожные служащие, обхватив их обеими руками, как что-то очень ценное, осторожно заносили внутрь закопченного товарного вагона. Пока я гадала, что бы это могло быть, откуда-то повеяло влажным ароматом каких-то растений.

— Уже погрузили? — раздался застенчивый женский голос.

Я обернулась в ту сторону. Позади меня, чуть поодаль, стояла женщина средних лет, волосы ее были уложены узлом на затылке. Она была не одна. Рядом с ней стоял изможденный, седой как лунь старик с ввалившимися щеками. При виде этого человека я невольно попятилась в испуге: его неестественно немигающие глаза, полуоткрытый рот с выступающими передними зубами, за которыми при каждом его слове пенилась слюна, производили отталкивающее впечатление.

— Смотри-ка, Итигэ-сан! — подмигнул своему напарнику железнодорожник, указав глазами на старика.

— А вот мы уже и погрузили! Поставили на самое лучшее место... Завтра на цветочном рынке в Токио ваши цветы будут краше всех, — сказал он старику таким тоном, каким разговаривают с детьми.

Старик кивнул с видом собственного достоинства.

— Ну вот и хорошо! Теперь вы можете быть спокойны. Пойдемте-ка домой, отдохнете! — поглаживая старика по острому, торчащему плечу, сказала женщина, словно уговаривала ребенка. Но старик молчал и не трогался с места.

Тем временем тюки один за другим исчезали внутри товарного вагона, и в это время я наконец поняла, что свежий

аромат растений, плавающий в воздухе, исходит от этих рогожных кулей.

— А, вот, вот... Мои хризантемы! — воскликнул старик, протягивая руки к обтянутому рогожей свертку, который железнодорожник уже собрался погрузить в вагон. Ноздри старика шевелились, как у собаки, идущей по следу.

— Этот запах... Белые хризантемы!

— А, вон оно что! Ну что ж, позвольте ему понюхать разочек. Ведь поезд скоро отходит. Понюхайте, но только совсем немножко!

Женщина, переглянувшись со служащим, позволила спустить вниз один сверток, так, чтобы старик мог прижаться к нему лицом, в то время как другие свертки уже исчезли в вагоне.

— Ну, уже расстаемся! С белыми хризантемами уже попрощались, не так ли? — обнимая старика за сутулые плечи, словно утешая ребенка, сказала она. В тот момент, когда она тихонько приложила его руку к губам, старик с трудом оторвался от свертка, словно от талисмана, и поднялся с колен.

Наконец двери вагона закрылись, раздался звонок отправления. Поспешно садясь обратно в поезд, я все никак не могла понять только что увиденную странную сцену, которая, словно неожиданно возникший кинокадр, так и стояла у меня перед глазами.

— Жаль его! Дожить до такого! — раздался мужской голос.

Я обернулась. Через проход напротив меня сидел мужчина средних лет в сером джемпере. Лицо его было обветрено и изрезано глубокими морщинами, но не лишено привлекательности. До этой остановки, припомнилось мне, я не видела этого человека в нашем вагоне.

— Тот мужчина... Он, очевидно, со странностями? — спросила я, движимая любопытством.

— Не то чтобы со странностями, скорее — дурачок. Как это теперь говорят — умственно отсталый, кажется, — сказал мужчина, правильно, без примеси местного диалекта выговаривая слова.

— Он-то ничего не понимает, а вот жену его жаль. Вышла за такого, и уже больше двадцати лет ухаживает за ним. Если бы этот человек родился в бедной семье, он не смог бы жениться на нормальной женщине. Но он из богатой семьи, и только поэтому у женщины такая жестокая судьба.

Мой собеседник не только четко, ясно выговаривал слова, и вся его манера говорить была естественной и приятной.

В это время в моей памяти отчетливо, как в фокусе, всплыла фамилия Итигэ, которую выкрикнул недавно железнодорожник. Но, не касаясь этого, я спросила:

— Это, наверное, хризантемы недавно грузили в поезд? И тот человек их нюхал?

— Да, они выращивают их у себя на клумбах, и тот старик поразительно упорен в этом деле. Он всегда приходит вместе с женой отправлять их. Будь то ночью или ранним утром.

— А в других тюках тоже были хризантемы?

— Да, пожалуй. Сейчас такой сезон. В Токио отправляют большей частью хризантемы. Да, хризантемы выращивают многие в нашем краю, и на рынке в Токио на них можно хорошо заработать. И не только цветы. Всякие ветки причудливой формы, корни или пни, все это местные жители приносят из леса, назначают цену и посылают в Токио. А посредники, убедившись, что товар будет продан, посылают им деньги. Токио для местного жителя как большой благодетель, который дает заработать, не выходя из дома.

— Вот оно что! Неудивительно, что этот поезд то и дело останавливается, чтобы взять груз. Выходит, что я ошиблась, поначалу решив, что это пассажирский, — горько улыбнулась я.

— Вот именно. До Каруидзавы он тащится добрых три часа.

— Да что вы говорите! Вот ужас! Когда я садилась в него в Уэде, никто не предупредил меня об этом!

— Вряд ли тамошние жители знали, что в это время пойдет поезд с хризантемами. Ничего не поделаешь — мода!

При мысли о том, что я доберусь до Каруидзавы только после полуночи, я представила, как будут волноваться мои домашние. Но не слезать же с поезда, когда нет ничего другого взамен. Хочешь не хочешь, а ехать надо. Ничего другого не оставалось, как вернуться к прежнему разговору о супругах, выращивающих хризантемы.

Мой собеседник, преподаватель агрономического техникума из Токио, имея фруктовый сад в здешних краях, во время эвакуации попробовал зарабатывать на жизнь разведением давно любимых горных растений.

По его словам, он сел в этот поезд, решив доехать до станции Коморо, а оттуда рано утром совершить восхождение через перевал на другую сторону вулкана Асама. Курокава, так звали его, познакомился с супругами Итигэ — Масатоси и Риэ — через год после окончания войны.

Курокаве повезло, он проходил военную службу, не покидая пределов Японии, и, как только война окончилась, вернулся в деревню неподалеку от железнодорожной станции О., куда была эвакуирована его семья. Деревня находилась неподалеку от тех мест, где он родился, и он, никогда не любивший городскую жизнь, после всего пережитого во время войны решил осесть в здешних краях. Сначала он работал учителем в небольшом местном городке, а потом и вовсе превратился в деревенского жителя. Серьезно заниматься фруктовым садом и яблонями он стал уже гораздо позже.

В то время все вокруг голодали, крестьянам было не до фруктов или цветов, куда там! В тех местах, где невозможно было выращивать рис, занимались выращиванием кукурузы и картофеля.

И в доме Курокавы отец, еще бодрый старик, вместе с домашними — женой и невесткой — работал в поле.

Неподалеку от них, на довольно большом участке земли, стоял новый особняк, выстроенный в столичном стиле, и Курокава по пути в школу и обратно часто видел женщину лет тридцати, которая усердно работала в поле за домом. В рабочих шароварах момпэ, голова обвязана полотенцем, но белокожее лицо с тонкими чертами не обветрено. Весь ее облик, полный какого-то грустного умиротворения, пленил Курокаву. Она напоминала ему корейскую красавицу.

— Тот дом не похож на местные постройки. Что, его построили во время войны? — однажды за ужином спросил Курокава у отца.

— А, ты об этом! Это, сынок, в самый разгар войны господин Итигэ купил здесь участок и построил дом.

Отец, уроженец Синано, назвал фамилию Итигэ с таким видом, как будто сыну она должна быть известна. Но Курокаве эта фамилия ничего не говорила.

— А кто такой этот Итигэ?

— Ты спрашиваешь, кто такой Итигэ? Разве тебе неизвестна крупная бумажная фирма господина Итигэ из Токио? После войны ходили слухи, что он обанкротился... В прежние времена имя Токуити Итигэ гремело по всей Японии.

— А, вот оно что! — наконец вспомнил Курокава. — Но ведь он уже давно умер!

Действительно, об Токуити Итигэ, уроженце Синано, добившемся успеха в жизни своим трудом еще во времена Мэйдзи, Курокава когда-то слышал.

— Токуити-сан — старейшина рода, за ним шел Хан-

сиро-сан, говорят, очень умный человек. Землю купил, несомненно, Хансиро-сан, но сейчас там живет его единственный сын Масатоси с женой, — сообщил отец.

Затем отец рассказал, что, несмотря на то что Масатоси — законнорожденный сын из дома Итигэ, вследствие перенесенного в раннем детстве менингита он с трудом понимает самые примитивные слова, хотя нельзя сказать, что впал в совершенный идиотизм. И тем не менее, когда он вошел в возраст, возникла необходимость найти ему жену, и в жертву была принесена служанка по имени Риэ, приехавшая из Ииды.

— Но это немыслимо! Неужели еще сохранились такие идиотские устаревшие обычаи вассальной преданности? И то, что женщина на это пошла, — тоже ненормально! — пренебрежительно проговорил Курокава, но в глубине души никак не мог забыть ощущение чистоты, которое произвело на него бесстрастное лицо той женщины, когда он увидел ее, проходя мимо дома Итигэ.

— Все так говорят. И я тоже, когда услышал эту историю, поначалу решил, что она польстилась на деньги. И все-таки как тебе сказать? После того как мы здесь поселились, мы стали очень часто встречаться с Риэ-сан. Ведь их дома так близко! Она всегда безотказно выходила и на трудовую повинность, и на тренировки по противовоздушной обороне. Я был в то время командиром отряда самообороны и поэтому поближе познакомился с ней. Да и моя покойная матушка, и Мацуко знали: в Риэ нет ничего странного. На работе она всегда первая и богачку из себя не строит. Даже местные кумушки, ты ведь знаешь их, как слышат, что приехала эвакуированная из Токио, сплетничают за чашкой чаю, обзывают «столичной штучкой», а вот ее только жалели. И вот прошло два года, и три прошло, и незадолго до окончания войны умер от инсульта глава семьи Хансиро, а затем и матушка и зять ушли из жизни, а хозяйство пришло в упадок. В конце концов, по слухам, у них осталась только усадьба, и Риэ-сан, у которой раньше всего было вдоволь, стала ходить по домам и вязать и шить для чужих крестьянских детей, чтобы заработать картофеля и немного гречневой муки. И все это без показухи или притворства. Иногда я думаю, что она — воплощение богини Каннон, — горячо заключил отец с самым серьезным видом. Казалось, он действительно верит в это.

Наверное, отцу, человеку старого воспитания, хотелось верить в существование воплощения богини Каннон в лице

такой женщины, как Риэ-сан. Его угнетало, что в последние годы войны, окончившейся поражением, немилосердно обнажились скрытые человеческие пороки. Курокаве тоже не чужды были такие чувства. В глубине души и ему хотелось верить в то, что Риэ-сан — воплощенная богиня милосердия...

И, словно в подтверждение вере отца Курокавы, госпожа Риэ уже десять с лишним лет самоотверженно ухаживает за мужем.

Сейчас бо́льшая часть земли в усадьбе Итигэ занята под яблоневый сад, урожаем этого сада они и живут. Затем Курокава рассказал, что хризантемы они выращивают в основном не на продажу, потому что Масатоси радуется, глядя на эти цветы. Особого дохода они не приносят.

— В позапрошлом году, кажется, Риэ-сан получила медаль. Дай бог памяти, как она называется... Ну, в общем, это награда за то, что она с любовью долгие годы ухаживает за своим неполноценным мужем. Это пример женской верности. Да, удивительная история для нашего времени, мне кажется, она достойна всяческого восхваления, — заключил он.

Я слушала длинный рассказ Курокавы, а поезд тем временем беспрерывно останавливался на полустанках и подолгу стоял, и было похоже на то, что на каждой остановке в товарный вагон грузили хризантемы в мешках из рисовой рогожи.

Выйдя на ветку, ведущую от Коморо до Ивакэ, поезд внезапно стал набирать скорость. Луна стояла высоко в небе, и в ярком лунном свете пейзаж вдоль железной дороги посверкивал, словно отражение в старинном металлическом зеркале. Этот сдержанный блеск потемневшего серебра, пронизавший пейзаж, как на старинных гравюрах, был рожден туманом, низко стлавшимся над землей, когда мы выехали на плато.

После того как Курокава вышел на станции Коморо, в вагоне не осталось почти никого. Только двое мужчин сидели далеко от меня напротив входа.

Была глубокая ночь, когда мы въехали на плоскогорье, и, может быть, поэтому холод, поднимавшийся от кончиков пальцев ног, одетых в таби, постепенно охватил все мое тело.

Однако я так усердно рылась в своей памяти, пытаясь собрать воедино то, что рассказал мне Курокава, и то, что мне было известно до него, что, в общем-то, не ощущала хо-

лода и только машинально зябко поеживалась, плотнее сдвигая колени.

Токуити Итигэ, Хансиро Итигэ — когда я услышала эти и другие имена, в моей памяти всплыла давно забытая история о слабоумном сыне из дома Итигэ, и я чуть было не сказала Курокаве: «Да-да, я тоже слышала об этих людях».

Как раз в те времена, когда состоялась свадьба Масатоси и Риэ, о которой упоминал в своем рассказе Курокава, мне случайно довелось услышать о ней от людей, видевших это событие совершенно с другой стороны. Это было как раз через год с начала японо-китайской войны. То было время, когда в глазах молодых мужчин, казалось, мерцало пламя, отраженное от так называемых «красных бумажек» — повесток о мобилизации. Мужем моей подруги был врач-психиатр. Работая врачом в частной клинике, он несколько раз в неделю бывал в научно-исследовательском институте мозга университета S. Туда же для научных занятий приходили ассистент и помощник ассистента с медицинского факультета. Они часто заходили в гости к Нагасэ поболтать. Я познакомилась с этой компанией, когда писала драму, в которой надо было изобразить пациента психиатрической лечебницы, и я стала посещать с этой целью больницу и знакомиться с опытом врачей. Однажды, когда в доме Нагасэ собралась небольшая компания молодых врачей, я заметила, что среди гостей нет постоянно бывавшего здесь господина Касимуры.

— А что Касимура-сан? Сегодня на дежурстве? — спросила я. Присутствующие обменялись многозначительными взглядами, и один из них, улыбнувшись, ответил:

— Ну, если это называть дежурством, то он на дежурстве.

— Ну да, на дежурстве! Еще на каком дежурстве! — услышала я в ответ.

Решив, что речь идет о любовном свидании, я замолчала. Но тут в разговор вмешался Нагасэ:

— Не знаю, можно ли рассказать. И будет ли полезно госпоже F. узнать об этом.

— Да, не очень-то благовидная история. Ну ладно, жизнь есть жизнь. Каждый устраивается как может. А вы напишите об этом рассказ, — сказал один из гостей, усаживаясь поудобнее.

— Касимура-сан ходит на дежурства на дом к одному пациенту.

— А, вот оно что! К буйному больному, наверное? —

спросила я без тени сомнения, зная, что подобное часто случается с психически больными людьми.

— Да, но только как вам сказать... Это не то чтобы буйный больной, но все равно — случай трудный.

Молодой человек по фамилии Томода осведомился, взглянув на приятеля:

— Ну как там было в твое дежурство?

— Того, что при тебе, к счастью, не было. Тебе всегда не везет.

— Да, действительно, мне не везет. Наверное, если призовут, и на войне меня убьют первым.

— За то, что подглядываешь, надо бы денежки платить!

— Дурак! Кто подглядывает?

— Ну хватит! Разболтались!

— Человеку со стороны ничего не понятно. Сейчас я вам все объясню. Без подробностей, научно.

Все, что потом рассказал мне Нагасэ, касалось женитьбы сына из семьи Итигэ. То, что фамилия его Итигэ, я поняла сама гораздо позже, а тогда мне ее не назвали.

Когда Масатоси из семьи Итигэ вошел в юношеский возраст, физически он был развит, как здоровый мужчина, но подыскать ему пару было трудно. Спросили мнение профессора-психиатра, услугами которого пользовались уже давно.

— Такому, как он, лучше всего найти женщину с мягким характером. Совсем неважно ни происхождение, ни наружность. Главное, чтобы она ухаживала за ним, как мать за ребенком, — сказал профессор.

К несчастью, родная мать Масатоси, которую звали Кисино, терпеть не могла своего сына-инвалида и даже брезговала жить с ним под одной крышей. Красавица Кисино в молодости, в годы Мэйдзи, служила горничной в павильоне «Коёкан» и пользовалась большим успехом у завсегдатаев: аристократов и крупных коммерсантов. Там она и познакомилась с Хансиро Итигэ, который сделал ее своей законной женой. Вот так Кисино отхватила себе выгодного мужа. Как это свойственно людям, выбившимся из низов, Кисино обладала твердым характером и при этом была очень тщеславна и упряма. У нее были дочери, здоровые, нормальные девушки, и приемный сын — ее зять, а вот родного сына стыдно было показать людям, и постепенно этот стыд обернулся ненавистью к Масатоси.

Хансиро, как отец, считал себя ответственным за сына, и поэтому Масатоси воспитывался, как и подобает сыну из

дома Итигэ. Но если бы его воспитанием занималась одна Кисино, боюсь, что он всю жизнь просидел бы под домашним арестом, как настоящий сумасшедший.

Когда Масатоси возмужал, временами с ним стали случаться приступы какого-то странного возбуждения. Он стал преследовать служанок и сестру, как кобель, почуявший запах течки. Кисино это приводило в бешенство, и она орала так, что жилы вздувались у нее на лбу:

— Послушайте! Вам все равно, а Масатоси в непотребном виде, словно зверь, бегает по всему дому. Его надо срочно класть в лечебницу! А иначе из этого дома убегут все служанки!

— Ну, ну. Не надо так кричать... Я знаю, что делать, — тихо отвечал Хансиро.

В такие моменты Кисино, родная мать Масатоси, совершенно забывала о мучительной силе неразрывной родственной привязанности, которую Хансиро в глубине души питал по отношению к Масатоси.

На следующий день Хансиро вызвал профессора и попросил его направить Масатоси на операцию по стерилизации.

— У меня есть на примете одна женщина, которой я хочу предложить выйти за моего Масатоси. Но как подумаю, что у них могут появиться дети, язык не поворачивается начать разговор. Конечно, жаль ее, но и сын все-таки родился в человеческом обличье, поэтому хотелось бы, чтобы у него была жена, как у всех нормальных людей.

Профессор согласился, и в той же клинике, в хирургическом отделении, Масатоси сделали операцию. Операция окончилась очень быстро, врачи сказали, что она не отразится на супружеских отношениях.

Говорят, что Хансиро завел разговор о женитьбе с Риэ только после этого. Никому не известно, как отнеслась к этому предложению Риэ, когда она наконец дала согласие, какие обстоятельства заставили ее пойти на этот шаг. Известно только, что жизнь в доме Итигэ не обещала ей никаких радостей.

Жизнь молодоженов началась в недавно отремонтированном домике, стоявшем отдельно от главного дома, и ни одна служанка не прислуживала Масатоси, а вся работа по дому, в том числе и стряпня, легла на плечи Риэ.

Масатоси до свадьбы ни разу не видел Риэ. На торжествах, таких, как свадьбы и похороны, обыкновенно присутствовали, не считая Хансиро и Кисино, приемный сын,

ставший директором отцовской фирмы, старшая дочь и живущая в доме мужа младшая дочь.

— Говорят, что, внося госпожу Риэ в семейный список, глава фирмы переписал на ее имя изрядное количество акций, — сплетничали некоторые служащие, но доказательств этому не было.

Как я услышала в доме Нагасэ, несколько молодых психиатров были направлены для наблюдения за супружеской жизнью молодоженов. То есть для охраны госпожи Риэ — из опасения, что она может подвергнуться насилию со стороны мужа. Врачи объяснили Хансиро, что такие слабоумные, как его сын, не владеют собой во время близости с женщиной и не могут вовремя остановиться. Бывали случаи, когда женщины умирали. Поэтому было решено, что для безопасности Риэ рядом со спальней молодоженов каждый вечер будет дежурить медик из университета S.

В больнице при медицинском факультете почти бесплатно стажировалось несколько молодых врачей, получивших дипломы еще до войны и ждущих перевода на другое место службы. Этим молодым людям, за исключением сына владельца частной лечебницы, трудно было сводить концы с концами, не подрабатывая на стороне. Подработка в доме Итигэ считалась трудным случаем, поэтому гонорары назначались высокие, гораздо выше, чем зарплата рядового врача. Желающих было много, но профессор выбрал наиболее молчаливых из претендентов. Среди гостей Нагасэ трое по очереди дежурили у Итигэ.

— Какие ужасные дела творят эти богачи! Эту женщину, конечно, купили, но привлекать врачей в таком случае — значит просто выставлять ее на всеобщее посмешище. Как бы ни хотелось старику подарить сыну радости половой жизни, нельзя приносить такие жертвы! Почему бы не кастрировать его совсем во время операции? Поневоле приходит в голову мысль, что и отец не в своем уме! — воскликнула я возмущенно, не в силах совладать с закипевшим во мне раздражением.

Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что тогда, в свои тридцать с небольшим, я еще не понимала до глубины души всю неизбежную горечь человеческой жизни. Мне стыдно вспоминать о своей запальчивой неопытности. Итигэ... Конечно, имя в то время от меня скрыли, и фамилию я не знала, но вместе с ненавистью к Хансиро я испытывала презрение к бесхарактерной Риэ, проданной в жены Масатоси.

— Не стоит так горячиться. Благодаря этому жизнь на-

шей компании стала немного полегче, ребята рады такому приработку, — заступился Нагасэ.

— Да, вы правы, — отвечала я. И все же испытывала антипатию к Томоде и Касимуре, посещавшим дом Итигэ. «Хорошо ловится рыбка в мутной воде» — если судить с точки зрения ловца рыбки, то, возможно, не следует осуждать бедных молодых ученых за то, что существование таких людей, как Масатоси Итигэ, является подспорьем в их жизни. А если подходить к этому явлению с точки зрения левой идеологии, то все сведется к.одной фразе: «противоречия капитализма».

И все-таки я не могла понять, как молодой и холостой врач может наблюдать за молодоженами в спальне и добросовестно стоять на страже до тех пор, пока они не уснут спокойным сном. Ведь это значит: либо самому превратиться в шута, либо сделать посмешищем своих подопечных. Выступать в роли шутов не подобает ни возрасту, ни интеллектуальному уровню этих молодых врачей, а выставлять на посмешище тех, с кем имеешь дело, по крайней мере если речь идет об этой несчастной новобрачной... смеяться над ней как над объектом эротических забав — нет, мне это казалось отвратительным, на такое способен только дурак, который, хихикая над другими, не замечает, что у самого на лбу написано: «дурак». Кто-то в самом начале разговора назвал эту работу «подглядыванием в замочную скважину», но, рассуждала я, подглядывание и дежурство у больного — совершенно разные вещи.

После этого разговора я некоторое время не слышала о доме Итигэ, но госпожа Нагасэ рассказала мне, что однажды случилось то, чего опасались с самого начала, — Риэ потеряла сознание, и дежуривший ночью Касимура оказал ей медицинскую помощь, все окончилось благополучно, но переполох был ужасный. Причина обморока была в том, что муж принудил Риэ к близости во время месячных, что вызвало сильное кровотечение.

Итак, помнится, дежурство врачей из университета длилось более года. Затем я услышала от Нагасэ, что посещения дома Итигэ прекратились в связи с наступлением тяжелых времен. Через два или три года, на второй год Тихоокеанской войны, Касимура получил повестку и отправился на южный фронт в качестве военного врача. На прощальной вечеринке он подсел ко мне и, протягивая чашечку с сакэ, сказал:

— Хотелось бы хоть разок поговорить не спеша, но вот

и времени не осталось. Ну что ж, если вернусь живым, поговорим. Собственно, это о той семье, куда я ходил на дежурства.

— А, да-да, о том доме? — кивнула я.

Упоминание имени Итигэ считалось неэтичным.

— Госпожа из этого дома... Риэ-сан... Признаюсь вам, я полюбил ее и хотел жениться на ней. Я сделал ей предложение, — говорил Касимура, не понижая голоса и не стесняясь присутствующих. Казалось, что предстоящий уход на фронт заставил его отбросить условности.

— Вот оно что! — Я тоже с интересом посмотрела прямо в глаза Касимуре. Я помнила, как когда-то в глубине души презирала эту троицу, посещавшую дом Итигэ. И теперь, услышав из уст Касимуры, что он не только не корчил из себя шута, но и не думал издеваться над теми, с кем имел дело, я вся обратилась в слух.

— И что она вам ответила?

— Отказала. Риэ-сан любит этого человека. Она сказала, что благодарна мне за мое отношение к ней. Еще она сказала, что считает такое отношение незаслуженным — ведь я заботился о ней в такие постыдные моменты. Она сказала, что если она уйдет от Масатоси, то он не сможет жить. Он, наверное, вообще долго не проживет. И когда она об этом думает, ей его так жаль, что она не может его покинуть. Говоря это, она горько плакала. И я отступился...

Касимура раскраснелся от выпитого сакэ, глаза, налитые кровью, увлажнились...

— Я вскоре женился, у меня родился ребенок, но ее не забыл. Сначала мне было жаль ее, и я не мог себе простить, что не спас ее из этого дома, но теперь мне кажется, что все так и должно быть.

— А сначала чем она вас привлекла? Как вы почувствовали, что любите ее? — спросила я нетерпеливо, нарочно сосредоточив внимание на недомолвках в его рассказе.

— Как вам сказать, — начал Касимура немного задумчиво, — у меня было такое чувство, будто это мою мать загнали в клетку к зверю. Как в дурном сне.

— Вы хотите сказать, что она похожа на вашу мать?

— Да нет, нисколько, — отрицательно покачал головой Касимура.

— Ну, наговорились вдоволь? — С этими словами старший по чину врач хлопнул Касимуру по плечу, и тот отошел от меня. Казалось, он не жалел о том, что разговор оборвался.

Вернувшись в тот вечер домой, я все вспоминала этот короткий разговор с Касимурой и все старалась представить себе женщину по имени Риэ, которую никогда не видела. Последние слова Касимуры о матери, загнанной в клетку к зверю, будоражили мое воображение, но я, честно говоря, совершенно не могла понять, что собой представляет эта Риэ.

Дочь небогатого владельца мастерской по изготовлению футонов из городка Иида, она окончила только начальную школу, но была способной ученицей и поэтому красиво писала иероглифы. Вязать и шить она научилась уже в доме Итигэ, и вообще, можно сказать, обладала вполне приличными знаниями на уровне выпускницы неплохой женской школы. Что касается ее брака, то Нагасэ говорил, что не слышал, чтобы он принес особенно большие выгоды ее семье.

Невольно приходила в голову мысль: а не страдает ли Риэ каким-либо изъяном, но, судя по тому, что Касимура после своих своеобразных дежурств сделал ей предложение, Риэ, несомненно, была самой нормальной, здоровой женщиной.

Более года знать о нескрываемой любви, получить предложение развестись с Масатоси и выйти замуж, начать новую жизнь — это не шутки. Касимура слыл среди врачей молчаливым, сдержанным человеком, увлеченным наукой. Это был красивый сильный человек высокого роста. Больные и медсестры клиники любили его. Интересно, как Риэ отнеслась к его ухаживаниям? Получить предложение от мужчины, отличающегося от ее мужа как небо от земли, и отказать не раздумывая — одно это казалось мне странным для такой молодой женщины, как Риэ.

В конце войны Касимура заболел на южном фронте малярией и умер. Об этом я узнала, случайно встретив через несколько лет после войны его друга Томоду.

Супруги Нагасэ после всех перенесенных ими во время войны бедствий переселились в Кансай, и у меня практически не было никакой связи с прежними знакомыми.

Я сама, лишившись дома, сгоревшего во время бомбежки, никуда не выезжала из Каруидзавы и, наконец, только через год вернувшись в Токио, тяжело заболела. И вот спустя еще год после перенесенной операции, так толком и не поправившись, я изо всех сил пыталась выжить в это тяжелое и скудное послевоенное время.

Я что-то слышала краем уха о банкротстве Хансиро

Итигэ и о его смерти, но эта новость прошла мимо моего сознания на фоне драматических перемен в послевоенном мире, и, только узнав о смерти Касимуры, я вспомнила о давно забытых супругах Итигэ и решила написать повесть о женщине по имени Риэ.

Пережив войну и изнурительную болезнь, заставившую меня балансировать на грани жизни и смерти, я к этому времени стала по-другому смотреть на жизнь, осознав всю сложность и неоднозначность ее явлений.

Если прежде я негодовала оттого, что Хансиро Итигэ взял в жены своему дефективному сыну такую девушку, как Риэ, называя это «произволом буржуазии», то теперь, когда моя наивная молодость миновала, я стала судить обо всем не так примитивно. И все же такая женщина, как Риэ, попрежнему оставалась для меня загадкой.

В задуманной мною повести о женщине, похожей на Риэ, ее муж, Масатоси, трансформировался в молодого хозяина магазина, страдающего клептоманией. Его жена, стыдясь этого брака, избавляется от беременности, но, не имея возможности развестись с мужем, продолжает совместную жизнь с ним. Она вступает в тайную связь с молодым продавцом и в конце концов отравляет своего мужа.

Все это было чистейшим вымыслом, хотя стимулом к написанию этой повести послужило известие о смерти Касимуры.

Но странное дело, преображение главной героини повести в озлобленную женщину оставляло горький осадок в душе, рождая печаль по Касимуре. Время от времени я собиралась написать об этом так, как слышала от него в ту ночь, переделать повесть в более светлую, понятную мне самой вещь, но каждый раз моего воображения не хватало для создания образа Риэ, а из всего написанного получался лишь бесцветный набросок. Я отложила повесть на потом, шло время, и я постепенно снова стала забывать об Итигэ.

Было примерно двадцать минут первого ночи, когда поезд прибыл на станцию Каруидзава.

Кроме меня из других вагонов вышло всего несколько зябко ссутулившихся пассажиров.

Рогожные мешки с хризантемами были заперты в товарном вагоне, и острый волнующий аромат не проникал на платформу.

Я не увидела никакого такси и, позвонив из привокзального телефона-автомата домой и попросив, чтобы кто-нибудь из домашних встретил меня с карманным фонариком

на повороте к темному полю возле дома, одна пошла пешком через город.

Луна уже миновала зенит, и ночной туман под абсолютно безоблачным небом набрасывал легкую вуаль на небольшую рощицу лиственниц и пихт. Кое-где в кругах света от уличных фонарей было видно, как вьются тонкие змейки тумана. Шлепанье моих дзори гулко отдавалось в ушах, когда я шла по дороге, испещренной пятнами тени от деревьев. Из щелей лавок с закрытыми выцветшими дверями по-осеннему слабо, но отчетливо доносилось стрекотание сверчков.

Теперь мне уже приятна была мысль, что в поезде, в котором я ехала, был вагон с хризантемами. В этом закопченном до черноты вагоне несколько сотен или даже тысяч белых, желтых, красных, фиолетовых прекрасных цветов самой разнообразной формы дремлют взаперти, источая аромат. И вот, когда наступит утро, на Токийском цветочном рынке начнется торговля и перед цветочными лавками тысячи разнообразных цветов расстелются многоцветным ковром.

— Она похожа на белую хризантему, — вдруг почему-то пришло мне на память. Кому я говорила эти слова? — задумалась я. Ах да, покойному Касимуре. Я даже сама растрогалась простодушием этих сорвавшихся с моих губ слов.

На станции О. я всего две или три минуты видела Риэ рядом с мужем. После этого мне вдруг пришлось услышать рассказ о нынешней жизни супругов Риэ и Масатоси от случайного попутчика. С тех пор как я впервые узнала о Риэ в доме Нагасэ, прошло двадцать с лишним лет. Потом было короткое признание Касимуры на прощальной вечеринке перед его уходом на фронт, и после войны — известие о его смерти. Интересно, знала ли Риэ о его гибели? Думаю, что теперь это не имеет никакого значения. Вряд ли Касимура обиделся бы на Риэ за то, что она не проявляет никакого интереса к его судьбе.

То, что я увидела Риэ сегодня вечером, и то, что я услышала о ней от Курокавы, не особенно повлияло на мое представление о ней, сложившееся уже давно. У меня вызвало недоверие то, что она с самого начала всегда была неизменна. Эта ее постоянная самоотверженность по отношению к Масатоси казалась мне ненатуральной. И хотя не было причин отрицать наличие этой преданности, весь опыт моей собственной жизни мешал мне поверить в ее искренность.

Можно было бы предположить, что причина этой преданности кроется в ее несчастливом прошлом, например в

несчастной любви или в том, что она была кем-то обесчещена. А иначе в голову приходило только одно: ею двигало страстное желание добиться сверхчеловеческого, почти религиозного почитания. И пусть Касимура утверждал, что ему понятны причины отказа Риэ, мне они были непонятны.

Но теперь мне хочется, не мудрствуя лукаво, протянуть Риэ руку. У меня возникает желание взять руки Риэ в свои и сказать ей: «Я все понимаю», поверив той Риэ, которая продолжает жить рядом с Масатоси и поныне. Просто пожать ее руку, не рассуждая о детстве Риэ, о ее несчастьях до замужества, о ее вере.

Может быть, это понимание пришло с возрастом? Возможно, я достигла таких лет, когда начинаешь понимать, что человек в своей жизни способен на совершенно необъяснимые, необычные поступки.

Мне вспоминается грустное, уже немолодое лицо Риэ, на котором нет и следа ущербности, и я с чистой радостью ощущаю скромное обаяние белой хризантемы, собравшей в плотное соцветие свои короткие белые лепестки.

ЮКО ЯМАГУТИ

НАХЛОБУЧЕННАЯ ШЛЯПА

Через дощатую дверь пробиваются лучи утреннего солнца. Пора вставать. Минэ Нодзава привычно потянулась и... передернулась от озноба. Ой, что же это со мной?! Невольно опустилась на руку. Шею обдал холодок. Минэ поспешно натянула на себя одеяло. Неужто простудилась? Никогда еще себя так плохо не чувствовала. Скорчилась под одеялом, а мысли, как всегда, вертелись вокруг ожидающей ее сегодня работы. Обычно, проснувшись, она начинала свой рабочий день с кухни. Надо побыстрей вставать, а тело не слушается. Такое с ней впервые. Уши горят, а руки и ноги до самых кончиков окоченели. Может быть, денек отдохнуть? Недовольная собой, Минэ Нодзава закрыла глаза. «Подремлю немного, а потом посмотрю, что делать, может, приму лекарство. Только вот осталось ли еще в запасе средство от простуды?» — продолжала она перебирать мысли, не открывая глаз.

Живя одна, Минэ Нодзава стелила себе постель в крохотной комнатушке, в глубине своей лавки. Спала посреди комнаты, а вокруг — полки, небольшой комод, уставленные и заполненные всевозможными вещами и вещичками. Торговое заведение госпожи Нодзавы — «Домашние обеды Нодзавая»[1], — хоть невелико по своим размерам, тем не менее считается в округе вполне процветающим. Покупатели зовут ее «тетушка Нодзавая», все ее знают, со всеми она

[1]«Я» — букв. «дом», в конце фамилии означает «торговый дом», «заведение».

дружит. Приходит покупательница с миской — купить мясное блюдо подешевле, фарш с картофелем, говорит: «Хорошо вам одной, никаких забот, а у меня весь дом ходуном ходит — и старики с нами живут, и малышей полно!» — «Грех вам жаловаться! Большая семья — значит, весело, завидую вам... — отвечает Минэ, принимая посуду, и не забывает подложить в миску лишнюю картофелину: — Это вам от меня!»

Сколько спала — час, два? За это время озноб сменился жаром, все тело горело, болели суставы. Минэ вяло поднялась из постели, прошла в лавку и поставила чайник на газовую плиту.

— Нодзава-сан, тетушка! Что с вами, еще не встали? — стучит кто-то в стеклянную — наружную — дверь.

Пошатываясь, она подходит к двери и отпирает ее. Туда просовывает голову Нисимото-сан, живущая через дом от лавки. Видно, зашла по пути на работу — у нее неполный рабочий день.

— Вот видите, простудилась...

— С вами это так редко... Но вы не вставайте. Я сейчас принесу вам хорошее лекарство.

Нисимото-сан убегает, и чайник не успевает закипеть, как она уже возвращается.

— Вот, примите, здорово помогает! — и протягивает пакетик с лекарством. Судя по запаху высушенных на солнце трав, средство китайской медицины.

— Спасибо! Сама себе удивляюсь — простудиться в такую погоду...

— Я ж говорила... Но вам обязательно надо лечь в постель. Иначе...

Снадобье, принесенное Нисимото-сан, оказывается нестерпимо горьким, да еще с шибающим в нос запахом. Но может, оттого, что она приняла лекарство с горячей водой, тепло разливается по всему телу и сразу легчает.

Минэ снова забралась под толстое одеяло, закрыла глаза, пытаясь заснуть, но никак не могла. Стала думать о том, что скоро — может быть, сегодня — к ней в лавку, как всегда «случайно», забредут Акимото с Томатом. Что-то в последнее время они — этот старик и первоклассник — не показываются у нее в лавке. Что могло с ними приключиться? В полусне представали перед ней лица постоянных клиентов, а дошло до этой парочки, и она окончательно проснулась.

Сравнительно недавно в этих местах, на окраине Большого Токио, шумела роща, а холмы поросли буйной травой.

Даже когда муж Минэ умер от скоротечной болезни, оставив ее одну, здесь стояли лишь одиночные домики. А потом стали рубить деревья и строить дома, по другую сторону холма, у которого притулилось скромное жилище Нодзавы, вырос жилой массив, выстроенный городским муниципалитетом, а его в свою очередь окружили частные дома токийцев. Поначалу Минэ Нодзава служила помощником повара в столовой для служащих одной фирмы в центре столицы, а потом, когда все в один голос стали хвалить ее кулинарное мастерство, решила открыть свое собственное дело — хватит с нее утомительных поездок в суматошный город. Сейчас к ней в харчевню за приправой к рису и всякими соленьями приходят не только соседи, но и обитатели муниципальных домов. Вот и папаша Акимото с этим мальчишкой, Томатом, — они тоже, как ей кажется, приходят из-за холма, живут где-то на самой окраине. Было бы странным числить их среди постоянных клиентов «Домашних обедов Нодзавая». Куда там — когда эта парочка неожиданно предстает перед ней в тесном пространстве ее заведения, ей так и хочется попросить их удалиться, чтобы не мешать покупателям. Но тогда она становится противной самой себе и нарочито громким голосом обращается к ним:

— И как это я не приметила, что вы пришли, и, как всегда, вдвоем! Поешьте вдоволь, а то вы такие худенькие...

Но однажды вечером, с месяц назад, случилось нечто, заставившее ее почувствовать свою сопричастность этим людям. Было еще холодно, когда, закрыв харчевню, она отправилась за холм по какому-то делу. Чтобы пройти туда, надо было миновать небольшой парк, разбитый на вершине холма. Почти бегом добралась до парка — по вечерам он бывал пустынным, но вопреки ожиданиям у качелей увидела человеческие тени. Это были папаша Акимото и Томат.

— Что вы тут делаете, в такое время?

Акимото стоял перед Минэ, втянув голову в плечи, словно напроказивший мальчишка. К нему прижимался, наполовину спрятавшись, но не сводя глаз с Минэ, Томат. Хотя освещение в парке было довольно тусклым, Минэ смогла заметить что-то необычное в фигуре старика. Она вновь оглядела Акимото с головы до ног.

— Ой, Акимото-сан, а где ваша шляпа?

Старик никогда не расставался со своей зеленоватой, округлой, тирольской, по его словам, шляпой. Она была как бы неотъемлемой частью его головы. Минэ никогда не виде-

ла Акимото с непокрытой головой. Редкие, тусклые волосинки, едва прикрывающие желтоватую пергаментную кожу... Жалкий старческий вид...

— Без шляпы вы, господин Акимото, выглядите на десяток лет старше! — не смогла сдержать смеха Минэ.

Акимото издал какой-то скрип — очевидно, тоже рассмеялся. В этот момент к ней подскочил Томат:

— Видите, шляпа! Дедуля обещал оставить ее мне на память!

— Почему — на память?

— Госпожа Нодзавая, когда я умру, эта шляпа останется мальчику на память. А ну-ка, Томат, покажись-ка госпоже кулинарше, тебе идет...

Мальчишка надел, вернее, напялил шляпу. Хоть и закрыла ему лоб, но носить можно.

— И вправду, подходит, котелок у тебя приличный, вот уж не думала... Но дедушке, наверно, холодно без шляпы, верни ему. А вам, господин Акимото, рано говорить о смерти, примета плохая.

«Ну конечно, плохая примета... На память, после смерти... вот еще...» — бормотала Минэ в постели, вспоминая встречу в ночном парке. И наконец заснула. Но когда только начала засыпать, представила себе непокрытую голову старика — какая она холодная, словно у неживого!

Когда снова проснулась, было уже далеко за полдень. Спалось хорошо, может, помогло лекарство. Тихонько попробовала расправить руки и ноги — ломота в суставах немного утихла. Во сне свирепствовал ветер, в ночной мгле скрипело нечто похожее на качели. Так и запечатлелась в ее сне вся эта сцена в парке, когда ей повстречались Акимото с мальчишкой. Знала о них очень мало, лишь по рассказам библиотекаря Аябэ. А покупатели, приходившие к Минэ в лавку, хмурили брови при виде одинаково неопрятной внешности обоих и соответствующей ей худобы. Где бы они ни появлялись, никто не хотел иметь с ними дела. Старик и мальчишка, говорят, встретились впервые случайно в библиотеке. Что привлекло их друг к другу — неужели одинаковый запах? Тогда, в ночном парке, Акимото сам, не дожидаясь расспросов, принялся рассказывать о своей судьбе: «Пришел конец моей долгой и никчемной, неудачной жизни. Единственное мое утешение — это Томат». Что-то произошло той ночью с немногословным Акимото. Минэ так и не поняла, как она очутилась на скамейке подле качелей и стала слушать рассказ Акимото.

— К чему вам, Акимото-сан, самому говорить о неудачной жизни? Только беду на себя накличете!

— Что вы! Я с молодых лет твердил себе: «Терпение, терпение!» Но стоило там, где я работал, делам пойти плохо, как меня первым выгоняли на улицу. Потом умерла жена, и мы стали жить вдвоем с дочкой, но и она покинула меня, поняла, что от меня никакой пользы не будет.

— У вас, оказывается, есть дочь? — переспросила Минэ.

— Да, — отвечал ей Акимото, глядя на темное небо. — Живет за границей, вроде бы счастлива...

Томат одиноко качался на качелях. Они скрипели, и вместе с ними колебались полутемные тени. Было какое-то неистовство в этом качании ночных качелей. Акимото невольно обернулся в их сторону.

— У моей дочери мальчик, примерно такой, как Томат.

— Значит, у вас и внук есть? Потому-то вам и Томат так нравится... Но вы, пожалуйста, прекратите свои разговоры о смерти, о всяких там подарках на память... Не надо так...

— Ладно, ладно, больше не буду...

Акимото умолк, но вскоре снова заговорил:

— Томат похож на брошенную собачку, но в нем есть стержень, он напоминает мне мою дочь, когда она была маленькой. Даже зная, что проиграет, все равно делает по-своему.

Вспомнив, видно, свою дочь, Акимото сел попрямее на скамейке и стал вглядываться в ночное небо:

— Когда дочка ссорилась с кем-нибудь и считала, что он не прав, она никогда не плакала. Сколько бы ее ни били, ни пинали... Томат, кажется, лишился матери вскоре после рождения. Отец запил и совсем забросил его. Если что-нибудь пропадает или ломается, виноват всегда Томат. Но он никогда не сдавался. Не хочу, чтобы он стал таким же неудачником, как я, — потому-то я и решил оставить ему свою шляпу.

Затем Акимото рассказал, что шляпу купила ему дочь.

Теперь шляпа, которую только что нахлобучил на себя Томат, снова вернулась на голову владельца.

— Было это накануне ее отъезда. Она говорит мне: «Папа, это тебе подарок!» «А почему вдруг шляпу?» — спрашиваю я, а она мне в ответ: «Хотела что-нибудь тебе подарить, зашла в магазин и вот купила». И сама же одела мне на голову. «Ну вот, теперь ты выглядишь гораздо веселее», — посмотрела на меня так пристально. Да и вы, госпо-

жа Нодзава, как-то сказали мне — «замечательная шляпа». Вы тогда так меня обрадовали!

— Неужто я так сказала?.. Конечно, шляпа очень красивая.

— Дочка уехала в далекие края, но я уверен, что в любом месте она не даст себя в обиду. Ей было нелегко уезжать, оставив меня одного. Потому-то, наверно, и подарила мне эту шляпу — чтобы я выглядел помоложе и держался покрепче. Это сейчас она сдала, а тогда выглядела великолепно!

Подул ветер, тьма еще больше сгустилась.

Нодзава Минэ поднялась со скамейки.

— Пора уходить, в парк ведь ходят днем. А мне еще надо сходить туда, за холмы... по делам.

Втроем они спустились по косогору. Минэ до сих пор помнит, как ярко светились окна в муниципальных домах.

Первым стал посещать лавку Нодзавы не Акимото, а Томат. Хотя для справедливости надо отметить, что их появление предварил библиотекарь Аябэ. На обратном пути домой он часто заглядывает в харчевню. Любимое блюдо библиотекаря — одэн[1], в отличие от остальных посетителей он не уносит его домой, а съедает на месте. Вслед за Аябэ в лавку прибежал небольшого роста мальчишка. Это был Томат. Вспомнив о его первом появлении, Минэ засмеялась под одеялом. Он тогда напомнил ей маленькую худую обезьянку.

Библиотека города К. была построена в центре жилого района. Хотя произошло это совсем недавно, ее сотрудники сразу открыли для себя заведение госпожи Нодзавы и стали заходить сюда после работы. Видно, их привлекал запах одэна, когда они направлялись через «Старый город» — так стали называть поселок, где жила Минэ, — к станции К. частных железных дорог — всего лишь десять минут пути. Соблазнительный аромат замедлял шаги людей, спешащих на электричку. Одним из них был Аябэ, ставший вскоре постоянным клиентом «Нодзавая». У этого молодого человека, которому едва минуло двадцать, толстые щеки подростка. Придя в харчевню, Аябэ усаживается у порога ее скромной комнатушки. Зная его запросы, Минэ щедро наполняет миску вареной редькой и яйцами, не забыв добавить горчицы.

[1]Одэн — японский густой овощной суп из вареных конняку — тропического растения, из которого готовят желе, тофу — соевого творога и бататов — сладкого картофеля.

Молодой человек тут же с аппетитом уплетает все это, то и дело приговаривая: «Как я проголодался!» Вот и в тот вечер он только широко раскрыл рот, чтобы вцепиться зубами в особенно крупный ломоть редьки, как вдруг с воплем поднялся, не выпуская из рук миски, и стал вглядываться в стеклянную дверь, ведущую наружу.

— Что там такое?! — Минэ повернулась к выходу, туда, куда смотрел Аябэ. За стеклом она увидела мальчишку, который, поднявшись на цыпочки, заглядывал внутрь. Заметив наконец в глубине лавки молодого библиотекаря, мальчик смущенно захихикал. Каждый раз, когда смеется его черное исхудалое личико, вокруг рта собираются глубокие морщины и он становится похожим на обезьянку — то ли молодую, то ли очень старую. Убедившись, что мальчишка уходить не собирается, Минэ открывает ему наружную дверь, и он буквально влетает в лавку, подбегает к Аябэ, а складки у его рта так и не разгладились.

— Ты что, Томат, следил за мной? Тебе ж в библиотеке сделали замечание, чтобы ты не скрипел нарочно столом и стульями! Чего ж ты домой не пошел? Нельзя же все время болтаться допоздна!

Выпалив все это, Аябэ поворачивается к хозяйке и делает ей знак движением головы: мол, и я тоже задержался в лавке!

— Его так и зовут, что ли, Томатом?

— Совершенно верно, ученик первого класса Томат.

Мальчик не отводит глаз от миски в руках библиотекаря.

— Давай ешь, Томат!

Аябэ протягивает мальчишке свое блюдо, к которому едва прикоснулся. Томат нерешительно смотрит то на миску, то на хозяйку.

— Ешь, это тебе!

Блеснув глазами, Томат проворно хватает миску и запихивает себе в рот вареное яйцо, но никак не может с ним справиться — кончик торчит изо рта. Аябэ и Минэ невольно рассмеялись. Поглядывая на Томата, борющегося с непокорным яйцом, Минэ тихонько спрашивает у библиотекаря:

— Чей это мальчик? Какой-то он немытый... — Ниже ростом, чем полагается быть первоклашке, до удивления тонкие руки и ноги. Широкая белая рубашка висит мешком на худеньком тельце. И, хотя следов грязи не видно, такое впечатление, что он давно не мылся. — Его бы в баньку

отправить... — тихонько продолжает Минэ, озабоченно сдвинув брови.

— Убегает с занятий — и прямо в библиотеку. Сегодня целый день ходит за мной, как приклеенный, работать не дает! — ворчит Аябэ, но во взглядах, которые он бросает на ребенка, нет строгости. Из его рассказа следует, что Томат убегает из школы в библиотеку вовсе не для того, чтобы усесться за книжки в детской читальне. «Книги его не интересуют!» — сердито сообщает библиотекарь. До Минэ наконец доходит, что мальчик посещает библиотеку лишь из привязанности к Аябэ.

— Правда вкусно, Томат? Как тебе эта редька? А яйца? Хорошо готовит госпожа Нодзавая!

Аябэ заглядывает в лицо Томату, толстыми пальцами вытирает ему уголки рта.

— А мальчишка-то влюбился в вас, Аябэ-сан, теперь вам от него не отвязаться! — добродушно смеется Минэ и подкладывает в миску Томату поджаристый кубик конняку.

— Это тебе, ешь!

Томат удивленно таращит глаза на хозяйку и хохочет, широко раскрыв рот. Он явно старается выказать ей таким способом свою благодарность.

— Перестань! Когда ешь, не надо смеяться, а то еда изо рта выскочит.

Томат, оказывается, живет вдвоем с отцом, который выпивает и возвращается домой очень поздно.

— И что ж, такой ребенок остается один?

— Оставляет ему деньги на питание... Томат целыми днями слоняется по улицам, покупает себе еду.

Пока Томат, покончив с трапезой, пил воду из-под крана, потрясенная Минэ слушала этот рассказ библиотекаря. «Отец, говорят, работает официантом в кабаре, но больше о нем ничего не известно», — торопливо добавил Аябэ.

В следующий раз Томат пришел в «Нодзавая» уже с Акимото. Тот был бедно одет и по своей худобе мало чем уступал Томату. Иссиня-черное, увядшее лицо. И лишь щеголеватая округлая шляпа блекло-зеленого цвета, свидетельница былого благополучия, смягчала гнетущее впечатление от облика своего владельца.

— Какая на вас замечательная шляпа! — Стоило Минэ сказать эту небольшую любезность, как Акимото удивленно поднял голову и несколько раз склонил ее в знак благодарности. Тем временем покупатели стали с подозрением смотреть на эту странную пару, стоящую посреди лавки и никак

не желающую уходить. А тут еще подошла домашняя хозяйка, постоянная покупательница из муниципальных домов. Заметив Томата, она заговорила раздраженным тоном:

— Вот как, этот мальчишка и сюда добрался! Куда это годится — ходит, еду выпрашивает, с уроков убегает, всюду, где появляется, скандал. Всем досаждает!

Посетители разом обернулись в сторону Томата и Акимото. Старик еще больше посинел от огорчения и низко опустил голову, прижав к груди острый подбородок. Он выглядел жалким, беспомощным человеком, ждущим, когда минует буря.

Минэ пришлось вмешаться:

— Вы бы отошли в сторонку, тут и так тесно!

И тут же, чтобы успокоить клиентку:

— К вашим услугам! Вы, кажется, хотели картофель с фаршем? — осведомилась она, держа в одной руке полиэтиленовую коробочку для горячей пищи.

Ей хотелось поскорее прекратить неприятный разговор, но не тут-то было: не сходя со своего места, Томат заговорил быстро, отрывисто, хотя и с запинкой:

— Ничего я не брал! И чужого никогда не ел, никогда, понимаете?! — После чего протянул Минэ кулачок и медленно разжал его:

— Мне... мне этого желе!

На маленькой потной ладошке лежала пятисотиеновая монета. Видно, хотел показать присутствующим, что совершает честную покупку за свои деньги.

— Конечно, конечно... Тебе нужно желе... Сегодня оно особенно вкусное!

И та женщина, которая только что возмущалась, и остальные посетители с удивлением воззрились на мальчугана. Поняв, что с ним так просто не сладить, они занялись обыденными разговорами, и напряженность спала. Акимото и Томат молча стояли в уголке, пока покупатели не удалились. Акимото стоял в той же позе, опустив голову, Томат приник к нему, обхватив его за пояс тонкими ручонками, казалось, это внук, ищущий защиты у дедушки.

Кажется, это было на следующий день — пришел Аябэ, и Минэ тут же принялась рассказывать о том, что произошло накануне. О том, что Акимото стоял понурив голову и не посмел возразить ни единым словом, что Томат совершенно неожиданно заговорил резким тоном. Аябэ в свою очередь сообщил, что Акимото — завсегдатай библиотеки.

— О, и в библиотеках, оказывается, бывают свои клиенты, как у меня в лавке!

— Конечно, бывают. Некоторые просиживат целый день, с утра до позднего вечера. Кондиционер работает, пусть сидят, лишь бы не шумели. Вот и Акимото-сан один из таких завсегдатаев. Но я ему благодарен — теперь Томат привязался к нему и больше не ходит за мной.

По тому, как говорил Аябэ, чувствовалось, что он наконец мог вздохнуть с облегчением. Тем более что, по его словам, Томат слушается своего старшего друга. Акимото, видимо, живет один и уже не работает. К тому же он порядком ослаб, с трудом поднимается по лестнице в библиотеке. «Ну а книги-то он читает?» На этот вопрос Минэ молодой библиотекарь ответил отрицательно: «Положит перед собой открытую книгу, а сам и не думает читать, только бесстрастно смотрит в окно...»

— Госпожа Нодзавая! Сегодня у вас закрыто, что ли? — спрашивает кто-то у дверей. А потом входит в ее комнатку и с удивлением видит хозяйку лежащей в постели.

— Вот, простудилась... — доносится из-под ватного одеяла ее жалобный голос.

— Как странно! Вы так редко болеете... Но вы не спешите вставать, полечитесь...

К вечеру такие разговоры учащаются — несколько знакомых приходят проведать госпожу Нодзаву.

Сегодня она не открывала лавки и весь день проспала — это так редко бывает. Можно считать, что устроила себе выходной. Взглянув на стоящую у изголовья чашку с горячим киселем из аррорута[1], из которой она только что пила, Минэ с удовольствием вспоминает приятное ощущение легкой сладости во рту. Принесла его соседка — Сава-сан.

— Мне, конечно, никогда так не приготовить, как вы, госпожа Нодзавая. Ведь вы замечательный повар, но я подумала, что иначе вам пришлось бы вставать с постели...

«Я еще добавила имбиря!» — сообщила она, поставив жгучий напиток на поднос.

Минэ лежит в постели, а до нее волнами доносятся звуки городка. Они особенно громки в вечернее время. В обыч-

[1]Аррорут — питательная крахмалистая мука из тропических растений. Горячий кисель из аррорута считается хорошим средством от простуды.

ные дни к ним добавляются и шумы, создаваемые ею самой, но сегодня она только прислушивается к ним. Она целиком погрузилась в эти звуковые волны, единственное, что она прошептала, это: «Такое впечатление, что все лечат мою простуду...» «Вот бы напоить старика Акимото и этого мальчишку Томата таким же киселем, от которого тепло разливается по всему телу», — думает она. В прошлый раз, когда Акимото приходил за двумя порциями одэна, он говорил: «У меня только два места, где я могу чувствовать себя свободно: в библиотеке и в том парке наверху». Когда Минэ возразила ему: «А разве дома вам не спокойно? Живете один, как и я тоже, скучища, конечно, но делаешь что хочешь...», то Акимото только понурил голову, так и не ответив. Говорили, что неблагодарные квартиранты буквально выжили старика из дома.

— Вы уж простите меня за резкость, но вам не надо быть таким малодушным!

Думала приободрить его, но опять получилось грубо. Акимото только послушно кивал головой. Хотела было съязвить: «От вашего слабодушия скоро даже шляпа заплачет!», но вовремя остановилась.

Может, оттого, что провалялась в постели целые сутки, температура на следующее утро спала, и она смогла подняться. Правда, в ногах еще оставалась слабость, но работать все же можно. Старалась двигаться медленнее, осторожнее и наконец вошла в свой обычный ритм.

Аябэ появился после обеда.

— Господину Акимото стало плохо, в библиотеке!

— Когда?

— Утром. Я был на выдаче, когда он пришел. Поздоровался с ним, а он жалуется, «в голове тяжесть», побледнел весь. Все же сел на диван в читальне, и вдруг...

Библиотекарь совсем расстроился — видно, живо вспомнил, как на его глазах старик стал терять сознание. Его уложили на диван, и, пока ждали прибытия «скорой помощи», Акимото слегка приоткрыл глаза и что-то пытался сказать. Глядя на Аябэ, он шептал: «То... То...», пока молодой человек не понял, что он зовет Томата. Наклонившись к Акимото, библиотекарь кивнул ему, тот с трудом стянул с себя шляпу и сунул ее в руки Аябэ.

— Вы ж мне говорили в прошлый раз, что он собирается подарить шляпу Томату, так что я сразу понял, в чем дело. Я помахал шляпой перед глазами Акимото-сана, обещал, что обязательно вручу ее мальчишке. Но вы знаете, что меня

удивило? Эта настойчивость, с которой он совал мне в руки свою шляпу!.. Наверно, последнее усилие... — прошептал Аябэ и продолжал: — Когда прибыла «скорая помощь», он уже был без сознания. Я сопровождал его до больницы, там сказали, что долго он не протянет.

— Бедный старик... — вздохнула Минэ. Акимото все-таки предчувствовал свою близкую кончину, его, очевидно, преследовали черные мысли, говорил о скорой смерти, о подарке на память.

— Когда придет Томат, передайте ему эту шляпу, — сказал Аябэ, вынимая шляпу из лежавшего рядом рюкзака. Знакомая вещь...

— Может, сами отдадите?

— Понимаете, срочно уезжаю в командировку. К тому же Томата отдают в специнтернат.

— Неужели?

— У его отца, официанта кабаре, какие-то неприятности.

Аябэ взглянул на часы и заторопился: «Пора ехать!» Взял в руки рюкзак и выскочил из лавки. Лежавшая на комоде шляпа имела какой-то пухлый вид. Минэ взяла ее в руки. Снаружи шляпа утратила первоначальную окраску, а вот внутри сохраняла темно-зеленый цвет, особенно яркий в местах, прикрытых подкладкой: Минэ отогнула ее и увидела великолепный фетр. Чем внимательней хозяйка «Домашних обедов» разглядывала шляпу, тем больше ей передавалось мучительное состояние дочери Акимото, подарившей эту вещь отцу при их расставании. Но, увы — до самой своей смерти Акимото так и ходил с опущенной головой, добровольно уступая всем и всюду. Для него эта шляпа была, очевидно, воплощением сильной духом дочери. Отчего, напрягая последние силы, он добивался того, чтобы шляпа досталась Томату? Не оттого ли, что хотел бы, чтобы тот, в отличие от него самого, жил с высоко поднятой головой?

Не прошло и часа после ухода Аябэ, как, разминувшись с ним, пришел Томат. Влетел и остановился как вкопанный:

— Дедушка Акимото умер!

Худые ножки твердо уперлись в пол. Широко раскрыв большие глаза, не мигая, вглядывался в небо. Мальчик стоял неподвижно, как будто бы дожидаясь того момента, когда он весь, с головы до ног, все его тщедушное тельце, проникнется сознанием смерти своего друга. Какое-то время Минэ молча, не проронив ни звука, пристально смотрела на Томата. Наконец тот заговорил. О том, что, придя в библиотеку,

узнал, что Акимото стало плохо, и что он тут же побежал в больницу.

— Медсестра сказала, что Акимото-сан только что умер.

— Только что?.. Больница — это та, что недалеко от библиотеки? Давай выйдем и попрощаемся с ним. — Подтолкнув мальчика, Минэ вышла вместе с ним на улицу. Весеннее солнце слепило глаза. Они стояли спиной к стеклянной двери, обращенные к поселку по ту сторону холмов.

— До свидания, Акимото-сан!

— До свидания! — вторил женщине мальчик. Оба медленно опустили головы.

— Помнишь, Акимото-сан обещал тебе подарить шляпу?

— Да, — подтвердил Томат и снизу вверх взглянул на Минэ. Его лицо было полно ожидания. Хозяйка достала с полки в глубине лавки головной убор и надела его на мальчика.

— Ой, какой ты миленький в ней!

Надвинутая глубоко на голову, шляпа придавала Томату какой-то округлый вид, подчеркивала его мальчишеский облик.

— Правда, великовата, побереги ее, пока немного не подрастешь! — Сказав это, Минэ умолкла — где же, в каком заведении будет теперь расти мальчик?..

— Да, буду беречь! — Томат тихонько снял с себя шляпу и сжал ее в руках. Казалось, что он согревается ее теплом.

— Меня отправляют в Сад детей... — сообщил Томат, бережно держа в руках шляпу.

— «Сад детей»? Где-то близко?

— Что?.. Нет, говорят, далеко. Завтра оттуда за мной приедет учитель.

— Уже завтра? Тогда сегодня вечером поужинай у меня, поешь одэна. Нет-нет! Никаких денег, я угощаю!

Минэ торопливо принялась накладывать в посуду вареные яйца с приправой и желе из клубней конняку. Больше она ничего не могла для него сделать, но проводить его она должна как следует. Ей хотелось все это ему высказать, но она молча продолжала орудовать палочками, укладывая еду.

— Спасибо! — не стал отказываться Томат.

— Эту шляпу надо беречь, я заверну ее тебе. — Минэ достала из стенного шкафа виниловый пакет с цветочным узором и, аккуратно завернув, вложила в него шляпу.

— Хоть ты уезжаешь далеко, я все равно тебя не забуду. Всегда буду кричать тебе: «Томат, будь здоров, держись и не сдавайся!»

Вдруг, словно спохватившись, Минэ спросила:

— Да, но не называть же тебя Томатом, наверно, издалека лучше будет слышно, если буду звать тебя настоящим именем, правда?

Томат сразу отрицательно покачал головой:

— Зовите меня лучше Томатом.

— Почему? Все-таки как тебя зовут по-настоящему?

— Томота.

— Томота? Это как пишется — «друг» и «толстый»?

Минэ изобразила пальцем на доске эти два иероглифа. Томат утвердительно кивнул.

— Мамочка моя тоже звала меня Томатом, а не Томотой. Отец мне рассказывал...

Говорили, что мать Томата умерла, когда он еще был грудным ребенком, так что он, конечно, не помнит ее. Значит, вот таким образом запечатлелась в его сознании мать...

— Ладно, в таком случае я буду кричать тебе: «Томат, держись, не сдавайся!»

Томат с удовольствием согласился с Минэ. Он вышел из «Нодзавая» с двумя виниловыми пакетами в руках — в одном покоилась завернутая в пленку шляпа, другой был набит едою. Сощурившись на солнце, мальчик сказал, бросая последний взгляд на хозяйку:

— До свидания, тетушка Нодзавая!

— До свидания, Томат! Здоровья тебе и — держись!

Минэ Нодзава пристально посмотрела на Томата. В уголках рта его появились складки от смеха. Лицо его сморщилось, и он стал похож на миленькую обезьянку.

МИТИКО ЯМАМОТО

ЗАКЛИНАНИЕ

О-Юки сидела в метро на краешке скамейки, с достоинством выпрямив спину. Уже несколько поездов промчалось мимо, подняв пахнущий железом ветер.

Пора уже было появиться Сато. С тех пор как он передал фруктовую лавку сыну и ушел на покой, характер его стал прямо-таки идеальным.

Когда Дзэндзо представил ей Сато, при виде его большой лысой головы, напоминавшей «бога грома», она сразу решила, что с ним трудно будет поладить.

В те времена О-Юки никак не могла симпатизировать Сато. Именно он сразу же догадался об ее отношениях с Дзэндзо и намекнул о них буквально каждому члену их общества «Цветы сурепки». К тому же у него была неприятная привычка: на пикниках и вечеринках общества «Цветы сурепки» он, выпучив хитрые глаза, непременно принимался с преувеличенной серьезностью обсуждать какие-нибудь проблемы. Да и какие проблемы? Так, в лучшем случае состояние городской помойки или маршруты ночных патрулей, то есть то, что и обсуждать-то не было смысла, но стоило Сато начать ораторствовать, как вся честная компания в смущении принималась поддакивать.

Однако этот самый Сато начал завоевывать благосклонность О-Юки с тех пор, как она поняла, что он смотрит на ее отношения с Дзэндзо довольно доброжелательно. Особенно она была ему благодарна за то, что он приказал «любителям сурепки» ни в коем случае не навести на подозрения жену Дзэндзо.

Для Дзэндзо и О-Юки могущество Сато было чем-то

благодатным и чистым, все равно как божья милость. Трудно даже представить себе, что бы случилось, если бы Торико обо всем прознала. Просто невероятно, как они смогли до сегодняшнего дня оставлять Торико в неведении. Ведь что ни говори, а это тянется уже двадцать три года, с той зимы, когда О-Юки исполнилось сорок пять.

Случалось, О-Юки овладевала необъяснимая тревога, и она задавала себе вопрос: «Неужели Торико ничего не замечает?» На это Дзэндзо с неизменной уверенностью отвечал: «Конечно, нет. Она же меня ненавидит, и ей дела нет до меня».

О-Юки, в сущности, не было особой необходимости расспрашивать Дзэндзо о том, как так вышло, что Торико стала его ненавидеть. Поскольку он не расположен об этом рассказывать, она полностью верила тому, что ей докладывал Сато.

В ночь на двадцать четвертое мая, во время массированной бомбардировки Токио, семья Дзэндзо, жившая тогда в Кодзимати, в панике металась, пытаясь скрыться от бушующего пламени, но старшая дочь, шестиклассница Яёи, не успела убежать. Торико считает, что это несчастье произошло по вине Дзэндзо, который бросил дочь на произвол судьбы.

Торико бежала, схватив за руки старшего сына и младшую дочь. Слыша за спиной крики Яёи, оставшейся в дыму и пламени, не в состоянии даже оглянуться, она скатилась в противовоздушную щель за их домом.

Наконец перед замершей в ожидании Торико, сидевшей обхватив детей, появился Дзэндзо; по лицу его была размазана копоть, но он был один. Сбитый с ног выскочившей в гневе и ужасе Торико, Дзэндзо впал в беспамятство и принялся с воплями кататься по земле: неужели это он повинен в гибели Яёи?

Как бы то ни было, Торико не отказалась от мысли, что муж не спас Яёи.

«Она любила змей, как и я!»

Вспоминая о Яёи, Торико непременно поминала про змей. Конечно, сама О-Юки не слышала этого. Она ни разу толком не беседовала с Торико. О Торико и змеях ей рассказал Сато, подвыпивший во время любования цветами. Обычно Сато не особенно расположен к шуткам, но стоит появиться сакэ, как он становится словоохотливым и даже, изменив голос, принимается подражать кому-нибудь.

«Бывало, иду за покупками, а вокруг пояса обмотаю нашу змею, Тама-тян. А Яёи бредет сзади и держится за

кончик ее хвоста. И говорит: «Мамочка, какие змеи приятные — холодные и скользкие!»

Торико до войны держала змею. После того как дом в Кодзимати сгорел, семья перебралась в Камисуву, и там было не до домашних животных. А на третий год после войны, когда Дзэндзо с семьей обосновался в Мэйдзиро и начал ездить оттуда в фармацевтическую фирму в Кёбаси, вот тогда Торико после долгого перерыва смогла завести ужа с коричневато-белым узором и тоже назвала его Тама-тян.

Между Торико и Дзэндзо вновь словно змея проползла. О-Юки предполагала, что Торико отождествляла змею с погибшей дочерью.

— От змей воняет рыбой, и когда жена кладет ее в сумку или прячет в рукав, то к ней сбегаются псы со всей округи. Меня прямо тошнит, когда вижу, как за ней хвостом ходят собаки.

Вот и все, что Дзэндзо рассказывал О-Юки. Поэтому О-Юки предполагает, что у Дзэндзо не просто плохие отношения с женой, вернее сказать, что ему нечего возразить любящей змей Торико. И страдать, не простив смерти дочери, будет всю жизнь именно Торико.

— Не волнуйся! — говорит Дзэндзо. — Ей до меня нет дела. Если она и узнает, она не станет выходить из себя и поднимать шум. Не такая она женщина, она холодная, как змея.

О-Юки было достаточно проводить с Дзэндзо по-семейному один день в неделю. И еще — раз в полгода съездить вместе на горячие источники в Хаконэ или Кусацу. Просто удивительно, что до сих пор она почти не задумывалась, что у Дзэндзо есть законная жена. Почему же сейчас, когда Дзэндзо слег, когда ему так плохо, что, похоже, и до завтра не доживет, она не может к нему прийти? О-Юки все думает и думает об этом.

Сато вышел не из вагона, как она ожидала, а спустился по лестнице и окликнул О-Юки. О-Юки, семеня к нему навстречу, поняла по его лицу, что есть новости.

— Что случилось? Я уже почти час...

— Ох, а разведку, а разведку-то надо было провести?

Сато, тяжело дыша, увлекал О-Юки все дальше и дальше.

— Сегодня ведь понедельник, и за ним присматривает невестка. А с невесткой легче договориться, чем с дочерью.

За Дзэндзо ухаживают по очереди, через день, разведенная младшая дочь и жена старшего сына, а по вечерам он на

попечении профессиональной сиделки. Сато выхлопотал, чтобы О-Юки смогла повидать больного. Он говорит, что с невесткой легче поладить, чем с дочерью. Но для О-Юки все едино — что дочь, что невестка. Ни с кем из родственников Дзэндзо ей особо не хочется любезничать.

Два дня тому назад Торико, отдававшая все силы уходу за больным, слегла от перенапряжения. Только после этого Сато отправился туда, заручившись согласием О-Юки.

— Ну а состояние?

— Чье? Торико? Слава богу, у нее осложнение — пневмония. И лежит она, к счастью, в больнице в Кодзимати, жар только немного спал, и ее пока не выписывают.

О-Юки, прижимая к груди сумку из кожи ящерицы, пыталась унять сердцебиение.

— Так что, невестка говорит, что позволит мне его навестить?

— Да, если это порадует свекра. И точно, надо быть просто бесчеловечным, чтобы в такое время не пустить тебя к нему.

— Да, бесчеловечным...

Сато шагал торопливо, широко, совсем не по-стариковски.

— Сато-сан, я, наверное, такая безобразная!

О-Юки задыхалась, стараясь не отстать от Сато.

— Что-что?

— Это кимоно он, правда, сам выбрал, но все же...

— Ничего. У Дзэна зрение слабое, так что беспокоиться не о чем. Еще неизвестно, разглядит ли он вообще твое лицо.

«Смерть Дзэна — это уже вопрос времени...» — снова подумала О-Юки. Наступает конец их двадцатитрехлетним отношениям, Дзэн умирает. Пришло время умирать, вот и конец.

О-Юки неловко семенила за Сато по мрачноватому коридору хирургического отделения. Повернув несколько раз, они вышли к сверкавшему нержавеющей сталью помещению для мытья посуды.

Две пожилые женщины, очевидно сиделки, расположились на кожаном диване и курили. Здесь Сато велел О-Юки остановиться. Палата Дзэндзо была впереди, в конце коридора.

— Сколько ни тверди одно и то же, все равно не уследишь. Вот и недавно: только я отвернулась — наелся пирожных, и на тебе...

Полная женщина в кухонном переднике, растопырив пальцы, изобразила рвоту.

— М-да...

Вторая женщина сочувственно нахмурила брови.

— Прямо как кот-воришка!

Нахохотавшись, они обратили наконец внимание на стоящую рядом О-Юки.

— Вы к кому? — спросила сиделка.

— Да вот там, в конце коридора... к знакомому. — О-Юки, по-прежнему прижимая к груди сумку, почтительно поклонилась.

— А-а, тот дедушка! Хороший больной, ночью при нем дежурит одна — так говорит, что с ним никаких забот. Спит себе и, что ни спроси, даже не отвечает.

— Это так. Тихий, добрый дедушка. И красивый такой.

О-Юки, слушая восторженно болтавшую женщину, опустилась на край дивана.

— В молодости был, наверное, красавчиком!

— Да как сказать...

О-Юки, сдержанно улыбнувшись, достала пудреницу и посмотрелась в зеркальце.

Под пристальным взглядом сиделок она похлопала пуховкой по своему овальному лицу с поджатыми губами.

Сато выглянул из палаты и поманил ее рукой. Сразу же за ним вышла женщина лет сорока, жена старшего сына Дзэндзо, и вслед за Сато пригласила О-Юки войти. Она была высокого роста, в очках с золотой оправой, со слегка подкрашенными губами.

— Спасибо за все, что вы для свекра... — сказала она тихо и спокойно и наклонила голову. — Ему все спится. Весь день дремлет.

Окна в палате плотно закрывали белые занавески. В изножье кровати была раковина, на полочке стояло единственное украшение — вазочка с несколькими маргаритками, а в целом палата Дзэндзо была совершенно прозаичной, и в ней держался какой-то странный запах.

Сато с невесткой беззвучно вышли.

О-Юки не виделась с Дзэндзо два месяца. Даже уже после того, как у него в моче появилась кровь, Дзэндзо упорно продолжал навещать ее. Дзэндзо всегда был худощав и не отличался особенно хорошим цветом лица, поэтому по его внешнему виду нельзя было судить, насколько он болен.

Но однажды утром Дзэндзо позвонил ей. Необычно сла-

бым голосом он сообщил, что его неожиданно кладут в больницу.

— Что случилось, Дзэн?

— Плохи мои дела, О-Юки-тян! Моча совсем не выходит, чувствую себя скверно. Видимо, цистит. Когда выпишут, сразу сообщу, так что...

— Дзэн! Дзэн...

Но Дзэндзо из предосторожности уже бросил трубку, и разговор внезапно прервался. Больше всего напугало О-Юки не название болезни и даже не сама болезнь, а то, что их разговору кто-то помешал.

Дзэндзо лежал по-прежнему с закрытыми глазами, запрокинув темное лицо с ввалившимися щеками. О-Юки, затаив дыхание, вглядывалась в исхудавшее лицо с запавшими глазами и заострившимся носом. В левую руку была воткнута игла капельницы. В том месте, где игла вошла в кожу, застыла капелька лекарства. Поверх торчащей иглы закреплена пластырем пропитавшаяся кровью марля. Мало того, рука с воткнутой иглой зафиксирована дощечкой.

— Дзэн, это я. Открой глаза! — сказала О-Юки на ухо Дзэндзо. Дзэндзо сразу же открыл глаза и посмотрел на О-Юки. — Мне так хотелось с тобой повидаться, Дзэн. Сато-сан посодействовал. Дзэн, ты видишь меня?

— Вижу, хорошо вижу! Я все время притворялся спящим, а сам раздумывал, как бы тебя сюда вызвать.

— Да уж, прямо как барсук, впавший в спячку! — рассмеялась О-Юки, понизив голос. — Дзэн, а ты выглядишь хуже, чем я думала.

— Это конец. Рак, во всем моем теле гнездится рак.

— Не может быть!

О-Юки взяла руку Дзэндзо и ласково обхватила ее своими пальцами.

— Хотя врачи и уверяют, что у меня простой цистит... Когда мне захочется умереть, я в любой момент могу это сделать. Вытащить иглу капельницы.

— Нет, Дзэн, срок жизни отмерен тебе свыше, а потому не лучше ли подождать?

— Так не годится. Тело мое уже умерло, а смерть только откладывают со дня на день... О-Юки, я раньше тебя туда отправляюсь, но и ты поспеши!

О-Юки, поджав губы, рассмеялась.

— Мне даже нечего тебе оставить!

— А мне и не нужно ничего. Да и потом, разве я не получила от тебя все, что хотела?

— Это что же?

— Твое сердце!

О-Юки придвинулась на круглом стульчике и осторожно положила руку на лоб Дзэна.

— Похоже, жара нет.

— Я ведь уже почти мертвый, вот и похолодел!

По-прежнему держа руку на лбу Дзэна, О-Юки потрогала другой рукой свой лоб и слегка наклонила голову набок.

— Неужто, Дзэн?.. Что же, человек вот так холодеет, холодеет, а потом и совсем умирает, да?

Дзэндзо почти неслышно рассмеялся.

— Мне кажется, я уже почти ничего не чувствую. Лежу с закрытыми глазами, будто мертвый, а иногда даже вздрогну — а уж не умер ли я ненароком?

О-Юки прижала руку Дзэндзо к своей щеке.

— Но когда открою глаза и вижу, как капает капля за каплей... Я понимаю: а-а, я еще в больнице, все никак не умру, все жду смерти.

— Тяжко тебе?

— Не скажу, что легко.

— Болит что-нибудь?

— Да, когда не на лекарствах.

О-Юки вздохнула и, будто внезапно припомнив, весело сказала:

— А я тебе одну хорошую вещь принесла. Амулет для легкой смерти. Мне его дней десять назад дал один знахарь.

Достав из сумочки завернутый в шелковый платок сверток, О-Юки, подержав его на весу, извлекла маленький амулет.

— Что бы там ни говорили, но, если он будет при тебе, умрешь спокойно... — О-Юки отвернула одеяло Дзэндзо и боязливо распахнула его пижаму. — Как ты похудел! — Голос О-Юки задрожал. — Потерпи еще немного, скоро умрешь. Спокойной смертью... Пролежни у тебя есть?

— Не знаю, — безрадостно ответил Дзэндзо, по-прежнему устремив пустые глаза в потолок и предоставив О-Юки делать то, что она хочет. О-Юки, крепко зажмурившись, почтительно поднесла амулет ко лбу. Потом прикрепила его пластырем на пожелтевший морщинистый живот Дзэндзо.

— Послушай, Дзэн, ни в коем случае не снимай его! Его волшебная сила дарует тебе спокойный конец. Врачи, лекарства оттягивают твою смерть, но, если доверишься этому амулету, все будет в порядке, и с хозяином в Кагомати так было, смерть сама собой наступила. Если только сохранишь

амулет, то заснешь спокойно — и все. Проснешься, а ты уже в раю... Дзэн, подожди меня, я ведь тоже скоро там буду!

— Когда?

— Скоро!

— Это что же... следом за мной умрешь?

— Хотелось бы, если получится.

Осторожно накрыв Дзэндзо одеялом, О-Юки долго-долго с тоской гладила его тело. Потом, глядя на него с таким выражением, будто разлука уже наступила, заговорила снова:

— Завидую я О-Тори. Она может за тобой так ухаживать, что с ног валится...

Дзэндзо засмеялся, и у его губ обозначились глубокие морщины.

— Что? Это она-то ухаживала? Она просто чересчур веселилась с другими посетителями!

— А сегодня тихо.

— Запретили свидания. Со вчерашнего вечера я — умирающий.

О-Юки крепко сжала руку Дзэндзо.

Открылась дверь, и вошел Сато.

— Еще не простились? Пора бы уже!

О-Юки наклонилась и прильнула к Дзэндзо:

— Как я благодарна Сато-сан! Это он помог нам с тобой встретиться!

Дзэндзо слабо кивнул и изучающе посмотрел своими потухшими глазами на Сато.

Это продолжалось какие-то секунды, но О-Юки запомнила этот взгляд на всю оставшуюся жизнь.

На следующее утро Дзэндзо умер. Левая рука с воткнутой иглой от капельницы была по-прежнему привязана к дощечке, а правая рука плотно прижимала что-то к исхудалому ввалившемуся животу. Эту руку медсестры, как ни старались, никак не могли сдвинуть с места. Женщины, обменявшись взглядами, глубоко вздохнули: упрямый дедушка!

Стоявший рядом Сато, следивший за умирающим вплоть до того момента, как тот испустил дух, заметил: «Даже не сдвинулась!»

Утренний свет, проникший вместе со щебетом птиц сквозь белые занавески на окнах, заполнил комнату.

О-Юки была счастлива, что благодаря Сато ей удалось присутствовать при кончине Дзэндзо. Невестка и только что прибежавшая дочь Дзэндзо, стоя по обе стороны кровати, издали наблюдали за действиями медсестер.

О-Юки дотронулась до закоченевшей руки Дзэндзо — и пальцы, крепко сжимавшие приклеенный О-Юки пластырем амулет, словно нехотя сдвинулись от ее легкого усилия. Как будто его рука послушалась приказа О-Юки: мол, перед тобой я не могу устоять! Потом обе руки Дзэндзо сложили на груди.

Невестка зашмыгала носом:

— А нас и слушать не хочет!

Сато с важностью кивнул. На его родине, на островах Гото, принят обычай, чтобы усопшему в гробу складывал костенеющие руки самый дорогой ему человек. Говорят, как бы уже ни окостенело тело, если его коснется рука любимого, оно, будто живое, откликнется на прикосновение. Потому и вспыхивали не раз нешуточные ссоры между родственниками умерших.

— ...И все-таки он был влюблен в О-Юки-сан! — заметил Сато бесцеремонно. Женщины, каждая на свой лад, осмысливали сказанное.

О-Юки вышла из палаты с ощущением исполненного долга.

Щадя чувства вдовы Торико, она не участвовала в ночном бдении у гроба и на похоронах жгла благовония, смешавшись с толпой.

В доме Дзэндзо, чтобы через него беспрепятственно проплывали толпы людей, разобрали часть перегородки, отделявшей парадный вход от двора, и с открытой галереи стал виден алтарь.

О-Юки смотрела на фотографию Дзэндзо, вывешенную при входе. Это Дзэн лет десять тому назад... какие солидные щеки были у него, когда ему исполнилось шестьдесят пять... Ведь лицо у него стало худеть, будто проваливаться, последние три-четыре года.

Когда догорела курительная палочка, О-Юки, двигаясь против потока посетителей, вернулась к входу. Процессия была на удивление длинной: вереница посетителей тянулась за ворота и терялась где-то на улице. О-Юки даже подивилась про себя. А она-то думала, Дзэндзо ни с кем, кроме знакомых из общества «Цветы сурепки», дружеских отношений не поддерживал.

Поднявшись на крыльцо, заставленное обувью, О-Юки вошла в гостиную. И, подкравшись сзади к почти невидным со двора родным покойного, которые сидели плечо к плечу, потупив головы, похлопала по плечу Сато.

Тот кивнул и показал глазами, что надо обождать, пока

дочитают сутру. О-Юки, усевшись рядом, исподтишка разглядывала профиль вдовы Торико. После потери старика мужа она была болезненно бледна, но весь ее облик с белоснежными волосами был отнюдь не безобразен. Она производила впечатление не старухи, а пожилой дамы, и в ее силуэте угадывалось спокойное изящество.

О-Юки вспомнила, как Сато сказал однажды: «Да-а, к жене, пускающей змею в постель, даже такой дурак, как Дзэндзо, не подойдет! Мне и то противно».

Наконец церемония у алтаря закончилась, и О-Юки, ухватившись за рукав Сато, повлекла его во внутренний коридор.

— Сато-сан, вы не знаете, Дзэну положили в гроб очки? — тихонько спросила О-Юки и озабоченно огляделась по сторонам. — Не видели? Очки Дзэна?

— Очки? Торико говорила, что хочет, если получится, положить все его личные вещи, так что, наверное, положили.

— А какие очки? Мне непременно нужно знать какие.

— Какие? Кто их знает...

— Очень прошу вас, Сато-сан, спросите у невестки! Ведь если это дымчатые с золотой оправой, они не сгорят, их нужно оставить!

Сато, раздумывая, опустил плечи и, бормоча: «Коли такое дело, надо спросить невестку...», втолкнул О-Юки на кухню.

— Очки... Его очки... — повторяла О-Юки, ухватившись за невестку. У той от многодневного напряжения был совершенно измученный вид.

— Я не могу не сказать вам... Дедушка перед смертью... Помните, вы приклеили ему на живот амулет? Так вот, той ночью после вашего ухода он решил покончить с собой. Ну, мы перепугались и тут же позвонили Сато-сану. Я думаю, получилось хорошо, что он вас привел, руки-то у него уже затвердели, хотя после смерти и двух часов не прошло. Дедушка улучил минутку, когда мы с сиделкой задремали, схватил ножницы, которыми подрезал бороду, и попытался воткнуть их себе в грудь. Не подоспей я вовремя... была бы ужасная рана... Зачем он это сделал, бабушка?

— Зачем? Умереть ему хотелось!

— Но почему?

— Слишком уж долго он умирал, вот и истомился.

Невестка уставилась на О-Юки. Смотря в ее широко раскрытые глаза, О-Юки поразилась, до чего же глаза человека от утомления становятся похожи на темные дыры.

— Извините... очки!

Невестка собралась уже выйти из кухни, и О-Юки торопливо побежала за ней.

— Очки Дзэна! Не могли бы вы отдать их мне? Очень вас прошу!

— Какие-то очки положили в гроб. Наша бабушка сама положила: мол, «там» ему без них будет трудно.

И невестка торопливо удалилась, всем своим видом показывая, что еще предстоит вынос гроба и ей не до таких пустяков, как очки.

О-Юки, делать нечего, пошла разыскивать Сато. Гроб Дзэндзо уже понесли. Вместе с ним двинулись из дома заполнившие его люди в траурной одежде.

Сато переходил от одного к другому, то ли войдя в роль распорядителя, то ли по свойственной ему общительности.

— Сато-сан! Сато-сан! Послушайте! — окликнула его, не стесняясь окружающих, О-Юки и, быстро перебежав двор маленькими шажками, у задней калитки ухватила Сато за рукав пиджака. — Мне бы хотелось получить очки Дзэна. Они очень хорошие и точно такие, как мои. Мои уже никуда не годятся, у них недавно стекло треснуло. Пожалуйста, достаньте перед сожжением! Послезавтра я с друзьями из музыкального кружка «нагаута»[1] отправляюсь в путешествие на Окинаву, и к тому времени мне обязательно нужно их получить. Хорошо, Сато-сан? Ведь они такие дорогие — ну зачем их сжигать? А мне без них никак!

Сато, кивнув — мол, ладно, ладно, — выкрикнул в лившийся сплошной лавиной человеческий поток:

— В нашем распоряжении два микроавтобуса, так что те, кто едет в крематорий, поспешите, пожалуйста!

О-Юки, привстав на цыпочки, смотрела из-за чужих спин на катафалк. Сможет ли Сато выполнить ее просьбу? Удостоверившись, что в указанном месте действительно стоит несколько такси и два микроавтобуса, О-Юки подавила желание еще раз напомнить об очках Сато и вышла через заднюю калитку.

Спрятав в сумочку из кожи ящерицы хрустальные четки, О-Юки взглянула на маленькие часики, которые вот уже тридцать лет обвивали ее руку, и суетливой «ныряющей» походкой покинула дом Дзэндзо...

[1]Нагаута — вид музыкального сказа.

Произведения, отмеченные в содержании знаком*, опубликованы с любезного соглашения правообладателя:

Go Shizuko, “Joju”, 1973
Hiraiwa Yumie, “Aoi kofuku”, 1973
Inazawa Junko, “Yubiwa”, 1978
Kanai Mieko, “Puratonteki ren’ai”, 1975
Kato Yukiko, “Kikyu-no jikan”, 1987
Kono Taeko, “Tetsu-no uo”, 1977
Masuda Mizuko, “Akai koto”, 1988
Mori Yoko, “Haru-no arashi”, 1985
Mukoda Kuniko,“Sankaku nami”, 1981
Mukoda Kuniko, “Inugoya”, 1980
Murata Kiyoko, “Kosaku densha”, 1987
Nakazato Tsuneko, “Hicho”, 1982
Oba Minako, “Yamauba-no bisho”, 1976
Sata Ineko, “Fufu”, 1988
Shibaki Yoshiko, “Murasaki-no yama”, 1983
Shigekane Yoshiko, “Shiroi burausu”, 1979
Sono Ayako, “Fuji”, 1975
Sono Ayako, “Fumin”, 1979
Takahashi Takako, “Kou”, 1984
Takenishi Hiroko, “Heitaiyado”, 1980
Tanabe Seiko, “Joze to tora to sakanatachi”, 1985
Tomioka Taeko, “Shin kazoku”, 1977
Tomioka Taeko, “Tachigire”, 1976
Tsushima Yuko, “Dammariichi”, 1982
Uno Chiyo, “Ippen-ni harukaze ga fuite kita”, 1987
Uno Chiyo, “Sore wa kogarashi ka”, 1979
Yamaguchi Yuko, “Mabukana boshi”, 1990
Yamamoto Michiko, “Omajinai”, 1978
Yoshiyuki Rie, “Kokue-no haha”, 1989

СОДЕРЖАНИЕ

[1]Имена авторов даны в японском порядке: сначала фамилия, потом имя.

КРУГИ НА ВОДЕ

Составитель Ольга Владимировна Морошкина

ИБ № 5585

Редактор *Г. ДУТКИНА*
Художник *Н. АГАФОНОВА*
Художественный редактор *В. ТИХОМИРОВ*
Технические редакторы *Е. МАКАРОВА, Е. МИШИНА*
Корректоры *В. ЛЕБЕДЕВА, Н. ЛУКАХИНА, В. ПЕСТОВА, Е. РУДНИЦКАЯ*

Сдано в набор 10.07.92. Подписано в печать 21.01.93.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсет. Усл. печ. л. 34,44. Усл. кр.-отт. 34,86.
Уч.-изд. л. 37,05. Тираж 15000 экз. Заказ № 1943.
С 6. Изд. № 6354.

Издательство «Радуга» Министерства печати и информации Российской Федерации.
121839, Москва, пер. Сивцев Вражек, 43.

Отпечатано с оригинал-макета способом фотоофсет на Можайском полиграфкомбинате Министерства печати и информации Российской Федерации.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

КРУГИ НА ВОДЕ

АНТОЛОГИЯ



СОВРЕМЕННОЙ
ЖЕНСКОЙ
ПРОЗЫ
ЯПОНИИ